А.И.
ГЕРЦЕН

I

# А. И. ГЕРЦЕН

I

АКАДЕМИЯ
НАУК
СССР

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО

# А. И. ГЕРЦЕН

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
## В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1954

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М. ГОРЬКОГО

# А.И. ГЕРЩЕН

ТОМ ПЕРВЫЙ

## ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1829-1841 ГОДОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1954

А. И. ГЕРЦЕН

Портрет работы художника Н. Н. Ге, 1867 г.

*Государственная Третьяковская галерея, Москва*

# ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ

Настоящее собрание сочинений А. И. Герцена является первым научным изданием литературного и эпистолярного наследия выдающегося деятеля русского освободительного движения, революционного демократа, гениального мыслителя и писателя, сыгравшего, по словам В. И. Ленина, «великую роль в подготовке русской революции».

Революционная деятельность Герцена, условия многолетней политической эмиграции, цензурно-полицейские преследования сочинений великого писателя в России, не прекращавшиеся на протяжении более полувека,— все это мешало распространению произведений Герцена среди широких кругов русских читателей вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции. Как известно, при жизни Герцена собрание его сочинений осуществлено не было. Издания отдельных произведений («Кто виноват?», «Письма из Франции и Италии», «С того берега», «Былое и думы» и др.) или небольших сборников («Прерванные рассказы», «За пять лет». «Из „Колокола" и „Полярной звезды"» и др.), предпринимавшиеся Герценом в Лондоне и впоследствии в Женеве, лишь в небольшой степени восполняли этот пробел. Основная масса герценовских произведений продолжала оставаться разбросанной в различных, преимущественно периодических, изданиях — газетах, журналах, сборниках. Значительная часть литературного наследия Герцена при его жизни вообще не была опубликована.

Вопрос об издании сочинений Герцена возник сразу после его смерти. По материалам семейного архива писателя в 1870 г. было осуществлено издание «Сборника посмертных статей

Ал. Ив. Герцена» (Женева, 1870; 2-е изд.—1874). В 1875—1879 гг. в Женеве вышло в свет десятитомное собрание сочинений Герцена. Однако при всем политическом и литературном значении женевского издания его научная ценность была невелика даже для своего времени. В собрании были представлены далеко не все тексты, опубликованные при жизни Герцена, в частности, почти совсем не вошли в него статьи из «Колокола». Несмотря на то, что в распоряжении редактора издания, Г. Н. Вырубова, находилось богатейшее собрание рукописей Герцена, хранившихся в архиве его семьи, издание из числа неизвестных ранее произведений ограничилось публикацией лишь некоторых (дневник и др.). Не была продумана композиция издания. В текстологическом отношении женевское издание не только не разрешило, но даже не поставило перед собою каких-либо научных задач.

Русскому читателю женевское собрание в основном осталось неизвестным. Сочинения Герцена еще долго продолжали находиться в царской России под строгим и безусловным запретом. Даже в 1890-х годах, когда было задумано первое русское собрание сочинений Герцена, оно не было разрешено властями, и потребовалось свыше 10 лет хождений по цензурному ведомству, чтобы добиться права на осуществление этого издания. Оно вышло в 1905 г. в 7 томах; дополнительный, VII том был посвящен переписке Герцена с Н. А. Захарьиной в 1830-х годах. Однако это — *павленковское* (по имени издателя)—собрание сочинений Герцена было изуродовано цензурными пропусками и искажениями. Многие произведения Герцена вообще не были включены в это собрание. В отношении подготовки текстов павленковское издание характеризовалось крайней небрежностью, обилием ошибок, полным произволом в расположении материала.

Издание сочинений Герцена, свободное от цензурного вмешательства, стало возможным лишь после победы Великой Октябрьской социалистической революции. В первые же годы Советской власти было продолжено и успешно завершено 22-томное издание «Полного собрания сочинений и писем» Герцена, осуществленное под редакцией М. К. Лемке при ближайшем участии дочери писателя, Н. А. Герцен. Первые восемь томов

издания, вышедшие до революции, были дополнены списками сделанных при печатании цензурных исключений.

В издании под редакцией М. К. Лемке было впервые сведено воедино литературное, а также эпистолярное наследие великого писателя-революционера. Значительное количество текстов Герцена вообще стало известным и вошло в научный обиход в результате многолетних архивных изысканий М. К. Лемке. В то же время многие принципы редакционной и текстологической работы, положенные в основу его издания, в научном отношении оказались несостоятельными. Произведения, письма и документы печатались в общей хронологической последовательности; без достаточных оснований редактор избирал в качестве источника *основного текста* некоторых произведений Герцена (например, «Письма из Франции и Италии») их ранние редакции, а не последние прижизненные публикации; произвольно были определены состав и композиция «Былого и дум» и т. д. Существенные недосмотры и ошибки были допущены при подготовке текстов Герцена.

Таким образом, задачи научного издания сочинений Герцена продолжали оставаться неразрешенными. Это привело к отсутствию канонических текстов произведений Герцена в последовавших изданиях его беллетристики, философских сочинений, «Былого и дум». Следует учесть также, что за прошедшие после окончания издания М. К. Лемке почти три десятилетия стали известны многие новые тексты произведений и писем Герцена, опубликованные в ряде изданий как в СССР («Литературное наследство» и др.), так и за рубежом. Все это с большой остротой поставило перед научными учреждениями нашей страны вопрос о новом издании собрания сочинений Герцена.

Настоящее издание собрания сочинений и писем А. И. Герцена, осуществляемое по постановлению Президиума Академии Наук СССР от 7 сентября 1951 г., по сравнению с предшествующими собраниями сочинений является наиболее полным. Оно включает в себя все доступные ныне произведения и письма Герцена, как законченные писателем, так и сохранившиеся в отрывках или черновых набросках. Однако и это издание не может еще претендовать на исчерпывающую полноту. Значительная часть документального наследия писателя про-

должает оставаться в различных зарубежных архивных фондах и частных собраниях и до сих пор не поддается точному учету. Неизвестна, например, судьба архива «Колокола», не обследованы многие архивохранилища в Западной Европе и Америке, остается недоступной переписка Герцена с рядом выдающихся деятелей западноевропейского освободительного движения и общественной мысли, еще не выявлены полностью статьи Герцена в иностранной периодической печати. Кроме того, затеряны некоторые материалы, находившиеся в архивах частных лиц в России (например, Т. П. Пассек). Редакция надеется, что настоящее издание будет способствовать дальнейшей успешной работе в области разыскания новых документальных материалов, связанных с жизнью и деятельностью Герцена.

Издание рассчитано на 30 томов. Его основная задача — опубликование научно проверенного текста произведений и писем Герцена на основе рукописей, прижизненных публикаций, указаний самого писателя и других материалов. Произведения печатаются, как правило, по тексту последнего прижизненного авторизованного издания, с восстановлением по сохранившимся материалам мест, исключенных или искаженных цензурой или самим автором в силу цензурных условий, а также мест, переделанных редакторами без согласия автора, с устранением технических ошибок и погрешностей и т. п. Произведения и их части, которые не появлялись в печати при жизни писателя, и письма Герцена печатаются по рукописям, а при отсутствии рукописных источников — по наиболее авторитетным публикациям, редакторы которых в свое время располагали рукописями Герцена («Сборник посмертных статей», женевское издание, издание М. К. Лемке и др.). Другие редакции произведений, имеющие самостоятельный интерес («Доктор Крупов», «Письма из Франции и Италии», «Долг прежде всего», отдельные главы «Былого и дум» и т. п.), варианты и разночтения между окончательной редакцией текста и первопечатными публикациями и рукописями, а в существенных случаях также зачеркнутые места рукописей печатаются после основного текста каждого тома издания.

Произведения располагаются в хронологическом порядке (в основном по датам написания), за исключением литератур-

ного наследия Герцена 40-х годов — публицистики, философских сочинений и художественной прозы, соответственно объединяемых в отдельные тома (II—IV), а также дневника 1842—1845 гг., представленного в одном втором томе. «Былое и думы» (тома VIII—XI) печатаются по дате начала работы над ними Герцена (1852 г.). Письма Герцена выделяются в особые тома — с XXI по XXIX — и располагаются в хронологической последовательности. В последний, XXX том войдут дополнения к изданию, уточнения и поправки к ранее вышедшим томам, сводные указатели ко всему изданию.

Юношеские переводные статьи и рефераты Герцена, статьи и заметки, в отношении которых авторство Герцена нельзя считать окончательно установленным, статьи и заметки, подписанные Герценом и Огаревым, но написанные одним Огаревым, и некоторые другие материалы печатаются в «Приложениях» к соответствующим томам издания.

Тексты Герцена на иностранных языках приводятся на языке подлинника с русским переводом в основном тексте тома. Соответственно на языке подлинника с русским переводом печатаются первоначальные редакции и разночтения текста на иностранных языках.

Переводы отдельных иноязычных слов и фраз, а также редко встречающихся варваризмов, даются в подстрочных примечаниях, с указанием: *Ред.;* переводы иноязычных названий произведений, сборников, периодических изданий — в указателе, в конце каждого тома. Подстрочные примечания самого Герцена печатаются без указания об их принадлежности автору.

Тексты произведений Герцена печатаются по современной орфографии и с применением правил современной пунктуации. При этом сохраняются все особенности в написании слов, отражающие произношение их, отличное от современного (снурки, теперичнай, скрыпеть, противудействие и т. п.) или обусловленные приемами русского начертания иноязычных слов, характерными для XVIII и первой половины прошлого века (резигнация, феория, рестаурация, ипотеза и т. п.). Собственные имена пишутся так, как их писал Герцен, причем различия в их написании, встречающиеся в разных произведениях, не устраняются (Бэкон — Бакон, Ньютон — Невтон, Дидро — Дидеро и т. п.). Полностью

сохраняются типические особенности в области лексики, формы слов и синтаксических конструкций (скрозь, перламутовый, назаперти, роля, станса, гондоль, ворóты, вертать, прозябение, симпатизировать с..., способствовать к... и т. п.).

Пропуски слов, которые удается восстановить по рукописям или на основании свидетельств самого Герцена, оговариваются в комментариях. Слова, ошибочно пропущенные в первоисточнике, восстанавливаются по смыслу и приводятся в угловых скобках. Явные опечатки или описки в воспроизводимом источнике исправляются без оговорок. При воспроизведении рукописных источников после слов, чтение которых сомнительно, ставится знак вопроса в угловых скобках: ⟨?⟩. Таким же знаком сопровождаются в отдельных случаях слова или фразы, если их смысл не совсем ясен, а сохранившиеся источники текста не дают возможности внести поправки. На место неразобранных слов ставится: ⟨3 *нрзб.*⟩, где цифра означает количество неразобранных слов.

Комментарии к произведениям и письмам Герцена ставят своей задачей освещение вопросов, непосредственно связанных с творчеством и деятельностью Герцена. Комментарий содержит указания на источники текста и основные сведения из истории создания и цензурной истории произведения, дает сжатую характеристику произведения, освещает вопросы датировки и авторства Герцена. В тех случаях, когда понимание отдельных мест произведения представляется затруднительным, комментарий включает в себя необходимый материал, который облегчает правильное понимание содержания произведения и раскрывает встречающиеся в тексте намеки, наименования, сопоставления. Комментируемые места текста обозначаются знаком *. В каждый том издания входит указатель имен и библиографических названий, упоминаемых в основном тексте.

Настоящее издание Собрания сочинений А. И. Герцена осуществляется Институтом мировой литературы им. А. М. Горького Академии Наук СССР при участии Института русской литературы (Пушкинский Дом), Института философии и Института истории АН СССР.

# ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1829–1841 ГОДОВ

# О МЕСТЕ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ

(Посвящается Т. П. Пассек)

> Горе вам, книжницы и фарисеи, яко очищаете внешнее стклянницы...*
>
> (Матф., XXIII. 25).

> Semblables aux physiologistes les philosophes critiques ont fait de l'univers ce que ceux-là ont fait de l'homme *vivant — un cadavre.*
>
> «Reli⟨gion⟩ St. Simonienne». E. Rodrigues (p. 168)[1].

Законы природы, проявление ее жизни — постоянны и неизменяемы в отдельном феномене и во всем мире феноменальном. Так и хронологическое развитие ее носит отпечатки строжайшей последовательности; постепенно восходит она от простого к сложному, начавшись телами тайножизненными и оканчиваясь самопознанием. Какое место развивающаяся природа предоставила человеку?

Было время, когда планета наша, *неустроенная*, по словам боговдохновенной геогонии*, ненаселенная, неоконченная, носилась в беспредельном пространстве солнечной системы; дикие, необузданные силы природы яростно бушевали на ней; огромные скалы гранита дробились, засыпая своими обломками другие развалины, другие обломки; клокочущие реки растопленных металлов обтекали поверхность ее, чуждую всяких жителей; «но и чрез сии разрушения видна цель творения»,— говорит историк природы Гердер. Сим хаотическим состоянием началось развитие планеты; из стихийного бытия она

[1] Подобно физиологам, представители критической философии сделали из вселенной то, что те сделали из *живого* человека,— *труп*. «Религия сен-симонизма». Э. Родриг (стр. 168) (франц.).— *Ред.*

переходила к бытию собственному и началась одной природой неорудной*, требующей наименьшей степени жизни, живущей *смертью прочих* царств[1]; когда она образована достаточно, после появления первозданных горнокаменных пород, бушующие силы стихают, необъятная теплота, сплавившая в шар нашу планету, уменьшается, устремления огненные реже проторгаются на поверхность, и она овлажена водою, падающей из атмосферы, которая не могла низвергнуться на каленую поверхность. Явились условия жизни растительной — явились растения, и с самого начала, т. е. с растений бессеменодольных. Доселе в недрах земли, среди пород второздашных, остались следы этих гигантских папоротников, вытянутых в необъятную форму более нежели тропическим жаром, повсюду бывшим. Поверхность охлаждалась, сильнее стремилась на нее вода, и яростные потоки, изрывая долины, образуя горы, отторгая скалы, растворяя камни, уничтожили первых населителей земной поверхности и скрылись, оставя за собою бесчисленное множество водяных животных. Так, кажется, порядок нарушился, ибо за бессеменодольными растениями должны бы были явиться семенодольные. Нет, низшее в животном царстве не совершеннее высшего в растительном. Возьмите магнолию, прелестную восточную магнолию, и сравните ее с каким-нибудь полуживым слизняком. Степени жизни образуют круги пересекающиеся. Далее новые следы и остатки растений и животных и новые следы переворотов, погубивших их, и в числе оных звери, огромные, соответствующие тогдашней колоссальности и разрушений и созданий. Хотите ли вы видеть эту природу, дикую, неоконченную, колоссальную? Тогда оставьте Европу — посредственную, истасканную Европу,— в ней все половинно и бедно; оставьте ее полумертвые сосны, ее полуживые липы, ее плачущие тополи, ее узкие реки, ее умеренный климат, ее вечную Швейцарию с своими ледниками. Ступайте туда, где кора баобабы вам скажет о нескольких столетиях своего бытия, где гордая, благородная пальма надменно подымает коронованную голову свою; ступайте туда, в Новую Голландию*, в ту

[1] Надеемся, что г-н Максимович простит нам* похищение сего прелестного выражения.

De Leibniz

# О мѣстѣ человѣка въ природѣ

[Посвящается П. П. Павлову]

Горе вамъ книжники и фарисеи, яко очищаете внѣшнее сткляницы (Матѳ. XXIII. 25)

Es ist [illegible] ... [illegible] ...

Semblables aux physiologistes, les philosophes critiques ont fait de l'univers ce que ceux-là ont fait de l'homme vivant un cadavre.
Rel. St-Simonienne
E. Rodrigues
(p. 168.)

проявленіе ея жизни

Законы природы постоянны и неизмѣняемы въ отдѣльномъ явленіи, и во всемъ мірѣ явленій. Такъ ~~историческое~~ хронологическое развитіе ея носитъ отпечатокъ строжайшей послѣдовательности, постепенно восходитъ она отъ простаго къ сложному, начавшись низшими неодушевленными и оканчиваясь самосознаніемъ. ~~[illegible]~~ Такое мѣсто развивающейся природы предоставила человѣку, ~~[illegible]~~

Было время, когда планета наша неустроенная по словамъ боговдохновенной книги, неоконченная носилась въ безпредѣльномъ пространствѣ солнечной системы; дикія, необузданныя силы природы яростно бушевали на ней, огромныя скалы гранита дробились, ~~превращаясь въ развалины~~, засыпая своими обломками, другія развалины, другія обломки, и клокочущія рѣки расплавленныхъ металловъ ~~[illegible]~~ обливали поверхность ея, чудную великую лишенную, „и въ игрищѣ разрушеній видны узы творенія" говоритъ красноречивый историкъ природы Гердеръ. Тогда пришла торжества ея. Силою химическихъ соединеній начала развитіе ~~прир~~ планеты: изъ огненнаго быта она переходила ~~[illegible]~~ въ жидкую собственность. Сначала явилась и низшая одна природа неорганическая,

девственную страну, к которой еще едва прикоснулась рука человека; туда, где на всей земле еще не зажили рубцы и раны ужасных переворотов, где каленое небо вас сожжет, где близок океан и где что-то допотопное вам напомнит орниторинха*, с которым скорее встретитесь, нежели с человеком. Почти такова была и природа второзданная; но снова льется пламя из недр земли, снова вода заливает высочайшие горы,— царствует разрушение, после него третьезданные области, на которых мы обитаем. Труды Гумбольдта, Броньяра, Кювье распластали перед нами шар земной до самого ядра его, кости животных допотопных — мамонты, мастодонты, палеотерии — найдены и определены с точностию. Но где же homo diluvii testis[1]? Это загадка для геологов прошлого века. Она разрешилась тем, что Кювье доказал невозможность найти их. Итак, образующая природа отделила целым миром развалин и разрушений, океанами потопов и огненными извержениями царство животное от царства самопознательного. Творец желал, чтоб природа вполне развитая представилась царю своему — человеку, необходимому для природы; кто без него оценил бы творение и благоговел бы пред творцом и любил бы его? С появлением человека прекращаются эти повсеместные перевороты, и чем далее, тем они реже. Теперь нам изредка природа напоминает власть свою вулканическими извержениями, частными потопами и сотрясением земли. Так после сильной бури усталая туча уходит за небосклон, но еще издали слышны по временам глухие перекаты грома, и бледная молния, мгновенно вспыхивая, озаряет окрестности. Дикие, всеобщие перевороты исчезли. Природа бережет любимое дитя свое — человека.

И кто же этот человек, превознесенный над всею природою? Неужели животное, как и все прочие? Для разрешения сего кинем взгляд на восхождение бытия от ископаемого до человека.

Различные степени проявления жизни выражают различные идеи, и хотя они сбегаются на рубежах своих, но ярко разделены (допустим выражение) центрами своими. Начальное явление бытия с преобладанием формы мы встречаем в ископаемых, неорудных, но не безжизненных. Отвергнув жизнь

---

[1] человек — свидетель потопа (лат.).— *Ред.*

ископаемых, трудно понять преобладание формы, которая со всею строгостию выполняется, будучи начерчена еще в возможности. Люди гениальные, обращая ясновидящий взор свой на предметы, часто по какому-то внутреннему чувству, может, безотчетному, открывают истины, не имея путей к ним; так составилась идеальная часть света в думах великого Колумба, так составилась глубокая мысль Коперника, так и Линней предчувствовал, что ископаемые живут; иначе как бы мог он мечтать и в них найти половую систему. Жизнь эта только образовательная; произведя форму, она цепенеет, застывает, и эта форма, в которой проявилась *жизнь минеральная*, пребывает, доколе *внешнее* не изменит или не разложит ее. Чрез плесни, чрез materia viridis (Priestley)[1] переливается тайножизненная природа в растительножизненную*; здесь жизнь полная борется с минеральным оцепенением, растение приковано к материку, материк — часть его; оно увеличивается изнутри, но его строение близко к минеральному; нет средоточия, нет единства, органы наружу, и полное развитие одних есть упадок других. Хаотическая область животнорастений служит переходом или, лучше, вступлением в царство животножизненное. Здесь впервые является неделимое, неделимое целое, само в себе заключенное, сосредоточенное, отторженное от материка, меняющее свое место и, что всего важнее, умеющее чувствовать и действовать. Здесь, кажется, высшее развитие природы материальной; все, что возможно при помощи жизни сделать из вещества, все, кажется, истощено,— *материя возвысилась до чувствования!* Уже плодотворная система не есть ultimus finis[2]; мозг, общее чувствилище, венчает животного; зрение, обоняние, слух — эти окны, прорубленные на видимую природу, — оканчивают, заключают животный организм.

Остановилось ли развитие природы на животном царстве? Нет, оно идет далее. Творец создает человека по образу и по подобию своему; без человека природа не вполне выражала бы творца. Безусловное самопознание всевышнего соединяется с бес-

---

[1] зелсное вещество (Пристли) (лат.).— *Ред.*

[2] крайний предел (лат.).— *Ред.*

сознательным веществом, и является существо среднее между богом и природою, телом принадлежащее миру конечному, миру форм, духом — миру идеальному, бесконечному. Его бытие здесь есть явление и, как все явления, преходяще; по совершении оного его гетеростихийное существование в мире форм прекращается; тогда его тело — часть планеты, его дух летит в свою родину, к своему творцу, — он часть его! Сей-то *эклектизм* духовного с телесным и есть человек. Соединение противуположностей кажется натяжкою, а между тем это один из главнейших законов природы. Вещество (по феории динамической) есть соединение силы расширительной с сжимательною. Соединение противуположных электричеств не было ли главною причиною образования тел неорудных?.. Опыты Беккереля служат новым доказательством.

Чем же человек отличается от животных? *Самопознанием*, *мышлением*. Далее и идти не для чего. Неужели мышления недостаточно для того, чтоб отделить человека от животных? Разве недостаточно потому, что нельзя ощущать чувствами мышление: «Аще не вижу, не иму веры». Но есть животные, столь похожие наружными частями на растения, что некогда к ним относились (например, некоторые роды, принадлежащие к полипам), и отличаются невидимою силою, приводящею в движение части их тела. Из того же начала, человек—не животное, несмотря на сходство его земной стороны, его внешнего, его видимого с животными. Думаем, что другого доказательства не надобно, ибо одно возражение может низринуть нас — пример животного, которое размышляет! Но кто же в этом поклеплет животного, несмотря на то, что иные из них могут делать посылки и имеют инстинкт? Кто заметил, чтоб в них развивались идеи истинного, благого, изящного, эти проявления самого бога в человеке? Но скажут: животные мыслили бы, ежели б организация мозга была другая. Может быть, но организация та, а не другая! C'est une chose décidée[1]. Мы говорим о полноте нашего доказательства не от бедности; вот другое, столь же убедительное: *свобода и воля* человеческая. Свобода сия настолько же отстоит от животного произвола, насколько разум от инстинкта; эта

[1] Это дело решенное (франц.).— *Ред.*

творческая возможность свободно действовать есть вернейшее доказательство высокого начала духа нашего. Человек отдан сам себе, природа строго смотрит за животным. Животное, удовлетворяющее требования, подсказанные природою, есть растение, отвязанное от материка. Свободный человек может всегда отделиться от материи и переселяться на родину духа своего. Он в себе носит начало воли, и она зависит, но не подлежит внешнему. Что же из этого? Природа самовластно управляет животными; но человек не покорился ей, он умозрением узнал законы ее, сбегающиеся с законами его мышления, и покорил всю эту необъятную, мощную природу. Следовало бы еще сказать о речи, но речь состоит из знаков, коими мы означаем понятия и передаем их, и, следственно, говоря о мышлении, мы уже обнимаем и все, от оного зависящее.

Цель естественных наук есть назначение места всем произведениям природы; посмотрим, какое же место человеку обыкновенно дают естествоиспытатели.

У Линнея человек соединен в один порядок с обезьянами и нетопырями. Но Линней знает достоинства человека; он называет его венцом творения, дает эпитет sapiens[1] и прибавляет, как бы на смех, nosce te ipsum[2], — впрочем, очень нужный совет, ибо где наименее человек может знать себя, как между обезьян и нетопырей?[3] Но скажут, это было давно, теперь мы ушли далеко; возьмем Кювье, году нет, что он умер, и из современной славы нет выше его. Он уступает человеку целый порядок, но неразрывные обезьяны и здесь возле человека. Говоря о различиях его с животными, вот с чего он начинает: «Нога человека весьма отличается от обезьяничьей, она шире...» Нам могут сделать два возражения: что естествоиспытатели рассматривают одну животную сторону человека и что приведенные нами — сенсуалисты. Хотя на первое мы ответим в своем месте, но скажем теперь, что это их обыкновенная защита; но они не верны сами себе, говоря всегда о душе человека. Для опровержения второго стоит только привести в пример Окена, Шел-

---

[1] разумный (лат.).— *Ред.*

[2] познай самого себя (лат.).— *Ред.*

[3] См. C. L i n n é. «Systema Naturae». Ed. XIII, t. 1.

линнова последователя, натурфилософа Окена. Человек у него — животное и тоже сродник обезьянам. Сколь несправедливо подобное помещение человека, столь же ужасен материализм, которым объясняют психологию нашу; вот несколько примеров. Знаете ли, отчего человек не скитается по лесам, а живет в обществах? Кювье это объяснил подробно. Недостаток пищи не позволял содержать более одной жены человеку, а одна из принадлежностей моногамии в животном ц⟨арстве⟩ есть участие отца в воспитании детей; поелику же младенчество человека занимает долгое время, то между тем родятся новые дети, а как они слабее своих родителей, то остаются при них и под их властью. Вот зерно общества и его иерархии! Не говоря о слабости таких выводов, заметим: для чего же человеку, ежели он животное, содержать жен своих? почему на Востоке есть общества и при полигамии, почему дети не оставляют родителей при совершеннолетстве?[1] Хотите ли знать, что такое ум и почему его нет у животных? Окен вам скажет: «Голос человека столь разнообразен, что вмещает в себе голоса всех животных, отсюда — возможность речи. Способность понимать всевозможные тоны называется *умом*, которого оттого нет у животных, что они могут понимать только малое число тонов»[2]. Возражать не станем: эта честь должна вполне принадлежать — *глухонемым!* Греки очеловечили своих богов и, следственно, понятие человека возвысили до божества, а мы стараемся унизить человека до животного, с такою энергиею, что один известный естествоиспытатель уверяет, что обезьяны говорили бы, ежели б у них несколько изменить строение гортани, а Гельвеций в *блаженной памяти* материализме своем доказывал, что люди жили бы в лесах, были бы скоты, ежели бы — смешно сказать— вместо рук у них были копыты! Верите ли вы этому?.. Впрочем, есть естествоиспытатели, которые были справедливее к человеку; таковы, например, Боннет, Шуберт, Зуев.

Рассмотрим, отчего сие ложное место человеку, и, следственно, обнаружим недостаток способов, по коим определяли его.

Ум человеческий действует по определенным законам, и нелепость, как противуречие сим законам, ему невозможна. Отчего же бесчисленные ошибки, ложные теории, системы?.. От не-

[1] См. «Règne animal» par Cuvier, tome I, page 77, éd. 2.

[2] Oken. «Naturgeschichte für Schulen», tome II, page 973*.

полноты, от недостатка методы. Кажется, можно принять сие мнение; следственно, здесь-то в корне и надлежит отыскать начало ложной мысли, которую мы опровергаем. Важность методы не подлежит сомнению; Картезий, первый законоположитель методы, великий Декарт, когда хвалили его математические открытия, говорил: «Хвалите не открытия, а методу». Она есть порождение новейших времен и верная сопутница им в вечность. Но да позволено будет несколько отклониться, чтоб из самых общих начал вывесть наше мнение. Два начала в полном слитии составляют вселенную: идея и форма, внутреннее и внешнее, душа и тело. Мышление человеческое раздвоилось. Человек, редко умеренный, всегда увлекаемый первою мыслию или первым впечатлением, исключительно предавался либо внутреннему, либо внешнему, тонул в идеальном или терялся в реальном. Платон воздвигнул колонну гигантскую, высокую, донебесную,—воздвигнул ее душе человеческой и направил к богу. Аристотель создал огромный, колоссальный Панфеон, в него заключил всю природу и грядущим векам завещал наполнить пустоты. Двадцать два столетия не смели выйти из перипатетических портиков*. Двойство это повторилось еще недавно, его выразили гении, достойные времен новейших: Картезий и Бакон. Картезий с своим внутренним сознанием, с своею умозрительною методою, с огромными феориями; Бакон с внешними чувствами, с наблюдательною методою, с вечным a posteriori. Оба они велики, колоссальны, но оба неполны, односторонны: истина, кажется, осталась между ими, и они захватили только края ее. Почти все естествоиспытатели приняли методу Бакона; она превосходна, бесчисленное множество открытых фактов говорит в ее пользу, но она не полна. Сам Бакон, зная недостаточность одних фактов, которые никогда не могут составить полного знания, предложил методу рациональную, «которая, соединясь браком с опытною, дает превосходное познание». Он вполне чувствовал важность умозрения в естественных науках. «Нет лучшего истолкователя природы, как ум человеческий; он проникает далее чувств»[1]. Естествоиспытатели сделали более: им и Баконова метода показалась слиш-

[1] «De dignitate et augmentis scientiarum», I.

ком обширна; они выбросили из нее рациональную сторону и оставили одни наблюдения и опыты, соединяя их различными искусственными способами между собою. Что же отсюда могло выйти? Грубый материализм,— он и не замедлил явиться. Все идеальное, духовное исчезло, мышление истолковалось домашними средствами из *особого* расположения органов. А мы сказали, что человек от животного отличается душою; они уничтожили душу, что же вышло из человека! — Животное. Они так и приняли. Но совесть их замучила, они видели, что человек не животное, надобно было найти отговорку, и прибавили: *по образованию органов своего тела*. Странная логика! Так же можно сказать: животное по растительной стороне есть растение; но ведь дело естественных наук показать, что́ человек сам по себе и что́ он весь относительно прочих произведений, а не что́ он именно по таким-то частям. И по какому праву они могут разбирать в человеке одну вещественную сторону, когда она природою так тесно соединена с невещественною? Ежели же они отвергнули невещественную сторону, так для чего же было оговариваться? Вся сия несообразность произошла от искаженного употребления методы Бакона, которой взята одна часть, наименее заставляющая думать, наиболее — работать. Такова судьба почти всех основателей школ, еще более — всех начинаний человеческих. Первая мысль чиста, высока, но последователи, но время, вытягивающие из начала до последней жилы и часто сбивающиеся с пути начального, доходят до несообразностей. Горняя философия Платона произвела мистицизм александрийский; Бакон, хотевший создать все науки,—Вольтера, все низвергающего; Национальное собрание 89 года—темный кровавый терроризм 93-го; Бонапарт—Наполеона. Но лучше ли бы было, ежели б человек держался всегда середины? Не думаем, но это вне нашего рассуждения... С другой стороны, взгляните на идеи, чисто принадлежащие векам палингенезическим: они идут, беспрерывно усовершаясь, ибо их о⟨с⟩нова и обширна и незы⟨блема⟩.

Обыкновенно говорят, что два способа познания: аналитический и синтетический. В этом и спорить нельзя, что анализ и синтез не все равно и что то и другое суть способы познания; но нам кажется несправедливо принять их за отдельные

способы познания, это поведет к ужаснейшим ошибкам. Ни синтез, ни анализ не могут довести до истины, ибо они суть две части, два момента *одного* полного познания. Естествоиспытатели и здесь поступили так же, как с Баконом, они вооружились скальпелем анализа, и им показалось за глаза довольно. Отсюда произошло некоторое, иногда многостороннее и точное, познание частей при совершенном незнании целого. Возьмите все естественные науки, что в них наиболее успело: органология, зоотомия, анатомия, описание видов и родов; а физиология, естественная система давно ли явились и много ли успели? О психологии и говорить нечего. — В физике превосходно разобраны некоторые отдельные явления, сделаны удачные применения открытий, а главные деятели природы, законы их действования, причины явлений — до них редко доходит и речь. Анализ взял верх в химии, а как не вспомнить сказанное странным феноменом прошлого века, тем человеком, который не имел ни предшественников, ни последователей, в обширном смысле, в своей стезе — Ж. Ж. Руссо: «Тогда только поверю, что имеете полное познание о телах орудных, когда из элементов их воспроизведете». И как же по этой методе может быть иначе, как при ней цвести физиологии, психологии? Девиз анализа — разъятие, части; а душа, а жизнь находятся в целом организме, и притом в живом организме. С ножом и огнем идут естествоиспытатели на природу, режут ее, жгут и после уверяют, что, кроме вещества, ничего не существует. И для чего все это они делают; не для того, чтоб поверить какую-нибудь мысль, выполнить феорию, а так,— *посмотреть, что выйдет*. Посмотрите зато, какова природа выходит из их рук. Это уж не та природа, полная жизни и изящного, дышащая свободою, проявленная идея бога,— одним словом, природа гор и океана, природа грозы и красот девы. Нет, это холодный мертвый труп, изрезанный на анатомическом столе, желтый, посиневший. Все приведено в беспорядок, всего множество, но оно лишнее; нет жизни, и никто не знает, зачем эта груда камней, зачем эти животные и в числе *их одно* лучше прочих — животное-человек! На сих-то развалинах царит бледный, хладнокровный материализм, и, подобно всем тиранам, окружен трупами, и уверяет, что это самое высшее состояние наук, и уверяет, что никогда оно не падет.

Следственно, скажут, по-вашему, сенсуализм вреден и должно принять воззрение и методу умозрительную. Нет, сенсуализм принес огромную пользу, он приготовил несметное множество материалов, из них люди гениальные создадут полное воспроизведение природы в уме человеческом; скажем более: естествоиспытателю *некоторым образом* необходимо быть сенсуалистом, ибо что идеалисты ни говорят, но нельзя познаваемое узнать без посредства чувств; ощущения чувственные служат началом познания, они как бы дают первый толчок деятельности познающей способности. Но, употребляя опытную методу, не должно на ней останавливаться, надобно дать место, и притом место большое, умозрению; факты чрезвычайно важны, но одни голые факты еще мало представляют разуму. Возьмите для примера все прикладные части математики. Начинается с эмпирии, с опыта; но как скоро вы его сделали, вы, уже не обращаясь снова к опытам, выводите законы, в природе существующие, со всеми их изменениями, единственно действием ума. Посмотрите, как открыл Ньютон феорию тяготения, как дошел Лаплас до величайших открытий своих в астрономии. Хотя описательные естественные науки в сем случае гораздо ниже, но мы и здесь можем назвать де-Кандоля, Жофруа Сент-Илера, в некотором отношении Бедана и др. Они употребляют почти тот же способ, который с таким успехом приложен в физике Биотом и который при дальнейшем развитии может их поставить наряду с науками точными. Но зато ультрасенсуализм большого числа естествоиспытателей заслуживает всеобщее порицание, несмотря на некоторую пользу, им приносимую; мы можем здесь сказать с Аристидом: *полезно, но несправедливо!* Эти люди явно восстают против философии, почитая ее метафизическим бредом, смеются над методою и всякий синтез считают схоластикою, и все это в XIX столетии; но посмотрите, как они довольны собою, как сии чернорабочие ученого мира презрительно говорят о своих предшественниках:

Man dächte hört man sie reden laut,
Sie hätten wirklich erobert die Braut.
Schiller[1].

[1] Слушая их громкие речи, можно подумать, что они в самом деле покорили невесту. Шиллер (нем.).— *Ред.*

Они почили на совершенстве *частных исследований*, и никаких дальнейших требований не развивается в душе их, и никакие помыслы не колеблют ее. *Спите, почивайте!* С другой стороны, кажется, и один идеализм не приведет к полному познанию природы, ибо что может быть реальнее ее? Идеализму принадлежит одна ноуменальная часть, а природа не есть ли мир явлений,— вспомним Фихте, он за своим *я* не разглядел природы. В идеализме увидите часто, что всю природу подталкивают под блестящую ипотезу и лучше уродуют ее, нежели мысль свою.

«Что же делать?»—скажете вы. Последовать правилу Бакона и соединить методу рациональную с эмпирическою. А для того, чтоб соединение было полно, необходимо слитие воедино (а не смесь!). Тогда только можно будет ждать, что естественная история станет на высокую степень *науки* и догонит то совершенство, до которого (в некотором смысле) достигла астрономия, старшая сестра ее. Тогда они, зная эмпирически предмет свой, будут знать и идею, которую он выражает, будут в состоянии не просто списывать природу, но выводить необходимость ее существования так, а не иначе. Но естествоведение имеет защитою свою юность (мы не говорим о частных исследованиях древних, ни даже об Аристотеле и Плинии), оно родилось после Бакона, а химия и физика едва ли существуют полвека.

Мысль сия не оригинальна, она принадлежит к ряду идей, развивающихся с начала XIX столетия. Никогда умственная деятельность не была столь сильна и столь исполнена жизни, как в два последние века. Человечество переходило от одной крайности к другой, часто обливая кровью путь свой, и, наконец, видя неполноту всех исключительных феорий, оно, усталое, потребовало соединения крайностей: «ni bonnet rouge,— говорит В. Гюго,— ni talon rouge!»[1] Конечно, с сим не остановится деятельность умственная, ибо самое соединение двух начал не есть ли задача в бесконечность, ибо кто исчислит пропорции, в коих можно соединять сии начала, даже не прекратится борение противуположных стихий — это жизнь умственная; но стремление

[1] «ни красного колпака, ни красного каблука», т. е. ни якобинца, ни аристократа (франц.).— *Ред.*

соединить противуположности сильно влилось в умы. Назовите, что это эклектизм, отдайте его Кузеню и прибавьте, что Кузень жил в Париже (как говорят «в Москве»), это нам все равно. Мысль эта, повторяем, принадлежит юным идеям, столь исполненным надежд, и всякий должен почесть весьма счастливым себя, ежели послужит хотя самым слабым отголоском их. Теперь человек может порадоваться, подышать надеждами: XVIII век, век анализа и разрушения, окончился тем колоссальным огненным извержением, которое столь похоже на мощные перевороты допотопные, изменявшие все лицо планеты, которого горящие камни разлетелись по всему свету и которого лавы крови разлились от гильотины *Площади революции* (Place de la Révolution) до подножия родного Кремля. Из развалин возник новый человек, стряхнул с себя пыль и, благодаря предшественников, начал новое здание. Теперь он строит, погодим судить его,— это великое дело будет принадлежать потомству; мы можем только наслаждаться лучом надежды, который на нас льет яркий свет свой. Высоки требования обновленного человека. Возьмите Шеллинга; он, может, во многом шел слишком далеко, но какие высокие мысли, какое понятие о природе, о науках; в особенности сошлемся на «Vom Academischen Studium». Придут другие, которые выполнят его требования, будем благодарны и ему, он указал их. Возьмите Францию, эту страну по превосходству материалистическую. Давно ли Кабанисы, Траси, Азаисы повторяли уроки Кондильяковы и энциклопедистов, и им рукоплескали, а теперь центр материализма— Ecole normale[1], образованная материалистами, вскормленная материалистами, оканчивая блестящее существование, на развалинах своих возрождает новую школу, более сообразную духу времени. Пусть ныне поносят ее (из видов политических и личных), но велика и эта школа, ее девиз близок к душе человека XIX столетия:

Tout accepter et rien exclure[2].

Декабря 1, 1832.

[1] Высшая педагогическая школа ⟨в Париже⟩ (франц.).— *Ред.*

[2] Все принять и ничего не исключать (франц.).— *Ред.*

## ‹РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, КАК И ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА...›

Развитие человечества, как и одного человека, подвержено некоторым законам, положительным, непреложным, необходимым. Произволу места нет, и сколь ‹ни› несгнетаема и ‹ни› свободна воля индивидуального человека, она теряется в общем направлении океана всего человечества. Всякое действие, всякое явление, всякий факт исторический есть внешняя сторона другой, ноуменальной и производящей. Ясное дело, что прошлый век, сколь он ни различен от предыдущих, был прямое произведение их; рассмотрите, и вы, не зная его, предскажете, из каких он состоит элементов. Схоластика, подавленная авторитетом, боявшаяся исследовать, пала, ум человеческий должен получить вознаграждение — должны явиться скептицизм, анализ. Вот оружие прошлого века, им он строит, им разрушает. Феодализм и деспотизм потряслись; равенство и конституционность должны были явиться на их развалинах, по естественному закону противуположения — так и было.—Странно за это бранить XVIII век. Странно желать продолжения этого века в XIX, именно потому, что перед ним уже был тот век, а развитие человеческое не повторяет само себя, не стоит на одном месте, а идет вперед. История уже показывает, насколько мы ушли, но еще есть остатки того века, и это естественно, исчезнут они мало-помалу, дни их уже высчитал Дюпень, и тогда явится век новый или, лучше, начнется вполне. Полагать, что анализ все еще торжествует самодержавно, что скептицизм все еще заменяет всякое мышление и всякое верование, будет анахронизм, в который можно впасть или от близорукости, или от злонамеренности. Все это пришло нам в голову, читая в «Телескопе»

статью о современном духе анализа и критики! В наш век расплодились множество плакс, которые обо всем горюют и скорбят, на их иеремиады не достанет и китайской азбуки; они плачут или видя, что век их опередил и они его не понимают, или для того, чтоб показать, что они забежали век; но оставим эти общие места, станем лицо к лицу с сказанной статьею и

Commençons par le commencement[1].

*Общество обратило все внимание само на себя, потому что оно нездорово.* Без всякого сомнения, и кто бы велел Франции восстать всеми силами, пролить реки крови, ежели бы не болезнь ее политического тела, которое было не в уровень с веком, с идеями. *Это не жизнь, а судорожное движение*, т. е. не жизнь здоровая; конечно, французская революция не есть нормальная форма существования общества, это неоспоримо. *Ибо когда мы живем вполне, то не чувствуем это, не имеем самопознания,*— вот это немного мудрено, я могу чувствовать, что я вижу, и тогда, когда глаза мои не болят. Ежели же мы только то чувствуем и познаем в себе, что болит, то следственно, Платон и Кант необходимо были или сумасшедшие, или глупые люди, ибо их разумение должно быть поражено болезнию, для того чтоб обратить на себя внимание. *Все говорят об общественном порядке, следовательно, он не существует теперь.* Да, он не существовал, когда начали кричать об этом; но мы думаем, что чаще говорят о вещах существующих, нежели о несуществующих. А то, приняв правило г-на автора, иной подумал бы, что в IV и V веке не существовало христианство, потому что об нем все писали и говорили, и что теперь золотая эра сей религии, ибо никто об ней не пишет и не говорит. Но не будем останавливаться на словах; неужели г-н автор так наивен, что воображает, что менее нежели в полвека человечество могло разрушить заблуждения нескольких веков и заменить их прочным, готовым? Декарт все сломал сначала, но в состоянии ли он был создать гармоническое, целое здание; он делал опыты велик⟨ие⟩ и в них наконец предложил методу — средство, орудие — и остановился. Так и человечество, могло ли оно разом заменить все

[1] Начнем с начала (франц.).— *Ред.*

разрушенное? *В судорожном движении родился анализ и критика, и они-то губят все.* Конечно, анализ односторонен; но и от него есть польза, факты это скажут, а сверх того, он уже ослабнул и не есть единственное средство. *Все разрушается, все рушит,*— против этого мы оставим ратовать самого автора, который через страницу говорит, *что Кузень все восстановляет ныне.* Подобное вы встретите на каждой строке, у него фразы дерутся между собою. Говоря о ничтожности людей нашего времени, он говорит: *полноте писать, вас забудут, одно слово великого Наполеона важнее ваших томов;* а в котором бишь веке жил Наполеон? Или: *не от анализа происходит польза, он только рушит, английская конституция развита не из одного начала, составилась из отдельных кусков, и она-то обусловила славу.* Так, по мнению г-на автора, анализ состоит в развитии из одного начала. Это ново! *Все абсолютные системы должны пасть* — —и через строку... *Франция возвратится к абсолютной монархии.* Вообще автор совершенно проглядел, что ныне уже 1833 год, а не 1793. И в том времени он проглядел все полезное и не понял его.—Жалкое состоян⟨ие⟩ это его мечет из стороны в сторону. Знаете ли, по его мнению, какая важнейшая услуга революции? Разрешение задачи: *буйные и непокорные эгоисты не могут составить добродетельного общества.* Для этого не нужно было ничего, кроме ума, чтоб разрешить сей вопрос. Но действовать умом для него кажется опасно, он философию называет бредом, хроническою болезнию. Но что такое болезнь — отклонение от нормального состояния; следственно, наш автор болен и болен не физически, вы догадываетесь чем... остановимся, болезнь есть несчастие. Жерар лечил несчастных голландцев. Пожелаем ему выздоровления. Но еще вопрос, зачем переводят такие статьи, к которым справедливо можно применить выражение Наполеона — incendiaire[1]. Un sot trouve toujours un plus sot qu' il admire[2], *— ответите вы. Хуже, гораздо хуже,— сказать мерзко.

⟨Начало 1833 г.⟩

[1] зажигательные (франц.).— *Ред.*

[2] Глупец всегда найдет еще большего глупца, которым он восхищается (франц.).— *Ред.*

## ДВАДЦАТЬ ОСЬМОЕ ЯНВАРЯ

Посвящается другу моему Диомиду

Рекла: сей человек предел мой нарушил.
Ломоносов*.

Et la révolution s'est faite homme.
V. Cousin[1].

Орбиты планет известны; образ движения их раскрыт; думают, что уже достигли до полного знания системы мира, как внезапно появляется комета, мерцая косою, прокладывая себе путь новый, самобытный, пересекая во всевозможных направлениях пространства небесные. Астроном теряется, думает, что разрушены им открытые законы; но комета, нисколько не разрушая законов вселенной, сама подчинена им и имеет свои законы, вначале не обнятые слабым мышлением человеческим, раскрытые впоследствии. Являющееся в беспредельных пространствах систем небесных повторяется в развитии человечества, коего орбита также вычислена, также имела своих Кеплеров. Внезапно появляется великий, мощный, как будто смеется над историком и его законами и силою воли и рушит и созидает. Хотя воля человеческая не закована в законы математические, однакож мудрено допустить здесь произвол, замечая гармоническое *развитие человечества*, в котором всякая индивидуальная воля, кажется, поглощается общим движением, подобно как движение Земли уносит с собою все тела, на ней находящиеся. Между тем вот Петр; силою своего гения, вопреки народу, он выдвинул отсталую часть Европы, и она, быстро развиваясь,

[1] И революция воплотилась в человеке. В. Кузен (франц.).— *Ред.*

устремилась за старшими братьями. Петр, который также, подобно комете, не совершив круговорота, исчез, удалился за пределы нашего мира, век и семь лет тому назад, 28 января. Посмотрим же: 1) Явился ли сей гигант, вопреки всем историческим законам, столь самобытным, столь заключенным в самом себе, что, с одной стороны, в нем не было исторической необходимости, с другой — что без него Россия осталась бы доныне в том состоянии, в котором была до него. 2) После устремления России к европеизму, в чем и как успела она до нынешнего времени.

## Статья I

Развитие человечества требует — скажем более: обрекает — некоторых людей на высокую должность *развивателей*. Преклоним главы наши пред ними; но не забудем, что они орудия идей, которые и без них — может, иначе, может, позже,— но развились бы. Мера высоты развивателей есть их самобытность и отчетливое познание того, что̀ они совершают. Принимая сей результат, поищем, возможно ли истолковать явление Петра из законов развития идеи, понять оное не произвольным, но необходимым. Для сего предварительно разрешим следующий вопрос. Принадлежат ли славяне к Европе? Нам кажется, что принадлежат, ибо они на нее имеют равное право со всеми племенами, приходившими окончить насильственною смертью дряхлый Рим и терзать в агонии находившуюся Византию; ибо они связаны с нею ее мощной связью—христианством; ибо они распространились в ней от Азии до Скандинавии и Венеции. Польша с давних времен считалась нераздельною с Европою, другие осколки сего племени также давно уже сроднились с нею. Ежели примем, что принадлежат, ежели примем, что Европа составляет живой организм, имеющий свою жизнь, свою цель, свой девиз, несмотря на всю разнородность частей своих, то будем в необходимости принять и следующее. В сем живом организме славяне, какой бы индивидуализм ни имели, какое бы место ни занимали: по мнению ли Мишле — охраняя восточные пределы Европы, или — как думал великий Петр — внедряя в Азию европеизм, ибо для цели жизни государства еще недостаточно быть ведетою* для других государств, или иначе,—

все они должны вместе с Европою стремиться к ее мете — таково условие всего органически живого. Иначе они не составили бы живой части Европы, на что, собственно, местоположение не дает еще права, в чем свидетельствует Турция, которая, с самого начала изгнав европеизм из Византии, никогда не сроднилась с Европою. В тенденции Европы сомнения нет — каждый знает и никто не спорит в том, что она развивает гражданственность и устремляет к дальнейшей цивилизации (в обширном смысле) человечество, доставшееся ей от Рима и от Греции — сих переходных состояний — и соединившееся с племенами новыми. Приняв за основание высокое начало — христианство, развивалась с востока и с запада жизнь Европы.

Доселе развитие Европы была беспрерывная борьба варваров с Римом, пап с императорами, победителей с побежденными, феодалов с народом, царей с феодалами, с коммунами, с народами, наконец собственников с неимущими. Но человечество и должно находиться в борьбе, доколе оно не разовьется, не будет жить полною жизнию, не взойдет в фазу человеческую, в фазу гармонии, или должно почить в самом себе, как мистический Восток.

В этой борьбе родилось среднее состояние, выражающее начало слития противуположных начал,— просвещение, европеизм. Были ли у славян или, частнее говоря, у России элементы к такой оппозиции? Ежели и были, то весьма слабые. Норманны, в очень ограниченном числе пришедшие царить над нами, вскоре слились с подданными и потонули в славянском элементе[1]. Укажите после Владимира на одного из князей, сохранившего норманские обычаи. Но, преданная восточному созерцательному мистицизму, азиатская стоячесть овладевала Россиею, к чему располагало и самое огромное растяжение ее по земле плоской, безгорной, удаленной от морей, покрытой лесами. В удельной системе (которая, может, произведенная феодализмом, совсем не совпадала с ним) не было ни оппозиции общин, ни оппозиции владельцев государю, а был элемент чуждый, особой формы деспотизм, сплавленный из начал византийских, славянских и

[1] Где же была оппозиция, так и произвела она следствия свои. Норманны еще были норманнами в Новегороде. Новгород был вольным городом до Иоанна III, Новгород знал Европу, был союзником ганзеатических городов. (Замечание сие сделано другом моим, В. В. Пассеком.)

азиатских. Двухвековое иго татар способствовало Россию сплавить в одно целое, но снова не произвело оппозиции. Основалось самодержавие — и оппозиции все не было. Вы ее не видите ни в самых ближайших потомках князей (мы исключаем из сего числа крамольных бояр, бывших при Грозном, при Годунове, при Шуйском: не дерзкая аристократия составляет деятельную, живую, неутомимую оппозицию), не было ее и между народом и дворянством, ибо сие последнее, собственно, стало угнетать народ всем гнетом феодальной касты со времен слабого Шуйского. Частые перемены династий, даже междуцарствия, не возмущали мертвой тишины духа народного; просвещение не западало в него, беспрерывные войны не развивали его. И Россия, отставшая от Европы несколькими веками, подвигалась тихо, почти незаметно. Но наступило уже то время, когда Европа, наскучив феодализмом, начавшая исследовать все подлежащее уму, приготовлялась сделать огромный пир анализу, рассмотреть права человека и произвесть огромный переворот, долженствовавший сплавить Европу в другую форму. Оканчивался XVII век, и скрозь вечереющий сумрак его уже проглядывал век дивный, мощный, деятельный, XVIII век; уже народы взглянули на себя, уже Монтескье писал, и душен становился воздух от близкой грозы. А Россия все еще не имела и элементов к ускорению хода. Но необходимость была огромна; отставшая часть Европы должна была сколько-нибудь нагнать ее, чтоб после иметь право на плоды XVIII века, который столь дорого стоил и который посему-то должен был сделаться общим достоянием, по крайней мере Европы, чтоб после видеть эту революцию скрозь дым пылающей Москвы, чтоб после идти самой в Париж предписывать законы победителям и побежденным, неразрывно слить свои судьбы с судьбами Европы и получить в подарок часть своего племени — Польшу.

...Явился Петр! Стал в оппозицию с народом, выразил собою Европу, задал себе задачу перенесть европеизм в Россию и на разрешение ее посвятил жизнь. Германия, носившая слабейшие зародыши гражданственной оппозиции, растерзанная на несколько частей, имела своего Петра, столь же колоссального, столь же мощного. Петр Германии — это Реформация. Она не донеслась к отделенным от мира католического, и у нас целый

переворот, кровавый и ужасный, заменился гением одного человека. Заметим однакож, что и Петр, как все революции, был исключительно, односторонне предан одной идее и ее развивал всеми средствами, даже доходил до жестокостей, так, как Реформация, как французский Конвент. Но ежели мы и примем необходимость Петра в России, и в сие время более, нежели когда-нибудь, то, тем не менее, обширна его самобытность. Появление его необходимо, но не вынужденно (так, как появление Лютера). Нет сомнения, что Россия двигнулась бы вперед; перелетные искры европеизма заносились уже при Годунове, вторгались с Самозванцем; но далеко ли бы она ушла с экзотическими отрывками сими? Не было, собственно, ни центра движения, ни ускоряющего толчка. То и другое создал Петр. Задача, которую он разрешил, хотя необходима была для России, но не ею предложена, а гением Великого; не вверена ему обстоятельствами, но влита им в обстоятельства, проведена его гением в идеи человечества и им же выполнена. Взгляните на этого изнеженного царевича, пятнадцати лет еще в руках нянюшек, окруженного рындами и всею пышностью восточного двора, невежду, ничему не ученого, которого младенчество угрожается кинжалом и юность — развратом, приготовляемым сестрою; взгляните и преклоните колено, это — Петр. Укажите, где, в какой стране, на каком поприще был человек более самобытный, для которого обстоятельства сделали бы менее. Велик герой Македонский; индивидуально он один мог утвердить торжество Греции над Азиею и начать новую жизнь самой Греции, но он — сын Филиппа. Самобытен Карл Великий. По пятам же за Карлом шло чудовище в латах и кольчугах*, с копьем и опущенным забралом, презирающее народ и расторгнувшее связи гражданские, для того чтоб теснее соединить узы семейные. Мечом распорядило оно всё, с высоты скалы, на которой обитало, и учреждения Карла Великого не принесли полного плода—ибо явились слишком рано. А его мысль восстановить Римскую империю не выполнилась — ибо явилась слишком поздно. Велик Цезарь, «из праха, брошенного Гракхом к небу, родился Марий»,— сказал Мирабо. Мы можем сказать, что Цезаря вызвал Марий с развалин карфагенских. Сверх того, поприще его прервано неоконченным; мы знаем, что он сделал Рим своим, но не

знаем, что бы он сделал из своего Рима. Разве один Наполеон пойдет в сравнение с Петром,— Наполеон, которого труп еще не охладел и которого колоссальная тень еще столь близка к нам, что мы не можем разглядеть ее; необъятно велик этот человек, начавший наш XIX век, окончивший разрушающий анализ XVIII века однообразным синтезом Европы, находившимся в думах его; этот человек, который деспотизмом помог революции облететь полмира, который был идолом народа, им скованного, который врубил свой щит в стенах Кремля и на пирамидах Египта и который окончил жизнь подобно сим пирамидам; на скале одинокой жил он, сам мавзолей своей славы, воздвигнутый в другом мире, царя над бесконечной степью—воли. Напрасно вы будете выводить его чистую необходимость из революции; он сын ее, как Александр — сын Филиппа; оба велики, оба самобытны, но один, так сказать, матерьяльно произвел другого. Когда же мы обратимся к отчетливости, к познанию цели, то высота Петра делается еще яснее. Густав-Адольф, Александр Македонский, может быть, самый Наполеон, действуют по какой-то вокации[1], по непреодолимому, темному стремлению, совершенно безотчетному, по тому мощному чувству, которое так изящно развито Шиллером в Валленштейне и Вернером в Аттиле. Они стремились к огромной монархии, коей пределы в мечтах делались тем далее, чем более они завоевывали, и польза, ими приносимая, не была их целью, а делалась, так сказать, chemin faisant[2]. Неужели Александр при Арбеллах думал, что он этой битвой прекратит возможность набегов Персии и надолго запрет вороты из Азии в Европу? Неужели плебей Бонапарт думал поразить феодальную идею законности, садясь на трон Генриха IV? Цель Петра ясным фаросом* освещала его путь, и в сем отношении ему подобен один Цезарь; но не сравнивайте их цели.

Остается нам взглянуть, насколько успел Петр; для этого должно рассмотреть жизнь России в продолжение века после его смерти, ибо ясное дело, что есть психологическая невозможность в 20 лет образовать, просветить страну в 16 миллионов

---

[1] призванию, от vocation (франц.).— *Ред.*

[2] мимоходом (франц.).— *Ред.*

жителей. Надлежало только влить в нее элементы, которые бы устремили Россию к фаросу Петра, конечно, не с тою быстротою, принадлежащею гению, но с мощностию и силою характера славянского. Какие это были элементы и как они развились — это относится ко второму вопросу. Первую же часть рассуждения заключим следующим.

Не поражало ли каждого из нас равнодушие России к Петру? Правда, ему есть памятник, величественный, среди его города, но надпись на нем: «Petro primo, Catharina secunda»[1]. Софья-Доротея, принцесса Ангальт-Цербстская, жена голштинского принца Ульриха*, заказала его Фальконету. Есть и другой памятник; под ним написано: «Прадеду правнук»*; это дело семейное. Но где же тут Россия? Где? Есть ли день, в который бы она собиралась в память Великого, есть ли поэт, которого бы он вдохновил, есть ли, наконец, творение, в котором бы достойным образом описаны были деянья Великого? Но не будем поверхностными, не станем обвинять родину в неблагодарности. Россия еще не имеет голоса; она поймет Петра и не останется к нему равнодушна. Народы во все времена сильно симпатизировали с людьми гениальными. Целый Рим плакал над окровавленной ризой Юлия, целый Париж приливал бурными волнами своими к одру умирающего Мирабо. Целая Франция оплакивала 5 мая*, целая страна преклоняет колена в день кончины Вашингтона. Пусть разовьется у нас народность, пусть русские, быстро слившиеся с Европою, или, лучше, вдохнув ее в себя, оставят одни элементы, им свойственные, и переработают их в свое собственное. Тогда потребуем отчета у России, и она не изменит великому характеру своему. Чтоб воротиться к сравнению, которым мы начали, заметим, что Пифагор и Сенека имели темное чувство, провидели, что кометы — не метеорические явления, а тела небесные, постоянные, имеющие свои орбиты. Ньютону и Лапласу предоставлено было докончить то, что они предполагали. Но мы не забыли и тех, коим впервые явилась мысль сия.

28 января 1833.

[1] «Петру Первому — Екатерина Вторая» (лат.).— *Ред.*

# АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ КОПЕРНИКА

In medio vero omnium residet Sol...
...et gubernat familiam astrorum.

N. Copernici «Revolutionum», Lib. I, Cap. X[1].

Ich schau in diesen reinen Zügen
Die wirkende Natur vor meiner Seele liegen.

Goethe («Faust»)[2].

Миром явлений окружен человек, явления сии, составляющие всю видимую природу, действуя на него, сообщают, так сказать, движение умственным способностям, и человек начинает размышлять о них. Но как, несмотря на единство законов ума, различны способы размышления, то и результаты получаются различные. Человек, редко умеренный, всегда же увлекаемый или первым впечатлением, или первою мыслию, устремляется на пути ложные и с каждым шагом далее и далее отклоняется от истины. Способы мышления с того времени, как начал человек обращать внимание на себя и на природу, раздвоились: это равно подтверждается рассматриванием человека à priori и опытностью веков до наших дней. Или человек, полагая, что в природе существуют токмо немногие начала, от которых, как от причины, зависит весь мир явлений, стремится со всем жаром высокой мысли постигнуть природу в идее; но недостаток фактов мешает успеху и, часто попадая по сему пути на мысли изящные, еще чаще тонут в ипотезах, в узкую форму коих втесняют

[1] В середине же всего покоится Солнце... и управляет семейством светил. Н. Коперника «Обращения», кн. I, гл. X (лат.).— *Ред.*

[2] В этих чистых очертаниях душе моей открывается творящая природа. Гёте («Фауст») (нем.).— *Ред.*

всю природу. Или, видя недостаточность сих теорий, человек занимается одними явлениями, одною природою внешнею, собирает факты и, подавленный множеством их, теряется, создает на каждый отдельную теорию и не достигает до общих многообъемлющих начал[1]. Нужно ли говорить, что здесь идет речь об обыкновенных людях; гений пролагает свою дорогу, указывает ее, но толпа последователей снова сбивается. Важность методы не подлежит сомнению, Декарт, первый законоположитель методы, великий Декарт, говорил, когда превозносили его математические открытия: «Хвалите не открытия, а методу». Займемся сею. Перебирая летописи наук, видим пользу, приносимую обоими воззрениями; но каждое особенно принять нельзя, ибо они односторонни; равно нельзя никоторое отвергнуть. Что же делать? Бакон Веруламский[2] и нынешние эклектики[3] советуют соединить методу рациональную с методою эмпирическою. Но нам кажется, что напрасно принимают эмпирию и идеализм за различные методы: это крайности одной методы, не существующие в отдельности друг от друга. Ни одна метода не начинадась с идеи, ни одна не оканчивалась фактами. Это части одного полного познания; итак, не токмо их должно совокупить, но и не должно разделять. Методу, таким образом понимаемую, мы найдем в творениях великих людей, особенно живших в последнее время; там, рассматривая ее, мы можем заметить, что она состоит из трех частей: 1) Изучение явлений во всех изменениях при всевозможных условиях. 2) Вывод образа или формы действия их (законы), связи с другими явлениями и зависимости от явлений *более общих* (причины). 3) Нисхождение от общего начала к явлениям, служащее поверкою и показывающее необходимость такого существования явлений. Избравши методу, нам предлежит избрать путь аналитический или синтетический. Здесь поступим так же. Ни синтезис, ни анализ не доведут до истины,

---

[1] «Qui tractaverunt scientias aut empirici, aut dogmatici fuerunt... Apis vero ratio media est...». Bacon. Nov. Org. ‹«Те, кто занимались науками, были либо эмпириками, либо догматиками... Пчела же избирает средний способ...» Бэкон. Новый Органон›*.

[2] «De dignitate et augmentis scientiarum» 1.

[3] V. Cousin. «Introduction à l'histoire de la philosophi» и «Fragments philosophiques». 1825.

ибо они не что иное суть, как средства получения одного полного познания. Сначала ум человеческий дробит предмет, рассматривает, так сказать, монады его — вот анализ; потом складывает их и получает полное познание, общее начало, объемлющее части,— вот синтез. Итак, можно ли отдельно употреблять сии способы для получения полного познания?

Солнечная система, до коей мы дойдем сим путем, истинная, и это *логическое развитие;* но таково ли было ее развитие *хронологическое?* Оно не случайное, ибо развитие человека во времени имеет свои законы. Ясна важность показать соотношения сих двух путей. Рассмотрим, каким образом наука дошла до полного развития системы мира. И ежели хронологическим порядком несколько подтвердится наша метода, то она истинная — ибо она естественна.

---

Начало всех наук подобно началу Нила; подобно ему, они составляются совокуплением многих незаметных ручьев. Но собственно астрономия (как наука) стала существовать с тех пор, как она соединилась с математикою; сия *леммическая* часть придала ей всю изящность, всю точность своих способов и довела до нынешнего совершенства. Рассматривая все астрономические сведения народов древних, мы видим множество частных изысканий (Тимохариса, Ипарха) и никакой основательной теории; с другой стороны, мечтательные ипотезы, иногда близкие к истине, иногда обличающие грубое незнание фактов. Наконец, все частные изыскания соединяются в одно, и составляется теория, существовавшая до Коперника; эта теория изложена *в собрании математических сочинений Клавдия Птоломея*[1], столь глубокомысленно названном аравами «Альмагестою»[2]. Это есть свод, система всех знаний, до него бывших; он не творил, а выразил сотворенное: «Альмагеста» в астрономии есть то же, что «Илиада» и «Одиссея» относительно быта древлегреческого. Итак, приняв Птоломея за представителя всей астрономии

---

[1] Правильнее *Птолемей* (Πτολεμαῖος). Ссылки мною сделаны на французское издание г. Гальмы с примечаниями Деламбра («Composition mathématique de Cl. Ptolémée», Paris, 1813).

[2] Частицы Al и греческая μέγάλη — великий. Итак, творение Птоломея у них было великое по превосходству.

в древности, рассмотрим знания, составляющие «Альмагесту», и систему, в ней предложенную.

Звезды, коими усеяно небо, не остаются в покое; какое-то общее движение увлекает их с востока на запад,— общее, ибо относительные положения звезд не переменяются. Рассматривая сие движение, видим, что некоторые звезды почти никакого движения не имеют (Полярная, околополярные...); другие описывают около их параллельные круги увеличивающегося до некоторого предела радиуса, достигнув коего, круги уменьшаются, так что снова окружают малыми кругами почти неподвижные звезды, никогда не видимые с нашего полушария. Ежели определим звезды относительно постоянных точек горизонта, то увидим, что они возвращаются к прежнему положению через 24 часа и, следственно, движение сие периодическое; наблюдая времена, в кои они проходят одинакие пространства, заключаем, что оно равномерное; сие движение названо *суточным*. Продолжая далее исследование, замечаем, что некоторые из звезд, наиболее блестящих, имеют собственное движение, обратное общему, но постоянное и определенное (планеты). Солнце и Луна также имеют собственное движение. Так, Солнце в известный месяц восходит в созвездии *Льва*, через некоторое время оно отойдет от сего созвездия и, все подаваясь на запад, через шесть месяцев будет восходить в созвездии, противуположном Льву. Наблюдения над полуденными высотами Солнца показывают, что собственное его движение происходит в плоскости круга, наклоненного к экватору под углом 23°, и что Солнце совершает полный оборот (т. е. оно возвращается в прежнее положение относительно звезд) в 365 $^1/_4$ дней. Движение планет сложнее; оно не имеет постоянного направления в одну сторону, но, более или менее удаляясь от Солнца, они останавливаются и потом снова возвращаются к нему. Возьмем, например, Меркурия. Иногда в продолжение нескольких дней он скрывается в западных лучах Солнца, с каждым днем отдаляется от оного более и более; отдалившись на 32°, он останавливается, потом возвращается к Солнцу, тонет в утренних лучах его, снова удаляется и, достигнув известного предела, возвращается к нему. Все прочие планеты движутся подобным образом и имеют также стояния и отступления, только пределы удаления от Солнца различны

(движение Венеры очень сходно с Меркурием, но Марс, например, быстро удаляется от Солнца, потом движение его делается тише; достигнув 152°, он стоит, потом тихо идет назад, и скорость беспрерывно возрастает). Далее, в продолжение некоторого периода замечено, что все звезды несколько подаются к востоку от пересечения экватора с эклиптикою. Гиппарх, сравнивая свои наблюдения с Тимохарисовыми, произведенными 160 годами прежде, нашел, что долготы звезд увеличились почти на 2°, такую же перемену заметил и Птоломей.

Вот материалы, из коих сочинитель «Альмагесты» мог создать теорию свою; неполнота их предсказывает неуспех ее. Система, называемая Птоломеевою, не есть теория, стройно развивающаяся из своего начала, а натянутое геометрическое объяснение некоторых явлений; оно может служить для представления движений небесных, для вывода некоторых законов оного движения и в таком отношении делает честь уму изобретателей. Птоломей в самом начале «Альмагесты» доказывает, что Земля есть центр вселенной, ибо ежели она ближе к одному полюсу, нежели к другому, то некоторые страны не будут никогда иметь равноденствия, и небо будет делиться горизонтом не на две половины, а знаем, что всегда видим 6 зодиакальных знаков (Liv. I, Ch. IV). А послику Земля (заключает Птоломей) всегда находится в центре, следственно, она никакого поступательного движения не имеет. Далее Птоломей замечает, что, ежели принять вращательное движение Земли, то легко объяснится суточное движение, но не принимает его, ибо в таком случае все земные тела, не прикрепленные к Земле, свалились бы с нее. Мы не будем возражать Птоломею, нет достоинства ныне делать это; лучше приведем в своем месте опровержения на него, сделанные впоследствии великими астрономами. Теперь заметим только жалкое состояние в то время механики и вообще физических наук. Переходя к планетам, он говорит, что все они движутся по кругам (Liv. III, Ch. II) движением равномерным, потому сие движение совершенно и *естественно*. Основание этой мысли, которая существовала до Кеплера, находим у пифагорийцев; оно изящно, происходя от уверенности в великой простоте и совершенстве способов природы. Хотя непонятно, как планеты имеют в одно время два движенья,

прямо противные, но еще мудренее объяснить стояния их и отступления. Для объяснения сего он делает два предположения (Liv. III, Ch. V). Планеты движутся по кругам, коих центры не совпадают с центром мира, т. е. с центром Земли. И, сверх того, планеты обращаются не по самым кругам, а по окружностям, коих центр движется по орбите. Первое предположение объясняет неравномерное движение планет (которое, следственно, есть только видимое), второе объясняет стояния и отступления. Не говоря о величайшей запутанности сих объяснений, о сложности, столь противной их высокому мнению о простоте природы, заметим, что Птоломей не дает средств измерить радиус эпициклов, и, следственно, по его теории нельзя с точностию определить расстояния планет. Тихо Браге[1] превосходно замечает нелепость заставлять двигаться тело около математической точки; при нынешнем состоянии механики это — решительная невозможность, ибо где же бы находился центр силы, удерживающей на орбите? Лаплас говорит, что всякое новое движение должно бы было прибавлять эпицикл на эпицикле,— чье воображение может вообразить эту сложность?[2] Расстояние планет определяет Птоломей по времени их обращения по орбите, принимая, что чем в кратчайшее время совершает планета путь свой, тем ближе она к Земле. Отсюда получилась следующая последовательность планет: Земля в центре, Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн.

Причина, по коей Солнце находится между Венерою и Марсом, сверх времени обращения, есть следующая (Liv. IX, Ch. I): Венера и Меркурий удаляются от Солнца токмо на некоторое данное расстояние, прочие же бывают иногда с ним в противуположении. Впрочем, Птоломей сомневается, должное ли место занимают сии две планеты и не за Солнцем ли они (как принимал Платон); но о естественном предположении, истекающем из того, что сии планеты никогда не бывают в противуположении с Солнцем,что они обращаются около него, он не говорит; заметим однако, что мысль сия была у египтян и у некоторых аравов.

---

[1] «Astronomiae instaurandae progymnasmata», Cl. 185 ⟨?⟩.

[2] «Exposition du système du Monde», Liv. V, Ch. II.

Таково искусственное создание ума человеческого, державшееся в продолжение нескольких веков. Недостаток фактов и пособий делал почти невозможным составление теории. «Альмагеста», выражающая всю древнюю астрономию, давила, подобно Аристотелевой философии, все время, в которое царствовали авторитеты. Но приближалось время, в которое ум человеческий стал отыскивать свою свободу, и в самом начале оного доктор медицины и каноник в Кракове 30 лет обдумывал переворот астрономии, который возвел сию науку на нынешнюю высокую степень совершенства; этот доктор медицины был *Николай Коперник*, этот переворот — его *солнечная система*.

Всем известно, в чем состоит его теория. Земля у него поменялась местом с Солнцем, и чрез сие произошла в объяснениях астрономических явлений та высокая простота, которой мы удивляемся в способах природы. Преимущество Коперниковой системы над Птоломеевой есть все превосходство истины пред ипотезою. Рассмотрим бессмертное творение великого человека, для коего он посвятил жизнь свою.

Коперник начинает свое сочинение «De revolutionibus orbium caelestium» тем, что фигура вселенной сферическая[1], ибо сия фигура есть наиболее совершенная, вмещает в себе наиболее вещества в данном объеме и есть фигура всех тел небесных, Солнца и планет. Положив сие, он переходит к движению и говорит: «Сфера должна двигаться по кру́гу, ибо кру́гом выражает она свою форму, ибо круг есть фигура совершенная, не имеющая ни начала, ни конца, ни частей». Мы выписываем это для того, чтобы показать, сколь ни был велик сей человек, но кое-где и на нем пятны схоластики,— он жил в XV веке! Теперь приступим к существенным началам его теории.

Ежели Земля не имеет никакого движения, то видели необходимость обращать все небо в 24 часа около Земли, но ежели расстояние от Земли до Сатурна велико, то что же сказать о расстоянии неподвижных звезд? Как же вообразить, чтоб все сии тела, в таком количестве и отдалении, обращались около Земли? Какая ужасная скорость нужна для сего; какое чудное распределение скоростей для того, чтобы все тела, близкие и

[1] Lib. I, Cap. I.

чрезмерно отдаленные, совершали путь свой в один и тот же период! И какое ужасное влияние Земли, этой точки относительно вселенной! «Птоломей,— говорит Коперник [1],— думает, что ежели движется Земля, то откуда могло произойти сие движение, как не от насильственного толчка, а природа не терпит насилия. Почему же он сам принуждает небо обращаться около Земли и в этом движении принимать участие тело, имеющее свое движение, прямо противное суточному?» Приняв суточное обращение Земли около своей оси от запада к востоку, вся солнечная система, все неподвижные звезды освободятся от суточного движения, которое тогда будет необходимый оптический обман, вследствие коего все небо должно казаться обращающимся с востока на запад. Мы часто бываем свидетелями подобных оптических явлений:

Provehimur portu, terraeque, urbesque recedunt [2].
(Virg. «Aeneis»).

Однажды решившись принять вращательное движение Земли, ее поступательное движение около Солнца можно принять удобнее. Сложность планетного движения у Птоломея удивительна. Меркурий и Венера были камнями преткновения древних. Ежели примем, что эклиптика есть путь Земли, а не Солнца, все объяснится. Стояния и отступления будут не что иное, как совокупное действие двух движений — Земли и планеты [3]. В верхнем соединении истинное движение планеты обратно движению Земли, и концентрическое движение есть сумма сих движений и имеет одно направление с концентрическим движением Солнца, происходящим от движения Земли, увлекаемой в противуположную сторону сему светилу,— тогда движение планеты прямое. В нижнем соединении движение планеты имеет одно направление с движением Земли, и поелику оно быстрее, то концентрическое движение сохраняет то же направление, противуположное видимому движению Солнца, — тогда планета отступает; среднее состояние между прямым движением и

---

[1] Lib. I, Cap. VIII.

[2] Мы плывем из порта, а земли и города отступают назад (Вергилий. «Энеида») (лат.).— *Ред.*

[3] Lib. I, Cap. X; Lib. V, Cap. XXXV.

отступлением есть стояние. Таково движение Меркурия и Венеры. Планеты, коих орбиты обнимают эклиптику, имеют то же движение в противуположениях, как и Земля; но оно медленнее, и, соединяясь с сим последним движением, принимаемым в обратную сторону, оно принимает направление, прямо противное начальному движению своему,— тогда концентрическое движение сих планет отступающее. Приняв годичное движение Земли, естественным образом открывается прекрасная теория времен года, происходящего от видимого перехождения Солнца от одного тропика к другому; но здесь Коперник ошибся; впрочем, non vitia hominis, sed vitia saeculi [1]. Предложим настоящее объяснение сего явления. Ось Земли соответствует беспрерывно одной точке неба (мы не принимаем здесь в расчет предварения равноденствий и колебания оси), и, следственно, угол эклиптики с экватором неизменен.

Страны, лежащие под тропиком Рака, видят Солнце в зените в 12 часов летнего солнцестояния; наоборот, страны, лежащие под тропиком Козерога, имеют Солнце в зените в декабре; первое есть летнее солнцестояние, второе — зимнее. Для объяснения сего при движении Земли должно, чтоб она находилась в таком положении, чтоб луч солнечный, направленный в центр Земли, проходил бы в первом случае в одном из тропиков, во втором — в противуположном. Ежели вообразим чертеж и в нем примем в расчет движение Земли, то необходимо увидим, что для сего явления ось Земли должна оставаться параллельною сама себе, что не усложняет никоим образом теории, ибо нет причины, по которой бы ось переменила свое направление. Земля движется около Солнца от двух совокупных сил, из коих одна устремляет ее по касательной к орбите, а другая приближает к Солнцу. По теории движения тел и тяготения можно вывести необходимость, чтоб в сем случае ось шара оставалась постоянною, ибо все точки тела имеют движение параллельное (об этом в динамике). Коперник при тогдашних механических сведениях не решил сего вопроса, но приписал Земле *третье движение*, обратное годовому, для того, чтоб ось пребывала параллельною [2]. Но

---

[1] заблуждения не человека, но заблуждения века (лат.).— *Ред.*

[2] Lib. I, Cap. XI.

скорее можно сказать, что параллельность оси есть отрицание третьего движения, ибо надлежало бы сему движению быть, чтоб ось не была параллельна. Из годичного же движения Земли получилось средство измерять годичные параллаксы планет и, следственно, получилось верное средство измерять расстояние от Земли. Далее надлежит заметить, что движение Луны у Коперника[1] чрезвычайно сложно; она движется по эпициклу, коего центр находится на эпицикле, средоточие которого занимает Земля, в то время как движение Луны по кругу около Земли объясняет все явления. Как не видал Коперник несвязность сего объяснения со всею теориею? это была дань идеям Птоломея. «Готическое украшение,— говорит Бальи[2],— на новом здании». Кеплер, долженствовавший стереть все древнее в астрономии, объяснил лунное движение надлежащим образом.

Мы сказали, что сверх суточного и собственного движения, все тела небесные имеют еще некоторое, вследствие которого они подаются к востоку от пересечения экватора с эклиптикою,— *это предварение равноденствий*, новая запутанность у творца «Альмагесты»[3], который сперва доказывает, что звезды неподвижны, но в другой главе говорит, что они имеют небольшое движение по порядку знаков от востока к западу. Подивимся еще раз этой сложности, заставляющей все обращаться в 24 часа около Земли; в то время планеты по своим эпициклам, центры эпициклов по орбитам и, сверх того, звезды и все планеты подаются на восток. Прав Альфонс Кастильский, приходивший в негодование, рассматривая многосложное и негармоническое здание греческой астрономии. Коперник искал причины сего движения в Земле; действительно, рассудив об ужасном отдалении Земли от неподвижных звезд, это кажется естественнее. Он говорит[4], что сие видимое движение есть действие небольшой неправильности в параллелизме земной оси. Для изъяснения сего представим себе, что ось Земли, по какой-нибудь причине (а именно от влияния тяготения Луны и Солнца на эллипсоид

---

[1] Lib. IV, Cap. III, IV.

[2] «Histoire de l'Astronomie moderne», tome II, Liv. 1

[3] «Almageste», Liv. VII, Ch. I et la ⟨1 *прав*⟩.

[4] «De revolutionibus orbium caelestium», Lib. III, Cap. I.

Земли) описывает коническую поверхность около перпендикуляра к эклиптике в течение большого периода; тогда перемена в параллельности будет нечувствительна в каждом обращении, но будет приметна по прошествии некоторого числа лет; ось Земли будет соответствовать другой точке неба. Переменив положение полюсов экватора, видно, что пересечение его круга с эклиптикою переменится, и, если в земной оси допустим движение противу знаков, то сии пересечения будут отступать так, что весеннее равноденствие произойдет скорее, нежели Земля достигнет той точки своей орбиты, в которой она была в прошедший год[1].

Велик Коперник; он мог силою своего гения создать новую теорию, исторгнуть ее из самой природы и схватить истину во всей ее колоссальности. Но средства его были ограничены, их создать он не мог; не было у него ни снарядов, ни знаний механических, и потому его теория, в его время, была нечто ипотетическое; простота ее, какая-то особая физиогномия истины лежала на ней, но не было доказательств полных; дело Коперника не совершилось вполне им самим. Он чувствовал недостаток частных объяснений Птоломея и искал теории общей[2], видел, что нашел ее, но не был в состоянии вполне доказать свою мысль. Одним словом, он принял, что Земля движется,— и все явления объяснились,— но он не вывел сего. Увидим, как впоследствии каждое открытие в астрономии давало новое доказательство Копернику и, наконец, из совокупности их составился великий синтез, довершивший все доказательства.

Изящная система Коперника была встречена как неосновательная ипотеза. Толпа пигмеев хотела низринуть это здание, которым человек будет гордиться во все века; жаль, что в числе их был замешан неутомимый наблюдатель Тихо Браге. Возражения его и Риччиоли, при нынешнем состоянии наук, не заслуживают никакого внимания; возьмем для примера два

---

[1] При сем заметим, что у Коперника полное обращение Земли (или Солнца) не есть расстояние между равноденствием и его возвратом (как у Птоломея), а время, протекающее, пока Земля не придет к той же неподвижной звезде.

[2] См. Ad Paulum III. При начале «De revolutionibus orbium caelestium».

следующие. Тело, брошенное наверх, долженствует упасть гораздо восточнее, а мы видим, что оно падает по вертикальной линии, на то же место. Но всем земным телам впечатлено движение планеты, и брошенное тело потому не упадает восточнее, что оно повинуется не одной тяжести, а совокупному действию силы тяжести и силы, сообщенной ему движением Земного шара; следственно, оно падает по диагонали параллелограмма сил. Сверх того, примечено, что и в самом деле тела падают несколько восточнее; итак, это доказательство, а не возражение[1]. Тихо Браге говорит, что Земля есть тело грубое и тяжелое, как же она может двигаться? Но тогда придется остановить все планеты, а потом — что значит тело грубое? Оставим сии несчастные попытки людей обыкновенных против мощного гения, не будем даже разбирать системы Тихо Браге: Тихо — какой-то анахронизм, действующий вне направления науки, и ежели его теория тем лучше Птоломеевой, что он заимствовал у Коперника,— тем яснее нелепость ее.

Мы видели, что Коперник делил вполне древний предрассудок о круглых орбитах. Бальи[2] замечает, что доколе оставались подобные мнения, астрономия еще совершенно не вышла из-под влияния греческого.

Коперник, как создатель новой, в некотором смысле гипотетической теории, мог остаться при понятиях древних. Великий Кеплер разрушил последнее звено, коим новая астрономия прикреплена к древней, и таким образом начал ее самобытное, новое развитие, построенное на системе Коперника. Коперник выражал как бы идею, долженствующую развиться; Кеплер — переворот, низвергающий все старое и забежавший века грядущие. Не имея понятия о центральных силах, он провидел тяготение и способ его действия. Не имея ни таблиц логарифмических, ни пособий тригонометрических, он многочисленными наблюдениями, огромными выкладками дошел до законов движения планет, несмотря на худое состояние динамики. Не имея телескопа, он доказывал, что свет планетный отчасти заимствуется от Солнца, а что неподвижные звезды суть не

---

[1] D e l a m b r e. «Abrégé d'Astronomie», Leçon XI.

[2] «Histoire de l'Astronomie», tome II, Liv. 1, § 1.

что иное, как солнцы своих систем[1]. Занимаясь сими высокими изысканиями, он нашел, что невозможно, чтоб тело описывало круг от действия одной силы, и что одна сила может токмо сообщать прямолинейное движение телу. Законы планетного движения, называемые в честь его Кеплеровыми, служат одним из краеугольных камней нынешней астрономии. А поелику Земля выполняет все сии законы, то, по наведению, видим, что и она такая же планета, как и прочие. В то время как Кеплер забегал орлиным взором и открытия Гугения и теории Ньютона, явился в Италии энтузиаст Коперника — великий Галилей. Он, мученик новой идеи, Бруно астрономии, с самоотвержением переносил цепи и изгнания. Открытие телескопа дало новые важные доказательства системе Коперника, ибо Галилей узнал, что планеты — тела темные, увидел спутников Юпитера; наконец, фазы Венеры сделали несомненным ее обращение около Солнца. Ибо при движении около Солнца планета не может беспрерывно представлять всю поверхность освещенную Земле (подобно как и Луна). Коперник говорил, что ежели мы не видим фаз Меркурия или Венеры, то это от слабости нашего зрения; телескоп оправдал сие. Приближаясь к Солнцу, Венера представляется в виде серпа, коего концы обращены к востоку; он уменьшается, доколе идет к Солнцу. Но, пройдя оное и наблюдаемая утром, концы серпа обращены к востоку, светлая часть увеличивается по мере удаления и, наконец, вся поверхность освещается. Как же объяснить сие, приняв движение Венеры около Земли?[2] Стоило только теперь улучшить механику и соединить ее с астрономиею, чтоб дойти до всеобъемлющего начала Ньютонова. Так и случилось. Декарт и Гугений — первый своим соединением алгебры с геометриею, второй открытием центробежной силы — развили новую деятельность в астрономии; к усиле-

[1] Мысль сия, кажется, первый раз встречается у знаменитого Иордано Бруно.

[2] При сем заметим: наблюдая Венеру, когда ее широта = 0 (т. е. в конце июля), следуем за нею; широта увеличивается (до начала октября), достигает 7°55′, потом уменьшается и (в половине ноября) делается опять = 0; следственно, Венера движется по орбите, наклоненной к эклиптике под углом 7°55′; точки, в коих широта = 0, суть узлы, и они очень далеко от того, чтоб быть отдалены друг от друга на 180°, что долженствовало бы быть, ежели бы центр ее движения была Земля.

нию оной способствовали: теория маятника, созданная трудами Гугения, приложение ее к астрономическим наблюдениям (о чем еще думал Галилей), открытие Д. Кассини, что фигура Юпитера есть эллипсоид, сжатый у полюсов; открытие Ришера, что размахи маятника в одно время менее числом в Кайенне, нежели в Париже, из чего следует, что напряжение тяжести менее под экватором. Открытие прохождения Меркурия и Венеры[1] по диску солнечному и открыло вращательное движение планет, по их пятнам. Разнообразность и обилие фактов требовало общей, всеобъемлющей теории, и о чем мечтали и Коперник, и Декарт, и Галилей, то вывел и доказал Ньютон. Без теории тяготения солнечная система Коперника все еще могла бы подвергаться сомнению, ибо нельзя было вывести необходимость ее; с открытия сей теории настал новый период астрономии, доселе продолжающийся.

Что будет с телом, когда на него беспрерывно действуют две силы: одна равномерная, сообщившая ему движение, другая равномерно ускоренная, влекущая его к центру Земли? Ньютон открыл, что тело сие будет беспрерывно описывать около Земли эллипсис, в одном из фокусов коего будет Земля. Теперь можно понять движение Луны, и, распространяя закон сей на прочие планеты по 1-му Кеплерову закону, вправе заключить, что они двигаются также вследствие впечатленного движения и другого, влекущего их к центру движения; центр движения есть Солнце, следственно, и сила сия из него действует. Но объяснятся ли из сего начала все явления планетного движения? Известно, например, что движение планеты менее в афелии, более в перигелии. Разумеется, что причину сего надлежит искать в силе, действующей из Солнца (ибо другая сила равномерная, однажды подействовавшая, оставляет сие действие навсегда); а по законам тяжести известно, что сия сила действует обратно пропорционально квадратам расстояний, планета же далее от Солнца в афелии (этот закон справедлив, когда доказано, что тяжесть на Земле и тяготение планет подлежат тем же законам). Сила, находящаяся в Солнце, одинаким ли образом действует

---

[1] Прохождение Меркурия видел первый Гассенди 7 ноября 1631 г. Вращательное движение Юпитера заметил Д. Кассини в 1665 г.

на Меркурия и на Сатурна? Анализ разрешил сей вопрос тем, что квадраты времен относятся, как кубы расстояний; снова вышел один из Кеплеровых законов с другой стороны. Так же выводится и закон пропорциональных площадей. Приняв тяготение и открыв его законы, можно вывести из них синтетически не одни общие законы планетного движения, но малейшие возмущения в оном и в движении спутников (например, предварение равноденствий, колебание оси, возмущения в движении Луны...). Тогда поймем форму Земли, сжатую у полюсов, ибо центробежная сила, стремясь отвлечь все вещественные частицы от полюсов движения, скопила их у экватора, и неравномерное распределение тяжести на земной поверхности, ибо сила центробежная должна под экватором уменьшать ее.

Выше теории в науке быть не может, она дает, делает необходимыми все частные явления и сим торжественно подтверждает систему Коперника. «Ею (т. е. теориею тяготения),—говорит Лаплас,— изгнан навсегда эмпиризм из астрономии, которая ныне не что иное, как великая задача механики»[1]. Прибавим здесь еще слова одного астронома: «Таково есть астрономическое умозрение, более и более подтверждаемое новыми открытиями; основываясь на правилах вероятностей, можно предсказать, что и впредь не встретится ни одного явления, которое, не подчиняясь определенным уже законам, разрушило бы прекрасное и прочное здание нынешней астрономии»[2].

В начале прошлого столетия прибавилось еще одно доказательство системы Коперника; скажем об нем, несмотря на то, что она уже нами доказана строже многих истин, в которых никто не сомневается. Очевидность оного обязывает предположить его. Брадлей в 1725 году начал наблюдать годичный параллакс у Дракона, ибо годичный параллакс неподвижных звезд, происходя от движения Земли, должен быть с ним в зависимости. Рассматривая теоретически[3], мы увидим, что наибольшие и наименьшие широты соответствуют противоположениям и соединениям. Из наблюдений Брадлея не вышло сего; наиболь-

---

[1] «Exposition du système du Monde», Liv. V.

[2] «Руководство к астрономии» Д. Перевощикова, гл. XVIII, § 310.

[3] Там же, гл. VIII, § 90— § 104.

шие и наименьшие широты соответствовали четвертям, притом найдено, что звезды описывают круг, коего диаметр = 40°. Можно бы было заключить, что не годичный путь Земли изменяет положение светил. Но при подвижности Земли как же объяснить движение звезд, открытое Брадлеем? Когда Ремер и отчасти Кассини открыли, что скорость света есть количество измеримое, следственно, скорость света совокупляется со скоростию Земли, и звезда видима нами не в истинном положении, а по диагонали параллелограмма сил, составленного из двух скоростей, Земли и света, и сия-то диагональ в продолжение года описывает круг (или, точнее, эллипсис) около истинного положения звезды. Явление, решительно необъяснимое без движения Земли.

С самого начала мы говорили о важности соотношения хронологического порядка с логическим, — покажем его теперь. Ясно, что вся история астрономии распадается на три периода. Период первый соответствует собранию фактов — этому анализу, который смотрит на одни части,— их разбирает и располагает только для того, чтоб не растеряться в их множестве,— это период Птоломея, это теория «Альмагесты». Но развиваются потребности высшие, хотят знать от самой природы о ее порядке, но еще не имеют средств; все сводят, все подчиняют общим законам; но еще не все сведено, не все подчиняется — это период переходный, период Коперника и Кеплера. За этим периодом должен следовать общий синтез, всеобъемлющий, исторгнутый из таинств природы и из коего, по законам необходимости, можно вывести все явления; он и был: это век Ньютона, век теории тяготения. Сравните эти три периода с тремя частями, из коих должно состоять, по нашей методе, полное знание,— они сбегаются... Лучшего доказательства методе, которую мы приняли, быть не может: она сливается с теми законами, по коим природа приводит человека к полному познанию.

1833 года, мая 28.

## ‹ДЕНЬ БЫЛ ДУШНЫЙ...›

День был душный, солнце жгло всей июньской силою, потоки огня лились на домы и улицы, и разгоревшаяся Москва едва дышала воздухом, зараженным миазмами и перемешанным с густою пылью. В это время с другом детства посетил я Воробьевы горы. Там алтарь нашей дружбы, там некогда мы, еще дети, еще чужие, впервые раскрыли наши души «и Рафаил нашел столь близкого родного в Юлии»[1]*. Молча взошли мы на гору, молча стояли на платформе. Есть минуты, в которые вполне чувствуешь недостаток земного языка, хотел бы высказаться какой-то гармониею, музыкой; музыка — невещественная дочь вещественных звуков, она одна может перенести трепет души в другую, перелить сладостное, безотчетное томление...

Тридцать верст Москвы, этого иероглифа всей России, опоясанной узкой рекою, инде облитой полосою света, инде затемненной облаком, стелились перед нами с своими минаретами-колокольнями, домами, Кремлем, Иваном Великим, с своей готической, вольной неправильностью. Долго смотрели мы; наконец, удрученные, бросились на ступеньку, окружающую надгробный памятник великому намерению монументально увековечить славу 1812 года*, поделиться ею с самим богом. Тогда былое, подобно туману, покрыло пеленою своей город родины и самые горы. Мы вспомнили, как тут, при переходе из младенчества в юношество, нас поразила мысль высокая, как наши души бросились в ее объятия, как он* в них потонул, как я ее сам обнял. Я боялся высказать ему мысль свою... и ныне нашел в нем товарища на весь тернистый путь, и ныне бытие наше судо-

[1] Schiller. «Philosophische Briefe».

рожно обвилось около этой мысли, и с нею мы выше толпы, и без нее мы ничтожны.

Немного времени прошло после того, какие-нибудь 8 лет*, но какая в нас перемена. Менее самоотвержения, более славолюбия; менее энтузиазма, более фанатизма; менее веры, более разочарования; менее поэзии, более прозы. Даже лицо наше было не то юношеское, чистое; кое-где виднелись колеи страстей жгучих и смердящиеся признаки встречи с людьми. Истомленное лицо было в пыли городской, и в глазах менее света ясного, более огня порывистого. Но в эту священную минуту мы очистились; какая-то высшая поэзия смыла с нас все земное, мы опять погрузились в немую созерцательность и тогда не думали ни о чем — только чувствовали. Полнота чувства исключает ум. Дивно влияние воздуха нагорного. Поэты великие описывали его, но как недостаточно. Поэт может только с успехом описать порывы души своей, но тут, кроме души, есть еще природа живая, и горе, ежели дерзкое перо вздумает ее описывать; тут всегда останется ужасное расстояние между творением человека и творением бога, между отторженными частями природы Вернетовой* и всею целостию природы настоящей.

---

Я вынул Шиллера и Рылеева.— Как ясны и светлы в ту минуту казались нам эти великие поэты! Мы читали одного и понимали глубокую, мечтательную поэзию его, читали другого — и понимали его самоотверженную, страдальческую душу. Звучный, сильный язык Шиллера подавлял нас. «Как ярящийся поток из расселин скал, льющийся с грохотом грома, подмывая горы и унося дубы»*. Певец Войнаровского смотрел на меня и мне говорил:

Ты все поймешь, ты все оценишь*.

Наконец — — — наконец подошел к нам солдат, который бережет от русских плиту, свидетельствующую о невыполненном обещании памятника русской славе, и механическим голосом, который так симпатизирует с механическим шагом, с механическим мундиром, с механической силою нашего солдата, нечто

вроде шомпола при ружье: «Смена! Извольте идти». Да, ты прав,— смена, смена с твоими словами взошла и душу мою; пропало небо, опять земля с душными испарениями своими. Падение было ужасное, и я, Клод Фролло, бежал с своим другом, взглянув еще раз на вид, который был тот же, но производил совсем противное действие; эта толпа строений, эта огромная тюрьма — все казалось страшным, и солнце жгло всей июньской силою. Так взоры девы красоты живят, льют негу и восторг; они же жгут, уничтожают, ежели в них любовь к другому; они же мертвят, ежели в них равнодушие!

«Как природа хороша, выходя из рук творца; как она гнусна, выходя из рук человека»*,— сказал Руссо. «Где остался след человека, там погиб след бога»,— прибавил Шиллер.

Великие, вы правы, вы правы.

---

Смерклось, трещат дрожки по скверной мостовой, мы в Москве; опять 300 000 жителей, отравленный воздух, опять толпа, развратная, бесчувственная. Там священник идет с дарами продавать рай, не веря в Христа; там судья продает совесть и законы; там солдат продает свою кровь за палочные удары; там будочник, утесненный квартальным, притесняет мужика; там купец обманывает покупщика,— покупщика, который желал бы обмануть купца; там бледные толпы полуодетых выходят на минуты из сырых подвалов, куда их бросила бедность. Но глядите выше, в окны; там еще лучше человек, там он дома, без покрывала. Здесь юноша приучается к разврату в трактире, там другой убивает свою поэтическую душу школьными бреднями невежд-учителей; там дети желают смерти доброго отца, там отец гнетет детей; там жена, лаская мужа, обдумывает измену; там бледная стая игроков с яростью грабят друг друга; там ростовщик с металлическим лицом, с запахом серебра, разоряет отца семейства; там, наконец, где полузавешены, где стора с пренебрежением отвергает свет, там — о, отвернитесь — там любовь продается ценою злата.

---

Люди, люди, где вы побываете, все испорчено: и сердце ваше, и воздух, вас окружающий, и вода текущая, и земля, по

которой ходите. Но небо, небо — оно чисто, оно таково, как в первый день творения, дыхание пресмыкающихся не достигает его. Туда, туда...

Тот мир открыт для наслажденья,
В нем вечная любовь,
В нем нет тоски и нет мученья,
И страсти не волнуют кровь!*

Dahin! Dahin
Möcht'ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn![1]*

<Июнь 1833 г.>

---

[1] Туда! Туда, о, мой возлюбленный, хотела б я уйти с тобой! (нем.).— *Ред.*

## 3 АВГУСТА 1833

Людмиле Александр

Угрюмы и дики окрестности, свирепая река подмывает гору высокую, тяготеющую над горизонтом. Вершина ее в снегу; сомненьем веет ото льда, и душа путника цепенеет. Нигде ни дерева, ни травки. Мох, этот предел растительного царства, один мох покрывал каменистую почву ее. Далеко видно гору, орлы садятся на нее отдыхать, и по временам выходит из нее тяжелый дым, и небо краснеет от зарева, и волны реки алеют; но вскоре все затихает, и мрачная гора мрачно царит над горизонтом. Из одной расщелины растет дерево, прелестный дар северной природы. Не этот пышный, роскошный, сладострастный, чувственный померанец, дышащий огнем юга и негою Италии, но наше северное дерево, гибкое, вытянувшееся к небу, говорящее о небе, ищущее солнца, скучающее земною жизнию, томное, бледное, мечтательное, оссиановское, как душа германки. Одинокое дерево черпало всю жизнь свою из горы — и гору прикрывало своими листьями, и к ней ластилось своими ветвями, и для нее красовалось на солнце, и на нее смотрело скрозь слезы дождя, к ней прижималось во время бури. Холодом веет с вершины на дерево, и, нежное, оно едва не умирает, трепещут его листья, кровь останавливается в жилах,— но оно живет.

Огонь раздирает внутренности горы, перебегая и клокоча в подземных проходах, просится наружу — вырвался! Из огромного жерла стремились потоки раскаленного металла; изгибаясь, как змеи, стекали они в реку, шипя, как змеи, погружались в волны ее. Дивное зрелище! С одной стороны луна, девст-

венница луна, созданье северное, мечтательное, религиозное, робкое, стыдливо опустя глаза, как голубоокая дева, и едва освещая землю, от которой, казалось, она хотела оторваться, но к которой ее приковала любовь; с другой — бешеный пламень, быстрый, изгибистый, с свистом и треском бросался во все стороны, с каким-то буйным торжеством разливался и с упоеньем уничтожал все встречавшееся, будто все ему соперник, будто он мстит за кровавую обиду. И как вполне пил он месть, как радостно вспыхивал, уничтожив своего врага,— и сам после умирал на его трупе. Огонь, переходя все цвета от синего до пунцового, обливал окрестности своим неверным, трепетным цветом крови, и все было в крови, и вся природа дрожала, как Каин, как убийца. Кровавое небо, кровавая река, все кровавое, океан крови! Какое-то счастие, казалось, наполняло грудь горы, с гордостью смотрела она на обширный круг деятельности, и новые потоки пламени извергались из нее. . . . . .

...Тихий ветер, пробираясь между листьями ближнего леса и склоняя перед собой ветви, освежал природу; небо с одной стороны было покрыто тучею, с другой — чисто и, будучи над головою яркосинего цвета, бледнело к небосклону и у небосклона рделось, как ланиты девы. Звезда утра, Венера, игривая, страстная, блистала тысячью цветами и, наконец, потонула в море огня и света. Выкатилось солнце и озарило еще дымящуюся, непростывшую гору, с всегдашним презрительным равнодушием своим ко всему земному, которому только мимоходом дает жизнь... Дерево не существует, огненные объятия сожгли его; каленая атмосфера пламенной любви задушила его. Дерево севера, дерево неба не могло сдружиться с огнем земным.

С тех пор мрачна и одинока гора и еще тяжелее давит горизонт; редко, редко, в час ночной, она, подавленная глубокой думой, клубом валит дым, и середь его иногда взовьется, с быстротою молнии, струистый огонь, блеснет и, испугавшись воли, потухнет. Так-то черные очи итальянки, вспомнив былую страстную любовь, блеснут, и след их, огненный след, надолго остается, выжигается в сердце, и опять грустны темные очи.

И опять тиха гора, опять холодно, снег вест сомнением, и пепел покрывает главу горы... но внутри ее огонь не тухнет, он жжет ее самоё, и гора как будто скрежещет зубами и адски хохочет.

Угрюмы и дики окрестности, и река свирепая яростно подмывает гору.

<3 августа 1833 г.>

## ⟨ПРОГРАММА И ПЛАН ИЗДАНИЯ ЖУРНАЛА⟩

Следить за человечеством в главнейших фазах его развития, для сего возвращаться иногда к былому, объяснить некоторые мгновения дивной биографии рода человеческого и из нее вывести свое собственное положение, обратить внимание на свои надежды.

Вот цель журнала, но для достижения к ней необходим план, раскроем его.

---

Человечество развивается в двух направлениях — в мире гражданском и в мире эстетическом, в мире *дела* и в мире *слова*, но сии две отрасли, подобно тем потокам, омывавшим светлые долины рая, истекли из одного источника — из места создания человека, и втекают в один святой Гангес. Посему-то столь нераздельное представляет нам литература и политический быт. Гражданское состояние есть *воплощенное слово*, и обратно, литература, как слова народа, есть выражение его быта. Но изучение слова и деяний человека еще недостаточно; человек — часть природы, он ее принадлежность, она его обусловливает, она подчиняет его своим законам; следственно, чтоб понять человека, надлежит понять природу. Из сих соображений для достижения предполагаемой цели журнала выходит, что он должен состоять из двух частей:

1) Исторической,

2) Естествоведательной.

Займемся первою частью. Предмет истории — жизнь человечества. Жизнь есть не что иное, как процесс возвышения формы к идее, и, следственно, два элемента уже обнаруживаются.

Идея — философия истории и явление — факт требуют себе по отделению, наконец, и самый процесс, т. е. восхождение от формы к идее. Параллельно с историею идет и литература, и здесь теория — эстетика, и часть практическая — разборы и отрывки.

Естествоведение должно взойти самым общим образом, собственно, философия естествоведения.

Но каким же образом журнал может выполнить собою строгую систему, единственно возможную в книге, ибо книга есть картина, где один предмет, а журнал — раёк, где быстро один вид заменяется другим, где Ватикан возле Ивана Великого и колонна Вандомская возле колонны петербургской*. Но разве нельзя в райке сделать связь, разве нельзя все картины взять с одной точки зрения? Разве не может существовать внутренняя связь, когда не существует внешней? Разве исторические трагедии Шекспира не составляют стройной генеалогии из жизни Англии, не представляются ли они вам сценами из огромной поэмы в его мыслях? «Вильгельм Мейстер» не составлен ли из вырванных листов из рапсодии, но какое высокое единство в нем. Журнал, в коем есть требование на эту стройность, должен ясно определить свое profession de foi[1], это будет идея его. Потом, согласно этому profession de foi, представлять *этюды* о сказанных предметах, и эти этюды, наконец, представят точки опора, на коих может воздвигнуться целое здание. Обращаемся к самому плану.

В части историко-литературной, сверх разделения оной на историческую и литературную, взойдут следующие деления: история как наука, история повествовательная (т. е. отрывки оригинальные или переводные о важнейших эпохах истории), юридико-историческая часть и критическая,—в сем отделении matières primitives[2] истории, тут лаборатория, в которой разлагают жизнь человечества и восстановляют ее. Наконец, еще отделение займет статистическое обозрение государств как последнее слово, как halte[3] истории.

---

[1] исповедание веры (франц.).— *Ред.*

[2] первичная материя (франц.).— *Ред.*

[3] остановка (франц.); здесь в смысле — итог.— *Ред.*

Литературная часть разделится на отделения теоретическое и практическое; во втором — разборы знаменитейших писателей всех времен, разборы целых литератур, отрывки из иностранных авторов всех времен. К сей части, как прибавление, могут поместиться критики на современную литературу отечественную и стихи.

В естествоведении все внимание должно обратить на геологические, физиологические и психологические исследования.

Александр Герцен.

---

ПЛАН ЖУРНАЛА

---

| | |
|---|---|
| **А. История** | |
| 1) Философия истории | Огарев, Сазонов, Герцен |
| 2) Исторические отрывки, оригинальные и переводные | Лахтин, Сатин, Кетчер, Герцен |
| 3) Историко-юридическое отделение | |
| 4) Статистическое отделение | Лахтин, Герцен, Сазонов |
| 5) Археология, критика etc. | |
| **В. Литература** | |
| 1) Теория | Огарев |
| 2) Отрывки переводные | Сатин, Кетчер etc. |
| 3) Разборы { α) иностранных творен‹ий› β) отечественных } | Все |
| **С. Естествознание** | |
| Философия природы | |
| **Прибавление** | |
| Поэзия | Огарев, Сатин |
| Критика | |

Согласен участвовать в сем журнале:

Александр Герцен
Николай Сазонов
Николай Сатин

17 февраля 1834 года.

## ГОФМАН

Родился 24 января 1776.
Умер 25 июня 1822.

(Н. П. О<ГАРЕВ>У)

I

...Die Künstler und die Räuber, das
Ist eine Art der Leute. Beide meiden
Den breiten staubigen Weg des Alltagslebens.

Oehlenschläger. «Correggio»[1].

Всякий божий день являлся поздно вечером какой-то человек в один винный погреб в Берлине; пил одну бутылку за другой и сидел до рассвета. Но не воображайте обыкновенного пьяницу; нет! Чем более он пил, тем выше парила его фантазия, тем ярче, тем пламеннее изливался юмор на все окружающее, тем обильнее вспыхивали остроты. Его странности, постоянство посещений, его литературная и музыкальная слава привлекали целый круг обожателей в питейный дом, и когда иностранец приезжал в Берлин, его вели к Люттеру и Вегнеру, показывали непременного члена и говорили: «Вот наш сумасбродный Гофман». Посмотрим на эту жизнь, оканчивающуюся питейным домом. Жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий к его сочинениям, но не жизнь германского автора, — для них злой Гейне выдумал алгебраическую формулу*: «Родился от бедных родителей, учился теологии, но почувствовал другое призвание, тщательно занимался древ-

[1] ...Художники и разбойники — это особый род людей. И те и другие избегают широкой пыльной дороги обыденной жизни. Эленшлегер. «Корреджо» (нем.).— *Ред.*

ними языками, писал, был беден, жил уроками и перед смертью получил место в такой-то гимназии или в таком-то университете». Но «есть люди, подобные деньгам, на которых чеканится одно и то же изображение; другие похожи на медали, выбиваемые для частного случая»[1]; и к последним-то принадлежал сказавший эти слова Гофман. Его жизнь нисколько не была похожа на прозябение, она самая странная, самая разнообразная из всех его повестей, или, лучше, в ней-то зародыш всех его фантастических сочинений.

Одиноко воспитывался Гофман в чинном, чопорном доме своего дяди. Странное влияние на душу младенческую делает одиночество; оно навсегда кладет зародыш какой-то робости и самонадеянности, дикости и любви, а более всего мечтательности. Посмотрите на такого ребенка: бледный, тонкий, едва живой, он так похож на растение, выросшее в парнике, так нежно, так застенчиво, так близко жмется к отцу, так краснеет от каждого слова и при каждом слове, так сосредоточен сам в себе, что если он только не лишен способностей, то из него необходимо выйдет человек, не принадлежащий толпе, ибо он не в ней воспитан, ибо он не был в переделе у толпы какого-нибудь пансиона, которая бы научила его завидовать чужим успехам, унизила бы его чувства, развратила бы его воображение. Вот такое-то дитя был Гофман[2]. Главная отличительная черта подобным образом воспитанных детей состоит в том, что они, будучи окружены взрослыми людьми, рано зреют чувствами и умом, для того чтоб никогда не созреть вполне; теряют прежде времени почти все детское, для того чтоб после на всю жизнь остаться детьми. Ребенок Гофман — большой человек, мечтатель, страстный друг Гиппеля и решительный музыкант; но он скверно учится, и это — следствие воспитания, в котором человек должен развиваться сам из себя: надо непременно побывать в публичном заведении, чтоб получить утиную способность пожирать равным образом десять разных наук, не любя никоторой, из одного благородного соревнования.

---

[1] «Hoffmann's Lebens-Ansichten des Katers Murr».

[2] И он очень хорошо знал огромное влияние своего воспитания между четырьмя стенами, как видно из писем его к Гиппелю.

Гофман находил скучным Цицерона и не читал его; призвание его было чисто художническое; не форум — консерватория была ему нужна. В том же доме, где воспитывался Гофман, жила сумасшедшая женщина, пророчившая в исступлении высокую судьбу своему сыну, Захарии Вернеру! Какие страшные впечатления должна была она сделать на младенческую душу соседа!

Гофмана-юношу отправили в университет um die Rechte zu studieren[1], назначая его на юридическое поприще. Но для него тягостен университет с своими пандектами и бранденбургским правом, с своей латинью и профессорами; его пламенная душа начинает развиваться, его фантазия жаждет восторгов, жизни; а что может быть наиболее удалено от всего фантастического, всего живого, как не школьные занятия!

Da wird der Geist euch wohl dressiert,
In spanische Stiefeln eingeschnürt[2].

Он становится мрачен, ибо начинает разглядывать действительный мир во всей его прозе, во всех его мелочах; это простуда от мира реального, это холод и ужас, навеваемый дыханием людей на грудь чистого юноши. И тут-то рождается в нем потребность сорваться с пути битого, обыкновенного, пыльного, которую мы равно видим во всех истинных художниках. Он все, что вам угодно,— живописец, музыкант, поэт... только, ради бога, не юрист — не будничный, вседневный человек. И эта борьба между симпатиею и необходимостию заставляет его делать пресмешные вещи. Получив хорошее место в Позене*, знаете ли, чем он дебютировал? Карикатурами на всех своих начальников; те отвечали на них доносом, и Гофман не успел привыкнуть к Позену, как его отставили. Спустя несколько времени мы видим его важным советником правления в Варшаве. Но он не переменился; это все тот же музыкант: хлопочет, трудится, собирает деньги, чтоб заве-

---

[1] чтобы изучать юриспруденцию (нем.).— *Ред.*

[2] Goethe «Faust», 1 Theil ‹«Там как следует вымуштруют ваш дух, зашнуруют его в испанские сапоги» (нем.).›

сти филармоническую залу; успел, и Regierungsrat Hoffmann[1], в засаленной куртке, целые дни на стропилах разрисовывает плафон залы; окончив, он же является капельмейстером, бьет такт, дирижирует, сочиняет так усердно, что нисколько не замечает, что вся Европа в крови и огне. Между тем война, видя его невнимательность, решается сама посетить его в Варшаве; он бы и тут ее не заметил, но надо было на время прекратить концерты. Гофман в го́ре; но через несколько дней пишет к Гитцигу*, что концерты снова продолжаются, что он побранился с Наполеоновым капельмейстером; «что ж касается до политических обстоятельств, они меня не очень занимают... искусство — вот моя покровительница, моя защитница, моя святая, которой я весь предан»!.. Должно ли после того удивляться, что Шлегель и Вильмен розно понимают литературу, что один дал ей самобытный полет, чтоб не заставить ее делить скучный покой своей родины, а другой приковал ее к обществу, чтобы ускорить развитие литературы, сообщив ей быстрое движение гражданственности? Шлегель и Вильмен — это Германия и Франция: Германия, мирно живущая в кабинетах и библиотеках, и Франция, толпящаяся в кофейных и Пале-Ройяле; Германия, внимательно перечитывающая свои книги, и Франция, два раза в день пожирающая журналы[2]. Гофман, занятый до того концертами, что не заметил приближения Наполеона, есть тип прошедшего, сверхземного направления литературы германской. По большей части сочинители, жившие до 1813 года, воображали, что все земное слишком низко для них, и жили в облаках; но это им не прошло даром. Теперь, когда Германия проснулась при громе Лейпцигской битвы, явилось новое поколение, более земное, более национальное. Теперь Гейне бичует своим ядовитым пером направо и налево старое поколение, которое разобщило себя с родиной, прошлую эпоху, которая так колоссально, так величественно окончилась в Веймаре 22 марта 1832 года*. Впрочем, Гёте страшно причислять к этому направлению: Гёте был слишком высок, чтоб иметь какое-либо направление, слишком

[1] правительственный советник Гофман (нем.).— *Ред.*

[2] Газеты, от journal (франц.).

высок, чтоб участвовать в этих гомеопатических переворотах... Как бы то ни было, Гофман сам очень чувствовал и очень хорошо представил односторонность германских ученых, окопавших себя валом от всего человечества, в превосходной повести своей «Datura fastuosa». Но обратимся к его жизни.

Принужденный оставить Варшаву и свою *собственноручную* залу, он отправился в Берлин с шестью луидорами, которые у него на дороге украли; пристроился как-то к Бамбергскому театру; и с того-то времени (1809), собственно, начинается литературное его поприще: тогда написал он дивный разбор Бетховена и Крейслера*. Впрочем, это еще не тот Крейслер, из жизни которого макулатурные листы попались в когти знаменитому Коту Мурру, а начальное образование, основа этого лица, которому Гофман подарил все свои свойства, который несколько раз является в разных его сочинениях и который занимал его до самой кончины. Вскоре узнала его вся Германия, и Гофман является формальным литератором. Этому дивиться нечего: Германия — страна писания и чтения. «Что бы мы ни делали одной рукой, в другой — непременно книга, — говорит Менцель. — Германия нарочно для себя изобрела книгопечатание и без устали всё печатает и все читает»[1]. В то же время Гофман пишет музыкальные произведения, дает уроки, рисует, снимает портреты и par-dessus le marché[2] острит, просит, чтоб ему платили не только за уроки, но и за приятное препровождение времени; сверх всего того, он при театре компонист, декоратор, архитектор и капельмейстер. Впрочем, финансовые его обстоятельства всё не блестящи: 26 ноября 1812 года в дневнике его написана печальная фраза: «Den alten Rock verkauft um nur essen zu können»[3]. Эта пестрая жизнь служит доказательством, что беспорядочная фантазия Гофмана не могла удовлетворяться *немецкой болезнью* — литературой. Ему надобно было деятельности живой, деятельности в самом деле; и вы можете прочесть в его журнале того времени, как он страстно был влюблен в свою

---

[1] «Die deutsche Literatur», von W. Menzel.

[2] вдобавок (франц.).— *Ред.*

[3] «Продан старый сертук, чтоб есть»*.

учениду — «он, женатый человек!» (как будто женатым людям отрезывается всякая возможность любить!).

С 1814 года настает последняя эпоха жизни Гофмана, обильная сочинениями и дурачествами. Он поселился в Берлине, в этом первом городе Бранденбургского курфиршества, который сделался первым городом Германии, sauf le respect que je dois[1] Вене с ее аристократической улыбкой, готическими нравами и церковью св. Стефана. Берлин не Бамберг, Берлин живет жизнию ежели не полной, то свежей, юной; он увлек, завертел Гофмана, и Гофман попал в аристократический круг, в черном фраке, в башмаках, читает статейки, слушает пенье, аккомпанирует. Но аристократы скучны; сначала их тон, их пышность, их освещенные залы нравятся; но все одно и то ж надоест донельзя. Гофман бросил аристократов и с паркета, из душных зал бежал все вниз, вниз и остановился в питейном доме. «От восьми до десяти,— пишет он,— сижу я с добрыми людьми и пью чай с ромом; от десяти до двенадцати также с добрыми людьми и пью ром с чаем». Но это еще не конец; после двенадцати он отправляется в винный погреб, сохраняя в питье то же crescendo[2]. Тут-то странные, уродливые, мрачные, смешные, ужасные тени наполняли Гофмана, и он в состоянии сильнейшего раздражения схватывал перо и писал свои судорожные, сумасшедшие повести. В это время он сочинил ужасно много и, наконец, торжественно заключил свою карьеру автобиографией Кота Мурра. В Коте и Крейслере Гофман описывал сам себя; но, впрочем, у него в самом деле был кот, которого называли Мурром и в которого он имел какую-то мистическую веру. Странно, что Гофман, совершенно здоровый, говаривал, что он не переживет Мурра, и действительно умер вскоре после смерти кота. Страдая мучительною болезнию (tabes dorsalis), он был все тот же, фантазия не охладела. Лишившись ног и рук, он находил, что это прекрасное состояние; его сажали против угóльного окна, и он несколько часов сидел, смотря на рынок и придумывая, за чем кто идет[3],

---

[1] при всем моем уважении к... (франц.).— *Ред.*

[2] нарастание (итал.).— *Ред.*

[3] «Meines Vetters Eckfenster».

а когда ему прижигали каленым железом спину, воображал себя товаром, который клеймят по приказу таможенного пристава! Теперь, доведши его жизнь до похорон, обратимся к его сочинениям.

II

Wie heißt des Sängers Vaterland?
...das Land der Eichen,
Das freie Land, das Deutsche Land.
So hieß mein Vaterland!

Körner[1].

В Англии скучно жить: вечный парламент с своими готическими затеями, вечные новости из Ост-Индии, вечный голод в Ирландии, вечная сырая погода, вечный запах каменного уголья и вечные обвинения во всем этом первого министра. Вот, чтоб этой скуке помочь, и вздумал один английский сир-тори, ужасный болтун, рассказывать старые предания своей Шотландии, так мило, что, слушая его, совсем переносишься в блаженной памяти феодальные века. В последнее время сомневались в исторической верности его картин: в чем не сомневались в последнее время? Не могу решить, справедливо ли это сомнение; но знаю, что один великий историк[2] советует изучать историю Англии в романах Вальтера Скотта. По-моему, в Вальтере Скотте другой недостаток: он аристократ, а общий недостаток аристократических россказней есть какая-то апатия. Он иногда походит на секретаря уголовной палаты, который с величайшим хладнокровием докладывает самые нехладнокровные происшествия; везде в романе его видите лорда-тори с аристократической улыбкой, важно повествующего. Его дело описывать; и как он, описывая природу, не углубляется в растительную физиологию и геологические исследования, так поступает он и с человеком: его психология слаба, и все внимание сосредоточено на той поверхности души, которая столь похожа на поверхность геода, покрытого земляною корою, по которой нельзя судить о кристаллах, в его

[1] Как зовется родина певца? ...страна дубов, свободная страна, германская страна,— так звалась моя родина! Кёрнер (нем.).— *Ред.*

[2] «Lettres sur l'histoire de France», par Aug. Thierry.

внутренности находящихся. Не ищите у Вальтера Скотта поэтического провидения характера великого человека, не ищите у него этих дивных созданий пламенной фантазии, этих schwankende Gestalten[1]*, которые навеки остаются в памяти: Фауста, Гамлета, Миньоны, Клода Фролло; ищите рассказа, и вы найдете прелестный, изящный. У Вальтера Скотта есть двойник, так, как у Гофманова Медардуса: это Купер, это его alter ego[2] — романист Соединенных штатов, этого alter ego Англии. Американское повторение Вальтера Скотта совершенно ему подобно; иногда оно интереснее своего прототипа, ибо иногда Америка интереснее Шотландии. Если романы Вальтера Скотта исторические, то Куперовы надобно назвать статистическими, ибо Америка — страна без истории, без аристократического происхождения, страна parvenue[3], имеющая одну статистику. Направление Вальтера Скотта было господствующее в начале нашего века; но оно никогда не должно было выходить из Англии, ибо оно несообразно с духом других европейских народов.

Во Франции, в конце прошлого столетия, некогда было писать и читать романы; там занимались эпопеею. Но когда она успокоилась в объятиях Бурбонов, тогда ей был полный досуг писать всякую всячину. Знаете ли вы, что за состояние называется *с похмелья?* Это состояние, когда в голове пусто, в груди пусто, и между тем насилу подымается голова и дышать тяжело. Точно в таком положении была Франция после 1815 года; это было пробуждение в своей горнице, после шумной вакханалии, после банка и дуэля. Тогда должна была развиться эта огромная потребность far niente[4], которая нисколько не похожа на квиетизм Востока,— квиетизм, основанный на мистической вере в себя; ибо на дне души было разочарование, раскаяние. Начали было писать романы по подобию Вальтера Скотта; не удались. Юная Франция столь же мало могла симпатизировать с Вальтером Скоттом, сколько с Веллингтоном и со всем торизмом. И вот французы заменили это

[1] зыбких видений (нем.).— *Ред.*

[2] второе я (лат.).— *Ред.*

[3] выскочка (франц.).— *Ред.*

[4] безделья (итал.).— *Ред.*

направление другим, более глубоким; и тут-то явились эти анатомические разъятия души человеческой, тут-то стали раскрывать все смердящие раны тела общественного, и романы сделались психологическими рассуждениями [1]. Но не воображайте, чтоб этот род родился во Франции; нет! психология дóма в Германии: французы перенесли его к себе целиком, прибавив свое разочарование и свой слог.

Психологическое направление романа несравненно прежде явилось в Германии, но не в такой судорожной форме, не с таким страшным опытом в задатке, как у зарейнских соседей. Немца не скоро расшевелишь: привыкнувший с юности к огню Шиллера, к глубине Гёте, он никогда не мог высоко ценить чуть теплую прозу Вальтера Скотта [2]; ему надобно бурю и гром, чтоб восхищаться природою; ему надобно, чтоб революция выплеснула Наполеона с легионами республики, для того чтоб оставить отеческий кров, закрыть книгу и подумать о себе. Сообразно духу народному на немецких романах лежит особая печать глубины фантазии и чувств. Однажды роман и драма приняли было ложное направление, затерялись в скучных подробностях всех пошлостей частной жизни обыкновенных людей и, будучи еще пошлее самой жизни, впали в приторную, паточную сантиментальность: это Лафонтен, Иффланд, Коцебу. Их читают теперь die Stubenmädchen [3] по субботам, набирая оттуда целый арсенал нежностей для воскресенья. Но это отклонение романа было обильно вознаграждено прелестными сочинениями таинственного Жан-Поля, наивного Новалиса, готического Тика. Гёте, этот Зевс искусства, поэт-Буонарроти, Наполеон литературы, бросил Германии своего «Вертера», песнь чистую, высокую, пламенную, песнь любви, начинающуюся с самого тихого adagio и кончающуюся бешеным криком смерти, раздирающим душу addio! [4] За «Вертером» поет Гёте другую дивную песнь — песнь

---

[1] Бальзак, Сю, Ж. Жанен, А. де-Виньи.

[2] Когда Гитциг дал Гофману читать Вальтера Скотта, он возвратил не читавши; наоборот, Вальтер Скотт в Гофмане находил только сумасшедшего!

[3] горничные (нем.).— *Ред.*

[4] прощай! (итал.).— *Ред.*

юности, в которой все дышит свежим дыханьем юноши, где все предметы видны сквозь призму юности,— эти вырванные сцены, рапсодии без соотношения внешнего, тесно связанные общей жизнию и поэзией. И что за создания наполняют его «Вильгельма Мейстера»! Миньона, баядерка, едва умеющая говорить, изломанная для гаерства, мечтающая о стране лимонных деревьев и померанца, о ее светлом небе, о ее теплом дыхании, Миньона, чистая, непорочная, как голубь; и, с другой стороны, сладострастная, огненная Филена, роскошная, как страна юга, пламенная, бешеная, как юношеская вакханалия,— Филена, ненавидящая дневной свет и вполне живущая при тайном, неопределенном мерцании лампады, пылая в объятиях *его;* и тут же величественный барельеф старца, лишенного зрения, арфиста, которому хлеб был горек и которого слезы струились в тиши ночной!

## III

Die Kunst ist meine Beschützerin, meine Heilige.

Hoffmann's Brief an Hitzig, 1812[1].

В начале нынешнего века явился в немецкой литературе писатель самобытный, Теодор-Амедей Гофман: покоренный необузданной фантазии, с душою сильной и глубокой, художник в полном значении слова, он смелым пером чертил какие-то тени, какие-то призраки, то страшные, то смешные, но всегда изящные; и эти-то неопределенные, набросанные тени — его повести. Обыкновенный, скучный порядок вещей слишком теснил Гофмана; он пренебрег жалким пластическим правдоподобием. Его фантазия пределов не знает; он пишет в горячке, бледный от страха, трепещущий перед своими вымыслами, с всклокоченными волосами; он сам от чистого сердца верит во все, и в «песочного человека»*, и в колдовство, и в привидения, и этой-то верою подчиняет читателя своему авторитету, поражает его воображение и надолго оставляет следы. Три элемента жизни человеческой служат основою большей

[1] Искусство — моя покровительница, моя святая. Письмо Гофмана Гитцигу, 1812 (нем.).— *Ред.*

части сочинений Гофмана, и эти же элементы составляют душу самого автора: внутренняя жизнь артиста, дивные психические явления и действия сверхъестественные. Все это с одной стороны погружено в черные волны мистицизма, с другой — растворено юмором живым, острым, жгучим. Юмор Гофмана весьма отличен и от страшного, разрушающего юмора Байрона, подобного смеху ангела, низвергающегося в преисподнюю, и от ядовитой, адской, змеиной насмешки Вольтера, этой улыбки самодовольствия, с сжатыми губами. У него юмор артиста, падающего вдруг из своего Эльдорадо на землю,— артиста, который среди мечтаний замечает, что его Галатея — кусок камня,— артиста, у которого, в минуту восторга, жена просит денег детям на башмаки. Этим-то юмором растворил Гофман все свои сочинения и беспрестанно перебегает от самого пылкого пафоса к самой злой иронии. Этот юмор натурален Гофману, ибо он больше всего художник истинный, совершенный. Посмотрите на его статьи об музыке; назову две: разбор Бетховена и разбор «Дон-Жуана»[1]. Там вы увидите, что для него звуки, увидите, как они облекаются в формы, оставаясь бестелесными.

«Музыка есть искусство наиболее *романтическое*, ибо характер ее — бесконечность. Лира Орфея растворила врата Орка*. Музыка открывает человеку неведомое царство, новый мир, не имеющий ничего общего с миром чувственным, в котором пропадают все определенные чувства, оставляя место невыразимому страстному увлечению.

В сочинениях Гайдна выражается детская, светлая душа. Его симфонии ведут нас на необозримые, зеленые луга, в пестрые толпы счастливых людей. Мелькают юноши и девы; смеющиеся дети прячутся за деревья и за розовые кусты, бросаются цветами. Жизнь, исполненная любви, блаженства, жизнь до грехопадения, вечно юная; нет страданья, нет мучений, одно томное, сладкое стремление к милому образу, несущемуся в блеске вечерней зари; он и не приближается и не улетает, и, пока не исчезнет, не настанет ночь.

---

[1] «Phantasiestücke in Callot's Manier».

В глубины царства духов ведет Моцарт. Страх объемлет нас, но без мучения; это предчувствие бесконечного. Любовь и нега дышат в прелестных голосах существ неземных; ночь настает при ярком пурпурном свете, и с невыразимым восторгом стремимся мы за призраками, которые зовут нас в свои ряды, летая в облаках.

Музыка Бетховена раскрывает нам царство бесконечного и необъятного. Огненные лучи мелькают в этом царстве ночи, и мы видим тени великанов, которые все более и более приближаются, окружают нас, подавляют, уничтожают; но не уничтожают бесконечной страсти, в которую переливается всякий восторг, в котором сплавлена любовь, надежда, удовольствие и в которой тогда мы только продолжаем жить.

Гайдн берет человеческое в жизни романтически; он соизмеримее, понятнее для толпы.

Моцарт берет сверхъестественное, чудесное, обитающее во внутренности нашего духа.

Музыка Бетховена действует страхом, ужасом, исступлением, болью и раскрывает именно то бесконечное влечение, которое составляет собственно сущность романтизма. Посему-то он композитор чисто романтический; и не оттого ли происходит плохой успех его в вокальной музыке, уничтожающей словами этот характер неопределенности и бесконечности?..»*

Не правда ли, в этом небольшом отрывке видна непомерная глубина артистического чувства! Как полны, многозначащи несколько слов, мельком брошенные, о романтизме!

Хотите ли вы знать, что такое душа художника, насколько она отделена от души обыкновенного человека, души с запахом земли, души, в которой запачкано божественное начало? Хотите ли взойти во внутренность ее, в этот храм идеала, к которому рвется художник и которого никогда во всей чистоте не может исторгнуть из души своей? Хотите ли видеть, как бурны его страсти, следовать за ним в буйную вакханалию и в объятия девы? Читайте Гофмановы повести: они вам представят самое полное развитие жизни художника во всех фазах ее. Возьмем его Глюка, например: разве это не тип художника, кто бы он ни был — Буонарроти или Бетховен,

Дант или Шиллер? Послушайте, вот Глюк рассказывает о минутах восторга и вдохновения:

«Может быть, полузабытая тема какой-нибудь песни, которую мы поем на другой манер, есть первая мысль, нам принадлежащая, зародыш великана, который все пожрет около себя и все превратит в свою кровь, в свое тело! Путь широкий, на нем толпится народ, и все кричат: «Мы посвященные! Мы достигли цели!» Чрез врата из слоновой кости входят в царство видений; малое число замечают эти врата, еще меньшее проходят в них! Здесь все страшно: безумные образы летают там и сям, и эти образы имеют свои характеры, более или менее определенные. Все вертится, кружится; многие засыпают и тают, уничтожаются в своем сне, и нет тени от них,— тени, которая бы сказала им о дивном свете, которым озарено это царство. Некоторые, проснувшись, идут далее и достигают истины. Высокое мгновение! Минута соприкосновения с вечным невыразимым! Посмотрите на солнце: это троезвучие (Dreiklang), из которого сыплются аккорды, подобно звездам, и обвивают вас нитями света.

Когда я был в том дивном царстве, меня терзали и страх и боль! Это было ночью; я боялся безобразных чудовищ, которые то повергали меня на дно океана, то подымали на воздух. Внезапно лучи света прорезали в мраке, эти лучи были звуки, осветившие меня какой-то ясностью, исполненной неги. Я проснулся: большое, светлое око было обращено на орга́н, и доколе оно было обращено, лилися тоны из него, мерцали, сливались в прелестных аккордах, недоступных прежде для меня. Волны мелодий неслись; я погрузился в этот потоп, уже тонул в нем, как око обратилось на меня, и я остался на поверхности волн. Снова мрак, и явились два гиганта в блестящих доспехах: основной тон (Grundton) и квинта! Они устремились на меня, увлекли. Но око улыбалось: я знаю, что́ твою грудь наполняет страстью; придет кроткий, нежный юноша — терца; он приобщится к великанам, ты услышишь его сладкий голос, и мои мелодии будут твоими»*.

Возьмем Крейслера, капельмейстера Иоганна Крейслера*, которого немецкий принц Ириней называл Mr. Krösel: этот Mr. Krösel есть лучшее произведение Гофмана, самое строй-

ное, исполненное высокой поэзии. Тут более, нежели где-либо, Гофман высказал все, что мог, чем душа его была так полна, о любимом предмете своем, о музыке. Крейслер — пламенный художник, с детских лет мучимый внутренним огнем творчества, живущий в звуках, дышащий ими и между тем неугомонный, гордый, бросающий направо и налево презрительные взгляды. Ему придал Гофман свой собственный характер или, лучше, в нем описал он самого себя, и быстрые, внезапные переливы Крейслера от высоких ощущений к сардоническому смеху придают ему какую-то неуловимую физиономию. И этот Крейслер поставлен между двумя существами дивного изящества. Одна — дочь Севера, дочь туманной Германии, что-то томное, неопределенное, таинственное, неразгаданное — Гедвига. Другая дышит югом, Италией — песнь Россини, песнь пламенная, яркая, влюбленная — Юлия. А тут для тени принц Ириней, предобрейший «God save the King»[1]. Но в Крейслере еще не вся жизнь художника исчерпана. Глубже понимала ее мрачная фантазия Гофмана. Она сошла в те заповедные изгибы страстей, которые ведут к преступлениям; и вот его «Jesuiterkirche». Художник живет только идеалом, любовью к нему; он не дома на земле, не между своими с людьми; для него вся земля — огромная собачья пещера, в которой он задыхается. Художник в пылу мечтанья создал идеал, хранил его, лелеял; его идеал свят, чист, высок, небесен; и вдруг он нашел его в женщине, и это женщина материальная, и ест и пьет, словом, женщина из костей и мяса, земная жена его! Идеал затмился, унизился; порывы творчества исчезли; виновата жена, и он убийца ее! Но и тут, в самом преступлении, Гофман умел столько разлить изящного в своем живописце; и тут можно отыскать опять божественное начало художника, так что вы не можете ненавидеть его. Во многих других повестях представлены прочие элементы жизни художника; мы не станем разбирать их.

Два другие элемента его повестей, явления психические и чудесное, по большей части переплетены между собою. Но здесь надо сделать яркое разделение. Одни повести дышат

[1] «Боже, спаси короля» (англ.).— *Ред.*

чем-то мрачным, глубоким, таинственным; другие — шалости необузданной фантазии, писанные в чаду вакханалий. Сперва несколько слов о первых.

Идиосинкразия, судорожно обвивающая всю жизнь человека около какой-нибудь мысли, сумасшествие, ниспровергающее полюсы умственной жизни; магнетизм, чародейная сила, мощно подчиняющая одного человека воле другого,— открывает огромное поприще пламенной фантазии Гофмана. Но тут еще не всё: есть люди, одаренные какой-то неведомою силой, заставляющей трепетать перед ними. Не случалось ли вам когда встречать взор незнакомца,— взор удушливый и страшный, от которого вы с ужасом должны отворотиться и доселе помните его? Не случалось ли встретить целого человека, похожего на этот взор,— человека с бледным лицом, с тусклыми глазами, с судорожной улыбкой, который вас отталкивает и в то же время привлекает? Вот в эти-то темные, недоступные области психических действий не побоялся спуститься Гофман, и вышел — смело скажу — торжествующим. Это уж не Жюля Жанена натянутые, вытянутые, раскрашенные повести — дети странного соединения философии XVIII века с германской поэзией,— нет! Это волчья долина «Фрейшюца» со всеми ее ужасами, с заколдованными пулями, с бледным мерцающим светом, с неистовой музыкой, с дьявольским аккомпанементом, с запахом ада. В этих повестях вы уже расстаетесь с обыкновенными людьми, то есть с людьми, которые во-время едят, во-время спят, во-время умирают, проводя жизнь в добром здоровье,— с людьми, которые, по донесению Парижской академии, имеют столь счастливую комплексию, что *не могут быть магнетизированы*. Нет, тут являются другие люди — люди с душою сильной, обманом заключенною в эту тюрьму[1], с ее маленьким светом, с ее цепями,

---

[1] Du weißt, daß der Leib ein Kerker ist,
Die Seele hat man hinein betrogen.

Goethe, W.-Ö. Divan. Saki-Nameh.

‹Ты знаешь, что тело — тюрьма, в которую обманом заключили душу. Гёте. Западно-восточный диван. Саки-Намэ (нем.)›.

с ее сырым воздухом. Такая душа — не дома в теле, она беспрестанно ломает его и кончит тем, что сломает самое себя; она-то делается необыкновенным человеком: великим мужем, великим злодеем, сумасшедшим — это все равно. У таких людей своя жизнь, свои законы. Это кометы, пренебрегающие однообразным эллипсисом планетных орбит, не боясь раздробиться на пути своем. Для того, чтоб их узнать, рассмотрите у Гофмана их странные, исковерканные черты, их огромные отклонения от обычного прозябения людей. Вообразите себе несчастного юношу, которого расстроенная фантазия облекла в какой-то страшный образ детскую сказку о «песочном человеке», и этот «песочный человек» преследует его везде: и в отеческом доме, и в университете, и ночью, и днем, то в виде алхимика, то в виде итальянского шарлатано. Вообразите последнюю минуту его исступления, когда он с неистовым восторгом бросает свою невесту с колокольни и с безумным хохотом кричит: «Feueruriel, dreh dich! Feueruriel, dreh dich!»[1] У Гофмана целый ряд этих страшных людей: «Der unheimliche Gast»[2], «Der Magnetiseur». Наконец, он собрал все отдельные лучи этого направления и слил их в один адский, серный огонь: это — «Die Elixiere des Teufels», монах Медардус. Гофману мало было одной жизни: он взял четыре поколения, наследовавшие друг от друга злодейства, и собрал их все на главе Медардуса. Гофману мало было одной жизни: он представил целую семью, рожденную в гнусных кровосмешениях, и поразил ее слепым мечом рока, который вручил Медардусу. Этот рок влечет Медардуса от преступления к преступлению, и никому нет пощады; у этого рока чистая кровь Аврелии, в свою очередь, брызнула на алтарь божий, как кровь невинной жертвы искупления. Гофману все еще было мало: он раздвоил, рассек самого Медардуса надвое; и как страшен его двойник, с своей всклокоченной бородою, с своим изодранным рубищем, с своим окровавленным лицом: верх ужаса! Я трепетал всеми членами,

---

[1] «Огненный Уриэль, кружись! Огненный Уриэль, кружись!» (нем.). — *Ред.*

[2] «Недобрый гость», переведенный в «Телескопе», 1836, кн. 1 и 2*.

читая, как лже-Медардус гнался в лесу за настоящим; мне казалось, я слышал его пронзительный, скрипящий, как ржавое железо, голос, которым он звал его на бой с безумным хохотом. Этот двойник Медардуса — брат его, которого Медардус не знает; он сошел с ума на мысли, что он Медардус, и вот он преследует Медардуса, который, терзаясь угрызениями совести, думает, что его существо раздвоилось! — Какая смелость фантазии, и посмотрите, как выдержал Гофман все сцены их встреч, как он переплел эти две жизни, так что они и в самом деле не совсем розные! — Это самое сильное произведение его фантазии!

Перейдем теперь к шалостям, дурачествам его сильного воображения.

Опомнилась — глядит Татьяна...
И что же видит... За столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах, с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут шевелится хобот гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот...*

Кому не случалось видать подобных снов? Хотите ли их видеть наяву? Вот вам «Meister Floh», «Принцесса Брамбилла», «Циннобер», «Золотой горшок»... Это всё сны, один бессвязнее другого. Тут нет ни мыслей, ни завязок, ни развязок, но занимательность ужасная. Сны вообще занимательны, а то кто бы велел человеку спать ежедневно? Да и как не быть им занимательными? Живи до ста лет, никогда не встретится ничего мудренее. Тут вы познакомитесь с принцем, который сделался из пиявки; иногда задумается, вспомнит жизнь былую и вытянется до потолка и съежится в кулак. Тут увидите принцессу, которая спит в венчике прекрасного цветка, мила до крайности; но что проку: oculis, non manibus[1]... и вот ее увеличивают в микроскоп и делают из ней препорядочную барышню. Но пуще всего прошу вас

[1] глазами — не руками (лат.).— *Ред.*

ненавидеть Циннобера: он, право, злодей, мой личный враг, и если бы он не утонул в рукомойнике, я убил бы его. Вообразите: урод в несколько вершков, с тремя рыжими волосами на голове, попал в фавор к колдунье; и что же? Что кто ни сделай хорошего, klein Zaches Zinnober genannt[1] получает похвалу Однажды кто-то дает концерт на контр-басе, а публика аплодирует, благодарит Циннобера. Взойдите в это положение: вообразите, что вы Даль-Онно, что вы всякий пост с 1700 года ездите в Москву с контр-басом, и вдруг вместо вас хвалят Циннобера, а может быть,— я не отвечаю за него,— что всего хуже,— ему отдадут и деньги за билеты. O horrible! O horrible![2] Право, я с робостью узнал, что Алоизий-чернокнижник вступил с ним в бой. Алоизий — человек хороший, живет аристократом, строус в ливрее — швейцаром, две лягушки у ворот — дворниками, жук ездит за каретой. Зато рекомендую вам Ансельма; он женат на зеленой змее с голубыми глазами; нужды нет: с чужими женами не надобно знакомиться; но он вас познакомит с своим свекром, архивариусом Линдгорстом: чудак пресстественный, был когда-то саламандром, в юности напроказил, его прямо из Индии, за несколько тысяч лет тому назад, в наказание и сослали архивариусом в Дрезден. Гофман сам был у него в гостях; он ему дал санскритскую грамоту и стакан ямайского рома, да вдруг снял сапоги, разделся и давай купаться в стакане. Ведь я говорил вам, что чудак. Словом, вообразите себе отдельные сцены Гётевой «Вальпургиснахт»: это верный образ, тип Гофмановых сказок. Еще к вам просьба — забыл было совсем — сходите поклониться праху Кота Мурра. Во-первых, был он человек ученый, несмотря на то, что не был никогда человеком; но я уверен, что со временем ясно докажут, что прилагательное «ученый» уничтожает существительное «человек». Далее, этот кот — сам Гофман, которого, я надеюсь, вы любите, хоть раг courtoisie[3] ко мне. Сходите же, как будете в той стороне, к нему на могилу.

---

[1] маленький Цахес, прозванный Циннобером (нем.).— *Ред.*

[2] Ужасно! Ужасно! (франц.).— *Ред.*

[3] из любезности (франц.).— *Ред.*

Теперь, слегка начертавши характер Гофмана, мы окончим. Может быть, на досуге поговорим и о других прозаиках Германии *. В заключение скажу, что Гофман превосходно переведен Леве-Веймаром на французский язык * и был принят в Париже с восторгом. *Когда-нибудь* и у нас его переведут * с французского.

1834, апреля 12.

## ЛЕГЕНДА

Fu, e non è...

. . . . . .

Non sarà tutto tempo senza reda...

Del «Purgatorio»[1]*

(Посвящено сестре Наташе)*

I

«Яко же отреби миру быхом, всем попрание доселе...»*

К коринф. 1 посл., гл. IV.

Несколько месяцев тюрьмы, несколько месяцев без открытого неба, без чистого воздуха. Тюрьма не есть уединение, чувство, что человек выброшен из общества, отрешен от всех его условий,— давит, душа сосредоточивается, занимает наименьшее пространство, уменьшается. Томно шло время и однообразно до крайней степени, сутки потеряли свое измерение, все 24 часа превратились в одну тяжелую серую массу, в один осенний вечер; из моего окна видны были казармы, длинные, бесконечные казармы, и над ними голубая полоса неба, изрезанная трубами и обесцвеченная дымом. Наконец, потребность воздуха, солнца, неба превратилась в болезнь, в тоску.— Мне позволили гулять. С каким искренним удовольствием вышел я на печальный двор, отвсюду обставленный солдатами, чистый, плоский, выметенный, без травы, без зелени; правда, по углам стояли деревья, но они были печальны, мертвые листья падали с них, и они казались мне то потерянными бедными узниками,

[1] Был — и нет его... Не останется навсегда без преемника... Из «Чистилища» (итал.).— *Ред.*

грустящими, оторванными от родных лесов, то часовыми, которые без смены стерегут заключенных. Удовольствие мое тускло, темнело; к этому прибавилась еще причина; кто не был в тюрьме, тот вряд ли поймет чувство, с которым узник смотрит на своих провожатых, которые смотрят на него, как на дикого зверя.—Я хотел уже возвратиться в свою маленькую горницу, хотел опять дышать ее сырым, каменным воздухом и с какою-то ненавистью видел, что и это удовольствие, к которому я так долго приготовлялся, отравлено, как вдруг мне попалась на глаза беседка на краю ограды. «Можно идти туда?»— «Я думаю»,— отвечал офицер, после некоторого молчания; я взошел, и чуть крик восторга не вырвался из моей груди: пространство более нежели на двадцать верст раскрывалось внезапно, нечаянно. Кто не знает чувствований, с которыми смотрит человек вдаль с горы? Я сам часто испытывал их; но тут явилось что-то новое в моей груди, сжатой каменными стенами,—в груди колодника...

Вся Москва, весь этот огромный, пестрый гигант, распростертый на сорок верст, блестящий свосю чешуею, вся эта необъятная, узорчатая друза* кристаллов, неправильно осевшихся. Я всматривался в каждую часть города, в каждой груде камней находил знакомого, приятеля, которого давно не видал... Вот Кремль, вот Воспитательный дом, вот крыша театра, вот такая-то церковь... Осеннее солнце, «как итальянская луна», не ослепляло; полосами была Москва наводнена его светом, полосами была темна, и эти полосы перебегали: Москва, казалось, то улыбается, то бразднт морщинами чело свое. Вся московская жизнь представлялась мне ярко, живо, со всей пустою шумливостью и деятельностью без цели; я почти знал, что делается вот под этой зеленой крышею большого дома, на который Москва не позволяет дунуть ветру, и под дощатым навесом этой хижины, которую Москва толкает в реку. Вспомнилась прошедшая жизнь. И святые минуты чистых восторгов, и буйные вакханалии, и немая боль скуки, и ядовитые объятия разврата — все, все виднелось мне из кирпичных масс.

Не знаю, долго ли бы простоял я тут или долго ли бы мне позволили простоять. Но раздался густой, протяжный, одинокий звук колокола с другой стороны; звук колокола застав-

ляет трепетать; он слишком силен для человеческого уха, слишком силен для сердца; в нем есть доля угрызения совести и печальный упрек; он зовет, но не просит; он напоминает о небе, но пренебрегает землею.

Доселе я не обращал внимания на другую сторону, Москва поглотила меня. Страшный звук меди среди этой тишины заставил обернуться — все переменилось. Печальный, уединенный Симонов монастырь с черными крышами, как на гробах, с мрачными стенами, стоял на обширном поле, небольшая река тихо обвивала его, не имея сил подвинуть несколько остановившихся барок; кое-где курились огоньки, и около них лежали мужики, голодные, усталые, измокшие, и голос меди вырывался из гортани монастыря. Как не похож Симонов монастырь, заключенный со всех сторон в ограды, на Москву, раскрытую со всех сторон; в нем было столько тишины и спокойствия, столько святого и поэтического. Печален вид его, и грустен его колокол, но он знал лучшие времена, он был знаменит и славен, торжественно звал его колокол тогда; теперь, ежели б не напомнил о себе, может быть, я не заметил бы его. Старинная архитектура указывала время его славы, и он не хочет переодеться, так, как многие желают умереть в венчальном платье. Тогда ему еще нужны были стены для защиты *от врага**; счастливое время; на что теперь эти стены, эти башни? *Враг* умеет их миновать, умеет везде найти свою жертву; и не в твоих ли оградах лежит *юноша, который так много жил в своей короткой жизни?** Тогда *враг* являлся в виде вооруженного Савла — можно было ждать обращения, теперь в виде Иуды — одна надежда на самоубийство.

Возвратившись в мою горницу, я вспомнил всю блестящую эпоху монастырей; живо представились мне эти люди с пламенной фантазиею и огненным сердцем, которые проводили всю жизнь гимном богу, которых обнаженные ноги сжигались знойными песками Палестины и примерзали к льдам Скандинавии. Эта жизнь для идеи, жизнь для водружения креста, для искупления человека казалась мне высшим выражением общественности — ее нет более, и она невозможна теперь. Тогда были века, умевшие веровать, умевшие понимать власть идеи, умевшие покоряться, умевшие молиться в храме

и умевшие поздвигать храмы. Великая кисть художника увековечила на стенах Ватикана торжественную минуту силы идей — раб рабов божиих отирает сандалии свои об венчанное чело Цезаря... И тут же, казалось, я слышал свист и смех, с которым встретило XIX столетие религиозное направление*.

Забудемте, ради бога забудемте наш век, перенесемтесь в эти времена тихого созерцания, в эти времена неба на земле[1].

## II

Аминь глаголю тебе, днесь со мною будеши в раи.

Лука, гл. XXIII, ст. 43.

Юноша в простой одежде вышел из городских ворот Александрии и скорыми шагами пробегал Некрополис, не обращая ни малейшего внимания ни на дивные пещеры, иссеченные в камне, ни на дивные картины, покрывавшие их стены. Эта невнимательность отнюдь не происходила от одной привычки, приучающей человека без удивления смотреть на все, но от того, что он был занят какою-то мыслию, которая ревниво отталкивала весь мир. Сильные страсти боролись на его лице, мертвая бледность покрывала щеки, иногда слеза тихо скатывалась, и он не замечал ее. Белое лицо его было чрезвычайно

---

[1] Легенда, предлагаемая здесь, находится в «Житии святых» за сентябрь месяц. Для чего же я переписал ее? Гёте говорит: «Nun erzählte die Gesellschaft dem Wunsche gefällig jene Legende... Hier lernte man das eigentliche Wesen der Sage kennen, wenn sie von Mund zu Mund, von Ohr zu Ohr wandelt. Widersprüche kamen nicht vor, aber unendliche Unterschiede, welche daher entspringen mochten, daß jedes Gemüt einen anderen Anteil an der Begebenheit genommen» («Sanct-Rochus Fest zu Bingen. 23 Ap. XLIII B»)*. <«Присутствующие принялись рассказывать эту легенду, идя навстречу пожеланию... Стало понятным подлинное существо легенды, которая переходит из уст в уста, от одного к другому. Противоречий не было, зато бесконечные варианты, которые, повидимому, обязаны своим происхождением тому, что чувство каждого по-разному проявляло свое участие к событию» («Праздник святого Роха в Бингене», 23 апр., XLIII Б») (нем.)>. Метафраст писал мартиролог при Константине Багрянородном*; теперь XIX столетие.

нежно, и, когда он отбрасывал рукою кудри, падавшие ему в глаза, его можно было принять за деву; большие черные глаза выражали особое чувство грусти и задумчивости, которое видим в юных лицах жителей Юга и Востока, столь не похожее на мечтательность в очах северных дев; тут — небесное, там — рай и ад чувственности. Во взорах юноши проглядывал фанатизм, что-то восторженно-религиозное, принадлежащее его родине, колыбели христианского аскетизма и кенобития отшельников фиваидских*, где самое умерщвление страстей превратилось в страсть. Удалившись несколько от города, юноша остановился, долго слушал исчезающий, раздробленный голос города и величественный, единый голос моря[1]... Потом, как будто укрепленный этой симфониею, остановил свой влажный взор на едва виднеющейся Александрии.

Александрия — Греция, возвратившаяся в Египет, памятник славы сына Юпитера Аммона, надгробный памятник Клеопатры,— засыпáла в золотой пыли, в тумане света и жара. Усталое солнце томно погружало лицо свое в средиземные волны, раскаляя длинную полосу на море, которое готово было вспыхнуть. Несколько забытых, опоздалых лучей солнца играли на крестах храмов христианских; Александрия была тогда поклонница Христова, придавая чистой религии его свои неоплатонические оттенки и свою мистическую теургию Прокла и Аполлония. Уже храм Сераписа, Кёльнский собор мира языческого, с своими сводами, галереями, портиками, бесчисленными колоннадами, мраморными стенами, покрытыми золотом, давно был разрушен, и колоссальная статуя Сераписа, на челе которой останавливался луч солнечный, не смея миновать его, была разбита и превращена в пепел. Но Александрия, еще сильная и могущественная, не лишенная прелестей, коими ее

---

[1] Le Seigneur
Mêle éternellement dans un fatal hymen
Le chant de la nature au cri du genre humain.
V. Hugo*.

<Господь вечно сливает в роковом супружестве песнь природы с криком рода человеческого. В. Гюго (франц.)>.

наделил Динократ, прелестей, коими нарядила ее Клеопатра, наряжая себя, пышно и сладострастно смотрела на юношу, не предвидя, что скоро превратится в Искандери аравов.

Грустен был взор юноши, он говорил: «Мы расстаемся, я более не гражданин твой...» Но ему было жаль Александрии, тут он узнал жизнь, тут он любил, тут, может быть, был любим, тут... Но какое-то страшное воспоминание пролетело по лицу юноши, какое-то угрызение совести, и он, обратясь к востоку, бросился на колени, и горячие слезы раскаяния сопровождали молитву его; она была без слов, без мыслей, может быть; но она была истинна и глубока, мысли и слова отняли бы всю духовность ее, так, как они ее отнимают у музыки.

Чиста и прелестна молитва невинности, как весеннее утро, как вода нагорного потока, но в ней есть чувство собственного достоинства, требование награды. Дева чистая называет себя невестою Христа — невестою того, которого Соломон называл женихом церкви. Не такова молитва преступного, рыдающий, поверженный в прахе, он алчет одного прощения, его молитва раздирает его душу; в ней вся его надежда и вместе отчаяние; он чувствует свою недостойность, но чувствует и безмерную благость бога; он боится, трепещет, уничтожает себя и возрождается, живет токмо в нем, в искупителе рода человеческого. Сильна и пламенна молитва преступника, как поток каленого металла, бросаемого из огнедышащего жерла к небу; и не для грешника ли создана молитва? Праведному — гимн.

⟨IIa⟩

> «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла... А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много».
>
> Евангелие*.

Окончив свою молитву, юноша встал, прощальным взором поцеловал Александрию и пошел далее; темнело, и он, углубляясь в плоскую даль пустыни, едва был виден и исчез, наконец... На другой день проходил он к вечеру дикое и пустынное место и, казалось, еще не отдыхал; шаги сделались тише, ды-

хание тяжелее; в темноте можно было разглядеть массу еще темнейшую, которая грубо и тяжело вырезывалась на небосклоне; увидев ее, юноша собрал последние силы, удвоил шаги и вскоре подошел к каменной ограде — вороты были заперты. Несколько раз подымал он руку, чтобы постучаться в окошко привратника; но рука не поднималась,— видно было, что поступок, им предпринимаемый, слишком изменял всю жизнь его, слишком глубоким оврагом отрезывал все прошедшее от всего будущего. Раскаяние, негодование на свою слабость показались на его чертах, и он коснулся до окна, трепет пробежал по его членам; казалось, что стучат у него в сердце, и седая голова привратника два раза повторяла уже свое приветствие сонными устами и спрашивала о причине позднего прихода, прежде нежели юноша вымолвил: «Отец мой, иди к игумну, скажи, что у ворот стоит презренный грешник, что он умоляет принять его в монастырь, что он пришел обмыть ваши святые ноги и работать и трудиться». Седая голова исчезла, слова какой-то молитвы коснулись ушей юноши, потом послышались тихие шаги, которые звучали по камню, потом все умерло и ничего не было слышно. Каждый шаг чувствовал юноша в своей груди — он делал его на поприще, им избранном,— и мысль, к которой он давно приготовлялся, теперь, казалось, была слишком сильна для его груди. Не так ли трепещет человек, ведя к алтарю свою возлюбленную?

Юноша бросился на большой камень; волнение его утишалось, высокое чувство веры восходило, подобно солнцу, из возмущенных волн, освещая их, согревая, передавая им свой свет. Он отрешался от мира земного, он слышал глас Иисуса, призывавший его туда, в обитель любви и надежды, туда, где поют бога чистые ангелы, где души праведных его видят, где между ними и покаявшиеся грешники... Долго сидел он неподвижен, склоняя голову на обе руки, по коим рассыпались его кудри, и в это время он, казалось, гармонировал и с мертвою тишиною пустыни, и с мрачною недвижностью монастыря, и с сухими, печальными растениями берегов Африки, и всего более с своею родиною — Египтом, который однажды жил, остановился на своих обелисках и пирамидах и стоит с замершей на устах немою речью иероглифов. Проходят часы;

нет привратника. По временам пронзительный вой шакала раздается протяжно и длинно, не встречая препятствий, подобно голосу военной трубы; он ищет жертвы и шторит, не находя ее. Юноша ничего не замечал; но вот вблизи его быстрыми скачками, едва дотрогиваясь до земли, пронесся барс, lonza leggiera[1]. Юноша содрогнулся, и немое гнетущее чувство одиночества овладело им. Ужасно чувство, с которым человек видит, что он оставлен всем светом, когда он невольно обращает умоляющий взор вокруг себя, зная, что никто не подаст ему помощи, и когда взор его встречает вместо спасителя ярящиеся волны океана, улыбающийся взгляд инквизитора или взгляд без выражения палача. Первое движение юноши было бежать; куда?— он сам не знал, но вера в провидение остановила его. Он осенил себя крестом и спокойно сел на свой камень. Христианин победил человека.—Ночь прошла, зарделся восток, но привратник не являлся. Ужели он не исполнил просьбы юноши, ужели игумен не спешит утешить страждущего сына?

## III

Две любви создали две веси: любовь к себе до презрения бога — весь земную, любовь бога до презрения себя — весь небесную.

Св. Августин.

В бедной келье, сложенной из огромных камней, при скупом свете треножной лампы, на большом четвероугольном куске гранита сидел монах, лет за пятьдесят; перед ним лежал развернутый свиток Августина; одна рука поддерживала голову, покрытую черными волосами, перемешавшимися с сединою, другой он придерживал свиток. Лицо его было бледно и желто; глубокие морщины на лбу и пламенные глаза показывали, что в душе его горели страсти сильные и что доселе они не потухли. Резкое лицо и более строгое, нежели кроткое, могло показаться холодным с первого взгляда — но только с первого.

---

[1] легкий барс (итал.).— *Ред.*

Он родился в Антиохии, и судьба готовила ему с ранних лет путь, особый от пути, по которому она гуртом толкает людей. Он не знал любви матери, ни ее нежной ласки, от которой мягчится сердце; родившись, был он убийцею ее. У него не было ни сестер, ни братьев. Отец, погруженный в торговые обороты, богатый и надменный, редко живший в Антиохии, был для него посторонний. Словом, узы родства, тысячью цепями привязывающие человека к домашней жизни, к маленькому кругу действий, ему никогда не были известны. Сильная, огненная душа юноши, от природы чувствительная и возвышенная, жаждала симпатии, любви и находила один холод действительного мира. Мрачность черными струями разливалась по его характеру, он стал скрытен, задумчив, искал отрады в чтении поэтов Греции и не находил ее: светлое, яркое небо Эллады, высокое чувство красоты и ее красота ваятельная худо согласовались с его больной душою. Страшно жжет душу огонь ее, когда нет отверстий, куда бы он вылился, когда нет веры, которая одна может обратить его к небу, когда нет любви, которая одна может благотворным сделать пламя его.—Долго блуждал он, не приставая никуда и терзая свою душу потребностями, которым не находил удовлетворения; перебегая от предмета к предмету, попал на христианских писателей. Здесь ему раскрылся новый мир, исполненный обширности, глубины и силы. Одаренный восточной фантазиею, он увлекся африканским красноречием Оригена и Тертуллиана; наполнилась пустота в душе, сильная вера очистила огонь, ее пожиравший. Но что более поразило его — это самые христиане, деятельность их для развития идеи, беспредельная вера в нее и чистое, святое самоотвержение. Надобно вспомнить, что тогда было время великой борьбы против арианизма*, никогда рвение христианских учителей не было обширнее. Весь мир участвовал в спорах, и гонцы спешили по всему миру передавать мысль Августина, слово Афанасия. Эта деятельность с колоссальною целью пересоздать общество человеческое, пересоздать самого человека, возвратить его богу и через него всю природу, опираемая на божественное основание евангелия, волновала юношескую душу; он увидел, что нашел свое призвание, заглушил все страсти, питал одну,

поклялся сделать из души своей храм Христу, то есть храм человечеству, участвовать в апостольском послании христиан — и сдержал слово. В груди сильной может быть одна страсть! Его ничто не привязывало ни к родительскому дому, ни к родине. Девятнадцати лет бежал он в Грецию. Много лет провел в кельях учителей, собирая манну их слов, учась их примером и утешая их строгостью своих нравов. Наконец, учители признали его силу, благословили его и велели идти, проповедуя слово божие. Мечтая о начале божественного Сиона, явился он к людям, и человечество представилось ему худшею частью своею — Византиею. Византия, которой гниение началось вместе со славою, развратная, гнусная, должна была ужаснуть юношу. С негодованием видел он, что христианство там ограничивается одними прениями без веры, что оно так же не идет к Византии, как статуя, которую Констанс хотел туда перевезти из Рима и за которую боялся Гормисдас, что ей будет тесно. Противуположность чистых, высоких учителей, простиравших руку всем слабым и труждающимся и часто отнимавших ее от сильных и богатых, с миром, погрузившимся в пороки, с которых спала даже завеса стыда, заживо разлагающимся, сделала его несправедливым. Он видел одно целое, хорошее, неповрежденное в мире — духовенство; ему хотел бы он отдать и венец и порфиру, в нем полагал все свои надежды, в его апостольском призвании видел возможность спасти людей и обратить их. Он оставил Византию — Рим, разрушаемый Аларикам, страшил его; он не знал, что там нашел бы зародыш исполнения своей мысли,— и удалился в пустыню Фиваидскую. Здесь, среди аскетизма и восторженности, среди людей, избранных богом, еще больше окреп его характер и еще больше возгнушался он миром. Первое желание, явившееся в груди его, было удаление в пустыню, в которой бы можно было забыть все и помнить одного Христа; но это худо согласовалось с мыслию распространения слова божия. Не отдельность нужна для развития идеи, а совокупность. Он возвратился на родину, роздал бедным богатое наследство свое и вступил в Октодекадский монастырь*. Вскоре братия его избрала игумном, и он был пастырь строгий, поучая примером, наказывая всякую слабость, отрезывая более и более монахов от мира.

Монастырский чин и устройство христианского духовенства явило дивный пример согласования двух идей, повидимому, враждующих,— иерархии и равенства,— в то время как политическая история человечества показывает одно беспрерывное стремление к этому согласованию, стремление несчастное, ибо способы употребляемые бедны и мелки; имея такой пример пред глазами, люди не умели понять его...

Вот к этому монаху поздно ночью отворил дверь привратник; сперва он постучал в нее, но, не слыша ответа и думая, что игумен спит, он вошел в келью. Игумен, не замечая его, продолжал чтение; он был в восторге, глаза его горели юношеским пламенем; в лице было столько торжественности, что казалось, оно распространяет лучезарный свет и что ему, как Моисею, нужно покрывало. Красота восторга лучше всех красот человеческих, ибо тогда человек перестает быть земным и начинает быть небесным; для нее не нужно ни юности, ни украшений. Наконец, он поднял голову и увидел пришедшего. «У ворот, святой отец,— сказал привратник, благословленный игумном,— стоит юноша, просит, чтоб ты принял его в монастырь; он печален, слезы льются из его очей, говорит о каком-то преступлении. Прикажешь ли пустить его?» Игумен молчал, черты его изменялись, теряли свою торжественность и превращались в холодное, недоверчивое и строгое выражение, с которым он смотрел на несовершенный мир; но душа его отстала — она еще не пришла в обыкновенное положение. «Юноша,— говорил он сам с собою,— прелестное время... тогда родятся высокие мысли; где-то теперь друг моей юности?..» И воспоминание чего-то давно прошедшего навертывалось в уме его и манило к себе; но он был царем души своей, остановил порыв и продолжал: «Минутная злоба на мир, мечтаемое отчаяние, которое так любят юноши,— вот что их гонит, а пуще всего гордость. Гордость — ею владеет наш враг; всякое преступление скорее гордости искупится. Не уничтожить себя в Христе хотят они, а возвыситься над другими». Все это говорил он вполслуха, потом, обращаясь к привратнику: «Старик, поди и ляг спать; ответа не давай ему, не выходи до утра; ежели останется, ежели смиренно перенесет это

унижение — тогда увидим».— «А дикие звери?» — заметил с жалостным видом старик.— «Они не растерзали Даниила в пещере львиной»*.— «Но холод ночи?»— «Вседержитель умеет хранить избранных; сын мой, да будет на тебе благословение божие!» Привратник вышел, а игумен, развлеченный его приходом, принялся за свиток; но чтение не шло вперед; то трещала светильня лампы, то горела очень тускло, и он должен был прерываться и поправлять. Но это происходило от другой причины: его занимал юноша; как искренно, горячо желалось ему, чтоб он перенес унижение, чтоб остался верен избранному поприщу: тогда он перельет в него всю душу; ему нужен чистый, юный человек. И бог знает, какие надежды он строил на нем... но еще искус его не должен был кончиться одною ночью, нет, скорее он лишился бы остальных братий, нежели в одной йоте избавить пришельца от целого ряда трудов и унижений.

## IV

Шедше убо, научите вся языки, крестяще их во имя отца, и сына, и святаго духа.

Матф., гл. XXVIII, ст. 19.

О сем разумеют вси, яко мои ученицы есте, аще любовь имате между собою.

Иоанн, гл. XIII, ст. 35.

Солнце уже склонялось к западу, пышная природа Юга была во всей красе своего вечного лета, когда в длинной платановой аллее, обвитой каменною оградой монастыря, показался игумен с юным другом своим, Феодором; уже неоднократно изливал он долго страдавшую душу свою в этот чистый сосуд,— сосуд церковный, божий. Старец радовался, найдя человека, который так вполне понимает его; в сотый раз повествовал он ему свою жизнь и свои надежды, и в сотый раз с умилением и благодарностию слушал юноша. Они сели на простой скамье, отененной широкими листьями пальмы; каленый воздух наносил дивный запах алоэ и лимонных деревьев. Огромные цветы магнолии, прощаясь с солнцем, хвастались своими красивыми венчиками. Ручные антилопы спокойно щипали

траву, пунцовые ориксы и зеленые голуби перелетали с ветки на ветку. Старик, казалось, помолодел и таким образом продолжал свой разговор:

— Что может быть выше призвания апостольского?.. С живым словом в душе, с пламенною верой, с пламенной любовью ко всему человечеству и к каждому человеку идет он в общество людей. Для их блага переносит гонения и страдания; в их души, не отверстые истине, зароняет слово веры — и какое наслаждение, когда слово не погибнет — разовьется. Сильно живое слово, ничто не остановит его; тщетно земной человек противудействует своему спасению. Оно увлечет его.

Посмотри, как человек усиливается воздвигнуть башню Вавилонскую и как не может ничего сделать. Рим, твердейший столп храма земного, сильнейшее проявление человека Адамова, последняя твердыня его,— разве не носил зародыш своей гибели в самом развитии своем? Борение составляло его жизнь, ибо борение назначено в удел Адаму — пот, и пот кровавый. Но как во Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Господь примиряет с собою человека, и чем же?— Он снисшел до человека, чтоб человека возвысить до бога. Море благости и милосердия, он не хочет прямо простить человека: это уронило бы падшего, греховного; он дает ему самому средство искупления в Христе[1]. И Христос, единый правый, страдает за всех виновных. Весь земная падает, весь небесная создается. Что за торжественный день для мира, когда он огласился в первый раз евангелием! Мир, истерзанный войною, услышал слово мира, мир попранный — слово свободы, мир ненависти — слово любви, мир неверия — слово веры. Всем говорило евангелие; исчезли племена и состояния, фарисей и саддукей отвергнуты, эллин и иудей приняты; всех манило оно в лоно божье, всех в объятия братства — первый Адам стал душою живущей, последний Адам есть дух животворящий.—И чтобы человек остался безответен гласу апостольскому? — Никогда! Никогда!

Нет, слишком мрачно смотрел любимец Его с Патмоса, когда, увлеченный своим восторгом, он писал огненные—

[1] Это мысль Данта.

строки Откровения*. Сион божий, весь Христова еще здесь, на сем мире, осуществится, она уже началась и вспять идти не может.— «Се дах пред тобою двери отверсты и никтоже может затворити их»... Пал Вавилон, пал Вавилон и не воскреснет более; пал великий город, облеченный в виссон, и порфиру, и багряницу, украшенный златом и камнями, и плачут о нем купцы, издали всматриваясь в развалины города, где они торговали и миррой, и фимиамом, и конями, и телами, и душами человеческими. Силен враг, живущий в развалинах, но он побежден, и мир, как Савл, сделается из гонителя апостолом, из воина крови воином Христовым.—Понятны мне грустные звуки, вырывающиеся из души Иоанна; его пламенный прав не умел ждать; но неправ он; разве не при нем уже началась битва, на которую ангел звал вранов пожирать трупы сильных, и он, некогда склонявший главу на грудь Его, уже видел потрясенный Рим — словом евангелия? И кто же потрясли его? Эти гонимые, униженные, отроби миру, скитающиеся, нагие, в то время как о силу его раздробились народы всей земли. Оттого что голос их был голос бога, голос человечества, оттого что они душою предали себя Христу и своему призванию. Этого голоса не сковали темницы, не казнили секиры, не растерзали тигры. Что против этой любви и веры могли легионы, и патриции, и цезари? Эти люди веры были сильнее сильных мира сего, которые с улыбкою презрения говорили о назарянах. «Ничего не имея,— по словам Павла,— и всем обладая».

Сын мой, несмотря на то, что я горько обманулся в людях, я убежден в скором утверждении царства Христова. Священные минуты, когда явилась мне впервые мысль этого Сиона, когда я прозрел ее в евангелии, когда так близко казалось мне осуществление ее... Настал для человечества день исхождения из Египта. Труден путь: и степи, и голод, и жар; но снова разделит Иегова нам Чермное море и введет в землю обстованную. Мы, может, погибнем в пути, но они перейдут — не достаточно ли одной этой мысли, чтоб с сладкою надеждой явиться пред судиею, исполнив долг свой?— Долго нам еще странствовать, и ужасно теперичное состояние. Гонения остановились, но слабые пали духом. Христиане сделались хуже язычников. Где эта семья, у которой было одно сердце,

одна душа, где собственности не было, а было все общее, как говорит Лука? Где братство, в котором были и невежды, и ремесленники, и пахари, и старые женщины и из коих выбирались вожди церкви Христовой, и какие вожди?—Но не будем сетовать, пускай смердят и разлагаются остатки древнего мира; не из развалин его построится Сион, они нечисты.—Ежели б ты знал, что такое Византия... Грехи ее дошли до неба, и бог воспомянул неправды ее; на ней совершится громовое пророчество Исаии, она будет рабою иноплеменников. И там, в этой-то Византии, я видел великих светильников церкви; духовенство отделилось от мирян, и в нем сохраняется весь Христова; оно-то собиралось в Никее, в этот великий день веры* оно не простило Константина*, облитого тройною кровью — сына, племянника и жены. Да, среди пустынь, за стенами монастырей, возрастет слово Христово: «И свет во тьме светит, и тьма его не объяла»,— и оттуда пересодится на открытое поле, когда из него исторгнутся плевелы.— Догнивайте же, остатки Вавилона, снедаемые собственными пороками, гибните в сладострастии и сребролюбии, гибните в гнусных, позорных руках евнухов и женщин.

— Неужели, отец мой, ты рядом ставишь женщин с этими полулюдьми?— спросил юноша.

— Нет, но,— сказал игумен, строго взглянув на Феодора,— но бойся женщин; их красота — красота Авадонны*.

— Но красота от бога и есть проявление его, говорит Августин, который сам любил.

— Горе тебе, ежели ты только нашел в Августине,— возразил старец.— Далила, обрезывающая власы Самсона,— вот образ всех женщин. Вспомни, что Сирах боялся их, как ядовитых скорпионов, более, нежели тигра и дракона. Их слабые души, их изнеженные тела привязывают к земле; не имея сил, они коварны; не имея возможности подняться, они держат нас, как жена Потифара*, за край одежды. Женщина требовала главу Иоанна, женщина была первая преступница в обществе апостольском... но отчего же ты огорчился, Феодор? Но я знаю тебя... наш разговор зашел далеко, пора готовиться к девятому часу... Верь мне, юноша: скуделен сосуд этот, и гибельна красота его. Благословим память Марка, основав-

шего в твоей родине жизнь монастырскую. Здесь мы можем работать для человечества, и ничто не отвлечет нас. Семья Иисуса были его ученики, семья наша — братия.

Игумен кончил, встал и пошел по аллее. Юноша долго смотрел ему вслед и был взволнован. «Женщина требовала главу Иоанна,— думал он,— но дева родила Христа. Сирах... Сирах же говорит, что женщина добродетельная есть солнце, восходящее на небе господнем, ясный светильник на церковном подсвечнике. И кто распял Его? И кто стоял при кресте? О, ты, ты один справедлив, Сын божий, ты простил даже преступную...» Но вдруг лицо его вспыхнуло, слезы налились в глаза, и он воскликнул: «Ты прав, ты прав, отец святой».

## V

15. За тем я вышла ранним утром из дома, чтоб найти тебя,— и нашла.
16. Я ложе мое украсила цветными коврами египетскими.
17. Я облила его миррою, алоэ и кинамоном.
18. Приди насладиться любовью.

Соломон, Пр., гл. VII.

За несколько лет перед тем как игумен доказывал Сирахом, что женщины страшнее дракона, и Феодор оправдывал их Сирахом, говоря, что они похожи на солнце,— опустел дом одного богатого гражданина в Александрии. Этот гражданин был женат на прелестной египтянке, любил ее, как африканец,— и она любила его, до тех пор пока не приехал в Александрию греческий вельможа с сыном. Византийский юноша, прелестный собою, со всею изысканностью нравов падающего царства, со всею привлекательностию ложного просвещения, понравился египтянке; она изменила мужу, потом сделалась грустна, задумчива; какая-то сокровенная мысль терзала ее; она не могла смотреть на обманутого и оставила его. Тщетно искал он ее; никогда не было ни малейшей вести о преступной. С того времени пышный дом его превратился в гроб,

тоска снедала сердце, растерзанное сомнениями; он не знал о измене и не понимал причину бегства; худой, убитый, он больше походил на вызванного духа, нежели на человека. Много лет прошли в печали и слезах, и как наиболее питают надежду люди, не имеющие на нее никакого права, так и он ждал беспрерывно то ее возвращения, то какого-нибудь известия и, не получая никакого, тем с большею уверенностью хватался за всякую тень надежды. И вот однажды снится ему сон, будто ангел господень, с вечно юным лицом, с улыбкой на устах, летит с неба, летит прямо к нему, останавливает свой полет над его головою, качается на дивных крыльях и, сказав: «Нынче у храма св. Петра», летит наверх петь бога.

Он проснулся; сны иногда бывают так ярки, так выразительны, что нельзя им не верить. Он добавил к словам ангела смысл, который хотел, поспешно оделся и отправился к храму св. Петра. С ранней зарею сидел он уже на мраморных ступенях, под колоннадою храма, осматривая каждого человека, как таможенный пристав. Сначала прохожие были редки, потом целыми толпами двигались они по площади. Житель стран полуденных не умеет сидеть дома; многие укрывались от солнечного зноя под тем же порталом. Но где же она? Никто не обращал на него внимания, никто не говорил с ним, и он пользовался этим уединением особого рода, которое ощущает человек в толпе людей, когда не делит с ними ни их желаний, ни их мыслей. Твердо полагаясь на глас божий, он ждал и ждал.— Кто-то ехал на ослице в черном платье; он не спускал глаз с него; но это был монах. Инок подъезжал к храму, слез с ослицы и, как бы пораженный неподвижностью сидящего, дрожащим голосом сказал ему едва внятно: «Добрый день, господин».— Он не обратил на него внимания, не его искал несчастный. Монах оставил ослицу и взошел в храм; потом народ опять начал редеть, уходить; солнце садилось, ночь наступала, и отчаянный муж, второй раз теряя свою жену, тихими шагами побрел домой. Через несколько времени вышел монах, тотчас обратил глаза на место, где сидел несчастный, и, как бы обрадованный его уходом, поспешно сел на свою ослицу, вздохнул, перекрестился, еще раз вздохнул и поехал к городским воротам.

Было поздно; сильный ветер дул с взморья; черные тучи, окропавленные снизу лучами солнца, роняли огромные капли теплой воды на растрескавшуюся землю. Феодор, взволнованный встречею и боясь грозы, не хотел ехать далее и свернул в монастырь Энат, лежащий возле Александрии. Служитель божий, гражданин всего мира христианского, в те времена везде находил отворенную дверь, и всюду приход его считался счастием, тем паче в монастыре, куда приходили все бедные и труждающиеся дети церкви.

Вечерняя молитва началась. Феодор взошел в церковь и удалился в небольшое углубление, бывшее в стене; там, никем не зримый, хотел он принесть свою молитву Искупителю. Тихое, стройное пение монахов едва было слышно, и тем невещественнее, тем неопределеннее, тем святее становилась песнь. Полузвуки согласовались с полумраком, в котором был погружен храм; своды, казалось, исчезли, стены — какими-то массами тумана; дым из кадильниц, виясь около изображений, придавал им таинственное движение. И шаги по каменному полу, и мелькание черной рясы, и ее шорох увеличивали торжественность, возможную только в храме божием и которую испытал всякий, с чистой душою входивший в церковь. Тем сильнее действовала она на мечтательного Феодора,— его можно было принять за изваяние; именно он, как статуя, выражал одно чувство — чувство молитвы. Иногда слабый вздох вырывался из груди его, как будто он упрекал себя в чем-то, иногда и слеза навертывалась, но восторг всё поглощал, соединяя все мысли в гимн.

...Близ углубления, где был Феодор, стояла молодая женщина, прелестная собой, как те девы Востока, о которых пел Низами; сначала молилась и она; но вскоре молитва исчезла с уст ее; беспрерывно смотрела она на юношу; освещенный последним остатком света, окруженный мраком, Феодор казался ей чем-то принадлежащим нездешнему миру; она думала видеть архангела, принесшего благую весть деве иудейской... Огненная кровь египтянки пылала.

Окончилось вечернее молсние. Феодор пошел к игумну, не обратив на нее ни малейшего внимания, сказал ему о причине приезда и просил дозволения переночевать. Игумен был рад

и повел Феодора к себе... Первое лицо, встретившее их, была женщина, стоявшая близ Феодора, дочь игумна, который удалился от света, лишившись жены, и с которым был еще связан своею дочерью; она приехала гостить к отцу и собиралась вскоре возвратиться в небольшой городок близ Александрии, где жила у сестры своей матери.

В ленивой груди жителя Юга бывают минуты торжественные; в такую минуту он переживет все, что по мелочи испытает гиперборей. У него страсть родится, подобно дочери Зевса, в полном вооружении. Зажженная однажды, она может гореть и жечь его до гроба. Его страсть любит до уничтожения предмета любви, пылает местью до уничтожения самого себя. Это огненная масса, внезапно воспламеняющаяся и никогда не тухнущая. Египтянка любила Феодора пламенно, безвозвратно. Бледные девы Севера не поверят этому; они не знают этого ада страстей, привыкнувшие к своим мечтам о духовном, о небе, то есть не о настоящем небе, а о том, которое они создали себе для бегства от скупой и туманной природы. Она с жадностию впивала каждый взор его — но этот взор был обращен к небу; с жадностию слушала каждое слово — но это слово было о боге. «Любовь,— сказал он,— вот основание мира, и апостол говорит, что недостаточна вера, ежели нет любви». Но не о земной любви говорил юноша, о земной понимала дева.

Взошедши в келью, для него приготовленную, Феодор бросился на скудную постель из банановых листьев и не тушил еще лампы, как вдруг начала отворяться дверь и тихо-тихо взошла какая-то старуха с темным, загорелым лицом наших цыган, с впалыми щеками и неверным взглядом; украдкой окинув горницу, она сказала: «Служитель Христов, есть человек, нуждающийся в твоей помощи; не откажись идти за мною». Феодор молча встал и пошел за нею. Вышли на двор, все было темно; подошли к какой-то маленькой двери; старуха отворила ее; за нею еще мрачнее; пустила его вперед и исчезла; но не долго стоял Феодор — его взял кто-то за руку, и на этот раз не высохшая, костлявая, угловатая рука старухи, а нежная, мягкая, трепещущая ручка, горячая, как каленое железо. Прикосновение во мраке всегда наводит ужас, и Феодор

содрогнулся. «Сюда»,— прошептал едва внятный голос, и он смиренно шел; небольшой переход оканчивался дверью; ее отворил его спутник, и в нем он узнал прелестную дочь игумна.

Полунагая, едва одетая легкой тканью, которая более обнаруживала ее красоту, нежели скрывала своими фантастическими драпри, трепещущая и огненная, стояла она перед ним, не смея ни поднять на него взора, ни оторвать его от пестрых цветов ковра, до которого чуть касались ее маленькие ножки. Слезы катились из ее глаз, засыхая на разгоревшихся, воспаленных щеках.

— Странник,— сказала она, долго принуждая себя сказать то, о чем молчать ей казалось так трудно,— прости меня... Странник, я люблю тебя... но, бога ради, не смейся надо мною... Я видела, как ты молился; твой вдохновенный взор, твое лицо, твой страстный взгляд не идут молитве; твоя душа пламенна, она не может удовлетвориться молитвою; ты обманываешь себя. Люби меня... может, тебе неизвестно это море блаженства, я тебе раскрою его, мы потонем в его волнах; я сожгу тебя моим поцелуем, я обовьюсь, как эфеу*, около тебя, я умру, целуя тебя...—И, говоря это, дева в самом деле тонула в океане страстей и, полумертвая, дрожащая, готова была броситься в объятия юноши; но они не раскрылись. Спокоен и тих был взор Феодора; таким взором смотрит луна на бешеную Этну, пламенем раздирающую свою грудь.

— Дева,— сказал он ей,— благодари судьбу, что ты это говоришь мне, отжившему для мира сего; я не воспользуюсь слабостью овцы гибнущей. Вспомни, что ты христианка. Я сосдиню свои молитвы с твоими, чтобы господь извел из тебя злого духа, губящего душу твою. Дева, и я был порочен, и я знаю, как слабы женщины... тем сильнее будет молитва моя, тем спасительнее тебе.

— Как, ты любил!— воскликнула она.— Ты любил!—и ревность к прошедшему взволновала ее грудь, в которой не было места и одной страсти.— Где она?.. но... но, может, ее уж нет, может, она изменила, может, в ней не было этой бешеной страсти? О, я заменю ее, я свободна, как птица небесная; бежим в Грецию, там...

— Остановись,— сказал Феодор, и ланиты его показали, что он еще человек; но что их оцветило — любовь или воспоминание?— Я богу дал клятву, и ничто не сокрушит ее.

— Лицемер, деве дал ты клятву; обманщик, тебе ли носить монастырское платье? Да, это ясно; теперь все понимаю—но я умею мстить; ты видел, как необузданны страсти мои... И неужели твое сердце до того принадлежит другой, что нет места для меня? Один час, одну минуту дай насладиться тобою, и я счастлива, и возьми после жизнь мою, на что мне она тогда; и в этой минуте я солью все, и рай позавидует мне. Ты смущен; нет, нет, эта грудь не из гранита!

И она бросила лампу на пол, и душистое масло струями разлилось по ковру, и светильня, вспыхивая, и потухая, и курясь, прожгла его... судорожная рука обвилась около юноши, дрожащие уста с своим огненным, сладострастным дыханием коснулись уст Феодора; тщетно хотел он вырваться.

— Нет, нет, ты мой, я тебя не пущу!— шептала она, целуя его.

Ясно и душно было утро, когда на ослице тихо подъезжал Феодор к Октодекадскому монастырю, везя елей для храма. Черты лица его, утомленные зноем, выражали опять то же спокойное, святое чувство, с которым он выехал за два дня из этой ограды. По временам взор его делался мечтателен, далеко устремлялся в пространное поле и, казалось, выпрашивал какого-нибудь предмета или искал кого-нибудь, но тотчас приходил он в свое всегдашнее положение. Молитва виднелась на устах, молитва во взоре, молитва в нем самом... и привратник, тот же старец, которого он ждал целую ночь, но еще старее, отворил ему вороты, и он опять въехал в этот тихий, умерший двор, где люди не измяли зеленой травы, где одни черные рясы мелькали меж белых надгробных камней, где душистые лимоны и пышные смоковницы заслоняли одни черные рясы и белые надгробные камни.

17. И сказала ему: «Еврейский раб, которого ты привел в дом свой, хотел меня обесчестить...»
20. Тогда бросил он его в темницу...
21. Но господь был с ним.

Моисей, Кн. бытия, гл. 39.

— Нет, это клевета,— сказал игумен Октодекадского монастыря,— гнусная, черная клевета.— И тень сомнения уже прокралась на его лицо, и он, казалось, разуверял себя более, нежели стоящего возле монаха.

— Но пояс,— возразил тот.

— Хорошо. Неси лобзание мира нашему брату и скажи, что я спрошу у обвиняемого, и да падет вся строгость на главу преступную.

Монах склонился и вышел. Лицо игумна было ужасно, жилы на висках налились кровью и бились; он был смущен, несмотря на свою обычную твердость, и не знал, верить ли или нет какому-то обвинению, и то укорял себя в сомнении, приискивая наказание виновному, то верил обвинению, приискивая доказательства к опровержению его; он то вставал и прохаживался, то садился; наконец, обращаясь к молодому монаху, сказал: «Позови брата Феодора и оставь его со мною наедине».

Тихая, аскетическая жизнь подняла так фантазию Феодора, так приучила его к созерцательности, что он целые часы проводил, мечтая то о прелестной жизни, которая готовится праведнику в обителях рая, то о соделании всей земли одною паствою Христа, то погружался в созерцание бога и, долго теряясь в бесконечном, вдруг спускался на землю; и как хороша она ему казалась тогда, как ясно выражала Его и как понятно говорило и это ветвистое дерево, и эта пернатая птица! В такой-то созерцательной минуте был он, когда его позвали к игумну; это было так обыкновенно, что он, нисколько не удивясь, пошел к нему с светлым вдохновенным лицом, торопясь пересказать все, что чувствовал.

С холодным и важным видом встретил его игумен, пристально посмотрел на прелестного юношу и уже почти оправдал его в душе.

— Феодор,— сказал он, подавая письмо,— прочти его и скажи, правда ли?

Феодор стал читать письмо. Игумен остановил на нем испытующий взор, но юноша спокойно прочел и твердо сказал:

— Видит бог, что ложь.

— Твой ли это пояс?

— Мой.

— Где ты потерял его?

— Не помню, святой отец; я хватился его, возвратясь из Александрии, уже дома.

— Это пояс женский,— прибавил игумен, рассматривая.

— Я с ним пришел семь лет тому назад,— ответил Феодор не совсем верным голосом и наклоняя голову, чтоб скрыть пурпур, покрывший щеки его.

Игумен не заметил. Туча пронеслась.

— Я был уверен в твоей невинности, сын мой; нет, ты не мог так пасть, бог не дает порочному такой души; тебя избрал он в свое воинство,— и игумен обнял его, и тронутый Феодор рыдая целовал в плечо старика.

Но чрез несколько месяцев опять явились монахи эпатские; они принесли с собою младенца, бросили его середь двора и с злобной усмешкой сказали: «Братия, ваше дело вскормить чадо порочной жизни вашей!» Обиженная братия требовала, чтоб назвали виновного,— ей отвечали именем Феодора.—Никто не верил, все просили игумна, чтоб он допросил виновного, и игумен, непоколебимый в своей доверенности, спокойно сказал: «Судите его сами», твердо убежденный, что одно слово, один вид Феодора будет полным оправданием. Он втайне даже радовался торжеству своего друга. Призвали Феодора. Игумен ждал с нетерпением оправдания, ободрял его взглядом, улыбкой; и каково же было удивление старика, когда Феодор, преклоняя колена, трепещущий, прерывающимся голосом от слез едва произнес: «Прости, отец святой, прости... я обманул тебя, ужасно обманул». Старец был притоптан к земле, не мог поднять глаз, ни вымолвить слова; пятна вышли на его лице, рука перестала перебирать четки и судорожно дрожала. Наконец, гордо взглянув на братию, он сказал повелительным голосом: «Изгнать презренного обманщика из монастыря,

он пятнает нас». И озлобленная братия, униженная поступком Феодора, осыпала его насмешками и бранью; даже несколько камней полетело в юношу; все волновалось и кричало; один обвиненный стоял спокойно; минута волнения прошла,— это был прежний Феодор, то же вдохновенное лицо, и ясно обращался его взор на братию и к небу; и когда игумен, боясь тронуться его видом, спросил: «Чего же медлите вы?»— тогда Феодор возвел очи к небу, говоря: «Господь, теперь я вижу, что ты обратился ко мне, что грешная молитва дошла до подножия твоего». Потом упал он ниц пред игумном и сказал: «Не прощенья молю я, но молись о душе преступной, которая никогда не забудет тебя...» Слезы не дозволили ему продолжать... «Молитесь и вы, братие», прибавил он, вставая и низко кланяясь им. Наконец подошел к ребенку, взял его на руки, поцеловал и с видом искренней любви сказал ему: «Не плачь, дитя, не плачь». Долее не мог вытерпеть игумен; он чувствовал,что слезы готовы брызнуть из глаз; он встал и пошел в келью. Взошедши в нее, раздраженный и недовольный собою, сел к окну и смотрел, как монахи вели Феодора к воротам, наперерыв осыпая бранью, как вытолкнули его; все было к Феодору немилосердо, даже старый привратник ударил его тростью. Феодор терпел все, защищая ребенка и как будто взором говоря: «Он-то чем виноват?»

«Так я никогда не был обманут,— думал игумен.— Это — искушение дьявола... Но как добр, как восторжен он был сначала и все семь лет! Я его любил, как сына, более, нежели как сына... Но как же он читал письмо так спокойно? Надобно быть очень порочну, чтоб скрывать пороки. Его погубила,увлекла эта женщина, а он еще защищал их, порождение ехидны, лишившее рая первого человека... И в самое то время, как он признавался, в моем сердце кричал голос: „Он невинен!“ Никогда не надобно доверяться этому голосу. А как он перенес стыд и наказание! Каким взором взглянул на меня!.. О Феодор, зачем ты пал? Ты мне был так необходим; кто заменит тебя?.. Но не стыдно ли жалеть о нем? Старик, вот плоды твоей опытности, мальчишка обманул тебя.— И он смеялся судорожным смехом.— Не прав ли я был, сомневаясь принять его в монастырь?» Тут он остановился,— эта мысль мирила его с собою,— и начал

думать не о Феодоре, но о новых искусах для приходящих. Ужасно хоронить друга; но еще ужаснее видеть свою ошибку в человеке, с которым делил душу, помыслы, это — кусок мяса, оторванный от сердца, горячий, кровавый. Игумен после этого происшествия сделался еще мрачнее, не велел при себе поминать бывшего друга, старался стереть его в памяти — и не мог забыть.

Между тем несчастный Феодор, опозоренный, униженный, изгнанный, был встречен людьми, которые слышали о его вине и ругались над ним еще злее монахов. Посредственность до того ненавидит все высшее, что для нее торжество всякое падение; сверх того, она воображает, что, бросая камень в виновного, закроет свои пороки.— Яростными голосами кричала толпа: «Где же сын живого мертвеца, отказавшегося от земли?» Феодор вынимал младенца из мантии и говорил: «Вот он»; но в этом не была видна дерзость злодея, который нагло показывает клеймо варнака, но какое-то самоотверженное чувство своего преступления; казалось, он просил их наказать себя и был готов все перенести.

У Феодора не было ничего; бедность грозила ему своими худыми руками, посиневшими от стужи, иссохшими от голода; никто не подавал ему милостыни; на последние деньги купил он молока младенцу, сам питался кореньями и морскими раковинами... «И хождаше по пустыне скитаяся, очерне же плоть от зимы и зноя, и очи потемнеша от горького плача, и живяша со зверьми»,— этими словами описывает мартиролог его жизнь.

## VII

Простри длани твоя и прими душу мою,
юже в жертву принесох любви ради твоея.

Житие св. Екатерины.

У гроба Феодорова сидел грустный игумен — и с ним тот самый александриец, который так усердно ждал свою жену у храма Петра. Александриец плакал, игумен молился; никто не прерывал тишины — она продолжалась некоторое время. Но вдруг отворилась дверь, и взошел игумен знатский с

монахом, которого он присылал обвинять Феодора. Тело усопшего было покрыто; игумен Октодекадского монастыря открыл голову и спросил своего собрата, — это ли Феодор?

— Он самый,— отвечал тот.

— Обесчестивший у нас девицу,— прибавил монах.

С горькой улыбкой отдернул игумен покрывало и указал женские перси.

— Это жена его, Феодо́ра,— сказал он, указывая на александрийца.

— Воплощенный ангел! Прости мне, что я, слабый грешник, не постиг твоего величия, и моли у всевышнего, да отпустятся мне грехи мои...

Старик залился слезами и склонил голову свою к покойнице. Небесная улыбка видна была на холодных устах, которые, казалось, хотели открыться еще раз для того, чтоб сказать игумну:

«Я прощаю тебя».

---

...И написующе тое неточие на хартиях,
но и в сердцах ваших, простирахуся к подвигам великим
и благоугождаху
богу.

Крутицкие казармы,
1835 года февраль.
(Переписано в Вятке, 1836 г., марта 12).

## ВСТРЕЧИ

Точкою пересечения называется место встречи двух линий.

Франкёр, «Курс чистой математики», т. I. «Прямолинейная геометрия»*.

Говорят, что храмовые рыцари* везде узнавали друг друга, узнавали даже степень свою в таинствах и силу в ордене при первой встрече — это кажется странно, удивительно*. Но пусть разберет каждый человек (в самом деле!), не случалось ли ему в продолжение жизни встретиться с незнакомцем, которого он никогда не видал, которого никогда не увидит и в котором с первого взгляда открывается близкий родственник души, человек, которого он хочет иметь другом, с которым ему жаль расстаться, — какая-то симпатия, какой-то магнетизм влечет к нему, и эта встреча остается навсегда в памяти, ибо существования их пересеклись, опять раздвоились, но слились в точке пересечения. Чем бурнее была жизнь человека, чем более страсти пережигали его душу,— тем более таких встреч.

Итак, мы все храмовые рыцари. Посторонние не знали знаков ордена. Так и теперь толпа, это постороннее всего одушевленного, не понимает людей, глубоко чувствующих. Помнится, Дидротова кухарка очень удивилась, услышав, что ее господин—великий человек.— Сколько Дидротовых кухарок!

## ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

(Посвящено другу Сазонову)

> Was die französische Revolution Gutes oder Böses stiftet, kann ich nicht beurteilen; so viel weiß ich, daß sie mir diesen Winter einige Paar Strümpfe mehr einbringt*.
>
> Goethe, «Die Aufgeregten», 1 Ac. 1 Sc.[1]

...Взошедши в гостиную, я увидел незнакомого человека, которого тотчас почел за иностранца, ибо несколько молодых людей беспрестанно выказывали ему себя, беспрестанно тормошили его. У нас свой манер принимать иностранцев, нечто в том роде, как слепни принимают лошадь в летний день.

Он был пожилой человек*, среднего роста, худой и плешивый; молочный свет лампы, покрытой тусклым колпаком, придавал что-то восковое его бледному лицу, которое, несмотря на лета, было так нежно, так бело, как видим на хороших бюстах из каррарского мрамора; серые глаза его блистали, как у молодого человека; рот делал нечто вроде улыбки, которая с первого взгляда могла показаться за добродушие, но в которой второй взгляд видел насмешку, а смотря долее, казалось, что ее совсем нет и что этот рот не может улыбаться. Вообще лицо его было чрезвычайно холодное, но в этом холоде виднелся огонь, как в холодном рефлекторе лампы... «Кто это?»— Мне ответили немецкой фамилией, которую я тут же забыл.

---

[1] «Я не могу судить, что́ хорошо и что́ плохо в том, что делает французская революция. Я знаю только, что благодаря ей у меня этой зимой на несколько пар чулок больше».— Гёте, «Мятежные», действие 1, сцена 1 (нем.).— *Ред.*

Говорили о французской литературе, метали наружу все, что есть в голове. Незнакомец молчал, играл эмалевой цепочкой от часов и решительно не показывал ни согласия, ни противуречия. Когда необходимость заставила и его сказать что-нибудь, он сказал, что чрезвычайно отстал, что мало читает, что ему надоело везде в литературе видеть эгоизм и мистификации, что те, которые должны бы были писать, которых голос звучен и силен, молчат, подавленные толпою публицистов.

— Неужели?— сказал кто-то, готовя что-то.

— Это не тезис,— продолжал незнакомец, перебивая его,— который я стану защищать; я не осмелюсь бороться с такими защитниками нашего века, хотя бы чувствовал в себе всю силу Ринальда, и потому не трудитесь снимать ваши *шелковые* перчатки,— прибавил он с улыбкой.

Защитники века успокоились, разговор потухал, и Корина (хозяйка дома) требовала от германца, чтоб он что-нибудь рассказал.

— Что же вам рассказать? Я был в 91 году в Париже и ⟨в⟩ 1815 в Италии, таскался весь этот промежуток по родине и теперь, простившись навсегда с Европою, еду на Восток отдохнуть от нее; много великих событий было у меня перед глазами, с многими великими людьми сталкивался я...

Его перебили:

— Ради бога, встречу с великим человеком; близость их как-то поднимает нас...

— Извольте, я возьму на себя ролю Карла Нодье, который так подробно рассказывает все встречи свои с двухлетнего возраста.

Молча подвинулись мы ближе, и вот его рассказ:

— Я родился в Франкфурте, но,— прибавил он с злою улыбкой,— foi d'honnête homme[1], ни родства, ни знакомства с Шарлем Дюран не имел*. Семейные обстоятельства заставили мою мать оставить мужа и ехать со мною в свою родину— Париж. Мне было тогда 16 лет, а христианству 1788. Это переселение сделало во мне чрезвычайный переворот. Франкфурт доселе имеет что-то ганзеатическое*, кривые улицы, печальные домы и рынки, рынки и конторы; его германский характер,

[1] честное слово (франц.).— *Ред.*

с своими мрачными церквами и безобразной ратушей, с своими факториями и Judengasse[1], отделял его тогда еще более от Франции; и вдруг из этого тихого, смирного города, который каждое воскресенье в праздничном кафтане ходит в церковь, внимательно слушает предику и каждую субботу сверяет свои приходо-расходные книги,— из тихого и смирного дома моего родителя я попал в Париж. Что тогда было в Париже — вы знаете. Родственник, у которого мы жили, был главою какого-то клуба, которого члены беспрестанно толклись у него в доме, с яростными взглядами, с непудренными париками на голове и с ужасными речами в устах. Я с трепетом и недоумением смотрел, как они попирают ногами все святое, все прошедшее и как низвергают здание, под крышей которого живут.

Революция усиливалась; как-то 92 год проглядывал сквозь туманы Assemblée Nationale[2], и отец мой желал, чтоб я воротился; он даже просил своего приятеля, также германца, снабдить меня деньгами и как можно скорее выслать; но этот приятель был не кто иной, как Анахарсис Клоот, который делал совсем наизнанку: требовал, чтоб я остался, и обещал меня вести знакомить с великим человеком, который, по его мнению, опередил всех и не токмо отвергает всякого рода гражданское устройство, но даже право собственности; впоследствии я узнал, что этот великий человек — Эберт.

Брауншвейгский между тем издал свой смешной манифест, на который ему отвечали еще более смешным. Выживший из лет старик бранился с дерзким мальчишкой. Иностранцам было опасно оставаться и еще опаснее ехать. Напрасно просил я безумного Клоота—он и слушать не хотел, говорил, что один враг рода человеческого может теперь думать об отъезде, что кто едет, тот агент Питта и Кобурга, ставил себя в пример и, гордо показывая засаленное платье свое, прибавлял: «Ты знаешь, как я был богат,— все отдал человечеству и всем для него пожертвую... а ты хочешь бежать; стыдись; взгляни хоть на Сен-Жюста,—он не старее тебя, а как пламенно принимается он работать pour la république une et indivisible, pour

---

[1] еврейской уличкой (нем.).— *Ред.*

[2] Национального собрания (франц.).— *Ред.*

l'émancipation du genre humain[1]; он будет великий филантроп...Впрочем, ежели хочешь ехать, я первый выдам тебя, надобно очистить род человеческий от слабых...» И все это говорил он не шутя и с полным убеждением. Последнее замечание показало мне, что надлежит действовать решительно, и я всеми неправдами, обманывая и подкупая, нашел средство бежать в союзную армию*. Жаль мне было оставить Париж; я не в состоянии был его покинуть явно, официально и потому душевно был рад, что расстался с ним sans adieux[2], тайком ночью. Разумеется, не без приключений достиг я цели бегства, и ежели б я был настоящий немец, то поставил бы себе за святейшую обязанность издать на скверной бумаге с еще сквернейшею печатью: «Reiseabenteuer eines Flüchtlings aus der Hauptstadt der Franzosen zur Zeit der großen Umwälzung. Anno 1792 nach Christi Geburt[3]. Но я не настоящий немец.

«Voilà vos chiens de Brunswick!»[4]— сказал мне альзасец, проводивший меня к пикетам, и я очутился на родине, потому что родина моя вздумала очутиться в Альзасе*. Половину цепи занимали прусские солдаты и половину — австрийские. Я до того отвык от их физиогномии, до того привык к живым, одушевленным французам, что смотрел с некоторым удивлением на длинные, растянутые, неуклюжие лица австрийцев с их свинцовыми глазами, с их усами светлее щек и с их мундирами светлее усов. Должно ли дивиться, что они поразили леди Морган в Италии*, где насмешливая судьба перемешала их с воронымн головами итальянцев, в которых видна какая-то артистическая отделка? Прибавьте, что они стояли по колена в грязи, оттого что не хотели переступить за лужу; что ни один мускул не двигался на их лице; что их рты были полуоткрыты; что это все дурно сделанные и облитые грязью статуи Командора из «Дон-Жуана».— С другой стороны, пруссаки с карими глазами, с римским носом и коротенькой трубкой,

---

[1] для республики, единой и неделимой, для освобождения рода человеческого (франц.).— *Ред.*

[2] не простившись (франц.).— *Ред.*

[3] «Путевые приключения беглеца из столицы французов во время великого переворота. Года 1792 от Р. Х.» (нем.).— *Ред.*

[4] «Вот ваши псы-брауншвейгцы!» (франц.).— *Ред.*

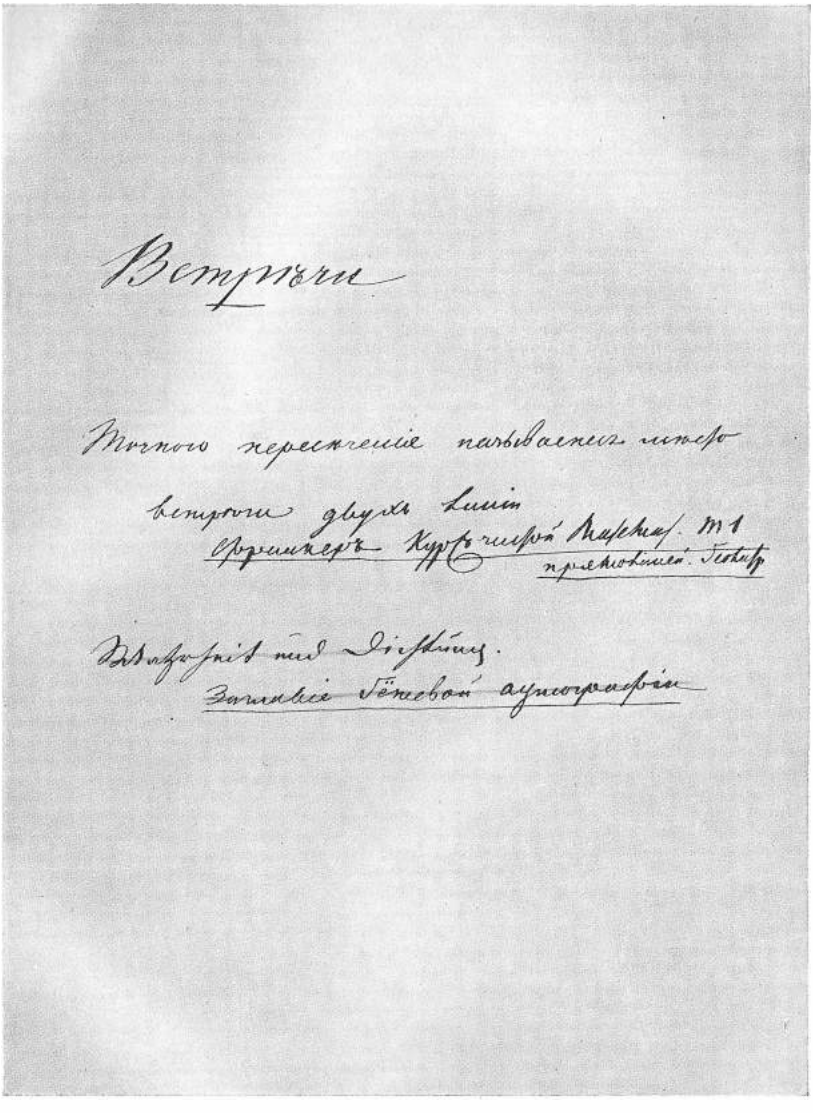
которую нельзя отделить от их лица, не испортив его, та́к, как нельзя отделить ушей, щеку и пр. У них что-то глубокомысленное снаружи и совершенное отсутствие мыслей, кроме повиновения фельдфебелю, внутри; по крайней мере, эти двигались, говорили. После некоторых вопросов и ответов меня отправили к дежурному генералу, удостоверившись, кто́ я, откуда, зачем, куда... Но не было никакой надежды ехать далее, ибо все лошади были взяты армиею. Это было то самое критическое время, когда новый Готфред* увидел, что он затем только пришел во Францию, чтоб увеличить ее торжество. Надобно было провести несколько дней в несчастном войске, которое страдало и от дождей, и от голода, и от стыда. На другой день пригласил меня к себе один владетельный князь, вероятно желая знать, какие новые ужасы сделали парижские антропофаги. Он занимал небольшой дом в близлежащем городе, и я ввечеру отправился к нему. В зале было несколько полковников,— как все немецкие полковники, с седыми усами и с сигарами в зубах,— несколько адъютантов, которые всё еще не сомневались, что им придется попировать в Palais Royal и там оставить и свой здоровый цвет лица и способность краснеть, которая только и осталась у нашего юношества. Везде мундиры, шпоры, сабли; наконец, взошел не-военный.

— Верно, Шатобриан,— сказал кто-то мне на ухо.

— Нет,— отвечал я,— Шатобриан только тогда ездит во Францию за неприятелем, когда ses amis les ennemis[1] бьют его соотечественников.

Мужчина хорошего роста, довольно толстый, с гордым видом, в котором выражалось спокойствие и глубокое чувство собственного достоинства. Величие и сила в правильных чертах лица, в возвышенном челе. Всякий человек, однажды взглянув на него, видел, что он ему не товарищ,— так подавляла, угнетала его наружность; его взор не протягивал вам руку на дружбу, но заставлял вас быть вассалом его, прощал вам вашу ничтожность. Большие глаза блистали, но блистали так, как у Наполеона, намекая издали на обширность души. Эти глаза были осенены густыми бровями, в которых я заметил

[1] его приятели-неприятели (франц.).— *Ред.*




«Встречи». Заглавный лист (автограф Герцена)

*Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина*

намно омировское движение. Все манеры показывали светского человека и аристократа, но печать германизма ясно обнаруживалась в особых приемах, которые мы называем steif[1]. Везде, где он проходил, вставали, кланялись, признавали его власть. Он принимал знаки уважения, как законную дань, то есть с той деликатностью, которая еще выше подымает его и еще ниже роняет их. Я не спускал с него глаз. Он сел возле герцогова сына, долго говорил с ним и, наконец, обращаясь к нам, сказал, придавая особую важность своим словам:

— Нынче поутру, только въезжаю в лагерь, вижу какого-то генерала верхом. Судите о моем удивлении, когда, подъезжая, узнаю короля прусского. Его величество ехал прямо ко мне. «Чья это карета?»— спросил их величество лаконическим образом.— «Герцога Веймарского»*...

Он продолжал говорить, но я не продолжал слушать, удивляясь, как Зевсова голова попала на плечи к веймарскому дипломату, и завел речь с сидевшим возле меня эмигрантом. Эмигрант этот был военный и, несмотря на бивачную жизнь, нашел средства одеться по-бальному; он со слезами меня расспрашивал о судьбах Парижа,— не всего Парижа, а Faubourg Saint Germain[2],— и со слезами мне рассказывал о чувствах, наполнивших его душу, когда он нынче утром видел, что, несмотря на проливной дождь, один из принцев крови ехал верхом с прусским королем в одном легком плаще. Мне он показался до того смешон, что я забыл на минуту дипломата и с величайшим вниманием слушал важный рассказ о ничтожных предметах. Но вдруг подозвал меня герцогов сын и, подводя к своему соседу, сказал, что я из Парижа и могу рассказать самые новые новости. Он взглянул своим страшным взглядом, и мне показалось, что он меня придавил ногою.

— Правда ли, что генерал Ла-Файет рассорился с якобинцами, отстал от них и теперь соединяется с королем?

— Ла-Файет,— отвечал я,— никогда не принадлежал к клубу якобинцев; впрочем, несмотря на его ненависть к бешеным республиканцам, он, я думаю, не будет ренегатом...

---

[1] чопорными (нем.).— *Ред.*

[2] Сен-Жерменского предместья (франц.).— *Ред.*

— То есть не образумится и не воротится к законной власти, хотите вы сказать?

Я закусил губы и извинился привычкою к jargon révolutionnaire[1].

— Что несчастный король?

— Все еще содержится; скоро будет публичный процесс его.

— Для меня удивительно, как шайка безумных мечтателей, какой-нибудь клуб якобинцев забрал такую волю, несмотря на омерзение, с которым смотрит на них нация.

— Жаль, очень жаль, что эти беспорядки так долго продолжаются,— сказал он, обращаясь к герцогову сыну;— я собирался ехать во Францию, но я хотел видеть Францию—блестящую и пышную монархию, процветающую столько столетий, хотел видеть трон, под лилиями которого возникли великие гении и великая литература, а не развалины его, под которыми уничтожилось все великое, а не второе нашествие варваров. Мое счастие, что успел насладиться Италиею,— и она начинает перенимать у французов; может, еще съезжу туда, чтоб взглянуть на страну изящного, прежде нежели ее убьют и исковеркают. Впрочем, увидите, горячка эта не долго будет продолжаться, и ежели сами французы не образумятся, *их образумят!*

Последнее слово он произнес отдельно, и маленькая улыбка и маленький огонь в глазах показали, как герцогов сын доволен был этим комплиментом.

Кто не знает ужасную откровенность военных, особенно германских,— их разрубленные лица, их простреленные груди дают им право говорить то, о чем мы имеем право молчать. По несчастию, за герцоговым сыном стоял, опершись на саблю, один из седых полковников; в наружности его были видны и пять-шесть кампаний, и жизнь, проведенная с 12 лет на биваках и в лагерях, и независимость, которая так идет к воину,— словом, в нем было немного Циттена и немного Блюхера.

— Ежели и проучат их, так, верно, не теперь,— сказал он с этой вольностью казарм, которую породила, может, самая дисциплина их.—Дивлюсь я на эту кампанию: не приготовив ничего, бросили нас осенью в неприятельскую землю, уверили,

---

[1] революционному жаргону (франц.).— *Ред.*

что нас примут с распростертыми объятиями, а нам скоро придется умереть с голода, потонуть в грязи и быть выгнанными без малейшей славы. Хоть бы уж идти назад, пока есть время... скорее голову положу на поле битвы, нежели перенести стыд такой кампании... И он жал рукою эфес сабли и как будто радовался, что высказал эти слова, давно тяготившие грудь его.

— Счастие нам худо благоприятствовало,— отвечал дипломат,— но не совсем так отвернулось, как думает г. полковник. И наша теперичная жизнь, исполненная недостатков и лишений, послужит нам приятным воспоминанием, — в ней есть своя поэзия. Знаете, чем утешался любимец Людвига Святого* в плену когда все унывали? «Nous en parlerons devant les dames»[1],— говорил он.

Герцогов сын поблагодарил взглядом, но неумолимый полковник не сдался.

— Хорошо утешенье!— сказал он глухим голосом, гордо улыбаясь и сжимая до того свою сигару, что дым пошел из двадцати мест.— Боюсь одного, что не *мы*, а *они* будут рассказывать нашим дамам об этой кампании.

В лице его было тогда столько гордости, даже восторга (ибо не одни художники умеют восторгаться), что я увидел в нем соперника дипломату.

— Охота нам говорить о войне, о политике,— подхватил дипломат, видя непреклонность воина.— Когда, бывало, среди моих занятий в Италии мне попадались газеты, я видел себя столь чуждым этому миру, что не мог найти никакой занимательности; это — что-то такое временное, переменное и потом совершенная принадлежность нескольких особ, коим провидение вручило судьбы мира, так что стыдно вмешиваться без призыва. И теперь я далек от всех политических предметов и так спокойно занимаюсь, как в своем веймарском кабинете.

— А чем вы теперь занимаетесь?— спросил герцогов сын, силясь скрыть радость, что разговор о войне окончился.

— В особенности теориею цветов; я уже имел счастие излагать ее светлейшему братцу вашему, и он был доволен; теперь я делаю чертежи.

---

[1] Мы будем об этом рассказывать дамам (франц.).— *Ред.*

«Удивительный человек,— думал я,— в 1792 году, в армии, которую бьют, среди колоссальных обстоятельств, которых не понимает, занимается физикою»; я видел, что он не дипломат, и не мог догадаться.

— Кто это?— спросил я у герцогова адъютанта.

— Про кого вы спрашиваете?—сказал с удивлением адъютант.

— Вот про этого высокого мужчину, который теперь встал, во фраке.

— Неужели вы не знаете? Это Гёте!

— Гёте, сочинитель «Гёца»?

— Да, да. Вольфганг Гёте, сочинитель «Гёца», «Вертера»...

Я обернулся, он был уже в дверях, и я не мог посмотреть на Гёте как на Гёте. Вот вам моя встреча.

— Вы после его не видали?— спросила Корина.

— Один раз,— отвечал он,— несколько недель спустя; в каком-то городке давали его пьесу*; я забыл ее название, помню только, что это фарса над революциею, маленькая насмешка над огромным явлением, которое все имело в себе, кроме смешного. Тогда уже вполне обозначился грозный характер переворота и вся мощность его. Разбитое войско возвращалось домой, в Германию; палач ждал венчанную главу. Испуганная, печальная публика не смеялась; и, по правде, насмешка была натянута.

Гёте сидел в ложе с герцогом веймарским, сердился, досадовал; Гёте был весь автор. Я издали смотрел на него и от всей души жалел, что этот великий человек, развивавший целый мир высоких идей, этот поэт, удививший весь мир, испытывает участь журналиста, попавшего не в тон. Печальные мысли меня заняли до того, что я содрогнулся, услышав, что меня кто-то взял за руку; обернувшись, увидел я полковника, с которым встретился у герцогова сына; он был совершенно тот же, как и там,— с тем же гордым видом, с тем же независимым лицом; я заметил одну перемену: левая рука его была в перевязке...

— Есть же люди, которые находят улыбку там, где все плачут,— сказал он, пожимая плечами и с негодованием крутя седой ус свой...— Неужели это право великого человека?— прибавил он, помолчав.

Я взглянул на него, взглянул на Гёте, хотел сказать очень много и молча пожал его руку.

Тут он остановился, глаза его прищурились, он закусил нижнюю губу, и казалось, сцена сия со всею точностью повторялась в его голове и он чувствовал все то, что чувствовал за сорок лет.

— Vous êtes ennemi juré de Goethe [1],— сказала Корина.

— Вы принадлежите к партии Менцеля,— прибавил спекулятивный философ, друг Корины.

— Я готов преклонить колена пред творцом «Фауста»,— возразил германец.

— Но рассказ ваш,— продолжал обиженный философ, заявленный обожатель Гёте,— рассказ ваш набросил на этого мощного гения какую-то тень. Я не понимаю, какое право можно иметь, требуя от человека, сделавшего так много, чтоб он был политиком. Он сам сказал вам, что все это казалось ему слишком временным. И зачем ему было выступать деятелем в мире политическом, когда он был царем в другом мире—мире поэзии и искусства? Неужели вы не можете себе представить художника, поэта, без того, чтоб он не был политиком,— вы, германец?

Путешественник во время своего рассказа мало-помалу одушевлялся. Теперь, слушая философа, он принял опять свою ледяную маску.

— Я вам рассказал факт; случай показал мне Гёте так. Не политики—симпатии всему великому требую я от гения. Великий человек живет общею жизнию человечества; он не может быть холоден к судьбам мира, к колоссальным обстоятельствам; он не может не понимать событий современных, они должны на него действовать, в какой бы то форме ни было. Сверх того, всеобъемлемости человеку не дано, напрасно стремились к ней Дидеро и Вольтер; и что может быть изящнее жизни некоторых людей, посвятивших все дни свои одному предмету,— жизнь Винкельмана, например? Посмотрите на это германское дерево, пересаженное на благодатную почву Италии, на этого грека в XVIII столетии, на эту жизнь в музеуме и в светлой, ясной области изящного; надобно иметь очень дурную душу, то есть

[1] Вы заклятый враг Гёте (франц.).— *Ред.*

совсем души не иметь, чтоб не прийти в восторг от его жизни. Скажу более, я люблю Гофмана в питейном доме, но ненавижу пуще всего мистификацию и эгоизм, все равно — в Гёте или в Гюго. Ужели он вам нравится придворным поэтом, по заказу составляющим оды на приезды и отъезды, сочиняющим прологи и маскарадные стихи?

— Вы забываете, что Гёте жил в Германии, где доселе сохранилось то патриархальное отношение между властителями и народом, которое служило основою феодализму,— отношение, которое, с одной стороны, заставляло поэта петь доброго отца семейства, а короля — искать места для «скромного ордена» своего на груди поэта; поэта — праздновать своей лирой торжество властителя и властителя — иллюминовать свой город в день рождения поэта. Извините, я, право, вижу какую-то либеральную arrière-pensée[1] в ваших словах.

— Напрасно вы принимаете меня за карбонаро. Поверьте, мое сердце умеет биться за Ла Рош-Жакелин, бешеного вандейца,— умеет сочувствовать старику Малербу, склоняющему главу свою на плаху*,— они откровенно одушевлены были любовью к монархии, они — герои, в них нет мистификации. Отчего все доселе с восхищением читают переписку Вольтера с Екатериной II?— Оттого, что всякий видит, что они поняли друг друга, отдали справедливость, любили друг друга, оттого, что душа Екатерины была обширна, как ее царство, и душа Вольтера сочувствовала своему веку. И отчего же никто не читает стихов Гёте на приезды, отъезды, разрешения от бремени, выздоровления и т. д.? Я не знаю по-русски, но я много слышал о вашем Державине, и именно о том чувстве искренней преданности, которая доводит его до высочайшего идеализирования Екатерины; не зная Державина, я понимаю чувства, одушевлявшие его, понимаю истинность его восторга; но этой-то истинности и нет в Гёте, ее нет в большей части его сочинений; он *парадирует*, он на сцене театра при свете ламп, а не на сцене жизни при свете солнца. Лафатер, увидев в первый раз Гёте, не мог удержаться, чтоб не сказать: «Я полагал, что у вас совсем не такие черты лица». А Лафатер редко ошибался. Читая Гёте,

---

[1] заднюю мысль (франц.).— *Ред.*

он верил, что каждая строка его от души, и поэтому построил в фантазии его черты и не нашел их в лице его, ибо их не было и в душе у Гёте. Так, как в нем не было ничего восточного, несмотря на то, что он, насилуя свой мощный гений, написал «Der West-Östliche Divan», который так и дышит запахом алоэ, стихами Саади и Низами... Тот, кто верен себе, и на челе, и на устах, и во взоре носит отпечаток того, чем полны его сочинения. Как часто останавливался я в Веймаре перед бюстом Шиллера; славный Даннекер отвердил, так сказать, прелестную форму, в которой обитала прелестная душа. И нет возможности Шиллера представить себе иначе.

— Читайте Гётеву аутографию*, и вы увидите, что вся жизнь его протекала в беспрерывных занятиях; там увидите, что он пренебрегал толпою; для чего же ему было мистифицировать ее?

— Да, да, надобно читать эту драгоценную комментарию к его сочинениям, эту огромную исповедь эгоизма. Там Гёте весь, там вы увидите, что его «я» поглощает все бытие; там он сам признается вам, как в 1804 году он мистифицировал M-me Staël и она его. О, уморительный документ пустоты нашего века! Вместо симпатий гения, таланта, славы этот первый мужчина своего века с этой первой женщиной встречаются в масках, обманывают друг друга; один представляет из себя мрачного поэта Тевтонии, мечтающего о высшем мире, и в душе смеется; другая представляет чувствительное сердце, плачет о политических событиях, страх жалеет о убитых, придает себе вид отчаяния — и еще более смеется в душе. И как безжалостно Гёте приводит за кулисы этой комедии! Удивляюсь гению этого человека, но любить его не могу. Когда Гёте возвратился из Италии, был он однажды в большом обществе, и, как разумеется, в аристократическом обществе; там собирал он похвалы и расточал свои рассказы, придавая огромную важность всем словам своим и всем поступкам. Тут же в углу сидел задумчиво кто-то; долго и внимательно смотрел он на Гёте своими голубыми глазами, в которых так ярко было написано, что этот человек не принадлежит земле и что душа его грустит по другому миру, который создала святая мечта и чистое вдохновение. Он любил его за Вертера и за Берлихингена; он нарочно пришел, чтоб увидеть его и познакомиться с ним. Этот кто-то

встал, наконец, и сказал: «С ним мы никогда не сойдемся». И знаете ли, что этот кто-то был не кто иной, как Шиллер?

— Но вспомните, что они после сделались неразрывными друзьями и любили друг друга.

— Не верю. Гёте подавил своим гением и авторитетом кроткого Шиллера, но они не могли искренно любить друг друга. Я вам уже сказал, что я готов преклонить колена пред творцом «Фауста», так же, как готов раззнакомиться с тайным советником Гёте, который пишет комедии в день Лейпцигской битвы и не занимается биографиею человечества, беспрерывно занимаясь своею биографиею. В заключение возвращусь на странное обвинение, которое вам угодно было сделать после моего рассказа. Чтоб я требовал от Гёте политики! И особенно в наше время, когда все дышит посредственностью, все идет к ней, в наш век, который похож на Пасхаля, не на Пасхаля всегда (слишком много чести), а на Пасхаля в те минуты, когда он принимал Христову веру потому, что не отвергал ее. Английский корсар увез с собою на «Беллерофоне»* деятельное начало нашего века и хорошо сделал; бронзовый бюст, доставшийся в позорные руки Гудзон Лова, худо гармонировал с нашими стенами под мрамор, с нашими бюстами из гипса; для того бюста океан и подземный огонь образовали пьедесталь.

Sagt, wo sind die Vortrefflichen hin, wo find'ich die Sänger,
Die mit dem lebenden Wort horchende Völker entzückt?..
Ach, noch leben die Sänger; nur fehlen die Taten die Lyra
Freudig zu wecken...*

Schiller[1].

Гёте понял ничтожность века — но не мог стать выше его: он сам осудил и век и себя, сказав: «Древние искали факт, а мы эффект; древние представляли ужасное, а мы ужасно представляем»,— тут все выражено. Мы восторгаемся для того, чтоб печатать восторги; мы чувствуем для того, чтоб из чувств строить журнальные статейки; живем для того, чтоб писать

[1] Скажите, куда исчезли эти гении, где найду я тех певцов, которые живым словом восхищали внимавшие им народы? Ах, еще живы певцы, но нет подвигов, радостно пробуждающих лиру. Шиллер (нем.).— *Ред.*

отрывки нашей жизни, как будто действовать есть что-нибудь низшее, а писать — цель человека на земле; словом, *мы слишком авторы, чтоб быть людьми*. Знаете ли, как генерал Ламарк назвал нынешнее состояние Франции?— halte dans la boue[1]*.

— Верите ли вы в совершенствование человека?

— А верите ли вы, что вся природа есть переход, исполненный страдания?— спросил германец, быстро взглянув на философа.

Философ улыбнулся.

Разговор прекратился; в горнице было душно, и я вышел на балкон. Месяц светил всем лицом своим, и небольшой ветер освежал прохладою и обливал запахом воздушных жасминов; это была одна из тех пяти или шести ночей, когда можно в Москве быть на воздухе, не проклиная ее северной широты. «Что за человек,— думал я,— этот немец? Нисколько не похож он на blasés[2] нынешнего века, которые сыплют насмешки и резкие суждения, чтоб обратить на себя внимание, ругают нынешний век и всех великих людей, всем недовольны, давая чувствовать, что у них построен в голове какой-то пантеон для всего человечества, в то время как у них ничего не построено в голове. От него не веяло морозным холодом этих людей... Он сам прервал мои мысли, взойдя на балкон. Мне весьма хотелось поговорить с ним, но он, кажется, вышел именно для того, чтоб быть одному, и не говорил ни слова. Отложив деликатность в сторону, я сказал ему: «Строго осудили вы наш век, и я откровенно скажу вам, что не могу во всем согласиться с вами. Какой необъятный шаг сделало человечество после Наполеона!»

Он молчал, и еще более я заметил, что он все внимание обратил на луну; наконец, он вздохнул и, обращаясь ко мне, сказал: «Я теперь ⟨вспоминаю⟩ прелестную ночь, одну из самых святых минут моей жизни. Года два тому назад я жил в Венеции; в мире много земель и городов, но одна Италия и одна Венеция. Я был на бале у эрцгерцога; он давал его, помнится, по случаю взятия Варшавы; придворный бал везде скучен; ложный свет воска и ложная радость людей нагнали на меня чрезвычайную тоску, и я ушел. Что это за ночь была! Вы меня

---

[1] стоянкой в грязи (франц.).— *Ред.*

[2] пресыщенных (франц.).— *Ред.*

извините, пышный вечер — одно бледное подражание, даже не похожее; я упивался и луною, и воздухом, и видом. Лев святого Марка убит*; но его вдова, красавица Венеция, Sara la baigneuse[1], все еще так же прелестна и так же сладострастно плещется в волнах Адриатики. Я бросился в гондоль к лагунам. Вы, верно, знаете, что там доселе встречаются gondolieri[2], которые поют стансы из Тассо и Ариосто, один тут, другой там, далеко. Прежде это бывало часто, теперь Италия начинает забывать своих поэтов; но в эту ночь счастие улыбнулось мне. Издали раздался простой напев, усиливался более и более, и я ясно слышал три последние стиха; они остались у меня в памяти:

Dormi, Italia, imbriaca, e non ti pesa,
Ch'ora di questa gente, ora di quella
Che già serva ti fu, sei fatta ancella...[3]

Еще далее отвечали с другой гондоли следующею станцею, и слабый голос, стелившись по волнам и смешиваясь и переплетаясь с их плеском, выражал и просьбу и упрек. Эта ночь никогда не изгладится из моей памяти *.

Теперь пришла моя очередь молчать, и я молчал.

— Но что же будет далее? — сказал я наконец.

— Знаете ли вы, чем кончил лорд Гамильтон, проведя целую жизнь в отыскивании идеала изящного между кусками мрамора и натянутыми холстами?

— Тем, что нашел его в живой ирландке.

— Вы отвечали за меня,— сказал он, уходя с балкона.

Крутицкие казармы 1834. Декабрь.
Переписано в Вятке 1836, июня 20.

---

[1] Сара-купальщица (франц.).— *Ред.*

[2] гондольеры (итал.).— *Ред.*

[3] Спи, Италия, опьяненная, и пусть тебя не огорчает, что ты стала служанкой тех народов, которые некогда служили тебе (итал.).— *Ред.*

## ВТОРАЯ ВСТРЕЧА

(Посвящено барону Упсальскому*)

Wer nie sein Brot mit Tränen aß,
Wer nie die kummervollen Nächte
Auf seinem Bette weinend saß,
Der kennt euch nicht, ihr himmlischen Mächte.

Goethe, «Wilhelm Meisters Lehrjahre»[1].

Холодный, ледяный ветер дул из-за Камы — так дышит Уральский хребет вечным льдом своих вершин, так дышит холодная грудь Сибири на Европу. Кама, широкая и быстрая, мчала с неимоверною скоростию множество тяжело нагруженных судов; кое-где двигались запоздалые льдины, поворачиваясь и как бы нехотя следуя течению реки. Порывами ветер наносил membra disjecta[2] песен бурлаков и их громкие возгласы. Было грустно — я сидел, закутавшись в плащ, на высоком берегу; с противоположной стороны садилось солнце, красное, но холодное. Раны моего сердца были свежи. Недавно оставил я родимый город, хотя давно уже был оторван от всех близких душе моей. Все подробности 9 апреля* явились в моем воображении; день свидания после мрачной разлуки, день разлуки после мрачного свидания. В этот день переломилось мое существование... Прощальный поцелуй, облитый слезами, запечатлел небесной печатью воспоминания, за которыми пустота и мрак. Было грустно — мне занадобились люди, чтоб рассе-

[1] Кто никогда не ел со слезами свой хлеб, кто не просиживал, плача, горестные ночи на своей постели, тот не знает вас, силы небесные. Гёте, «Годы учения Вильгельма Мейстера» (нем.). — *Ред.*

[2] обрывки (лат.). — *Ред.*

няться,— люди, которые мелким песком своих слов могут засыпать раны сердца — доколе порыв ветра не снесет его. На дворе становилось холоднее, Кама почернела, барки превратились в каких-то ракообразных животных с огромными ребрами; огонь, разложенный на них, казался огненною пастью чудовищ... Я пошел с тем, чтобы зайти к кому-нибудь из знакомых на скорую руку, и зашел *к кому-то*. Не обращая ни малейшего внимания на двух человек, бывших в горнице, я бросился на турецкий диван и курил сигару.

Разговор шел, бесцветный и холодный, как всегда между людьми, которых не связывает ни общая идея, ни симпатия души, ни даже привычка. Меня расспрашивали о столице, мне рассказывали о провинции; незаметно я развлекся. Хозяин-грузин тешил меня своею ненавистью к морозу, которая у него à l'oriental[1] доходила до личной вражды. Вдруг ему вздумалось переменить тему и наместо своей термометрической антипатии рассказывать о том, как он покидал отцовский дом. Душа моя встрепенулась! Холодная маска упала, и я в пламенных и горячих словах описывал им мое 9 апреля. Чувства бушевали во мне и, радостные, что нашли отверстие, лились потоком слов. Я встал с своего места, и вдруг взор мой встретился со взором одного из тех лиц, которых я едва заметил, входя. Глаза наши столкнулись, и речь моя, как бы скошенная, остановилась. Мужчина лет сорока, в черной венгерке, обшитой снурками, склонив голову на руку, опершуюся на диван, и крутя другою длинные русые усы, со всеми знаками самого усиленного внимания смотрел этим взором на меня. Грудь его подымалась, ноздри раздувались, и крупная слеза тихо катилась по щеке. Но глаза — теперь вижу их — издавали какой-то свет, в них было что-то от пламени молний. Я остановился, и он, как бы обиженный, грубо обращаясь ко мне, сказал: «Продолжайте». Мы поменялись взором, и я, чувствуя, что понят, продолжал еще с бо́льшим одушевлением. Когда кончил я, он встал, прошел раза два по горнице, приблизился ко мне и, прямо смотря в глаза, сказал: «Мы друзья!» — «Друзья!»— отвечал невольный голос из моей груди, как эхо на его вызов, как инструмент,

[1] по-восточному (франц.).— *Ред.*

невольно издающий звук, взятый на другом. Потом он сел на старое место и принял неподвижную фигуру статуи; лицо его сделалось мрачно — длинные волосы падали в глаза, и он не поправлял их, молчал и, может, в мыслях перебирал свое 9 апреля. Пора было идти домой. Он проводил меня с хозяином до дверей, сжал мне руку и сказал: «Первый луч солнца после долгой зимы!»— «Да,— подхватил грузин, не понимая его слов,— нынче первый ясный день, с августа месяца, ужасно! И морозы доходили до 45°».

Я ушел. Незнакомец занимал меня беспрерывно; я не знал ни кто он, ни что он,— но многое понял, догадался. История его сердца должна быть ужасна, но его сердце должно быть высоко. Приготовления к дороге, мелочи, хлопоты заставили на время забыть незнакомца. На другой день к ночи надобно было ехать.

В самый день отъезда меня пригласили на большой обед к одному богачу, и я пошел, чтобы взглянуть на beau monde[1] того края. Провинция запечатлела весь этот дом, и хозяин в яхонтового цвета фраке, с непомерной величины Анною на шее и с волосами, вгладь вычесанными, так же не годился в модную гостиную, как его кресла из цельного красного дерева, тяжелее 10-фунтового орудия и украшенные позолоченною резьбою в виде раковин и выгнутых листьев.— Попарно и с каким-то благоговением шли в столовую, где дожидался стол, длинный, узкий и загнутый глаголем. Поскорее подал я руку какой-то барышне, которой никто не дает руки ни к венцу, ни к обеду, и замкнул процессию. Толпа лакеев в сертуках, с часами на бисерных шнурках, в пестрых галстуках, суетились под предводительством дворецкого, который своей дебелостью доказывал, что ему идет на пользу дозволение есть с барского стола остатки. Толпа мальчишек, все в разных костюмах, но не все в сапогах, мешали им и дрались из чести, кому за кем стоять, не имея понятия, что местничество уничтожено. Но оно и не уничтожено в провинции. Провинция смело может похвастать порядком распределения мест за обедом, это — статья из адрес-календаря. Тут-то вполне узнал я, что значит председатель

[1] высшее общество (франц.).— *Ред.*

уголовной палаты, которому губернатор *предлагает*, и советник губернского правления, которому губернатор *председательствует*, и земский исправник, которому губернатор *повелевает;* наконец, что такое прокурор — партизан, никому не подчиненный, кроме бога и министра юстиции, о котором губернатор даже не *аттестует* и который губернатору говорит «вы». Так все в провинции отнесено к губернатору, понятно чрез него; он — центр, остальное — периферия; он — солнце, остальное — созвездия; словом, он — необходимая координата, без которой нельзя составить уравнения этих бесконечно малых величин. Главное действующее лицо за обедом был доктор, сорок лет тому назад забывший медицину, которой учился пятьдесят лет тому назад в Геттингене, но твердо помнящий все филистерские затеи. Он поехал в Россию с твердым убеждением, что в Москве по улицам ходят медведи, и, занесенный сюда немецкой страстью пытать счастие по всему белому свету, остался дожидаться, пока расстройство животной экономии и засорение vasorum absorbentium[1] превратят его самого в сор. Этот старичок, весьма веселый и очень маленький ростом, плешивый и с быстрыми глазами, острил надо всеми, шутил, отпускал вольтеровские замечания, дивил своим материализмом, смешил своими двусмысленностями. Его все любили, и он всех любил. Да и как было ему не любить всех? Это поколение родилось, выросло, занемогло, выздоровело при нем, от него; он не только знал их наружности, но знал их внутренности, и l'amour de la science[2] заставило любить их. Второе лицо был какой-то флотский капитан, который — по несчастию — сидел возле меня и, поймав нового человека, тем голосом, которым кричат с палубы на мачту, рассказывал мне весь обед, продолжавшийся три добрых часа, как он минут двадцать тонул у Алеутских островов, со всеми техническими выражениями, которые живут на корабле и приплывают к материку только в романах Сю и в повестях Бестужева. Он душевно желал, чтобы путь мой был в Березов, где живет отставной мичман Филипп Васильевич, который был свидетель этого происшествия и мог мне

[1] всасывающих сосудов (лат.).— *Ред.*

[2] любовь к науке (франц.).— *Ред.*

прибавить то, чего он не помнит, ибо был без памяти несколько времени.

Я с иронической улыбкой поблагодарил его за желание.

Еще кто был за столом? Наливки из всех растений, оканчивающих ягодою свой цвет, *старое французское* и — place au grand'homme[1] — шампанское, которое лилось не по-столичному в узенькие бокалы, а в стаканы, и пребольшие.

Наконец, *пережил* я обед. Все торопливо бросились за карты, кроме доктора, который свято исполнял однажды возложенные на себя гигиенические правила: должен был после обеда 25 минут ходить по горнице для пищеварения.

Я обнял хозяина, который с искреннею добротою пожелал мне счастливого пути, и вышел на улицу, улыбаясь и приводя на память все пустые разговоры, которых был свидетель. Время было хорошо; хотелось походить, и я отправился на бульвар, идущий от Московской заставы до Сибирской. Бульвар этот превосходен; обхватывая полгорода с наружной стороны, он простирается версты три; огромные толстые березы, прямые и ветвистые, отделяют его с одной стороны от города, с другой — от обширного поля, и чугунные заставы*, как черные, колоссальные латники, стерегут его с обеих сторон. Скупа природа того края: зелень едва виднелась и кой-где вешние цветы — бледные, слабые недоноски, долженствующие умереть от холодных утренников. Несмотря на это, какой-то человек гербаризировал. Тотчас узнал я вчерашнего незнакомца и пошел к нему. Он так был занят своей работой, что долго не замечал меня. Я взял его за руку, и он с видом сильной радости сказал, оборачиваясь:

— Итак, мне еще суждено видеть вас! Благословляю нашу вчерашнюю встречу. Вот уже два года не слыхал я человеческого голоса, а вчера ваши слова, как симфония Бетховена, как песнь родины, пробудили мою душу. Вы помирили меня с людьми, высказывая чувства, которые бились и в моей груди... Два года... много времени... и все чужое, кроме природы; мы с нею вдвоем и понимаем друг друга. Как звучен язык ее и как утешителен! Я всякий день бываю на этом поле, я

[1] расступитесь перед знаменитостью (франц.).— *Ред.*

люблю его. Мы старые знакомые; вот этот монтодон уже третьего дня распустился, и два раза виделись мы; люблю природу; говоря с нею, я отвык от человеческого языка... а вы мне напомнили его. Прелестен и он, когда выходит из самого сердца, когда не запылен...

Он приостановился.

— Вы, верно, много страдали,— сказал я,— верно, очень несчастны?

— Да, я много страдал, но не несчастен. Несчастны они в своем счастии, а мы счастливы! С гордостию смотрю я на душу мою, всю в рубцах от гонений и бедствий,— ибо совесть моя чиста, ибо я, как воин, ни разу не бежал с поля несчастия. И вот я заброшен сюда и без куска хлеба, и все тот же, как был. Они ничего не отняли у меня — душа осталась. Да неужели вы не чувствовали особой сладости страданий высоких, страданий за истину? Правда, иные минуты доводят до отчаяния. Я помню, когда меня оторвали от моей жены во время ее родов и как она одна, без помощи служанки, покинутая всеми, мучилась смертельною болезнию. Холодный пот выступает, когда вздумаю... Но бог печется об несчастных — она выздоровела; теперь я без куска хлеба, а был богат; бедность гнетет иногда; но душа стала выше этих предрассудков. И можно ли за одно чистое, святое наслаждение созерцательной минуты взять целую жизнь, спокойную и безмятежную, этой толпы, которую ничто не греет, ничто не влечет?

Часто сажусь я вот на этой горе и перебираю жизнь мою. Как ярко напечатлены в памяти минуты поэтических восторгов, когда душа, вырываясь из цепей, парила; эти минуты светят, подобно фаросу, по болотистому пути жизни. А мгновения, когда я услышал первое слово любви — это мощное слово, которое одно может пересоздать человека... не выкупили ли они вперед все несчастия?..

В 16 лет схватила меня волна и умчала, крутя, в какой-то bufera infernale[1], и я, подобно моряку, приставшему на бесплодный утес, вспоминаю все бури, все волны, бившие о мой корабль, и благодарю провидение, что спасло меня, забывая

[1] адский вихрь (итал.).— *Ред.*

нотери. «Счастие» — слово без смысла в нечистых устах толпы. Для чего счастие человеку, одаренному душою высокою, которая внутри себя найдет блаженство? И когда же были счастливы становившиеся выше узких рам, которыми сковались ничтожные люди? Птицы небесные имеют гнезда, и лиса взвела убежище, но Сыну человеческому негде главы преклонить. И разве он счастием манил учеников, разве счастие оставил им в наследство? Нет, крест! И с радостью взяли они это наследство и понесли крест его. Никогда человек в счастии не узнает всей глубины поэзии, в его душе лежащей, но страдания, вливая силы, разверзнут целый океан ощущений и мыслей. Когда Дант был в раю — торжествуя ли в своей Firenze[1] или будучи в ссылке, «испытывая горечь чужого хлеба и крутизну чужих лестниц»? * Иной всю жизнь провел бы, не зная сокровенных областей души своей, и она не вышла бы из своей кризалиды*,— так искусно толпа умеет подавить, задушить чувство даже в другом. Но его поражает несчастие, и душа вспорхнет, отрясет прах земной, возлетит к небу.

Одна мысль: *я перенес это* — исполняет гордостью и наслаждением. Человек, не согнувший выю свою перед обстоятельствами, выдержавший твердую борьбу с ними, может сознать свое достоинство и посмотреть на людей тем взором, которым смотрел Марий с развалин Карфагена на Рим и Наполеон из Лонгвуда* на вселенную. Да, одна мысль эта достаточна, чтоб вознестись над толпою, которая так боится всяких ощущений и лучше соглашается жить жизнию животного, нежели терпеть несчастия, сопряженные с жизнию человека...

Слова незнакомца нашли отзывный звук в моем сердце. Долго говорили мы. Наконец, пора мне было собираться в дорогу.

— Вам не нужно советов, душа ваша не померкнет,— сказал он.

— И если она изнеможет,— возразил я,— под ударами судьбы, придет в отчаяние, я вспомню вас и покраснею своей слабости.

Он плакал.

---

[1] Флоренции (итал.).— *Ред.*

— Зачем вы едете? Я останусь опять в моем одиночестве, здесь сердца холодны, как руды их Уральского хребта, и так же жестки. Но сладостно будет мне воспоминание нашей встречи.

Я бросился в его объятия и не мог вымолвить слово благодарности. Он снял чугунное кольцо с руки и, подавая мне, сказал:

— Не бросай его, ты молод, твоя судьба еще переменится, страдания не подавят твоей души. Но ты, может, будешь счастлив... Тогда береги свою душу, тогда, взглянув нечаянно на это кольцо, вспомни наш разговор.

Я был тронут до крайности, взял его кольцо, отстегнул запонку с своей груди и молча подал ему.

— Со мной до гроба,— сказал он.

Мы расстались, и более я никогда не видал его.

Через час кто-нибудь из гуляющих по тому же бульвару мог видеть быстро промчавшуюся коляску на почтовых, с лихим усачом в военной шинели на козлах, который, беспрерывно поправляя пальцем в своей трубке, погонял ямщика.

Вероятно, прохожий остановился; но, когда затих колокольчик, улеглась пыль,— спокойно продолжал свою прогулку.

Вятка,
1836, марта 10.

## ПИСЬМО ИЗ ПРОВИНЦИИ

Вы хотите, друзья, чтоб я вам сообщал мои наблюдения, замечания о дальнем крае, куда меня забросила судьба,— извольте. Но с чего начать? В каком порядке передавать вам мысли? Хорошо в старину писали путешествия, с большим порядком; например, Плано Карпини* мало того что в предисловии говорит, о чем речь в главах, но даже в самых главах систематически предрасполагает порядок изложения. За Плано Карпини не угоняешься, его книга переведена с латинского, читается всеми образованными людьми, а кто будет переводить мои письма на латинский язык? В одном хотелось бы сравняться с Плано Карпини... он, насмотревшись досыта на татар, уехал на родину...

*Je suis en Asie!*
Catherine II à Voltaire, de Casan[1].

Маленький городок Чебоксары не похож на наши маленькие городки великороссийские. Я тут в первый раз заметил даль от Москвы: толпы черемис и чувашей, их пестрый наряд, странное наречие и певучее произношение — ясно сказали о въезде в другую полосу России, запечатленную особым характером. До Казанской губернии мало заметно пространство, отделяющее от древней столицы, особенно в городах. Владимир, Нижний, слитые с нею, в продолжение нескольких веков живущие ее жизнию, похожи на дальние кварталы Москвы. У них одно средоточие, к нему все примкнуто. Около Казани своя полоса. Казань некоторым образом главное место, средоточие губерний, прилегающих к ней с юга и востока: они

[1] Я в Азии! — Екатерина II Вольтеру, из Казани (франц.).— *Ред.*

получают чрез нее просвещение, обычаи и моды. Вообще значение Казани велико: это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрестке; здесь они от беспрерывного действия друг на друга сжались, сдружились, начали составлять нечто самобытное по характеру. Далее на восток слабеет начало европейское, далее на запад мертвеет восточное начало. Ежели России назначено, как провидел великий Петр, перенести Запад в Азию и ознакомить Европу с Востоком, то нет сомнения, что Казань — главный караван-сарай на пути идей европейских в Азию и характера азиатского в Европу. Это выразумел Казанский университет. Ежели бы он ограничил свое призвание распространением одной европейской *науки*, значение его осталось бы второстепенным; он долго не мог бы догнать не только германские университеты, но наши, например, Московский и Дерптский; а теперь он стоит рядом с ними, заняв самобытное место, принадлежащее ему по месту рождения. На его кафедрах преподаются в обширном объеме восточные литературы, и преподаются часто азиатцами; в его музеумах больше одежд, рукописей, древностей, монет *китайских, маньчжурских, тибетских*, нежели *европейских*. Удивитесь ли вы после этого, встретив в рядах его студентов-*бурят?* Но все это наша Русь, святая Русь,—я это *чувствовал*, приплыв по разливу Волги к стенам кремля. Казанский кремль, как нижегородский, имеет родственное сходство с московским кремлем: это меньшие братья его. Греческая вера и византийское зодчество привились глубоко к жизни Руси. Смотря на наши соборы и кремли, как будто слышится родной напев и родной говор.

Подъезжая к Казани на пароме, первое, что я увидел, был памятник царя Иоанна Васильевича*. Здесь он на месте, здесь Грозный исполнил великое; здесь он был герой и предтеча Петра, силою оружий занявший место для простора идеям его, для простора русскому духу.

Положение города нехорошо. Казань по-татарски значит котел; в самом деле, он во впадине, беден чистой водою; в нем много сырых мест. Строения довольно чисты; главные улицы красивы; на них все живо; везде толпятся, кричат,

шумят; множество бурлаков с атлетической красотой форм; множество татар с продажными *ичигами* и *тюбетейками*[1], с халатами, в халатах, с приплюснутым носом, узенькими глазками и хитрым выражением лица. Словом, везде вы видите большой город, исполненный жизни, центральный своего края, торговый и, что всего важнее, город двуначальный — европейско-азиатский.

В Казани провел я несколько дней*. Досадно мне было, что обстоятельства не дозволили основательно изучить ее. При выезде из Казани, по сибирскому тракту, вид прелестный; в этом виде что-то пошире той природы, к которой мы привыкли. Русское население сменялось татарским, татарское — финским. Жалкие, бедные племена черемис, вотяков, чувашей и зырян нагнали на меня тоску. Я вспомнил императрицу Екатерину; она писала в 1767 году к Вольтеру из Казани: «Я в Азии!* Я собственными глазами хотела видеть этот край. В Казани двадцать различных народов, нисколько не похожих друг на друга, а им надобно сшить одну одежду, удобную для всех. Конечно, есть общие начала; но частности, и какие частности: надобно создать целый мир, соединить его, сохранить». Великая императрица постигла многое, окинув гениальным взором один участок России, которую Петр Великий не напрасно называл целою *частию света*.

⟨1836 г.⟩

[1] Сафьянные сапоги и шитые шапочки.

## ОТДЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

Произведение человека имеет целью пребываемость, существование; но не всякое; иное производится для гибели других и собственной. Таков брандер; его дело жечь, губить и самому погибнуть в пожаре; еще более — самому гореть еще прежде корабля. Так и провидению: ему нужны всякие орудия и нужен брандер, который жжет. Но легко ли быть им? Правда, подобно конгревовой ракете*, он блестит, шумит, жжет. Но внутри его яд, долженствующий разрушить его самого.

Но ведь не всякий огонь на море — брандер. Есть и маяки, фаросы, указующие путь кораблям, ведущие их в безопасную пристань, показующие им мели. Брандер нужен в войну, фарос — всегда.

Вот апостолы и революционеры!— Аттила, Аларик, Дантон, Мирабо были эти brûlots[1], пущенные провидением в стан неприятельский. Св. Павел, Златоуст, Иоанн — фаросы для всей господней.

Бенедиктины* — якобинцы. Та же противуположность.

Человек, назначенный жечь, давший место в своей груди огню разрушения, будет все жечь. Пожар сжигает и икону, и хартию, и стену, и пыль на стене. Я уверен, что Аттила, Аларик, сжели б не они были призваны вести разрушителей Рима, то они были бы простыми воинами этой брани, она им по душе. Даже ежели б остались дома, то они в своем семейном кругу сделали б этот пожар. Пример жизни Мирабо подтверждает это*.

14 октября 1836 г.

---

[1] зажигательные корабли (франц.).— *Ред.*

Еще весьма важный пример — Марат, прежде, нежели он являлся в ⟨*1 нрзб.*⟩ камере на трибуну Конвента требовать казнь поколений, он был доктором медицины. Есть сочинение его, помнится, о теории света, где он с тою же яростью ниспровергает опыты и теории предшественников.—Кине очень остроумно сравнил Робеспьера и Фихте, Наполеона и Шеллинга*.

---

Представьте себе медаль*, на одной стороне которой будет изображено Преображение, на другой — Иуда Искариот!!— Человек.

---

Римская история имеет то же влияние на душу юноши, как роман на душу девушки.

Откуда сила этих типов исторических?— Греция выразила полную идею изящного, ее архитектура всегда будет поражать самой простотой. Рим сделал то же с своим политическим бытом. Простыми, резкими гениальными чертами набросал он жизнь свою. Но в изящном Греции и в гражданственности Рима один недостаток — нет религии. Отсюда — этот характер конечности, соизмеримость.

⟨Октябрь 1836 г.⟩

## ЭТО БЫЛО 22-го ОКТЯБРЯ 1817

I

В большой зале, мертвой, как кладбище, сидел на окне мальчик лет пяти. Бледный цвет лица, маленький рост, нежность и хрупкость (grêle) членов показывали слабую, болезненную организацию; но черты его лица были резки, и ребячьи глаза искрились огнем. Есть детские лица, которые явственно пророчат всю будущую жизнь их. Смотря на мальчика, сидевшего на окне, наверное можно было ему предсказать ряд страданий; наверное можно было предсказать, что грубыми руками люди захватают, погнут, сломают нежный сосуд этот,— сосуд пламенной мысли и пламенного чувства, и что он рано уйдет на родину, обиженный, оскорбленный — ежели бог не подаст ему руку помощи. И так же наверное можно было предсказать, что бог эту руку помощи подаст, потому что он в ней никому не отказывает, потому что и весь мир материальный не что иное, как рука помощи падшему ангелу.

Мальчик задумчиво смотрел на небо,— может, без всяких мыслей; может, игривой, пестрой мечтой своего возраста маленький Шведенборг представлял себе хрустальные домы ангелов, с множеством цветов, с райскими птицами.

II

А с неба смотрел на мальчика Дух Жизни, благодатный путеводитель каждого смертного, всего рода человеческого и всей вселенной по стезе, начертанной провидением. Рои светоносных ангелов летали около него. Горестно смотрел Дух.— «Жаль мне тебя, молодой гость земли; мало *тела* досталось

на твой удел и много души. Толпу страданий обрушит на тебя огненный нрав твой, а нет в тебе мощной силы, которую верным щитом может человек противупоставить врагу. Странником будешь ты скитаться между людей; они тебя не признáют за родного, а отчего дома не найти тебе самому. Огонь в твоих глазах — не лазоревый свет неба, а пурпур земной страсти. Мысль гордая унесет тебя, как дикий конь, а люди бросят камни на дорогу, об которые ты разобьешься».— Один из ангелов задумался и светил голубым взором своим на мальчика, который между тем засыпал.— Дух обратился к ангелу и продолжал: «Среди ужаснейшей бури родился он, один из разрушающих, допотопных переворотов, как отчаянное усилие против гармонии и просветленья, мечом и огнем пробегал по земле. Он протянул руку из колыбели, и неприятельский воин, буйный и пьяный, схватил за нее; он ступил на землю, и маленькая нога его обагрилась кровью человеческой. В сырую, осеннюю ночь лежал он на мостовой; море огня, пожиравшее огромный город, едва могло отогреть посиневшие члены младенца; искры сыпались на него, конские копыты дотрогивались; он был голоден и не мог кричать, изнуренная грудь матери не имела для него капли молока. Жизнь начинала тухнуть, ночь распространялась перед глазами малютки.—Я спас его, но спас телесно. Душа наследовала что-то и от бури, и от пожара, и от крови». Ангел не спускал глаз с спящего ребенка; его болезненное выражение стало еще заметнее; лихорадочные движения пробегали по нем; казалось, что-то чудовищное стоит перед ним и стращает его. «Жаль мне малютку!»— сказал ангел с первою слезою на вечно радостном оке.

— Спаси его.

— О, я готов!

— Но помни. Законы неизменны, путь спасения всему падшему показан: он тот же для вселенной, для человечества и для одного человека. Двух огромных жертв требует он: *Земной жизни* и *Страданья*. А как утомительна эта жизнь в оковах тела, эта зависимость от стихий! А как жгучи эти земные несчастия с ядом на губах, с заразой в дыхании...

— Всё перенесу, мне жаль падшего брата, я вижу на челе его не совсем стертую печать красоты Люцифера, той красоты,

которою он увлек толпы ангелов. Как хорош был Люцифер до своего паденья, с пурпуровым светом своим, с высокой, необъятной мыслью! Ребенок этот как-то напоминает его черты; о, я люблю его, лишь бы благословил меня Отец, и я привел бы его в родительский дом, дом радости и молитвы; чем больше страданий, чем больше трудностей, тем чище будет он!

— И так да будет! — воскликнул Дух, осенив ангела таинственным знаком. Вдруг тесно стало ему, грудь взволновалась, призрачная мысль отуманилась, сон, не известный жителям неба, оковал его; ему казалось, что он падает, что свет меркнет... было душно... он перестал себя понимать... исчез.

III

Шаги послышались в ближней комнате; бледный мальчик проснулся; уже смерклось; он взглянул на небо; лазоревая звезда низверглась с быстротою молнии на землю — ему жаль стало звездочки.

Растворилась дверь. Женщина, прелестная собой, взошла со свечою в залу. «Александр, Александр, где ты?»— «Я здесь, maman»,— отвечал Александр.— «Куда ты это спрятался? я тебе скажу радость: у тебя родилась маленькая сестрица».— Глаза ребенка сверкнули, будто он понял всю высокую мистерию этого рождения.— «Ведь дети с неба?»— спросил он.— Да, их бог дает».— «Так эта светлая звездочка, которая сейчас упала, должно быть и есть моя сестра».

— Дитя!— сказала мать улыбаясь.

А писано 22 октября 1837.
Вятка.

# ЕЛЕНА

(А. Е. Скворцову* в память вятской жизни).

Und das *Dort* ist niemals hier!*

Schiller[1].

## I

Спокойно. Я мой век на камне кончу сем*.

Оверов.

В небольшом доме на Поварской жил небольшого роста человек. Он жил спокойно, тихо, потому что не умиралось. Весь околоток любил и уважал его; когда он, по обыкновению, приходил в воскресенье к обедне, диакон ставил себе за обязанность поклониться ему особенно; когда он проходил мимо соседней *овошной* лавочки, толстый лавочник, удивительным образом помещавшийся на крошечном складном стуле, мгновенно вставал, кланялся и иногда осмеливался прибавить: «Ивану Сергеевичу наше низкое почитание». А Иван Сергеевич с лицом, на котором выражалось совершеннейшее спокойствие духа, улыбаясь, принимал эти знаки доброжелательства. Никто не видывал Ивана Сергеевича печальным, сердитым; даже не заметно было, чтоб он старелся. Он являлся на московских улицах здоровым, довольным, счастливым, зимою в теплом сюртуке с потертым бобровым воротником и с палкой из сахарного тростника, летом—в темносинем фраке и с тою же палкой.

«Что это Иван Сергеевич не женится?— говорила часто соседка его, старая генеральша, страшная охотница до архиерейской службы, постного кушанья и чужих дел.— Право, за него можно отдать всякую девушку: ни одного праздника не пропустит, чтоб не быть у обедни. Редкость в наше время

[1] И то, что *Там*,—никогда не бывает здесь! Шиллер (нем.).—*Ред.*

такой человек! Вот была бы ему пара Анфисы Николавны племянница».— «Без всякого сомнения»,— отвечала проживавшая у генеральши вдова бедного чиновника и которая так же, как и генеральша, не знала ни Ивана Сергеевича, ни племянницу Анфисы Николавны. Поступим же лучше и познакомимся с ним.

Коллежский советник и ордена св. Анны 2-й степени кавалер, Иван Сергеевич Тильков принадлежал к числу тех людей, которые проводят целую жизнь с ясностью осеннего дня и без дождя и без солнца. Воспитанный некогда у профессора Дильтея в маленьком домашнем пансионе, где был прилежным и благонравным учеником, он образованием своим стоял выше большей части тогдашней молодежи. Сначала его записали в гвардию; тихий, флегматический и не очень богатый, он не мог участвовать в буйной и роскошной жизни своих товарищей. Его сделали полковым адъютантом, и тут он приобрел искреннюю любовь офицеров, потому что не ябедничал на них полковому командиру и не переменял порядок дежурства и нарядов по первой просьбе. Домашние обстоятельства заставили его перейти в гражданскую службу, и, сняв свой *невинный меч*, он принялся за перо. Служивши советником в какой-то коллегии, он умел сохранить чистоту совести и чистоту рук, читал каждую бумагу от доски до доски и являлся всякий день в 9 часов утра на службу. Теснимый председателем, он, не ссорясь, вышел в отставку, взял с собою чин коллежского советника, орден св. Анны 2-й степени, уважение сослуживцев и спокойствие духа человека, убежденного, что не сделал ничего злого. Но что же ему было делать дома? Он не имел близкого человека, которому мог бы передать думу или чувства, волновавшие его душу; но он не имел и этих дум. Все семейство его состояло из старухи Устиньи, которая ходила за ним, как за ребенком, и огромной датской собаки, Плутуса, за которой он ходил, как за сыном. Сначала являлась у него мысль, что жизнь его не полна, что нет никого, кто встретил бы его при возвращении в небольшой домик, что на Поварской, кто стер бы пот и пыль не только с лица, но и с души. Мысль эта занимала его несколько времени; он даже намекал об этом Устинье, и Устинья советовалась тайком от него с ворожеею, какая будет невеста: трефовая

или червонная; но как приступить к такому трудному делу? Между тем время шло, шло, а Иван Сергеевич старелся да старелся. Потом являлась еще другая мысль. У него было душ сто крестьян в Смоленской губернии, из коих пятьдесят платили оброк, а прочие, зная нрав барина, платили только старосте за право не давать ни копейки помещику. Почему ж не ехать в свою деревню, не завести хозяйство, не сеять лозу и клевер, не пахать по-голландски нашу русскую землю? И вот он купил все тома «Трудов Вольного экономического общества». Но какое страшное одиночество! Сверх того, и на это надобно было более решимости, нежели у Ивана Сергеевича было. Что ж делать? Остаться холостым в Москве — это было всего легче, стоило только продолжать жить. Правда, горькие минуты бывают с человеком, который, думая до 45 лет, что из себя сделать, увидит, наконец, что уж выбор невозможен и что некуда себя деть, а остается доживать свой век, пока бог грехам терпит. В эти горькие минуты, которые бывали, впрочем, очень редко, Иван Сергеевич брал шляпу, палку из сахарного тростника и отправлялся или гулять до тех пор, пока физическая усталость сделается отдыхом моральной, или к одному из двух-трех знакомых, просиживал там несколько часов и потом преспокойно возвращался домой, где на лестнице ожидал его Плутус, а в горнице — Устинья. Но сутки состоят из 24 часов, и потому за всеми посещениями, за сном, за обедом остается еще много времени; его Иван Сергеевич употреблял на приведение в порядок своих вещей и на чтение.

Какая-то египетская стоячесть царила в его холостой квартире: двадцать лет стоял диван, обитый некогда синей бомбой, на одном и том же месте, а перед ним — овальный стол орехового дерева. Двадцать лет на его письменном столе лежала пара старых шведских пистолетов с медными дулами, машинка, которой нельзя чинить перьев, колокольчик, несколько книг и бумаг; один календарь, возрождаясь ежегодно, определял движение времени. Иван Сергеевич так привык к порядку, что не мог видеть равнодушно какую-либо вещь не на *своем* месте, то есть не на том, которое принадлежало ей по праву десятилетней давности. Редкие посещения немногих знакомых, мытье полов, вставка рам разрушали по временам этот

порядок и давали ему занятие. Он располагал все по-старому и, пользуясь случаем, перетирал пистолеты, отвинчивал замки, мазал их маслом и т. д. Когда ничего уже не оставалось приводить в порядок, он принимался читать сначала «Московские ведомости», потом книги, которых у него было довольно в большом шкафе, близ письменного стола. Он откровенно восхищался Расином и Херасковым, удивлялся *смелой* фразе только что появившегося Карамзина и, что удивительно, охотнее всего брался за какой-нибудь роман. Сколько раз перечитывал он «Manon Lescaut», «La religieuse» и другие усопшие повествования об усопших людях прошлого века. Впрочем, это понятно: роман некоторым образом заменял ему жизнь действительную.

Таким образом жил Иван Сергеевич, готовясь попасть в тот проспениум Дантова ада, где бродит толпа душ, не имеющих места ни в раю, ни в преисподней*. Пожалеем об этих людях, которые провели жизнь без юности, без пламенных страстей, без дурачеств, без мечтаний о славе, любви, дружбе. Правда, их жизнь спокойна, но спокойна, как кладбище; сколько ни было бы доброты в них, но эгоизм прокрадется под конец в сердце. Порицать Ивана Сергеевича нельзя; от природы флегматик, он был встречен беспорядочными нравами прошлого столетия, когда царило суесвятство и полуатеизм Вольтера, ничем не стесняемый прихотливый разврат вельмож и низкое рабство их клиентов. В нем не было той самобытности, которая выносит человека над толпою, ни той пошлости, которая заставляет другого делить с нею ее сальные пятна, и потому он отстранился от людей и мог бы умереть, не сделав ничего доброго, кроме благодетельных попечений о Плутусе,— словом, исчезнуть, «как струя дыма в воздухе».

Иначе судила судьба!

В последние годы прошлого столетия, когда Екатерина, солнце этого полного, пышного века, согревшее всю Русь материнской любовью, нежной, женской, склонялось к западу и садилось в красные тучи,—Устинья с удивлением стала замечать, что Иван Сергеевича чаще не бывает дома, что он иногда забывает кормить Плутуса и при чае откладывать для нее три кусочка сахара. Желая удостовериться в справедливости своего

замечания, она переложила на столе пистолеты, и две недели прошло прежде, нежели Иван Сергеевич заметил это нарушение порядка.«Странно»,— думала она, качая головою, и не могла догадаться. Наконец, Иван Сергеевич воротился однажды домой очень поздно, задумчивый, рассеянный и с заплаканными глазами. Вслед за ним приехала карета, и в ней привезли полуторагодового ребенка со всем детским багажом. Рыдая, прощалась с ним какая-то женщина, одетая в черное платье и повязанная белым платком, целовала руки Ивана Сергеевича, просила бога ради не оставлять круглую сироту; потом речь шла о каких-то похоронах, о какой-то свадьбе... Устинья ничего не поняла — она же была крепка на ухо. Вдова бедного чиновника, жившая у генеральши, на другой день рапортовала ее превосходительству о подъезжавшей ночью карете к дому Ивана Сергеевича, о том, что в ней приезжала женщина, что дворник Ефимыч спрашивал у кучера, чья карета и кто приехал, но не мог ничего узнать, ибо карета была наемная. Когда женщина уехала, Иван Сергеевич с величайшей аккуратностью начал учреждать люльку, передвинул диван, который без этого обстоятельства мог бы умереть на своем месте, и просил Устинью ходить за ребенком как можно лучше, а пуще всего — никогда не спрашивать, откуда он, кто он, зачем привезен. За это он обещал ей двойное жалованье и давно желанную русскую тафту на покрышку вытертого заячьего салопа. Иван Сергеевич заботился о ребенке, как самая нежная мать; всякое утро осматривал он, чисто ли белье, щекотал его подбородок, благословлял его, играл с ним; в день это повторялось несколько раз, и, как бы поздно ни возвращался он домой, всегда подходил к люльке поправить одеяльце, хотя бы оно очень хорошо лежало, и посмотреть на него с любовью. Плутус стал играть второстепенную роль в доме, но, будучи не человеком, он за это не только не съел и не задушил Анатоля, но, напротив, жил с ним по-братски. Когда в гостиной расстилали ковер на полу и пускали ползать маленького Анатоля по правилам, извлеченным Иваном Сергеевичем из «Эмиля», огромный Плутус непременно являлся играть. Анатоль теребил его за уши, за хвост, клал ручонку в его пасть, улыбался ему, целовал его, и никогда тени негодования не было заметно на чрезвычайно

важном лице Плутуса; он лизал Анатолю ноги, а пуще всего слизывал с рук его остатки молочной каши. Часто, прижавшись к Плутусу, Анатоль засыпал, и тогда Плутус не дозволял до него дотрогиваться даже Устинье, которую уважал, как мать родную. Несравненно смешнее было видеть, как нянчился Иван Сергеевич с ребенком. Не брав отроду маленького в руки, он далеко уступал в ловкости Плутусу, и Устинья всякий раз отнимала Анатоля, который плачевно обращал к ней взор. Иван Сергеевич радовался, что жизнь его имеет пользу, цель, и в день раз десять перекладывал сдвинутые Анатолем вещи.

II

E come i gru van cantando lor lai,
Facendo in aer di se lunga riga;
Cosi vid'io venir traendo guai
Ombre portate dalla detta briga...
Дант. Dell' «Inferno», C. V [1].

Месяцев за пять или за шесть перед тем, как привезли Анатолия к Ивану Сергеевичу, он встал по своему обыкновению в 7 часов утра, облекся в халат верденомового цвета, сшитый из платья покойной его матушки, старинной шелковой материи, которая не имеет свойства изнашиваться, и закурил с особенным удовольствием с вечера приготовленную трубку. Плутус, зевая и потягиваясь, ласкался к нему; Устинья принесла на маленьком подносе кофейник и чашку. День был ясный. Иван Сергеевич чувствовал себя довольным и счастливым; он хотел попользоваться, может, последним хорошим днем в году и задумал идти в Дворцовый сад, жалея только, что для этого ему надлежало отказаться от обоих товарищей своих прогулок: от Плутуса и от палки из сахарного тростника. Так-то удовольствия человеческие никогда не обходятся без лишений. Вдруг кто-то застучался в дверь. Устинья пошла посмотреть и воротилась с письмом в руке. «Лакей в богатой ливрее принес его и ждет ответа».— «Пусть подождет»,— сказал Иван Сергеевич с своим удушающим спокойствием и начал наливать кофе в чашку.

[1] И как журавли летят с унылыми песнями, образуя в воздухе длинный строй, так, увидел я, летели со стонами тени, несомые этим вихрем... Из «Ада», п⟨еснь⟩ V (итал.).— *Ред.*

Устроив свой завтрак, систематически размочив для Плутуса кусок белого хлеба в сливках, он прочитал записку, вышел в переднюю, сказал лакею: «Доложи князю, что буду в назначенное время» — и воротился допивать кофе, бормоча: «Странно, на что я этому повесе? Устинья* Артамоновна, вычисти-ка хорошенько кафтан да приготовь глазетовый камзол, тот, что надевал в Успенье».

---

В небольшом кабинете, перед большим письменным столом, на вольтеровских креслах сидел молодой человек лет 28. Все формы его выражали атлетическую силу тела, так, как все черты лица — порывистую душу. Он был в халате, обнаженная грудь подымалась сильно, темные волосы едва виднелись из-под бархатной шапочки. Юное лицо летами было старо жизнию; страсти и перевороты оставили на нем резкие следы. Протянув ноги на мягкую подушку, он задумчиво чертил пером бессвязные фигуры и несуществующие буквы. Стол был завален бумагами и книгами; смотря на них, трудно было догадаться, что за человек князь: проекты государственных перемен, фасады церквей, сельских домов, конюшен, отчеты из деревень, прейскуранты из магазинов, выписки из романов и выписки из Локка, из Монтескье, множество нераспечатанных писем и несколько начатых ответов. Подле лежал развернутый том Шекспира; казалось, он читал его недавно. Весь кабинет был продолжением этого стола или, лучше, стол был сокращением этого кабинета. На полу стояли превосходные картины, иные в богатых рамах, иные без рам, многие обернуты к стене; несколько ваз красовалось без симметрии — одна на окне, другая на мраморной тумбе, третья на камине; большие бронзовые часы Нортона спокойно отдыхали незаведенные, и груда книг, большею частью английских, смиренно лежала на ковре, которым был обит весь пол. Прислонившись к стене, стоял заржавевший кухенрейтер*; черкесский кинжал висел возле каких-то остатков астролябии; наконец, бюст Сократа со вздернутым носом и бюст кардинала Ришелье с повислыми щеками смотрели друг на друга, отделенные темным мраморным Приапом с козлиной ногой, с козлиной бородой и с сладострастным выражением.

Вскоре князь бросил перо, облокотился на обе руки и неподвижно вперил свой взор на висевший перед его глазами вид Венеции. Смотрел ли он на него или нет, не знаю, но скорее нет, ибо видно было, что он чем-то очень занят. Цвет лица его менялся, и он часто проводил рукою по лбу, как бы желая отогнать думу или стереть воспоминание. Тихо отворилась дверь, и взошедший камердинер доложил о приходе Ивана Сергеевича. «Проси»,— сказал князь, не переменяя положения, и через минуту взошел Иван Сергеевич с своим спокойным видом, на который князь бросил взор зависти и упрека.

— Чему обязан я, что ваше сиятельство...

— Бога ради, к стороне эти церемонии. Мне есть до вас просьба: вы можете меня облагодетельствовать, мне нужен благородный человек, а я знаю вас, несмотря на то, что мы редко видимся. Вы любили моего отца, он много сделал для вашего семейства, теперь вы можете воздать сторицею... Не отвечайте ничего, невозможного я не требую, я не сумасшедший. Прежде всего вы должны выслушать полную исповедь; я буду откровенен, и ежели тогда вы откажетесь помочь мне, то вы уже решительно не человек.

Удивленный Иван Сергеевич приготовлялся слушать, а князь указал ему стул с другой стороны стола, опустил глаза и долго искал, с чего начать. Казалось, он обдумал, как и что ему сказать, и именно поэтому растерялся в ту минуту, когда надлежало говорить.

— Вы знаете,— начал он,— какая блестящая карьера ждала меня по возвращении из Оксфорда. Императрица любила моего отца, она знала мои способности, она приняла меня милостиво. Я, юноша свежий, не зараженный старыми предрассудками, не скованный нелепыми формами, я понимал мысль великой Екатерины; я понимал, что ей надобно человека, через которого разливалась бы святая воля ее, и хотел сделаться им. Потемкин — это был мой идеал; поэт в гордости, поэт в роскоши, исполненный колоссальных идей и женских капризов, смесь Азии и Европы, как сама Русь; сатрап восточный и непокорный вассал феодальный,— его жизнь мне представлялась какой-то поэмой, мировой, высокой... Горе тому, кто мечтал о власти,— у него в душе пропасть, которую ничто не

может наполнить. Судьба баловала меня, я видел начало исполнения моей пламенной мечты, и вдруг эта ссора... Я должен был заступиться за честь моего отца; история довольно известная. Подлый, обыкновенный человек из толпы заплатил клеветой моему отцу, извлекшему его из грязи. Я восстал. Презренный уступал мне в глаза, несколько раз предлагал мне мириться, но я осыпáл, душил его насмешками и колкостями. Он был силен. Императрица поверила, что я буйный, неугомонный, дерзкий мальчишка... Нет, она не поверила,— надобно раз видеть ее, чтобы знать эту душу небесной благости, это сочувствие всему сильному и благородному,— но все старики были против меня: они ждали от меня поклонения, ждали, чтоб я являлся в праздничные дни смотреть, как их лакеи метут пол в зале, и потом слушать пошлые афоризмы об обязанностях, о службе, о поведении. Я смеялся над ними, советовал лечить подагру и, боясь беспокоить, не ездил к ним ни в их залы, ни в их домовые церкви, ни в их кабинеты. Коротко, мне приказано ехать в Москву, будто для устройства деревень, со всеми знаками гнева и немилости. Я был обижен, оскорблен, половина мечтаний лопнула, сердце обливалось кровью. Злодей этот, дурак, приезжал прощаться со мною, уверял меня с улыбкой, что ему очень жаль, что я еду, хвалил, что я принялся за хозяйство, уверял, что мне в Москве будет весело жить, что он бывал у моего отца на прекрасной даче, что в Москве климат лучше, что я поправлю здоровье, особенно нервную раздражительность, которую, вероятно, я привез из сырой Англии... Доселе удивляюсь, как я не выбросил его в окно, не растоптал ногами. Делать было нечего; скрипя зубами, отправился я в Москву. Но в Петербурге осталось все мое существование. Слыхали ли вы о польской генеральше, которой муж был убит после Тарговицкой конфедерации* и которого семейство призрела императрица? Никогда мысль любви не проникала в мою душу, оледенелую от самолюбия. Но дочь этой генеральши,— я вам ничего не могу сказать, вы не поймете меня,— это ангел, это существо выше земных идеалов поэта, это существо, которое одно могло бы примирить Тимона с людьми*, святое, высокое...

Он замолчал; видно было, как трудно ему говорить об этом.

— Я не говорил ей о любви моей и не знал, любил ли ее,

не знаю, смел ли любить... Я приехал в Москву. Как бешеный волк, ходил я по этим пустым комнатам, перебирая мысли мщения и отворачиваясь от своего бессилия. Надобно было чем-нибудь заглушить обманутое самолюбие, наполнить кипящую страсть деятельности, и мне ничего не оставалось, кроме разврата. Меня окружила толпа *друзей*, и я проводил дни и ночи за стаканом шампанского, в объятиях развратных женщин, за зеленым сукном. Я тушил в своей душе все хорошее, все высокое и радовался успеху, радовался, что вся Москва говорила о моих затеях, но душа не могла померкнуть так скоро. Голос сильный кричал мне и при понтировке и в чаду вакханалий: «Опомнись!», и тогда я обращал кругом себя грустный взор, потухавший от разврата, искал сочувствия и встречался с бесчувственным взором толпы. Я готов был броситься на грудь первому человеку, перелить в него все мучившее меня; но мне представлялась грудь нимфы, еще не остывшая от поцелуев другого, и я отворачивался с ужасом. Иногда, как путеводная звезда, как блестящий Геспер, который так вольно купается, играет в океане восточного света, являлась мысль любви, но бурные тучи страстей закрывали ее. Если б я знал, что я люблю, что я любим, если б... но я не знал, а знал, что люди обидели меня, лишили поприща, и я хотел мстить им, губя себя в чаду нечистых страстей... Так прошло около двух лет. Зачем природа дала мне столько сил, что я перенес эти два года?! Если б, изнуренный, больной, я погас, гораздо б лучше,— тогда б я погиб один!.. Я никуда не ездил, пренебрегая пустым кругом московской знати, которая тоже воображает, что она что-нибудь значит, в то время как вся деятельная сила сосредоточена там, у трона, там, где мне нельзя было быть, откуда меня вытолкнули. Не знаю как, один из приятелей затащил меня на вечер к своей бабушке, чтоб потешить глупостью полупровинциального тона, царившего в этом доме. Меня приняли на коленях,— разумеется, не меня, Михаила Петровича, а мое состояние, мое родство, мою фамилию. Да будет проклят этот день! Там познакомился я с одной бедной девушкой, жившей в этом доме, и нашел эту душу, которую искал, которая поняла меня. Скупая старуха, ее тетка, мучила племянницу; она была угнетена, жила из милости, очень несчастно;

мне было ее жаль от души. Она со всею доверенностью юности бросилась в мои объятия и нашла в них не спасение, а гибель... Тяжело признанье, скорей к концу. Она живет у меня в Поречье, и ее же родственник помог мне погубить несчастную. Вся жизнь этой девушки — любовь ко мне, а я... Но нет, ей-богу, я не виноват!— Мой пылкий характер, мое сломанное бытие... я увлекся и опомнился слишком поздно...

Он опять остановился,— тяжко было ему. Он позвонил, и камердинер явился в дверях. «Бутылку вина и два стакана»,— сказал он и, опрокинув голову на спинку кресел, с видом человека, которого угрызает совесть, молчал. Принесли вино, шампанское заискрилось. Иван Сергеевич схлебнул и поставил перед собою стакан. Князь выпил два с какою-то жадностью и, судорожно улыбаясь, сказал: «Вы, верно, думаете теперь, что я хочу женить вас? Ха-ха-ха!» Иван Сергеевич не отвечал ничего и прямо смотрел в глаза князя. Князь не выдержал и, покраснев, потупил глаза.

— Да, на чем же я остановился?— продолжал он, после минутного молчания.— Ну, довольно сказать, государыня приехала в Москву, небесная доброта простила меня, мне снова разрешили приезд ко двору. Вместе с государыней приехала и генеральша с дочерью. Один ее взгляд решил мою судьбу. Та — земля, страсть человеческая, это — небо, страсть божественная; нет, не страсть, страсть — что-то низкое. И я любим ею, и через месяц или два я муж ее! А Елена... Боже, неужели эта душа должна погибнуть?.. Мне следовало бы сказать ей, но это все равно, что подать стакан яду,— а должно быть, страшно угрызает совесть убийцу. Двадцать раз я решался намекнуть ей, показать холодность, приготовить, но нет, нет возможности, нет сил, и я играю роль низкую, подлую, повинуясь какому-то гибельному року. Это заколдованный круг, из которого не могу выйти; душа судорожно силится разрушить его, не может и, утомленная, влечется в эту пропасть, на дне которой чудовище с укоризненным взглядом. Я думал перестать к ней ездить,— опять нельзя. Дня три пройдет, и она пишет мне письмо, и каждое слово так полно любви, так клеймит меня позором, что мне ничего не остается делать, как ехать, тем более что она догадывается, да и как не догадаться взору любви!

Иван Сергеевич, спасите ее, бога ради, спасите ее и... малютку! Как и что — я вам объясню; ничего от вас не требую, кроме доброй воли, кроме попечений об ней, когда она узнает. При отъезде я вам вручу ломбардные билеты,— только бога ради не откажитесь. Теперь, как только смеркнется, я поеду с вами к ней в Поречье.

Гордый князь смотрел на Ивана Сергеевича просящим, умоляющим взором. Старик, в первый раз попавший с поверхности жизни в ее клокочущие глубины, был тронут; лицо его отвечало ясно, он подал князю руку, но в то же время думал: «Вот куда ведут необузданные страсти». И князь, уничтоженный в другой раз перед человеком, которого он подавил бы при всяком другом обстоятельстве, угадывая мысль его, сказал, глубоко вздохнувши:

— Старик, в твоей груди ничего не билось, не кипело подобного; твоя жизнь шла, как скучные туры бостона; но вспомни, что не у всех в жилах рыбья кровь, что жизнь иного идет, как талия бешеного штосса.

Между тем темнело. Камердинер подал свечи, и князь, как бы проснувшись от сна, поднял голову и, щуря глаза от света, сказал: «Тройку гнедых в линейку, и чтоб ехал Сенька!» Иван Сергеевич молчал. Князь вскочил и начал ходить в сильном волнении.

— Фу, как я гадок, низок в собственных глазах!— говорил он, терзаемый жестоким чувством сознания.— И я мечтал о славе! Но виноват ли я, что вместо крови мне влили огонь в жилы? Не виноват?.. Я, погибающий, искал спасителя, она явилась мне с любовью, с состраданием, и я полюбил ее... Что вы скажете о человеке, который откусит руку, подающую ему милостыню? Что? Слова нет, как его назвать, потому что тут физическая боль, тут кровь, тут улика. Но искусай, убей нравственно душу благодетеля — и уголовная палата предаст воле божией случай его смерти и тебя освободит от суда и следствия... Кто это сказал, что от поцелуя любви ложной, от обманутой женщины до ножа убийцы один шаг? Кто? А может быть, никто и не говорил, но всякий мог бы сказать, потому что это правда!.. А это невинное создание, которое не будет иметь ни отца, ни матери... Пуще всего, чтоб он никогда не знал, кто

его отец, никогда! Я возьму с вас присягу. Проклятие сына ужасно: его нельзя вынести человеку... Но к чему все эти осторожности? Разве проклятие посылается по почте и ему нужен адрес? Глупец!.. О, как торжествует теперь эта толпа, подстрекнувшая меня, сгладившая мне дорогу пасть и увлечь за собою существо, рожденное для блаженства, для счастья! Она воображает, что стянула меня в свою удушливую сферу. Нет, любезные, ошиблись! Я пал, глубоко пал в эту пучину, в которой вы сидите с головою, но я все выше вас, хотя и истерзан и преступен... Вот забавно — они виноваты, а я прав! Они виноваты, указавши мне прелестный цветок, а я, сорвавший его для того, чтоб упиться на минуту его благоуханием, я прав. Будто цель жизни этого цветка — рассеять мою тоску, мою обиженную гордость. Самолюбие, проклятое самолюбие — вот где начало всех гнусностей, а я виню их. Смех, ей-богу смех! Скоты эти сами не знают, что делают; им достался стебелек от плода познания, а я могу ли извиняться тем же? Я знаю, что я должен казаться вам теперь ужасно гнусным, преступным, а я понимаю, что душа не пала, я готов все, все сделать, чтобы поправить, все возможное!

— Князь,— сказал Иван Сергеевич,— об этом надобно было думать прежде. Вы правы, я не испытал ничего подобного и благодарю за это бога. Теперь делать нечего, прошедшего не воротишь, поищем средства поправить.

— Едем, пора!— сказал князь, еще раз уничтоженный спокойствием и чистотою Ивана Сергеевича.

---

Верстах в десяти от Москвы была одна из тех пышных дач, куда встарь ездили наши бояре villeggiare[1], где они давали праздники для целого города, где знакомый и незнакомый находил привет и угощение. Нынче эти дачи опустели, и юноши, ходя по лабиринту гостиных, кабинетов, будуаров, с гордостью смотрят на треснувшие стены, на картины, исцарапанные штыками французов, на чернеющую позолоту, на дождевые струи, просасывающие потолок, как на иероглифы падающего века, расчищающего им место, и как бы с презрением попирают

[1] пожить за городом (итал.).— *Ред.*

полы, на которые едва смели ступать их деды и отцы. Эта дача принадлежала князю, но князь никогда не давал там праздников; она была почти заброшена, но, несмотря на то, знали, что он ездил туда нередко, и зимой и летом. Были об этом толки; однакож в его присутствии никто не смел ни намекнуть, ни спросить.

На дворе было холодно; осенний ветер дул беспрерывно с запада, нанося фантастические тучи с белыми закраинами и равно препятствуя светить луне и идти дождю или снегу. Наконец, он оторвал ставень одного окна, и слабый свет, проходивший сквозь зеленую шелковую гардину, осветил колонну. Если б тогда кто-нибудь стал на цоколь колоннады, то увидал бы все, происходившее в комнате, в щель, не захваченную гардиной. Но в те времена не было уже людей, пользовавшихся незадернутою занавесью, неосторожно свернутой запиской, щелью в дверях, болтливостью слуги,— людей, очень нужных Бирону и совсем не нужных Екатерине,— и потому никто не выжидал падения ставня, никто не взлез на цоколь колоннады и не смотрел в окно, а стоило бы взглянуть и поэту, и артисту, и великому человеку с душою.

Окно это принадлежало небольшому будуару, обитому полосатым штофом и украшенному всеми причудами XVIII столетия. Тут были и кариатиды, поддерживающие огромные зеркала, и канделябры из каких-то переплетенных уродов, похожих с хвоста на крокодила, а с головы на собаку, и этажерка с севрскими и саксонскими чашками, которые смотрелись в ее зеркальные стенки, и амур на коленках, точащий стрелу о мраморную доску, и ченерентолин[1] башмачок вместо чернильницы, и фарфоровая пастушка с корзинкой, и фарфоровый пьяница с бутылкой, и китайские блюдечки, и японские вазы для цветов. Между этими безделушками были разбросаны другие безделки, принадлежавшие женщине, говорившие о ее молодости, о нарядах, о красоте, о юности, о любви. К самому окну были придвинуты пяльцы, возле дивана маленький столик, и на нем бриллиантовый браслет с мужским портретом, и на стене портреты того же мужчины в разных костюмах. На одном

[1] золушкин, от cenerentola (итал.).— *Ред.*

он был представлен верхом в черкесской, на другом — в кастильской одежде, на третьем— завернутый в какую-то мантию или тогу à la grecque[1]. На диване лежала женщина лет 22, прелестная собою. Густые, темные волосы, зачесанные по тогдашнему вверх, открывали белое, как слоновая кость, чело; темноголубые глаза горели любовью. Просто и роскошно была она одета, во всем выражалась женщина любящая. Возле нее, на мягкой бархатной подушке, лежал ребенок месяцев десяти, и она не спускала с него глаз. Она беспрестанно вставала, то становилась на колени перед подушкой и молча смотрела на него с избытком чувства, возможным только матери, то прижимала его к груди, целовала ему ножки, ручки до того, что ребенок плакал, то пряталась от него и приходила в восторг, когда замечала, что он ее ищет, то говорила с ним, кокетничала перед ним и чуть не прыгала от радости, когда он улыбался. Как счастлив должен быть отец этого ребенка! Только та мать так любит детей, которая страстно любила отца их; она в ребенке продолжает любить его, это — апофеоз самой любви их. Но отец этого ребенка не был счастлив.

— Погодите здесь,— сказал князь Ивану Сергеевичу, вводя его в гостиную, и пошел далее. Дверь в будуар была полузатворена, и он остановился перед сценою, которую мы сейчас видели. Князь был поражен, слезы навернулись на глазах, и сильно забилось сердце его. Дверь скрипнула; женщина обернулась, крик восторга вырвался из груди ее, и в одно мгновение она повисла на шее князя, осыпая поцелуями мужественное и гордое лицо его.

— Сегодня я тебя никак не ждала. На дворе такой холод, ты иззяб!— И она схватила его белую, стройную руку и старалась отогреть ее поцелуями.— Знаешь ли, что ты уж две недели не был у меня? Но я не сержусь. Двор в Москве: тебе много хлопот. Ну, что императрица?.. Да ты что-то мрачен? Посмотри, как мил наш Анатоль: он сегодня целый день не плакал, ручонку сам протягивает...

И она подвела князя к дивану. Он взглянул на ребенка

---

[1] в греческом духе (франц.).— *Ред.*

и на нее с каким-то состраданием, но всякий мог бы заметить, что в эту минуту он один заслуживал сострадания.

— Елена, я приехал обрадовать тебя,— сказал он, стараясь как можно реже встречать ее взор, — императрица простила меня, велела приехать в Петербург. Душевно жаль, что я решительно не могу взять тебя с собою, но я скоро опять побываю в Москву. Будь тверда, душа моя, пиши ко мне обо всем, что нужно.

Глаза Елены омрачились; из-за слов князя выглядывало для нее что-то чудовищное, ужасное. И почему он говорит не так, как прежде, и почему нельзя ей ехать в Петербург, и зачем же он едет, если ей нельзя, и что это — писать обо всем? будто ей есть о чем писать, кроме любви,— неужели о своих нуждах? как будто у ней есть нужды, кроме потребности любви? Еще в прошлый раз она замечала в нем что-то необыкновенное, принужденное; зачем взор его задумчиво простирался вдаль, когда она была возле него, когда он должен был окончиться на ее взоре?.. Ей сделалось страшно, она заплакала.

— О, ради бога, не плачь!— воскликнул князь с жаром, увидав ее слезы.— Умоляю тебя, мой ангел, моя Елена! Каждая слеза твоя падает растопленным свинцом на мое сердце. Не мучь меня, и так душа моя разбита, и ты отравляешь минуту радости, которую я ждал целые годы. Зачем подошла ты так близко к моему существованию? На мне проклятие, я гублю все, приближающееся ко мне. Я, как анчар, отравляю того, кто вздумает отдохнуть под моей сенью!

— О, я не раскаиваюсь,— перебила она его.— И если в самом деле счастье закатилось для меня, воспоминание минут, в которые я полной чашей пила блаженство, выкупит все последующие страдания. Я и в мраке буду вспоминать солнце, светившее, гревшее меня, но и это недолго...

— Недолго? Отчего недолго?— спросил князь, и лицо его побледнело, и он судорожно схватил опахало, лежавшее на диване, и изломал его.

— Оттого, что я умру без твоей любви,— отвечала Елена.

— О, женщины!— сказал князь, отирая пот, выступивший на лице его.— Ты, верно, думаешь о какой-нибудь сопернице? Кто сказал тебе, что я люблю другую?

— Кто?— прошептала Елена, и горькая улыбка мелькнула на устах ее.

— С чего ты взяла, что я перестал любить тебя? Мне надобна деятельность, мне надобна слава, власть, и потому я еду. А ты, ты хочешь на прощанье отпустить со мною угрызения совести, ужасную мысль, что я могу быть твоим убийцей, что тень твоя будет являться мне, как тень Банко Макбету средь пира, средь...

Он остановился. «Не так говорил он прежде,—думала Елена.— Будто слова лжи могут жечь кровь, будто глаза могут выражать, чего нет в душе? Тогда его не манило другое поприще; впрочем, ведь и прежде случались с ним минуты грусти, и, может быть, я обвиняю его напрасно».

— О, какой же ты чудный, Мишель!— говорила она, подавляя возникшее подозрение.—Успокойся, ради бога, успокойся! Ну, как не стыдно?! Я ведь ребенок, болтаю сама не знаю что. Тобою овладел опять злой демон, который заставлял тебя скрипеть зубами в моих объятиях тогда, как я была вся блаженство. Я радовалась, думала, что он исчез, а вот он опять явился. Какой он гадкий, этот демон!— прибавила она, целуя князя в глаза.

Князь сидел неподвижно в углу дивана. Елена оперлась локтем на его плечо.

— Да что же ты сегодня, как египетский истукан, неподвижен и вытянут? Перестань же сердиться; ну пусть я виновата — ты знаешь, я сумасшедшая. Перестаньте же, ваше сиятельство, будьте же сколько-нибудь учтивы!

Притворная веселость Елены оживила князя; он взглянул на нее взором благодарности и снова погрузился в прежнюю мрачную задумчивость.

— Помнишь ли,— продолжала Елена, ласкаясь к нему,— помнишь ли, что завтра тринадцатое сентября?

— А что такое тринадцатое сентября?

— О, холодный человек! Он не помнит! Прекрасно, ему этот день ничего не представляет! Нет, мужчина никогда не может любить так пламенно, так ярко; а я завтра весь день буду праздновать, и ты — святой, ты — бог этого праздника! Да не 13-го ли сентября у моей тетушки ты увидал меня в первый раз? Ты можешь забыть этот вечер, но я, я никогда не за-

буду его! Я помню все, все: и как ты взошел, и как ты взглянул на меня, и как ты спросил у сидевшего подле тебя: «Кто эта прелестная брюнетка с голубыми глазами?» Я задыхалась, я думала, сердце разорвется у меня; тут только я поняла, что такое жизнь, любовь! Ты заговорил со мною, я отвечала бог знает что, но зато как глубоко врезались в мою душу твои глаза, сверкающие умом и страстью, твои черты, одушевленные, восторженные, совсем не похожие на эти обыкновенные лица. А помнишь ли 20-е ноября?

Тут лицо ее вспыхнуло еще более, и она скрыла его на груди князя, целуя ее и повторяя: «О, как много, много я люблю тебя!» Терзания князя были ужасны.

— Мишель,— продолжала Елена, приподняв через несколько минут голову, — за что же ты давеча сердился, когда я заговорила о смерти? Не счастие ли умереть теперь на твоей груди, воспоминая нашу встречу? Что может еще мне дать жизнь? Я благословляю судьбу свою, благословляю встречу с тобою. Что была бы я, если б ты не дунул огнем в мою душу, если б ты мне самой не открыл ее, если б ты не показал мне все прекрасное на этой земле? Безжизненная вещь, проданная в жены какой-нибудь другой вещи. И разве не провидение бросило меня в твои объятия? О, сколько раз, поверженная на полу перед образом спасителя, я молилась, чтоб он мне дал силу противостать обольщению! Но нет, я не могла, я летела, как мотылек к огню. Я насладилась всем земным, теперь я могу умереть... Нет, нет, что я говорю?! Я не хочу умирать! Кто же будет ходить за Анатолем? И сколько радостей ждет меня еще в будущности! Я увижу еще тебя в блеске, в славе, ты будешь министром, фельдмаршалом, я тебе пророчу это, и тогда-то, когда все будет греметь о твоих подвигах, когда ты пойдешь от торжества к торжеству, окруженный целым двором, при звуках литавр, когда ты будешь празднуемый победитель, герой, не знаю что,— не блаженство ли знать, что этот великий любит меня, простую девушку, что для того, чтоб провести со мной несколько часов, он много раз ходил пешком в метель, зимою, целые две версты...

Глаза князя горели, его властолюбивая душа упивалась этой картиною, столь близкою мечтам его и набросанной с такою детской наивностью.

— Но если середь торжества я тебя увижу не одного?..

— Как? Ты еще не оставила этой вздорной мысли!?

— Чему же дивиться? Тебе надобно же жениться, тебе императрица прикажет. Ну что ж, Мишель, лишь бы ты не любил ее. Пусть ей принадлежит твое имя, твой блеск, а мне — одна твоя любовь; тогда-то ты увидишь, как искренно и глубоко я люблю тебя. Я очень знаю, что я не могу быть твоей женой, мне это не нужно, лишь бы не отнимал ты любви своей! Да и поймет ли какая-нибудь фрейлина, бледное, безжизненное растение, принужденно выращенное в оранжерее, твою огненную душу?

— Ну, а если поймет?— сказал князь с каким-то сардоническим смехом.

— Тогда бог не оставит сироту, Анатоля.

Князь содрогнулся. Страшная мысль о ее смерти промелькнула снова, как призрак, перед его глазами.

— Мишель, возьми меня с собою! О, я буду счастлива там, где ты! Спрячь меня куда-нибудь в глухую улицу, только лишь бы не быть в разлуке. А здесь — ну что я буду делать? Я буду больна, буду грустить, а там мне будет весело.

— Нельзя, право, нельзя. Ты сама не просила бы этого, если б знала, какую жизнь должен я вести теперь, как всякий шаг мой будут выглядывать. Да, кстати, душа, я привез с собою одного приятеля: через него мы будем переписываться; к нему я имею полную доверенность, ему я поручил тебя и Анатоля. Позволь же его позвать — он ждет в гостиной.

— Да когда же ты едешь?

— Еще недели через две. Я хочу только, чтобы вы познакомились. Он чудак, но человек преблагородный, и надеюсь, что моя рекомендация,— прибавил князь шутливым тоном,— важнее, чем рекомендация всего рода человеческого.

— Где же он?— перебила Елена и бросилась к трюмо поправлять волосы.

Князь встал, накинул на Елену шаль и, отворив дверь, сказал громким голосом: «Иван Сергеевич, пожалуйте сюда». Иван Сергеевич взошел.

---

— Смотри, смотри невесту,— говорил молодой человек, толкая товарища.— Что за поэзия в ее взоре, что за небесное выражение в лице! И эта пышная легкая ткань, едва касаясь ее гибкого стана, делает из нее что-то воздушное, неземное, отталкивающее всякую нечистую мысль.

— C'est l'Hélène de Ménélas[1],— отвечал тот громко тогдашним языком.

— Боже, какой ангел достается князю!

— Ведь у него, матушка Ирина Васильевна, в Москве-то на даче живет немка ли, тальянка ли,— говорила старая старуха в нарядном чепце, с лицом, похожим на кофейник, своей соседке, которой лицо даже и на кофейник не было похоже, и говорила так громко, что князь, бледный, как полотно, обратился к шаферу и, сам не зная, что говорит, сказал: «Мне дурно».

— Немудрено, такое множество набилось в церковь, духота страшная,— отвечал шафер, лейб-гвардии Преображенского полка капитан, весь облитый золотом, тем решительным тоном, которым светский человек объясняет душевные волнения, а школьный ученый — явления природы, не понимая их внутреннего смысла.

---

В знакомом нам будуаре, на том же диване, где пламенная Елена сгорала в объятиях князя, лежала она в обмороке. Цвет лица ее был не бледен, а был как мрамор; изредка, минут через двадцать, захлебывалась она, так сказать, воздухом и потом опять оставалась бездыханна, как труп. У головы ее сидел знаменитый Фрез в напудренном парике, в шелковых чулках и башмаках с бриллиантовыми пряжками. В его глазах было больше, нежели мы ждем в глазах доктора. Он смотрел на нее беспрерывно, замечая малейшие изменения, иногда подносил к ее носу склянку нашатырного спирта, но, не видя никакого действия, пожимал плечами. Иван Сергеевич, исполняя, как от души честный человек, поручение князя, стоял тут же, то щупая, не простыл ли сельтерский кувшин, завернутый в салфетку и приложенный к ее ногам, чтоб согреть их, то прикладывая к ее голове полотенце, обмоченное в уксус и холодную воду. Грудь Елены была раскрыта, и горничная терла ее

[1] Это Елена Менелая (франц.).— *Ред.*

фланелью. Какое-то гробовое молчание царило в горнице, только издали доносился иногда слабый плач ребенка да однозвучный голос убаюкивавшей его няньки. Это было зимою, но день был ясен и тепел; солнце, усиленное снегом, ярко проникало зеленую занавесь, и вода журча капала с капителей на каменный балкон. Наконец, Фрез встал, вынул часы и сказал:

— Странно, очень странно; теперь второй час в исходе, а ей нисколько не лучше, а я приехал часов в девять. А когда это началось?

— Вчера в четверть десятого,— отвечал Иван Сергеевич,— и продолжалось всю ночь.

Фрез взял ее руку, которая лежала, как какая-нибудь вещь, как отрубленная ветвь, и, развязав повязку, сказал: «Посмотрите, четыре часа лежали синализмы*, и даже ни малейшего следа, а ведь уж тут просто химическое действие».

— Уж, знать, как сердце болит, так где помочь вашим латинским снадобьям,— бормотала горничная.

— Regardez l'ignorance du bas peuple[1], — сказал Фрез, обращаясь с улыбкою к Ивану Сергеевичу.— Et après cela faites leur accroire que nous ne sommes pas des charlatans[2],— впрочем, мне пора ехать. Проклятая даль этой дачи,— в семь часов я приеду. Вы, верно, подождете меня, Иван... Иван Степаныч,— прибавил он, взяв шляпу.

— Ведь вы-то, батюшка, русские,— сказала горничная, когда Иван Сергеевич, проводив доктора, возвратился в комнату.— Позвольте, я вспрысну барышню богоявленской водой: право, лучше будет, велика ее сила... Ах, Елена Павловна, василек, серпом подрезанный, не встать тебе, сердце говорит, не встать, родная! А душу б свою отдала за тебя. Ангел была во плоти, грубого слова не слыхали мы от нее. Бывало, день-деньской сидит себе, как павочка, с Антоном* Михалычем, и своею грудью кормила его.— «Не хочу, говорит, чтоб пил чужое молоко». Позвольте же вспрыснуть?

— Пожалуй,— сказал Иван Сергеевич,— хуже от этого быть не может.

[1] Вот невежество простонародья (франц.).— *Ред.*

[2] И после этого попробуйте убедить, что мы не шарлатаны (франц.).— *Ред.*

Горничная принесла скляночку с водой и бросилась на колени перед иконою богоматери; слезы катились из глаз ее, она молилась о ближнем. В эту минуту эта простая девка была высока! Не думайте, чтоб их грубые религиозные понятия препятствовали им молиться. Помолившись, она взяла в рот святой воды, три раза перекрестила больную и, глядя на нее с полным чувством веры, прыснула ей в лицо. Елена вздрогнула, вздохнула несколько раз сильно и раскрыла глаза, мутные и без всякого выражения, посмотрела с недоумением на Ивана Сергеевича; глупая, стоячая улыбка показалась на устах. «Пить»,— пробормотала она едва внятно. Ей подали мятной воды. Едва хлебнув, она отворотилась и сказала: «Ах, как мне спать хочется, так сон и клонит»,— и опять закрыла глаза. Но дыхание продолжалась, а лицо загорелось слабым румянцем.

Горничная в восторге целовала ее ноги и с детской радостью говорила: «Не сказывайте только этому немцу, а то ведь он же наругается над нашей святыней... Да вы еще и не кушали, Иван Сергеевич; ступайте, в той горнице я приготовила вам обед, а я побуду здесь».

Иван Сергеевич был душевно рад; камень свалился с плеч, он пошел в столовую и при первой ложке супа подумал: «Не забыла ли Устинья покормить Плутуса?»

---

### Письмо Ивана Сергеевича к князю

Сиятельнейший князь!

С искренним удовольствием спешу уведомить Ваше сиятельство, что здоровье Елены Павловны поправляется. Все убеждения мои остаться до совершенного выздоровления в Поречье были тщетны, она переехала на маленькую квартиру, которую наняла ее горничная на Садовой. Впрочем, может, это к лучшему: в Поречье все напоминало ей беспрестанно счастливую эпоху жизни, которую она утратила. Сколько я ни просил ее взять вещи, подаренные Вашим сиятельством или бывшие у ней в употреблении, она решительно отказалась. Взяла только бриллиантовый браслет с Вашим портретом, но на другой день возвратила бриллианты. Когда я намекнул о ломбардных билетах, она с гордостию спросила: «Знаете ли вы, кому платят за

любовь?», после чего я не заикался; время — великий доктор, Немцы говорят: «Kommt Zeit—kommt Rat»[1]. Квартира, нанятая ею, очень мала, но она именно такую и велела сыскать; денег у нее нет, и она хочет вышивать для продажи. Сколь это ни смешно, но, видя тут детский каприз и, сверх того, занятие, я взялся искать покупщиков. Горничная, которая была при ней, не хотела с ней расстаться, и я ей дал паспорт; через нее я предупреждаю все нужды Елены Павловны. Она, как ребенок, не знает ничего в хозяйственном отношении, однакож несколько раз спрашивала горничную, откуда деньги, и та уверила, что это ее собственные.

Досле о Вашем сиятельстве она не говорила ни слова. Сначала я замечал у нее заплаканные глаза, теперь она даже весела, только часто задумывается и, придя в себя, начинает смеяться над своею рассеянностью. Нрав у ней истинно ангельский: кротка, добра и в мелочах слушается меня, как отца. Жаль только, что не хочет лечиться; Фрез уверяет, что весенний воздух исправит все. Он не может более ездить, ибо она решительно отказалась его принимать, говоря, что у ней денег нет платить за визиты. Вчера я пил у ней чай, она шутила и, наконец, сказала мне: «Посмотрите мое маленькое хозяйство,— чем я не невеста? Признайтесь, Иван Сергеевич, нет ли вам поручения искать мне жениха?» Я отвечал, что нет, но что само собою разумеется, что с ее достоинством, в ее летах можно надеяться сделать партию хорошую. «Я не прочь,— сказала она,— только не забудьте в рядную написать Анатоля», — и расхохоталась. Но я думаю, со временем увидит, что в самом деле не худо позаботиться о замужестве, лишь бы здоровье совсем поправилось. Впрочем, я надеюсь, что это будет скоро. Теперь осталось только по временам кровохарканье; Фрез говорит, что это следствие сильного нервного потрясения и обмороков, беспрерывно продолжавшихся две недели.

Не премину и впредь извещать Ваше сиятельство о всех подробностях относительно Елены Павловны. При сем вы получите на особом листе подробный счет израсходованных мною денег, как на заплату доктору, в аптеку, так и на другие издержки.

[1] Придет время — покажет, как быть (нем.).— *Ред.*

С истинным уважением и таковою же преданностию честь имею пребыть Вашего сиятельства покорнейший слуга

*Ив. Тильков.*

Москва.
1792 года, марта 1-го.

---

Апрель месяц оканчивался, а Святая неделя начиналась. Улицы московские, тогда еще не мощеные, представляли непроходимую грязь. Вода бежала потоками, мутная, черная, но все было весело. Колокола примешивали в сырой воздух какую-то торжественность; множество карет цугом неслось взад и вперед, и множество шей, переплетенных в шитые воротники, выглядывало из них. Толпы народа в праздничных кафтанах, с истинным удовольствием на лице, шли по колена в грязи под качели. Дворовые люди стояли у ворот, грызли орехи и играли на балалайке; старички и старушки возвращались домой от обедни с просвирою в руках, с молитвою в сердце. Кто знает, что такое в Москве Святая неделя, тот легко представит себе эту картину. Это один праздник, который мы умеем праздновать народно, весело, в котором участвуют все — бедный покрывает свои лохмотья, работник забывает свои мозоли и душную мастерскую, крестьянин отгоняет мысли об оброке, недоимке и бурмистре. В эту неделю все дышит праздником, весною, счастьем.

В это время у Арбатских ворот какой-то человек в довольно поношенном сюртуке на вате, с бобровым воротником, и с палкою из сахарного тростника в руках пробирался с камня на камень от церкви Бориса и Глеба к дому графа Апраксина. Он было совершенно счастливо кончил полдороги, как вдруг с Воздвиженки выехала карета, запряженная четырьмя худыми лошадьми. Прохожий был так близко к ней, что грязь с заднего колеса обрызгала его с головы до ног, и в то же время голова в напудренном парике выставилась в окошко и закричала: «Стой, стой! Ах, Иван Степаныч, извините, что моя карета так неучтива, да и вы немножко неосторожны. Скажите, пожалуйста, какая жалость! Вы не поверите, я уже тридцать два года доктор, и на моих руках и при мне умерло несколько сот людей, я окреп, но вчерашняя сцена расстроила меня до невозможности».

— Да,—сказал Иван Сергеевич, вздохнувши.

— Бедная,— продолжал Фрез,— и последнее слово было его имя и молитва о нем. Досадно, что она не хотела лечиться порядком, а пуще всего, не принимала капель, которые я прописал,— действие их несомненно. Вот как дорого платят за капризы. Всю ночь ее агония была у меня перед глазами. Жаль, очень жаль — l'homme est une machine à vivre, et quand le moteur s'abime, la machine se casse[1]. Я, право, полюбил ее от души, а убийца ее, чай, преспокойно ездит с визитами. Mécréant![2] Скажите, когда вынос и отпевание?

— Завтра в девять часов, в приходе Спиридония.

— Приеду непременно. Прощайте. Да, à propos[3], говорят, этот князь поручил вам Анатоля; пожалуйста, когда нужно, присылайте за мною, я для этого ребенка готов все сделать,— вот видите ли, и у доктора есть иногда душа,— прибавил он с улыбкой добродушия.

— Что и говорить, Карл Федорович, ужасный случай, я сам после смерти матушки вчера в первый раз плакал. Дай бог ей царствие небесное!

— Если оно есть,— прибавил доктор с улыбкою, выдерживая роль материалиста.

---

Между тем князь утопал в море наслаждений. Чего ему недоставало? Дома — пламенная любовь жены, а вне — осуществление всех самолюбивых мечтаний. Однажды он воротился из дворца веселее обыкновенного: в этот вечер императрица осыпала его милостями. Камердинер взошел раздевать его.

— Что княгиня?— спросил он.

— Почивает.

Он разделся, взял сигару (большая редкость в те времена), закурил и сел перед столом. На столе лежало письмо.

— Откуда?— спросил он.

— С почты,— сказал камердинер.

Князь распечатал его, оно очень коротко: «С истинным и ду-

---

[1] человек — машина, предназначенная для жизни, и когда портится двигатель, машина перестает работать (франц.).— *Ред.*

[2] Безбожник! (франц.).— *Ред.*

[3] кстати (франц.).— *Ред.*

шевным соболезнованием известить должен я Ваше сиятельство, что Елена Павловна скончалась в ночь на сегодняшний день в два часа с четвертью. Часа за три до смерти она попросила бумаги и перо, хотела писать Вашему сиятельству, но, написавши несколько строк, она бросила и сказала: „Он не станет читать". Потом впала в забытье, минутами приходила в себя, но и тут речь ее была несвязна. Ваш портрет требовала беспрестанно. „Кончено,—сказала она наконец,— мне легче: пусть он не знает моих страданий. Бог простит меня. Видите— свет и музыка". Тут улыбка показалась на охолодевших устах — и ее не стало. Подробности следующий раз, боюсь опоздать на почту».

В письмо была вложена записочка, измятая судорожными движениями и облитая слезами. В ней не было никакого смысла и почти нельзя было прочесть — так слаба была рука писавшая: «Mes tourments finissent... Merci, grand Dieu!.. Oh, que je t'aime, mon ange... Hâte-toi de venir[1], а то опоздаешь, я умру, скоро умру... Qu'il est beau... elle...»[2]

Знаете ли вы то чувство, когда человек очнется после обморока? Он видит, что все знакомое, но точно будто в первый раз, двух мыслей связать нельзя, удивительная тупость в голове; человек делается меньше, чем скот,— растение. Точно то же сделалось в душе князя. Он не был порочен, вся вина — необузданность, к которой он привык с молодых лет. С начала письма вся кровь бросилась ему в сердце и в голову, и он дрожал от холода, рука не могла держать сигары, она выпала; язык высох, лицо посинело, но он читал, прочел все, положил письмо, посмотрел около себя, на стены. Портрет его отца встретился глазам, ему очень хотелось знать, чей это портрет; потер себе лоб, но не мог сообразить. Потом инстинктуально вспомнил о сигаре, спросил камердинера, где она; тот подал ему, он начал расщипывать ее и положил на стол. Потом он посмотрел на камердинера, тот не мог вынести его взора и задрожал. «Воды!»— сказал князь совсем не своим голосом. Он выпил два стакана, неверными шагами дошел до дивана и бросился на него. Тут немного пояснее стало у него в голове и гораздо мрачнее на душе.

[1] Моим мучениям приходит конец... Благодарю, боже!.. О, как я люблю тебя, ангел мой... Приезжай скорее (франц.).— *Ред.*

[2] Как он прекрасен... она... (франц.).— *Ред.*

— Я буду спать здесь,— сказал он слуге.

Слуга взял свечи, поклонился и пошел.

— Оставь свечи и убирайся к чорту! — закричал князь.

Камердинер вышел в лакейскую и, встретив там дворецкого, сказал ему шопотом: «Ну уж, Спиридон Федорыч, как наш князь нарезался сегодня — зюзя зюзей! Не смеет жене носу показать; там улегся в угольной на диване — болен, дескать. Сначала с воздуха-то незаметно было, а как теплом-то его обдало, так еле на ногах стоит».

— Это они не пьяницы,— сказал дворецкий.— Мы, вишь, пьем одни. Пойдем-ка с горя в буфет.

И пошли.

Князь взглянул на часы — четверть третьего. Ему сделалось холодно, как на морозе без шубы. Но он решительно ни о чем не думал, душа его была оглушена, а по телу лился яд, хуже синильной кислоты, и тело разлагалось. Часы пробили три. Вдруг тихо, тихо отворяется дверь. На свечах очень нагорело. Князь всматривается... Елена, живая, веселая, как в первый день свиданья; она бросается на колени, шепчет «прости». «Так это все вздор!»—сказал князь и бросился к ней. Она склонила голову на его плечо; князь взял ее руку — и рука осталась у него. Он содрогнулся, хотел поцеловать ее и поцеловал ряд зубов мертвой головы; нижняя челюсть щелкала с улыбкой, куски мяса висели на щеках, длинные волосы едва держались на черепе. Князь отскочил, и голова, склоненная на его плечо, ударилась об пол и покатилась. Дыханье замерло в груди князя. «Помилуй, что с тобой?— шептала ему Елена.— Ты как будто боишься меня, зачем отталкиваешь? Ведь я — твое создание; неужели и одной минуты для меня больше нет?» Князь хотел снова подвинуться к ней, но между ним и ею стоял карлик, такой отвратительный, желтый, с небритой бородою. Этот карлик помирал со смеху и лаял, как собака. Князь хотел оттолкнуть его ногой. Карлик схватил его за ногу зубами, и тут только он разглядел, что это не карлик, а рыба. Князь побежал в комнату жены. Она покоилась, тихая, небесная, с молитвой на устах. Князь разбудил ее, она взяла его руку, хотела поцеловать и спросила: «Что это от твоих рук так пахнет покойником?» — «Я сейчас снимал со свечи,— сказал

князь,— и мне пить хочется». — «Я принесу» —сказал карлик. Князь схватил саблю. Карлик захохотал и вспрыгнул на постель. Князь ударил что есть силы. Удар этот отделил голову жены, карлик захохотал еще громче, схватил череп и подал его князю, говоря: «Trinken Sie, mein Herr»[1]. Князь взял череп и начал пить теплую кровь — руки его дрожали, он облился... Больше его фантазия не могла действовать; он раскрыл глаза мутные, свечи потухли, день занимался. Говорят, дневной свет придает чудную храбрость, это правда. Но и то правда, что, когда настанет день, все совершенное во мраке увидится яснее. Виски бились у несчастного, голова была в огне, а сам он дрожал от холода. И вот прошедшее явилось теперь перед ним требовать отчета, звать на страшный суд; это — jury[2] нашей совести, и jury без ошибки. Теперь не спазматическим сном, а на самом деле повторял он историю своего убийства, и горько, очень горько было ему.

---

Все ужаснейшие муки угрызающей совести терзали душу князя. Вид его сделался страшен. Он заперся у себя дома, не брил бороды; признаки сумасшествия начали показываться и в словах и во взоре. Все старания, вся необъятная любовь жены ничего не производили.

— Нет, этого пятна,— повторял он,— любовь не в силах снять. Это может один бог, но я первый назвал бы его несправедливым, если б он стер его. И я не мог оправдаться перед нею, и она унесла с собою в могилу мнение обо мне как о трусе, злодее, который боится собственных злодеяний.

И, что хуже всего, при этом он так зверски хохотал, что кровь стыла в жилах жены и она трепетала и мучилась, видя его страдания.

Если человек, сильно пораженный несчастием, вместо слез, захохочет, его погибель верна — тут уже нет спасенья: душа, согласившаяся в такую минуту сделать совершенно противоположное естественному порядку, сломана. Тут, по словам

---

[1] Выпейте, сударь (нем.).— *Ред.*

[2] суд присяжных (франц.).— *Ред.*

князя, один бог может поправить, а ни время, ни земные средства. Этим смехом человек передает свою жизнь, и еще более — свою вечность духам темноты и злобы. Так и случилось; его мрачная меланхолия приняла какую-то ровную, одинакую форму, гамлетовский смех надо всем — какую-то свирепость; слова его были ужасны: какие-то стансы из адской поэмы, писанной желчью на коже, содранной с живого человека. Служить он не хотел, и нельзя было; императрица жалела о нем и удваивала свое внимание, воображая, что прошедшая немилость привела его в это положение. И это внимание усиливало еще более его мучения. Когда человек сознает себя преступным, справедливо наказанным, и притом человек этот горд и самолюбив, ничего не может быть ужаснее этого сострадания и этой уверенности других, что он не виноват.

Княгиня увезла его в Москву... Он стал несколько спокойнее, но не поправлялся; седые волосы показались на этой голове, через которую не прошло еще и тридцати зим. Прелестная рука его сделалась угловата, щеки ввалились, одни глаза блистали каким-то диким огнем. Он почти совсем не спал. Всю ночь дом был освещен, и он ходил из комнаты в комнату. Но жена его не тяготилась своею судьбою,— нет, она любила его, как в день свадьбы, еще более; его несчастия расширили, удвоили любовь. Она не отходила от него ни на минуту, где могла, вливала слово утешения, чаще всего молилась и несла свой крест со смирением христианина. Она думала, что ее страдания выкупят его преступление.

Однажды князь, просидев несколько часов неподвижно на самых тех креслах, на которых сидел, когда был у него Иван Сергеевич, не обращая ни малейшего внимания на княгиню, которая со слезами на ресницах не спускала с него взора, закрыл глаза, и голова его склонилась на грудь. Княгиня встала, подошла к нему, чтоб удостовериться, спит ли он, поцеловала его, поцеловала его руку и на цыпочках вышла вон. Князь не слыхал.

---

Одиноко, пустынно Новодевичьему монастырю. С одной стороны поле с бледнозеленой, едва растущей травой от нечистого

дыханья города; с другой — болото Лужники. Там часы бьют каждую минуту, устроенные несчастной царицей для того, чтобы погребальный звук их напоминал ей беспрерывно утрату счастия и приближение смерти. Там чистые девы, испуганные миром, прячутся от него за богоматерь и молятся. Там девы падшие повергаются с раскаянием, со слезою перед богоматерью и молятся. Там старухи приносят богоматери свое изнуренное тело, последнюю мысль и последнее чувство на земле и молятся. Там множество надгробных памятников придавливает к земле телесную часть человека и молится о душевной, там колокольня посылает молитву на небо, там все молится.

К этому монастырю подъехала пышная карета, запряженная шестью воронымн лошадьми с атласной шерстью. Два лакея, в полугусарском, полушутовском наряде и какой-то мамонтовской величины, соскочили с запяток и отворили дверцы кареты. Сперва вышла дама очень молодая, очень стройная, очень бледная, вся в белом; за нею — Иван Сергеевич в глазетовом камзоле, что надевал в Успенье. Дама, едва опираясь на его руку, взошла в ограду монастыря и сказала ему: «Ведите». Иван Сергеевич провел ее к какой-то могиле и снял шляпу. Дама отколола букет цветов от своей груди и бросила их на холодную землю.

— Спи мирно,— сказала она,— цветок, бурею сорванный и молнией сожженный. Твоя душа много страдала, покойся же теперь. О, я любила тебя, любила за твою пламенную любовь к нему; наши души сочувствовали, они были одинаковы, родные. Я желала видеть тебя, я хотела быть твоим другом, но приняла ли бы ты мою дружбу, и смела ли бы я, счастливая, протянуть руку тебе, несчастной? Елена, я не похитила его у тебя; он был мой, когда буря жизни бросила тебя в его огненное существование; наши души — одно неразрывное, может, до рождения. Зачем именно ему предалась ты?.. Нет, нет! Ты права, Елена! Кому ж другому могла бы ты отдать такую душу, как не его душе — обширной, глубокой, океану? Ты потонула в этом океане, но ты испытала счастие, и за минуту блаженства разве нельзя отдать дни свои? Покойся же, *там* мы увидимся, там нет раздела, там все — любовь, там я и ты свободно будем любить его.

Тут она склонила колена и подняла молящий взор к небу: слезы катились с ланит ее.

— Елена, мира пришла я просить у тебя. Может, ты ненавидела меня — помиримся же теперь... И его прости, он мучится, страдает, он несчастен в моих объятиях, и я не смею, не примирясь с тобою, утешать его. Его страдания принадлежат тебе, боюсь лишить тебя и их. Но ты любила его, любишь, жизнь твоя там лучше прежней, пошли же ему утешение. Будем вместе молиться о нем!..

В это время молоденькая клирошанка отворила окно в церкви, и стройный хор женских голосов слабо и невещественно донесся до могилы. Небольшое облако, покрывавшее солнце, рассеялось. Это было 15 июля, в вечерни.

———

Князь проснулся. В нем произошла какая-то перемена. Он почувствовал опять силу и здоровье, вспомнил о своих делах, позвонил, велел камердинеру подать мундир, оделся, приказал заложить коляску, потом поспешно схватил лист бумаги и написал:

«Всеподданнейший доклад о преобразовании судопроизводства.

Судопроизводство в обширном смысле слова есть та часть религии, которая обнимает в гражданском быту все отрасли архитектуры и епархиального управления.

§ 1. Садоводство распадается на две части: на Министерство Юстиции и на Технологический институт. Учреждение Министерства необходимо, но министром должен быть музыкант и князь. Коллегиальное начало вредно для постройки зданий, но полезно для мостов...»

Он еще писал, когда вошла княгиня. С видом величайшей важности князь указал ей стул и прибавил:

— Я о вашем деле говорил с графом, но извините, мне нет секунды свободной...

Как холодной водой обдало княгиню. Она все поняла! Бедная, несчастная!.. Она хотела броситься к нему на шею, он оттолкнул ее.

— Ну, так, сударыня, я знал, что вы подосланы от Козодавлева и Вязмитинова!

———

Это было 15 июля, после вечерень.

<1836—1838 гг.>

## ‹О СЕБЕ›

Раз, в последних числах мая 1833 года, в нижнем этаже большого дома на Никитской* сильно бушевала молодежь. Оргия была в полном разгаре, во всем блеске. Вино, как паяльная трубка, раздувало в длинную струю пламени воображение. Идеи, анекдоты, лирические восторги, карикатуры крутились, вертелись в быстром вальсе, неслись сумасшедшим галопом. Все стояли на демаркационной линии, отделяющей трезвого человека от пьяного; никто не переступал ее. Все шумели, разговаривали, смеялись, курили, пили, все безотчетно отозвались настоящему, все истинно веселились. Лучший стенограф не записал бы ни единого слова.

Среди вакханалии бывает торжественная минута усталн и тишины; она умолкает для того, чтобы бурей и ураганом явиться по ту сторону демаркационной линии. Вот эта-то минута и настала.

Огромная чаша пылала бледнолазоревым огнем, придавая юношам вид заклинателей. Клико подливало силу в жженку и кровь в щеки молодых людей. Шумная масса разбилась на части и расположилась па биваках.

Вот высокий молодой человек с лицом последнего могикана; он сел на маленький стол (парки тотчас же подломили ножки жизни этого стола); стенторский голос* его, как Нил при втечении в Средиземное море, далеко вдается в общий гул, не потеряв своей самобытности. Это — упсальский барон, он живет в двух шагах от природы, в Преображенском. Там у него есть сад и домик, у которого дверь не имеет замка.

В этом доме барон прячется и вдруг, как минотавр или татары, набегает на Москву, неотразимый и нежданный, обирает

книги и тетради и исчезает. Он похож и на bonhomme Patience[1]* Жорж Санда, и на самого Карла Занда, ежели хотите, а всего более на террориста. Он как-то гильотинно умеет двигать бровями. Барон начал свою жизнь переводами Шиллера и кончил переводом на жизнь одного из лиц, которые Шиллер так любил набрасывать, в которых нет ни одного эгоистического желания, ни одной черной мысли, но которых сердце бьется для всего человечества и для всего благородного, и которые никогда не выйдут из своей односторонности, как exempli gratia[2] Менцель. Он с четвероногой трибуны что-то повествует, с наивной мимикой обеих рук и, по очереди, одной ноги. Два неустрашимые человека подвергают жизнь свою опасности, слушая барона в атмосфере его декламации, беспрерывно рассекаемой рукою и ногою и молнией зажженной сигары. У вас, может, слабы нервы,— отвернитесь от этой картины.

Видите ли у камина худощавого молодого человека, белокурого, несколько бледного, в вицмундирной форме, с неумолимой речью — это магистр математического отделения, представитель материализма XVIII века, столько же неподвижный на своем коньке, как и барон на своем. Он держит за пуговицу молодого человека с опухшими глазами и выразительным лицом. Магистр в коротких словах продолжает спор, начавшийся у них года за два, о Бэконе и эмпирии. Молодой человек, прикованный к этому Кавказу, испещренному зодиаками*,— одно из тех эксцентрических существований, которые были бы исполнены веры, если бы их век имел верования; неспокойный демон, обитающий в их душе, ломает их и сильно клеймит печатью оригинальности. Он больше образами, яркими сравнениями отражал магистра.

— Направление, которое начинает проявляться,— говорил он,— вспять не пойдет, материализм сделал свое и умер. Вандомская колонна — его надгробный памятник*. Германские идеи, проникающие во Францию...

Магистр не слушал студента, даже закрывал глаза, чтобы и не видать его, и продолжал со всем хладнокровием матема-

---

[1] дядюшку Пасьянса (франц.).— *Ред.*

[2] например (лат.). — *Ред.*

тика, читающего лекцию о мнимых корнях, и со всею ясностию геометрического анализа употребляя один, законом определенные, формы доказательства — a contrario, per inductionem, a principio causae sufficientis[1].

— Итак, приняв это положение, следует вопрос — которое состояние наук выше, которое дало более приложений и принесло положительнее пользу? Разрешив его, мы естественно перейдем к главному вопросу, от которого зависит окончательное решение всего спора...

С тех пор магистр окончил нивелирование Каспийского моря, студент объехал пол-Европы*, а спор еще не кончился, и, сами видите, остался только один вопрос.

Вот два молодых человека, обнявшись, прогуливаются по комнате. Один с длинными волосами и прелестным лицом à la Schiller и прихрамывающий à la Баугон; другой с прекрасными, задумчивыми глазами, с несколько театральными манерами à la Мочалов и с очками à la Каченовский; это — Ritter aus Tambow[2] и кандидат этико-политический, очерчивающий Россию. Ritter, юный страдалец, принес в жизнь нежную, чувствительную душу, но не принес ни твердой воли, которая защищает от грубых рук толпы, ни твердого тела. Болезненный, бледный — он похож на оранжерейное растение, воспитанное в комнатах и забытое небрежным садовником на стуже московских летних ночей. Он может чище всех своих товарищей служить изящным типом юноши. С какой любовью, с какой симпатией он приютился к ним дичком! Его фантазия была направлена на ложную мысль бегства от земли. Резигнация[3] составляла его поэзию. Такое направление развивается именно в больном, слабом теле,— конечно, ложное, но имеющее свою беспредельно увлекательную сторону.

Кандидат этико-политический жаждет общеполезной деятельности и славы. Он готов на самопожертвования без границ и грустно говорит юноше, что ему надобна кафедра в университете и слава в мире. Юноша ему верит, сочувствует и

[1] от противного, помощью наведения, по принципу достаточного основания (лат.).— *Ред.*

[2] рыцарь из Тамбова (нем.).— *Ред.*

[3] покорность судьбе, от résignation (франц.).— *Ред.*

готов плакать. Вот они остановились перед черпалом полюбоваться пылающей жженкой.

В самом фокусе оргии, т. е. у пылающей жженки, также интересная группа. Молодой человек в сером халате, на диване, задумчиво мешает горящее море и задумчиво всматривается в фантастические узоры огня, сливающиеся с ложки. Против него за столом, без сюртука, без галстука, с обнаженною грудью, сложивши руки à la Napoléon, с сигарою в зубах, сидит худощавый юноша с выразительным, умным взором.

— Помнишь ли,— говорит молодой человек в халате,— как мы детьми встречали новый год тайком, украдкой; как тогда мечтали о будущем? Ну, вот оно и пришло, и пустота в груди не наполняется, и не принесло оно той жизни, которой требовала душа. На Воробьевых горах она ничего не требовала и была довольна.

Они взглянули друг на друга.

— Пора окончить этот фазис жизни, шум начинает надоедать; меня манит другая жизнь, жизнь более поэтическая.

— Пора, согласен и я; но забудемся еще сегодня, забудемся — прочь мрачные мысли.

Юноша в халате напенил стакан и, улыбаясь, сказал:

— За здоровье заходящего солнца на Воробьевых горах!

— Которое было восходящим солнцем нашей жизни,— добавил юноша без сюртука.

Оба замолчали, что-то хорошее пробежало по их лицам.

Вдруг юноша без сюртука вскочил на стул и звонким голосом закричал:

— Messieurs et mylords! Je demande la parole, je demande la clôture de vos discussions. Une grande motion... silence aux interrupteurs. Monsieur le président, couvrez-vous[1].

И нахлобучил какую-то шапку на голову своему соседу. Несколько голов обратилось к оратору.

— Mylords et lords! Le punch cardinal*, tel que le cardinal Mezzofanti, qui connait toutes les langues existantes et qui n'ont jamais existé, n'a jamais goûté; le punch cardinal est

[1] Милостивые государи и милорды! Прошу слова, прошу закрыть прения. Важное предложение... не перебивать. Господин председатель, наденьте шляпу (франц.).— *Ред.*

à vos ordres. Hommes illustres par vos lumières, connaissez que Schiller, décrété citoyen de la république une et indivisible*... a dit, il me semble, en parlant des prisonniers lors du siège d'Ancône* par les troupes du roi-citoyen Louis-Philippe...

Eh'es verdüftet,
Schöpfet es schnell.
Nur wenn er glühet
Labet der Quell*.

Je propose donc de nous mettre à l'instant même dans la possibilité de vérifier les proverbes du citoyen Schiller,— à vos verres, citoyens![1]

Все с хохотом подходили к столу. Оратор спокойно разливал в стаканы пунш.

— Магистр, скажи, пожалуйста,— кричал он,— не изобрел ли Деви новых металлических стенок для того, чтобы не жглись губы?

— Гумфри Деви умер,— отвечал магистр, весь занятый своим спором.

— И, я думаю, рад от души,— продолжал оратор,— что наконец химически разложился и на себе может испытывать соединение и разложение.

— Господа, господа, разойдитесь, барон идет со стаканом, а это страшнее, чем встретиться с локомотивом.

В самом деле, благоразумные люди отодвигались. Оратор продолжал шуметь, никто его не слушал... Стаканы еще раз наполнились.

Демаркационная линия была пройдена. Господа хотели продолжать свои разговоры; суетное желание удалось одному

---

[1] Милорды и лорды! Пунш-кардинал, такой, какого не пробовал и кардинал Мецдофанти, знающий все языки, как существующие, так и никогда не существовавшие; пунш-кардинал в вашем распоряжении. Мужи, прославленные своей просвещенностью, знайте, что Шиллер, провозглашенный гражданином единой и неделимой республики, сказал — кажется, по поводу пленных, взятых при осаде Анконы войсками короля-гражданина Луи-Филиппа: «Пока она ‹жизнь› не улетучилась, черпайте ее быстрей. Источник приносит отраду, только пока он горяч». Итак, предлагаю немедленно приступить к проверке изречений гражданина Шиллера,— к стаканам, граждане! (франц. и нем.).— *Ред.*

юноше без сюртука, потому что он разом говорил со всеми и обо всем. Барон чистил трубку кому-то в шляпу и говорил «ты» магистру. На магистра жженка сделала ужасное действие, в голове у него все завертелось и перекувыркнулось, он не забывал свой спор и продолжал, держа на этот раз пуговицу барона:

— Следовательно, ежели в тот век в одно время дифференциальные исчисления изобрели Лейбница и Невтона...

Он, как бы сам чувствуя нелепость, потер себе лоб.

— Да, да, именно, когда Коперник изобрел движение земли, а Уатт — паровые машины, и сир Флуни — машины чинить перья,— кричал оратор.

— Помню, помню Флуни,— повторил магистр и хотел было произнесть еще какую-то букву, но не мог ни повернуть языка, ни упросить это слово, чтобы оно вышло.

— О чем спор?— спрашивал тут же бывший водевилист.

— Магистр,— шептал ему оратор,— доказывает, что Каратыгин гораздо лучше играл роль Отелло, нежели Мочалов.

А водевилист, бешеный поклонник Мочалова, бросился, как лютый зверь, на магистра и кричал ему на ухо:

— У Мочалова есть душа, а у Каратыгина все подделка; да просто взгляните на его лицо, какая натянутость, неестественность.

— Правда, правда,— кричал оратор,— у живого Каратыгина вид ненатуральный, то ли дело статуи Торвальдсена, вот какие лица должны быть в XIX веке.

И сам водевилист захохотал.

В это время барон, желая подвинуться к столу, выломал ручку у кресел и ножку у стола; две тарелки и стакан легли костьми при этом членовредительстве: «мертвии сраму не имут». Барон не потерялся, начал доказывать, что это не его вина, а вина непрочности мебели, для объяснения чего изломал еще кресло и этажерку и был очень доволен, что оправдался.

Подали сыру, единственный съестной припас, который важивался у Ника. Сыр — великая вещь на оргии: от него делается жажда. В одно мгновение ока плачущее, рябое дитя Швейцарии исчезло.

— Прежде нежели мы совсем пьяны, вот вам предложение,— сказал Ник,— кто хочет на целый день villeggiare[1], подышать чистым воздухом, побыть не в Москве, а на воле хоть день?

— Превосходная мысль,— подхватил Ritter.

— В Архангельское,— прибавил студент,— у меня там есть квартира.

— Все же это не имеет основания,— сказал магистр, услыхавши голос студента.

— В Архангельское,— повторило несколько голосов.

— Давай шампанского,— кричал оратор, у которого вино, казалось, испаряется с словами.— Надобно выпить за здоровье прекрасной мысли и прекрасного определения ее.

Пробки хлопали, шампанское лилось вон из бутылок и исчезало. Дым табачный сгущался.

Кто-то запел:

Ah! vers une rive*
Où sans peine on vive,
Qui m'aime me suive!
Voyageons gaîment!
Ivre de champagne
Je bats la campagne
Et vois de Cocagne
Le pays charmant[2].

Все подхватили:

Terre chérie,
Sois ma patrie,
Qu'ici je ris
Du sort inconstant[3].

— За здоровье друзей!— провозгласил оратор, пуская отчаянной параболой по воздуху пробку, и в одно мгновение выпитые стаканы рассыпались черепками по полу. Все вскочило, перемешалось, сбилось, зашумело вдвое. Кто целуется, кто вздыхает, кто подымает с полу кусочек сыру. Всем кажется

[1] отдаться сельской жизни (итал.).— *Ред.*

[2] Ах! Кто меня любит, пусть следует за мной к тем берегам, где живут без печали. Весело пустимся в путь. Опьяненный шампанским, я странствую и вижу Кокань, очаровательную страну блаженства франц.).— *Ред.*

[3] Любимая земля, будь моей родиной, где я могу посмеяться над непостоянной судьбой (франц.).— *Ред.*

чрезвычайно весело. Барон уродует в своих объятиях всех встречающихся и подмещается к этико-политическому кандидату, который сидит у раскрытого окна, рыдает и, как Дон-Карлос и Юлий Цезарь, приговаривает: «Двадцать четыре года, и ничего не совершил для человечества, для вечности!» В отчаянии сильной рукою он ударил по стоящему перед ним стакану и раздробил его. Стекла врезались в руку, кровь полилась. Барон как бы протрезвился, схватил руку кандидата, стал вынимать стекла, мочить водою и завязывать платком.

— Что рука,— говорит кандидат, заливаясь слезами,— прах, тлен! Дух — вот жизнь! Хочешь, выброшусь за окно?

— Лучше выйдем в дверь и влезем в окно,— предлагает барон.

Магистр сердится, что заперта дверь, пробуя отворить зеркало в камине, а дверь — с противоположной стороны. Магистр прав, надобно освежиться, выйдем на воздух, голова кружится. Видно, и я выпил лишнее.

Bon!
La farira dondaine
Gai!
La farira dondé[1].

На другой день рано утром, т. е. часа три после того, как оратор с магистром вышли на чистый воздух, la bande joyeuse[2] уже хлопотала и распоряжалась об отъезде. Оратор встал раньше прочих, будил всех и каждого. Спальня представляла удивительное зрелище. Длинный турецкий диван был завален людьми, многие уснули в той позе, в какой допили последнюю каплю. Барон, завернувшись в непромокаемую шинель, с сигарою во рту, грозно и величественно видел что-то во сне. Сон его был беспокоен, и время от времени он пихал ногою в голову водевилиста, который на другой день удивлялся странному сну: ему казалось, что он был в театре и что, как только выходит Мочалов, свод Петра и Павла падает ему на голову.

---

[1] Хорошо! Весело! (франц.). Остальная часть этого припева состоит из слов, лишенных определенного значения.— *Ред.*

[2] веселая ватага (франц.).— *Ред.*

Ritter прижался к уголку, скатавши в шарик тоненькое тело свое, в том роде, как спят комнатные собачки. Юноша в халате, который был дома, заметьте, положил себе под голову латинский лексикон и покойно лежал, накрывшись ковром со стола.

Солнце светило ясно, день готовился чудесный, голова была свежа: «Благородное шампанское не оставляет горьких упреков на утро»,— говорили они потом. Все необходимые распоряжения были тотчас взяты. Послали за вином, послали за лошадьми, послали за паштетом и за сигарами. Две коляски находились в наличности. Ник, студент, водевилист etc. отправились вперед. Оратор с Ritter'ом после. Они выехали часов в девять из Москвы. Великолепно светило солнце, природа на каждой точке дышала жизнью и негою; на душе не было забот. Юноши мечтали, поэтизировали всю дорогу; душа Ritter'а, немного элегическая, испарялась в заунывных звуках и детских фантазиях. Они были как-то на месте с летавшими бабочками, с зеленевшей травой, между которою подымались звездочки Иванова цветка и фонарики цикория. Ritter'у было восемнадцать лет. Часа через два коляска остановилась перед прекрасным домом князя Юсупова. Я до сих пор люблю Архангельское. Посмотрите, как мил этот маленький клочок земли от Москвы-реки до дороги. Здесь человек встретился с природой под другим условием, нежели обыкновенно. Он от нее потребовал одного удовольствия, одной красоты и забыл пользу; он потребовал от нее одной перемены декорации для того, чтобы отпечатать дух свой, придать естественной красоте красоту художественную, очеловечить ее на ее пространных страницах: словом, из леса сделать парк, из рощицы — сад. Еще больше — гордый аристократ собрал тут растения со всех частей света и заставил их утешать себя на севере; собрал изящнейшие произведения живописи и ваяния и поставил их рядом с природою как вопрос: кто из них лучше? Но здесь уже самая природа не соперничает с ними, изменилась, расчистилась в арену для духа человеческого, который, как прежние германские императоры, признает только те власти неприкосновенными, которые уничтожались в нем и им уже восстановлены как вассалы.

Бывали ли вы в Архангельском? Ежели нет — поезжайте, а то оно, пожалуй, превратится или в фильятурную[1] фабрику, или не знаю во что, но превратится из прекрасного цветка. в огородное растение.

Они тотчас отыскали Ника с товарищами и отправились сначала в дом.

Террорист Давид приветствовал их атлетическими формами, которые он думал возродить в республике единой и нераздельной 93-го года вместе с спартанскими нравами, о привитии которых хлопотал Сен-Жюст; а за ними открылся длинный ряд изящных произведений.

Глаза разбежались, изящные образы окружали со всех сторон. Уныние сменялось смехом, святое семейство — нидерландской таверной, дева радости — вернетовским видом моря. Пышный Гвидо Рени — князь Юсупов в живописи — роскошно бросает и краски, и формы, и украшения, чтобы прикрыть подчас бедность мысли, и суровые Фан-Дейка портреты, глубоко оживленные внутренним огнем, с заклейменной думой на челе, и дивная группа Амура и Психеи Кановы — все это вместе оставило им воспоминание смутное, в котором едва вырезываются отдельные картины, оставшиеся, бог знает почему, также в памяти. Помнился, например, портрет молодого князя: князь верхом, в татарском платье; помнился портрет дочери m-me Lebrun. Она стыдливо закрывает полуребячью грудь и смотрит тем розовым взглядом девушки, который уже немного поцелуй, который уже волнует ее душу, чистую, как капля росы на розовом листке, и огненную, как золотое ая. Не раз, быть может, старый князь останавливался перед ней, желая отодрать ее от полотна, восстановить растянутые в одну плоскость формы, согреть их, оживить и прижать к своему сердцу татарина.

Им некогда было разбирать все отдельно, да, вероятно, это и невозможно: всякую галерею надобно изучить в одиночестве и притом рассматривание ее распространить на много и много дней. Довольные восторженностью, чистотою, в какое их привело созерцание изящного, они высыпали в сад, мимо

[1] прядильную — от filature (франц.). — *Ред.*

мощных воинов из желтого мрамора, мимо гладиаторов, в тень аллей. День был южно палящий жаром, все ликовало, жужжа летали пчелы, тонко перетянутые; молча и с величайшей грацией танцевали по воздуху пестрые бабочки с широкими рукавами, как барышни. Солнце faisait les honneurs de la maison[1], отогревало сырую землю, эмалью покрывало листики цветков, радостью наполняло все живущее и копошащееся в траве, на воздухе, закуривало сигары* и гордо не дозволяло себе смотреть в глаза. Им все нравилось, даже на этот раз романтизм их не возмущался против подстриженных деревьев, которые важно и чопорно, как официанты прошлого века, в парике и французских перчатках, стояли по обеим сторонам дороги. Белые мраморные бюсты выглядывали из-под них.

Испеченные солнцем и утомленные ходьбой, молодые люди отправились в комнаты студента. Небольшая зала, в которой был приготовлен обед, примыкала к оранжерее, одна стеклянная дверь отделяла их от нее; они отворили дверь, их обдало благоуханием юга. Дыхание детей пламенной природы располагало к неге и к чувственно-огненным страстям, к dolce far niente[2]. Зачем из венчиков этих цветков не вышли вечно юные гурии восточного рая! Зачем не принесли холодного шербета, зачем стройные одалиски не веяли пестрыми опахалами, опуская длинные ресницы своих черных глаз и бросая свежие розовые листки в вино! «Зачем этот глупый наряд Запада,— простора, неги, и еще цветов благоухающих, с яркими венчиками»,— говорили юноши.

Вино, принесенное со льда, на минуту прохладило их, но отлившая от сердца и головы кровь возвратилась зажженным спиртом, страсти расколыхались; им было непоместительно в горнице — они вышли опять в сад и отправились в беседку на гору, у ног которой — Москва-река.

Река тихо струилась узенькой ленточкой, довольная своим аристократическим именем; поля, леса, синяя даль,— природа именно этою далью, этою безграничностью приводит в восторг, в ее наружности отпечатлен тот характер бесконечности,

---

[1] приветливо встречало гостей (франц.).— *Ред.*

[2] сладостному безделью (итал.).— *Ред.*

который заключен в душе нашей, и они переплетаются, встретившись; но молодые люди недолго поэтизировали, вскоре разговор превратился в шалость, в хохот. Несколько человек вместе редко могут восхищаться природой или изящным произведением: благоговейный восторг редко посещает разом целое общество, и, ежели хоть один сказал холодное слово, остроту, кристальная мечта рассыпалась, фальшивая нота разнесется громче прочих и роняет действие всей пиесы. Продурачившись до позднего вечера, все поехали домой. Приехали к Нику часу во втором ночи и расположились отдыхать. Было полнолуние, месячный свет ясно светил в окна; днем душа молча впивала изящное, теперь, когда водворилась тишина и вместо яркого света дня разлился кроткий полусвет месячной ночи, она начала испарять свои чувства, как ночные фиоли свое благоухание.

— Ник, пойдем гулять,— сказал Саша,— хочется еще ощущений, движения, хочется, чтобы не было потолка.

И они отправились. Длинные полосы лунного света стлались по улицам, ярко сменяемые густою тенью. Город уже уснул или еще не просыпался; так тихо было, что шаги, далеко слышные, вызывали глухой лай собак.

Они вышли на Арбатскую площадь; величественнее и колоссальнее обыкновенного казались здания. Они шли, шли и остановились на Каменном мосту. Святой Кремль в своем византийском наряде, окруженный башнями, стенами, думал царскую думу о прошлых и новых веках; часовой, поставленный Годуновым, в белой одежде, как рында, в золотой шапке, как князь, сторожит покой Кремля, неподвижный и высокий*; а река шумела и неслась из-под арки, и всасывала в себя месяц, и сносила его свет на середину, и играла им, и пускала длинной полосою плыть в вороненой рамке.

Вода не останавливалась ни на мгновение, шумела, разбивалась о камень, пенилась и утекала; волна, сейчас блеснувшая, как рыбка, терялась в толпе других, исчезала как волна, но неслась как река, в даль, в море.

Они стояли молча,— о чем тут было говорить; и не думали, и не молились,— а высоко было сочувствие их в ту минуту с творцом, с природою, с человечеством... Предтеча солнца, Геспер заблистал, словно алмаз на руке творца, отворяющего

врата утра, и красная полоса, как брошенная на землю порфира, сказала о приближении царственного светила. Алый отлив пробежал по белым стенам Кремля и заиграл огнями на крестах, главах и окнах. Рассветало. С одной стороны спало темное Замоскворечье, покрытое подымающимся утренним туманом, с другой стороны спала часть города, облитая тем же месяцем. Обе не знали о начале дня, а Кремль его уже встретил, ему уже радовался, и ночь с днем встретились на реке, серебро и золото перемешалось на волнах. Чудное, удивительное зрелище, и оно повторяется каждый день, и люди занятые, «пекущиеся о многе», не ходят смотреть на него. Барабан и дудка возвещали земным языком «зорю». Они отправились к Нику, в сад, физически и морально утомленные.

Этот длинный праздник, эта особая, блеснувшая волна жизни не могут исчезнуть в толпе дней, ночей, недель, месяцев, лет, которые, как дюжинные волны, бегут, шумят, имеют смысл в совокупности, но не врезываются в память. Эта шумная оргия, эта прелестная прогулка вне города и в городе, на месте,— они на границе учебных лет; это прощанье с ними — и потому в них собралось все хорошее и дурное того времени, идеализированное, проникнутое поэзией. Прогулка на Каменный мост окончила прогулку на Воробьевы горы. Месяц мечтаний, односторонней жизни закатывался, солнце жизни выступало с своею огненною, всепоглощающею любовью, но и черные тучи поднимались грозно и мрачно*...

<1838 г.>

## ‹ИЗ РИМСКИХ СЦЕН›

Одним сентябрьским днем грустные думы рядом с туманной, сырой погодой навели на меня сильную печаль. Чтоб рассеяться, я вздумал читать, но книга выпадала из рук на второй странице... Перебрав несколько, мне попалась наконец такая. которая поглотила меня до глубокой ночи — то был Тацит. Задыхаясь, с холодным потом на челе, читал я страшную повесть — как *отходил* в корчах, судорогах, с речью предсмертного бреда *вечный* город. Не личность цезарей, не личность их окружавших клевретов поражала меня,— страшная личность народа римского далеко покрывала их собой. Мельком и с чрезвычайным хладнокровием говорит Тацит о гонении христиан, на которых Нерон сложил известный пожар. До того *назареев* даже не гнали. Я знал, что в то время апостол Павел был в Риме; это дало мне повод раскрыть «Апостольские деяния», и рядом с мрачным, окровавленным, развратным, снедаемым страстями Римом предстала мне эта бедная община гонимых, угнетенных проповедников евангелия, сознавшая, что ей вручено пересоздание мира; рядом с распадающеюся весью, которой все достояние в воспоминании, в прошедшем,— святая хранилищница благой вести, веры и надежды в грядущее. Я долго думал о времени, предварившем их встречу. Есть особое состояние трепета и беспокойства, мучительного стремления и боязни, когда будущее, чреватое целым миром, хочет развернуться, отрезать все былое, но еще не развернулось, когда сильная гроза предвидится, когда ее неотразимость очевидна, но еще царит тишина; настоящее тягостно в такие мгновения, ужас и стремление наполняют душу, трудно поднимается грудь, и сердце, полное тоски и ожидания, бьется сильнее. Этот

трепет перед будущим — неизвестным, но близким, это отрицание всех уз, которыми сросся человек с былым и существующим, это мучение неизвестности, мучение предчувствия и необладания хотелось мне уловить в тогдашнем состоянии умов. Не страдание города, а отчаянный крик человека — и врачевание его словом евангелия. Здесь предлагается отрывок из тогда написанных сцен. Лициний — мой герой, он еще не имеет понятия об учении Христовом, но веяние духа современности раскрыло в нем вопросы, на которые, кроме евангелия, не было ответа. Отсутствие религии, неудовлетворительность философии, наконец очевидное разрушение Рима сломили его для того, чтоб он воскрес новым человеком. Мевий — благородная, прекрасная, античная натура, но не принадлежавшая к тем организациям, которые шагают за пределы понятий своего века. В Лициние предсуществует романтическое воззрение, Мевий — классик со всем реализмом древнего мира.

---

«Ну, посмотри, посмотри, Лициний, около себя,— сказал юный философ Мевий другу своему, указывая на вид с холма,— неужели ты не чувствуешь теплое, живое дыхание природы, и неужели это дыхание матери не согревает тебя? О, космос! Мое сочувствие к тебе велико, я поклоняюсь тебе потому, что ты не хочешь поклонения; ты все содержишь, и все свободно в тебе. Птица, червяк, зверь — каждый волен, каждый чувствует себя дома, на месте; всем хорошо. Какое блаженство существовать, существовать и понимать, что существуешь,— в этом бесконечное наслаждение; существовать, любить — два великие начала и два великие окончания природы, положив в основу ей Венеру. Но послушай, Лициний, ни одной морщины не свел с твоего чела этот вид; что за странная грусть поселилась в тебе, давно ли в твоей груди обитали светлые образы, я перестаю узнавать тебя. Теперь даже, когда вся природа около нас дышит негой, когда все живое радостно припадает к лучам солнца, чтоб сосать из них огонь, ты один, как чужой, как пасынок в родительской храмине, стоишь мрачный и сосредоточенный в себе».

Противоположность двух друзей была разительна. Одушевленные черты Мевия, распростертые руки, как бы раскрывшие

объятия всему, и светлое чело, и ясный взгляд, разливавшийся на все окружающее, делали его похожим на греческого бога; полнота и гармония, юность и избыток жизни громко говорили его чертами. О таком лице думал Платон, когда сказал, что есть нечто изящнее тверди небесной, усыпанной звездами,— очи, рассматривающие эту твердь. Бледное, нежное и худое лицо Лициния, болезненно-страдальческое выражение, скрещенные на груди руки и глаза, светящиеся как-то лихорадочно и независимо от окружающего, одним своим светом, говорили совсем иное; казалось, душа, смотрящая так,— бездонная пропасть, в которую утягивается вся природа и пропадает безвестно; бледное и холодно-влажное чело его носило клеймо дум тягостных, безотходных и мучений нестерпимых. Он отвечал Мевию: «Я не виноват, что природа на меня не так действует, как на тебя; я завидую тебе, но перенять не могу: так, со слезою на глазах, я смотрю на детские игры; их безотчетная радость, звонкий смех, совершенное поглощение игрой понятно, но оно невозможно, когда выйдешь из того возраста. Я с своей стороны дивлюсь тебе, как такой дешевой ценой ты сыскал мир душе и наслаждение; что птице, червяку хорошо — не спорю, животные — дети, у которых нет совершеннолетия, нет ума, нет вопросов; бедные, обманутые, они беззаботно живут, не подозревая, что вместе с грудным молоком сосут отраву. Но на этом детском празднике Изиды человек — чужой. Сверх этих глаз, есть у него другие, и они видят — чего бы не надобно видеть, и в душе теснятся вопросы, на которые плохо ответили мудрецы всех веков; я изучил их и бросил; одни слова и уловки. Скажи мне, объяснили ли они цель человека, для чего он? что после? что прежде?»

М е в и й. Цель... да жизнь — вот и цель, мне это ясно; ты ищешь какой-то другой цели, вне человека, вне природы. По какому праву?

Л и ц и н и й. Оно законно. Я выстрадал себе это право, оно запечатлено морщинами на моем челе. Ты легко удовлетворяешься, мой друг, но такое примирение не для всех: у иных в груди зарождается демон, которого не убаюкаешь эпикурейскою песнью. Жизнь — цель жизни! Да что мне в ней? Я принимаю только те дары, которых требую. Жизни я не просил...

Я вдруг проснулся из небытия; кто разбудил меня — не знаю, но моей воли не было. Мне втеснено тяжкое бремя жизни — этой странной борьбы, не имеющей конца, борьбы беспрерывной, утомительной. В груди лежит сознание моей нравственной свободы, моей бесконечности, а я со всех сторон ограничен, унижен телом. Я иногда возвращаюсь к религиозным вымыслам и верю, что людей создал возмутившийся дерзкий Титан. Он затеял беззаконное смешение вещества и ума, а мы страдаем, искупая нелепость, невозможность такого смешения. Именно нелепость— она очевидна: вложить дух, разум в безволосую обезьяну и оставить ее обезьяной, чтоб вся жизнь была страдание от двух противоположных влечений — одного, не имеющего силы поднять на небо, другого, не имеющего силы стянуть на землю. Это аристофановская ирония!

М е в и й. Одно слово. Зачем ты так делишь дух от тела, и точно ли они непримиримые враги, и мешает ли тело духу, не оно ли чрево, из которого дух развился?

Л и ц и н и й. Как не мешает? Да кто же меня приковал ко времени и пространству, к этим двум цепям, ежеминутно бряцающим на моих руках и ногах? Мой дух хотел бы обнять всю вселенную, разлиться по ней беспредельным и вольным, а он сидит в этих костях, в этой оболочке мяса. Я колодник, которого пересылают куда-то, не сказавши ему за что; время влачит скованного с свирепой быстротой и само, кажется, не ведает куда, не внемлет слезам, стенанью, не дает остановиться; кто на дороге упал, того труп хищным птицам,— и мимо. Дух, оскорбленный, униженный, борется, но телу дана сила грубая и дикая, которую не сломишь. Дух понимает свою свободу от временного, да время не понимает ее. Оно идет безответно, тупо, однообразно. Могу ли я продолжить миг восторга? Могу ли сжать миг горести?— Нет. У кого во власти клепсидра*? У случая, у судьбы. Судьба — слово без смысла. И чтоб эта жизнь была цель... Коли она цель, за ней — ничего, понимаешь ли — ничего! Я сделаюсь прошедшее, жизнь промчится по моим костям, раздавит их, и я не почувствую боли. Лучшее — царство Плутона, чтоб я исчез, как звук лиры в бесконечном пространстве; если я не вечен, Мевий, так и мир умрет когда-нибудь, одряхлевши, истощив свои силы и не оставив следа, и будет —

ничего. Памяти не оставит по себе, потому что некому будет помнить.

М е в и й. В этом можешь быть обеспечен; для вселенной нет смерти. Космос есть,— ты понимаешь ли, что в этом слове заключена вечность? Это значит: мир был и будет, потому что он есть. Он живет, обновляясь поколениями.

Л и ц и н и й. Да, он, как Хронос, пожирает своих детей, бросая обглоданные кости, чтоб мы могли угадать свою судьбу. Когда я был в Египте, я посетил Фивы, этот стовратый город Гомера. Дворцы, столбы, аллеи сфинксов, грифы стоят, на скалах сидят страшные Мемноны*; обелиски, испещренные целыми речами гиероглифов, стерегут ворота, в которые никто не входит, и говорят что-то каменной речью, которую никто не слушает и никто не понимает теперь. Тишина страшная — ни одного человека, и пустые здания, формы бессмысленные, оттого что содержание выдохлось; черепы чего-то умершего! Куда ушел народ, толпившийся тут, работавший? Ушел — да куда? Где этот Пантеон или та Cloaca maxima[1]*, куда стекает прошедшее — люди, царства, звери, мысли, деяния? Хронос с ненасытной жадностью беспрестанно ест, но у него нет внутренностей, все, что он проглотит, исчезает, и оттого он не сыт и беспрестанно гложет.

М е в и й. Ты после спросишь, зачем сегодня волна нанесла кучу песку на берег, а завтра смывает его, и как его отыскать в море. Все существующее существует во времени, в этом надо убедиться однажды навсегда. Одна жизнь вечна. Когда ты бродил по Фивам, зачем не взглянул вверх, ты увидел бы прекрасного пестрого орикса*; зачем ты не видал ни одного из красивых цветов, качавших яркими и благоухающими венчиками из-за трещин колонн и упавших капителей, между которыми ползла, извиваясь и блестя чешуей, змея? Где тут запах смерти, пустоты: жизнь человеческая перешла, жизнь природы, разлитая повсюду, осталась. Царства, дела рук человеческих, — падут; жизнь вечно юная цветет на их развалинах. Что за дело, куда ушли египтяне, чего жалеть их? Разве они в продолжение своей жизни не наслаждались по-своему, не имели минут

---

[1] Большая клоака (лат.).— *Ред.*

блаженства и сильных ощущений, разве они не любили, не трепетали от радости, разве жизнь не подносила свой кубок наслаждений и к их устам?

Л и ц и н и й. А несчастные, задавленные обломками, присутствовавшие при гибели родины,— тем много ли отпущено было наслаждений?

М е в и й. Их участь была горька, но тут ненавистная тебе смерть явилась благодетельным гением, успокоила их в могиле, заменивши новыми поколениями, так, как заменяет траву, скошенную на лугу. Ты слишком много придаешь важности человеку, это нравится гордости: он не больше, как лист на дереве, как песчинка в горе.

Л и ц и н и й. Счастлив ты, удовлетворяющийся такими объяснениями. Нет, я считаю жизнь каждого человека важнее всей природы. Человек — носитель бессмертного духа, к которому природа только рвется. Каждая слеза, каждое страдание человека отзывается в моем сердце. Бесчувственно жертвовать какому-то отвлеченному понятию о жизни людьми, не жалея их. Варвары, приносящие на жертву людей, закалывают их, по крайней мере, своим богам... Я с некоторого времени боюсь произносить это слово, оно утратило великий смысл свой в наших устах. Для нас боги — какой-то сон, облекающий в образы идеи и мысли. А что прежде была религия? Зачем я не могу детски веровать, зачем я родился в развратный век, верующий в одно сомнение? Что мне дали философы? Ни одного полного решения, ни одной достоверности. Они лишили только покоя мою душу, приведя ее в вечное колебание. Фетишизм давал больше положительного, нежели разъедающий дух наших учителей. Подкопавшись под пьедесталы богов, свергнув, осмеяв их, что они поставили на эти пьедесталы? Скептический взгляд и удостоверение, что мы ничего не знаем? Нет, еще кое-что: стоическую нравственность и ясный взгляд.

М е в и й. Ты всегда вдаешься в крайности и требуешь несправедливого. Что они поставили на пьедесталы, с которых сняли олимпийцев?—помилуй, они поставили *Нус**, великий закон, великую энергию всего развития, они поставили живую душу мира; многие — хотя и не понимаю для чего — доказывали бытие богов.

Л и ц и н и й. И в том числе наш Цицерон. И, нечего сказать, хорошо написал он в их пользу, не хуже, как за Архия-поэта*. И я, так же как ты, не могу понять, для чего они доказывали; для изощрения в диалектике, вероятно. Доказывать можно только то, в чем можно сомневаться. Неужели голос мощный, звучащий в груди, не говорит громче всех философов? Что вышло из философских доказательств? Холодный, бесчувственный деизм; с их богами мы чужие, нет связи между нами; один Платон из всех провидел, как мало удовлетворяет такое признание богов. Я чувствую, что человек должен быть связан с божеством, в нем успокоиться, любовью возноситься к нему. Как?— не знаю, не понимаю как, оттого-то я и страдаю; я ищу, жажду, и — все камень, все слова, все мертвое, до чего ни коснусь. У одного Платона и его учеников есть что-то, намек, приводящий в трепет всю душу. Думал ли ты когда-нибудь, что значит *Логос?** Тайна, тайна, и мы умрем, не разгадая ее. Пусть явится, кто б он ни был, и откроет мне эту тайну — я обниму его ноги, облобызаю прах его сандалий. Предчувствие мое меня мучит, знать, что не знаешь,— ужасно. Логос, Логос-проформикос*, в этом слове для меня заключено все — идея, событие, гиероглиф, связь мира и бога — и не могу понять. (*Молчит*).

Послушай, Мевий, что-то великое совершается. Этим путем мир дальше идти не может: он своими когтями разорвал свою грудь и пожирает свои внутренности; на такой пище долго не проживешь. Бродят вопросы, никогда не являвшиеся прежде. Если бы можно было приподнять завесу — хоть для того, чтоб взглянуть и умереть! (*Задумывается и молчит*).

М е в и й. Мечтатель, милый мечтатель, люблю слушать его речь; она имеет какую-то магическую силу, как музыка, как лунный свет.

(*Лициний садится на холме и не принимает, повидимому, никакого участия в разговоре Мевия с подошедшим патрицием*).

П а т р и ц и й. Я сейчас от Пизона.

М е в и й. Много было?

П а т р и ц и й. Да все наши.

М е в и й. Эпихарис была?

П а т р и ц и й. Была и говорила, как вдохновенная богами пифия. Великая женщина! Имя ее пойдет до позднейшего потомства, окруженное лучами славы. Странно, женскую руку избрали боги участвовать в великом деле, для которого так долго не находилось достаточно крепких рук мужчины.

М е в и й. Что нового о цезаре?

П а т р и ц и й. Каждое дыхание Нерона — злодейство. На днях рабы убили какого-то сенатора. Отцы присудили всех рабов его, живших у него в доме и вне дома, казнить. Ты знаешь, на это есть прямой закон. Нерон, когда ему подали дело, сказал: «Безумно несколько сот человек казнить, в то время как подозрение падает на двух-трех из окружавших».— «Император,— вскричало несколько голосов, — закон требует их казни».— «А я,— возразил Нерон,— требую казни этого закона, потому что он бессмыслен». Видишь ли, как он пренебрегает законом и как льстит подлым рабам. И сенат поддался, но роптал больше, нежели когда-либо.

М е в и й. Он беспрестанно ищет случая унизить патриция и отцов. Давеча я встретил недалеко от вновь строящегося дворца похороны. Чьи, ты думаешь? Тигр околел у него в зверинце, он велел его хоронить, как сенатора, завернувши в латиклаву[1]*. Плебеи толпами шли за трупом гадкой кошки с рукоплесканиями и хохотом; тут какой-то ободранный разбойник взлез на камень и кричал: «Божественный цезарь, доверши благое дело; ты посадил тигра в сенат, посади же отцов в зверинец». Толпа с восторгом слушала эти нечестивые речи.

П а т р и ц и й. Подлое отродье подлых корней. Плебей никогда не был римлянином,— это ложные дети Италии. Мевий, сегодня приходи непременно к Латерину, у него совещание; все поняли, что пора приступить к делу, еще несколько дней — и заговор непременно будет открыт. От быстроты зависит успех. Мы утром для того сходились, но было как-то смутно и бестолково. Латерин поссорился с Пизоном. Ты знаешь его — воплощенный Брут, а Пизон туда же метит в цезари. Лукан, который в Нероне ненавидит соперника-поэта больше, нежели тирана, хотел выпить чашу вина за здоровье нового цезаря, Латерин

---

[1] Исторический факт.

и Эпихарис чуть не растерзали его. Пизон надулся; тут, как на смех, Сульпиций-Аспер стал требовать в раздачу тем преторианским когортам, которые пристанут к нам, каких-то полей близ Рима. Пизон испугался за земли, находящиеся века во владении Кальпурниев без всяких прав, надулся вдвое и уехал к себе на дачу, а Лукан на него сочинил уморительное двустишие,— однако у Латерина будут все.

М е в и й. Латерин — великий гражданин. Когда я смотрю на его открытое чело, на его спокойный, величественный и грустный вид, он мне представляется одним из полководцев времен нашей славы. Рим не погиб, если мог создать еще такого гражданина. Ну, а что касается до Пизона и...

П а т р и ц и й. Всякий знает, да они нам нужны. Что мы сделаем без Пизоновых сестерций? А сверх денег, его происхождение глубоко оценено даже плебеями. Он — имя. Да, кстати, я было забыл сказать... не знаю почему, пало подозрение на старика-пафлагонда — раба Пизона, знаешь, что играл на флейте,— будто он доносит. Пизон велел его отравить и еще двух.

М е в и й. Что же, он узнал наверное?

П а т р и ц и й. Эти вещи доказывать и узнавать мудрено. Он предупредил... если они не успели донести что-нибудь важное, и лишил себя трех рабов без пользы, если они уже сделали донос. Это обстоятельство заставляет еще более торопиться. Мне есть еще дела, итак, сегодня ночью у Латерина.

М е в и й. За мной дело не станет, моя жизнь принадлежит Риму, я буду уметь принести ее на жертву; а странно на душе: вера и недоверие, страх и надежда. Да неужели это не сон, что раз-два сядет солнце и в третий взойдет над освобожденным Римом, и он, как феникс, воскреснет в лучах прежней славы, пробудится от тяжелого лихорадочного сна, в котором грезил чудовищные события? И так скоро?

Л и ц и н и й. (*Встает и подходит к ним*). Сон! И я скажу теперь — мечты! Дом падает, столбы покачнулись, скоро рухнут, а вы хотите поддержать его. Чем? Руками? — Вас раздавит, а здание все-таки упадет. Убить Нерона — дело возможное, ножом легко перерезать нить жизни, но трудно вызвать из могилы мертвого. Я участвовал в заговоре, вы знаете, и пойду сегодня и буду делать что другие хотят; но вера моя остыла.

Рим кончил свое бытие, убийством его воскресить нельзя: явится другой Нерон. И вот уже есть желающий, Пизон — этот ограниченный человек, сильный только деньгами и предками,— протягивает дерзкую руку. Мне жаль Латерина, жаль вас, жаль эту голубицу[1], назначенную летать по поднебесью в Элладе и залетевшую в горящий дом. Не то жаль, что вы погибнете, а жаль, что вы втуне употребляете вашу веру... Что хотите? Воскресить Рим? Зачем? Он был нелеп, римляне были хороши. Не закон, начертанный на досках*, покорил сму мир, а другой закон, который он сосал с молоком. Истинный Рим был построен не из камня, он был в груди граждан, в их сердцах; а теперь его нет, остался его остов, каменные стены, каменные учреждения. И в этом трупе, уже загнившем, тлеет какая-то болезненная, лихорадочная, упорная искра жизни. Одряхлевший Рим один ходить не может, а вы, добрые люди, хотите отнять вожатого у калеки, чтоб он упал в первую канаву. Для кого вы работаете, на кого обопретесь? На плебеев, что ли? Да они вас ненавидят. Было время, плебей считал патриция за отца. Хорошо воспитал отец сына: он его ограбил, замучил на тяжкой работе, прогнал из дома, раба принял на его место, резал мясо его на куски за долги, морил в тюрьме; ругаясь над ним, спрашивал, глядя на закорузлую руку,— не четвероногий ли он?[2] Он и в самом деле сделался зверем. Посмотрите вы на кровожадного барса, выходящего иногда погулять на площади, послушайте его рев; цезари поняли его характер, они ему, голодному, вместо хлеба бросают трупы гладиаторов, и зверь, упоенный зрелищем крови, рукоплещет. При первом шаге он вас растерзает на части, и нечему дивиться. Вы сейчас бранили плебеев за то, что они ругались над сенатом, а сенат разве несколько столетий не ругался над ними? На плебеев обопрется цезарь — не вы; а вы обопретесь, может, на патрициат. Хорош и этот крокодил, не имеющий зубов, снедаемый нечистыми страстями, умирающий в руках рабов, египетских поваров и нагих невольниц! В основе своей Рим носил зародыш гибели. Время казни настало. Он богами посвящен!

---

[1] Эпихарис.

[2] Острота Сципиона Африканского.

Рем, облитый кровью, встал, он требует наследия, отчета; он не забыл, что его зарезал родной брат из корысти. Он одичал в преисподней, безумье блестит в его глазах, лишенных света несколько веков, у него в груди одно чувство — месть! Он, как Протей, является в тысяче форм: он Калигула, он Клавдий, он Нерон, он некогда колол булавкой в язык Цицерона и таскал его окровавленную голову по площади, он был Катилина, он выводит теперь сенаторов на арену и заставляет бороться с подлыми гладиаторами, и он же чернь, рукоплескающая около арены... Он — огонь, прокравшийся всюду и сожигающий со всех сторон ветхое здание, воздвигнутое на его размозженном черепе... Когда-нибудь пожар кончится, тогда тишина наляжет на эту полосу, будут об Риме говорить, как о Карфагене, о Вавилоне. Звери поселятся, им ловко норы устраивать в развалинах, стаи хищных птиц прилетят доедать не съеденное Хроносом. Поторжествуют животные падение человека; нет, еще хуже, они будут жить, как дома, в берлогах своих на великом римском форуме.

М е в и й. Остановись наконец, дерзновенный! что за ужасное воображение — след беззаконных, преступных мечтаний. Римлянин не должен слушать такую речь, полную отравы. Погибнуть лучше с верою в Рим, нежели дать место в груди ядовитым песням фурий.

Л и ц и н и й. Мне самому досадно: больше сказалось, нежели я хотел. Я, видишь ли, долго молчал; грудь от этого стала полна, ей надобен был исток, она не могла дольше хранить жгучие истины; мне горько, Мевий, что я дерзкой рукой тронул твое сердце гражданина. Но не брани меня, плачь обо мне; потерявши многое, у вас осталась вера в Рим, для меня и Рим перестал быть святым. А я люблю его, но не могу не видеть, что стою у изголовья умирающего. Если б можно было создать новый Рим — прочную, обширную храмину из незагнивших остатков! Но кто мощный, великий, который вольет новую кровь в наши жилы, юную и алую, который огнем своего гения сплавит в одну семью патрициат и плебеев, согреет их своей любовью, очистит своей молитвой и, наполнив своим духом, всех гордою стопой поведет в грядущие века? Но и Зевс, сойдя на землю, не сделает этого.

М е в и й. Друг, такие слова еще ужаснее; бешеные звуки твоей филиппики возбудили гнев... а эти слова — послушай... (*с отчаянием*) скажи, что нам делать, что нам делать?

Л и ц и н и й. Наконец-то ты увидел весь ужас настоящего... что делать? В этом-то вся задача сфинксов. Во все времена, от троглодитов до прошлого поколения, можно было что-нибудь делать. Теперь *делать нечего*. Да, нечего, и это худшая кара, которая может пасть на людей, хуже Сизифовой, хуже Танталовой. Бедные, несчастные! Фатум призвал нас быть страдательными свидетелями позорной смерти нашего отца и не дал никаких средств помочь умирающему, даже отнял уважение к развратному старику. А между тем в груди бьется сердце, жадное деяний и полное любви. Ни Эсхилу, ни Софоклу не приходило в голову такого трагического положения. Может, придут другие поколения, будет у них вера, будет надежда, светло им будет, зацветет счастье, может. Но мы — промежуточное кольцо, вышедшее из былого, не дошедшее до грядущего. Для нас — темная ночь, ночь, потерявшая последние лучи заходящего солнца и не нашедшая алой полосы на востоке. Счастливые потомки, вы не поймете наших страданий, не поймете, что нет тягостнее работы, нет злейшего страдания, как *ничего не делать!* — Душно!

(*Лициний закрывает руками лицо. Мевий, глубоко взволнованный, молчит*).

## FORUM APPII[1]*

Кружок обдерганных плебеев окружает какую-то женщину; ее поставили на возвышение.

Г о л о с а. Сама, сама ты видела?

Ж е н щ и н а. Братья мои, свидетельствуюсь богами — видела; святого-то мужа, как преступника, вели в цепях, поселяне его провожали. А он кротко, спокойно, просто все поучал своей вере.

Г о л о с а. Что же он говорил, что?

Ж е н щ и н а. Он так утешительно говорил, так хорошо, не могу всего пересказать. Говорил он, что пора каяться, что

[1] Аппиев Форум (лат.).— *Ред.*

новая жизнь началась, что бог послал сына своего спасти мир, спасти притесненных и бедных. Мы плакали, слушая его. Потом он взял моего маленького, посмотрел на него ласково и сказал: «Ты увидишь уже сильным царство Христово».

Г о л о с а. Слышите! Слышите! Говорят, и слепые стали видеть, и мертвые воскресают!

1838 г. Владимир-на-Клязьме.

## ВИЛЬЯМ ПЕН

(Сцены в стихах)

### ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

### ПРОЛЕТАРИЙ

#### Сцена I

1650. Лейчестер.

Суббота, вечер. Холодная, сырая комнатка со сводами; величайшая бедность; на соломе лежит больное дитя, вздрагивает и стонет во сне; разный хлам, кожи и посуда. Перед окном сидит сапожник и работает, возле него ученик.

Сапожник *(бросает работу)*.

Нет, выбился из сил, держать в руках
Я шила не могу. Какая стужа,
Я до костей измерзнул весь.

*(Дует в руки.)*

Что, Жорж, ни одного полена нет?

Жорж.

Ни одного, хозяин, не осталось.
Вчера последнее сожгли, когда
Малютка так прозяб.

Сапожник.

Я сапоги —
Вот эти — думал кончить непременно
Сегодня поутру и провозился вот
До коих пор. А завтра воскресенье.

Для бедняков, как мы с тобою, Жорж,
Нет праздников. Ах, боже, боже мой!
Тяжел твой крест, не в силах плечи наши
Сдержать безропотно его.
Из всех крестов тяжеле бедность;
Она сосет, иссохшая, худая,
По капле кровь и силы человека,
А после бросит на солому
В углу, беспомощного, умирать;
Тут, возле, дети хлеба просят,
И негде взять его; дрожат от холода,
И нечем их согреть.

(*Подходит к ребенку.*)

Ты посинел весь, Том-малютка;
Зачем же разметался так, дружочек?
Шубенка стала коротка тебе,

(*Покрывает его.*)

Не покрывает уж тебя, бедняжка...
Ах, Том, мой Том, когда родился ты,
С восторгом на руки тебя я взял
И поднял вверх, чтоб богу показать,
Но мысль ужасная втеснилась в грудь:
Ведь он на горе, как и ты, родился;
Сын нищего счастлив не может быть.
И руки на грудь опустились у меня.
И до крещения святой водою
Тебя слезами окрестил отец.
Для бедного минуты светлой нет;
Забудется подчас он иногда,—
Покажется, что равен людям он,
Что будто радости и для него
Цветут,— а привиденье мрачное,
Со впалыми щеками, тут как тут,
Грозит из-за угла.
Преступника он хуже вдвое:
Палач того накажет раз один,
А бедный оскорблен на шаге каждом.

(*Жоржу.*)

И ты, мой друг, все это испытаешь.
Вот, Жорж, когда бы ты родился
Купеческим сынком, ты б завтра,
В пух разрядившися, пошел к обедне,
Оттуда бы в таверну или в гости,—
Ан нет, сиди в сыром подвале,
Лохмотья стыдно показать. Мы под
Опалой вечною живем. Как чумные,
Отвергнуты мы от всего людского!

Ж о р ж.

Помолимся и дома завтра мы;
Два пенса у меня лежат давно,
На водку дал тогда мне лорд,
Которому носил я сапоги;
На них мы купим завтра джину,
Попьем да посидим; люблю тебя
Я слушать, ты когда из библии
Толкуешь что-нибудь; потом мы ляжем
Пораньше спать, чтобы скорей
До понедельника добраться.

С а п о ж н и к.

Ты молодец; три пенса я тебе
Отдам с лихвою, когда заплатит долг
Пастор. Да, что ты давеча к нему
Ходил,— что ж он?

Ж о р ж.

Прогнал меня и разругал.
Я говорил ему: «Помилуйте,
У нас нет дров, сегодня день торговый,
И надо бы для праздника купить
Говядины». Но он ответил мне:
«Не знаешь разве, скот, что по субботам
Я предики пишу всегда? Осел!
Пришел мешать с своими пустяками,

И нить мне мыслей перервал!
Разве не знал хозяин твой
Вчера, что дров не будет у него?
И попоститься завтра не беда!»
Потом с сердцами дверь захлопнул он
И запер изнутри, ворча сквозь зубы.

*(Сапожник, слушавший весь рассказ скрестив руки на груди и меняясь в лице, говорит громко и отрывисто и под конец с каким-то восторгом.)*

Он пишет предику, он пишет предику!
А сын мой осьмилетний с холоду
Быть может, околеет; а мне
Куска нет завтра перкусить;
Ему, вишь, помешали мы!
О милосердии, конечно, он
Писал, наемный проповедник,
Торгаш даров святого духа!
Не милостыню, а свои я деньги
Просил, и тут осмелился он выгнать,
Осмелился не дать — слуга Христов!
Позор на них, на фарисеев!

*(Пауза.)*

Нам нет досуга помолиться богу,
Мы сутки целые должны работать,
Чтоб хлеб иметь насущный.
Есть для других науки, книги,
Досуг чем хочешь заниматься,
Для них раскрыт весь мир господень,
И от избытка притупились их
Желанья вялые. А нам что на
Замен всего ограбленного дали?
Работу тяжкую и униженье.
Кто наделил землею их?
И кто б ни наделил, какое право
Имел над божиим созданьем он?
Пришел конец безбожному такому безобразью!
Пора обманов глупых миновала,

Читаем, слава богу, мы теперь
Евангелье на нашем языке родном;
Чего хотел Христос, теперь мы знаем,
Ведь английский язык — уж не латынь.
Хотел он братства, равенства, свободы,
Хотел, чтоб не было богатых вовсе,
Хотел, чтоб бедным слезы отирали,
Хотел, чтоб все любили всех;
А вместо этого под именем
Божественным Христа-спасителя
Устроили порядок нам прекрасный
Монахи римские и лорды,
Камер-лакеи, чуждые народу,
Которые, народа не спросясь,
Явились представлять его пред троном.
Египетский пора окончить плен,
Израилю пора проснуться,
И утро радостного дня
Для искупленья от цепей
Займется скоро; уже петухи
Не раз кричали громко, громко...

Ж о р ж.

Когда, хозяин, говоришь ты так,
Не узнаю тебя я боле.
Ты будто больше станешь ростом,
И все изменятся черты, горят огнем
Глаза, и страшно мне смотреть
Тебе в лицо, а сердце бьется сильно,
И кровь кипит от слов твоих и вида;
В минуты эти на святого ты похож,
Который был на образе старинном
У бабушки моей: кажись, Фомой
Его звала она, Бекетом.
Нет, мастер Карл, ты не для шила
Родился в свет, и я смекнул уж это.
Послушай моего ты глупого совета:
Парламент всех зовет граждан

Идти на Карла короля*; ты силен,
Ты в цвете лет, поди в солдаты,
Меня оставь с твоим мальчишкой,
Бог милостив, без хлеба не умрем.

Сапожник.

Нет, добрый Жорж, совет твой не хорош,
И из войны не будет проку этой.
Разве позволил нам Христос лить кровь?
Забыл ты разве, как он исцелил
Апостолом пораненного вóйна
И меч в ножны велел ему вложить?
Не кровью должно поливать людской
Ту ниву, на которой слово божье
Посеяно; поверь, жизнь грешника
Для бога дорога; меня судьей
Над ним не ставил он, тем больше —
Кровавым мстителем и палачом.
Он всех любил и нам врагов любить
Велел; разбойником — и тем Христос
Спаситель не гнушался на кресте,
А пригласил к Отцу в обитель света.
Не меч вручил нам бог, а слово,
Оно — врожденное, святое право,
И мощь его обширна, велика.

(*Кто-то стучится в дверь.*)

Сапожник.

Взойди, кто б ни был ты, взойди!

(*Входит нищий, весь ободранный и дрожащий от холода.*)

Нищий.

Подайте, ради имени Христова;
Не откажите бедному больному,
Второй уж день не ел я ничего.

Сапожник.

Фу, господи прости, недоставало только!
Ну, что я дам ему? Старик, садись,
Брат, здесь; ну, что стоишь, ведь не к пастору,
Не к лорду, а к сапожнику пришел,—
Одной семьи мы дети — руку дай,
А ты, Жорж, в лавочку теперь сходи
И принеси нам завтрашнего джину;
Нам гостя бог послал, так угостим
Его, а завтра бог же нам поможет.
Кусочек солонины где-то был
Да булка... Нет, ее оставлю я
Для Тома. Что ж печален ты, старик?
Забудь, брат, горе на минуту,
Переночуешь здесь и отдохнешь.

Нищий.

Давно такой я встречи не видал;
Где и дают нам деньги люди,
Бросают их, как псу, ногой толкая;
А ты (*плачет*), спасибо, добрый человек,
Ты душу отогрел больную,—
И ей ведь надо подаянье;
Скажи, мой сын, как поминать тебя
В молитвах мне?

Сапожник (*тронутый, сильно жмет руку нищему*).

Карл Фокс, раб божий!*

## Сцена II

1660. Дорога от Лейчестера в Лондон.

На дороге лежит больная старуха. Издали слышны трубы, охотничьи рога, лай собак. Карл Фокс идет с котомкой за плечами, с ним Жорж.

Нищая

Будьте милосерды,
Добрые граждане,

Не оставьте смертью
На земле забытую.
Вам Христос заплатит
Во сто больше раз!

Карл Фокс.

Старушка, на! (*Подает ей монету.*)
Везде одно и то же,
Везде простолюдин сгнетен, страдает,
И брошен всеми в нищете, болезнях.
Они одни сыны Христа
И право полное имеют
Его всемощным именем просить...
Но стон дошел до Саваофа их,
И вавилонский плен не вечен.

(*Фокс садится под деревом с другой стороны дороги.*)

А от чего ослепла ты, старушка?

Нищая.

Ах, посетил меня господь, знать, за
Грехи мои; слезами выплакала я
Свет из очей. Три сына было
У меня, и жили во всяком мы
Довольстве, хлеб и скот был свой...
Словами вымолвить так тяжело —
Их старый Нолль всех трех обманом взял
К себе в войска и, окаянный, всех
Сгубил; погибли под Ворчестром двое,
А третий в море потонул, ловить
Когда Нолль посылал по морю
Стюарта молодого*, королем теперь
Что стал. В два месяца я поседела;
Как воск, от горя тает тело.
Но тем еще беды не заключились:
Как воротился в Англию король,
И лорд с ним воротился тот, которому
Земля принадлежала нашей мызы,

Кортом удвоил он, чтоб пир задать
Для короля; а без детей мы — как
Без рук, да тут же хлеб не уродился,
Скопилась недоимка... Лорд велел
Продать корову нашу, лошадь
И все обзаведенье... Бог ему судья,
Просился остаться до уборки
Хлебов,— прогнал, бесчеловечный;
Тут заболел старик мой: на дороге
Лишился ног он от удара,
Год мучился и умер, наконец.
А я ослепла и с тех пор людским
Живу лишь подаяньем. Бог меня
Забыл: не прибирает горемыку.

Карл Фокс.

Привел бы я сюда взглянуть
Кромвелей, Монков и Стюартов...
Да что им нужды, правда, до того,
Что с голоду мрут люди от их славы?!
У них сердца рук наших жестче вдвое...
На сумасшедших люди страх похожи:
Разбойника куют, казнят позорно
За то, что он, спасаясь от голодной смерти,
Безумный, одичалый от несчастья,
Кого-нибудь ограбил и убил;
И рядом с виселицей для него
Те ж руки триумфальные врата
Разбойникам другим сооружают
За то, что грабят днем они, не ночью,
За то, что извели без всякой нужды
Мильоны англичан и их семейства
Пустили по миру бродить. (*Помолчав.*)
А эти из чего дрались, погибли?
Республика ли с Ноллем, лорды ль с королем—
Для них, ей-богу, было б все равно
Платить последнюю копейку
За право день и ночь работать.

*(Бежит усталый, измученный олень, за ним несколько собак, и вблизи слышен гик охотников.)*

Ж о р ж.

Вот тешатся они, ограбивши
Народ: людей нельзя, так хоть зверей
Душить им надо для потехи;
Дай бог, чтобы олень убрался поскорей!

*(Веселая и шумная гурьба охотников.)*

Н и щ а я.

Будьте милосерды,
Кавалеры добрые,
Лорды благородные...

О д и н  и з  о х о т н и к о в.

Молчи ты, старая ворона!
Есть время нам с тобою толковать.

Д р у г о й (*чуть-чуть не раздавивший ее*).

Середь дороги тут сидит, безумная,
Пугать коней. Ах, встарь как славно
Учила Букингемова охота*
Бродяг таких, как ты, негодных;
Собак сюда!— и поминай, как звали.

*(Проезжают.)*

К а р л  Ф о к с.

Помилуй их, господь, и разбуди
Ты усыпленные их души.
О, сжалься, милосердый, ты над ними!

*(Спустя минуту, скачет юноша лет шестнадцати или меньше, богато одетый и с прелестным лицом.)*

Н и щ а я.

Будьте милосерды... (*и прочее*)

*(Юноша приостанавливается и ищет кошелька.)*

Ю н о ш а.

Нет, скучно, далеко засунул деньги;
Бог даст, прощай!

*(Хочет ехать. Фокс схватывает за узду.)*

Ф о к с.

Ни с места, мальчик!

Ю н о ш а.

Ай, ай! Разбойники!

Ф о к с.

Нет, не разбойник,—
Британец честный, христианин.
Тебя не для того, чтоб грабить, я
Остановил; при мне оружья нет.
А ты увешан ими с головы
До ног. Мне жаль тебя, вот почему
Я удержал коня: тебе нет время
Монету вынуть для слепой старухи,
А есть досуг часы терять и дни,
Гоняясь за оленями. Стыдись,
Стыдись, бездушный человек, красней!
Едва ль тебе шестнадцать лет минуло,
Когда ж бесчувственным привык ты быть?
В душе твоей мелькнуло состраданье,
И ленью ты его сгубил. Мне жаль
Тебя, опомнись, время есть пока...
Давай же что хотел.

Ю н о ш а *(видимо, смутившийся).*

Помешанный,
Безумный пуританин ты какой-то!
А знаешь ли, что я имею право
За проповедь твою и дерзость
Сейчас тебя сковать?! Парк этот мой,
И я здесь полный господин; счастлив,

Что ты меня остановил, а не
Кого-либо из егерей моих.
Пренебрегаю я тобой.

Ф о к с.

И эти
Как рано чувства им изменяют;
Меня, седого старика, ковать,
В тюрьму вести за то, что смел
Остановить мальчишку-шалуна,
Которому лень денег нищему
Достать.

Ю н о ш а *(бьет его хлыстиком по спине).*

Да ты еще грубить, осел!
Пошел же прочь, ты лошадь замараешь!

Ф о к с.

Ах, юноша ты жалкий и несчастный,
Понять когда б ты мог, с какой любовью
К тебе я обратился с горьким словом,
Не стал бы бить меня. Спроси у сердца
Своего ты сам, хорош ли твой
Поступок с нищей этой и со мной,—
Ты бедностью моей меня коришь,
Но я трудом своим кусок свой добываю,
Не граблю фермеров и государство.
Ударил ты хлыстом и не успел
Ни рассердить, ни оскорбить меня;
Ну, где ж хваленое величье духа,
Которым хвастаетесь вы всегда?
Прощай, я не держу коня уж боле.

Ю н о ш а *(вынимая кошелек).*

Что за чудак! И как он гордо смотрит...
Мне жаль, что я его обидел.

*(Бросает горсть мелких денег на траву старухе.)*

На тебе.

*(Фоксу).* Доволен ли ты мной?

Ф о к с.

Нет, не совсем;
Прекрасное ты сделал дело,
Да сделал скверно — деньги бросил ты
В траву, и зрячий тотчас не найдет;
Поди же, подбери ей деньги сам.

Н и щ а я.

Ох, господи тебя благослови!
Я подберу уж как-нибудь.
Христос тебя да наградит
За сердце доброе твое!

Ю н о ш а.

Ты прав; в сам-деле дурно сделал я.

*(Соскакивает с лошади.)*

Голубушка, вот на, я подобрал.

*(С улыбкой Фоксу.)*

Позволите мне ехать, господин?

*(Нищая ловит поцеловать его руку.)*

Ф о к с.

Ступай, и я теперь скажу: благословенье
Да будет божье над тобой.
В тебе еще не вымерла душа,
Ты чист еще под золотой одеждой;
Благодари и день и ночь Христа
За то, что поддержал тебя
На высоте, в которой ты родился.
Однакож перед расставаньем
Скажи мне, юноша, за что оленя
С такой свирепостью ты гонишь?
Неужели без крови и убийства
Нет наслажденья никакого вам?

Губить живое, резать и душить —
Какая грубая утеха!
Ты посмотри, невинно как живет
Олень в своем лесу, как весел он,
Как гордо бегает, красуяся
Ветвистыми рогами, станом гибким.
Он зла не сделал ведь тебе,
А ты уж пулю в дуло опустил,
Чтобы убить его; ужель приятней
Тебе предсмертья судорожный трепет
Его смотреть, чем им на воле любоваться?

Ю н о ш а.

Какой чудак! Престранный человек!
Кто ты такой?

Ф о к с.

Лейчестерский сапожник.

Ю н о ш а.

Ну, сэр сапожник, друг оленей,
Зайди ко мне,— работу дам тебе,
И проповедь твою готов я слушать,
Снимать покуда будешь мерку.

Ф о к с.

А как спросить?

Ю н о ш а.

Я лорда Пена сын, Вильям.

Ф о к с.

Прощай же, Вильям Пен, дай руку, брат,
Иль все еще боишься замараться?
А зайца резать — ничего; не бойсь,
Черна рука простолюдина,
Да сердце чисто у него.

Вильям *(протягивает ему руку).*
Не обижай же больше ты меня,
Расстанемся друзьями.

Фокс *(выразительно).*

Пен, друзьями!

## ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ

### ЛОРД-ОТЕЦ

#### Сцена III

Приемная зала генерала Пена*; военные и гражданские чиновники en gala[1]... Лорд Пен, здоровый старик лет пятидесяти с лишком, сидит в богатых креслах под балдахином, на котором вышит его герб.

Huissier de la porte[2].
Граф Портланд, камергер двора его
Величества британских островов.

(*Граф входит.*)

Граф Портланд.
Милорд, во имя короля!
Сейчас граф Портланд молодой упал
С коня, пятнадцати, не больше, лет,—
И сын его уж камергером при дворе*.

Лорд Пен.
А что ваш батюшка, здоров еще?

Граф.
О нет, подагрой очень страждет он.

Лорд Пен *(улыбаясь).*
Любил ведь пошалить, бывало.
Прошу ему напомнить Георг Пена.

---

[1] в парадной одежде (франц.).— *Ред.*

[2] Слуга, докладывающий о прибывших (франц.).— *Ред.*

Граф *(откашлизаясь).*

Благодарю вас, лорд. Еще не кончилось
Мое посольство. Лорд, Вильяма Пена я
Ищу.

Лорд Пен.

В Пентоун за ним я эстафету
Чем свет услал, его я жду сейчас.

Граф.

Ему письмо от его светлости
Лорд Букингема, первого министра*.

Лорд Пен.

Охотно передам.

*(Берет письмо.)*

Huissier de la porte.

Лорд-мэр и Камеры оратор!

Лорд-оратор

*(в сопровождении двух членов парламента)*

Парламент через нас приветствует
Вас, генерал, с успешным окончаньем
Двух важных поручений короля.
Признательность желая изъявить
Всей Англии, билль пэры утвердили:
Вам, генерал, отвесть в Корнваллисе
Пять тысяч десятин земли
На вечное владенье; документы
Доставим завтра, лорд, мы непременно.

Лорд-мэр.

И добрые граждане Лондона
Участвовать посильно в торжестве
Хотят: вручить гиней пятнадцать тысяч
Великому согражданину, войну
И примирителю волнений
Решили в ратуше сегодня

И вместе с тем мне дали порученье
От имени граждан приветствовать
Вас, генерал, в стенах святого града.

Лорд Пен *(тронутый).*

Благодарите, лорды благородные,
Парламент и граждан. Простите, не
Могу трех слов сказать, — вот эти слезы
Ответом будут пусть моим. Я не
Оратор, не умею речи говорить,
Но война грудь доступна сильным чувствам.

*(Лорды уходят. Лорд Пен, проводив их, подходит к открытому окну. Собравшаяся чернь, увидевши его, кричит:*

Да здравствует лорд Пен, виват, виват!

*Лорд Пен кланяется на все стороны, потом, усталый от торжества, упоенный, садится на свои кресла. Минутное молчание.)*

Роберт Пен.

Вот, лорд, достойная тому награда,
Кто, крови не жалея и трудов,
Двойными лаврами обвил свой меч!
Британец гордый кров оставил свой
И с криком радостным пришел
Заступника благодарить народной чести.

Лорд Пен.

Да, сладостны, Роберт, рукоплесканья
Народа вольного, когда сознанье
В душе живет, что долг исполнен нами
Святой и рыцаря и гражданина.
Благодарю я господа стократно,
Что чести приобщил меня великой —
Кровь лить свою за родину святую.

Пастор.

Оружие благочестивых воев
Всегда благословлял бог сил всемощный.

Его вы войн, лорд Пен, вы побеждали,
За англиканскую воюя церковь;
Ему, ему вы, новый Маккавей,
Детей отпавших стадо покорили.
Его мечом преступников казнили,
И расточился враги его
Пред исполнителем судеб всевышних;
Вам, лорд, и роду вашему всему
Да даст господь благословенье!

Лорд Пен.

Ах, боже мой, увижу скоро Вилля я!
Пять лет мы не видались с лишком...
Чай, как переменился, вырос,—
Тогда ему тринадцать было лет;
Ему в наследие мои победы,
Богатство, слава, имя и почет.
Сэр Эдуард, вы были здесь все время,—
Как вел Вильям себя, скажите мне.

Сэр Эдуард.

Лорд Пен уединенье любит очень;
Последние три года мы его
Почти ни разу не видали.
За книгами в Пентоуне их провел
Ваш сын.

Лорд Пен.

Все это хорошо; однакож
Зачем чуждаться света в молодых
Летах; не кроется ли тут любовь
Какая, сэр?

Сэр Эдуард.

О, нет, подобного
Мы, право, не слыхали ничего.

Huissier *(смущенный).*

Лорд Вильям Пен!

Лорд Пен.

Он сам, ну, слава богу!

*(Входит Вильям Пен в темной и простой одежде особого покроя, шляпа с широкими полями на голове. Лорд Пен бежит навстречу со словами: «Мой Вилль!» — и вдруг останавливается.)*

Что за наряд? Помилуй, в шляпе...

*(Вильям Пен бросается ему на шею со слезами.)*

О, мой отец, как ждал тебя твой Вилль!
Уж не ребенок больше он,
Уже его призвал Христос в свою
Семью. О, радуйся, ликуй, отец!
Высокая, святая жизнь ему раскрылась,
И теплою любовью к человеку
Наполнилась его душа. Меня,
Быть может, он орудием избрал
Тебя к нему привесть в обитель.
Пойдем, отец, пойдем! С тобой хочу
Я быть один; слезами смою я
Кровь неповинных жертв, тобой убитых,
С твоей руки.

*(Бросается на колени.)*

О, господи благий!
Прости ему его победы,
Ведь он в неведенье, в тумане бродит;
Его души, закрытой панцырем
Со дня рожденья, глас избранных
Ни разу не касался; ложные
Служители твои еще младенцем
С пути спасения его столкнули.

Лорд Пен *(мрачно).*

Он сумасшедший!

Пастор *(язвительно)*.

Нет, он — квакер!

Лорд Пен.

Он — квакер! Лорда Пена сын Вилль— квакер?!
Так вот отрада мне готовилась
Какая дома за труды! Змея
В мое отсутствие в любимый мой
Цветок пустила яд.
Ты жалок, Вилль, брось этот вздор
И, ежели ты отравил свиданье,
Раскаяньем утешь, дай радость мне
Простить тебя сегодня, милый Вилль.
Тебе ль отступником быть англиканской
Святой и православной церкви?!
Прощаю я тебя, мой сын, ты увлечен:
Поди, сними ты платье шутовское.

Вильям.

Отец, я не могу надеть другого;
Как я оденусь в ткани дорогие,
Когда другие братья во Христе
И рубища, чтоб наготу покрыть,
Едва имеют?

Лорд Пен.

Слышите, как он урок свой знает!
Учители преступные тобою говорят,
Мерзавцы подлые, вперед по пенсу
Уж рассчитавшие, ограбят только у
Тебя; вот дай мне умереть,
Как вороны, злодеи налетят
На ставленника своего... И ты,
Глупец, настолько их не мог понять!

Вильям *(кротко)*.

Не поноси, отец, людей, тобой
Не знаемых; людское поношенье

Не значит ничего; Христа бранили,
В его лицо плевать дерзали,
А он на небе одесную бога,
И Карл Стюарт, которому к руке
Подходят пэры гордые и лорды,
Перед его святым изображеньем
Колена преклоняет всякий день...

Лорд Пен.

Не думаешь ли ты, что в Лондон я
Приехал слушать проповедь твою?
Сними сейчас дурацкую ты шляпу!
Как смеешь ты передо мной стоять
С покрытой головой?!

Вильям.

Пред господом
Хожу я в этой шляпе;
Земному я отцу небесного
Не больше поклоняюсь.
Но, ежели она препятствует тебе
Моим словам внимать, ее я скину.
*(Снимает.)*
Отец, ты стар, ты к гробу близок,
Жизнь новая начнется скоро для
Тебя, отчет тебе придется дать
Спасителю за странствие земное,
И уж неведеньем нельзя тебе
Отречься. «Меня ты видел,— скажет он,—
И не хотел узнать, не знаю
И я теперь тебя». О, горько будет
Тебе тогда; раскаешься, но поздно.
В былом поправки сделать уж нельзя,
Для искупления не дастся тело вновь.
Меня бранишь за платье ты,—
Подумай сам, и брось ты гордости
Наряд; смиренье подобает нам,
Мы братия одной семьи,

Христос нам повелел служить друг другу,
Своим ученикам он ноги мыл.
Ну как же нам пред братьями в Христе
Богатством, пышностью одежд кичиться?
Зачем в вооруженье ты сидишь?
Зачем нож смертоносный при твоем
Бедре — орудье мук, насилий и страданий?
Кого ты резать хочешь им теперь?
О, брось его! Дымится кровью он.

Лорд Пен.

Мой меч, которым столько славы
Умел я приобресть на поле брани!..
И ты, презренный, смеешь называть
Меня отцом! Пошел же с глаз долой!
Не смей казаться мне, доколе бог
Не вразумит тебя, несчастный! Вон!!

Вильям *(на коленях перед отцом)*.

Не отсылай меня жестоко так,
Ведь я добра тебе хочу, я — сын твой;
Во прахе пред тобой, отец, молю я,
Раскрой моим словам ты душу.

Лорд Пен *(сердито)*.

Ни слова больше, вон ступай! ты слышишь?!
Что ползаешь у ног, как смерд презренный?
Брось квакерство, иль проклинаю я!

Вильям *(обнимает с рыданием его колени)*.

Отец, отец! О, вороти
Ужасное ты слово, чтоб оно
Не пало на главу твою седую.
Заклинаю именем я ангела того,
На нас который с неба светит
Чертами, некогда тебе святыми.
Ужасное возьми назад ты слово;
Соединятся как в моей судьбе

Ее предсмертное благословенье
С твоим проклятием холодным?

*(Лорд Пен, несколько тронутый и боясь, что сожаленье возьмет верх, отталкивает легонько сына и выходит вон. Вильям остается на коленях, рыдая.)*

Слезу я видел на твоей реснице...
Чего же испугался ты, отец?
Но он не слышит, он бежит,
Чтобы от собственного сердца скрыться.
Постой, постой, отец!.. Ушел он, боже!
И под проклятием меня оставил...
Проклятие отца — оно ужасно.
Что сделал я, какое преступленье?
Что ближнего я полюбил, как самого
Себя, что богу жизнь я в жертву отдал,
Меня за то клянет отец родной!

*(Глаза к небу и руки на груди.)*

Ты, господи, меня призвал себе
На службу, изменить не в силах я
Призванья твоего, тебе я жертвую
Отцом — легко ль, ты это видишь сам.

*(Встает и собирается идти. Секретарь лорда Пена входит к нему.)*

Милорд! Вам позабыл родитель ваш
Письмо вручить от лорда Букингема,
И чтоб ответ сказали мне — он приказал.

*(Вильям Пен срывает печать и читает.)*

«Милорд! Спешу уведомить вас, что его величество соизволил приказать мне назначить вас, в пополнение к наградам вашему родителю, камергером при дворе его величества. Поздравляя с такой особенной королевской милостью, я принимаю на себя смелость посоветовать вам явиться к лорду-церемониймейстеру, который объяснит вам вашу должность, ибо завтра вы будете иметь счастие нести шлейф королевы при большом выходе. Ваш покорный слуга *Г. Букингем*».

Вильям *(к секретарю)*.

Принять я не могу — вот мой ответ!

Секретарь *(с ужасом)*.

И это лорду первому министру написать?!

Вильям *(холодно)*.

Пожалуй, хоть Второму Карлу.

*(Уходит.)*

## Сцена IV

Приемная зала лорда Пена; несколько стариков, под председательством лорда Роберта Пена, сидят за большим столом, на котором поставлено распятие и возле — евангелие. Доктор теологии прохаживается по комнате, доктор юриспруденции вполслуха разговаривает с лордом Робертом, стоя за креслами.

Лорд Роберт.

Однако может он и после
Переменить?

Доктор юриспруденции.

Конечно, может всякий
Свой тестамент менять, и Ульпиан
Решительно сказал в шестой статье...

Лорд Роберт.

Да бог с ним, с Ульпианом,
Ведь на него нельзя сослаться,
Как вздумает мой брат Георг...

Доктор юриспруденции.

Но можно ведь предупредить, милорд;
Вы распустите слух, что братец ваш
От горести, что сын его так развратился,
Задумчив стал, заметно повредился,
Alienatio mentalis[1].

[1] помешательство (лат.).— *Ред.*

Лорд Роберт.

Я понимаю, сэр, а если лист
Подпишет квакер наш?

Доктор юриспруденции.

Не может быть,
За это головой ручаюсь вам;
Он горд, да сверх того мечтатель;
И отреченье доктор написал
Такое, что и легат из Рима,
Который в Вормсе был, я полагаю,
За слишком дерзкое его бы счел
Мартину Лютеру подать от папы.

Huissier.

Лорд Вильям Пен!

Лорд Роберт.

Введи его сюда.

*(Вильям Пен входит в своем квакерском наряде и с покрытой головой.)*

Лорд Роберт *(указывая на стул)*.

Сэр Пен, садитесь. Ваш отец,
А мой любезный брат, нас собрал здесь,
Как старших представителей семейства,
Письмом такого содержанья:

*(Читает.)*

«Любезный брат!

Богу угодно было посетить меня ужасной горестью. Мой несчастный сын Вильям, совращенный с пути чести гнусной шайкой сапожника Фокса, предался лжеучению, известному под именем квакерства. Долгое время после первой горестной встречи ждал я его раскающегося в свои объятия; но любовь к родителю потушена сообщниками его. А потому, чувствуя, что силы мои слабеют под бременем сего тяжкого креста, я решился принять окончательные меры. Соберите, любезный брат, всех старших нашего почтенного семейства в субботу и

призовите Вильяма (которого сам я не хочу видеть до исправления) и предложите ему для подписи лист отречения, составленный другом моим доктором теологии Гольдеоугом; буде же он не согласен, буде его не тронет горесть и отчаяние, в которое повергнет старого отца его отказ,— отца, который должен скоро сойти в могилу (*Вильям отирает слезу*), то объявите ему, что я лишаю его, как непокорного сына, всего наследства, не желая, чтобы именье, увеличенное попечениями благородных предков наших, перешло в руки безумной шайки фанатиков (*Вильям принимает опять холодный вид*). Да поможет вам господь в святом деле вашем! Георг Пен».

(*Передает письмо Вильяму.*)

Сэр Вильям Пен, как старший в роде нашем,
Я обращаюсь первый к вам с вопросом:
Намерены ли вы, родителеву волю исполняя,
Отречься от нелепого раскола,
Или, забыв глас чести и любви,
К родителю повиновенья долг
Забыв, вы жертвуете Карлу Фоксу
Отцом, которого убьет отказ,
И состояньем будущим своим?

Вильям (*руку на сердце.*)

Свидетель бог, что я не понимаю,
Чего отец мой хочет от меня;
Я двадцать раз с моленьем и слезами
Сидел на мраморных плитах подъезда,
Но дверь родительского дома, всем
Раскрытая, не отворялась сыну...
Не я бежал от объясненья,
Я пламенно его хочу, но только
С отцом хочу я объясниться,—
Любовь служила б переходным мостом
Меж мной и им. Ведь то порыв был гнева,
Когда ужасное он слово произнес,
Он в нем раскаялся, я это знаю,
И кроткая любовь отца всплыла опять,
Как месяц из-за туч, в его душе.

А с вами мы друг друга не поймем,
Мы говорим на разных языках,
И худо речь моя на ваши фразы
Высокопарные кладется,
И ваши убеждения без веры,
Самих себя обманы и натяжки
Я вряд пойму ли хорошо. Зачем
Сюда отец мой не пришел —
Он богом мне в судьи назначен!

Лорд Роберт *(перебивая)*.

В доброжеланье нашем, стало, вы
Сомненье изъявляете, сэр Пен?

Вильям.

О, нет! Пилат зла не желал Христу,
Но он был человек холодный,
И на Голгофу прямо от него
Пошел Христос; он вымыл руки
И, верно, преспокойно спал ту ночь.

Доктор теологии.

Неведенье писания: землетрясенье было,
И, следственно, он спать не мог.

Вильям.

Хотел сказать я только, что в таких
Делах судей нет хуже, как людей холодных,
Таких, которых колебание земли одно
Из равнодушной косности выводит.

Лорд Роберт.

Скажите прямо и открыто, сэр,
Угодно вам ответ дать или нет?

Вильям.

Какой ответ, какое отреченье
Хотите вы? Ни вы, ни мой отец

Не знаете, в чем правила мои,
А требуете отреченья.
Да сверх того, какие б ни были они,
От убеждений сердца будто можно,
Как от наследства, отказаться?
Узнавши свет, во мрак возврата нет;
И если я скажу: «Не знаю света»,
Я обману отца,— вне воли то моей.
Как сделать то, чтоб я не знал
Того, что знаю? От знания отречься?

(*Докторам.*)

Сообразите вы, ученые мужья;
Ну пусть еще б я, в силу убеждений,
В порок иль в беззаконье впал какое;
Все действия свои я помню очень —
Что ж в них преступного для вас?
Скажите, я готов держать ответ.

Доктор юриспруденции.

Поступок — следствие, причина— образ мыслей,
А в злом и вредном направлении его
Вас именно и обвиняют, сэр.
Законы той страны, в которой вы
Родились, обязывают вас
Повиноваться им беспрекословно.

Вильям.

Когда б не подчинялся я законам,
Перед шерифом я б стоял, не перед вами.
Где ж право обвинять мой образ мыслей,
Когда он не привел меня к пороку?

Доктор юриспруденции.

То есть in facto, sed non in idea[1];
И Катилина Рима сжечь ведь не успел;
Однакож это не мешало Цицерону

[1] в делах, но не в мыслях (лат.).— *Ред.*

Сказать свои «Катилинарии»
И казни требовать его.

Доктор теологии.

Напрасно говорите вы, сэр Пен,
Что исполняете закон; где ж это?
Церковные законы нарушаете
Вы явно словом и делами,
К соблазну верующих христиан.

Вильям *(громко)*.

Я верую в святую троицу,
Отца и сына и святого духа.
Я верую в евангелье Христово
Как в дверь, отверстую к спасенью,
И тщусь, по мере сил и разуменья,
Святой Спасителев завет исполнить.

Доктор теологии.

Прекрасно, сэр, так для чего же вы
Покинули чистейшую Христову дщерь —
Святую и евангельскую церковь,
Молитвами которой Альбион цветет,
Возносится над всеми языками?

Вильям.

По самой той причине, по которой
Полвека вы тому назад отпали
От церкви римской*, православной,
Апостольской, святой, как звали вы ее:
Вам коротка цепь показалась,
Легаты на которой вас держали;
А мне узка и ваша церковь стала,
Когда святое слово я прочел;
Узка уж потому, что молится
За Альбион она один, как ты
Сейчас сказал, а не за всех людей.
Довольно говорил я вашим языком,

Скажу своим, быть может,— бог велик,—
Иное слово западет вам в сердце,
Которое вы заживо в металле,
Как в урне или гробе, бережете
От света солнечных лучей;
А мимо проскользнут мои слова,
То прах я отрясу, как повелел он,
И помолюсь, чтоб удержал карающую руку,
Доколь раскроются глаза у вас.
Пятнадцать уж веков прошло,
Как мы окрещены водою,
Пора нам духом окреститься,
Пора пеленки снять — настало время
Млеко иною пищей заменить.
Прозябло слово и взошло в душах
Людей самоотверженных, избранных:
Они хотят не словом, а делами,
А жизнью быть Христовыми детьми.
Начало сделали вы сами,
Когда железную сломили руку
Вы пестуна того, который принял
Мир христианский из купели;
Он крепко пеленал ребенка,
Младенец вырос и порвал часть уз,—
Вы помогли ему освободиться.
Теперь его уж не скуете вновь.
Ему евангелье вы дали в руки,
И научился он плевелы отличать
От колоса пшеницы божьей.
Хотите вы напрасно свет загородить
Надутыми, без веры и любви, словами
От зорких глаз подросшего младенца.
Скажите сами откровенно лучше,
Не стыдно ль христианами вам зваться?
И не обман ли то позорный, низкий,—
С евангельем в руках теснить
Мильоны бедных, их, как машины,
Заставлять работать для себя,

Их жизни поглощать для прихотей своих,
Грозя голодной смертью и позором,
Коль смеют от земли взор оторвать
И устремить его в мир вышний, горний?!
С евангельем в руках идти перед
Полками кровожадных воев,
И именем Христа, который мир
Принес с небес, забвенье зла, обид,
Любовь — врагу, клянущему — привет,
Благословлять оружье смерти
И уверять, что сам Христос со стороны,
Которая зарежет больше братий?!
Личиной хитрою законности покрыли вы,
Насилье, рабство,
И, святотатства верх,— на слово божие
Вы оперли неправое созданье.
Хотите христианами вы быть,
Так исполняйте слово божье,
А нет, так всенародно, громогласно
Вы отрекитесь от него!

(*Берет со стола евангелие.*)

Тут ясно все, двусмысленности нет,
Не так, как в вычурных проповедях.

(*Читает.*)

«У верующих всех душа была одна;
Они отдельно не имели ничего,
Все было общее, и между ними
Нуждающийся быть не мог;
Имел кто поле, дом, тот продавал,
К стопам апостольским слагая деньги,
Они же неимущей братье раздавали».

Доктор теологии (*важно*).

Глава четвертая «Деяний», знаю!

Вильям.

Вот быт общественный, текущий ясно
Из слов Спасителя; вот видите,

Апостолы как поняли его;
Он заключен, как в семени цветок,
В законе высшем Иисуса:
«Любите ближнего, врага любите».
Вот он вам весь обширный, светлый,
Величественный в простоте своей
Закон любви, Христом завещанный
Апостолам и миру через них,—
И как легок его закон!
Любить естественно нам, как дышать;
Он не теснит, не душит воли,
Не ставит вымышленных граней
И цепью не грозит, как ваш закон,
А всю вселенную дарит.
Куда ни взглянете с любовью,—
Все ваше, все родное, все семья,
Все люди братья, а природа —
Родительский обширный дом,
Где доля каждого равна.
Любите — зло исчезнет без цепей,
Порок собою исключится сам;
Где в чистой жить ему обители
Любви? А вы успели ль покорить его
Ножом, огнем, веревкой и тюрьмой?
Любите братий, вы и бога будете
Любить на небесах и тварей на
Земле, и просветлеет ваша жизнь.
Когда б могли блаженство вы понять —
Любить людей и ими быть любимым,
Когда б могли вы на людей взглянуть,
Как на одну счастливую семью,
Тогда б вы пали на колени все
В восторге лучезарном перед ним;
Уж не молить его, чтоб дал и то и то,
Как делают у вас, а чтоб
Торжественно осанну новую пропеть
Тому, который нам принес
Закон любви краеугольным камнем

Божественного искупления
Людей из плена чувств животных
И из цепей нечистой, темной силы.

Доктор теологии.

Середь хаоса слов, пустых мечтаний
И выражений очень дерзких
Я вижу ясно ваше заблужденье.
Принять вы не хотите, сэр, что церковь
Стремится наша к той же цели
Путем законным, тихим, постепенным;
Вы сами сознаетесь — сделала она
Великий шаг, низвергнув иго Рима.
Нельзя же вдруг людей поднять до той
Любви высокой, о которой говорит
Христос. Вы текст прочли нам из «Деяний»
О первобытном обществе Христовом,
Откуда ж взять в наш развращенный век
Тех чистых и святых мужей, которые
Займут высокое апостольское место?

Вильям.

О, это странно для меня!
Нашлись в невежественной Иудее,
Не озаренной светом слова,
Апостолы, а через ряд веков,
Воспитанных евангельским ученьем,
Нельзя найти нам человека
С любовью пламенной к творцу и людям!
О, если это так, какая казнь
На небе будет ждать тех дерзновенных,
Которые взялись воспитывать
Людей и в мраке их водили!

Доктор теологии.

Не в нашей воле чудеса творить:
Мы делаем что можем для мирян.

Вильям.

Однако он сказал: «Ты с верой
Горе идти вели — пойдет», да веры
В вас ведь нет. Апостолы
Творили чудеса: они имели веру
И к людям беспредельную любовь.
Все помышленья их души, все силы
На поученье слову устремлялись,—
Вот оттого-то слово их имело
Мощь чудотворную,
А вы, рассеянные души,
Служащие двум разом господам,
Ну, где ж вам чудеса творить!
Как фарисеи, буквою
Одной вы заняты закона;
С толпой людей вооруженных,
Вы, большую из братий часть, ограбля,
В подножье бросили себе,
Чтоб вам ступать не грязно было.
Вы их на жертву обрекли
Несчастьям, бедности, насильям;
Себе все светлое вы взяли — им
Работу и страданье в долю дали,
Возможность просветиться отняли
У них! Так это ваше воспитанье?

Доктор теологии.

Различье состояний будет вечно;
Его искоренить нельзя, но мы
Старались милосердье возбуждать всегда
К несчастным, неимущим братьям.

Вильям.

Да!
Отняв и земли и права у бедных,
Златые горы разделив с царями,
Крупицы стали вы бросать народу

С роскошного стола от пресыщенья;
О милостыне проповедать стали,
Чтобы его молчать заставить.
О, тут-то верх коварства вижу я!
Зачем из милости то делать нам,
Принадлежит по праву людям что?
Богатым кто богатство дал, скажите?
Одно насилье, наглое насилье,
Двойной грабеж войны и мира!
Где ж право их? Ужель благий господь
Так учредил свой мир,
Чтоб десятеро пили через край
Все радости земли, а тысячи
Страдали бы, согбенные работой?
Пора окончить мрачную эпоху.
Христос сказал: «Иду рабов
Освободить и попранных воздвигнуть»,
И скоро слово будет делом!
Блаженны грустные — утешатся они,
А вы, несчастные, за злато душу
Продавшие тьмы князю,— горе вам!
«Кто милосердия не знал, не знать тому
Пощады»,— так пишет Яков, божий брат.
Грядет жених и спящих вас застанет
От пресыщений чувственных и лени.
О, кайтесь, время есть пока!
Судья идет,
И приближается сион господень!

*(Все показывают вид негодования.)*

Лорд Роберт.

Безумный бред жильца Бедлама!

Доктор теологии.

«И явятся тогда под именем моим
Антихристы...» Настало исполненье,
Теперь ратуй, божественная церковь!
*(Вздыхает.)*
Враг злее пуритан перед тобой!

Доктор юриспруденции.

Ниспроверженье humanarum[1] всех,
Ac divinarum[2] прав, гражданских, вековых,
Подкоп под быт общественный!
Всегда, конечно, были люди,
Мечтавшие о невозможном,—
Платон и Томас Морус, например;
Но, ежели б вы вникли, лорд,
В науку права и «Corpus Juris»[3] прочитали...

Вильям.

Не верю той науке я, цветет
Которая меж Каракаллой и
Отвратительным паденьем Рима:
Предсмертное они могли боренье
Искусственными формами продлить
Преступной и развратной воли,
А не грядущим поколеньям дать
Незыблемый закон и право.
И что у вас права? Капканы, чтоб ловить
Людей неосторожных, вы которых
На преступленье зовете сами
Общественным нелепым учрежденьем;
Топор и бич — вот ваше право,
И судьи ваши — палачи, от короля
До волостного альдермена*.

Доктор теологии.

Вот уважение к властям! Когда б
Без ухищрений писанье вы читали,
Не смели бы вы порицать власте́й,
Слова апостола припоминая:
«От бога власти все».

---

[1] человеческих (лат.).— *Ред.*
[2] и божественных (лат.).— *Ред.*
[3] «Свод законов» (лат.).— *Ред.*

Вильям.

Я знаю текст;
На нем, мне кажется, и папа римский
Основывал свои права в борьбе
С Мартином Лютером. От бога все,
Все им и чрез него; мы случая не знаем,
Языческая мысль о случае лишь может
В вашем нехристианском мире быть;
И потому, что власти все от бога,
Мы не пойдем с оружьем против них,
Мы реки крови не польем, как Лютер, —
Богоотступным этот путь считаем мы;
Но, покоряясь власти, Павел
Не перестал крестить в святую веру;
Понес он весть благую искупленья
К эллинским племенам, далеко;
То власть была его святая,
Ему врученная от Иисуса,—
Неправое, ветхозаветное
Созданье уничтожить.

Доктор теологии.

Апостолов избрал Христос, и дух
Его призванье подтвердил; а Фокс
С чего попал в апостолы, сапожник?
Призванье он свое докажет чем?

Вильям.

Сапожник Фокс, как Петр-рыбак*,
Святою жизнью, даром слова,
Любовью пламенной к Христу и людям
Свое призванье может доказать.
Коль нет ему благословенья свыше —
Его учение падет, как прах,
Без ваших средств свирепых,
Которыми анабаптистов вы
Терзали, жгли, топили в Нидерландах
Когда ж Христос его благословил,

То ни костром, ни цепью, ни тюрьмой
Общину братства и любви вы не убьете,
Зане и эта власть от бога.
Вот доктор тотчас нам расскажет,
Как в Риме гнали христиан...

Доктор юриспруденции.

При добродетельном Траяне, правда...

Лорд Роберт.

Довольно, господа, мы не на диспут
Теологический пришли; пора
Окончить порученье брата нам.
*(Громко.)*
Довольно ль вы убеждены в падении
Вильяма Пена, безвозвратном, полном?

Все.

О, слишком, слишком, по несчастью!

Роберт *(Вильяму)*.

Подписываете ли отреченье?

Вильям *(твердо)*.

Нет!

Добрый человек из родных.

Еще осталась вам одна минута.
Подумайте, ведь вы лишаетесь
Всех титлов, сэр.

Вильям.

Не всех, я — человек
И сын святой Христовой паствы.

Добрый человек.

Вы нищий будете, ужасна бедность:
Она унизит до работы вас!

Вильям.

Здоров я, слава богу, до сих пор
И смерть голодную миную, стало;
И отчего ж руками не работать мне?
Кто привилегию мне дал
Изнеженным быть тунеядцем?

Добрый человек.

Лишитесь вы отца, Вильям...
О, горьки будут слезы старика!

Вильям.

Ужасно то, и кровь по сердцу льется,
Когда я вздумаю о нем.
Зачем же он привел свою любовь
В зависимость от предрассудков?
Пускай меня лишит наследства —
Вот будет наказанье мне;
Но пусть он призовет меня к себе —
Тем чище, больше буду я его
Любить; тогде не будет между мной
И им расчетов денежных и видов;
Тогда при смертном ложе старика
Не буду я похож на ворона,
Который с нетерпеньем ждет кончины,
Чтоб труп клевать полуостылый.

Добрый человек *(видимо, тронутый)*.

Вы уступите старику немного,
Хотя в одежде и наружных формах;
Сказали сами вы, сэр Вильям,
Что бог еще порядок этот терпит;
Итак, другой ли, тот ли должен быть
Богатым, вас избрала судьба,
Так почему ж не покориться вам?
Не перестроить света вам одним...

Вильям.

Сын человеческий учеником
Предаться должен был. «Но горе,— рек
Христос,— тому, кто на себя возьмет
Ужасное то преступленье,—
Ему бы вовсе лучше не родиться!»
И сверх того, кто верить будет мне,
Когда, подобно вашим я пасторам,
Одно начну учить, другое делать?
Пора, пора жизнь с мыслью помирить,
Окончить судорожный бой
Меж действий, слов и убеждений.

(*Добрый человек пожимает плечами и умолкает.*)

Лорд Роберт (*давно показывавший нетерпенье*).

Все средства мы употребили:
Перед собой и перед богом чисты мы.

(*Встает и все встают.*)

Вильям.

Отца я не увижу?

Лорд Роберт (*дерзко*).

Отца здесь нету у тебя; бездетен
Мой брат Георг.

Вильям.

Они и бога подправляют:
Мне говорят они, что мой отец
Бездетен, оттого что не умеют
Понятье сына от отцовых денег
Отвлечь. Скажите вы ему,
Что я прошу свиданья непременно.

Добрый человек.

Ну, что же, скажем; может быть, лорд Пен...

Лорд Роберт (*с неудовольствием*).

И без того расстроен брат.

Вильям.

Ах, наконец понял я, в чем дело;
О, бедный, бедный мой отец!

Доктор юриспруденции.

С наследством можно вас поздравить, лорд.

Роберт.

Как жаль, как жаль, что он неисправим!

(*Поспешно уходит.*)

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТОЙ ЖЕ СЦЕНЫ.

Сени Пенова дома; Вильям, печальный и задумчивый, выходит; толпа собравшейся черни встречает его свистом и ругательствами:

Отродье подлое ты Пенов славных!
Проклятый квакер! Кистером* тебе б
Родиться, а не сыном полководца.

(*Бросают грязью в него.*)

Пен (*останавливается и говорит кротко*).

И вы против меня! Ах, дети, дети,
Когда б вы понимали, что за вас
Лишился я сейчас отца и достоянья,
Вы покраснели б от души; но я
Вас не виню: вас воспитали так
Злодеи ваши,— им позор и стыд!
Они за ваши все грехи и там
Пред сыном божиим, Христом, ответят.

(*Одному из толпы.*)

Ты, друг любезный, камнем бросил.
Скажи, за что меня побить хотел?

Мужик.

Да что тут толковать: ты — квакер,
Уж надоели смертно нам ханжи,
Все эти пуритане, методисты.

Вильям.

Ну, а почему ж они вам надоели?

Мужик.

Да пользы нет от них от всех;
Толкуют, учат и шумят,
А мы все так же бедны, как и прежде.

Вильям.

А от пасторов ваших польза есть?

Мужик.

Ну, им ведь власть от бога хоть дана;
И как же быть нам без пасторов?
Ведь мы не нехристи, не турки.
А вас кто просит не в свои дела
Вступать?

Вильям.

Послушайте, друзья мои,
Я вам скажу, что квакер значит.
Евангелье читали ль вы когда?

Солдат.

Да ты не предикой ли хочешь угостить?
Довольно скуки было нам при Нолле,
Когда пред каждым взводом офицеры
Чорт знай что городили каждый день.
Нет, опоздал, любезный друг!

*(Общий хохот, свист и ругательства.)*

Вильям.

Возможно ли судить, не слушая?!
Да дайте же сказать, потом...

*(Ругательства удваиваются.)*

Солдат.

Спасибо, друг;
Найди кого-нибудь ты поглупей,
Нам нет досуга толковать с тобой.
Пойдемте-ка в шинок! Как там один
Хромой ирландец лихо мечет кости,
Ах, чорт его возьми!

Все.

Пойдем, пойдем!

Вильям (*смотрит с глубокой горестью им вслед*).

Они не виноваты;
И не тяжел ответ их будет перед богом.

(*Уходит.*)

## Сцена V

Лорд Пен, слабый и больной, сидит в креслах и добрый человек возле; поодаль доктор и лорд Роберт.

Лорд Роберт.

Террасу эту я велю сломать
И сделаю отсюда прямо ход.

<. . . . . >[1]

Добрый человек.

Покойный лорд
Предупредил желанье ваше, сэр,
Он завещанье уничтожил,
И лорд Вильям — единственный наследник.

Лорд Роберт.

Да вы не в белой ли горячке, господин?

---

[1] По свидетельству А. Н. Пыпина, в передаче М. К. Лемке, в этом месте недоставало шести страниц рукописи.— *Ред.*

Добрый человек.

Нотариус, здесь ваше дело; сэр,
Вот документ за подписом друзей
Покойника и самого его.

Лорд Роберт.

Фальшивый документ!

Нотариус.

Рука покойника!

Лорд Роберт.

Он в помешательстве, безумье был.

Нотариус.

Однако доктор подписал.

Доктор.

И даже присягнуть
Готов, что в полном разуме лорд Пен
Составил этот акт,— я сам тут был.

Лорд Роберт.

Да почему ж духовную он просто
Не изорвал, когда хотел, чтоб сын...

Доктор.

Вам горесть повредила память, лорд:
Духовную зачем-то взяли вы с собой.

Лорд Роберт (*отирает холодный пот*).

Ну, слава богу, что он примирился
С Вильямом; очень рад, давно ему
Я говорил... Ох, как расстроен я!
Поеду уж домой: такой удар
Возможно ль перенести,— вы сами люди,—
Лишиться брата и единственного друга!

(*Уходит. Вильям, не бравший никакого участия в происходившем, остается в том же положении перед отцом*).

## ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

## ВИЛЬЯМ ПЕН

### Сцена VI

Фокс, седой, как лунь, и с полуобезвласенным высоким челом, сидит на простой скамье перед столом, на котором лежит Новый завет в большом формате. Что-то апостольское в его спокойной наружности. Вильям сидит по другую сторону; его щеки горят, восторг виден в глазах.

Вильям.

Вот месяц целый, как ни на минуту
Не оставляет эта мысль меня;
Она вплелась так тесно в жизнь,
Что нас разъять уж невозможно.
О, тяжко было мне молчать перед
Тобой, но я хотел сперва обдумать,
Привесть в порядок, обсудить;
Теперь все мной совершено в душе,
Осталось выполнять на самом деле, —
Благослови мою ты речь, отец!

Фокс.

Благословляю именем Христа!

Вильям.

Исполненные веры и любви,
Что делаем мы здесь? Полусловами,
Как вяло, бедно по стезе высокой,
Апостолами проложенной, мы
Идем. Народ не хочет слушать нас,
Богатые нас презирают,
Пасторы каждый шаг нам затруднили.
Пускай бы явно гнали нас, то было б лучше:
Слышна та речь, которая с костра
Иль с эшафота раздается всенародно, —
Она раскроет тысячи сердец
Передмогильным красноречьем;
И этого они нам не дали в удел;

Мы глохнем в темноте, как вешний цвет,
Которому лопушник грубыми
Листами свет загородил, лишь он
Успел родиться и вздохнуть на воле.

Ф о к с.

Ты прав: взошли плевелы вместе с хлебом,
И стало тесно для колосьев;
Но сеятель придет, траву исторгнет,
И на просторе возрастет пшеница.

В и л ь я м.

А до того останется зарытым
Талант, врученный нам от бога,
И этот огнь любви, который рвется
Из тесной груди к брату-человеку.
И эту веру пленную в святое,
Живоначальное Христово слово,
Как в гробе, схоронить в своей душе
И жить, сложивши руки, меж людей
Несчастных, гибнущих от предрассудков;
А между тем жизнь эта коротка,
И гроб раскроется пред нами скоро.

Ф о к с.

Мой сын, тьма не объемлет света,
И не потухнет огнь небесный
От дуновения земли.
В нас возбудил Христос любовь и веру,
Возбудим мы ее в других: мы без
Преемников в могилу не сойдем,
Они докончат начатое нами;
Не в том ведь дело: я ли, ты ли,
Иль третий кто-нибудь укажет путь
В отверстые Спасителем врата;
Насколько власти было нам дано,
Настолько спросится судьей правдивым.

Вильям.

Однако согласись, зачем идти,
Влача цепь тяжкую, коль можем мы
Без всякого насилья снять ее?
Зачем нам силу нашу тратить
В борьбе пустой, коль можем миновать
Ее и силу всю употребить
На насажденье вертограда?

Фокс.

Христос боролся с дьяволом самим:
В борьбе мы силу узнаем и крепнем.
Но дальше говори: не знаю я
Еще, какое средство у тебя
Снять кандалы.

Вильям.

Когда народ господень
В Египте погибал от фараона,
Иегова Моисею повелел
В обетованную страну известь
Его, и в Палестину он повел
Израиль через степь и море.

(*Смотрит проницательно на Фокса.*)

Фокс.

Где нам обетовал господь страну?

Вильям.

Как где? Она готова, ждет она
Сынов господних с девственной душою.
Страна, до коей не касался человек,
Страна обетованья, где Сион
Господень возрастет великолепный,
Как тех краев могучая природа.

Когда второй раз одряхлевший Рим
В предсмертную впадал свою болезнь,
И связи рваться начали Европы,
Сколоченной насильем кое-как,
И части, спаянные неповинной
Народов кровью, расторгались,—
Казалось, рухнуться готов был мир,
Казалось, наставали дни суда
Над новою Гоморрой и Содомом;
Кровавое склонялось солнце в океан,
Тучи черные неслись с востока...
Тогда господь послал пророка своего*
На утешенье гибнущему миру;
Подобно солнцу, он на запад звал.
Узка Европа им была обоим;
Подобно солнцу, всю хотел он землю
Огню божественному причастить
И, перейдя пустыню вод глубоких,
Он крест Христов поставил в новом мире
И подарил для воздеянья людям
Вселенную за океаном бурным.
Вот нам обетованная страна,
Там слово возрастим мы Иисуса
Во всей его красе и вечной славе,
Там, вольные, мы оснуем общину
На равенстве, и братстве, и любви.
Не как испанцы, мы туда поедем,
С мечом и гнусной целью злата,
Не с алчностью британских торгашей,
Чтоб негритянской кровью землю удобрять,
А как апостолы живого слова,
Туда мы нашу веру понесем
И там положим первый камень храму
Во имя распятого Иисуса;
Вдали от европейских поселенцев,
В каких-нибудь лесах, пустынях
Его начнем мы воздвигать.
Он будет вся страна, храм этот,

Где братья поселятся во Христе,
Их счастье будет литургией дивной
На прославленье троицы святой.
Мы, как Христос, отворим двери
Всем страждущим и угнетенным,
За стол садится каждый с нами пусть,
Богата там неистощенная природа;
Пусть идут отовсюду гости,
Обиженные древним миром,
Пускай идут, кто б ни были они,
Им океан обмоет предрассудки,
И братьями они обнимут нас;
Любовью мы залечим раны их,
Любовью пятна с их души сотрем.
О, верь, отец, взойдут мои надежды,
Они — не сон пустой, а божий глас,
Меня избравший волю возвестить
Свою несчастным, бедным детям!
Теперь я понял, для чего господь
Мне кучи злата в руки дал:
Теперь благословляю я богатство,—
Оно орудьем сильным мне дано.
Оставим Англию, отец, пускай
Она свой доживает век,
Как тот скупец, который не хотел
Раздать именье, чтоб идти за богом.

Ф о к с.

Мысль велика твоя, Вильям, не спорю.
Однакоже, мой сын, не забывай:
Христос сперва хотел Израиля
Сынам благую весть сказать,
Чем эллинам; апостолы сперва
Учили в Палестине, где след
Еще креста был виден на Голгофе;
И уж к язычникам тогда пошли,
Когда незыблем был храм иудейский.

Вильям.

Мы сделали для родины все, что
Могли, и не сказал ли он: «В отчизне
Пророка нет своей»?

Фокс.

Сказал, а жизнь
Окончил на кресте в Иерусалиме,
И, если не признал пророком Назарет
Его, то мир признал за сына божья;
Но прежде родины спрошу тебя сам:
Ты почему сознал себя пророком?
Остерегись, мой сын, тут проникает
Врага сильнейшее орудье — гордость.
Едва тебе господь раскрыл глаза,
Как уж себя в пророки посвятил
И будущностью управлять берешься;
Где тут любовь, коль ты страну,
Тебе назначенную богом,
Меняешь на другую, мой Вильям?!
Где вера тут в него, коль сам
Ты жизнью управляешь самовольно?!
Возможно ль, чтоб случайно ты родился
В Британии, когда и волос с головы
Твоей без воли божьей не падет?
И христианское смиренье где,
Когда себя ты зодчим назначаешь
Обители огромной, увенчать
Которая должна труды Христовы?

Вильям.

О, нет, любовь, любовь влечет меня,
Не гордость! Нет, клянусь Христом!!
Горит душа, я не могу, не должен
Оставить втуне голос сильный,
Меня зовущий проповедать слово.
А что ж могу я сделать здесь?

Разве не встретил ты и здесь двух-трех,
Которым привил плод от древа жизни?
«А где вас двое, там и я меж вами».
Зачем же эта жажда ширины,
Деяний громких, достохвальных?
Ведь не для поприща бог создал мир
Тебе, Вильям. Что сделать можешь здесь?
Почем ты знаешь мощь свою: едва
Ты сделал первый шаг — и уж сомненье
Проникло в душу, маловерный.
Я нищим и невеждой вышел к людям
И обратился прямо к ним со словом,
Которым вдохновил меня господь.
Толпа не слушала, но слушали иные;
И, если б я с тобой одним, мой сын,
Сведен был промыслом небесным,
Я жизнь свою благословил б, довольный;
Будь прост, мой сын, и по словам его
Гряди: раздай имение нищим.
Голодный, сирый, неодетый
Ступай с любовию и верой,
Врачуй евангельем больную душу.
Отри слезу вдовы, отдай
Алкающей последний свой кусок
Несчастной сироте, обмой больному рану,
Молись с преступником ты о прощенье
И умирающему принеси
Отраду теплую, надежду на
Христа... Потом учи людей,
Зови на покаяние в грехах,
И тщетным твой призыв, клянусь, не будет.
Трудись в тиши, да только с полной верой,
А будущее богу предоставь,
Зане не знаешь ты судеб его.
Но если ж веры нет, оставь,— и там
Не быть успеха; вера как без дел
Мертва, так мертвы и дела без веры.

Вильям.

Нет, мой отец, я не дерзнул бы камень
Краеугольный храму положить
Без веры и без указанья свыше.
Не сам я в зодчие себя назначил;
В минуту пламенной молитвы,
Когда, перед распятым распростертый,
Я слезы лил об угнетенных братьях,
И чашу горькую да отведет
От них, его молил,— тогда в моей
Груди, торжественна и лучезарна,
Явилася внезапно мысль о новом мире,
И успокоилась душа моя.
Не родину для поприща покинуть,
Но мех для нового напитка новый
Взять он велит, чтоб древо юное
На девственной земле взросло
Без ядовитых старых соков
Развратной европейской почвы.

Фокс.

Ты понимаешь ли ответственность,
Какую на себя возьмет строитель
Евангельской общины в новом мире?
В Америку селились до тебя
Анабаптисты, пуритане;
Однако подвиг что-то их не виден,
Их цель была бежать от притеснений.
Будь осторожен,
Изведай чистоту своей души:
Нехристианский Соломонов храм
Условьем первым зодчему поставил
И всем работающим — чистоту...
Не та ли же развратная Европа
Тебя вскормила на груди своей,
Не принесешь ли ты с собой
Начало заразительных болезней?
Ты вспомни, что в плену рожденные

Страны обетованной не видали;
Они, сам Моисей, нечисты были,
Им рабство запятнало душу,
И Иегова их схоронил в пустыне.
Найдется ль твердость у тебя, мой сын,
С смирением, с невинностью души
Святую мысль твою исполнить?
Не погуби себя — и ты Христов!
А страшные тут будут искушенья:
Ты поведешь в далекую страну
Толпу людей несчастных, бедных,
Ты дашь им корабли на море,
Ты дашь им лес и поле на земле,
Ты дашь закон твоей общине юной;
О, горе, если дух твой вознесется,
И ступишь ты на новый материк
Не так, как брат, один из братьев,
А как глава и как создатель храма,—
Глава, себя избравший сам;
И если в сердце есть твоем
Малейшая хоть доля самолюбья,
Она ведь тоже даст росток,
И силен рост дурной травы.

Вильям.

О нет, поверь мне, мой отец,
Не властелином буду я страны,
Которую на равенстве стремлюсь
Евангельском, незыблемом поставить.
Я землю братьям всю отдам,— себе
Возьму клочок, расчищу сам его
И потеряюсь между братий.

Фокс.

Мирская слава загремит тогда;
В других добру дивиться любят люди;
Для них герой великий тот, кто может
Богатством пренебречь и властью.

И эта слава до тебя дойдет,
И позабудешь ты, что славен он
Один, тебя орудием избравший.
Своею красотой прельстился ангел,
Забыл творца и в себялюбье гордом
Он с неба удалился в преисподню;
Но что ужаснее всего — увлек
В свое паденье легион духов,
Его влиянью подчиненных.

Вильям.

О, если так, отец,
Позволь мне путь лишь указать другим,
Дать средства им.
Я мысль свою не смею скрыть,—
Пророческий то голос, откровенье,—
Ее я должен миру сообщить;
Она не мне принадлежит,— сосуд
Я только избранный, горсть грубая
Земли; в нее же сеятель небесный
Зерно своей пшеницы бросил;
Оно должно взойти, зане уж пало
Из рук державных провиденья.
Но я ль им избранный? — вот в чем вопрос.
Назначь, отец, ты искус трудный, строгий,—
То будут сорок дней пустынных мне;
И если выдержу я твердо их,
Тогда благослови меня на путь;
Тогда уверен будешь ты, что Он
Меня призвал на деланье святое,
Что устроенье вертограда Он
Назначил в Новом свете, а не я.

Фокс.

Не сорок дней готовился Спаситель,—
Часть жизни всей; Христос двенадцати
Был лет, когда закон уж толковал,
Но в тридцать лет явился пред народом

С великой властью искупленья миру,
И тут еще осмелился диавол
В пустыне подойти к нему;
Тем паче мы должны быть осторожны.
Однакож голосом души зачем
Пренебрегать,— согласен в этом я.
Ступай ты проповедать миру свой
Поход крестовый, как пустынник Петр,—
Поход не крови, а любви и братства;
Ступай один, без денег, пеший,
Смирись перед людьми, проси
Кусок насущного ты хлеба,
Терпи отказ, переноси обиды,
Свое ты имя и богатство скрой,
И нищим нищий ты скажи
О новом мире, их зови туда
И слушай, что тебе на это скажут.
Коль дух не возмутится твой
От притеснений и обид,
Коль нищему тебе поверят люди,
Коли пойдут с тобой — веди, мой сын:
Тогда твое призванье подтвердилось.

В и л ь я м *(со слезами бросается ему на шею).*

Иду, иду, благослови, отец!

Ф о к с.

О, горько, горько мне с тобой расстаться!..

1839. Владимир.

## ‹ЧАСОВ В ВОСЕМЬ НАВЕСТИЛ МЕНЯ...›

...Часов в восемь навестил меня некогда бывший мой законоучитель — отец Василий*; он уже не один раз был у меня, и беседа его всякий раз оставляла в моей душе светлый след. Я обнял почтенного пастыря. Когда он давал мне уроки, я не умел вполне оценить этого человека, с его восторженной, чистой душой. Что-то беспредельно торжественное было в беседе нашей; плавным, величественным maestoso окончилась она: благословение пастыря, объятия друга напутствовали меня, слезы души любящей заключили ее. В эти минуты я был достоин принять высокие впечатления. Возбужденная душа раскрывалась всему святому. Взор мой покоился на двери, в которую вышел священник.

...Дверь снова растворилась. Видали ли вы на образах явление девы Марии в какой-нибудь бедной келье изнеможенному старцу-монаху, во всем блеске просветленного образа человеческого, в котором от плоти едва осталось очертание, а дух божественности просвечивает в своей бестелесности? видали ль взор любви и кротости, обращенный на поверженного в прах угодника? и его взор, светящийся восторгом и благоговейным трепетом? Я был тот, которому явилась дева...*; молча протянула она мне руку, я быстро схватил ее...

...Не так ли умирает человек? Посланник божий, светлый, улыбающийся, подойдет к страдальцу, протянет руку, и тело мертво, а душа родилась в царство духа и свободы. Как ясно стало в душе моей, когда я держал ее руку; казалось, не о чем было и говорить, а когда стали говорить, говорили так, ничтожные вещи. *Разлука* укрепила нашу *симпатию*, дала возможность прийти в себя, в сознание, превратиться в сущность

жизни, в самую жизнь. Только тогда пало несколько сильных слов, которые носят в зародыше мир чувствований, мыслей, дел. «Брат,— сказала она, прощаясь,— в дальнем крае помни, что твоя память о ней ей так необходима, как жизнь».

...Мы простились. Время опустило меч свой...

...Я остался с Терентьичем*. Ветеран мой часто рассказывал мне о своих походах и жизни за границей. «Там ведь,— говорил он,— не то, что у нас: города так застроены, что никакого пространства нет (уверяю вас, что не выдумываю), и дома все на один лад; если номер дома забыл, то и проищешь дня два». В лингвистике он тоже был силен. Есть о чем поговорить с бывалым человеком, нечего сказать.

...Иногда в праздничные дни Терентьич подгуляет; он от этого ничего не терял, напротив, приобретал сильный запах сивухи, и тут-то мой ветеран был удивительно гениален. Во все праздничные дни Терентьич получал порцию, да не пьет ее, а в склянку,— сами рассудите, стоит ли из-за полустакана рот марать. Набравши пять-шесть порций, он их употреблял в прикуску с черным хлебом. Так принятые пять порций ответствуют 55. После этого déjeuner sans fourchette[1] усач принимался за трубку. Чубук в полвершка, трубка величиной с горшок для гречневой каши, а табак он покупал листьями *имбирку*, т. е. венгерский, фунт пять копеек, и сам крошил. Вино и табак возбуждали в нем лиризм, и он затягивал свою любимую песню:

Сватался за девушку саратовский купец,
Говорил, житья-бытья двенадцать кораблев,
Думаю, подумаю, не выйду за него...

...Между прочими достоинствами моего воина надобно упомянуть о патенте на ряд крестов и медалей, висевших на его молодецкой груди. Этот патент, не так, как мой на титулярного советника, не на телячьей коже был выпечатан, а на его собственной, прекрупным цицеро сабельных ударов, а знаки препинания были поставлены свинцовыми точками.

———

[1] завтрака без вилки (франц.). Шуточная переделка французского выражения «déjeuner à la fourchette» (легкий завтрак).— *Ред.*

Per me si va nella città dolente[1]*.

(Надпись по дороге в ад).

И колокольчик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой*.

...10 апреля в восемь часов утра явился ко мне дежурный офицер и объявил, что через час я должен отправиться в путь. Он меня застал в сильном раздумье и в сильном волнении, но ни того, ни другого я описать не могу. В душе было что-то торжественное,— правда, грустное, очень грустное, но не отчаянное, напротив, грусть была проникнута сильной верой в будущее. Чувства, колыхавшиеся, как волны морские, в моем сердце, были не по груди человеческой; казалось, они разобьют ее. Я по словам офицера, как по лестнице, начал опускаться на землю и был рад этому, мне становилось тягостно в этом состоянии, так физически неестественно человеку дышать на высокой горе, несмотря на то, что там воздух составлен в 10 раз чище из своих 29 долей жизни и 71 доли смерти, нежели в низменных местах. Вчера вечером я мало и смутно чувствовал, но когда я лег часа в два на постель и потушил свечу, явилась бездна чувств и мыслей. Не знаю, как с другими, а со мною всегда первое впечатление слабее, нежели отчет в этом впечатлении. Погодя немного всякое ощущение является ярче. У меня сердце, как болонский камень; покуда лежит на солнце — не светит, солнце село, ночь пришла — горит камень.

...Пред отъездом я зашел проститься с соседом*; я никогда не был прежде с ним в коротких отношениях, но тут мне и с ним расстаться было жаль: с ним можно было вспомнить былую жизнь, а вскоре меня окружат чужие люди, с которыми у меня ничего общего нет. Потом я взял лоскуток бумаги и написал Natalie: «За несколько часов до отъезда я еще пишу, и пишу к тебе; к тебе будет последний звук отъезжающего; вчерашнее посещение растопило каменное направление, в котором я хотел ехать. Нет, я не камень — мне было грустно ночью, очень грустно! Natalie, Natalie, я много теряю в Москве, все, что у меня есть, и когда увидимся? где? Все темно, но ярко воспоми-

[1] Через меня идут в город скорби (итал.).— *Ред.*

нание твоей дружбы. Не забуду никогда своей прелестной кузины*».

...Терентьич проводил меня за ворота. Я обнял его; у старика навернулись слезы. Я обнял его еще—от души. «Неси, брат, простую душу твою туда, где в одну шеренгу поставят и тебя и фельдмаршала Сакена; мало тебе было дано, мало с тебя и спросится на инспекторском смотру того света. Инвалидный дом там светел, обширен и тепел, места и про тебя будет, а о телесных наказаниях и думать нечего, ты тела туда с собой не возьмешь...»

...Дежурный сел со мной на извозчика, и мы поехали к генерал-губернатору. На лестнице встретился с Лахтиным*, ему назначено было ехать завтра. Он хлопотал об отсрочке и был очень сконфужен. В комнате наверху я нашел моих родных. Жалея их, я скрыл, как тяжело было мне.

...У подъезда стояла дорожная коляска, и мой человек* суетился около чемодана, подпоясанный по-дорожному. Один я не собирался, а ехал. Наконец я в коляске, за заставой — не было сил еще раз выглянуть на Москву, да и бог с ней... Колокольчику отвязали язычок — мы едем. Вдруг провожатый, спокойно куривший трубку, привстал на козлах, снял фуражку и стал креститься, говоря моему камердинеру: «Креститесь, почем знать, увидим ли Кремль и Ивана Великого». Фу! Я бросил извозчику четвертак, чтобы он поскорее ехал, и ямщик поскакал ветер-буря! На другой день я с любопытством смотрел на губернский город*. Воспитанный во всех предрассудках столицы, я был уверен, что за сто верст от Москвы и от Петербурга — Варварийские степи, Несторово лукоморье, и крайне удивился, что губернский город похож на дальний квартал Москвы.

...Вскоре очутились мы на берегах Оки. Она была в разливе; день был ясный, поверхность реки стлалась светло и гладко на несколько верст. Куря сигару, я стоял, облокотясь на жердочку перил, и смотрел, как московский берег отодвигался все далее и далее; глубь, вода, пространство отделяли меня более и более, а тот берег — чуждый — из темносиней полосы превращался в поля и деревни, становился все ближе и ближе, а между тем у меня на московском берегу — всё. Ярче разлуки я никогда не чувствовал. Тихое, покойное движение по воде наводило

само собою грусть. Слезы навернулись на глазах и канули в голубую реку, вздох вырвался и исчез в голубом небе. «Дай-ка фляжку с ромом»,— сказал я человеку, проглотил два-три глотка и продолжал курить сигару; признаться, тяжелое дело спрягаться страдательно, как отлагательные глаголы латинской грамматики. На одной станции я стоял у окна и смотрел, как закладывали коляску; не знаю, как глаза мои попали на оконницу, на ней было написано: «N. O-ff, exilé de Moscou le 9 avril 1835»[1]*; я подписал под ним свое имя и два стиха из Данта:

Per me si va nella città dolente,
Per me si va nell' eterno dolore[2].

Да, ею* идут в страну бедствий, и я задумался о всех вздохах, поглощенных этим воздухом. Вдали от станции стоял этап.

...В Чебоксарах я вымерил всю даль от Москвы. Тут толпы чувашей и татар напоминали близость Азии. На Волге я чуть не утонул. Река была в разливе, переправа верст двадцать. Целая станция. Татарин поднял парус и при сильном ветре не мог сладить с дощаником, наехал на бревно, вода полилась из пробитого места, и минуты две-три я не видел ни малейшей возможности спастись,— верст пять от одного берега, верст десять от другого,— татарин стал читать молитвы, мой человек плакал. В первую минуту я испугался, но ненадолго. Вдруг уверенность в будущность и какая-то непреложная вера победили страх, и я спокойно ожидал развязки. Купеческая барка шла недалеко от нас, мы все стали просить помощи. «Есть нам когда возиться с вами»,— отвечали с барки, и она проплыла. Потом мужик в комяге подъехал, между тем паром встал на мель, и мы были почти спасены. Мужик придумывал, как исправить паром. Его исправили, и мы поехали. Несмотря на сильную бурю с проливным дождем, мы доехали до Казани, где первым действием моим, как только стал на берег, было отправить провожатого за сивухой. Больше двух часов стоял я в воде вершка на три, в апреле месяце, и передрог, как собака.

---

[1] Н. О<гаре>в, высланный из Москвы 9 апреля 1835 (франц.).—*Ред.*

[2] Через меня идут в город скорби, через меня идут на вечные муки (итал.).— *Ред.*

...Холодный утренний ветер дул со стороны Уральского хребта. Рассвело. Я крепко спал в коляске, как вдруг меня разбудил шум и звук цепей. Открываю глаза—многочисленная партия арестантов, полуобритых, окружила коляску*. Башкирец с сплюснутой рожей, с крошечными щелками вместо глаз, нагайкой погонял отсталых. Дети, женщины, седые старики на телегах, и резкий ветер, и утро раннее,— я отвернулся; на дороге стоял столб, на столбе медведь, на медведе евангелие и крест*.

Вскоре быстрая Кама, которая, пенясь, несла льдины, была уже за мною, и я очутился через день в Перми.

...В Перми я пробыл около месяца*, все это время было употреблено на приведение себя в какой-нибудь уровень с окружающим, на определение своих отношений с обстоятельствами и лицами, наконец, на какое-то глупое бездействие.

Я начал разглядывать пустоту жизни, в которую попал. Никогда не выезжая из Москвы да и в самой Москве не видав жизни чиновников, я теперь с большим любопытством рассматривал мир, для меня новый. Губернатор* был настолько великодушен, c'est le terme[1], что не дал мне почувствовать тяжесть моего положения. Он поручил мне дела статистического комитета и оставил в покое. Пермь для меня была ad lectorem[2], настоящий текст — в Вятке. Не думая, не гадая, я уехал из Перми дней через двадцать. Коляска моя была сломана, я выхлопотал право остаться еще на два дня в Перми, и через пять с половиною суток вялая волна Вятки подвигала мой дощаник к крутому берегу, на котором красовалось желтое, длинное, неуклюжее здание губернского правления. Опять fatum[3]! А я грустно подвигался к Вятке, душа предчувствовала много ударов, падений, грязи, мелочей, пыли,— это было в 1835 году 20-го мая вечером...

<Конец 30-х гг.>

---

[1] это самое подходящее слово (франц.).— *Ред.*

[2] предисловием; буквально — «к читателю» (лат.).— *Ред.*

[3] рок (лат.).— *Ред.*

# ЗАПИСКИ ОДНОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА[1]

## ВСТУПЛЕНИЕ

Твое предложение, друг мой*, удивило меня. Несколько дней я думал о нем. В эту грустную, томную, бесцветную эпоху жизни, в этот болезненный перелом, который еще бог весть чем кончится, «писать мои воспоминания». Мысль эта сначала испугала меня; но когда мало-помалу образы давно прошедшие наполнили душу, окружили радостной вереницей,— мне жаль стало расстаться с ними, и я решился писать, для того чтоб остановить, удержать воспоминания, пожить с ними подольше; мне так хорошо было под их влиянием, так привольно... Сверх того, думалось мне, пока я буду писать, подольется вешняя вода и смоет с мели мою барку*.

А странно! С начала юности искал я деятельности, жизни полной; шум житейский манил меня; но едва я начал жить, какая-то bufera infernale[2] завертела меня, бросила далеко от людей, очертила круг деятельности карманным циркулем, велела сложить руки. Мне пришлось в молодости испытать отраду стариков: перебирать былое и вместо того, чтоб жить в самом деле, записывать прожитое. Делать нечего! Я вздохнувши принялся за перо, но едва написал страницу, как мне стало легче; тягость настоящего делалась менее чувствительна; моя веселость возвращалась; я оживал сам с прошедшим: расстояние между нами исчезало. Моя работа стала мне нравиться, я

---

[1] Напечатаны в «Отечественных записках», в последней книжке 1840 и первой 1841 *(примеч. 1862 г.)*.

[2] адский вихрь (итал.).— *Ред.*

увлекался ею и, как комар Крылова, «из Ахиллеса стал Омиром»*; и почему же нет, когда я прожил свою илиаду?.. Целая часть жизни окончена; я вступил в новую область; тут другие нравы, другие люди — почему же не остановиться, перейдя межу, пока пройденное еще ясно видно? Почему не проститься с ним по-братски, когда оно того стоит? Каждый день нас отдаляет друг от друга, а возвращения нет. Моя тетрадка будет надгробным памятником доли жизни, канувшей в вечность. В ней будет записано, сколько я схоронил себя. Но скучна будет илиада человека обыкновенного, ничего не совершившего, и жизнь наша течет теперь по такому прозаическому, гладко скошенному полю, так исполнена благоразумия и осторожности etc., etc. Я не верю этому; нет, жизнь столько же разнообразна, ярка, исполнена поэзии, страстей, коллизий, как житье-бытье рыцарей в средних веках, как житье-бытье римлян и греков. Да и о каких совершениях идет речь? Кто жил умом и сердцем, кто провел знойную юность, кто человечески страдал с каждым страданьем и сочувствовал каждому восторгу, кто может указать на *нее* и сказать: «вот моя подруга», на *него* и сказать: «вот мой друг»,— тот *совершил кое-что*. «Каждый человек,— говорит Гейне,— есть вселенная, которая с ним родилась и с ним умирает; под каждым надгробным камнем погребена целая всемирная история»*,— и история каждого существования имеет свой интерес; это понимали Шекспир, Вальтер Скотт, Теньер, вся фламандская школа: интерес этот состоит в зрелище развития духа под влиянием времени, обстоятельств, случайностей, растягивающих, укорачивающих его нормальное, общее направление.

Какая-то тайная сила заставила меня жить; тут моего мало: для меня избрано время, в нем мое владение; у меня нет на земле прошедшего, ни будущего не будет через несколько лет. Откуда это тело, крепости которого удивлялся Гамлет*, я не знаю. Но жизнь — мое естественное право; я распоряжаюсь хозяином в ней, вдвигаю свое «я» во все окружающее, борюсь с ним, раскрываю свою душу всему, всасываю ею весь мир, переплавляю его, как в горниле, сознаю связь с человечеством, с бесконечностью,— и будто *история* этого выработывания от ребяческой непосредственности, от этого покойного сна на лоне

матери до сознания, до требования участия во всем человеческом, до самобытной жизни — лишена интереса? Не может быть!

Но довольно:

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten,
Die früh sich einst dem trüben Blick gezeigt;
Versuch' ich wohl euch diesmal festzuhalten? [1]*

С восхищеньем переживу я еще мои 25 лет, сделаюсь опять ребенком с голой шеей, сяду за азбуку, потом встречусь *с ним** там, на Воробьевых горах, и упьюсь еще раз всем блаженством первой дружбы; и тебя вспомню я, «старый дом» [2]*:

В этой комнатке счастье былое,
Дружба родилась и выросла там,
А теперь запустенье глухое,
Паутины висят по углам.

Потом и вы, товарищи аудитории, окружите меня, и с тобою, мой ангел, встречусь я на кладбище...*

О, с каким восторгом встречу я каждое воспоминание... Выходите ж из гроба. Я каждое прижму к сердцу и с любовью положу опять в гроб...

Владимир-на-Клязьме.
Весной 1838.

## I

## РЕБЯЧЕСТВО

Das Höchste, was wir von Gott und der Natur erhalten haben, ist das Leben.
Goethe*.

До пяти лет я ничего ясно не помню, ничего в связи... Голубой пол в комнатке, где я жил; большой сад, и в нем множество ворон. Идучи в сад, надобно было проходить сарай; тут обыкновенно сидел кучер Мосей с огромной бородой, который ласкал меня и на которого я смотрел с каким-то подобострастием; с

[1] Опять вы приближаетесь, зыбкие виденья, некогда представшие моему неясному взору... Смогу ли я на этот раз вас удержать? (нем.).— *Ред*

[2] Огарев «Старый дом» написал в 1840 году. Стихи эти прибавил я отдавая Белинскому статью в конце сорокового года *(примеч. 1862 г.)*

[3] Высший дар, полученный нами от бога и природы,— жизнь... Гёте (нем.).— *Ред.*

ним, кажется, ни за какие блага в мире я не решился бы остаться наедине. Тогда при мне уже была m-me Provcau*, которая водила меня за руку по лестнице, занималась моим воспитанием и, сверх того, по дружбе, в свободные часы присматривала за хозяйством. Еще года два-три наполнены смутными, неясными воспоминаниями; потом мало-помалу образы яснеют; как деревья и горы, из-за тумана вырезываются мелкие подробности детства и крупные события, о которых все говорили и которые дошли даже до меня. Помню смерть Наполеона. Радовались, что бог прибрал это чудовище, о котором было предсказано в апокалипсисе, проницательные не верили его смерти; более проницательные уверяли, что он в Греции. Всех больше радовалась одна богомольная старушка*, скитавшаяся из дома в дом по бедности и не работавшая по *благородству*,— она не могла простить Наполеону пожар в Звенигороде, при котором сгорели две коровы ее, связанные с нею нежнейшей дружбой. Рассказами о пожаре Москвы меня убаюкивали; сверх того, у меня были карты, где на каждую букву находилась карикатура на Наполеона с острыми двустишиями, например:

Широк француз в плечах, ничто его неймет,
Авось-либо моя нагайка зашибет,—

и с еще более острыми изображениями, например, Наполеон едет на свинье и проч. Мудрено ли, что и я радовался смерти его? Помню умерщвление Коцебу. За что Занд убил его, я никак не мог понять, но очень помню, что племянник m-me Proveau, гезель[1] в аптеке на Маросейке, от которого всегда пахло ребарбаром с розовым маслом, человек отчаянный и ученый, приносил картинку, на которой был представлен юноша с длинными волосами, и рассказывал, что он убил почтенного старика, что юноше отрубили голову, *и я очень жалел, разумеется, юношу*.

Я был совершенно один; игрушки стали скоро мне надоедать, а их у меня было много: чего-чего не дарил мне дядюшка!* И кухню, в которой готовился недели три обед, готовился бы и до сего дня и часа, ежели б я не отклеил задней стены, чтоб

[1] подмастерье (нем.).— *Ред.*

подсмотреть секрет, и избу, покрытую мохом, в которой обитал купидон, весь в фольге, и lanterne magique[1], занимавший меня всего более... Вот является на стене яркое пятно, и больше ничего; надумаешься тут,—что-то явится в этих лучах славы и вогнутого стекла... вдруг выступает слон, увеличивается, уменьшается, точно живой, иной раз пройдет вверх ногами, чего живому слону и не сделать; потом Давид и Голиаф дерутся и двигаются оба вместе; потом арап, черный, как моська Карла Ивановича, камердинера дядюшки (и она уже умерла, бедная Крапка!). Весело было смотреть на такое общество и вверх головою и вверх ногами. Но недоставало важного пополнения: некому было мне показать его, и потому я часто покидал игрушки и просил Лизавету Ивановну что-нибудь рассказать, смиренно садился на скамеечку и часы целые слушал ее с самым напряженным вниманием. Молчаливость не принадлежала к числу добродетелей m-me Proveau: она не заставляла повторять просьбу и, продолжая вязать свой чулок, начинала рассказ. Вязала она беспрестанно. Я полагаю, если бы сшить вместе все связанное ею в 58 лет, то вышла бы фуфайка ежели не шару земному, то луне (ей же и нужнее для ночных прогулок). Дай бог ей царство небесное! Недолго пережила она Наполеона и умерла так же далеко от своей родины, как он — только в другую сторону. Но что же она мне рассказывала? Во-первых,— это была ее любимая тема,— как покойный муж ее был каким-то метрдотелем в масонской ложе; как она раз зашла туда: все обтянуто черным сукном, а на столе лежит череп на двух шпагах... я дрожал, как осиновый лист, слушая ее. На стенах висят портреты, и, ежели кто изменит, стреляют в портрет, а оригинал падает мертвый, хотя бы он был за тридевять земель, в тридесятом государстве. Потом рассказывала она интересные отрывки из истории французской революции: как опять-таки покойный сожитель ее чуть не попал на фонарь, как кровь текла по улицам, какие ужасы делал *Роберспьер*, — и отрывки из собственной своей истории; как она жила при детях у одного помещика в Тверской губернии, который уверил ее, что у него по саду ходят медведи. «Ну, вот, я и пошла раз уф сад;

[1] волшебный фонарь (франц.).— *Ред.*

клешу, клешу, идет медведь престрашучий... я только — ах! и в обморок», а почтенный сожитель чуть не выстрелил в медведя; кажется, за тем дело стало, что с ним не было ружья; а медведь был камердинер барина, который велел ему надеть шубу шерстью вверх. Господи, как нравились мне рассказы эти... я их после искал в «Тысяче одной ночи»—и не нашел.

В русской грамоте мы оба тогда были недалеки; с тех пор я выучился по толкам*, а Лизавета Ивановна умерла и может доучиваться из первых рук у Кирилла и Мефодия.

Однако горестное время учения подступило. Раз вечером батюшка говорил с дядюшкой, не отдать ли меня в пансион. Фу!.. Услышав это ужасное слово, я чуть не умер от страха, выбежал в девичью и горько заплакал; ночью просыпался, осматривался, не в пансионе ли я, и старался уверить себя, что страшное слово только приснилось. Впрочем, батюшка решился воспитывать меня дома. И воспитанье мое началось, как разумеется, с французской грамоты. М-г Bouchot — первое лицо, являющееся возле Лизаветы Ивановны в деле моего воспитания; вслед за ним выступает Карл Карлович[1]. М-г Bouchot был француз из Меца, а Карл Карлович немец из Сарепты и учил музыке. Параллель этих людей не без занимательности. Мужчина высокого роста, совершенно плешивый, кроме двух-трех пасм волос бесконечной длины на висках, вечно в синем фраке толстого сукна, на стаметовой подкладке,— таков был м-г Bouchot; важность отпечатлевалась не только в каждом поступке его, но в каждом движении (он кланялся ногами, улыбался одной нижней губой); голова у него ни разу не гнулась с тех пор, как перестали его пеленать, а это было очень давно, лет полтораста тому назад. Ко всему этому надобно прибавить французскую физиономию конца прошлого века, с огромным носом, нависшими бровями,— одну из тех физиономий, которые можно видеть на хороших гравюрах, представляющих народные сцены времен федерации*. Я боялся Бушо, особенно сначала. Карл Карлович был тоже высок, но так тонок и гибок, что походил на развернутый английский фут, который на каждом дюйме гнется в обе стороны; фрак у него был серенький, с перламутовыми пуговицами;

[1] Иван Иванович Экк. Он давал долго уроки моему брату, но на меня имел очень мало влияния. Портрет его верен *<примеч. 1862 г.>*.

панталоны черные, какой-то непонятной допотопной материи; они смиренно прятались в сапоги à la Souvaroff[1], с кисточками, и их он выписывал из Саренты; он свободно брал своими сухими, едва обтянутыми сморщившейся кожицей пальцами около двух октав на фортепьяно. Имея такой решительный талант, мудрено ли, что Карл Карлович посвятил себя мусикийскому игранию?* Карл Карлович провел свою жизнь в чистейшей нравственности; это было одно из тех тихих, кротких немецких существ, исполненных простоты сердечной, кротости и смирения, которые, не узнанные никем, но счастливые в своем маленьком кружочке, живут, любят друг друга, играют на фортепьяно и умирают тихо, кротко, как жили. Он был женат в незапамятные времена; я пил малагу на золотой свадьбе его, и, право, старичок и старушка любили друг друга, как в медовый месяц.

Из сказанного можно себе составить понятие о Карле Карловиче: это лицо из легенд Реформации, из времени пуританизма во всей чистоте его. И Бушо был человек добрый, так точно, как лошадь — зверь добрый, по инстинкту, и к нему однако, как к лошади, не всякий решился бы подойти ближе размера ноги и копыт. Он уехал из Парижа в самый разгар революции, и, припоминая теперь его слова и лицо, я воображаю, что citoyen Bouchot[2] не был лишним или праздным ни при взятии Бастилии, ни 10 августа*; он обо всем говорил с пренебрежением, кроме Меца и тамошней соборной церкви; о революции он почти никогда не говорил, но как-то грозно улыбаясь молчал о ней. Холостой, серьезный, важный, он со мной не тратил слов, спрягал глаголы, диктовал из «Les Incas» de Marmontel*, расстанавливал accents grave и aigu[3], отмечал на поле, сколько ошибок, бранился и уходил, опираясь на огромную сучковатую палку; *его никто никогда не бил*[4].

---

[1] по-суворовски (франц.).— *Ред.*

[2] гражданин Бушо (франц.).— *Ред.*

[3] Орфографические знаки франц. языка.— *Ред.*

[4] Это окончание искажено цензурой. Я заключал очерк характеристическим анекдотом. И. И. Энк молодым человеком был сидельцем в саренткой лавке в Москве. Какой-то из диких вельмож того времени разгневался на него и ударил его в щеку. Энк кротко и спокойно подставил другую. Дикий посмотрел на него — и вдруг бросился ему на шею, прося

Несмотря на занимательность педагогов, я скучал; мне некуда было деть мою деятельность, охоту играть, потребность разделить впечатления и игры с другими детьми. Один товарищ, одна подруга была у меня — Берта, полушарлот и полуиспанская собака батюшки. Много делил я с нею времени, запрягал ее, бывало, ездил на ней верхом, дразнил ее, а в зимние дни сидел с нею у печки: я пою песни, а она спит,— и время идет незаметно. Тогда она была уж очень стара, а все еще кокетничала и носила длинные уши с мохнатой коричневой шерстью. Не я один любил Берту: лакей наш Яков Игнатьевич* не мог пережить ее, просто умер с горя и с вина, через неделю после ее смерти. Кроме Берты, был у меня еще ресурс: дети повара, никогда не утиравшие нос и вечно валявшиеся где-нибудь в дряни на дворе. Но с ними играть было мне строго запрещено, и я, побеждая разные опасности, мог едва на несколько минут ускользнуть на двор, чтоб порубить с ними лед около кухни зимою или замараться в грязи летом. Сверх того, я и играть почти не умел с другими: малейшая оппозиция меня бесила, оттого что игрушки не перечили ни в чем; а дети вообще большие демократы и не терпят товарища, который берет верх над ними.

Между тем важные обстоятельства совершились. Лизавета Ивановна занемогла. Домовый лекарь сказал, что это легкая простуда, затопил ей внутренность ромашкой, залепил болезнь мушкой и очень удивился, застав одним добрым утром свою выздоравливающую на столе. Да, она умерла. Карл Карлович был ее душеприказчиком и тогда поссорился с племянником Лизаветы Ивановны, каретником Шмальцгофом, у которого нос был красно-фиолетовый. Как теперь помню ее похороны: я провожал тело старухи на католическое кладбище и плакал.

В жизни моей много переменилось: кончились рассказы Лизаветы Ивановны, кончилось патриархальное царствование ее надо мною; кончилась непомерная благость, с которой она вступалась за обиды, нанесенные мне. Словом, весь прежний быт ниспровергнулся; во время Лизаветы Ивановны ходила за мною няня, столько же добрая, как она, Вера Артамоновна, как две капли воды похожая на индейку в косынке,— такая же шея

прощения. С тех пор он был с ним приятелем до конца жизни. Почему цензура выпустила это? *(примеч. 1862 г.)*.

в складочках и морщинах, тот же вид ingénu [1]. Теперь приставили ко мне камердинера Ванюшку, которому я обязан первыми основаниями искусства курить табак (завертывая его в мокрую бумажку, свернутую трубочкой) [2] и богатой фразеологией, в которой хозяином раскинулся русский дух. Время, в которое ребенка передают с женских рук в мужские,— эпоха, перелом; с мальчиком это бывает лет в семь, восемь, с девочкой лет в семнадцать, восьмнадцать.

Ребячество оканчивалось преждевременно; я бросил игрушки и принялся читать. Так иногда в теплые дни февраля наливаются почки на деревьях, подвергаясь ежедневно опасности погибнуть от мороза и лишить дерево лучших соков. За книги принялся я скуки ради — само собою разумеется, не за учебные. Развившаяся охота к чтению выучила меня очень скоро по-французски и по-немецки и с тем вместе послужила вечным препятствием доучиться. Первая книга, которую я прочел con amore [3], была «Лолотта и Фанфан», вторая — «Алексис, или Домик в лесу». С легкой ручки мамзель Лолотты я пустился читать без выбора, без устали, понимая, не понимая, старое и новое, трагедии Сумарокова, «Россиаду», «Российский феатр» etc., etc. И, повторяю, это неумеренное чтение было важным препятствием учению. Покидая какой-нибудь том «Детей аббатства» и весь занятый лордом Мортимером, мог ли я с охотой заниматься грамматикой и спрягать глагол aimer [4], с его адъютантами être и avoir [5], после того, как я знал, как спрягается он жизнию и в жизни? К тому же романы я понимал, а грамматику нет; то, что теперь кажется так ясно текущим из здравого смысла, тогда представлялось какими-то путами, нарочно выдуманными затруднениями. Бушо не любил меня и с скверным мнением обо мне уехал в Мец. Досадно! Когда поеду во Францию, заверну к старику. Чем же мне убедить его? Он измеряет человека знанием французской грамматики, и то не какой-нибудь, а именно восьмым изданием

---

[1] простушки (франц.).— *Ред.*

[2] Тогда не знали сигареток *(примеч. 1862 г.)*.

[3] с любовью (итал.).— *Ред.*

[4] любить (франц.).— *Ред.*

[5] быть и иметь (франц.).— *Ред.*

Ломондовой, — а я только не делаю ошибок на санскритском языке, и то потому, что не знаю его вовсе. Чем же? Есть у меня доказательство,— ну, уж это мой секрет, а старик сдастся, как бы только он не поторопился на тот свет; впрочем, я и туда поеду: мне очень хочется путешествовать.

Перечитав все книги, найденные мною в сундуке, стоявшем в кладовой, я стал промышлять другие, и провизор на Маросейке, приносивший когда-то Зандов портрет и всегда запах ребарбара с розой, прислал мне засаленные и ощипанные томы Лафонтена*; томы эти совершенно свели меня с ума. Я начал с романа «Der Sonderling» и пошел, и пошел!.. Романы поглотили все мое внимание: читая, я забывал себя в камлотовой курточке и переселялся последовательно в молодого Бургарда, Алкивиада, Ринальдо-Ринальдини и т. д. Но как мое умственное обжорство не знало меры, то вскоре недостало в фармации на Маросейке романов, и я начал отыскивать везде всякую дрянь, между прочим, отрыл и «Письмовник» Курганова* — этот блестящий предшественник нравственно-сатирической школы в нашей литературе. Богатым запасом истин и анекдотов украсил Курганов мою память; даже до сих пор не забыты некоторые, например: «Некий польский шляхтич ветрогонного нрава, желая оконфузить одного ученого, спросил его, что значит обол, парабол, фарибол? Сей отвечал ему...» и т. д. Можете в самом источнике почерпнуть острый ответ.

Полезные занятия Кургановым и Лафонтеном были вскоре прерваны новым лицом. К человеку французской грамоты присоединился человек русской грамматики, Василий Евдокимович Пациферский[1], студент медицины. Господи боже мой, как он, бывало, стучит дверью, когда придет, как снимает калоши, как топает! Волосы носил он ужасно длинные и никогда не чесал их по выходе из рязанской епархиальной семинарии; на иностранных словах ставил он дикие ударения школы, а французские щедро снабжал греческой *h* и русским *ъ* на конце. Но благодарность студенту медицины: у него была теплая

---

[1] Иван Евдокимович Протопопов, он был впоследствии штаб-лекарем в каком-то карабинерном полку; носились слухи, что он был убит во время старорусского бунта* *(примеч. 1862 г.)*.

человеческая душа, и с ним с первым стал я заниматься, хотя и не с самого начала.

Пока дело шло о грамматике, которая шла в корню, и о географии и арифметике, которые бежали на пристяжке, Пациферский находил во мне упорную лень и рассеянность, приводившую в удивление самого Бушо, не удивлявшегося ничему (как было сказано), кроме соборной церкви в Меце. Он не знал, что делать, не принадлежа к числу записных учителей, готовых за билет час целый толковать* свою науку каменной стене. Василий Евдокимович краснея брал деньги и несколько раз хотел бросить уроки. Наконец, он переменил одну пристяжную и, наскоро прочитавши в Гейме, изданном Титом Каменецким*, о ненужной и только для баланса выдуманной части света, Австралии, принялся за историю, и вместо того, чтоб задавать в Шрекке* *до отметки ногтем*, он мне рассказывал, что помнил и как помнил; я должен был на другой день ему повторять *своими* словами, и я историей начал заниматься с величайшим прилежанием. Пациферский удивился и, утомленный моею ленью в грамматике, он поступил, как настоящий студент: положил ее к стороне, и вместо того, чтоб мучить меня местничеством между *е* и *ъ*, он принялся за *словесность*. Повторяю, у него душа была человеческая, сочувствовавшая изящному,— и ленивый ученик, занимавшийся во время класса вырезыванием иероглифов на столе, быстро усвоивал себе школьно-романтические воззрения будущего медико-хирурга. Уроки Пациферского много способствовали к раннему развитию моих способностей. В двенадцать лет я помню себя совершенным ребенком, несмотря на чтение романов; через год я уже любил заниматься, и мысль пробудилась в душе, жившей дотоле одним детским воображением.

Но в чем же состояло преподавание словесности Василия Евдокимовича,—мудрено сказать; это было какое-то отрицательное преподавание. Принимаясь за риторику, Василий Евдокимович объявил мне, что она — пустейшая ветвь из всех ветвей и сучков древа познания добра и зла, вовсе ненужная: «Кому бог не дал способности красно говорить, того ни Квинтилиан, ни Цицерон не научат, а кому дал, тот родился с риторикой». После такого введения он начал по порядку толковать

о фигурах, метафорах, хриях. Потом он мне предписал diurna manu nocturnaque[1] переворачивать листы «Образцовых сочинений», гигантской хрестоматии томов в двенадцать, и прибавил, для поощрения, что десять строк «Кавказского пленника» лучше всех образцовых сочинений Муравьева, Капниста и компании. Несмотря на всю забавность отрицательного преподавания, в совокупности всего, что говорил Василий Евдокимович, проглядывал живой, широкий современный взгляд на литературу, который я умел усвоить и, как обыкновенно делают последователи, возвел в квадрат и в куб все односторонности учителя. Прежде я читал с одинаким удовольствием все, что попадалось: трагедии Сумарокова, сквернейшие переводы восьмидесятых годов разных комедий и романов; теперь я стал выбирать, ценить. Пациферский был в восторге от новой литературы нашей, и я, бравши книгу, справлялся тотчас, в котором году печатана, и бросал ее, ежели она была печатана больше пяти лет тому назад, хотя бы имя Державина или Карамзина предохраняло ее от такой дерзости. Зато поклонение юной литературе сделалось безусловно,— да она и могла увлечь именно в ту эпоху, о которой идет речь. Великий Пушкин явился царем-властителем литературного движения; каждая строка его летала из рук в руки; печатные экземпляры «не удовлетворяли», списки ходили по рукам. «Горе от ума» наделало более шума в Москве, нежели все книги, писанные по-русски, от «Путешествия Коробейникова к святым местам» до «Плодов чувствований» князя Шаликова. «Телеграф» начинал энергически свое поприще и неполными, угловатыми знаками своими быстро передавал европеизм; альманахи с прекрасными стихами, поэмы сыпались со всех сторон; Жуковский переводил Шиллера, Козлов — Байрона, и во всем, у всех была бездна надежд, упований, верований горячих и сердечных. Что за восторг, что за восхищенье, когда я стал читать только что вышедшую первую главу «Онегина»! Я ее месяца два носил в кармане, вытвердил на память. Потом, года через полтора, я услышал, что Пушкин в Москве. О боже мой, как пламенно я желал увидеть поэта! Казалось, что я вырасту, поумнею,

[1] денно и нощно (лат.).— *Ред.*

поглядевши на него. И я увидел наконец, и все показывали, с восхищеньем говоря: «Вот *он*, вот *он*». .....[1]

Чацкий.

Вы помните?

Софья.

Ребячество!

Чацкий.

Да-с, а теперь...

Нет, лучше промолчим, потому что Софья Павловна Фамусова совсем не параллельно развивалась с нашей литературой*...

Бушо уехал в Мец; его заменил m-r Маршаль. Маршаль был человек большой учености (в французском смысле), нравственный, тихий, кроткий; он оставил во мне память ясного летнего вечера без малейшего облака. Маршаль принадлежал к числу тех людей, которые отроду не имели знойных страстей, которых характер светел, ровен, которым дано настолько любви, чтоб они были счастливы, но не настолько, чтоб она сожгла их. Все люди такого рода — классики par droit de naissance[2]; его прекрасные познания в древних литературах делали его, сверх того, классиком par droit de conquête[3]. Откровенный почитатель изящной, ваятельной формы греческой поэзии и выведенной из нее поэзии века Лудовика XIV, он не знал и не чувствовал потребности знать глубоко духовное искусство Германии. Он верил, что после трагедий Расина нельзя читать варварские драмы Шекспира, хотя в них и проблескивает талант; верил, что вдохновение поэта может только выливаться в глиняные формы Батте и Лагарпа; верил, что бездушная поэма Буало* есть Corpus juris poeticus[4]; верил, что лучше Цицерона никто не писал прозой; верил, что драме так же необходимы три единства, как жиду одно обрезанье. При всем этом ни в одном слове Маршаля не было пошлости. Он стал со мною читать Расина в то самое время, как я попался в руки Шиллеровым «Разбой-

[1] Цензурный пропуск ⟨*примеч. 1862 г.*⟩.

[2] по праву рождения (франц.).— *Ред.*

[3] по праву завоевания (франц.).— *Ред.*

[4] Свод законов поэзии (лат.).— *Ред.*

никам»; ватага Карла Моора увела меня надолго в богемские леса романтизма*. Василий Евдокимович неумолимо помогал разбойникам, и китайские башмаки лагарповского воззрения рвались по швам и по коже.

Из сказанного уже видно, что все ученье было бессистемно; оттого я выучился очень немногому и, вместо стройного целого, в голове моей образовалась беспорядочная масса разных сведений, общих мест, переплетенных фантазиями и мечтами. Наука зато для меня не была мертвой буквой, а живою частью моего бытия, но это увидим после. Ко времени, о котором речь, относится самая занимательная статья моего детства. Мир книжный не удовлетворял меня; распускавшаяся душа требовала живой симпатии, ласки, товарища, любви, а не книгу,— и я вызвал, наконец, себе симпатию, и еще из чистой груди девушки.

---

Jetzt mit des Zuckers
Linderndem Saft
Zaehmet die herbe,
Brennende Kraft*.
Schiller[1].

Еще в те времена, когда были живы m-me Прово и m-me Берта, Бушо не уезжал в Мец, а Карл Карлович не улетал в рай с звуками органа, гостила у нас иногда родственница, приезжавшая из Владимирской губернии*; сначала она была маленькая девушка, потом девушка побольше. Приезжала она из Меленок всегда в сопровождении своей тетки, разительно похожей на принцессу ангулемскую и на брабантские кружева; эта тетка имела приятное обыкновение ежегодно класть деньги в ломбард. У меленковской родственницы была душа добрая, мечтательная; девицы вообще несравненно экспансивнее нашего брата, в них есть теплота, всегда греющая, есть симпатия, всегда готовая любить; у них редко чувства подавлены эгоизмом и нет мужского, расчетливого ума. Она в один из приездов своих приголубила меня, приласкала; ей стало жаль, что я так одинок, так без привета; она со мною, тринадцатилетним

[1] Смягчающей сахарной влагой укротите терпкую, жгучую силу. Шиллер (нем.).— *Ред.*

мальчиком, стала обходиться, как с большим; я полюбил ее от всей души за это; я подал ей с горячностию мою маленькую руку, поклялся в дружбе, в любви, и теперь, через 13 других лет, готов снова протянуть руку,— а сколько обстоятельств, людей, верст протеснилось между нами!.. Светлым призраком прилетала она с берегов Клязьмы и надолго исчезала потом; тогда я писал всякую неделю эпистолы в Меленки, и в этих эпистолах сохранились все тогдашние мечты и верования. Она в долгу не оставалась, отвечала на каждое письмо и расточала с чрезвычайной щедростью существительные и прилагательные для описания меленковских окрестностей, своей комнаты с зелеными сторочками и с лиловыми левкойчиками на окнах. Но я мало довольствовался письмами и ждал с нетерпением ее самой; решено было, что она приедет к нам на целые полгода; я рассчитывал по пальцам дни... И вот, одним зимним вечером сижу я с Васильем Евдокимовичем; он толкует *о четырех родах* поэзии и запивает квасом каждый род. Вдруг шум, поцелуи, громкий разговор радости, ее голос... Я отворил дверь: по зале таскают узелки и картончики; щеки вспыхнули у меня от радости, я не слушал больше, что Василий Евдокимович говорил о дидактической поэзии (может, потому и поднесь не понимаю ее, хотя с тех пор и имел случай прочесть Петрозилиусову поэму «О фарфоре»*); через несколько минут она пришла ко мне в комнатку, и после оскорбительного «Ах, как ты вырос!»— она спросила, чем мы занимаемся. Я гордо отвечал: «Разбором поэтических сочинений». Даже красное мериносовое платье помню, в котором она явилась тогда передо мною. Но, увы! времена переменились: она волосы зачесала в косу; это меня оскорбило,— меня с воротничками à l'enfant[1],— новая прическа так резко переводила ее в совершеннолетнюю. Она знала мою скорбь о локонах и в мое рожденье, 25-го марта, причесалась опять по-детски. Чудный день был день моего рождения! Она подарила мне кольцо чугунное на серебряной подкладке; на нем было вырезано ее имя, какой-то девиз, какой-то знак, змеиная голова и проч.; вечером мы читали на память отрывок из «Фингала»,— она была Моина, я Фингал (вероятно, я сюр-

[1] детскими (франц.).— *Ред.*

призом для себя твердил ко дню рожденья стихи), с тех пор еще ни разу я не развертывал Озерова. Ленивее опять пошло ученье: живая симпатия мне нравилась больше книги. Ни с кем и никогда до нее я не говорил о чувствах, а между тем их было уж много, благодаря быстрому развитию души и чтению романов; ей-то передал я первые мечты, мечты пестрые, как райские птицы, и чистые, как детский лепет; ей писал я раз двадцать в альбом по-русски, по-французски, по-немецки, даже, помнится, по-латыни. Она пресерьезно выслушивала меня и уверяла еще больше, что *я рожден быть* Роландом Роландини* или Алкивиадом; я еще больше полюбил ее за эти удостоверения. Отогревался я тогда за весь холод моей короткой жизни милою дружбою меленковской пери. Передав друг другу плоды чувствований, мы принялись вместе читать — сначала разные повести: «Векфильдского священника», «Нуму Помпилия» Флориана и т. п., обливая их реками горючих слез; потом принялись за «Анахарсисово путешествие», и она имела самоотвержение слушать эту, положим, чрезвычайно ученую, полезную и умную, но тем не менее скучную и безжизненную компиляцию в семь томов.

Не знаю, было ли ее влияние на меня хорошо во всех смыслах. При многих истинных и прекрасных достоинствах меленковская кузина не была освобождена от натянутой «сантиментальности», которая прививается девушкам в дортуарах женских пансионов, где они выкалывают булавками вензеля на руке, где дают обеты год не снимать такой-то ленточки; не была она также свободна от моральных сентенций, этой лебеды, наполнявшей романы и комедии прошлого века. Она любила, чтоб ее звали Темирой, и все родственники звали ее так; уж это одно доказывает сантиментальность; просто человек не согласится в XIX веке называться Пленирой, Темирой, Селеной, Усладом. Я вскоре взбунтовался против классического имени, советовал ей, на зло Буало[1], назваться Toinon*, а когда вышла вторая книжка «Онегина», советовал решительно остаться Татьяной,

---

[1] Et changer, sans respect de l'oreille et du son,
Lycidas en Pierrot et Philis en Toinon.
«Art poétique».
<Не считаясь ни со слухом, ни со звуком, называть Лисидаса Пьеро и Филис — Туанон.— «Искусство поэзии» (франц.)>.

А. И. ГЕРЦЕН
Портрет работы А. Л. Витберга, 1836 г.
*Государственная Третьяковская галерея, Москва*

как священник крестил. Перемена имени мало помогла: Таня, попрежнему, при каждой встрече с бледной подругой земного шара делала к ней лирическое воззвание, попрежнему сравнивала свою жизнь с цветками, брошенными в «буйные волны» Клязьмы; любила она в досужные часы поплакать о своей горькой участи, о гонениях судьбы (которая гнала ее, впрочем, очень скромно, так что со стороны ее удары были вовсе незаметны), о том, что «никто в мире ее не понимает». Это — лафонтеновский элемент; не лучше его был и жанлисовски-моральный*: она — меня, который читал чорт знает что,— умоляла не дотрогиваться до «Вертера», рекомендовала нравственные книги и проч. Теперь все это мне кажется смешно, но тогда Таня была для меня валкирия: я покорно слушался ее прорицаний. Она очень хорошо знала свой авторитет и потому угнетала меня; когда же я возмущался и она видела опасность потерять власть, слезы текли у ней из глаз, дружеские, теплые упреки — из уст, мне становилось жаль ее; я казался себе виноватым, и трон ее стоял опять незыблемо. Надобно заметить, девушки лет в 18 вообще любят пошколить мальчика, который им попадется в руки и над которым они пробуют оружие, приготовленное для завоеваний более важных; зато как же и их школят мальчики потом, лет восьмнадцать кряду, и чем далее, тем хуже! Итак, я слушался Тани, сантиментальничал, и подчас нравственные сентенции, бледные и тощие, служили финалом моих речей. Воображаю, что в эти минуты я был очень смешон; живой характер мой мудрено было обвязать конфектным билетом ложной чувствительности, и вовсе мне не было к лицу ваять нравственные сентенции из патоки без инбиря жанлисовской морали. Но что делать! Я прошел через это, а может, оно и недурно: сантиментальность развела, подсластила «жгучую силу» и, следственно, поступила по фармакопее Шиллера[1]; самый возраст отчасти способствовал к развитию нежности. Для меня наставало то время, когда ребячество оканчивается, а юность начинается: это обыкновенно бывает в 16 лет. Ребячья наивная красота пропадает, юношеская еще не является; в чертах дисгармония, они делаются грубее, нет грации, голос

[1] См. эпиграф.

переливается из тонкого в толстый, глаза томны, а подчас заискрятся, щеки бледны, а подчас вспыхнут,— физическое совершеннолетие наступает. То же происходит и в душе: неопределенные чувства, зародыши страстей, волнение, томность, чувство чего-то тайного, неведомого, и вслед за тем юность, восторженный лиризм, полный любви, раскрытые объятия всему миру божьему... Ранний цветок, я скорее достиг этой эпохи, и распукольки в моей душе развернулись в 14 лет; я чувствовал, что ребячество кончилось, а юность началась, и обижался, что никто не замечает перелома в моем бытии. По несчастию, заметил это Василий Евдокимович и начал, в силу того, преподавать мне эстетику, в которой, не тем будь помянут, он был крайне недалек, и тогда же заставил меня писать статьи. Жаль, очень жаль, что, когда мы переезжали из старого дома в новый, пропали эти статьи! С каким наслаждением перечитал бы я их теперь! Чего я ни писал! Были статьи, писанные взапуски с Темирой, были литературные обзоры, и в них я «уничтожал» классицизм. Василий Евдокимович приходил в восторг, поправляя (и немудрено — его же мысли повторялись мною). Я перевел свои обзоры на французский язык и гордо подал Маршалю: «Вот, мол, как я уважаю вашего Буало». Были и исторические статьи: сравнение Марфы Посадницы (то есть не настоящей, а той спартанской Марфы, о которой повесть написал Карамзин) с Зеновией Пальмирской; Бориса Годунова с Кромвелем. Жаль, что я не писал моих сравнений по-французски, а то я уверен, что они были настолько негодны, что попали бы образцами в Ноэлев «Курс словесности», в отделение «Parallèles et caractères»[1].

Так оканчивался период прозябения моей жизни. Вот предыдущее, с которым я вошел в пропилеи юности. Маршаль завещал мне любовь к изящной форме, любовь к Греции и Риму, логическую ясность, историю французской литературы и «Art poétique» Буало, которого первую песнь помню до сих пор; Василий Евдокимович завещал поклонение Пушкину и юной литературе, метафизическую неясность романтизма и тетрадь *писанных* стихов, которые я еще лучше вытвердил на

[1] «Параллели и характеры» (франц.).— *Ред.*

память, нежели Буало; Темира — искреннее, теплое чувство любви и дружбы, слезу о «Векфильдском священнике» и потом о ней самой, когда она осенью уехала в Мелешки. Ergo[1], с одной стороны, классицизм в виде Маршаля, с другой — романтизм в виде Пациферского, и жизнь в виде Темиры,— а в средоточии всего я сам, мальчик пылкий, готовый ко всяким впечатлениям, не по летам умудрившийся, развитый отчасти насильственно или, вернее, искусственно чтением романов и вечным одиночеством.

Так продолжалась моя жизнь до пятнадцатого года.

## II

## ЮНОСТЬ

Respekt vor den Träumen deiner Jugend!
Schiller[2].

Gaudeamus igitur
Juvenes dum sumus!..[3]*

Прелестное время в развитии человека, когда дитя сознает себя юношею и требует в первый раз доли во всем человеческом: деятельность кипит, сердце бьется, кровь горяча, сил много, а мир так хорош, нов, светел, исполнен торжества, ликования, жизни... Удаль Ахиллеса и мечтательность Позы наполняют душу. Время благородных увлечений, самопожертвований, платонизма, пламенной любви к человечеству, беспредельной дружбы; блестящий пролог, за которым часто, часто следует пошлая мещанская драма.

Разум восходит, но, проходя через облака фантазий, он окрашивает, как восходящее солнце, пурпуром весь мир. Освещенье истинное, которое исчезает, должно исчезнуть, но прелестное, как летнее утро на берегу моря. О юность, юность!..

И я в Аркадии родился!*

Беззаботно отдался я стремительным волнам; они увлекли меня далеко за пределы тихого русла частной жизни! Мне

[1] Итак (лат.).— *Ред.*

[2] Уважай мечты своей юности! *Шиллер* (нем.).— *Ред.*

[3] Так будем веселиться, пока мы молоды! (лат.).— *Ред.*

нравились упругие волны, бесконечность; будущее рисовалось каким-то ипподромом, в конце которого ожидает стоустая слава и дева любви, венок лавровый и венок миртовый; я предчувствовал, как моя жизнь вплетется блестящей пасмой в жизнь человечества, воображал себя великим, доблестным... сердце раздавалось, голова кружилась... Право, хороша была юность! Она прошла; жизнь не кипит больше, как пенящееся вино; элементы души приходят в равновесие, тихнут; наступает совершеннолетний возраст, и да будет благословенно и тогдашнее бешеное кипение и нынешняя предвозвестница гармонии! Каждый момент жизни хорош, лишь бы он был верен себе; дурно, если он является не в своем виде. Не люблю я скромных, чопорных, образцовых молодых людей, они мне напоминают Алексея Степановича Молчалина; они не постигли жизни, они не питали теплой кровью своего сердца отрадных верований, не рвались участвовать в мировых подвигах. Они не жили надеждами на великое призвание, они не лили слез горести при виде несчастия и слез восторга, созерцая изящное, они не отдавались бурному восторгу оргии, у них не было потребности друга,— и не полюбит их дева любовью истинной; их удел — утонуть с головою в толпе. Пусть юноши будут юношами. Совершеннолетие покажет, что провидение не отдало так много во власть каждого человека; что человечество развивается по своей мировой логике, в которой нельзя перескочить через термин* в угоду индивидуальной воле; совершеннолетие покажет необходимость частной жизни; почка, принадлежавшая человечеству, разовьется в отдельную ветвь, но, как говорит Жуковский о волне,—

Влившися в море, она назад из него не польется*.

Душа, однажды предавшаяся универсальной жизни, высоким интересам, и в практическом мире будет выше толпы, симпатичнее к изящному; она не забудет моря и его пространства... Но я забываю себя; вот что значит заговорить о юности.

Темира уехала в Меленки. Я долго смотрел на ворота, пропустившие коляско-бричку, в которой повезли ее; день был мертво-осенний. Печально воротился я в свою комнатку и

развернул книгу. Старый друг... опять книга, одна книга осталась товарищем; я принялся тщательно перечитывать греческую и римскую историю. Разумеется, я за историю принялся не так, как за книгу народов, зердало того и сего, а опять как за роман, и читал ее по той же методе, то есть сам выступая на сцену в акрополисе и на форуме. Еще больше разумеется, что Греция и Рим, восстановленные по Сегюру, были нелепы, но живы и соответствовали тогдашним потребностям. Театральных натяжек, всех этих Курциев, бросающихся в пропасти, вовсе не существующие, Сцевол, жгущих себе руки по локоть, и проч. я не замечал, а гражданские добродетели — их понимал. Напрасно нынче восстают против прежней методы пространно преподавать детям древнюю историю, это — эстетическая школа нравственности. Великие люди Греции и Рима имеют в себе ту поражающую, пластическую, художественную красоту, которая навек отпечатлевается в юной душе. Оттого-то эти величественные тени Фемистокла, Перикла, Александра провожают нас через всю жизнь, так, как их самих провожали величественные образы Зевса, Аполлона. В Греции все было так проникнуто изящным, что самые великие люди ее похожи на художественные произведения. Не напоминают ли они собою, например, светлый мир греческого зодчества? Та же ясность, гармония, простота, юношество, благодатное небо, чистая детская совесть; даже черты лица Плутарховых героев так же дивно изящны, открыты, исполнены мысли, как фронтоны и портики Парфенона. Самое триединое зодчество Греции имеет параллель с героями ее трех эпох; так изящное тесно спаяно было у них с их жизнию. Гомерические герои — не дорические ли это колонны, твердые, безыскусные? Герои персидских войн и пелопоннесской не сродни ли ионическому стилю, так, как Алкивиад изнеженный — тонкой, кудрявой коринфской колонне? Пусть же встречают эти высоко изящные статуи юношу при первом шаге его в область сознания, с высоты величия своего вперят ему первые уроки гражданских добродетелей...

Сильно действовало на меня чтение греческой и римской истории. Я скорбел о том, что этот мир добродетелей и энергии давно схоронен, плакал на его могиле, как вдруг более внимательное чтение одного автора, бывшего в моих руках, доказало

мне, что и тот мир, который окружает меня, в котором я живу, не изъят доблестного и великого. Открытие это сделало переворот в моем бытии.

Шиллер! Благословляю тебя, тебе обязан я святыми минутами начальной юности! Сколько слез лилось из глаз моих на твои поэмы! Какой алтарь я воздвигнул тебе в душе моей! Ты — по превосходству поэт юношества. Тот же мечтательный взор, обращенный на одно будущее — «туда, туда!»*; те же чувства благородные, энергические, увлекательные; та же любовь к людям и та же симпатия к современности... Однажды взяв Шиллера в руки, я не покидал его, и теперь, в грустные минуты, его чистая песнь врачует меня. Долго ставил я Гёте ниже его. Для того, чтоб уметь понимать Гёте и Шекспира, надобно, чтоб все способности развернулись, надобно познакомиться с жизнию, надобны грозные опыты, надобно пережить долю страданий Фауста, Гамлета, Отелло; стремленье к добродетели, горячая симпатия к высокому достаточны, чтоб сочувствовать Шиллеру. Я боялся Гёте; он оскорблял меня своим пренебрежением, своим несимпатизированием со мною — симпатии со вселенной я понять тогда не мог. Пусть, думал я, Гёте — море, на дне которого невесть какие драгоценности, я люблю лучше германскую реку, этот Рейн, льющийся между феодальными замками и виноградниками, Рейн, свидетель тридцатилетней войны, отражающий Альпы и облака, покрывающие их вершины. Я забывал тогда, что река вливается тоже в море, в землеобнимающий океан, равно нераздельный с небом и с землею. Гораздо после мощный Гёте увлек меня; я тогда еще не вполне понял его, но почувствовал его *морскую* волну, его глубину, его пространство и (болезнь юности — никогда не знать веса и меры!) на Шиллера взглянул иначе, тем взглядом, которым юноша, приехавший в отпуск, смотрит на добрые черты старца-воспитателя, привыкнув к строгому лицу своего начальника,— немножко вниз, немножко с благосклонностью. Но я скоро опомнился, покраснел от своей неблагодарности и с горячими слезами раскаяния бросился в объятия Шиллера. Им обоим не тесно было в мире,— не тесно будет и в моей груди; они были друзьями — такими да идут в потомство.

Но в ту эпоху, о которой идет речь, я никак не мог понимать Гёте: у него в груди не билось так человечески нежное сердце, как у Шиллера. Шиллер с своим Максом, Дон-Карлосом жил в одной сфере со мною,— как же мне было не понимать его? Суха душа того человека, который в юности не любил Шиллера, завяла у того, кто любил, да перестал!

У меня страсть перечитывать поэмы великих maestri [1]: Гёте, Шекспира, Пушкина, Вальтера Скотта. Казалось бы, зачем читать одно и то же, когда в это время можно «украсить» свой ум произведениями гг. А., В., С.? Да в том-то и дело, что это не одно и то же; в промежутки какой-то дух меняет очень много в вечно живых произведениях маэстров. Как Гамлет, Фауст прежде были шире меня, так и теперь шире, несмотря на то, что я убежден в своем расширении. Нет, я не оставлю привычки перечитывать, по этому я наглазно измеряю свое возрастание, улучшение, падение, направление. Прошли годы первой юности, и над Моором, Позой выставилась мрачная, задумчивая тень Валленштейна, и выше их парила дева Орлеанская; прошли еще годы — и Изабелла, дивная мать, стала рядом с гордой девственницей. Где же прежде была Изабелла? Места, приводившие меня, пятнадцатилетнего, в восторг, поблекли, например, студентские выходки, сентенции в «Разбойниках»; а те, которые едва обращали внимание, захватывают душу. Да, надобно перечитывать великих поэтов, и особенно Шиллера, поэта благородных порывов, чтоб поймать свою душу, если она начнет сохнуть! Человечество своим образом перечитывает целые тысячелетия Гомера, и это для него оселок, на котором оно пробует силу возраста. Лишь только Греция развилась, она Софоклом, Праксителем, Зевксисом, Эврипидом, Эсхилом повторила образы, завещанные колыбельной песнью ее — «Илиадой»; потом Рим попытался воссоздать их по-своему, стоически, Сенекою; потом Франция напудрила их и надела башмаки с пряжками — Расином; потом падшая Италия перечитала их черным Альфиери; потом Германия воссоздала своим Гёте Ифигению и на ней увидела всю мощь его

---

[1] мастеров (итал.).— *Ред.*

Тут недостает нескольких страниц... А досадно; должно быть, они занимательны. Кстати, я не догадался объяснить в предисловии (может быть, потому, что его вовсе нет), как мне попалась эта тетрадь; потому, пользуясь свободным местом, оставленным выдранными страницами, я объяснюсь в *междусловии*, и притом считаю это необходимым для предупреждения догадок, заключений и проч. Тетрадь, в которой описываются похождения любезного молодого человека, попалась мне в руки совершенно нечаянно и — чему не всякий поверит — в Вятке, окруженной лесами и черемисами, болотами и исправниками, вотяками и становыми приставами,— в Вятке, засыпанной снегом и всякого рода делами, кроме литературных. Но должно ли дивиться, что какая-нибудь тетрадь попалась в Вятку?.. «Наш век — век чудес»,— говаривал Фонтенель, живший в прошлом веке... Тетрадь молодого человека была забыта, вероятно, самим молодым человеком на станции; смотритель, возивши для ревизования книги в губернский город, подарил ее почтовому чиновнику. Почтовый чиновник дал ее мне,— я ему не отдавал ее. Но прежде меня он давал ее поиграть черной quasi-датской собаке; собака, более скромная, нежели я, не присвоивая себе всей тетради, выдрала только места, особенно пришедшие на ее quasi-датский вкус; и, говоря откровенно, я не думаю, чтоб это были худшие места. Я буду отмечать, где выдраны листья, где остались одни городки*, и прошу помнить, что единственный виновник — черная собака; имя же ей *Плутус**.

После выдранных страниц продолжается рукопись так[1]:

. . . . . .

Поза, Поза! Где ты, юноша-друг, с которым мы обручимся душою, с которым выйдем рука об руку в жизнь, крепкие нашей любовью? В этом вопросе будущему было упование и молитва, грусть и восторг. Я вызывал симпатию, потому что не было места в одной груди вместить все, волновавшее ее. Мне надобна была другая душа, которой я мог бы высказать свою тайну; мне надобны были глаза, полные любви и слез, которые были бы устремлены на меня; мне надобен был друг, к которому я мог

[1] Белинский показывал рукопись мою цензору до посылки в цензуру. Он отметил несколько мест как совершенно невозможные. Вот что подало мысль их выпустить предварительно и отметить в тексте *<примеч. 1862 г.>*.

бы броситься в объятия и в объятиях которого мне было бы просторно, вольно. Поза, где же ты?..

Он был близок.

В мире все подтасовано; это старая истина; ее рассказал какой-то аббат на вечере у Дидро. Одни *честные* игроки не догадываются и ссылаются на случай. Счастливый случай, думают они, вызвал любовь Дездемоны к мавру; несчастный случай затворил душу Эсмеральды для Клода Фролло. Совсем нет, все подтасовано,— и лишь только потребность истинная, сильная, потребность друга захватила мою душу, он* явился, прекрасный и юный, каким мечтался мне, каким представлял его Шиллер. Мы сблизились по какому-то тайному влечению, так, как в растворе сближаются два атома однородного вещества непонятным для них сродством.

В малом числе моих знакомых был полуюноша, полуребенок, одних лет со мною, кроткий, тихий, задумчивый; печально сидел он обыкновенно на стуле и как-то невнимательно смотрел на окружающие предметы своими большими серыми глазами, особо рассеченными и того серого цвета, который лучше голубого. Непонятною силою тяготели мы друг к другу; я предчувствовал в нем брата, близкого родственника душе,— и он во мне тоже. Но мы боялись показать начинавшуюся дружбу; мы оба хотели говорить «ты» и не смели даже в записках употреблять слово «друг», придавая ему смысл обширный и святой... Милое время детской непорочности и чистоты душевной!.. Мало-помалу слова дружбы и симпатии начали врываться стороною, как бы нехотя; посылая мне «Идиллии» Геснера, он написал маленькое письмецо и в раздумье подписал: «Ваш друг ли, не знаю еще». Перед отъездом моим в деревню он приносил том Шиллера, где его «Philosophische Briefe», и предложил читать вместе... Ах, как билось сердце, слезы навертывались на глазах! Мы тщательно скрывали слезы. «Ты уехал, Рафаил,— и желтые листья валятся с деревьев, и мгла осеннего тумана, как гробовой покров, лежит на вымершей природе. Одиноко брожу я по печальным окрестностям, зову моего Рафаила, и больно, что он не откликается мне»*. Я схватил Карамзина и читал в ответ: «Нет Агатона, нет моего друга». Мы явно понимали, что каждый из нас адресует эти слова от себя, но боялись прямо

сказать. Так делают *неопытные* влюбленные, отмечая друг другу места в романах; да мы и были à la lettre[1] влюбленные, и влюблялись с каждым днем больше и больше. Дружба, прозябнувшая под благословением Шиллера, под его благословением расцветала: мы усвоивали себе характеры всех его героев. Не могу выразить всей восторженности того времени. Жизнь раскрывалась пред нами торжественно, величественно; мы откровенно клялись пожертвовать наше существование во благо человечеству; чертили себе будущность несбыточную, без малейшей примеси самолюбия, личных видов. Светлые дни юношеских мечтаний и симпатии, они проводили меня далеко в жизнь...

(Здесь опять недостает двух-трех страниц).

...В деревне* я сделал знакомство, достойное сделанного в Москве,—я в первый раз после ребячества явился лицом к лицу с природой, и ее выразительные черты сделались понятны для меня. Это отдохновение от школьных занятий было на месте; я закрыл учебную книгу, несмотря на то, что надобно было готовиться к университету. Колоссальная идиллия лежала развернутая передо мной, и я не мог наглядеться на нее: так нова она была мне, выросшему в третьем этаже на Пречистенке. Читал я мало, и то одного Шиллера; на высокой горе, с которой открывались пять-шесть деревенек, пробегал я «Телля» и в мрачном лесу перечитывал Карла Моора,—и, казалось, молодецкий посвист его ватаги и топот конницы, окружавшей его, раздавался между соснами и елями. Но чаще всего я бросал книгу и долго-долго смотрел на окружающие поля, на реку, перерезывающую их, на храм божий, белый, как лилия, и, как лилия, окруженный зеленью. Иногда мне казалось, что вся эта даль — продолжение меня, что гора со всем окружающим — мое тело, и мне слышался пульс ее, и мы вместе вдыхали и выдыхали воздух. Иногда мне казалось, что я совершенно потерян в этой бесконечности — листок на огромном дереве, но бесконечность эта не давила меня, мне было хорошо лежать на моей горе; я понимал, что я дома, что все это родное...

Смешно, что я останавливаюсь на этих подробностях медового месяца моей жизни; я очень знаю, что все видали природу

---

[1] в полном смысле слова (франц.).— *Ред.*

днем и ночью и чувствовали при этом и то и се; что тысячу лет тому назад люди восхищались ею, потому что в ней так же просвечивал на каждой строчке ее творец; но... но... но, пожалуй, воротимся в Москву. Вот глубокая осень, грязь по колено; иное утро подмерзнет, иное — льется мелкий дождь; работы оканчиваются, один цеп стучит в такт; сборы, хлопоты; священник с просвирою и напутственным благословением... староста провожает верхом за десять верст на мирской лошади, чтоб убедиться, что господа точно уехали... Карета вязнет в грязи проселочной дороги, едва двигается, иногда склоняется набок, и всякий раз батюшкин камердинер, преданный, как в «Айванго» Гурт Седрику Саксону, выходит из кибитки и поддерживает карету; а сам такой тщедушный, что десяти фунтов не подымет. Наконец, вот Драгомиловский мост, освещенные лавочки, «калачи горячи»,— и мы в Москве.

Так доехал я чрез Драгомиловский мост до окончания первой части моей юности. Отсюда начинается новая жизнь, жизнь аудитории, жизнь студента; отселе не пустынные четыре стены родительского дома, а семья трехсотголовая, шумная и неугомонная...

## III

## ГОДЫ СТРАНСТВОВАНИЯ

### *От нашедшего тетрадь*

Поместив отрывок из первой тетради «Записок одного молодого человека» в XIII томе «Отечественных записок» (кн. 12, 1840), мы объяснили в приличном «междусловии», как нам досталась тетрадь и как не достались некоторые листы из нее. Теперь пришло нам на мысль поместить отрывок из другой тетради. Между первой и второй тетрадями потеряны годы, версты, дести. Мы расстались с молодым человеком у Драгомиловского моста на Москве-реке, а встречаемся на берегу Оки-реки, да притом вовсе без моста. Тогда молодой человек шел в университет, а теперь едет в город Малинов, худший город в мире, ибо ничего нельзя хуже представить для города, как совершенное несуществование его. *Молодой человек* делается

*просто «человек»* (не сочтите этого двусмысленного слова за намек, что он пошел в лакеи). Завиральные идеи начинают облетать, как желтые листья. В третьей тетради — *полное развитие:* там никаких уже нет идей, мыслей, чувств; от этого она дельнее, и видно, что молодой человек «в ум вошел»; вся третья тетрадь состоит из расходной книги, формулярного списка и двух доверенностей, засвидетельствованных в гражданской палате. Пока вот отрывок из начала второй тетради; будет и из третьей, если того захотят, во-первых, читатели, во-вторых, издатель «Отечественных записок», в третьих... кто бишь в-третьих*, дай бог память... Вспомню, скажу после.

---

So bleibe denn die Sonne mir im Rücken,
. . . . . .
Am *farbigen Abglanz* haben wir das Leben.
«Faust», II Teil[1].

Per me si va nella citta dolente!
Dante, Del' «Inferno»[2].

Я устроен чрезвычайно гуманно. Читая Розенкранцеву «Психологию»*, имел я случай убедиться, что устроен решительно по хорошему современному руководству. Оттого меня нисколько не удивляет, что всякое первое впечатление бывает смутнее, слабее, нежели отчет в нем. Непосредственность — только пьедестал жизни человеческой, и именно отчетом поднимается человек в ту сферу, где вся мощь и доблесть его. В самом деле, не знаю, как с другими бывает, а я никогда не чувствовал всей полноты наслаждения в самую минуту наслаждения (само собой разумеется, что речь идет не о чувственном наслаждении: котлеты в воспоминании, право, меньше привлекательны, нежели во рту). Наслаждаясь, я делаюсь страдателен, воспринимающ. После — блаженство как-то деятельно струится из меня, и я постигаю по этой силе исходящей всю полноту его. То же в горестях: никогда не чувствовал я всей

---

[1] Так пусть солнце остается за моей спиною..... В *красочном отблеске* открывается нам жизнь. «Фауст», II часть (нем.).— *Ред.*

[2] Через меня идут в город скорби. Данте. Из «Ада» (итал.).—*Ред.*

горечи разлуки так сильно, как отъехав несколько станций. Впрочем, такая организация не есть исключительно гуманная; покойник А. Л. Ловецкий, Professor ord. Mineralogiae[1] etc. etc., читал, когда еще был в бренной оболочке, о камне, называемом болонским, который, полежавши на солнце, затаивает в себе свет, а после ночью светится (не знаю, имеют ли то же свойство болонские собаки, но сомневаюсь). Так случилось и теперь; с каким-то тяжело-смутным, дурно-неясным чувством проскакал я 250 верст. Было начало апреля. Ока разлилась широко и величественно, лед только что прошел. На большой паром поставили мою коляску, бричку какого-то конного офицера, ехавшего получать богатое наследство, и коробочку на колесах ревельского купца в ваточном халате, сверх которого рисовалась шинель waterproof[2]. Мы ехали вместе третью станцию, и я рад был встрече с людьми, хотя, в сущности, радоваться было нечему. Офицер рассказывал с необычайною плодовитостью свои похождения в Москве, на Мещанской, с казарменным цинизмом, кричал в интервалах ужасным голосом: «Юрка, трубку!» и бурным потоком слов обдавал каждого смотрителя. Купец ревельский, чрезвычайно похожий на Приапа, был в восторге от геройских подвигов господина офицера и только с чувством глубокой грусти иногда говорил, качая головой: «Хорошо иметь эполеты, а вот наш брат...» Офицер самодовольнс поглаживал усы после такого замечания и еще громче кричал: «Юрка, трубку!»... А я все-таки радовался встрече.

Небо было безоблачно, солнце светило; какой-то особый запах весны носился над водою. Плавно, тихо двинулся паром; разлив простирался верст на десять. Пресненские пруды в Москве были наибольшее количество воды, виденное мною прежде. Меня поразила река. Ревельский Приап вытащил фляжку с ромом и, наливая в крышку, подал мне, говоря: «Я купил этот ром у Кистера в Москве; он очень хорош—пейте! Вам *долго* не придется пить такого рома; *там* продают кизлярку с мадерой за ром... На воде же не мешает». Я выпил, повернулся лицом к воде и оперся на загородку. «Долго не придется»,—

[1] ординарный профессор минералогии (лат.).— *Ред.*

[2] непромокаемая (англ.).— *Ред.*

повторил я, и неопределенные чувства, тяготившие грудь, вдруг стали проясняться; грусть острая, жгучая развивалась и захватывала душу. Я пристально смотрел на гладкую, лоснящуюся поверхность Оки. Московский берег отодвигался далее и далее; глубь, вода, пространство, препятствия меня отделяли более и более... А тот берег — чуждый, неприязненный — из темносиней полосы превращался в поля, деревни становились ближе и ближе.., На московском берегу у меня все: впалые щеки старца, по которым недавно катилась слеза... и другие слезы...* О, боже!.. А на том берегу ничего для меня, ни желания ступить на него, ни воли не ступать. Слезы полились из глаз, это бывает редко со мною, и я опять твердил: «Долго, долго»... Ярче я никогда не чувствовал разлуки. Тихое, спокойное движение по воде само собою наводит грусть; река была каким-то олицетворением препятствий и их возрастания, рубежей и их непреодолимости, семи тяжелых замков, которыми запирается все милое. Потом прошедшее осенило меня как бы в утешение, и грустная, но вспрянувшая душа придавала ему чудное изящество: образ друга, окруженный светом заходящего солнца на горах, образ девы-утешительницы, окруженный полумраком среди надгробных памятников кладбища, слетели с неба. Когда они были близко, когда я мог осязать их, они были еще люди; разлука придала им идеальную невещественность; они мне казались тогда светлыми видениями... И я был даже счастлив в эти минуты тяжкой грусти...

Паром стукнулся и остановился. Офицер хотел перескочить на берег прежде, нежели положили доску, и по колени увяз в грязи.

— Может ли что-нибудь быть ужаснее! — кричал он, бесясь от досады.— Юрка, Юрка!

— Может,— отвечал я. Но ему было не до моих возражений.

«А что?» — спросите вы.

Быть отложительным глаголом латинской грамматики и спрягаться *страдательно*, не будучи страдательным.

На Волге я чуть не потонул,— однакож не потонул, что очень хорошо.

Наконец, после разнообразнейших приключений, я благополучно стал на якоре перед городом Малиновым, и его-то

именно я хочу описать. Жаль только, что у меня голова устроена как-то бессмысленно. Плано Карпини, например, рассказывает свое путешествие*, как по писанному, и, сказав в начале: «Dicendo de cibis dicendum est de moribus»[1], знает уже, что как опишешь десерт, так и следует о нравах. Я, сколько ни думал, не придумал, в какой порядок привести *любопытные* отрывки из моего журнала, и помещаю его в том виде, как он был писан.

## Патриархальные нравы города Малинова

*ПОСВЯЩАЮ ПАМЯТИ КУКА*
*И ЕГО (ВЕРОЯТНО) ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ДЮМОН-Д'ЮРВИЛЮ,*
*CAPITAINE DE VAISSEAU* [2].

Великие океаниды!* Вы не пренебрегали бедными островами, которых все население составляют гадкие слизняки, две-три птицы с необыкновенным клювом и столб, вами же поставленный. Отвергнете ли вы город Малинов?

Тщетно искал я в ваших вселенских путешествиях, в которых описан весь круг света, чего-нибудь о Малинове. Ясно, что Малинов лежит не в круге света, а в сторону от него (оттого там вечные сумерки). Я не видал всего круга света и, будто в пику вам и себе, видел один Малинов [3],—посвящаю его вам и себя с ним повергаю на палубу ваших землеоблетающих фрегатов.

Summa cum pietate etc., etc., etc.[4]

---

...Паром двигался тихо; крутой берег, где грелось на солнце желтое, длинное здание присутственных мест, едва приближался, и мне было грустно,— разлука или предчувствие были причиною, не знаю; вероятно, то и другое. Для меня въезд в

---

[1] Сказав о пище, надо сказать о нравах (лат.).— *Ред.*

[2] капитану первого ранга (франц.).— *Ред.*

[3] Правдивость заставляет сказать, что до меня один путешественник был в Малинове и вывез оттуда экземпляр бесхвостой обезьяны, названной им по-латыни Bedovik*. Она чуть не пропала между Петербургом и Москвой. (См. «Отечественные записки», 1839, т. III, отд. III, стр. 136—245, «Бедовик»).

[4] С высшим благоговением и т. д., и т. д., и т. д. (лат.).— *Ред.*

новый город всегда полон дум, и дум торжественных; кучка людей, живущих тут, не имела понятия обо мне, я — об них; они родились, выросли, страдали и радовались без меня, я без них,— и вдруг наши жизни коснутся, и, почему знать, может, в этой кучке найду я себе друга, который проведет меня через всю жизнь, врага, который пошлет пулю в лоб. Если же и ничего этого не будет, все же их жизни для меня раскроются, и я, как деятельный элемент, войду в круг чуждый, и почему знать, как подействую на него, как он подействует на меня...

Паром остановился, коляску заложили, и я въехал в богом хранимый град Малинов, шагом тащась на гору по глинистой земле. Благочестивый город не завел еще гостиницы; я остановился на постоялом дворе, довольно грязном и чрезвычайно душном. Первым делом было раскрыть окно: низенькие домики стоят по обеим сторонам улицы, травка растет возле деревянных тротуаров, и изредка проезжают, особым образом дребезжа, какие-нибудь желтые или светлозеленые дрожки, деланные до француза. «Должно быть, эти люди в простоте душевной живут себе тихо и хорошо,— думал я и (так как это было на другой год после университета) прибавил: — Beatus ille qui procul negotiis[1]* ездит по улицам, на которых растет трава».

Так как идиллическое расположение не могло меня насытить, я спросил хозяина, что у него есть съестного. «Есть, пожалуй, рыба славная».— «Дай рыбу!» Он принес через полчаса кусок рыбы с запахом лимбургского сыра; я люблю, чтоб каждая вещь пахла сама собою, и потому не мог в рот взять рыбы. «Еще что есть?» — «Да ничего, *пожалуй*, нет». Хозяйка пожалела обо мне и из другой комнаты, минут через пять, принесла яичницу, в которой были куски сыромятной кожи, состоявшие в должности ветчины, как надобно думать. Делать было нечего: я наелся яичницы. Так как дело шло к вечеру, а я был разбит весенней дорогой, то и лег спать.

Через неделю

Я переехал из нечистого постоялого двора на нечистую квартиру одного из самых больших домов в городе. Дом этот состоит

[1] Блажен тот, кто вдали от дел (лат.).— *Ред.*

из разных пристроек, дополнений, прибавлений и отдается внаймы разным семьям, которые все пользуются садом, заросшим крапивою и лопушником. Вчера вечером мне вздумалось посетить наш парк; я нашел там, во-первых, хозяина дома, во-вторых, всех его жильцов. Хозяин дома — холостой человек, лет 45, отрастивший большие бакенбарды для того, чтоб жениться, болтун и дурак,— дружески адресовался ко мне и тотчас начал меня рекомендовать и мне рекомендовать. Тут был какой-то старик подслепый, с Анной в петлице нанкового сюртука, отставленный член межевой конторы; какая-то бледная семинарская фигура с тем видом решительного идиотизма, который мы преимущественно находим у так называемых «ученых»,— и в самом деле это был учитель малиновской гимназии. Межевой член, поднося мне табатерку, спросил:

— Изволите служить?

— Теперь нет; дела мои требовали, чтоб я покинул службу на некоторое время.

— А, смею спросить, имеете чин?

— Титулярный советник.

— Боже мой! — сказал он с видом глубокого оскорбления. Я думаю, вы не родились, а я уже был помощником землемера при генеральном межевании,— и мы в одном чине! Хоть бы при отставке дали асессора! Един бог знает мои труды! Да за что же вас произвели в такой ранг?

Мне было немножко досадно; однако, уважая его лета, я ему объяснил университетские права. Он долго качал головою, повторяя:

— И служи после этого до седых волос!

В то время, когда участник генерального межевания страдал от университетских прав, учитель гимназии принял важный вид и самодовольно заметил, что и он, на основании права лиц, окончивших курс в одном из высших учебных заведений, состоит в девятом разряде, протянул мне руку, как гражданин rispublicae litterarum[1] своему согражданину. Человек этот чрезвычайно безобразен, нечист, и, судя по видимым образчикам его белья, надобно думать, что он меняет его только в день Кассиана-римлянина*.

[1] литературной республики (лат.).— *Ред.*

— Какого факультета-с?

— Математического.

— И я-с; да, знаете, трудная наука, сушит грудь-с; напряжение внимания очень нездорово; я оставил теперь математику и преподаю риторику...

Хозяин потащил меня, перерывая педагога, рекомендовать дамам; вообще он старался показать, что со мною старый знакомый, и, какие границы я ни ставил его дружбе, она, как все сильные чувства, ломала их.

— Вот наш столичный гость,— кричал он *прекрасному полу*, сидевшему под качелями, решительно похожими на виселицу.

Старуха, с померанцевыми лентами на чепце, начала меня тотчас расспрашивать о Москве и о *Филарете*. Потом звала приходить к ним *поскучать* и, указывая на трех барышень, из которых две смотрели мне прямо в глаза, а третья, довольно хорошенькая, сидела поодаль с книгой, объявила, что это ее дочери. Учитель гимназии приступил ко мне с неотступной просьбой идти к нему чай пить. Дивясь такой необыкновенной учтивости, я пошел. Учитель привел меня в комнату, в которой сидела премолоденькая женщина и, сказав: «Се ма фам»[1], прибавил: «Прошу без церемонии трубочку фаллеру; у нас, ученых, нет церемоний». Жена его премиленькая и проста до бесконечности; она говорила, что ей скучно жить на свете, что хочет умереть, и при этом делала такие предсмертные глазки, что мне пришли в голову фантазии, совершенно противоположные смерти; впоследствии я убедился, что я не так далек был от ее мыслей в этой противоположности.

Конечно, все это смешно; но где же найдешь в большом городе такое радушие, гостеприимство? Люди всегда судят по наружности; что за дело до формы[2]!

---

[1] Это моя жена (франц.).— *Ред.*

[2] Наперед предуведомляем читателей: мы уверены, что неизвестный нам автор «Записок» все предыдущее и последующее в этой статье о городе Малинове просто *выдумал* и что ничего из рассказываемого им в действительности не было и быть не могло, точно так же, как нет и никогда не бывало в мире города *Малинова*, которого не найдете ни на каких картах древнего и нового света.— Р е д. «Отечественных записок». К а к о в м а х и а в е л л и з м. ‹*Слова* «Ред. „Отечественных записок". Каков махиавеллизм» — *прибавлены Герценом в 1862 г.*›.

Жаль, право, что эти добрые люди так сплетничают; это отнимает всю охоту ходить к ним. Я начинаю думать, что все гостеприимство их основано на скуке; они друг другу страшно надоели, и новый приезжий, особенно из столицы, для них акробат, фокусник, обязанный занимать их, рассказывать им новости; за это они строят ему куры, кормят на убой, поят донельзя, заставляют для него дочерей петь, аккомпанируя на пятиоктавном фортепьяно с сковородными звуками. Когда выспросят его обо всем, и тогда даже интерес его далеко не исчерпан: они начинают всеми средствами узнавать о его делах, о его родных; иные делают это из видов; например, старуха-советница, живущая против меня (я каждое утро вижу, как она, повязанная платком, из-под которого торчат несколько седых волос в палец толщиною, осматривает свое хозяйство), познакомилась у ворот с моим камердинером, Петром Федоровичем, и спрашивала его, женат я или нет, и если нет, имею ли охоту и склонность к браку. В это время выбегала за нею (разумеется, не нарочно) дочка, рыжая и курносая, у которой не только на лице, но и на платье были веснушки. Другие находят просто поэтическое удовольствие в том, чтоб знать все домашние дела новоприбывшего...

Через месяц.

Был на большом обеде у одного из здешних аристократов. Ужасно смешно все без исключения, начиная от хозяина в светлолоянтовом фраке и с волосами, вычесанными вгладь, до кресел из цельного красного дерева, тяжеле 10-фунтового орудия, украшенных позолоченной резьбою, в виде раковин и амуров. Торжественной процессией отправился beau monde[1] в столовую: губернатор с хозяйкой дома вперед; за ним все в почтительном расстоянии и в том порядке, в каком чиновники пишутся в адрес-календаре. Толпа лакеев, в каких-то чижового цвета сюртуках, пестрых галстухах и с бисерными шнурками по жилетам, суетились за стульями под предводительством дворец-

[1] светское общество (франц.). — *Ред.*

кого, которого брюхо доказывало, что он вполне пользуется правом есть с барского стола. Из-за полузатворенной двери выглядывала босая баба, одетая в грязь, с тарелкой в руке и с полотенцем. Вице-губернатор хотел было сесть за второй стол, за которым поместились барышни и молодые люди; но старуха, мать хозяина, начала кричать: «Помилуйте, Сергей Львович, что вы делаете, куда это вы сели?»— «Да разве вы меня считаете стариком?» — «Ох, батюшка,— отвечала старуха,— летами-то ты молод, да чин-то твой стар». Малинов смело может похвастать порядком распределения мест за обедом.

Главное действующее лицо за обедом был доктор, сорок лет тому назад забывший медицину и учившийся пятьдесят лет тому назад в Геттингене. Он поехал в Россию с твердым убеждением, что в Москве по улицам ходят медведи и, занесенный в Малинов немецкой страстью пытать счастья по всему белому свету, обжился здесь, привык и остался дожидаться, пока расстройство животной экономии и засорение vasorum absorbentium[1] превратит его самого в сор. Этот старичок, весьма веселый и крошечного роста, лукаво посматривал серенькими глазками, острил в глаза над всеми, шутил, отпускал вольтеровские замечания, смешил двусмысленностями и приводил в ужас материализмом. При этом он умел принимать такой вид клиентизма и уничижения, такой вид бономии[2] и самоуничтожения, что его вылазки даже на особу его превосходительства принимались милостиво. Я воображаю, что подобную роль играли жиды в замках рыцарей, когда они им были нужны. Его все любили, и он всех любил. Это поколение родилось, выросло, занемогло, выздоровело при нем, от него; он не только знал их наружность, но знал внутренности — и еще больше, нежели наружность и внутренности,— я заметил это по некоторым сардоническим взглядам, от которых пылали некоторые щечки.

За обедом первый тост пили за *здравие* его превосходительства, с благоговейным чином, вставши. Доктор сложил руки на груди и сказал: «Ваше превосходительство, ну могу ли я откровенно пить такой ужасный тост для меня?»... Все захохотали;

---

[1] всасывающих сосудов (лат.).— *Ред.*

[2] добродушия, от bonhomie (франц.).— *Ред.*

чиновники качали головой, будто говоря: «Экий смельчак!»— и я хохотал, потому что в самом деле выходка была смешна.

Когда кончился обед с своими 26 блюдами и 15 тостами, все бросились к карточным столам. Барышни столпились в угол залы. Доктор, следуя гигиеническим правилам, еще возложенным в Геттингене и от которых он никогда не отступал, стал ходить из угла в угол по комнате, всякий раз стреляя остротами, когда подходил к барышням. Я ушел.

Через полтора месяца.

Жена почтмейстера, принимающая во мне родственное участие, сказала, что на меня дуется весь город, зачем я не делал визитов. Без вины виноват! Мне отроду не приходила в голову возможность ехать в незнакомый дом. Завтра нанимаю я у хозяина дома дрожки (досадно только, что они обиты кирпичного цвета сукном) и еду.

На другой день.

Везде приняли, как родного, и потчевали водкой. Право, они предобрые люди! Глупы ужасно — ну, да что ж делать. Дамы намекали что-то на то, что я прежде познакомился с почтмейстершей. Какое внимание ко мне! Немного досадно, что они так дурно думают о моем вкусе. Жена тощего учителя в тысячу раз милее и ближе к натуре. Вчера мы с ней гуляли по саду в лунный вечер. Луна и здесь так же сантиментальна, как везде. В саду есть беседка, из окон которой прекрасно смотреть на луну...

Через полгода.

Бедная, жалкая жизнь! Не могу с нею свыкнуться... Пусть человек, гордый своим достоинством, приедет в Малинов посмотреть на тамошнее общество — и смирится. Больные в доме умалишенных меньше бессмысленны. Толпа людей, двигающаяся и влекущаяся к одним призракам, по горло в грязи, забывшая всякое достоинство, всякую доблесть; тесные, узкие понятия, грубые, животные желания... Ужасно и смешно! В природе есть какая-то сардоническая логика, по которой она безжалостно развивает нелепости чрезвычайно последо-

вательно. И именно в этих-то развитиях тесно спаян, как в шекспировских драмах, глубоко трагический элемент с уморительно смешным. И жаль их от души, и не удержишься от смеха... Бедные люди! Они под тяжелым фатумом; виноваты ли они, что с молоком всосали в себя понятия нечеловеческие, что воспитанием они исказили все порывы, заглушили все высшие потребности? Так же не виноваты, как альбиносы, которые вдыхают в себя северный болотный воздух, лишающий их сил и заражающий их организм.

И этот мир нелепости чрезвычайно последовательно учредился, так, как Япония, и в нем всякое изменение на сию минуту невозможно, потому что он твердо растет на прошедшем и верен своей почве. Вся жизнь сведена на материальные потребности: деньги и удобства — вот граница желаний, и для достижения денег тратится вся жизнь. Идеальная сторона жизни малиновцев — честолюбие, честолюбие детское, микроскопическое, вполне удовлетворяющееся приглашением на обед к губернатору и его пожатием руки.

Утром Малинов на службе; в два часа Малинов ест очень много и очень жирно, что и обусловливает необходимость двух больших рюмок водки, чтоб сделать снисходительным желудок. После обеда Малинов почивает, а вечером играет в карты и сплетничает. Таким образом жизнь наполнена, законопачена, и нет ни одной щелки, куда бы прорезался луч восходящего солнца, в которую бы подул свежий, утренний ветер. И что меня выводит пуще всего из себя—это удушливое однообразие, это отвратительное semper idem[1]. Ежели танцуют — всё те же кавалеры и те же фраки; иногда меняются перчатки. Как теперь вижу красное платье, цвету давленой брусники, на жене директора гимназии; это платье пятьдесят раз мелькало передо мною в разных временах года, в разных обстоятельствах жизни, в разных танцах; даже мне памятен особый, померанцевый запах от него, вроде кюрасо. И говорят все одно и то же. Всякий вечер играют четыре мученика друг с другом в бостон, и всякий раз одни и те же остроты. Один скажет «пришестном» вместо шесть, «не вист, а вистище» — и трое других

[1] всегда одно и то же (лат.).— *Ред.*

хохочут, всякий раз! Да ведь это ужасно! Человечество может ходить взад и вперед, Лиссабон проваливаться, государства возникать, поэмы Гёте и картины Брюллова являться и исчезать,— малиновцы этого не замстят. Наполеону надобно было предпринять поход 1812 года и пройти несколько тысяч верст сам-полмиллиона для того, чтоб обратить на себя их внимание. И то какое внимание! О французе они услышали, как о саранче; ведь никто не спрашивает, откуда саранча и зачем,— довольно знать, что хлеб дороже будет...

Встречались люди, у которых сначала был какой-то зародыш души человеческой, какая-то возможность, — но они крепко заснули в жалкой, узенькой жизни. Случалось говорить с ними о смертном грехе против духа — обращать человеческую жизнь в животную: они просыпались, краснели; душа, вспоминая свою орлиную натуру, расправляла крылья; но крылья были тяжелы, и они, как куры, только хлопали ими, на воздух не поднялись и продолжали копаться на заднем дворе. Я глядел на них и чуть не плакал.

Чтоб познакомить еще более с жизнию малиновцев, я опишу типический день от 8 часов утра до 3 часов ночи.

*Праздник ✝ в кружке**. На дворе трескучий мороз, на улицах снег на аршин; плохо рассвело, а снег уж скрыпит под санями непременного члена приказа, который отправляется к губернатору рапортовать о состоянии богоугодных заведений и поздравить его с праздником. Он уверен, что губернатор еще спит, что он его прождет часа полтора; но в том-то и сила, чтоб прийти раньше всех,— почтительнее. Сальные лакеи для него не встанут; шубу он сам снял на первой ступеньке лестницы; калоши оставил в санях, а сани у ворот. Через полчаса начинают подъезжать к воротам чиновники низшего разряда — все это, чтоб поздравить «генерала» с праздником; наконец являются аристократы; они гордо въехали на двор и смело вошли в переднюю в шубах. Зала наполняется. Смиренно в углу стоит какой-нибудь исправник; он всем кланяется, всех уважает; он дрожит до тех пор, пока не доберется опять до своих лесов. Полицеймейстер, в мундире без эполет, держит рапорт о благосостоянии города; правитель канцелярии с портфелью ждет у дверей кабинета; исправник бросает

тоскливые взоры на эту портфель... Погоди немного, с шумом влетает из внутренних дверей — notez bien cela[1] — чиновник особых поручений, без шляпы: «мы, дескать, свои люди». Он один громко говорит — остальные шепчут; исправник похудел, когда он вошел, и поклонился низко; чиновник особых поручений потолстел, увидев исправника, и поклонился ему наизнанку, то есть закинув голову на спину. Между тем компания разделилась на две части: аристократы сами по себе, плебеи сами по себе. Да кто же тут аристократы? Сейчас объясню вам это. Есть чиновники, сидящие за перегородкой, перед столом, покрытым красным сукном; эти чиновники пишут по одному слову на каждой бумаге — это *советники*, аристократы; это люди, которые приглашаются к обеденному столу его превосходительства. Есть другие чиновники, сидящие по сю сторону перегородки, перед столами, которые покрыты чернильными пятнами; эти пишут по одному миллиону слов на каждом листе, но они не аристократы, они — *канцелярские*. Эти два мира нигде не смешиваются; один переходный мост между ними — секретарь; секретарь, как Лафайет,— человек двух миров. Без него советникам было б нечего подписывать, а канцелярским — списывать. Он и в обществе играет ту же ролю. Если нет вблизи четвертого, его сажают с собою за бостон аристократы, и он надевает белый галстух. А завтра, на именинах у *канцелярского*, для него составят бостон из двух столоначальников и частного пристава, и он придет в сюртуке и расстегнет две пуговки на жилете. Есть еще разные двусмысленные чиновники, Zwittergestalten[2], лавирующие между двумя мирами и, смотря по обстоятельствам, прикрепляющиеся то к одному, то к другому: губернский стряпчий, правитель дел губернатора; но истинно завидное общественное положение принадлежит чиновнику особых поручений. Партизан юридических набегов, он с презреньем смотрит на все, кроме губернатора; его аристократы боятся, плебеи ему удивляются, все завидуют; он в синем фраке обедает у губернатора*, он отправляет на почту письма ее превосходительства. Около миров губернского чиновничества обращаются миры уездных; о них

[1] заметьте это хорошенько (франц.).— *Ред.*

[2] гибридные фигуры (нем.).— *Ред.*

в другой главе. Вне всего этого, шага на два, отдельные владетельные князья: прокурор, директор гимназии, удельный начальник; их отношения не так правильно истекают из главной идеи, как в мире, подчиненном губернатору.

Но двери в кабинет растворились, и «генерал» вышел; с ним его гость и друг, малиновский откупщик, толстый мужчина с свиными глазами. Губернатор Малинова говорит с тремя-четырьмя из аристократов, на остальных не обращает внимания; а ежели кому случится встретиться с его взглядом, тот тотчас кланяется, хотя б в пятый раз; многие выставляются, чтоб заявить свое присутствие. Директор гимназии, приехавши позже всех, поднимает голос:

— Ваше превосходительство, не соблаговолите ли ехать в кафедральный собор? Отец ректор семинарии, высокопреподобный Макридий, будет говорить слово.

— Как же! Непременно. Он хорошо говорит?

— Ораторское искусство Цицерона, ваше превосходительство! — И директор гордо смотрит на окружающих.

Губернатор, обращаясь ко всем, произносит: «И вы, вероятно, — в собор? Надобно молиться!»— И все едут в собор.

Обед я описывал. Вечером бал у полицеймейстера. Губернатор отдает приказ, чтоб раньше собирались: он не любит, когда кто-нибудь позже его приезжает.

Выспавшись, город начинает торопиться, надевает пестрый жилет, коричневый фрак, надевает всего чаще вицмундир и едет на бал. Дамский туалет я описать не возьмусь: от одного описания может зарябеть в глазах. Плошки горят у ворот полицеймейстера; в окнах свет. В восьмом часу начинает собираться beau monde; пьяный *квартальный* снимает шубы и прячет их, чтоб никто не уехал; в передней тесно: четыре семинариста в затрапезных халатах, два солдата и канцелярский служитель в фризовой шинели, подпоясанный белым полотенцем, составляют оркестр. Начинают подъезжать экипажи, и огромный возок почтмейстера, мыча и скрыпя, остановился у крыльца. Возок этот делан около царствования Анны Иоанновны и, отодвигаясь каждое двадцатилетие на несколько сот верст от Петербурга, оканчивал преклонные лета свои в сарае почтмейстера. Встарь он был внутри покрыт мехом; теперь оплешивел

и окна качаются у него, как зубы у старухи. Из возка вынимают человек восемь обоего пола: как они поместились с накрахмаленными юбками, с Станиславом (во весь рост) на шее у почтмейстера, с цветами на челе почтмейстерши,— трудно постигнуть; но кому же и уметь укладываться, как не почтовым? Это гости почетные, и их полицеймейстер встречает в передней. В зале становится людно и сильно пахнет духами, которые *трюит* à Paris[1] Мусатов. Но ни карт не дают, ни чаю; ни музыка не играет. Подполковница гарнизонного баталиона, дама отважная, дама хорошо воспитанная в разных казармах и кордегардиях, начинает роптать и повторяет свою вечную фразу: «Когда я стояла с мужем в Молдавии, то сам господарь...» Квартальный сбивает гостей с ног, ищет хозяина и кричит: «Ваше высокоблагородие, его превосходительства карета *изволила* на мост въехать!» Полицеймейстер, прихрамывая от тарутинской пули, бежит с лестницы, чтоб встретить генерала. Генерал приехал с откупщиком. Входит. Музыка гремит польский; генерал открывает бал и отправляется за карточный стол. Машина спущена. Чай подается, карты сдаются, vis-à-vis выбираются, пары становятся...

Бал провинциальный описывали тысячи раз; разумеется, он имеет некоторые сходства с столичным балом, так, как есть же общее в портретах Кутузова ценою в десять рублей и ценою в десять копеек. Иногда танцующие ссорятся за места, и тут недалеко до членовредительства; есть дамы, в том числе подполковница, которая непременно хочет быть в первой паре в мазурке и готова щипать несчастную даму, стоящую перед ней. Есть кавалеры, которые как-то прищелкивают каблуками, так что из другой комнаты можно думать, что дверью кто-нибудь давит грецкие орехи. Зато есть голые плечи, ничуть не хуже столичных, пластически прелестные, от которых трудно отвести глаза, особенно стоя за стулом; есть свежие лица, очень хорошенькие; но глаз с выражением нет. Во всем Малинове было три глаза выразительные: два из них принадлежали одной приезжей барышне, третий — кривой болонке губернаторской. В антрактах, между одной кадрилью и другою, наполняют

[1] в Париже (франц., — *Ред.*

«желудка бездонную пропасть», как говорит Гомер: дамам сластями, мужчинам водкой, вином и солеными закусками. Отсюда немудрено понять, что бал разгорается более и более. Матери семейств, сидящие неподвижно около стен, громче сплетничают; лица барышень пылают, юность и веселье берет верх над этикетом,— словом, бал во всей красе.

В двенадцать часов губернатор окончил бостон, выходит в залу и танцует кадриль с хозяйкой дома. В Малинове все танцуют — от грудных детей до столетних старцев — так, как все играют в бостон. Можно думать, что все жители заражены пляской Витта. Потом треск, шум, sensation[1]... «Ваше превосходительство, еще минуту!» Генерал неумолим, генерал тверд, генерал не ужинает, генерал в шубе, генерал уехал. Несколько человек, не смевшие танцевать с ним под одной крышей, являются на паркете; уездный казначей кричит в котильоне: «Окончим *попурями*, я смерть люблю попурри!» От *попурреи* за ужин, с ужина матери семейств укладываются, целуются, уезжают с дочерями, из дам остается одна подполковница,— ее не испугаешь ничем, бывалый человек. Шампанское льется рекой. Пьяный подполковник умоляет жену пройти с ним «русскую»,— одни свои, чужие разъехались. Канцелярский в фризовой повел смычком «барыню», и салон незаметно переливается в Перов трактир*. Часа в четыре гости разъезжаются. Хозяин доволен, потирает себе руки, говоря: «Жаркий денек! Удался»...

Но довольно вязнуть в этом болоте; тяжело ступать, тяжело дышать. Перейдем в сферу, где человек от животных отделяется не одними зоогностическими признаками, которые упрочивают за ним почетное место возле обезьян и лемуров.

Вот одна человеческая встреча в Малинове, и очень странная притом.

Недалеко от Малинова-города живет какой-то помещик, рассказы о котором бесконечны у малиновцев,— богатый человек, выписывающий вещи из Парижа и из Лондона, устроивший свое именье по-ученому, по *агрономии*, польско-прусский дворянин и проч., проч.

---

[1] сенсация (франц.).— *Ред.*

«Почему он не женится?»— говорили одни.— «Потому что он фармазон, а в их вере дают обет монашества; масоны и иезуиты — ведь это одно»,— отвечали люди мудрые, вершавшие окончательно трудные вопросы, которые изредка возникали в малиновских головах.— «Он скуп, как кощей,— говорили чиновники,— ни одного *стола* не сделал во всю жизнь; наш брат живет лучше его, несмотря на бедные оклады».— «Он развратил своих крестьян,— говорили помещики,— до того, что они в будни ходят в сапогах да еще имеют у себя батраков».— «Сумасшедший, просто сумасшедший»,— уверял пятидесятилетний корнет, обладатель 20 душ и камердинера в плисовых панталонах.

Наконец я познакомился с ним.

Трензинский сделал на меня самое странное впечатление. Чорт знает, как он с таким апатическим равнодушием умел соединить силу действовать на душу странными мнениями и парадоксами. Ему удалось нанести глухой удар некоторым из теплых верований моих. Да что это, как я слаб, или как слабы мои теории, когда первый встречный может потрясти их! И прескверная манера у него: он почти не спорит; он на теоретические разрешения вопросов смотрит как на что-то постороннее, школьное, без влияния на жизнь и без корня в ней. Оттого, вместо спора и опровержения, он преравнодушно соглашается, и иной раз, кажется, откровенно.

Я ему был рекомендован единственным человеком, имевшим с ним постоянные сношения, доктором медицины, проживавшим в одном из больших заводов малиновских. Сам доктор — лицо примечательное. Имея практику в городе, он в неделю раза два являлся в Малинов. Я часто встречался с ним, но никогда не слыхал от него ни одного слова, которое относилось бы к чему-нибудь постороннему для его занятий, ни даже о погоде, о дороге и проч. А между тем ироническая улыбка и яркие глаза показывали, что он многое мог бы сказать и что ему дорого стоит прилепить язык к гортани. Мне нездоровилось, и я просил доктора заехать; он явился, и, не знаю как, но у меня он не играл своей молчаливой роли. Говорят, что храмовые рыцари* везде узнавали друг друга, узнавали даже степень свою в таинствах и силу в ордене при встрече. Это только с первого взгляда

кажется удивительным: мы все — храмовые рыцари, и *свой своего* узнает по трем-четырем словам. Итак, нет ничего удивительного, что два выходца университета поняли тотчас друг друга в Малинове. Доктор посещал меня вдвое чаще, нежели требовала моя полуболезнь, и сидел вдвое долее, нежели у всех больных малиновцев. Он говорил с восхищением о Трензинском. И одним добрым утром мы поехали к нему.

Трензинский принял европейски учтиво, т. е. малиновски грубо, без полуварварского гостеприимства, без трех четвертей варварских церемоний и без вполне варварского принуждения пить и есть, когда не хочется. Поговорив о том о сем, он сказал нам, что в это время ежедневно осматривает завод, и просил или идти с ним, или, пока он возвратится, погулять в саду. Мы пошли на завод.

Трензинский — человек высокого роста, чрезвычайно худой; лицо нежное, очень белое; эта белизна придает что-то мертвое, отжившее всем чертам, и если б не большие, серо-голубоватые глаза и улыбка на губах, то он был бы похож на хорошо сделанную восковую фигуру. И улыбка его примечательна: сначала она кажется добродушием, потом насмешкой, и наконец убеждаешься, что этот рот вовсе не может улыбаться, а что движение губ его — болезненно-судорожное сжимание. Ему за пятьдесят, но он прям и бодр; «чело, как череп голый»*. История его жизни, должно быть, представляет длинную повесть мыслей, страстей, ощущений, коллизий; но повесть кончена, а жизнь продолжается. Так казалось мне, когда я пристально всматривался в его лицо; оно мне напомнило мраморные, холодные, гладкие надгробные памятники, поставленные над прахом, в котором клокотал когда-то огонь. В его кабинете мало книг: «Mémorial de S-te Hélène»* и какой-то трактат о черепословии лежали на столе между Тэером, Берцелиусом и книгами, прямо относящимися к заводскому делу. На окнах стояли реторты, склянки и банки, а на стенах висело несколько видов Венеции, копия с Рембрандтова Яна Собесского, две-три головы с светлыми усами и картина, тщательно завешенная тафтою.

Осмотрев завод, пришли мы в сад и сели на террасе; день был очень хорош; запах воздушных жасминов и тополей доно-

сился к нам вместе с неопределенным летним говором природы,— говором, в котором перепутаны и шелест листьев, и чириканье птиц, и звуки кузнечика, и жужжанье пчел, и еще сотня разных звуков, свидетельствующих, что все вокруг вас живо, весело и радуется солнцу. Ничего нет удивительного, что разговор мало-помалу оживился и сделался откровенным. Человеку вовсе не свойственно беспрерывно корчить дипломата, и надобно ему пройти великую школу разврата духовного, чтоб подозрительно затаивать всякую мысль от каждого вновь встретившегося человека.

— Славно живете вы,— сказал я,— особенно в хорошую погоду; но, признаюсь, удивляюсь, как вам не скучно в таком одиночестве и в такой глуши!

— Конечно, подчас бывает скучно, но не думайте, чтоб более, нежели где-нибудь. Скука внутри имеет зародыш. Поверьте, кто понял душою, что на свете *может быть* очень скучно, тому придется иной раз поскучать, где бы он ни жил — от Нью-Йорка до Малинова. Вообще, здесь я меньше скучаю, нежели скучал прежде, кочуя из города в город; здесь у меня положительные занятия.

— Я не понимаю, откровенно говоря, возможность жить и не иметь подле себя ни одного близкого существа.

— Вам, кажется, лет двадцать, а мне пятьдесят шесть. И несмотря на то, что есть много истинного в вашем замечании, я уверяю вас, что человек может всячески жить: таково устройство его, и я в этом нахожу высочайшую премудрость; брошенный совершенно во власть случайности, не имея возможности изменить внешнее на волос, он был бы несчастнейшим существом, если б не доставало ему эластичности, хорошо прилаживающейся к обстоятельствам. Вы не имеете повода думать, чтоб я отталкивал от себя симпатию; один человек образованный и с душою, на 300 верст кругом,— это доктор, и он бывает у меня; давно ли приехали вы в Малинов, и так ли, иначе ли, вы здесь,— и я чрезвычайно рад. Но понимаю, что тот же случай мог сделать, и с тою же бессознательностию, чтоб вы не были в Малинове, чтоб вместо доктора, привезенного ко мне моим управляющим без моего ведома, приехал немец-буфф, которого, вероятно, вы видели. И я был бы один. Власти над случаем у меня нет;

что ж бы мне делать? Писать элегии — лета ушли. С тех пор, как я понял, что случай управляет индивидуальным существованием и целыми семействами, я отдался ему во власть; он меня бросил в Малипов, тогда как я и имени этого города не слыхал прежде; мог бы бросить в Канаду, и я сделался бы там куперовским колонистом...

— Случай, которому вы, кажется, придаете всю мощь греческого фатума, имеет влияние над внешнею стороной жизни, так сказать, над обстановкой. В том-то вся задача, чтоб, подобно какому-нибудь Гёте, стоять головою выше всех обстоятельств и их покорять,— чтоб внутренний мир сделать независимым от наружного.

— Гёте вы поставили не совсем хорошо в пример. Тот же случай, о котором я говорю, дал ему, во-первых, огромную дозу эгоизма и, во-вторых, организацию, холодную к многому, волнующему других. Тут нет победы, что человек, не чувствующий потребности пить вино, не пьянствует. Что касается до вашего внутреннего мира, все это хорошо в стихах и в трактатах, а не на самом деле и не для всех. Я тоже сошлюсь на Гёте: он чрезвычайно глубокомысленно сказал в одной эпиграмме, которая, вероятно, вам известна, что жизнь не имеет *ни ядра, ни скорлупы**. С другой стороны, я не спорю, внутренняя полнота, особенно при экзальтации воображения, может сделать человека совершенно независимым от всего внешнего; но еще раз — это не для всех: для этого надобно иметь, может быть, слабонервных родителей, вообще склонность к сумасшествию... Ведь и сумасшествие есть независимость от внешнего мира.

— Помилуйте! — вскричал я, выведенный из себя результатом.— Идеал высшего гармонического существования кажется вам болезнию, близкой к сумасшествию, и совершенную потерю божественной искры в человеке — вы сравнили с бесконечною высотою духа, пренебрегающего всеми суетами и гордо находящего целый мир в себе!

— А вы сейчас сказали, что не понимаете жизни без близкого существа. Тут противоречие. Это близкое существо будет вне вас, и случай — сквозной ветер, например,— может отнять его у вас—ну, что-то тут скажет ваша теория внутренней полноты?

— Она самоотверженно склонит главу и воспоминанием, самою грустью заменит былое.

— Хорошо, что у ней гибкая шея. А если б у нее была непреклонная выя Байрона, если б самоотвержение для нее было столько же невозможно, как для рыбы дышать воздухом?.. Конечно, и спорить нечего: воздух — славная среда для дыхания, жиденькая, прозрачная, а рыба умирает в ней. Я вижу, вы большой идеалист. Это делает вам честь; идеализм доступен только высшим натурам; идеализм — одна из самых поэтических ступеней в развитии человека и совершенно по плечу юношескому возрасту, который все пытает словами, а не делом. Жизнь после покажет, что все громкие слова только прикрывают кисейным покровом пропасти, и что ни глубина, ни ширина их не уменьшается от того ни на волос. Увидите сами.

— Уверяю вас, что я не позволю какому-нибудь отдельному, случайному факту, несчастию потрясти моих убеждений.

— Бог знает; судя по живости вашей, я не думаю, чтоб вы могли пасть в незавидное положение немецких ученых, которые, выдумав теорию, всю жизнь ее отстаивают, хотя бы каждый день опровергал ее. Конечно, это так невинно и безвредно, что жаль их бранить, но тем не менее чрезвычайно смешно. Они мне напоминают старика англичанина, с которым я познакомился в начале нынешнего века. Благородный лорд доказывал ясно, как 2 × 2=4, что Наполеона не должно признавать императором, и называл его «генералом Бонапарте». Это навлекло на него разные гонения, и он должен был беспрерывно оставлять город за городом; наконец поселился в Вене,— тут ему было раздолье опровергать права Наполеона. На беду, генерал Бонапарте стал близок австрийскому императору; лорд покинул Австрию, уверяя, что ежели весь мир признает Бонапарте императором, то он один станет против всего мира и скорей положит свою седую голову на плаху, нежели назовет его государем. Почтенный человек! Я всегда с любовью протягивал ему руку; душа отдыхала, находя в ту эпоху флюгерства человека с таким мощным убеждением,— а бывало, слушая его, внутренне смеешься, переносясь в Париж, где короли ждут большого выхода и склоняются перед Наполеоном.

— Всякая крайность имеет свою смешную сторону. Но я

никогда не думал, чтоб толпа, погруженная в ежедневность и направляемая ею, не знающая, что́ она завтра будет делать, и которой вся жизнь определяется внешним стечением обстоятельств, была ближе к назначению человека, нежели гордый дух, отвергающий всякое внешнее влияние и не покоряющийся ничему, им не признанному.

— То и другое, кажется, дурно. Толпа виновата тем, что она не понимает, почему она так живет; а гордый дух, говоря вашими словами, виноват вдвое тем, что, умея понимать, не признает очевидной власти обстоятельств и тратит силу свою на отстаивание места, то есть на чисто отрицательное дело. Не лучше ли, куда бы и как бы судьба ни забросила, стараться делать maximum пользы, пользоваться всем настоящим, окружающим,— словом, действовать в той сфере, в которую попал, как бы ни попал.

— Извините, я не могу удержаться от вопроса, как вы, например, попали на мысль сделаться малиновским помещиком? Этот вопрос идет прямо к вашим словам.

— Моя жизнь нейдет в пример. Для того, чтоб быть брошену так бесцельно, так нелепо в мире, как я, надобен целый ряд исключительных обстоятельств. Я никогда не знал ни семейной жизни, ни родины, ни обязанностей, которые врастают в сердце с колыбели. Но заметьте, я нисколько не был виноват, я не навлек на себя этого отчуждения от всего человеческого: обстоятельства устроили так. Когда-нибудь я расскажу больше; теперь только скажу о приезде сюда. В 1815 году жил я в Карлсбаде; это время мне очень памятно; я никогда не страдал так, как тогда. Победители Франции возвращались гордые и ликующие. Политические партии кипели; одни хвалились своими ранами, другие своими проектами; все было занято: побежденные — слезами, униженными воспоминаниями, но всё же заняты. Я один был посторонний во всем, каким-то дальним родственником человечества... Это давило меня, я был еще помоложе. Все больные разъехались; я оставался в Карлсбаде, потому что не мог придумать, куда ехать и зачем. Жил целую зиму; пришла весна; явились новые больные, и я вместе с ними принялся пить шпрудель*. Я вел большую игру и — верьте или нет — с радостью видел, как мое богатство утекало широкою

рекой, предпидя, что наконец нужда решит вопрос о том, что мне делать. Раз в казино мечу я банк; русский князь, бросавший деньги горстями и делавший удивительные глупости, о которых, я полагаю, до сих пор говорят в Карлсбаде, подошел к столу.— «Сколько в банке?» — спросил он.— «Тысяча червонцев».— «Не стоит и руки марать»,— заметил князь с презрительной улыбкой. Это взбесило меня.— «Князь! — закричал я ему вслед,— я отвечаю за банк, сколько бы вы ни выиграли; вот небольшая гарантия»,— и бросил на стол вексель в огромную сумму.— «Теперь посмотрим», — сказал князь, вынул карту и поставил на нее тысячу червонцев. Несколько игроков и больных, стоявших возле, взглянули на него как на великого человека. Этого-то он и хотел и за это заплатил тысячу червонцев, потому что карта была убита. Игра завязалась; и довольно сказать, что в пять часов утра князь дрожащим мелом сосчитал 630 000 франков, два раза проверил и с пятнами на лице признался, что у него такой суммы теперь нет. На другой день он мне прислал билет в 130 000 франков и предложение заложить свое имение в Малиновской губернии. Новая мысль блеснула у меня в голове; я просил за долг уступить имение; он обрадовался — и я сделался властителем и обладателем 550 душ в Малиновской губернии. В 1818 году я приехал с князем в Россию и, по окончании нужных форм, явился сюда. Десять лет я работал денно и нощно. Представьте, не зная ни слова по-русски, будучи незнаком с нравами, видя, что мои нововведения принимаются с ропотом и неудовольствием,— я, разом ученик и распорядитель, впадал в грубейшие погрешности, судил о русском мужичке à la Robert Owen[1] и в то же самое время усердно занимался химией и заводскими делами. Это счастливейшие годы моей жизни! В 1829 году поехал я посмотреть Петербург, пробыл там зиму, соскучился и воротился сюда. Это была для меня минута, полная наслаждения. Тут только увидел я разом плоды десятилетних трудов. Поля моих крестьян отличались от соседних, как небо от земли; их одежда... ну, словом, их благосостояние тронуло меня до слез. С тех пор продолжаю я еще ревностнее устрои-

[1] как Роберт Оуэн (франц.).— *Ред.*

нять мое имение, хочу осушить болота, увеличить завод, и меня тешит явное улучшение того клочка земли, который судьба мне дала. Я работаю, а между тем жизнь идет да идет. Et c'est autant de pris sur le diable![1]

— Прошу в столовую,— прибавил он, вставая и принимая опять свой холодный вид, которого он было лишился, рассказывая свою агрономическую поэму.

Я остался в раздумье от этой встречи. В умном хозяине моем не было ничего мефистофельского, ни бальзаковских yeux fascinateurs[2], ни лихорадочного взора героев Сю, ни... ни всех необходимых диагностических и прогностических признаков разочарованных, мизантропов, бесящихся девятнадцатого века. Совсем напротив, в нем было много доброго, а между тем его слова производили какое-то тяжкое, грустное впечатление, тем более что в них была доля истины и что он жизнию дошел до своих результатов.

После обеда люди делаются вообще гораздо добрее. Это одно из тех убийственных замечаний, которые глубоко оскорбляют душу мечтательную, а между тем оно до того справедливо, что Гомер в «Илиаде» и «Одиссее» и Шекспир, не помню где, говорят об этом. Итак, мы сделались добрее и сели на турецкий диван, в маленькой угольной комнате, потому что солнце светило теперь прямо на террасу. На стене висело несколько эстампов; я встал, чтоб посмотреть их, и остановился перед гравюрой с Раухова бюста Гёте. Господи, как в преклонные лета сохранилась такая мощная и величественная красота! Эта голова могла бы послужить типом для греческого ваятеля. Это чело, возвышенное и мощное по самой форме, эти спокойные очи, эти брови... Самое слабое старческое тело придавало глубокий смысл его лицу,— смысл, понятый тем из его современников, который по многому мог стать возле него. «Как одежда восточного жителя едва держится на его стане и готова упасть с плеч, так и тут вы видите, что тело готово отпасть, а дух — воспрянуть во всей славе и красоте своей бестелесности»[3]*. Я долго стоял перед изображением поэта и спросил у Трензинского:

[1] Все же кое-что отвоевано у дьявола! (франц.).— *Ред.*

[2] завораживающих глаз (франц.).— *Ред.*

[3] Гегель в «Эстетике».

— Видали ли вы Гёте, и похож ли этот бюст?

— Два раза,— отвечал он.— Да, он в иные минуты был похож на свой бюст. Раух, точно, гениально умел схватить высшее выражение его лица.

— Расскажите, пожалуйста, где и как вы его видели. Я страстно люблю рассказы очевидцев о великих людях.

— Я не думаю, чтоб вам понравился мой рассказ; вы мечтатель, вам, вероятно, Гёте все представляется молниносным Зевсом, глаголющим мировые истины и великие слова. Я, напротив, никогда не умел уничтожаться в поклонении и адуляции[1] знаменитых индивидуальностей и смотрел на них без заготовленных теорий и большею частию видел, что они — sont ce que nous sommes[2], имеют лицевую сторону и изнанку. Вы, поэты, именно изнанки-то и не хотите знать, а без нее индивидуальность не полна, не жива. Вот вам моя встреча, после предисловия, за которое прошу не сердиться. Я был мальчиком лет 16, когда видел его в первый раз. В начале революции отец мой был в Париже, и я с ним. Régime de terreur[3] как-то проглядывал сквозь сладкоглаголивую Жиронду. Люди совершенно безумные, с растрепанными волосами и в сальных кафтанах, показывались в парижских салонах и проповедовали громко уничтожение всех прежних общественных связей. Иностранцам было опасно ехать и еще опаснее оставаться. Отец мой решился на первое, и мы тайком выбрались из Парижа. Много было хлопот, пока мы доехали до Альзаса. Если б я был настоящий пруссак, я издал бы непременно толстую книгу на обверточной бумаге под заглавием: «Außerordentliche Reiseabenteuer eines Flüchtlings aus der Hauptstadt der Franzosen zur Zeit der großen Umwälzung — Anno 1792 nach d. Erlösung etc.»[4]. В самом деле, мы несколько раз подвергались опасности быть принятыми за переметчиков. Наконец кривой мальчишка, провожавший нас через лес, указал вдали огни и, сказав:

---

[1] заискивании, от aduler (франц.).— *Ред.*

[2] такие же, как и мы (франц.).— *Ред.*

[3] Режим террора (франц.).— *Ред.*

[4] «Необыкновенные путевые приключения беглеца из столицы французов во время великого переворота, в год от нашего спасения 1792-й и т. д.» (нем.). — *Ред.*

«V'là vos chiens de Brunswick»[1*],— взял обещанный червонец и скрылся в лесу, крича во все горло: «Ça ira!»[2*] Нас остановили на цепи, и, пока фельдфебель ходил с паспортом, не знаю куда, я с удивлением смотрел на солдат. Караул был занят австрийцами; я так привык к живым, одушевленным физиономиям французов, что меня поразила холодная немота этих лиц, с светлыми усами и в белых мундирах. Неподвижно, угрюмо стояли они, точно загрязнившиеся статуи командора из «Дон-Жуана». Нас повели к генералу и после разных допросов и расспросов позволили ехать далее; но возможности никакой не было достать лошадей: все были взяты под армию, для которой тогда наступило самое критическое время. Армия гибла от голода и грязи. На другой день пригласил нас один владетельный князь на вечер. В маленькой зале, принадлежавшей сельскому священнику, мы застали несколько полковников, как все немецкие полковники, с седыми усами, с видом честности и не слишком большой дальновидности. Они грустно курили свои сигары. Два-три адъютанта весело говорили по-французски, коверкая германизмом каждое слово; казалось, они еще не сомневались, что им придется попировать в Palais Royal и там оставить свой здоровый цвет лица, завтный локон, подаренный при разлуке, и немецкую способность краснеть от двусмысленного слова. Вообще было скучно. Довольно поздно явился еще гость, во фраке, мужчина хорошего роста, довольно плотный, с гордым, важным видом. Все приветствовали его с величайшим почтением; но его взор не был приветлив, не вызывал дружбы, а благосклонно принимал привычную дань вассальства. Каждый мог чувствовать, что он не товарищ ему. Князь предложил кресло возле себя; он сел, сохраняя ту особенную Steifheit[3], которая в крови у немецких аристократов. «Нынче утром,— сказал он после обыкновенных приветствий,— я имел необыкновенную встречу. Я ехал в карете герцога, как всегда; вдруг подъезжает верхом какой-то военный, закутанный шинелью от дождя. Увидев веймарский герб и герцогскую ливрею, он подъ-

---

[1] Вот ваши псы-брауншвейгцы (франц.).— *Ред.*

[2] Пойдет на лад! (франц.).— *Ред.*

[3] чопорность (нем.).— *Ред.*

ехал к карете и — представьте взаимное наше удивление, когда я узнал в военном его величество короля, а его величество нашел, вместо герцога, меня. Этот случай останется у меня долго в памяти».

Разговор обратился от рассказа чрезвычайной встречи к королю, и естественно перешли к тем вопросам, которые тогда занимали всех бывших в зале, т. е. к войне и политике. Князь подвел моего отца к дипломату и сказал, что от моего отца он может узнать самые новые новости.

— Что делает генерал Лафайет и все эти антропофаги?— спросил дипломат.

— Лафайет,— отвечал мой отец,— неустрашимо защищает короля и в открытой борьбе с якобинцами.

Дипломат покачал головою и выразительно заметил:

— Это одна маска; Лафайет, я почти уверен, заодно с якобинцами.

— Помилуйте! — возразил мой отец.— Да с самого начала у них непримиримая вражда.

Дипломат иронически улыбнулся и, помолчав, сказал:

— Я собирался ехать в Париж года два тому назад, но я хотел видеть Париж Лудовика Великого и великого Аруэта*, а не орду гуннов, неистовствующих на обломках его славы. Можно ли было ожидать, чтоб буйная шайка демагогов имела такой успех? О, если б Неккер в свое время принял иные меры, если б Лудовик XVI послушался не ангельского сердца своего, а преданных ему людей, которых предки столетия процветали под лилиями*, нам не нужно бы было теперь подниматься в крестовый поход! Но наш Готфред скоро образумит их*, в этом я не сомневаюсь, да и сами французы ему помогут; Франция не заключена в Париже.

Князь был ужасно доволен его словами.

Но кто не знает откровенности германских воинов, да и воинов вообще? Их разрубленные лица, их простреленные груди дают им право говорить то, о чем мы имеем право молчать. По несчастию, за князем стоял, опершись на саблю, один из седых полковников; в наружности было видно, что он жизнь провел с 10 лет на биваках и в лагерях, что он хорошо помнит старого Фрица*; черты его выражали гордое мужество и

безусловную честность. Он внимательно слушал слова дипломата и наконец сказал:

— Да неужели вы, не шутя, верите до сих пор, что французы нас примут с распростертыми объятиями, когда всякий день показывает нам, какой свирепо-народный характер принимает эта война, когда поселяне жгут свой хлеб и свои дома для того, чтоб затруднить нас? Признаюсь, я не думаю, чтоб нам скоро пришлось обращать Париж на путь истинный, особенно ежели будем стоять на одном месте.

— Полковник не в духе,— возразил дипломат и взглянул на него так, что мне показалось, что он придавил его ногой.— Но я полагаю, вы знаете лучше меня, что осенью, в грязь, невозможно идти вперед. В полководце не благородная запальчивость, а благоразумие дорого; вспомните Фабия Кунктатора.

Полковник не струсил ни от взора, ни от слов дипломата.

— Разумеется, теперь нельзя идти вперед, да и назад трудно. Впрочем, ведь осень в нынешнем году не первый раз во Франции, грязь можно было предвидеть. Я молю бога, чтоб дали генеральное сражение; лучше умереть перед своим полком с оружием в руке, от пули, чем сидеть в этой грязи...

И он жал рукою эфес сабли. Началось шептанье и издали слышалось: «Ja, Ja, der Obrist hat recht ...Wäre der große Fritz... oh! der große Fritz!»[1]

Дипломат, улыбаясь, обернулся к князю и сказал:

— В какой бы форме ни выражалась эта жажда побед воинов тевтонских, нельзя ее видеть без умиления. Конечно, наше настоящее положение не из самых блестящих, но вспомним, чем утешался Жуанвиль, когда был в плену с святым Людовиком: «Nous en parlerons devant les dames»[2].

— Покорно благодарю за совет! — возразил неумолимый полковник.— Я своей жене, матери, сестре (если б они у меня были) не сказал бы ни слова об этой кампании, из которой мы принесем грязь на ногах и раны на спине. Да и об этом, пожа-

---

[1] Да, да, полковник прав... Если б был жив великий Фриц... о, великий Фриц!.. (нем.).— *Ред.*

[2] Мы будем об этом рассказывать дамам (франц.).— *Ред.*

луй, нашим дамам прежде нас расскажут эти чернильные якобинцы, о которых нас уверяли, что они исчезнут, как дым, при первом выстреле.

Дипломат понял, что ему не совладать с таким соперником, и он, как Ксенофонт, почетно отступил с следующими 10 000 словами:

— Мир политики мне совершенно чужд; мне скучно, когда я слушаю о маршах и эволюциях, о прениях и мерах государственных. Я не мог никогда без скуки читать газет; все это что-то такое преходящее, временное да и вовсе чуждое по самой сущности нам. Есть другие области, в которых я себя понимаю царем: зачем же я пойду без призыва, дюжинным резонером, вмешиваться в дела, возложенные провидением на избранных им нести тяжкое бремя управления? И что мне за дело до того, что делается в этой сфере!

Слово «дюжинный резонер» попало в цель: полковник сжал сигару так, что дым у нее пошел из двадцати мест, и, впрочем, довольно спокойно, но с огненными глазами сказал:

— Вот я, простой человек, нигде себя не чувствую ни царем, ни гением, а везде остаюсь *человеком*, и помню, как, еще будучи мальчиком, затвердил пословицу: Homo sum et nihil humani a me alienum puto[1]. Две пули, пролетевшие сквозь мое тело, подтвердили мое право вмешиваться в те дела, за которые я плачу своею кровью.

Дипломат сделал вид, что он не слышит слов полковника; к тому же тот сказал это, обращаясь к своим соседям.

— И здесь, — продолжал дипломат, — среди военного стана, я так же далек от политики, как в веймарском кабинете.

— А чем вы теперь занимаетесь? — спросил князь, едва скрывая радость, что разговор переменился.

— Теориею цветов; я имел счастье третьего дня читать отрывки светлейшему дядюшке вашей светлости.

Стало, это не дипломат. «Кто это?» — спросил я эмигранта, который сидел возле меня и, несмотря на бивачную жизнь, нашел средство претщательно нарядиться, хотя и в короткое

---

[1] Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.).— *Ред.*

платье. «Ah, bah! c'est un célèbre poète allemand, m-r Koethe, qui a écrit, qui a écrit ... ah, bah!.. la Messiade!»[1]

Так это-то автор романа, сводившего меня с ума, «Werthers Leiden», — подумал я, улыбаясь филологическим знаниям эмигранта*.

Вот моя первая встреча.

Прошло несколько лет. Мрачный террор скрылся за блеском побед. Дюмурье, Гош и, наконец, Бонапарт поразили мир удивлением. То было время первой итальянской кампании, этой юношеской поэмы Наполеона. Я был в Веймаре и пошел в театр. Давали какую-то политическую фарсу Гётева сочинения*. Публика не смеялась, да и, по правде, насмешка была натянута и плосковата. Гёте сидел в ложе с герцогом. Я издали смотрел на него и от всей души жалел его: он понял очень хорошо равнодушие, кашель, разговоры в партере и испытывал участь журналиста, попавшего не в тон. Между прочим, в партере был тот же полковник; я подошел к нему; он узнал меня. Лицо его исхудало, как будто лет десять мы не видались, рука была на перевязке.

— Что же Гёте тогда толковал, что политика ниже его, а теперь пустился в памфлеты? Я — *дюжинный резонер* и не понимаю тех людей, которые хохочут там, где народы обливаются кровью, и, открывши глаза, не видят, что совершается перед ними. А может быть, это право гения?..

Я молча пожал его руку, и мы расстались. При выходе из театра какие-то три, вероятно, пьяные, бурша с растрепанными волосами в честь Арминия и Тацитова сказания о германцах, с портретом Фихте на трубках, принялись свистать, когда Гёте садился в карету. Буршей повели в полицию, я пошел домой и с тех пор не видал Гёте.

— Что вы хотите всем этим сказать? — спросил я.

— Я хотел исполнить ваше желание и рассказать мою встречу; тут нет внешней цели, это факт. Я видел Гёте так, а не иначе; другие видели его иначе, а не так,— это дело случая.

---

[1] «Да это знаменитый немецкий поэт г-н Кёте, который написал, который написал... ну... Мессиаду!» (франц.).— *Ред.*

— Но вы как-то умели сократить колоссальную фигуру Гёте, даже умели покорить его какому-то полковнику.

— Что-нибудь одно: или вы думаете, что я лгу,— в таком случае у меня нет документов, чтоб убедить вас в противном; или вы верите мне,— и тогда вините себя, ежели Гёте живой не похож на того, которого вы создали... Все мечтатели увлекаются безусловно авторитетами, строят себе в голове фантастических великих людей, односторонних и, следовательно, не верных оригиналам. Лафатер, читая Гёте, составил идею его лица по своей теории; через несколько времени они увиделись, и Лафатер чуть не заплакал: Гёте живой нисколько не был похож на Гёте a priori. Я вам предсказывал, что вы будете недовольны моим рассказом. В том-то и дело, что все живое так хитро спаяно из многого множества элементов, что оно почти всегда стороною или двумя ускользает от самых многообъемлющих теорий. Отсюда ряд ошибок. Когда мы говорим о римлянах, у нас все мелькает перед глазами театральная поза, цивические добродетели, форум. Будто жизнь римлян не имела еще множества других сторон! Так поступают и с историческими людьми. Для идеалистов задача: как Рембрандт мог быть скупцом и великим художником; как Тиверий мог быть жестоким и между тем глубокомысленным, проницательным монархом. Живая индивидуальность — вот порог, за который цепляется ваша философия, и Шекспир, бессомненно, лучше всех философов, от Анаксагора до Гегеля, понимал *своим путем* это необъятное море противоречий, борений, добродетелей, пороков, увлечений, прекрасного и гнусного,— море, заключенное в маленьком пространстве от диафрагмы до черепа и спаянное неразрывно в живой индивидуальности... Но довольно философствовали; пойдемте гулять; погода прекрасная, жаль в комнате сидеть.

— В том-то вся великая задача,— сказал я, вставая,— чтоб уметь примирить эти противоречия и борения и соткать из них одну гармоническую ткань жизни, — и эту-то задачу разрешит нам Германия, потому что она ее громко выговорила и одной ею и занимается.

— Дай бог успеха! Но я боюсь, чтоб не повторилась история отыскивания всеобщего лекарства от болезней, которое занимало Парацельса и умнейшие головы того века. Спору

нет, всякое примирение хорошо, и мы все чем-нибудь примиряемся с жизнию: без этого пришлось бы застрелиться. Философы примиряются с несчастиями, слепо и грубо поражающими ежедневно индивидуальность, мыслью о ничтожности индивидуума. Мистик примиряется с этими же несчастиями, полагая, что ими искупается падение Люцифера и что за это будет награда... по крайней мере это мнение не так ледяно холодно. А потом и человек чем-нибудь да примиряется с жизнию; один — тем, что он не верит ни в какое примирение, и это выход; другой — как вы, например, веря, что вы убеждены разумом в том, во что вы верите; я — тем, что будто бы делаю существенную пользу, копая землю. Поверьте, все мы дети и, как дети вообще, играем в игрушки и принимаем куклы за действительность. Мне теперь пришел на память лорд Гамильтон, ездивший по Европе и Азии отыскивать идеал женской красоты между статуями и картинами. Знаете, чем он кончил?

— Нет.

— Тем, что женился на доброй, белокуренькой ирландке и кричал: «Нашел! Нашел!» Ха, ха, ха!.. Ей-богу, дети! Но время идет. Пойдемте.

Мы пошли...

*Примечание нашедшего тетрадь*

Считаю себя обязанным, предупреждая недоразумение, сказать несколько слов о рассказе Трензинского относительно Гёте. Больно было бы мне думать, что рассказ этот сочтут мелким камнем, брошенным в великого поэта, перед которым я благоговею. В Трензинском преобладает скептицизм d'une existence manquée[1]. Это — равно ни скептицизм древних, ни скептицизм Юма, а скептицизм жизни, убитой обстоятельствами, беспредельно грустный взгляд на вещи человека, которого грудь покрыта ранами незаслуженными, человека, оскорбленного в благороднейших чувствах, и между тем человека, полного силы (eine kernhafte Natur). Я расскажу со временем всю жизнь его, и тогда можно будет увидеть, как он дошел

[1] неудачника (франц.).— *Ред.*

до своего воззрения. Трензинский — человек по преимуществу практический, всего менее художник. *Он мог* смотреть на Гёте с такой бедной точки; да и должен ли был вселить Гёте уважение к себе, подавить авторитетом человека, который рядом бедствий дошел до неуважения лучших упований своей жизни? С другой стороны, люди практической сферы редко умеют свой острый ум прилагать к суждению о художниках и о их произведениях. Фридрих II, прочитав «Гёца фон-Берлихингена», сказал: «Encore une mauvaise tragédie dans le genre anglais!»[1]* Гёте простил ему это суждение от всей души.

Сверх того, не увлекаясь авторитетами, мы должны будем сознаться, что жизнь германских поэтов и мыслителей чрезвычайно односторонняя; я не знаю ни одной германской биографии, которая не была бы пропитана *филистерством*. В них, при всей космополитической всеобщности, недостает целого элемента человечности, именно практической жизни; и хоть они очень много пишут, особенно теперь, о конкретной жизни, но уже самое то, что они пишут о ней, а не живут ею, доказывает их абстрактность. Просим вспомнить, для того чтоб разом увидеть все необъятное расстояние между ими и людьми жизни, биографию Байрона... Трензинский, конечно, не мог симпатизировать с германцами и, как человек, в котором некогда была развита именно та сторона жизни, которая вовсе не развита у немцев, не мог с нею и примириться за другие стороны.

---

[1] Еще одна плохая трагедия в английском духе (франц.).— *Ред.*

〈1838—1841 гг.〉

## НАБРОСКИ. ОТРЫВКИ. ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ

### ‹НЕ ДОЛГО ПРОДОЛЖАЛОСЬ ЕГО ОДИНОЧЕСТВО...›

Не долго продолжалось его одиночество, вскоре нашел он друга, сильно симпатизиро‹ва›вшего с ним, и тогда, не привыкший раскрывать при ком то ни было свои чувства, он совершенно предавался сладостному дележу мечтаний и дум, пламенным потоком переливал он свою душу.

---

В нескольких верстах от Москвы находится одна из величественных дач, блиставших пышностью в царствование Екатерины. Парк имеет какое-то дивное влияние на душу, он давит ее, особенно когда пренебрежение порастило дорожки его травою, переплело сучья дерев и на все предметы набросило что-то неопределенное, забытое. Чувство величественное и томное наполняет грудь, едва дышишь. Огромный дом, украшенный множеством колонн, различными капителями, украшениями около окон и дверей, носит яркую ливрею XVIII века; ливрея эта еще виднее была во внутренностях горниц; яркие занавесы, парчевые и гобеленовские обои, гродетуром обитые кресты на изогнутых ножках с резьбою, все позолочено, и позолотой дурной; люстры из мильона кусков хрусталей, которым придан блеск алмаза, множество статуй дрянной работы. Одним словом, XVIII век с своим грандиозо и с своей мишурностью. Все это, прибавим, сломано, криво, почернело, облито дождями, съедено молью, веет запахом тления; все это прошедшее, все это живет в памяти тех, которые помнят век

Потемкина, век путешествия в Крым, век мира при Кучук-Кайнарджо и бала в Таврическом дворце*.

Не знаю почему, всегда приятно смотреть на падшее величие, это что-то сравнивает всех людей и ясно говорит о суете земного. Перед домом газон и пруд, чистый, ясный, служивший некогда зеркалом прелестным барышням того века, барышням с высокой прической, с мушками на лице, в фижмах, которых возили в театр Медокса*; и кавалерам-мотылькам, записанным в лейб-гвардию, в французских кафтанах, трех(гольной) шляпе, в башмаках и белых collants(?)[1]. А теперь оно отражает иногда садовника, как-то тут забытого вместе с парком и одичалого, как он, иногда студента с ужасной трубкой в зубах, вырвавшегося на волю во время вакации, редко иностранца, который ставит в *обязанность* осмотреть окрестности города,— и только. В один прелестный июльский вечер двое молодых людей посетили эту дачу. Все располагало их к разговору сильному, черпаемому из внутренностей души. Они радовались, что могли сбросить с себя условную форму общежития, может, полезного во многом, но тяжкого, как все кандалы. В жарком разговоре приближились они из густой аллеи и сели на лавку возле пруда. И один из них, с прелестным поэтическим лицом, с огненными глазами, рисуя по земле тонкою тросточкой, чтоб скрыть свое лицо, иногда пламеневшее от сильного волненья, иногда от ложного стыда...

«Кто в юности своей не давал воли фантазии и не творил идеал, в коем собирал все совершенства, всё изящное, рассеянное в природе и в душе его? Кто? Кроме тех, кои не имели юности, тех, у которых ум убил все чувствования, которые с ранних лет упали в грязное, смердящееся озеро, называющееся толпою. Кто из творивших идеалы не был в восторге, встречая существо, хотя слабо, хотя несколько сходное с его идеалом, когда творение фантазии человека сливается с творением бога? С ранних лет привык я давать волю своему воображению и — окруженный ледяными людьми — мечтать большую часть дня. Знаю, что мечты вредны, что они ослабляют энергию ума, что

[1] лосинах (франц.).— *Ред.*

убивают деятельность, но как было противустоять им. Им — одетым в пышные ткани востока, дышащие полуденным зноем страстей, и завлекающим, как русалки, в свои серебряные, мягкие волны. В сих-то мечтаниях я создавал себе идеалы жизни, художества... и наконец остановился как бы утомленный, создав идеал Девы. Описывать тебе его нельзя, да теперь и нужды нет. Я встретил наконец свое создание, хотя не весь идеал, но часть его большую

<Начало 30-х годов>

---

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛЕКЦИИ Г-НА МОРОШКИНА, ПОМЕЩЕННОЙ В V № «УЧЕНЫХ ЗАПИСОК»

Доселе мы не обработали сами ни одной отрасли наук, даже литература наша почти не имеет ничего национального. То, что Европа получает кровавым потом и горькой опытностью, то, руководствуясь дивным примером Петра Великого, мы берем даром и платим только *за провоз;* правда, иногда многое на дороге сломается, многое не переедет рубикона таможни но что-нибудь да приедет же. Не знаю, насколько ниже прививные почки сии естественных, но думаю, что не совсем основательно нападают на них. Россия еще юноша, и народы взрослые должны воспитывать ее. А что такое воспитание, как не откровение истин, одному доставшихся опытом, другому? Для чего каждому пройти весь тернистый путь, чтоб получить истину, уже открытую? Пора убедиться, что истина, где бы ни была открыта, делается достоянием всего человечества. Касательно литературы собственно — дело другое, она должна быть национальна, должна истекать из всей жизни народной и представлять ее без всяких посторонних элементов. В науках же надобно очень благодарить тех, которые знакомят нас с Европою. Германскую философию мы узнали через Веланского, Павлова и Галича. Они первые сказали нам о Шеллинге и Окене, сказали и остановились; сверх того, они наиболее знакомили нас с воззрением

натурфилософии на естествознание[1]. Вот еще новое усилие познакомить нас с философиею права и с новейшим германским воззрением. Лекция г-на адъюнкт-профессора Морошкина «О возможности науки прав знатнейших народов» представляет нечто столь полное, столь глубоко обдуманное и изящное, что я

<Конец 1833 г.— первая половина 1834 г.>

---

## ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О РУССКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

1. В гражданском обществе (dans le fait social) прогрессивное начало есть правительство, а не народ. Правительство есть формула движения (du progrès), выражение идеи общества, форма его историческая, факт непреложный. Нигде правительство не становилось настолько перед народом, как в России; может, от этого оно не всегда было исторически справедливо, не всегда последовательно. Прежде юрисконсультов у нас явились учреждения с самыми дробными приложениями, но зато не все они своевременны и уместны.

Свод императора Николая* — огромнейший юридический факт; он остановил жизнь юридическую России и показал все совершенное ею; все, что сделало правительство, показано; труды индивидуальные должны теперь облегчить труды правительства.

Возражения Савиньи против германской кодификации* не идут. Свод не токмо не ограничил, но дал правильную форму прогрессивному началу законодательства.

Есть ли естественный переход от Уложения к законам Петра Великого?

Есть ли и насколько национальная сторона вновь выходивших узаконений от Петра до Свода?

Какие национальные элементы перешли из Судебника, Уложения через все царствование дома Романовых до Свода? Какие исключились?

---

[1] Исключая Галича.

Глубокие изыскания токмо могут разрешить эти вопросы.

Характер законодательства императрицы Екатерины II — философский, в смысле филантропии XVIII века,—проникнут важнейшими идеями для быта гражданского. Характер законодательства Павла — рыцарский и, может, не вовсе своевременный. Характер законодательства Александра сбивается во многом на начальный характер постановлений de l'Assemblée Nationale[1] и вообще политического учения des garanties[2]. В законах Екатерины есть что-то женское, исполненное любви, что-то напоминающее патриархальную Германию. У Александра — много Франции (учреждение министерств). В законах императора Николая виден характер положительности, которого недоставало прежде,— характер внутренней силы государства, чувствующего всю мощность свою.

У нас не было системы, последовательности принятия европеизма. Россия воспитана так же, как мы. Ибо революция Петра была материальная.

В европейскую эпоху нашего законодательства, при самых начальных трудах, являются два элемента, блестящим образом развитые императрицей Екатериной II. Эти два элемента — лучшее доказательство, насколько правительство стояло выше народа и насколько оно хотело поднять его. Я говорю о коллегиальном начале и о выборах. Одна власть исполнительная вверялась лицу, власть судебная и законодательная (в назначенных пределах) всегда вверялась месту, а не лицу. Советник всегда имел право подать голос, перенесть дело в высшую инстанцию; эта высшая опять составляется из нескольких лиц, и ежели снова возникнет разногласие, то решение вопроса может быть или большинством голосов, или восходит на высочайшее рассмотрение, т. е. к источнику законодательной власти. Его решение не имеет и апелляции — так и быть должно; из уважения к самому народу так быть должно; воля царя самодержавного есть воля самого народа, его решение имеет святость — эту мысль очень хорошо развили в восточных законодательствах.

---

[1] Национального собрания (франц.).— *Ред.*

[2] о гарантиях (франц.).— *Ред.*

Итак, с одной стороны коллегиальное начало и, следственно, большинство голосов, с другой — выборы и, следственно, прямое влияние массы, или, лучше сказать, дворянства в делах судебных, ибо ⟨его⟩ представители во всех судебных местах. Доверенность правительства была так невелика, что не токмо судебную власть, но и исполнительную вручило оно отчасти людям выбранным, а не назначенным, оставя себе главный надзор, т. е. губернатор, губернское правление, городничий... а, так сказать, *прямые* исполнители: земский исправник, заседатель etc.— избранные. Еще больше. Устройство муниципальное само в себе весьма хорошо: не говоря уже о купцах, мещане и цеховые имеют все нужные гарантии. Они сами делают раскладку городских сборов, сами распоряжаются суммами, судят своим судом свои дела (магистраты, ратуши, словесный, сиротский суд, наконец коммерческий суд). Но и в тех делах, когда они судимы гражданским судом или уголовным, голос остается в заседателе, в депутате.

Основания муниципального права, выборов и коллегиального учреждения так обширны, что другие страны долгой юридической жизнию своей не достигли их. Может быть, всего менее обращено было внимания до сих пор на казенных крестьян. Но элемент выбора и большинства голосов уже есть в волостном правлении; даже, сверх полицейского надзора и некоторого участия в раскладке земских и натуральных повинностей, право составления приговоров довольно велико. Но недостаток учреждений по этой части — уже в виду правительства, и от министерства государственных имуществ надлежит ждать их. Удельное имение в малом виде показывает план правительства. Впрочем, крестьяне в других странах точно так же hors la loi[1], как выходящие из электорального ценза (кроме Швеции). Заметить необходимо — у нас ценза нет; право, данное сословию, не зависимо от его состояния, и в некотором смысле ценз имеет жизнь в нашем законодательстве только в переходе из мещанства в купечество, из гильдии в гильдию и, наконец, в почетное гражданство.

---

[1] вне закона (франц.).— *Ред.*

Наше законодательство принимает владение за факт и только в этом смысле охраняет его; лучшее доказательство — это десятилетняя давность, бесспорное межевание...[1]

Взгляните, какая обширная база лежит под Сводом. Россия и Америка — две страны, которые поведут далее юридическую жизнь человечества. Россия — как высшее развитие самодержавия на народных основаниях, и Америка — как высшее развитие демократии на монархических основаниях.

Вот что, кажется мне, остановливает более правильное и полное развитие законодательства.

1. Доселе массы не умеют понять своих прав. Говорят: «Да какой голос имеет заседатель от градского общества в уголовной палате?» Кто же в этом виноват? Конечно, не законодательство. Так, как оно не виновато в том, что советники не подают голоса, боясь председателя или губернатора; в том, что журнал составлен весь секретарем, которого дело — только изложение и справка; так, как оно не виновато в том, что дворянин , богатый и чиновный, пренебрегает службой общественной в то самое время, как в остзейских провинциях отставные генералы, аристократы не стыдятся служить несколько трехлетий на самых низших местах. Виновато ли оно в том, что дворяне не считают своих сумм, не требуют отчета в земских повинностях у губернатора? А причина этому — недостаток просвещенья, недостаток гражданственности, эгоистическая лень, но более всего — недостаток просвещенья.

2. Некоторые учреждения основаны совсем на других началах и часто противуположных; они останавливают друг друга.

3. Перевес, данный дворянству.

4. Помещичье право, исключающее из общего круга людей крепостных.

<Октябрь — ноябрь 1836 г.>

---

[1] Главнейшее — это разделение полей по тяглам. Это lex agraria <аграрный закон (лат.)>, юбилейный год.

## К «СИМПАТИИ»

Истерзанный людьми, истерзанный разлукой и, наконец, истерзанный своей душою, я часто изнемогал от жгучей боли; сколько раз, бледный, как полотно, бросался я на диван в какой-то лихорадке, пятна на душе выступали так ярко, прошедшее стояло возле с хладнокровным, укоряющим лицом судьи, и я боялся оставаться один. Сколько раз в такие минуты приходил я к Полине, и душа оттаивала, и яд не так сильно действовал. Ее простодушные рассказы, ее сильное чувство и чистое, как нагорный воздух, веяло здоровьем на больную душу, и, когда ничего не помогало, она убаюкивала меня песнями своей Германии, песнями своего Шиллера — она мне пела Теклу*, «Das Mädchen aus der Fremde»*, и баркаролу из «Фенеллы», и молитву из «Фра-Диаволо»,— и много раз душа вылечивалась, раздирающая буря утихала; она, как месяц, всплывала из-за туч, и делалось ясно и светло; я благодарил ее взором и спокойно уходил домой. В другие минуты, не в силах вынести своего блаженства, прибегал я рассказывать ей ряд фантазий, ряд воспоми⟨наний⟩, ряд пророчеств. И она молилась о совершении их. Жан-Поль говорит: «Хороша душа у человека, который умеет сострадать в несчастии; но кто откровенно может быть счастлив счастьем другого — тот ангел». Я верю Жан-Полю. Ах, как она любила *ее**, не зная, не видавши, и как достойна была ее любить!

Может, я очень ошибаюсь, но мне кажется, эта симпатия доступна больше всего душе германской, она сродни их поэзии. Вспомните Беттину Брентано, о которой я не могу думать без восторга*. Это юношеское увлеченье, эта безотчетная доверенность чужда нам, подавлена нашим воспитаньем. Мы боимся чувств — они боятся холода; мы с ранних лет привыкаем к маске, в патриархальной Германии она не нужна.

Так прошли два года, мрачные и ужасные; на третий яркий луч надежды рассек мглу — мне надо было ехать, я оставлял навсегда «страну метелей и снегов»*.—Полина плакала и говорила мне скрозь слез: «Добрый путь, поезжай скорее; я знаю, как рвется твоя душа туда, и навернется слеза печали о твоем

отъезде, и сотру ее слезой радости, что ты приближаешься к ней».

Не правда ли, как это все смешно, сантиментально? Я не смеюсь над вами, положительные люди; заваливайте камнем сердце, заливайте золот‹ом›, собирайте песчинки, обедайте, и дай бог вам долгие дни, и генеральский чин, и ‹ *2 нрзб.*›, и жену, двух, пожалуй, ежели хотите. А я еще и еще раз благословлю сестру Полину. Она утомленному, изнемогавшему путнику подала чашу освежающего напитка, и подала с любовью; она, как посланник божий, явилась в смрадную пещеру Даниила*, и жаль мне было с ней расстаться, но пилигрим остановиться не мог, его призванье, раздавшееся свыше, звало его туда, в святой город. Но скоро на пути много раз обратился он к городу, занесенному снегом, и каждым взором благословил Полину.

‹Владимир-на-Клязьме

13 января 1838 г.›

---

## ‹ИЗ СТАТЬИ ОБ АРХИТЕКТУРЕ›

### ‹1.› ‹У египтян более гордости...›

У египтян более гордости, более тайны, более касты; в готизме более молитвы, более святого...

Готизм, или тевтонизм, имеет какое-то сродство с духом мавританским. Но в одном — мысль аскетическая и религиозная, в другом — жизнь разгульная, роскошная; там — поэзия молитвы, тут — поэзия жизни восточной; Дант и Ариосто.

Италия, кажется, нигде во всей чистоте не выразила готизм — она не могла забыть своего прошедшего.

Искаженные здания XVII и XVIII века тем же дурны, как и тогдашняя литература — везде эффект, поза, натяжка, паствораль на паркете, театральная декорация, а не самосущность.

Ежели стиль тевтонский во всей чистоте своей выражает христианство, стиль греческий — политеизм, стиль египетский — религию того края и ежели мы откроем, чем каждый из них

выражает свою религию и как, тогда не вправе ли мы будем делать по тому же закону прямые заключения от стиля храмов к религии? Например, находя в Нубии стиль египетский, заключим, что их религия сходна; напротив, рассматривая развалины индусских храмов, этих пещер, иссеченных в скале, этих пилонов, четверогранных, или массы, скалы, перенесенные целтами*, или овальные своды персов,— мы их тем отделим от всего предыдущего... Не будем дивиться сродству дальнему индийских развалин и тевтонского стиля. Вспомним сходство религии христианской и Вишну.

Открытие развалин Мерое в Эфиопии французом Cailliaud* еще далее на юг отталкивает колыбель греческой цивилизации. Вероятно, из Эфиопии населился Египет. Храмы того же характера; там встречается уже форма перитеральная храмов*. Итак, и эта форма не есть изобретение греков. Может, Пиранези очень прав, говоря, что все ордена только усовершены греками.

Сами египтяне говорят, что Изида пришла из Эфиопии и научила их обрабатывать поля.

Храм египетский (вообще) есть храм чисто земной, телесный, иссеченный в скале, углубленный, так сказать, в землю, мрачный с своими страшными пилонами. Они выражали свое поклонение Озирису, давая ему ужасную человеческую форму (50 футов, например, в Эбсимбуле). Идея тайны, грозной, страшной, выражалась на мрачной фасаде.

〈Конец октября — начало ноября 1836 г.〉

## 〈2.〉 〈Есть высшая историческая необходимость...〉

есть высшая историческая необходимость, пренебрегая которую выйдет уродство. Каждая самобытная эпоха разработывает свою субстанцию в художественных произведениях, органически связанных с нею, ею одушевленных, ею признанных. Пора оставить несчастное заблуждение, что искусство зависит от личного вкуса художника или от случая. Религия, наука и искусство всего менее зависят от всего случайного и личного; одно низкое пониманье их может поставить их в такую недостойную зависимость. Начать с того, что великий художник не

может быть несовременен. Одной посредственности предоставлено право независимости от духа времени. Конечно, есть возможность себе представить, что кто-нибудь, полюбивши уродливую фасаду индийских пагодов, построит здание вроде их; но разве от этого здание будет современно или вкус к ним — общим вкусом эпохи? Частный человек может одеться по-китайски, так, как Александр Ли Борж оделся по-турецки, но такая выходка ограничится им одним и не будет иметь ни смысла, ни значения. Ну, а если вдруг пол-Европы стало бы одеваться по-китайски — факт был бы исторический, который следовало б разобрать строго и внимательно. Подобное два раза случалось в мире искусств и, может, всего резче в области зодчества.

Однажды мир католический, имея свое превосходно развитое зодчество, обстроился в искаженно греческом вкусе.

В другой раз мир, вышедший из католицизма и сражавшийся против всего католического в продолжение трех веков, стал строить готические здания.

Но в этих двух переворотах есть важная разница. В силу первого вся Европа покрылась зданиями стиля, известного под названием *восстановления.* В силу второго построено несколько маленьких зданий и написано бездна диссертаций, доказывающих превосходство готизма*. Видно было, что силы истощены, что человечеству на этот раз не до построек.

Какая была необходимость, какой внутренний смысл?

Готизм, какое бы его начало во времени ни было, откуда бы его формы ни взялись, из сочетания ли форм древнегерманских с мавританским минаретом или иначе,— готизм развился до высшего предела своего в мире католицизма. Он удовлетворял всем условиям, всем требованиям учения и ритуала католического. Характер его — стремление вверх, здание рвется всеми частями в небо и, суживаясь, пропадает в воздухе; в массе ищется не красота, а одухотворение; готическое здание не имеет оконченности в себе, замкнутости греческого храма, оно полувысказывает основную мысль свою, потому что ничто земное не в состоянии высказать ее вполне, здание только намекает на теодицею, бесконечную и невыразимую. Одному соотечественнику нашему* пришло в голову сравнить готизм с египетской архитектурой. Мысль чрезвычайно глубокая.

Разумеется, для поверхностного взгляда сходства нет. Египетские храмы — с своими толстыми колоннами с воронкообразными капителями, с полузастроенными междуколонниями, без крыши, низкие,— кажется, ничего похожего не имеют на готические соборы, где царит вертикальная линия, и которых характер именно svelte[1], в противуположность какой-то ненужной и квадратуре и кубатуре египетских построек. А родственное сходство велико, тот же характер austère[2], отталкивающ⟨ий⟩ все светлое, радостное, пренебрегающий земным. Обелиск точно так же указывает в небо, и пирамида в нем же теряется.

И тот и другой стиль развился в созерцаниях и думах таинственных каст. Известно, какой глубоко священный характер имел самый акт построения у египтян и католиков. В средние века профанская рука не касалась ни до одного камня, работники принадлежали к общинам *вольных каменщиков*, и строги исполняемые мысли великого, святого и торжественного дела; оттого-то все подробности, все мелочи исполнены с той оконченностью, которая поражает нас удивлением. Эрвин Стейнбах был гроссмейстер ложи вольных каменщиков. Чаще всего сами архиереи чертили планы.

⟨1838 ?⟩

### ⟨3.⟩ ⟨Говорить о домах под лаком в Голландии...⟩

говорить о домах под лаком в Голландии, о юртах киргизов, о жилищах бобров — и все это до изящного не относится или относится, как застава и карантин к городу, хотя и живет под его покровительством. Но заметим, именно в домах, магазейнах, мостах и отличается наш век.

Но неужели на пламенный призыв человечества не будет ему изящного? Неужели животворная мысль творчества не сойдет на землю, изрезанную железными дорогами, и неужели памятниками нашему веку будут казармы, мага-

---

[1] стройный (франц.).— *Ред.*

[2] суровый (франц.).— *Ред.*

зейны, экзерциргаузы? — Не может быть; но чего ждать миру от будущего зодчества? Об этом поговорим в следующей статье.

Владимир, 12 февраля 1838

---

## ‹ЧТОБ ВЫРАЗУМЕТЬ ЭТУ ИСПОВЕДЬ СТРАДАЛЬЦА.. ›

чтоб выразуметь эту исповедь страдальца, эту энергическую душу, вырабатывающуюся через мастерские часовщиков, передние, похоти, падения до высокого нравственного состояния, до всепоглощающей любви к человечеству. После «Исповеди» в 29 году в Васильевском я взял «Contrat social»; им Руссо надолго покорил меня своему авторитету; нигде я не встречал с такою увлекательной силою изложенными либеральные идеи. Я стал боготворить Жан-Жака, тогда и жизнь его, особенно поэтическое бегство от людей в Эрменонвиль, привязали меня еще больше лично к нему; он мне казался каким-то агнцем, несущим скорби всего человечества XVIII века. Я назвал любимое мое место в деревне Эрменонвиль и всегда поминал в нем гражданина женевского. Руссо в самом деле выражает все теплое начало французской философии XVIII века и все энергическое. Один Дидро может стать с ним рядом, но в Дидро нет этой чистоты sui generis[1], чистоты неподкупного Робеспьера, безумного Сен-Жюста. После «Contrat social» прочли мы с Темирой «Discours sur l'inégalité de l'homme» и т. п. Я было принялся за «Новую Элоизу», да бросил на второй части; мне, упивавшемуся небесными девами Шиллера, которые все похожи на его Деву чужбины, с их неприступною чистотою, с их неземною жизнию, не могла нравиться физически порывистая любовь Юлии, ни даже слог переписки ее с любовником. Жизнь действительную я в то время плохо понимал. Я искал в поэмах *идеальные* существа, какие-то тени, как все тени, имеющие образ человечий, но без тела.

---

[1] особого рода (лат.).— *Ред.*

Несмотря на мое пристрастие к политическому учению энциклопедистов, вполне я не предавался им. Какой-то внутренний голос, инстинктуальный больше, нежели сознательный, боролся против грубого сенсуализма этой школы. Дух мой требовал свои права и отталкивал узкие истолкования. Может, чтение Шиллера направило меня выше воззрения Вольтера, может, гальванизм века будил этот голос в моей душе — не знаю, но всего очевиднее ненависть моя к материализму оказалась, когда я вздумал заняться естественными науками — это был богатый эпизод в одностороннем политическом направлении, ему я обязан долею хороших результатов, до которых достиг впоследствии; и если вторично спасся от односторонности.

〈Конец 30-х гг.〉

---

## ЗАМЕТКИ ИЗ «ЗАПИСНОЙ ТЕТРАДИ 1836 г.»

### 〈1.〉 〈Гретхен, в которую был влюблен Гёте...〉

Гретхен, в которую был влюблен Гёте* еще юношею («Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit»), не была ли основою Гретхен в «Фаусте»? Сходство огромное. И это не отнимает нисколько достоинства изобретения, разве его schwankende Gestalten[1] не могли созидаться из воспоминания сердечного, фантастического? И Клара в «Эгмонте»*.

〈1836 г.〉

### 〈2.〉 〈Ноября 6,1836〉

*Ноября 6,1836*

Весь вечер, занимаясь развитием мысли религиозной в жизни человечества и открыв некоторые весьма важные результаты, я радовался*. Уже ложась спать, без всякой цели развернул Эккартсгаузена и попал на следующий текст св. писания: «И беси веруют и трепещут!»

Да, вера без любви — мечта!

Мышление без действования — мечта!

〈1836 г.〉

---

[1] зыбкие виденья (нем.).— *Ред.*

### ⟨3.⟩ ⟨Итак. Протестантизм и Густав-Адольф...⟩

Итак. Протестантизм и Густав-Адольф.
Пруссия (идея государства) и Фридрих II.
Эманципация —и Наполеон.
Три эпохи литературы.

⟨1836 г.⟩

---

## АЛЬБОМНЫЕ ЗАПИСИ

### ⟨1.⟩ ⟨В альбом Т. П. Кучиной⟩

Первая любовь на все светит, все равно освещает; счастлива дева, на которую падает первый взор любви. Какою прелестью облекает ее молодое воображение, как пламенны о ней песни, как нежно юноша плачет. Это — лучшая минута в жизни.

A priori
Jean Paul Richter.

⟨1831 г.⟩

### ⟨2.⟩ ⟨В альбом В. А. Витберг⟩

Усталый путник прислонился к разбитому дубу — некогда этот дуб рос к небу; теперь мрачным памятником грозы и прежней славы стоит он, обожженный молнией,— одна юная ветвь, кротко склоняясь к земле, говорила о жизни, ⟨при⟩зывала луч солнца на свои листы, и привольно было светлому лучу играть в ее чистой слезе.

И путник благословил их, продолжая свою дорогу.

А. Герцен.

1837, ноября 12
Вятка.

---

## ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА 1839 г.

*Владимир-на-Клязьме*

Январь.

11-е

Новый год встретил меня у постели больной Natalie. Кругом тишина, не было ни посторонних взглядов, ни посторонних звуков. Странная перемена. Сбылась мечта, и сбылась с необъятной полнотой. Мы хотели быть вместе. Провидение соединило нас и оставило *одних;* да, по сю сторону — мы, по ту — люди. Мы точно забыты всеми в нашем уголку, где обитает любовь. Мы даны друг другу и за это обведены цепью, за которую никто не ходит; даже письма от друзей долетают редко, редко, едва ответ на два наши... и между тем мы так счастливы.

Новый год навевает много дум всякому; радостно встречая пришельца, я вздохнул о 1838 — он для меня был хорош — выкуп трех мрачных, ужасных предшественников. Лучшего года в мою жизнь не будет. Как скоро стираются несчастья, страдания, а минуты восторга, блаженства вечно живы, вечно свежи в душе; я забыл сердцем все, постигавшее меня с черного 20 июля 1834. А светлое — светит.

Новый год — всегда загадка, и мысль об ней наводит много меланхолического.

Мы годом ближе к смерти! — это верно.

А человечество годом ближе к великой эпохе братства и гармонии! — и это верно.

Остальное покрыто, время — тиран, от прошедшего оставляет тень, а будущему едва-едва приподымает завесу.

Пройдут столетия, и новый год навеет кому-нибудь те же мысли, те же мечты. Где я буду тогда? Будем ли мы так же вместе, Natalie?

Новый год есть периодическое memento mori[1] .

Я дивлюсь геройству толпы: она толкует о смерти так, как о поездке в подмосковную; живет в своих мелочных отношениях, как будто каждому отпущено жизни, как Мафусаилу. Для чего они хлопочут о вздоре? — Они дети, потому и играют. Как им сделалось бы стыдно, ежели б

[1] помни о смерти (лат.).— *Ред.*

〈После 19-го января〉

Покойник был добр*, но исполнен предрассудков и как человек прошлого века и как знатный человек.— Ну чем же был *он* виноват, что родился в такую эпоху и в таком положении?

Мы почти всегда осуждаем людей за вины, вовсе не от них зависящие.— Но он мог бы быть лучше в другую эпоху; это также доказывает бессмертие души, ежели *мог*, то и разовьется; за что же индивидуум будет принесен совсем на жертву человечеству?

## Март

15, 16, 17, 18 марта

Не в самом ли деле в году есть дни, месяцы, особенно важные, климатерические, как говорили занимающиеся тайными науками? В таком случае март отмечен ярко в моей жизни.

25 марта 1812 я родился.

31 марта 1835 прочли повеление о ссылке.

3 марта 1838 первое свидание с Natalie* после долгой, тяжкой и скорбной разлуки. С этого дня я должен считать светлую эпоху — за нею идут другие свиданья; но в главе их торжественное 3 марта. Одного недоставало для полного блаженства — Николая*, и с ним свиданье было в марте.

Он пробыл у нас с Марией 15, 16, 17, 18*. 19-го я проводил его.

Когда я буду умирать, велю принесть себе мои письма, где я писал о 3 марта и хоть эту страницу о свиданье с другом. Мы четверо вдруг стали на колени и молились перед распятием. Душа так была светла, так торжественна!

Свиданье было нам необходимо; теперь я это понимаю вполне; мы передали друг другу повесть души за 5 лет, и после свиданья все это улеглось, и сердца наши закалились друг в друге, и мы благословили друг друга.

〈Июнь〉

13 июня. Десятый час.

О боже, о великий боже! Сохрани ее и сохрани его!*

Тебя, существо неродившееся, тебя, в котором слились два бытия, Александр и Наталия, благословляю тебя,

благословляю! Иди в жизнь, иди на службу человечеству, я тебя обрек на трудный путь, иди, благословляю тебя.— Может, погибнешь, но принесешь чистую душу.— Всею силою отца, всею силою воспитателя, всею силою магнетизма поведу я тебя по пути, не мною избранному для тебя, а богом для человечества.

Ее жизнию, твоей жизнию клянусь и присягаю.

Боже, сохрани же их!

⟨14 июня⟩ *Первый час!*

Благодарю тебя, великий промысл!

Сердце бьется, еще чувства не укладываются в грудь, не токмо на бумагу.

# ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

# ЛИЦИНИЙ И ВИЛЬЯМ ПЕН

SCENARIO ДВУХ ДРАМАТИЧЕСКИХ ОПЫТОВ[1]

## I

### ЛИЦИНИЙ.

Первая сцена. Рим во времена Нерона. Празднество нового года у Пизона, пышная оргия à l'antique[2]; у Пизона собрались сановитые патриции, художники, поэты, поклонники старины, представители славного прошедшего, недовольные *легитимисты* римской республики. Они уверены, что императорство не устоит, и в тиши работают, чтоб низвергнуть тирана. У них есть заговор, в нем участвуют избранные из избранных, сам Пизон, поэт Лукан, строгий, стоический римлянин древних дней Тразей и восторженная куртизана Эпихарис, которая не уступит ему в энергии и героизме.

Пир идет своим порядком: тосты, желания, политические намеки, цветы, вино, яства. В общем разгуле не участвует один молодой человек, больной, несколько юродивый, племянник Пизона, Лициний. Он недавно возвратился из Афин, родные заметили, что он с тех пор стал заговариваться. Вызванный из своих мечтаний, Лициний на веселый тост отвечает печальной речью. Он не верит в воскресение древнего Рима, и еще хуже, он и не желает его. На Риме лежит грех, грех Ромула; как бы, вызывая прошедшее из могилы, не вызвать Рема — голодного,

[1] Вслед за «Записками молодого человека» помещаю я Scenario моих несчастных драматических опытов, безжалостно убитых Белинским (XVI глава I части «Былого и дум»), который просил меня переписать стихи *в строку*, чтобы нельзя было заметить, что они писаны рубленой прозой на манер стихов. Сцены эти относятся к 1838; в них ясно виден остаток религиозного воззрения и путь, которым оно переработывалось не в мистицизм, а в революцию, в социализм.

[2] в античном духе (франц.).— *Ред.*

одинокого в подземной жизни своей! Его ждут не граждане Рима, не патриции, его ждут бесправные, покрытые рубищем, черни спартаковская.

Гости привыкли к бреду Лициния, но тем не меньше на рассвете, после оргии, слова его действуют на нервы. Пир расстроивается.

Вторая сцена. В саду пизоновской виллы. Лициний очень болен, его мучит тоска, он велел себя положить под деревом. Возле него друг его первой молодости, юноша, блестящий умом и красотой, пылающий здоровьем, Мевий. Мысль Лициния занята смертью; как настоящий римлянин, он философствует, чувствуя ее приближение. Печален его взгляд. Он видит ясно, как все его близкие несутся в неминуемую гибель, он знает о их заговоре, он не верит в его успех, и вообще не верит, чтоб Рим можно было воскресить; его час настал, и спасти его нельзя и не нужно.

Мевий с ним согласен; он ясно понимает, что тех нравственных сил, которые поддерживали древнюю республику, нет больше. Он тоже не видит выхода в смысле реставрации, но он находит безумным страдать о вещах, которых нельзя переменить; не остается ли человеку еще другая жизнь, чисто личная, принадлежащая ему? Разве у него можно взять способность наслаждаться? Пусть же человек пользуется всеми дарами жизни, пользуется тем мгновением, которое ему уступлено судьбой и которое дается только раз. Мевий уверяет Лициния, что вообще в природе нет ни того счастия, ни того несчастия, о котором мечтают люди и которого боятся: жизнь почти всегда одинакая, и перемены поражают только со стороны. «Сегодня цветет одно дерево, а завтра другое». Теперь где-нибудь в полуразрушенных Фивах нет прежней исторической жизни, а змеям и ящерицам жить веселее, и птицам привольнее вить себе гнезда.

Лициний не слушает его; он вспоминает о встрече с каким-то пророком или волхвом, которого вера была так полна покоя, надежды,— если б он мог верить, он был бы счастлив, но веры нет в его сердце. Он забывается или впадает в забытье. Старик, плешивый афинский старик, волхв перед ним, он зовет его... дыхание слабеет, и юноша умирает.

Третья сцена, на форуме. Державный народ у себя дома, в своей приемной зале. Импровизатор поет наивычурнейшими стихами оду о доблестях божественного, августейшего Нерона, отца отечества. Лазутчики подсматривают, восхищаются ли люди хорошо одетые. За плебеями никто не смотрит, они и бранят Цезаря, но они его любят; бранят они его за то, что он стал скуп на гладиаторов, агенты успокоивают народ, говорят, что скоро будут травить в цирке дикими зверями

каких-то назареев, что они уже привезены и содержатся в клетках, т. е. тигры и львы, а назареев скоро пригонят. Это успокоивает умы.

Патриции потом толкуют о тяжелых временах. Новая несправедливость Нерона сильно оскорбила их, какой-то сенатор был убит рабом, наследники хотели в наказанье убить всех рабов до единого; Нерон сказал, что это глупо, и запретил. После этого где же неприкосновенная святость собственности?

Приходит какой-то раб и рассказывает, что недалеко от города, на Аппиевой дороге, он видел какого-то колдуна с востока, что ему навстречу шли из Рима люди в белой одежде с зелеными ветвями, что за колдуном идет толпа нищих, женщин, они рассказывают, что он лечит прикосновением руки, что ночью около его головы видно сияние... «В цирк его, в цирк!— кричат со всех сторон.— Но сначала пойдемте его смотреть!»

Четвертая сцена. Via Appia[1]. С одной стороны дороги — родовой колумбарий Пизона, все приготовлено для сожжения тела Лициния. Похоронная процессия; отец Лициния идет печально за телом, его утешает Сенека, приводя в пример всех знаменитых отцов, потерявших детей, рассказывая мнения египтян о смерти.

Патриции-заговорщики рады случаю пошептать, с важностью сообщают они друг другу не важные вести, таинственно сговариваются на пустой сход. Родные устали и хотят есть.

В это время с противуположной стороны показывается на дороге поднимающийся в гору апостол Павел и останавливается перед расстилающимся амфитеатром Вечного города. Он благословляет языческую весь и, обращаясь к своим, произносит речь.

Отец Лициния продирается к нему и просит воскресить сына — «если твой бог велик, отдай мне сына и возьми у меня что хочешь». Апостол говорит ему, чтоб он молился и верил, потом, снова обращаясь к народу, пророчит кончину старого мира и водворение нового, смерть в первом Адаме и жизнь во втором. Окончив проповедь, он молится коленопреклоненный.

Лициний открывает глаза, приходит в себя и начинает узнавать Павла.

Павел продолжает речь. Народ, пораженный ужасом, видя оживленного покойника, молчит. Отец Лициния умоляет Павла взять часть его достояния. «Раздай бедным,— отвечает Павел,— мне не нужно!» Народ яростно рукоплещет. Отец зовет сына с собой, но тот, кротко взяв его руку, говорит ему: «Лициний твой умер, вот мой отец и моя родина, я иду по стопам его».

---

[1] Аппиева дорога (лат.).— *Ред.*

Народ расступается, приветствует Павла. Сенека не верит в воскрешение, он думает, что Лициний был в летаргическом сне. Какой-то жрец находит, что это гораздо опаснее, нежели думают, и идет, во имя богов, делать донос в языческую консисторию.

## II

## ВИЛЬЯМ ПЕН.

Та же мысль, тот же основной мотив и в «Вильяме Пене». Опять разрыв двух миров, опять отходящее старое теснит возникающее юное, опять две нравственности с ненавистью глядят друг на друга.

Вильям Пен исторических сцен не похож на исторического Пена, я плохо знал историю Англии того времени и имел самые общие понятия о Пене, населившем Пенсильванию. В моем очерке должно искать другую правду, не историческую; в Шиллеровом Дон-Карлосе так же трудно найти Дон-Карлоса испанских летописей, как в моем бледном Вильяме Пене хитрого квакера, описанного (с пристрастием, может, в другую сторону) Маколеем. Беда не в том, а в том, что очерк из английской, протестантской жизни кажется мне больше натянутым, чем «Лициний», особенно в конце.

В небольшом английском городе, в сырой, темной лачуге сапожник оканчивает субботнюю работу; в углу лежит больной ребенок, его сын, в лихорадке; одежда, которой он покрыт, коротка, в комнате холодно, топить нечем. Возле сапожника тощий, изнуренный работник. «Что ж, деньги от попа получил?» — спрашивает хозяин работника; работник говорит, что два раза ходил, но что кухарка не только не допустила его, но разбранила и строго-настрого запретила приходить до понедельника. Reverend[1] сочиняет проповедь на завтра и все мирские дела оставил.

Сапожник крепился, он давно угрюм, в его голове давно бродят странные мысли, он сам их боится; но сосуд переполнился, этой капли недоставало, больной ребенок должен дрогнуть, они оба остаются два дня без пищи, потому что reverend сочиняет проповедь.

— Не об милосердии ли? — спрашивает он и бросает свое шило; речь страстная, полная упреков и обличений, несется бурным потоком, и болезненный работник, пораженный, тронутый, повергается в прах перед ним, уверенный, что его устами говорит дух святой. Сапожник растет гневом и мыслью,

[1] Преподобный (англ.).— *Ред.*

завтра он идет в церковь, он прочтет речь фарисея, он скажет проповедь, он сам священник.

Во второй сцене мы уже встречаем Чарлса Фокса, лейстерского чеботаря, раскольническим иерсиархом, уже он не живет на месте; «слово», ему вверенное, дух божий его гонит с места на место, из одного местечка в другое с проповедью, с призывом на новую, евангельскую жизнь.

На дороге, ведущей от большого, сумрачного замка, лежит нищая старуха, разбитая параличом. Проходит Фокс, выезжает из ворот замка мальчик верхом. Нищая поет свою песню, мальчик с состраданием взглянул на нее, пошарил в кармане и бросил ей серебряную монету, но бросил так далеко, что безногой нищей нельзя и достать без больших усилий. Юноша хочет скакать далее, но перед ним мрачная фигура сапожника-пророка. Дюжей рукой пролетария он схватил лошадь под уздцы. «Ты сделал доброе дело, но сделал его скверно,— говорит он мальчику,— посмотри, куда ты бросил деньги, как же эта беспомощная женщина их достанет, подними их и отдай ей». Первое движение мальчика было желание вытянуть его хлыстом и дать шпору лошади. Но спокойно-строгий вид Фокса, его ожидающий взгляд и страшные слова поразили юношу. Он наивно говорит, что не видел, куда бросил монету, и в доказательство, что он напрасно его бранит, соскакивает с лошади и с улыбкой подает старухе деньги. Фокс, тронутый до слез, благословляет его. Мальчик этот — Вильям Пен.

Третья сцена в замке Вильямова отца. С тех пор как юноша встретился с Фоксом, прошло несколько лет. Отец его начальствовал где-то в колониях английским войском, завоевал земли, разбил неприятелей, заключил выгодный мир и теперь возвращается торжественно — отдохнуть — на родину. Его ожидают депутаты, присланные из Лондона с великолепными подарками, посланный короля с лентой, звездой и огромным пергаментовым свитком. Гремят литавры и музыка, является отважный полководец, ему говорят приветствия, он говорит приветствия; пробиваясь сквозь алдерманов, придворных и офицеров, бежит к нему его сын и бросается ему на шею. Старик радостно прижимает его к груди и вдруг отступает, спрашивая с удивлением сына, что за странный костюм на нем и как он смел явиться к нему так на встречу. Сын объясняет ему, что он принадлежит к братству, которое приняло эту одежду. Отец хочет обернуть дело в шутку, посылает сына снять платье и одеться прилично. Сын кроток, тих, но непоколебим. Отец начинает сердиться, и когда сын говорит ему: «Ты сам подумай, отец мой, не лучше ли тебе снять твой меч, ведь здесь нет врагов, кого ж ты хочешь убить им» — он выходит из себя и велит сыну удалиться.

Четвертая сцена. Семейный совет в доме старика. Отец созвал всех ближних своих, законников и духовных, чтоб в последний раз урезонить сына, и, если он и тут будет упорствовать, выбросить его из семьи, которую он пятнает. Вильям является не подсудимым, а судьей и обличителем (процесс сен-симонистов в 1832 году был еще жив в памяти в 38). Родные отказываются от него, легисты осуждают, духовные предают проклятию, отец хочет его лишить наследства. Наследники придумывают, какие улучшения они сделают в именье, как перестроят замок. У раздраженного старика поднялась подагра, его кладут в постель, и он умирает, не сделав завещания.

В пятой сцене Вильям Пен, теперь богач, располагающий как хочет своим именьем, сидит с стариком Фоксом, их занимает важный разговор. Вильям много ездил, он не верит ни в Англию, ни в Европу, для основания братской общины надобна свежая, девственная почва; эта почва по ту сторону океана, он продал свое имущество в Англии и купил корабли, он кликнул клич в Англию, Германию, Голландию и только просит благословенья Фокса. Жаль устарелому Фоксу отпустить его, и трудно самому расстаться со своей старой Англией, но наконец благословляет его на путь.

Шестая сцена, в Пенсильвании. Дряхлый Пен близок к могиле, он очень печален, мечтаемое евангельское братство не учредилось, а новый край, призванный им к жизни, растет с могучей красотой; везде слышится стук топора, реки покрываются барками, плуг подымает землю, починки растут в деревни, деревни в города. Все это видно из разговоров разных сетлеров и проч.

Наконец, весь этот длинный ряд картин, переданных мною довольно верно по памяти, sauf erreur et ommission[1] (очень естественных, если вспомнить, что я двадцать два года до них не дотрогивался), оканчивался таким чисто французским финалом: на могиле Вильяма Пена, в восьмидесятых годах прошлого столетия стоят три путника, пришедших поклониться его праху. Один их них Вашингтон, другой Франклин, третий Лафайет — граждане Северо-Американской республики.

---

[1] если не считать ошибок и пропусков (франц.).— *Ред.*

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## ПЕРЕВОДЫ И РЕФЕРАТЫ

### О ЧУМЕ И ПРИЧИНАХ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ОНУЮ, БАРОНА ПАРИЗЕТА

Говоря о болезни заразительной или прилипчивой, первый предмет представляется рассуждению, что она, продолжаясь только определенное время, оканчивается в людях, которые ее не передают, начинается в таких, у которых она образуется сама по себе. Приняв сие, как бы ни были важны подробности касательно заразительной болезни, важнее всего, по моему мнению, есть ее первоначальное образование, ибо если определится причина, которая в соприкосновении с организмом нашим изменяет, разрушает его и образует болезнь, опасную для нас и для других, то ясно, что, основываясь на сем познании, можно истребить наружную причину ее, если то возможно, и отклонить действия ее, если нет другого средства. Одним словом, во всякой заразительной болезни важнее всего открыть наружные причины ее. Не скажу, что я сделал сие открытие в отношении к восточной чуме, но скажу только, что я составил себе вероятную и простую теорию оной болезни, которая, если б была оправдана опытом, могла бы вести к следствиям, весьма благодетельным для рода человеческого, ибо тогда легко было б уничтожить чуму. Но определим сперва, что должно понимать под словом *чума*.

По свидетельству лучших писателей, под именем чумы означалась особого рода болезнь (sui generis), весьма быстро распространяющаяся, убийственная и заразительная, почти всегда сопряженная с горячкою, коей существенные признаки состоят в появлении огненных чириев (carbunculi) и в опухоли желёз (bubones). До сих пор тысячу раз повторенные опыты только то доказали, что люди, находящиеся во множестве в тесном месте, как-то: на кораблях, в больницах, в тюрьмах, даже в осажденных городах и проч.,— заражают воздух, который делается вреднее для других, нежели для них самих, и производят гнилую горячку (typhus).

Когда человек всасывает легкими испарения от гниющих животных веществ, организм его изменяется и теряет обыкновенное соотношение между частями; в сие время образуется чумная болезнь и даже чума со всеми своими признаками — гнилою горячкою, заразительностию и особого рода поражениями, сходными в свойствах своих с чумою, но в явлениях весьма различными, ибо чума отличается от всех других болезней быстрым распространением и смертностию, которую она производит на большом пространстве. Животные вещества (т. е. трупы) подвергаются гниению только при известной степени жара и влажности; вода без теплоты растворяет, но не разлагает, теплота без воды сушит и сохраняет. Сии три условия: влага, теплота и животное вещество — могут находиться везде, посему и чума может везде зарождаться. Форест наблюдал чуму в 1703, которая произошла от гниения трупов при осаде Гарлема. Чума, которая была наблюдаема около того же времени в Италии, показалась вследствие гниения кита, выброшенного на берег, по свидетельству Паре. Утверждают, что в Дюнкирхене, 1783 года, была несколько раз чума от той же причины. Ограничимся сими немногими примерами. Бросив взор на шар земной, мы примечаем страны, где стечение оных причин есть временно, а в других странах сии причины действуют беспрестанно. В северных странах они временны; ибо там по временам года теплота исчезает, а с нею — одна из причин чумы. Чума, уже образовавшаяся, останавливается и прекращается[1]. Стечение сказанных причин может всегда быть постоянно в странах *южных*, умеренного пояса, в странах, смежных с экватором, на большей части Греческих островов и особенно в некоторых частях Турецкой империи. Вот почему собственно называемая чума хотя и может сама по себе образоваться, но не может долго свирепствовать в Европе. Одна перемена температуры достаточна, чтобы остановить течение и даже истребить зародыш чумы. В некоторых южных странах, о которых я уже упомянул, чума может существовать беспрерывно. Касательно сих последних надобно иметь в виду различие в степени влаги, теплоты и животных веществ, которые не везде одинаковы, хотя все они имеют животные вещества, происходящие от ежедневной смертности, а в особенности от множества саранчи, которая иногда на несколько миль покрывает воздух. Опустившись на возделанные поля, она с шумом и невероятною скоростию пожирает их. Сии насекомые бывают причиною ужасного голода, претерпеваемого неграми, живущими во внутренности Африки, принуждающего их продавать европейцам пленных и даже детей своих. Сих насекомых ветер повергает в море, которое выбрасывает их остатки на

[1] Часто называют чумою иную болезнь.

берег, где они, согнивая, делаются беспрерывным зародышем ужасной заразы, производящей чуму, как повествует св. Августин. Далее, на юге есть дурное обыкновение — в открытых местах оставлять на сгнивание трупы животных и хоронить людей только на один фут глубины. Хотя над могилою богатых нередко возвышается каменный памятник, толщиною в 1 или 2 фута, или наложены четыре камня, иногда — полированные плиты, но сия предосторожность принадлежит более к роскоши, нежели к гигиене; сего не делают с трупами бедных; их хоронят без всяких почестей и, как сказано, не глубже одного фута от поверхности. От сего газы, отделяющиеся во время гниения, пробиваются сквозь землю, распространяются по воздуху и, производя расселины в земле, открывают кровожадным зверям вход к гробам.

Итак, вот одно их тех условий, кои производят чуму. Перейдем теперь ко второму условию, которое есть теплота. Жар в Константинополе[1] хотя очень силен летом, подвержен обыкновенным в Европе переменам и никогда не бывает беспрерывным. Следующая за ним зима бывает довольно сурова, и нередко выпадает снег. Жар в Смирне и в Малой Азии бывает гораздо постояннее, но не сильнее; напротив, в Сирии, Египте и во всей северной Африке он и продолжительнее и сильнее, так что по одному сему условию сии страны более способны к зарождению чумы, нежели Смирна, Ангора, Константинополь и различные пристани Черного моря. Посему-то опытнейшие врачи, между прочими Маккензий и Парис, которые долгое время занимались лечением в Константинополе, решительно утверждают, особливо Парис, что в Европейской Турции воздух очень чист и часто освежается дождями, холодом, переменою ветров и временем года, а потому чума не может не только зарождаться, но и поддерживаться, чего нельзя сказать об Африканской Турции.

Перейдем теперь к третьему условию — к влаге. В сем отношении, каково бы ни было местное положение Европейской Турции, Малой Азии, Сирии и даже всего Варварийского берега, ни одна из сих частей Оттоманской империи не может сравниться с Египтом не только по причине низости северного берега, но, в особенности, по причине периодических наводнений Нила, который на 50 тоазов от устья своего, разделившись на многие рукава, покрывает поля от 20 до 25 футов глубины ежегодно в продолжение трех или четырех месяцев. Река сия иногда заливает кладбища, заставляет убегать на возвышенные места бесчисленное множество пресмыкающихся и малых животных, где затопив их, оставляет после себя множество гнилых веществ.

[1] Положение Константинополя — широта между Римом и Неаполем.

Таким образом, множество рыбы, оставшись с водой во рвах, согнивает в ней; самая вода, испортившись, часто служит питьем священнослужителям, как свидетельствует г-н Дроветти. Что производит река своими периодическими наводнениями, то самое производится иногда дождями. В настоящее время они бывают чаще и изобильнее, нежели в древности. Сие подает повод думать, что климат сделался влажнее. Таким образом, Египет содержит в себе более других стран влажность; равным образом в нем находятся в большем количестве животные вещества. Страна сия делается, по причине сей влаги, неистощимым источником плодородия, относительно которой самое народонаселение умножилось, поелику на пространстве 2050 квадр. миль, питавшем некогда 14 000 000 людей, ныне питает еще 2 500 000, т. е. почти 1200 душ на квадр. милю, число почти двойное относительно народонаселения Испании и самой Франции. Многолюдство предполагает большое количество современных зверей, ибо ежели многие животные убегают человека, то взамен другие собираются около него, чтоб жить на его счет, чтоб служить ему, питать и защищать его. Наконец, в Египте хотя гораздо теплее, нежели в Константинополе и Малой Азии, однакоже в нем не так жарко, как в странах, смежных с ним, и сей жар увеличивается еще от палящих ветров юга; таким образом, чума никогда не бывает столь смертоносною, как во время сих ветров. Следовательно, изо всех стран земного шара ни одна столько не способна к самобытному зарождению чумы, как Египет, который заключает в себе в высшей степени все условия, способные к произведению ее, так что ежели он не есть единственная колыбель чумы, то по крайней мере может почесться главнейшею, как замечает Монтескье. Некоторые полагают колыбель чумы в другом месте и отрицают первообразное зарождение оной в Египте. Мы почти доказали, что в северной Африке никогда не зарождается она сама собою, а ее приносят туда караваны, идущие из Мекки и проходящие чрез Египет, чтобы отправиться из Александрии водою. Если б было возможно, чтобы караваны проходили степями, то чума никогда бы им не сопутствовала, ибо она не переходит степи; вот почему она никогда не замечалась в Мекке. Весьма чистый и сухой воздух истребляет ее; впрочем, доказательством, что она сама собою не переходит в Тунис, служат весьма строгие карантины, учрежденные в пристани его. Ежели бы она происходила от причин внутренних и местных, то таковые предосторожности были бы бесполезны. Не менее известно, что чума переносится всегда в Константинополь, поддерживается в нем некоторое время по недостатку хорошей полиции и потом мало-помалу исчезает и не прежде появляется, как по прибытии новых кораблей из Александрии. Вот почему в

Смирне подвергаются карантину корабли, идущие из Египта, и освобождаются от оного идущие из Константинополя. Одна Сирия могла бы производить чуму по тем же причинам, но сии причины, повторяю, в Сирии не имеют столько пространства, силы и продолжительности; впрочем, весьма частые сношения Сирии с Египтом делают вопрос о происхождении чумы нерешенным между сими двумя странами. Известно, что чума никогда не образуется сама в Алеппе и Дамаске, а получается там из пристаней. Пристань Сейдская передает ее в Дамаск; Алеппо получает ее из пристани Паясской, в заливе Скандерузском, чрез сношения с северными горцами, которые запасаются в Паясе египетскими товарами, потом сходят с другой стороны в Орфу, Аинтаб, Киллыс, Эзас и Алеппо, чтобы предлагать там во время жатвы услуги. Впрочем, принадлежит ли чума почве Египта или жителям его, родина ли ее там — об этом говорят французские врачи нашей экспедиции: Саварези, Пугнет, Л. Франк, Соттира и бароны Деженет и Ларрей, очевидные и достоверные свидетели; это же доказал Пинель в своей «Носографии». Врачи, прежде его делавшие теоретические разборы причин чумы, почти все указывают на восточные страны и в особенности на Египет; в числе их — Маккензий, Мертенс, Вальдшмит, Платнер, Фогель, Тюлли и др. А вот доказательства или, по крайней мере, предположения, почти равнозначащие. В 1791 г. была ужасная чума в Египте после чрезвычайного наводнения, и во все это время ее не замечали ни в Константинополе, ни в Смирне. В 1800 и 1801 г. во время чумы, свирепствовавшей даже в Верхнем Египте, ее не было в Константинополе. Хотя после некоторого времени она показалась в Смирне, но это еще более доказывает ее происхождение из Египта. Наконец, вот еще убедительнейшее доказательство: хлопчатая бумага, собранная в Египте, была положена в складочных домах; носильщики, принесшие разобрать кипы ее, пали мертвыми, как будто были поражены молниею. Откуда происходил яд, содержавшийся в хлопчатой бумаге? Не из Смирны и не из Константинополя, ибо она была непривозная; очевидно, что он произошел от почвы, на которой выросла эта хлопчатая бумага. И потому я думаю, если б чума не образовалась ни в какой части мира, то в Египте она произошла бы сама собою; если не обманываюсь, весь Восток в этом убежден.

Неужели Египет всегда производил чуму? Без сомнения, нет! — Он ее произвел в первый раз около половины VI века, т. е. за 1200 или 1300 лет, следственно, чума — болезнь новая, так, как и оспа, которая есть также род чумы и получила начало в сих же странах, как говорит Саварези, а не в Эфиопии, где никогда не было ни чумы, ни оспы самопроизводной, хотя о таковом закоренелом заблуждении говорят Фукидид, Пиенс и

Гастальди. Но все то, что до этого времени называли чумою, не имело никаких признаков сей болезни, и хотя слово «чума» тысячу раз находится в священном писании и у древних писателей, однако древность нам ничего не оставила, что бы можно было отнести к нынешней чуме. Прочтите Иппократа, современника Фукидидова, прочтите Иродота, Страбона, Диодора Сицилийского, даже Галена, которые видели древний Египет и жили в нем: у них ничего нет похожего на чуму восточную. Под именем чумы Фукидид описывает обыкновенную гнилую горячку; то же должно сказать об изображении чумы Руфа Эфесского, которое было слово в слово переписано Орибазом, Аэтием и Павлом Эгинским. То, что писали Тит Ливий, Цезарь и Тацит о чуме, также относится к гнилой горячке. Это объявили писатели, наиболее знающие древние языки,— Френис, Меад и трое Франков — и врач нынешнего короля Великобритании, сир Гильберт Блен; также венский писатель д-р Вавруч (Wawruch) то же доказал. Я привожу его по свидетельству Франка, по неимению его творений; но возвратимся к Египту. Здесь, повторяю я, в египетском городе Пелузе образовались все известные чумы; Прокопий, Эвагрий и др. верно и живо описали ее: она распространилась по всей Европе и свирепствовала в ней ужаснейшим образом в продолжение 52 лет. Григорий Турский, писатель того времени, называет ее сими словами, почти однозначащими: morbus inquinarius, lues, clades illa, quam inquinariam vocant[1]*,— выражения, показывающие, что собственное название было еще неизвестно. Я не говорю о чумах, после следовавших, которые произошли, как я постараюсь доказать, из того же источника. До VI века, почти в продолжение 3000 лет, Египет был самою здоровою страною. Почему? Потому что, во-первых, среди ужаснейших трудов, которые на него возлагало его местоположение в отношении к реке, составлявшей его судьбу, египтяне никак не позволяли себе оставлять на земле, ими обитаемой, вещества удобозагниваемые: они высушивали все животные вещества, какие только могли повстречать; во-вторых, для похоронения оных избирались места, от реки удаленные, следовательно, бесплодные, которые им не могли приносить никакой пользы. Из сего видно, что, таким образом поступая со всею точностию, они соблюдали три выгоды: 1) касательно вероисповедания, 2) здоровья и 3) хозяйства, ибо никакой участок удобренной земли не отнимался у земледелия. Это признано многими писателями: отцом Сикардом, Гагенотом — искусным врачом из Монпелье — и др., и, наконец, просвещеннейшим путешественником г-ном Го (Gau). Странные суеверия соединялись

[1] Заразная болезнь, поветрие, то бедствие, которое называют заразным (лат.). *Ред.*

с совершением сего обыкновения; и, конечно, сии самые суеверия покрыли смысл и принудили оное оставить. Так во всем глупость есть начало смерти. Сие обыкновение прекратилось со введением христианского вероисповедания, которое приняло за язычество мудрость, и притом глубочайшую мудрость. От V до VI века запрещено было высушивание и древнее бальзамирование, говорит аббат Фиера; употребляемое у нас погребение заступило место прежнего. В 541 году, т. е. за 98 лет до завоевания Египта аравитянами, явилась в первый раз чума, самая ужаснейшая из всех бывших. Трудно соединить сии происшествия и принять второе за следствие первого; но истинно то, с чем нельзя не согласиться, что нынешний Египет действительно нездоров, напротив, древний был страною здоровою. Как бы то ни было, различие слишком ощутительно. Каким образом восстановить здоровый климат Египта, предоставляю отвечать всякому беспристрастному писателю.

(1829 г.)

---

## О ДРЕВНЕМ БАЛЬЗАМИРОВАНИИ

(Сочинение г-на Паризета)

Почему египтяне бальзамировали тела людей и животных? Невозможность соединить сие обыкновение их с обрядами религии показала мне, что бальзамирование у них делалось не из набожности, но по основаниям гигиены. О сем я так рассуждал.

Данвиль полагает в 2250 льё обитаемую поверхность Египта. В эпоху славы его народонаселение простиралось до 14 000 000 человек, следственно $\frac{(14\,000\,000)}{2250}$ 6222 человека на квадр. льё.

В продолжение осьми месяцев сие народонаселение могло жить на поверхности, ими обработываемой, более или менее рассеянно. В остальные же четыре месяца, во время наводнения, им надлежало удаляться в места пустынные, тесные, на высоты, не покрываемые водою. Но для того, чтоб иметь жилища на такой высоте, надобно было строить их на возвышенностях, образованных природою или руками человеческими. От сего происходит, что Египет во время наводнения подобен обширному архипелагу.

Во-вторых, при большом народонаселении на малом пространстве легко образуется зараза, тем более что в Египте кожные болезни были весьма обыкновенны; отсюда произошла необходимость в умеренности, в чрезмерной чистоте, чем занимались с большою тщательностью египтяне; и потому везде,

где они находились, их принимали за врачей. Далее, предположив смертность 1 из 40 человек,— из 14 000 000 умрут в год 350 000 человек.

Ясно, что в сухое время тела всего легче закапывать в землю; но во время наводнения — что делать с трупами людей, которые могут простираться от 116 до 117 тысяч? Что делать с трупами животных? Оставлять их на воздухе, как то делалось в Персии для магов? Не говоря о других причинах, ясно можно видеть, что, единственно во избежание заразы, сие не было в употреблении. Хоронить их при деревнях и в городах 1 или 2 года хорошо; но на третий, четвертый и так далее это делалось невозможным. Просто бросать их в воду, зарывать в землю? Но земля была под водою, а вода, удаляясь, оставляла бы трупы на земле. Жечь их — не было дров. Что же делать? То, что они делали: они солили тела, именно солили,— это настоящее слово — слово, справедливо употребленное греческими писателями, ибо соление при сем есть существенное дело.

Для соления употребляли натрум, и его у них было с преизбытком. *Натрум* — щелочная соль; приведенная в соприкосновение с животным веществом, извлекает из него сырость и передает ее воздуху; соединясь с жирными частями, превращает их в мыло. Тело клали на несколько времени в натрум, где оно превращалось в мыло, потом обмывали его; вода уносила мыло, а остальное, может быть, высушиваемо было на воздухе, не портясь. Тело высыхает — вот и мумия. Благовонные травы, духи, смола, масти, порошки, саваны, гробы раскрашенные и раззолоченные —это все уже роскошь, которая ничего не делает для сохранения тела или, по крайней мере, ничего бы не произвела без предварительного действия.

Сначала всякий египтянин хранил у себя так приготовленные мумии. Должник мог отдавать заимодавцу в залог мумию своего отца. Но в продолжение времени мумии так размножились во всех жилищах, что, наконец, негде было помещаться живым. Тогда решились во время наводнения перевозить древнейшие на пустынный берег; там вырывались колодцы, куда их клали тысячами и засыпали песком.

Горы были разработываемы, оттоле доставали великое множество камней, которые выламывались для постройки храмов, домов и проч., и потому были почти пустотами. Египтяне воспользовались сими пустотами и обратили их в гробницы царей и жрецов и изукрасили их всею роскошию искусств.

Это обыкновение продолжалось около 2400 лет. Какое огромное число трупов было отдалено таким образом от людей? О сем могут дать понятие путешественники, даже новейшие.

В продолжение долгого времени Египет был одною из самых здоровейших стран в мире. Что бы произошло, если б

разжиженная, размокшая земля Египта сделалась как бы окаменелою от необъятного количества удобосогниваемых веществ?

Я не отрицаю, чтоб в Египте не было больших зараз и скотских падежей; даже должно думать, что караваны из Нубии несколько раз заносили в него гнилую горячку (typhus). Афинская чума занесена была из Нубии или Эфиопии; она перешла через Египет и была привезена на кораблях в Пирей; но эта зараза более походит на гнилую горячку, нежели на чуму. Страбон говорит о чумных лихорадках, развивавшихся вблизи каналов и больших озер, коих берега были иссушаемы солнечным жаром. Но я сомневаюсь, чтоб они были что-нибудь другое *. Иродот, Диодор, Тацит и пр. не упоминают ни о каких ужасных туземных и свойственных Египту болезнях. Понятия о них мудрено бы было соединить с большим народонаселением, о котором я говорил. Величайшие громады мумий рогатых скотов, которые видел недавно французский путешественник г-н Келлио (Cailliaud)* нантский, доказывают, что скоты были там подвержены тяжким болезням.

Конечно, чистота, чрезвычайная тонкость в выборе пищи, старание облегчать течение воды, изрытие и поддержка каналов для осушивания земли и очищение огромного болота, составлявшего дельту,— все сии способы сохранения содействовали наиболее здоровым климат Египта; но, вероятно, благодетельные действия сих многих предосторожностей весьма бы уменьшились, если б не были сопровождаемы бальзамированием тел или предупреждением гниения оных.

Нельзя отвергнуть того, что около IV века нашего летоисчисления это обыкновение прекратилось, и в то же время должно искать происхождение чумы с огненными чирьями,— чумы восточной, которая столько раз распространялась по поверхности земного шара, коей первоначальный и единственный зародыш, кажется, находится в Египте.

Чтоб еще более объяснить мое мнение о сем предмете, положим, что кладбища Лашеза и Монмартреньо[1] были бы на Сене и чтоб Сена, разливаясь, покрывала их в продолжение 4 месяцев в году и оставляла под беспрерывным влиянием июльского солнца. Что бы было тогда с Парижем?— спрашиваю я у всякого здравомыслящего человека. И что сделалось бы, наконец, с такою низкою землею, какова в дельте, если б в продолжение столь многих веков принимала она, на месте их кончины, трупы умерших от обыкновенной смертности, на сражениях, от общественных работ, истребляющих столь много людей?

Деревня в дельте теряет одного или двух жителей в июне месяце. Их хоронят в нескольких шагах под тению финикового

[1] В Париже.

дерева, которое омывается волнами реки в июле: вода стекает в сентябре и октябре, а в ноябре показываются в деревне болезни. Чума может там образоваться и в самом деле образуется: одна зараженная точка достаточна для сего, а там — заразятся города, весь Египет, весь Восток и Запад, Смирна, Константинополь, Марсель — и до Москвы.

Итак, ни Москва, ни Марсель, ни даже Смирна и Константинополь не произвели бы чумы одними местными причинами. Истина, принятая всем Востоком и которую еще более подтверждают несчастья французских войск в Египте, состоит в том, что чума показывается сначала в Египте.

З а к л ю ч е н и е. Один из самых верных способов и, может быть, единственный, чтоб прекратить источник чумы, было бы восстановление употребления бальзамирования, дав ему то же пространство, которое оно имело прежде.

Это бы дорого стоило? Совсем нет, природа с избытком наделила Египет натрумом, как бы желая сохранить его народонаселение. И нет Египта без натрума, то есть того Египта, который знали в древности и в котором было столько чудес.

Но мудрено будет ввести сие в употребление? Может быть, оно было бы весьма легко принято, если б... Прибавьте как вспомогательные и полезные средства: восстановление каналов, хорошее надзирание за порядком в городах и проч. и при открытии чумы употребление солетвора (хлорины). Приняв такую систему предосторожности и обыкновений и следуя ей пять или шесть лет, можно думать, что чума исчезнет в Египте и во всем свете, ибо весь Восток убежден, что первоначальный зародыш чумы бывает в Египте.

<1829 г.>

---

## О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ

Самое ужаснейшее опустошение, производимое огнем, сожигающим нашу планету, есть землетрясение. Его невозможно ни предвидеть, ни избежать. Не можно предвидеть, говорю, потому, что оно следует весьма скоро за предзнаменованиями, и неизвестно, какое пространство ему подвергнется. Если б и было время — куда бежать, в каком направлении? Разные признаки за несколько часов предшествуют землетрясению. Черная точка образуется на небосклоне, расширяется и покрывает небо; иногда земля так разгорячается, что от паров ее редеет воздух, и происходит сильный ветр. Иногда тишина царствует в природе — это тишина ничтожества! Можно думать, что земля, прекращая все свои действия, с нетерпением ожидает приговора

своего. Животные чувствуют некоторое беспокойство, неизъяснимое движение нервной раздражительности, что, вероятно, происходит от напряженного электричества. Лошади ржут с знаками ужаса; собаки воют, птицы ищут убежища в домах; угрожающая гибель прекращает недоверчивость слабых и жестокость сильных.

Те же признаки повторяются пред ураганами, так же воют собаки, морские птицы с большим криком укрываются на земле и не бегают человеческих жилищ. При ураганах и землетрясениях есть явление весьма замечательное: во время обманчивой тишины, предшествующей ужасному перевороту, листья на деревьях приходят в какой-то трепет, несмотря на тишину в воздухе; как будто опасность их одушевила и внушила им чувство страха.

О землетрясениях первобытных времен очень мало известно. Мы должны быть весьма осторожны, когда дело идет о положительных фактах или когда выдают их такими во временах доисторических.

Мы ничего не знаем положительного о древней Атлантиде. Остров сей исчез; достовернейшее об нем мнение есть то, что он потоплен, что завещал имя свое океану, что, может быть, Мадера, острова Канарские, Зеленого мыса и Азорские некогда составляли части оного.

Землетрясение отделило гору Оссу от Олимпа (в Греции), Сицилию от Италии; Страбон повествует об этом, у него же есть описание сотрясения Эвбеи, ниспровержения мыса Кенеумского и разорения Оробии.

Плиний приписывает землетрясению образование Гибралтарского пролива[1].

В Финикии исчез целый город при землетрясении; две трети Сидона были разрушены; Сирия потряслась, и неудивительно — она граничит с Финикиею. Это событие для нас особенно замечательно тем, что оно подтверждает теорию подземных сообщений. Делос и прочия Циклады, даже Эвбея, нынешний Негропонт, в то же время испытали потрясение.

В день Тразименской битвы в Тразименах (ныне Перуза) произошло сильное землетрясение. Огонь извергался из Тразименского (Перузского) озера; это озеро имеет ныне с лишком 8 верст в поперечнике и содержит три острова. Многие города погибли, 57 ударов потрясли землю. С сих пор время землетрясений становится вернее.

За 92 года до Р. Х. было в Модене (древняя Мутина) сильное землетрясение[2], две горы столкнулись с ужасным шумом

[1] Plinii, Hist. Nat., lib. 3, c. 1.

[2] Plinii, Hist. Nat., lib. 2, c. 83.

и разошлись. Читатель, не изучавший сей части естествоведения, может принять сие за ложное повествование. Однако Плиний говорит положительно об этом; сие явление имело множество свидетелей. «Spectante e via Aemilia magna equitum romanorum familiarumque et viatorum multitudine»[1*]. Но физик-землеописатель, который видит острова, возникающие из глубины морской, не удивится столкновению двух гор. Природа, представляя нам деяния столь важные, скрывает своих деятелей; посему равно дерзко и сомневаться в явлениях необыкновенных, и слепо верить преданиям. Впрочем, сие происшествие не беспримерно. Плиний так начинает главу, в которой описывает сие: «Portenta terrarum semel visa»[2]; а после него два раза возобновился сей пример, как мы увидим.

В 750 году землетрясение в Месопотамии разверзло пропасть, величиною в две мили, и два холма были перенесены с мест своих с деревнями, на них находящимися.

Второй пример подтверждается свидетельством (Collection académique, tome 6[3]); «Февраля 17 1751 г. под Кинен-Стоном в Герефортском графстве, в Англии, разверзлась земля. Многие скалы с землею, на которой они находились, тронулись с места и продолжали двигаться с ужаснейшим треском от 6 часов вечера до утра следующего дня. На 40 шагов отдалились они от прежнего места своего. Сделавшееся отверстие имело 30 футов глубины, 60 ярдов ширины (390 ан. фут.) и 400 ярдов длины (935 ан. фут.). Весь округ, содержащий в себе 26 акров, был совершенно разорен. Масса скал двигала перед собою почву, от которой произошел пригорок вышиною в 24 ярда». Судя по сему примеру, можно поверить двум предыдущим.

Во время Тиверия было ужасное землетрясение; Сарды, Эфес, Кесария, Магнезия были истреблены; и еще 8 городов (в Натолии). Удар был ощущаем в Сицилии и Калабрии, это подтверждает мнение, что Кандия и Кипр суть продолжение цепи гор, связующих Апеннины с Азиею. В то же время потрясены были берега Черного моря. В царстве Понтийском, лежащем к югу от Черного моря, в Азии, разверзлась земля до пределов Мингрелии (древней Колхиды) и открыла естественной истории следы первобытных существ чрезвычайной величины, — кости огромнейшего размера найдены в расселинах.

---

[1] Когда с Эмилиевой дороги смотрела большая толпа римских всадников, домочадцев и путников (лат.). — *Ред.*

[2] Удивительные явления на земле, засвидетельствованные один раз (лат.). — *Ред.*

[3] Академическая коллекция, том 6 (франц.). — *Ред.*

В 114 году после Р. Х. Антиохия совершенно разрушилась. При сем Траян был ранен и спасся в окно. Но, впрочем, сии происшествия часто случались в Антиохии.

В 358 Европа и Азия была театром землетрясения, начавшегося от Босфора (Константинопольского пролива). В продолжение одного часа претерпели разрушение 150 городов. Почти вся Никомидия была поглощена, земля разверзлась под нею и изрыгала огонь, опустошавший ее в продолжение 50 дней.

В 360 земля поглотила в Кандии 700 городов, деревень и гроб Юпитера. Число невероятное.

Святой Августин, епископ гиппонский, рассказывает, что в Ливии землетрясением истреблено 100 городов. Сие число весьма значительно для Ливии; но по сему должно судить о силе землетрясения.

В царствование Валентиниана I весь известный мир чувствовал всеобщее потрясение.

В 742 Египет и Восток были опустошены. Гнездо, как кажется, было под морем, ибо множество кораблей были поглощены.

В VIII столетии северные берега Арморической Бретани пострадали от землетрясения, берег в окрестностях Сен-Мало оселся. Место отторжения осталось под названием Цесемврии. Теперь оно составляет остров, отстоящий на 8 верст 176 сажен от берега. Все пространство между островом и городом было поглощено. Спустя несколько лет новое землетрясение поглотило лес, на месте коего явилось озеро; это озеро находится недалеко от Канкальского залива, между Шатонеф и Доль; его назвали mer sans écoulement[1], отсюда испорченное Mare sans colement и впоследствии Saint-Coulman. Деревья весьма хорошо сохранились. Дубовые листья, оставшиеся в озере*, еще можно узнать; оттуда вытаскивают ежедневно черный дуб, подобный черной амбре.

От землетрясения произошел остров из горы друид‹ов›, посвященной Белену, названный ос‹тровом› св. Михаила при введении христианской веры. Сего землетрясения мы не полагаем в числе достоверных, ибо о нем существуют только изустные предания. Название Тун Белена (на языке целтов — гора Белена) носит одна скала, которую называют испорченным языком Томбеленом (Tombelaine). Гора сия находилась посреди леса, называемого Шозейским. Она простиралась до моря, и теперь острова, которые замыкали ее, называются Шозейскими; море устремилось на то место, где был поглощен лес, покрыло его песком и образовало залив, ныне Канкальский.

---

[1] непроточным морем (франц.). — *Ред.*

Подобное явление повторилось в 860 году: землетрясение поглотило долину, где теперь Зюйдерзее, и завалило один из рукавов Рейна. Сие землетрясение прошло Европу и было ощущаемо в Азии,— новое доказательство теории соединительных проходов.

В 1146, 1426 и 1509 были почти всеобщие землетрясения в Европе.

В 1626 г., 30 июля, в полдень, Смирна в Натолии, в Далмации — Рагуза, и пространство 295 верст в Италии пострадали от землетрясения; в сие время исчезло несколько озер и расселись скалы.

В 1627 на филиппинском острове Люсоне землетрясение совершенно сгладило две горы Карваллос.

В 1667 на Ямайке землетрясение низвергло Порт-Рояль.

В 1675 на Молюкском острове Миндоро было столь сильное землетрясение, что гора, находившаяся на берегу, раздвоилась, море устремилось в расселину и покрыло значительную долину, которую оно покрывает до сих пор. Вот в малом виде расторжение Гибралтара.

В 1680 году, столь знаменитом в летописях вулканизма по землетрясению Малаги, повторились все ужасные признаки, сопровождающие сии катастрофы; горы низверглись близ Малаги. Гнездо сего землетрясения было под Испанией; подземными проходами перенеслось оно в Швейцарию, Италию, Польшу и даже в Исландию.

В 1690 обнаружились соединительные проходы землетрясением, поколебавшим в одно время Америку и Европу. Три ужасные удара потрясли Перу и Лиму и были ощущаемы в Европе. Бедфорд в Англии, Лобак в Карниолии и вся Германия были потрясены. Между особыми явлениями, сопровождавшими сие происшествие, замечено было, что две вулканические мины находились в весьма близком расстоянии друг от друга. Два домика в одной улице были сотрясаемы в разное время, т. е. когда один трясся, другой был неподвижен, и наоборот.

В 1692 Европа и Америка снова доказали существование подводного сообщения; ибо в то время, как землетрясение разрушало города в Перу, низвергало здания в Кингстоне (на Ямайке) и было ощущаемо на Антильских островах, оно достигло Европы и в Англии, в окрестностях Кларендона, разделило две горы. От паров, выходивших из расселин, образовавшихся в Кингстоне, тысячи людей лишились жизни. Подобное случается в подкопах под укреплениями, когда воздух не может обращаться и от воспламенения селитры делается удушливым и в одно мгновение лишает жизни подвергающихся его влиянию.

В 1703 в Уедо, японской столице, были ощущаемы удары землетрясения, разрушившего девяносто городов в Италии.

В 1730 в одно время разрушены были Сен-Яго в Хили и Меако в Японии; сии два последние происшествия очевидно и разительно подтверждают теорию подземных проходов.

Ознаменованный разрушением Лиссабона 1755 год долго останется памятным в летописях мира. Вся Европа потряслась в одно время, и можно было думать, что повторяется одна из тех катастроф, которые совершенно изменили поверхность земного шара.

Этна и Везувий возвестили это ужасное потрясение, извергнув часть подземного пожара; они, повидимому, хотели уменьшить напряжение его. Подземные движения обнаружились в Азии. В Кахане[1] разверзлось жерло, поглотившее несколько сот строений. Совершенным разрушением города Квито, у подошвы горы Пихинки, Америка подтвердила сообщение с древним светом.

За сими предшествующими явлениями 1-го ноября воспоследовал под Европою с ужасным треском взрыв. В Лиссабоне, главнейшем театре сего зрелища ужаса, пало 12 000 зданий одним ударом. Земля разверзлась в самом русле Таго,— я думаю, по причине его ключей (промоин). Река была поглощена, и тот же удар, сдвинув пропасть, извергнул воду на чрезвычайную высоту. Море поднялось, уровень его стоял на 9 футов выше уровней самых больших приливов. Это явление должно отнести к числу самых малозначащих; по нашему мнению, вода долженствовала бы подняться гораздо выше. В то же время пропасть, внезапно открывшаяся под землею Сетуваля, поглотила сей город. Пограничная Испания разделяла сии ужасы, в Андалузии окрестности Ниеблы и Гуелвы покрылись развалинами, Гуебнар был поглощен землею. Сильные удары были ощущаемы в Гренаде, Корду, Малаге и Мадрите.

Франция не разделяла сего ужаса, однако Бордо и Ангулем были потрясены. Вулканическая мина простерлась по материку, потрясла Лион, взошла в Швейцарию, подняла там все озера, возмутила Рону, угрожала разрушением Базелю, потрясла цепь гор Лаутербрунских так, что хищные птицы оттоле улетели. Эта же мина, простираясь в Италию, привела Большое озеро (Lac Majeur) в колебание, подобное приливу и отливу. Канал из Милана в Тессено возвратился к истоку своему. Вулканическое течение, разделясь при горах Лаутербрунских, проникло в Германию, потрясло Франконию, Баварию; на Дунае потрясся Донаверт. Соединительные проходы сообщили удары в Голландию, Англию, Швецию, Норвегию. Исландия была в движении и, может быть, одолжена спасением вулканам своим. Самая Гренландия под льдами севера не могла

[1] В Ирапе, 90 верст на север от Испагани.

спастися от огня. Европа могла бы совершенно исчезнуть и сделать новое понижение в уровне океана.

Между тем как пожар являлся на севере и потрясал твердую землю и острова Европы, одна отрасль течения взяла направление к югу, прошла Гибралтарский пролив, низвергла часть Марокко и разрушила город Мекинец. Ярость пожара утихла, когда огонь сделал себе отверстия в двух горах, которые извергнули вместе с пламенем потоки лавы. Океан разделял все сии удары. Колебания его устремились к Мадере и грозили попеременно потопить Funkaль и удалиться от берегов.

Это краткое описание показывает, что мы не предполагаем начертать историю всех землетрясений и достопримечательностей, их сопровождавших. Мы говорили наиболее о том, что имело отношение к теории существования вокруг всей земли вулканического сообщения посредством пещер, т. е. к теории воспламененных галерей, распространяющих общий пожар и находящихся под оболочкою, нами обитаемою, по которой мы ходим, как солдаты по подкопанному гласису.

Продолжим беглый наш обзор землетрясений до 1822 года.

В 1769 землетрясение разрушило Багдад.

В 1770 было сильное землетрясение в Порт-о-Пренс и Сен-Доминго; землетрясения там обыкновенны, и домы построены сообразно с сим состоянием.

В 1773 в Мексике была опустошена Гватемала.

В 1778 большая часть зданий в Смирне были разрушены весьма сильным землетрясением.

В 1782 остров Формоза был разорен и погиб миллион людей. Остров, казалось, погибал навсегда,— он почти весь был покрыт водою. Явления, сопровождающие обыкновенно сии ужасы, и на сей раз повторились; сверх сего, к землетрясению присоединился сильный ураган, продолжавшийся 18 часов. Ветер стремился с необыкновенною яростию в одно время со всех главных четырех сторон. Это ужасное смятение в атмосфере представляло хаос, в который, казалось, остров готов был погрузиться; 80 кораблей потонули в самой пристани.

Море около сего острова давно уже подвержено действию огня, и во внутренности острова делались сильные перевороты. С первоначального прибытия европейцев в сие море они были постигаемы тифонами (род морских ураганов, часто без ветра, производимых волнами). Причина, воздымавшая волны, конечно, находилась в глубине воспламененного дна, ибо после разорения Формозы сила пожара была столь ослаблена, что тифоны прекратились,— может быть, не навсегда, а пока огонь приготовит новые разрушения.

В 1783 потряслась вся Калабрия.

В 1797 землетрясение почти разрушило Квито в Перу и потрясло $16^1/_2$ верст земли по меридиану.

В 1801 Эдинбург, Глазгов, Перт в Шотландии потеряли много зданий от вулканических сотрясений; в сей же год были ощущаемы движения во Франции, Италии и Венгрии.

В 1802 Константинополь был сотрясен с такою силою, что боялись совершенного разрушения.

В 1822, 13 августа, землетрясение превратило в груду развалин Алеппо и Антиохию.

Вот краткая картина действий подземного огня.

⟨1830 г.⟩

---

## О НЕДЕЛИМОМ В РАСТИТЕЛЬНОМ ЦАРСТВЕ

(Из «Органографии» Де-Кандоля)

Люди обыкновенные, и даже ученые, привыкши видеть животных, одаренных собственною жизнию, долго не могли увериться, что в одинаких формах могут быть различные явления; долго не могли они составить идеи о существах, повидимому простых, но в самом деле состоящих из собрания многих неделимых. Они чрезмерно удивились, когда зоологи доказали существование животных, составленных из множества существ, воедино собранных и живущих одною, общею жизнию, каковы суть ботриллы, пирозомы, поликлинии и, вероятно, гидры или полипы пресноводные.

Переходя к царству растительному, надобно определить, в том ли виде нам представляются растения, как и простые неделимые высших животных, или они суть собрания нескольких неделимых, подобно поликлиниям.

Ветла, вишня... в просторечии означает частное неделимое; но, рассматривая внимательнее, находим в них делимость особенную: почти каждая часть их может быть отделена от целого тела и способна образовать новое. Сие деление может простираться до бесконечности. Так, например, все плакучие ивы, существующие в Европе, произошли от одного экземпляра, некогда в оную привезенного, который может произвесть еще сколько угодно. Я избираю сей пример потому, что в Европе находится один пол сего дерева, следственно — не приносит семян. Итак, все существующие плакучие ивы в физиологическом смысле суть части одного неделимого. Слово *неделимое*,

таким образом принимаемое, столь же неточно, сколько и рассматривание гранитной горы как минералогического неделимого, делящегося на бесконечное число частей по произволу человека.

Ежели означим именем неделимого единственно растения, вышедшие из семян, то сделаем шаг к точности. Известно, что растения, произведенные простым делением на части, сохраняют все особенности экземпляра, от коего взяты они; напротив, растения, произведенные семенами, могут производить новые особенности и, повидимому, наиболее поддерживают отличительные признаки своей породы.

Как различить деревья, произведенные делением на части, от происшедших из семени, когда они совершенно сходны? Как сие различие применить ко множеству растений, которых семян нельзя отличить от сумок и шишек (bulbi)? Как принять возможность бесконечной делимости мнимого неделимого? Как согласить это определение с разительным сходством зародышей, развивающихся чрез оплодотворение и происходящих без оного?

Сии затруднения исчезают, когда мы примем, что почти все растения в том виде, как они нам представляются, не суть простые неделимые, но собрания оных. Многие писатели делали применения к сему мнению, в особенности Гёте; однако думаю, что сия теория во всей обширности своей принадлежит Дарвину (Darwin), который начал свою «Фитологию» рассуждением о неделимости (individualitas) почек[1].

Положив, что неделимое в растительном царстве есть всякий развитый зародыш, будем принимать за оный: иногда 1) семя, предполагая, что оно производит стебель без ветвей, как у некоторых однолетних, иногда 2) ветвь, рассматриваемую как развитие какого-либо зародыша. В сем смысле дерево есть совокупность первоначального неделимого, развившегося из семени, и всех неделимых, происшедших один за другим из неоплодотворенных зародышей, которые образовали продолжение и ветви первоначального.

Г. Кассини опровергает это мнение[2] и твердо убежден в *единстве* растений, основываясь на продолжении древесинных пучков в стволе и ветвях; но продолжение оных доказывает только, что зародыши образуются на концах сих пучков. Впрочем, такая же связь находится между деревом и ветвию, происшедшею от прививки к нему почки, взятой от другого дерева той же породы. В сем случае, очевидно, входят несколько неделимых; но связь между ими существует. Посему я не думаю,

[1] Phytologia, I vol. in 4. London. 1800.

[2] См. «Journal de Physique», 1821. Premier mémoire sur la phytonomie.

чтоб наблюдения, хотя весьма точные, сего ученого ботаника могли изменить теорию Дарвина.

Каждая ветвь или частное неделимое представляет, в самом деле, большое сходство с первоначальным неделимым. Его сердцевина, наполненная соками, есть вместилище питательных веществ, и у двудольных два первые листка ветви супротивны, подобно семенным долям, которые они, повидимому, собою представляют.

Всякое частное неделимое, какое бы начало ни имело — из семени или из неоплодотворенного зачатка,— оканчивается цветком или продолжает расти без цветения до тех, кажется, пор, пока истощится пища или будет недостаток в оной. Первому случаю подлежат плодоносные ветви, второй простирается на истощающие. Неопределенное развитие ветви требует более растительной силы и чаще встречается у растений молодых, на весьма влажной почве произрастающих. Окончание же ветви цветком наиболее бывает у растений, долго живших и получающих мало водяной пищи. Неопределенное развитие ветвей нецветущих способствует происхождению и увеличиванию большого числа питательных листьев, которые стремятся умножить силу произрастания и отложить в разных местах питательное вещество для дальнейшего развития новых зародышей и цветков. Окончание ветви одним или многими цветами стремится остановить развитие органов питания стебля и ветвей и поглотить накопление питательных веществ, которые могут находиться в ветвях, стебле и корне.

Если цветок поглощает питательные вещества, находящиеся только в цветочной ножке или в его непосредственных подпорах, то они, засохши, пропадают: в цветах мужских после цветения, и по созрении — в цветах женских. Поелику же остальные части растения не были истощены, то они продолжают жить, поддерживаемые ветвями, производящими питательные листья; потому на следующий год на таковых растениях развиваются новые зародыши. Таково образование дерев, кустарников и полукустарников, словом, растений *стеблеплодных* (caulocarpicae).

Когда цветы находятся в большем числе относительно величины стебля, то его соки помещаются вместе с соками цветочных соков, и он пропадает почти до самого жизненного узла. Новые почки выходят из оставшейся части или слоя в следующем году. Это участь многолетних трав или растений *корнеплодных* (rhizocarpicae).

Наконец, цветы, многочисленнейшие и свойства более истощающего, поглощают не только питательные вещества цветочной ножки и стебля, но даже самого корня по созрении в мужских цветах плодотворной пыли, а в женских — яичек.

Истощенное растение сохнет и умирает. Мы видим сие у растений *однoплодных* (monocarpicae), то есть у растений, однажды приносящих плоды по прошествии года (однолетние), двух (двулетние) или многих лет (например, у столетника и проч.).

Сии различия, хотя довольно постоянные у каждой породы, ибо определяются причинами врожденными, принадлежащими их образованию, однако изменяются от внешних обстоятельств. Однолетнее растение можно превратить в многолетнее, не допуская развития плодов, если то возможно. Так превратили резеду в полукустарник (reseda odorata suffruticosa), который, получив однажды древенистый стебель, может цвесть каждый год, не истощаясь. Подобным образом махровый капуцин делается многолетним растением, ибо его цветы, не имеющие способности производить семян, не истощают стебля; вероятно, и всякое однолетнее растение может сделаться многолетним, ежели цветы его довести до махровости.

Таким же образом можно превратить многолетнее растение в полукустарник, что весьма часто видеть можно в садах наших, на махровых гвоздиках. Сизиф (jujubier) представляет странное явление, которое делает его, так сказать, средним между растениями корнеплодными и стеблеплодными. На старых стеблях сего дерева находится род наростов, откуда выходит большое число простых ветвей; одни из них приносят множество цветов и, по отцветении оных, расчленяются и отпадают подобно общим черешкам крылатых листьев; другие ветви не цветут, но протягиваются, остаются на дереве и, наконец, образуются в настоящие, остающиеся ветви.

Сии подробности доказывают, что различное продолжение существования растений находится в весьма дальнем соотношении с анатомическим устройством, и объясняют, каким образом в тех же естественных семействах часто находятся растения, продолжающиеся весьма различное время. Возвратимся к теории совокупности неделимых в растении, от которой нас несколько отклонили сии рассуждения.

Из неделимых в растительном царстве, происшедших из зародышей оплодотворенных (семян) или из неоплодотворенных (луковиц, молодых отростков, шишек и т. д.), одни имеют способность собственными корнями всасывать пищу, другие лишены оной, но могут получать соки, всасываемые другими растениями; неделимые, из семян происшедшие, почти все одарены корнями, назначенными для их питания. *Омела* есть пример растения, вышедшего из семени, но не имеющего настоящих корней и которого жизненный узел, приросший к другому растению, питается на его счет, совершенно таким образом, как привитая почка. Неделимые из луковиц или шишек в отношении к корням подобны происшедшим из семени.

Неделимые, происшедшие по образу почек, обыкновенно не имеют корней и питаются соками, проводимыми к ним чрез древесину дерева, на котором они родились; но при благоприятных обстоятельствах корни могут развиться из *корнепроизводящих желез* (glandula lenticularis, lenticula)[1]; тогда сии растения могут существовать независимо от растений, их произведших. Способ получения сих новых неделимых известен под названием *отводков*. Прививка есть не иное что, как пересаживание молодого побега. Законы продолжительности жизни растений или, лучше сказать, образ изложения сих законов подлежит идеям, сопрягаемым с неделимостию растений; это уже совершенная принадлежность физиологии.

Из предыдущих рассуждений можно заключить, и я ограничиваюсь сим выводом, что растения, исключая некоторое число оных, еще подверженных сомнению, суть собрания такого числа неделимых, каково было число семян или почек, развившихся для образования оных, и что, следственно, растение есть существо сложное, подобное полипам, поликлиниям и проч. в животном царстве.

Это образование новых неделимых, естественным образом привитых один к другому, не имеет пределов, и в сем смысле можно сказать, что продолжительность дерева, рассматриваемого как одно неделимое, неопределенна, и смерть поражает оное случайно. Предложение сие может показаться с первого взгляда странным; но, обдумав оное, увидим, что оно тождественно следующему: собрание животных, беспрерывно умножающихся и взаимно покрывающихся, может существовать неопределенное время.

⟨1830 г.⟩

---

[1] Де-Кандоль под словом lenticula понимает небольшое пятнышко на гладкой коре дерева, из коего иногда происходят корни; Гетар (Guettard) называет сие Glandula lenticularis. См. Théorie élémentaire de la botanique par D. C. и его же Organographie végétale, где приложено изображение.

# ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ВЯТКЕ И ВЛАДИМИРЕ

## Речь, сказанная при открытии Публичной библиотеки для чтения в Вятке А. Герценом 6 декабря 1837 года

Милостивые государи!

С тех пор как Россия в лице великого Петра совещалась с Лейбницом о своем просвещении, с тех пор, как она царю передала дело своего воспитания,— правительство, подобно солнцу, ниспослало лучи света тому великому народу, которому только недоставало просвещения, чтоб сделаться первым народом в мире. Оно продолжало жизнь Петра выполнением его мысли, постоянно, неутомимо прививая России науку. Цари, как великий Петр, стали впереди своего народа и повели его к образованию. Ими были заведены академии и университеты, ими были призваны люди, знаменитые на ученом поприще. А они нам передали европейскую науку, и мы вступили во владение ее, не делая тех жертв, которых она стоила нашим соседям; они нам передали изобретения, найденные по тернистому пути, который сами прокладывали, а мы ими воспользовались и пошли далее; они передали прошедшее Европы, а мы отворили бесконечной ипподром в будущее.— Свет распространяется быстро, потребность ведения обнаружилась решительно во всех частях этой вселенной, называемой: Россия. Чтоб удовлетворить ей, учебных заведений оказалось недостаточно; аудитория открыта для некоторых избранных, массам надобно другое. Сфинксы, охраняющие храм наук, не каждого пропускают, и не каждый имеет средство войти в него. Для того, чтоб просвещение сделать народным, надобно было избрать более общее средство и разменять, так сказать, науку на мелкие деньги. И вот наш великий царь предупреждает потребность народную заведением публичных библиотек в губернских городах. Пуб-

личная библиотека — это открытый стол идей, за который приглашен каждый, за которым каждый найдет ту пищу, которую ищет; это — запасной магазейн, куда одни положили свои мысли и открытия, а другие берут их в рост. В той стране, где просвещение считается необходимым, как хлеб насущный,— в Германии, это средство давно уже известно: там нет маленького городка, где бы не было библиотеки для чтения; там все читают; работник, положив молот, берет книгу, торговка ожидает покупщика с книгою в руке; и после этого обратите внимание ваше на образованность народа германского, и вы увидите пользу чтения. Это-то влияние, вместе с положительной пользой распространения открытий, поселило великую мысль учредить публичные библиотеки на всех местах, где связываются узлы гражданской жизни нашей обширной родины. Августейшим утверждением своим государь император дал жизнь этой мысли, и в большей части значительных городов империи открыты библиотеки. Пожертвования ваши, милостивые государи, доказывают, что здешнее общество оправдало попечения правительства. Нет места сомнению, что святое начинание наше благословится богом.

Теперь позвольте мне, милостивые государи, обратиться исключительно к будущим читателям; не новое хочу я им сказать, а повторить известные всем вам мысли о том, что такое книга.

Отец передает сыну опыт, приобретенный дорогими трудами, как дар, для того чтоб избавить его от труда уже совершенного. Точно так поступали целые племена; так составились на Востоке эти предания, имеющие силу закона: одно поколение передавало свой опыт другому; это другое, уходя, прибавляло к нему результат своей жизни, и вот составилась система правил, истин, замечаний, на которую новое поколение опирается как на предыдущий факт и который хранит твердо в душе своей как драгоценное отцовское наследие. Этот предыдущий факт, этот-то опыт, написанный и брошенный в общее употребление, *есть книга*. Книга — это духовное завещание одного поколения другому, совет умирающего старца юноше, начинающему жить; приказ, передаваемый часовым, отправляющимся на отдых, часовому, заступающему его место. Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге: племена, люди, государства исчезали, а книга оставалась. Она росла вместе с человечеством, в нее кристаллизовались все учения, потрясавшие умы, и все страсти, потрясавшие сердца; в нее записана та огромная исповедь бурной жизни человечества, та огромная аутография, которая называется всемирной историей. Но в книге не одно прошедшее; она составляет документ, по которому мы вводимся во владение настоящего, во владение всей суммы

истин и усилий, найденных страданиями, облитых иногда кровавым потом; она — программа будущего. Итак, будем уважать *книгу!* Это — мысль человека, получившая относительную самобытность, это — след, который он оставил при переходе в другую жизнь.

Было время, когда и букву и книгу хранили тайной, именно потому, что массы не умели оценить того, что они выражали. Жрецы Египта, желая пламенно высказать свою теодицею, исписали все храмы, все обелиски,— но исписали иероглифами, для того чтоб одни избранные могли понимать их. Левиты хранили в святой скинии небом вдохновенные книги Моисея. Настали другие времена. Христианство научило людей уважать слово человеческое, народы сбегались слушать учителей и с благоговением читали писания св. отцов и легенды. Слово было оценено, а между тем мысль окрепла, наука двинулась вперед, ей стало тесно в школе, народы почувствовали жажду познаний, недоставало токмо средств распространять мысль быстро, мгновенно, подобно лучам света. Германия подарила роду человеческому книгопечатание, и мысль написанная разнеслась во все четыре конца мира и отзывалась, тысячи раз повторенная, в тысяче сердцах.

Вспомнив это, не грустно ли будет думать, что праздность может иного заставить приходить сюда вялой рукой оборачивать страницы, как будто книга назначена токмо для препровождения времени? Нет, будем с почтением входить в этот храм мысли, утомленные заботами вседневной жизни; придем сюда отдохнуть душою и, укрепленные на новый труд, всякий раз благословим нынешний день, столь близкий русскому сердцу, столь торжественный и с памятью которого соединяется *день рождения* нашей библиотеки.

<1837 г.>

---

## ЗАМЕТКИ В «ПРИБАВЛЕНИЯХ» К «ВЯТСКИМ ГУБЕРНСКИМ ВЕДОМОСТЯМ»

### <1.> Вотяки и черемисы

Исследование о вотяках и черемисах должно обратить на себя большое внимание. Доселе не было ничего полного собрано ни о их быте, ни о их религии; но сведения, которыми я мог располагать, еще не представляют возможности сделать удо-

исчерпательное описание этих племен. Описание же их быта чрезвычайно важно, ибо это последний документ их истории. У них нет преданий, можно только по настоящему быту догадаться о их прошедшем. Физиогномия этого племени начинает стираться, русское население поглощает более и более финское — новый повод к тому, чтоб заняться ими; но на это надобно иметь не те средства, которые служили для составления этой монографии. Ограничимся кратким обзором.

Вотяки и черемисы принадлежат к финскому племени, к чуди и мери древних летописей (вотяки доселе называют себя мери), так, как латыши, эстонцы, лапландцы, чухонцы, маджары*. Из скандинавских саг и путешествия Оттара знаем, что Кириаландия и Биармия* были сильные государства, населенные финнами, и что Биармия (отсюда слово Пермь) была в северо-восточной части России. «Никакого племени нет старобытнее финнов в северных и восточных климатах России»,— говорит Карамзин. Известный путешественник Фишер полагает, что самоеды и остяки составляют остаток чуди — древних жителей Сибири[1]. А Мальте Брюнь и Гумбольдт находят некоторые резкие черты сходства между остяками, тунгузами и дикими племенами Северной Америки. Эти данные позволяют нам сделать такие общие заключения.

Вероятно, некогда, гораздо до переселения народов, при падении Римской империи, финны составляли племя сильное и очень многочисленное, занимавшее огромную полосу на севере Европы, Азии (и, может быть, Америки). Но при появлении новых племен с востока финны тотчас уступили место. Цель бытия их как бы окончилась, они расчистили землю, обновили ее, доказали обитаемость и, теснимые другими племенами, разбежались, скрываясь от победителей за Карпатскими горами, в странах прибалтийских и оставляя части своего племени на прежде бывшем месте жительства. Павши совершенно, они должны были прийти в дикость. Такими-то их застали новгородцы на берегах Камы и Вятки, и малочисленнаяватага их победила вотяков и черемис, точно так, как горсть испанцев завоевывала целые страны в Америке; ибо отличительная черта племен падших — страдательность. Недавно черемисы Вятской губернии отвечали миссионеру: «В лесу не все деревья равны, есть белые, высокие березы и есть маленькие, черные сосны. Пусть вы эти березы, а мы сосны». Таким образом они высказали основу формы бытия своего племени. Но перейдем от общего взгляда к ним самим.

---

[1] Надписи, найденные Енисейской губернии в Минусинском крае, подтверждают мнение это.

Первое, что бросится в глаза — это различие деревень русских от вотских. Русские деревни в Вятской губернии почти везде хорошо выстроены, избы чисты снаружи и внутри. Напротив, вотские построены в груду*, нечисты, мрачны; большая часть изб поставлена окнами на двор и без малейшего порядка. В избах нечистота ужасная. Беспрерывный дым из-под котла, который висит над некоторого рода горном, делает воздух удушливым. Свиньи, телята, куры — все это вместе с их детьми на грязном полу избы. Летом они строят себе шалаши (чумы), посреди их раскладывают огонь, и едкость дыма доставляет им какое-то наслаждение.

Вотяки вообще очень робки. Несколько лет тому назад было дело в уголовной палате, что несколько человек татар Агрызской волости белым днем ограбили вотскую деревню, состоящую из нескольких сот душ. Мудрено ли после этого, что новгородцы, братья воинственных норманнов, без труда победили их.

Религиозные понятия вотяков некрещеных нисколько не выше религиозных понятий какого-нибудь смирного племени в Океании — например, гавайского. Они верят в верховное существо, но верят также и в других, частных, богов, подчиненных ему, а более всего в злого духа, который, по их мнению, самовластно управляет жизнию людей. Жертвенные места (кереметь) избирают на возвышенностях в елевых лесах. Их понятия о будущей жизни грубы и сбивчивы. Они считают себя под гневом высшего существа, и достаточно прочесть молитвы их, чтобы разом видеть и степень их образования и то внутреннее отчаяние, о котором мы говорили выше. Все молитвы свои они ограничивают просьбою о пище и о детях. Как будто, устрашенные прежними несчастиями, не надеются на бога и потому вымаливают хоть существование. У них четыре больших праздника в году, сообразные с началом и окончанием посева, жатвы и покоса. Самый большой — по окончании жатвы; тут приносятся на жертву лошадь рыжего цвета и другие животные, мясо их съедают. Весною сожигают на жертвоприношении пестрого дятла.

Песни их столько же безутешны (?), как и молитвы; тот же материальный взор, лишенный всякой поэзии, то же попечение об одном насущном хлебе. Однако должно заметить, что большая их часть песен суть импровизации. Язык их беден и незвучен. Они часто примешивают русские слова. У них, кажется, не соблюдаются и те грамматические правила, которые необходимы для ясности речи и которые по навыку известны всем едва образованным народам. В разных случаях я замечал глагол без всякого изменения у одних и тот же, весьма измененный — у других.

Особенное внимание на обращение вотяков в христианство возникло во вторую четверть прошлого века. Около 1739 и 1740 г. были присланы казанские миссионеры. Епископ Вениамин сам посещал домы вотяков, уговаривал и крестил очень многих. Крещеные с тех пор называются новокрещеными. Но должно признаться, что большая часть из них нисколько не понимают христианской веры и в душе остались теми же идолопоклонниками, хотя и скрывают свою привязанность к прежней вере. Благоразумные священники в некоторых местах приняли весьма хорошую методу: они дозволяют им некоторые языческие обыкновения, не относящиеся к догматам веры, но к которым они привыкли с незапамятных времен. Еще более, они самые эти обычаи соединили с формами религиозными и таким образом привязали их к новым обрядам. Так, например, они дозволяют в их летний праздник закалывать лошадь и есть ее, но предварительно служат молебен и части лошади кропят святой водою. Впрочем, нельзя думать, что вотяки не принимают христианства по привязанности к старой вере, ибо она у них шатка и сбивчива, не имеет никакого положительного, определенного учения или системы богослужения; они просто не понимают вовсе догматов нашей веры. Они не много образовались со взятия Казани, но, по счастию, начинают перемешиваться с русскими и, вероятно, совсем поглотятся ими.

К малому числу обычаев их, в которых есть поэзия, надобно отнести следующий: когда кто-либо из родных отправляется на долгое время, то, простившись со всеми, он вколачивает в стол пятак, для того чтоб всякий день поминали отсутствующего.

Одежда вотяков весьма мало отличается от одежды наших крестьян. Вся разница в шитой сырцом и шелком рубахе с красными наплечниками и в ножнах для топора и ножа, привешиваемых к поясу. Головной убор вотячек делается из бересты, к нему прикрепляется кусок сукна, вышитый шелками. Девки вплетают в косу множество серебряных монет. Женский наряд состоит из шаровар и шитой мелкими цветами рубахи.

Нрав черемис потому уже отличен от нрава вотяков, что они не имеют их робости. Напротив, в них есть что-то дикое, упорное. Около времен взятия Казани они еще имели своего царя. Черемисы гораздо более вотяков привязаны к своим обычаям и к своей религии. Самая наружность их отлична. Вотяки мелки, худо сложены, слабы; черемисы вообще крупнее и сильнее. В религиозных понятиях у них более резкого, нежели у вотяков. Их священники (карты) избираются из самых умных, опытных черемис; они толкуют сны, гадают, предсказывают. Бог (Юма) есть верховный дух, но власть его разделена с супругой (Юман-Ава) и с прочими богами, родственниками Юмы.

Злой дух, Шайтан, живет в воде и бывает особенно зол в полдень. Службу отправляют на чистых, священных местах. Они принадлежат или одному семейству, или целой деревне. Праздники их в том же роде, как у вотяков. Самый большой Юман бывает через год, через два, иногда и четыре. В назначенный для жертвоприношения день раскладывают несколько огней, первый посвящен Юме, ближайший по нему — Юман-Аве и т. д., у каждого огня свой карт. Служащий Юме держит жеребца, служащий Юман-Аве — корову; закалывают животных так, чтоб кровь брызнула в огонь. До жертвоприношения животное обливается водою, и ежели оно не вздрогнет, то значит богам не угодна жертва.— Покойникам они кладут в гроб розги для того, чтоб отгонять нечистых духов, и каждый провожавший кладет кусок блина, говоря: «Это тебе пригодится».

У черемис жених покупает невесту; обряды очень просты: приводят невесту к жениху в дом, молятся идолу и отдают ему ее. Ежели она окажется не целомудренною, то посаженый отец наказывает ее плетью.

Одежда довольно похожа на вотскую, но гораздо красивее. Зимою женщины носят сверх рубахи еще верхнее платье, также все вышитое шелками. Особенно красив их головной убор конической формы (шиконаюч). К поясу привешивают множество кисточек. Женщины почти никогда не снимают головного убора.

〈1837 г.〉

## 〈2.〉 Русские крестьяне Вятской губернии

Русское население Вятской губернии имеет весьма резкую характеристику, отличающую его от прочих губерний. Новгородская колония, поселившаяся около XIII столетия на берегах Вятки, управляемая почти без всякой зависимости от Москвы*, отделенная татарами и финскими племенами от Новгорода и от соотчичей вообще, осталась как бы забытая в своих дремучих лесах и образовала свой быт — смесь быта древнего с влиянием местности. Наречие вятских крестьян удивительным образом напоминает язык старинных летописей. Их спряжение глаголов, ударение на словах, певучее произношение, самое заменение буквы «ц» буквою «ч» — все это древнеславянское, в чем еще более можно убедиться, рассматривая новые слова, составляемые ими, которые совершенно сообразны с гением языка славянского.

Архитектура изб — другой факт, ясно говорящий о различии быта вятских крестьян от прочих русских. Они строят вообще избы высокие, двухэтажные с большими сенями, с крышами очень плоскими. Двор, обнесенный обыкновенно бревенчатым

набором, покрывается глухим навесом, под которым находятся амбары для хлеба и скотный двор, и идет от самой избы. Заметно, что лесистость губернии дозволила со всею волею развернуться потребностям быта. Какой же результат изба крестьянина? Это — крепость, отвсюду предохраненная от набегов разбойников и диких зверей. Ясно, что такой образ построения введен тогда, когда они жили отдельными семьями по огромным лесам; ясно также, что время, в которое они небезопасно жили в этих лесах, еще не очень отдалено. Вятские крестьяне любят плотничать, и это ремесло не прямое ли наследство от новгородцев, которых страсть строить послужила к известной насмешке киевлян?[1]

Третье различие еще ярче. Это — страсть вятских крестьян к переселениям на новые места. Тогда как во внутренних губерниях одна власть помещика может заставить крестьянина расстаться с местом его жительства и он оставляет его со слезами, несмотря на выгоды переселения, вятский крестьянин поступает совсем иначе: истощение земли, малейшее неудобство — и он готов идти со своим семейством во глубину леса, расчистить там поле, поставить избу и жить без соседей. Может быть, эта привычка вкоренилась с самых древних времен, когда без надзора они селились где хотели и как хотели, а может быть, это прямое следствие колонизации. Колония, однажды решившаяся оторваться от родины, едва ли имеет привязанность к земле, на которой живет.

Занятия вятских крестьян — хлебопашество, пчеловодство, скотоводство и обыкновенные работы сельского быта. В особенности же они хорошо выделывают все деревянное, отдавая тем дань и своей страсти и богатым лесам.

〈1837 г.〉

---

## ЗАМЕТКИ В «ПРИБАВЛЕНИЯХ» К «ВЛАДИМИРСКИМ ГУБЕРНСКИМ ВЕДОМОСТЯМ»

### 〈1.〉 〈В прошлых листках «Прибавлений»...〉

В прошлых листках «Прибавлений» мы сообщили читателям разные топографические и статистические сведения о нашем губернском городе, хотим теперь передать те же сведения об уездных.

---

[1] См. Историю государства Российского, т. II, стр. 11.

Эти голые факты должны составить основу для некоторых общих заключений о быте губернии, которые мы предоставляем себе изложить, сообщив прежде как документы сведения, почерпнутые из официальных источников[1]. Очень желательно было бы, чтоб гг. члены-корреспонденты статистического комитета поделились с нами своими изысканиями, ибо требование современной науки не позволяет приступить к какому-либо общему труду, не имея ежели не всей, то наиболее возможной совокупности фактов. Мы даже решаемся в одном из следующих №№ поговорить, о чем именно редакция просила бы гг. корреспондентов и вообще особ, занимающихся статистикой нашей губернии.

## 〈2.〉 От редакции

В прошлом листке мы сказали о нашем желании сообщить гг. членам-корреспондентам статистического комитета в особенности, а сверх того и всем занимающимся статистикой и историей Владимирской губернии, в чем именно просила бы редакция их пособия для составления общих заключений о нашей губернии. Приступаем к этому теперь. С особенной благодарностию приняла бы редакция всякое сведение

### 1) О быте народном

Крестьяне Владимирской губернии имеют весьма много особенностей как во внутренней жизни, так и в самых занятиях[2], а всякая особенность, в каком бы роде она ни была, есть драгоценный факт, и тем тщательнее должно его записывать, что время мало-помалу стирает эти особенности. Весьма любопытно было бы знать, насколько улучшается хлебопашество, обработывание полей; особенно совокупное рассмотрение этих улучшений в казенных и помещичьих деревнях привело бы к некоторым заключениям: само собой разумеется, что даже и частные причины возвышения или упадка деревень имеют место. Но тут еще не всё. Самые праздники и обычаи ведут иногда к историческим открытиям, это буквы, из которых слагается речь о народном быте, и в этой речи имеют место и песня, которую поет крестьянин, и предание, которое рассказывает старик внукам своим.

---

[1] Из отчетов гг. городничих за 1837 г.

[2] Не достаточно ли указать на касту иконописцев суздальских и на ходебщиков Ковровского и Вязниковского уездов?

Хотя вообще *городские* жители не имеют той оригинальности, как сельские, лесами и полями отделенные от всякого постороннего влияния, но, вероятно, среднее состояние имеет свои отличительные черты в каждом городе; повторяем, ничего не должно пропадать из быта народного. Весьма любопытны исторические сведения о начале городов, о упадке или улучшении их и т. д.

### 2) Исторические памятники

Вся Владимирская губерния есть огромный памятник Суздальского великокняжества и веков последующих. Сколько же должно находиться в пределах этой губернии драгоценных древностей; Владимир, Суздаль, Александров и другие города представляют обширное поле для исторических исследований. У нас памятники жизни народной составляют церкви и вклады: ясно отсюда, как важны сведения о начале старинных церквей и о вкладах. Впрочем, исторические сведения требуют необходимой опоры на ясных и достоверных документах. Не хранятся ли где при церквах или монастырях рукописи, легенды и тому подобное?

### 3) Торговля

Мануфактурная и фабричная деятельность губернии поведет к прямому заключению о материальном благосостоянии ее жителей. Все значительные заводы и фабрики имеют право на подробное описание; сверх того, чрезвычайно важны сведения о ремеслах, которыми занимаются горожане и крестьяне, о том, откуда они берут первые материалы, куда сбывают свои продукты. Самые грубо выработанные произведения иногда занимают столько рук и доставляют пропитание стольким семействам, что они необходимы для полного обзора промышленного быта губернии; сверх того, в нем имеет значительное место мелочная торговля, которой развитие тесно соединено с развитием гражданственности. В краях, где торговля не могла достигнуть постоянного и обширного круга действия, замечательны ярмарки и торги.

### 4) Сведения физические

Определение климата губернии на основаниях, изложенных в первых листках «Прибавлений», и описание почв всех уездов доставит два огромные факта; ежели к ним присоединится возможно полное описание горнокаменных пород, особенно имеющих технологическую пользу, растений дикорастущих и

тех, которым в особенности благоприятствует климат Владимирской губернии[1], также животных, обитающих пределы ее, то физическое описание будет полно; особенно, ежели присоединится обзор, какими болезнями поражаются наиболее люди и животные в пределах описываемого края.

Вот на первый случай краткое исчисление самонужнейших предметов для составления полной и отчетливой топографии Владимирской губернии. Но и всякое другое сведение, в каком бы роде оно ни было, будет принято с благодарностию редакциею.

## 〈3.〉 От редакции

Оканчивая годичное издание «Прибавлений», редакция считает себя обязанною дать в некотором смысле отчет гг. подписавшимся в плане, которому она придерживалась почти с первых номеров своего существования. Тем приятнее будет это ей сделать, что она, с своей стороны, употребила всевозможное старание, чтоб достигнуть цели, с которою, как ей кажется, правительство учредило издание «Прибавлений».

Неофициальная часть «Ведомостей», вместе с губернскими статистическими комитетами, должны раскрыть внутреннюю жизнь каждой части нашей родины, привесть в известность быт и средства, дать гласность всем особенностям своего края, даже чрезвычайным происшествиям. Из этого очевидно, что цель «Прибавлений» отнюдь не литературная, а *статистическая*, и тем важнее это, что при сообщении своих сведений читателям редакция до некоторой степени ручается за их достоверность, ибо сама берет их из официальных источников, которые гораздо более изъяты от ошибок и гадательных показаний частного труда. Итак, предположив, что совокупность «Прибавлений» за несколько лет должна представить *возможно полную статистику Владимирской губернии*, мы с 10 № прямо пошли к цели, начав помещать отрывки из отчетов городничих, и тогда же сообщили (№ 15) всю важность этих сухих материалов, которые послужат твердою основою для дальнейших трудов. Мало-помалу мы поместили описание *всех* городов, даже заштатных. Таким образом, один элемент для общего описания готов и передан публике,— эти отрывки из отчетов, вместе взятые, в которых строго соблюдена одна форма, представляют

[1] Конечно, всего лучше было бы иметь полную флору; но, при невозможности, можно ограничиться описанием растений, употребляющихся на прямую пользу, врачебную или иную.

довольно полную *городовую статистику Владимирской губернии*.

С другой стороны, наша губерния так обильна историческими воспоминаниями, памятниками, что описаниями монастырей, соборов, церквей, помещениями разных достопримечательных грамот весьма обильно наполнилась историческая часть, несмотря на то, что редакция еще едва коснулась всех исторических сокровищ Владимирской губернии. Наш край так богат воспоминаниями, он может гордиться своим былым величием и быть уверенным, что всякий русский с благоговением прочтет подробности его былой жизни и пролившей столько крови с тяжелой руки Батыя. Вот почему мы не думаем, что отступили от назначения газеты, давши столько места исторической части,— здесь она составляет существенный элемент самого быта: можно ли рассказывать о Владимире, Суздале, Переславле, Александрове и проч., не касаясь исторических воспоминаний? *Доселе* сообщенные сведения большею частию почерпнуты из рукописей, хранящихся при соборах и монастырях,— мы не имеем покамест других средств.

Сверх статей, относящихся к сим двум разрядам, помещались в «Прибавлениях» отдельные статьи по части технологии и общественной гигиены (почерпнутые большею частию из других «Ведомостей»), метеорологические наблюдения и разные сведения, до нашей губернии относящиеся (как-то: отчет гимназии, о состоянии Публичной библиотеки, некрология г. Бенедиктова, о рыбной ловле на Клязьме и т. д.). Эти сведения, не подчиняющиеся никакому систематическому порядку, как и во всяком периодическом издании, тем не менее взойдут как отдельные статьи, как отдельные материалы при составлении общего описания.

Давши таким образом отчет нашим читателям за оканчивающийся год, мы с грустию сообщим им, что вторая отрасль статистики — описание уездов — была особенно бедна, она ограничилась кратким обзором Муромского уезда. Прямых официальных источников на такие описания мы не имели, а призыв наш (в 16 и 17 №№) гг. членам-корреспондентам статистического комитета и вообще к жителям Владимирской губернии остался без успеха. Мы льстим однако себя надеждою, что он не останется без него на будущий, 1839 год. Ежели бы исполнилась наша надежда, то мы думаем, что «Прибавления» следующего года должны заключать в себе: во-первых, *статистику уездов*, во-вторых, *коммерческую и индустриальную* жизнь Владимирской губернии. Много будет зависеть от наших читателей в исполнении надежды, и потому повторяем наше приглашение сообщать редакции всякого рода сведения, по двум частям этим в особенности.

## ⟨4.⟩ Известия

I

Слух носится, и мы спешим передать его нашим читателям как радостную новость к Новому году, что во Владимире, сообразно желанию правительства, чрез некоторое время будет читаться публичный курс *физики и химии;* предприятие превосходное и вполне принадлежащее к ряду усилий и нововведений, которыми правительство распространяет просвещение по губерниям: сумма физических и химических сведений, находящихся в обороте общества, очень мала, да и средства для приобретения их не богаты в губернских городах. И тут правительство подало руку; вероятно, эта новость обрадует всех любителей просвещения, а в особенности гг. заводчиков и фабрикантов. Доказывать пользу подобного рода чтений было бы довольно странно в XIX веке, потому что это свелось бы на доказательство пользы познания природы и ее сил, в чем никто не сомневается. Эпиктет сказал, что Юпитер создал человека для того, чтоб он познавал природу. Кто не согласен с Эпиктетом, тот наверное согласится в технологической пользе химических и физических сведений.

В весьма непродолжительном времени надеемся передать читателям подробности об сих чтениях и самую программу.

II

Физический кабинет нашей губернской гимназии обогатился новым и превосходным снарядом, известным под названием *Атвудовой машины* (раскрывающей законы падения тел); машина сделана г-ном Нейгебауером в Москве, по заказу г-на почетного попечителя С. Н. Богданова, трудам и усилиям которого, как уже знают наши прошлогодние читатели, обязан физический кабинет своим существованием.

## ⟨5.⟩ От редакции

Г-н Борисов, известный нашим читателям по доставленным грамотам, весьма замечательным и любопытным, прислал ныне прекрасное описание Шуи (которое поместится в следующем номере) и вместе с тем спрашивает редакцию, может ли он доставлять описания местных обрядов свадьб, похорон и проч. Редакция считает себя обязанною снова благодарить г. Борисова за его участие в ее трудах и просит его убедительнейше поделиться с нею упомянутыми статьями, относящимися до обычаев шуйских жителей.

Повторяем свои слова (№ 16, 1838 г.), что все подробности о быте горожан или сельских обывателей суть драгоценные буквы, из которых слагается речь быта народного. Ныне во всей Европе с величайшим вниманием собираются малейшие частности быта простого народа, в котором преимущественно сохранились и поверия и предания древности: к этому привело современное состояние исторических наук, которое стремится к воссозданию прошедшего со всем его духом и телом. Каким пособием служили, например, знаменитому О. Тьерри подробности нравов и обычаев времен Вильгельма Завоевателя! Г-н Сахаров занял у нас почетное место в числе литераторов, рассказывая обычаи наших предков; но не одни обычаи былых времен важны; с ними рядом стоят и настоящие обряды, которыми сопровождает народ важнейшие события своей жизни, как свадьбы, похороны. И потому не только мы имеем право сообщать читателям подробности об обычаях нашей губернии, но это даже есть одна из существеннейших польз, одна из важнейших отраслей губернской газеты.

## ⟨6.⟩ Владимир, апреля 20

Один из почетных жителей Владимира обратился с письмом к заведывающему изданием «Прибавлений» к «Губернским ведомостям», прося его сообщить читателям о том, что, по прибытии в губернский город г-на губернского предводителя дворянства, князя А. Б. Голицына, значительнейшие жители города Владимира, следуя примеру г-на гражданского губернатора, приветствовали обедами во всю прошедшую неделю нового представителя дворянства, показывая тем искреннюю радость, что выбор пал на столь уважаемого члена общества.

Исполняя с особенным удовольствием желание почтеннейшего корреспондента, мы жалеем о невозможности передать всех подробностей, заключающихся в его письме.

## ⟨7.⟩ ⟨Г-н Протопопов обещает нам...⟩

Г-н Протопопов обещает нам поставлять и впредь отрывки из своих исторических разысканий; редакция с большим удовольствием готова быть посредницею между им и своими читателями.

## КОЛЛЕКТИВНОЕ

## ‹ЗАПИСКИ А. Л. ВИТБЕРГА›

‹1›

По окончании европейской войны император Александр Благословенный в Вильне, 1812 года, декабря 25, издал манифест, коим он возвещал народу своему о желании воздвигнуть храм во имя Христа Спасителя как памятник славы России, как молитву и благодарение искупителю рода человеческого за искупление России.

Храм во имя Христа Спасителя! Идея новая; доселе христианство воздвигало свои храмы во имя какого-либо праздника, какого-нибудь святого; но тут явилась мысль всеобъемлющая — она и могла только явиться государю, проникнутому чувством религиозным, каков тогда был император Александр.

Я видел Александра в то время в Казанском соборе, когда еще враг попирал грудь России, когда Москва готовилась сделаться добычею его, видел, как он являлся в народ смущенным, падшим духом, как бы стыдясь поражений своих. Конечно, эта эпоха бедствий сильно подействовала на его душу; он, некогда уступивш‹ий› мощному гению Наполеона, подписавший Тильзитский мир, тогда объявлял, что до гибели не положит оружия.

В то время, увидев всю ничтожность силы мира сего, в нем зародилась мысль религиозная, которой он остался верен и одушевленный коею, он богу отдал свои победы и его возжелал благодарить храмом сим.

Я понимал желание Александра, и в душе артиста оно должно было найти верный отголосок. К сему присоединилось еще одно чувство — я пламенно желал, чтоб храм сей удовлетворил требованию царя и был достоин народа. Россия, мощное, обширное государство, столь сильно явившееся в мире, не имеет ни одного памятника, который был бы соответствен ее высоте.

Я желал, чтоб этот памятник был таков,— но чего можно было ждать от наших художников, кроме бледных произведений школы, бесцветных подражаний? Следственно, надлежало обратиться к странам чуждым. Но разве можно было ждать произведения народного, отечественного, русско-религиозного от иностранца? Его произведение могло быть хорошо, велико, но не соответствовать ни мысли отечества, ни мысли государя.

Я понимал, что этот храм должен быть величествен и колоссален, перевесить, наконец, славу храма Петра в Риме, но тоже понимал, что, и выполнив сии условия, он еще будет далек от цели своей. Надлежало, чтоб каждый камень его и все вместе были говорящими идеями религии Христа, основанными на ней, во всей ее чистоте нашего века; словом, чтоб это была не груда камней, искусным образом расположенная, не храм вообще — но христианская фраза, текст христианский. Храм наружный должен состоять из формы и украшений; но формы сии могут быть произвольными или извлеченными из самой религии. Ежели кто-либо скажет, что это не нужно, то мы сошлемся на людей, которые часто живут целую жизнь без всякой высокой идеи. Ну, конечно, они живут; но это ли полная, настоящая жизнь? Даже и Витрувий извлекал свои пропорции из форм тела человеческого.

Но каков же храм чисто христианский? «Вы есте храм божий, и святый дух в вас обитает». И, следственно, из самой души человека надлежало извлечь устройство храма. Но что такое человек?

Дошедши до сего, естественно ли человеку, умеющему чувствовать, не стараться всеми силами понять, постигнуть мысль, которая внезапно является ему окруженная мраком, но которой свет он предчувствует? Долго занимала она меня; но, не занимаясь никогда архитектурой и полагая невозможным успешное решение моей задачи, я с скорбью должен был ограничиться одной идеею.

В то время многие уже занимались составлением проектов, которые должны были быть внесены на высочайшее усмотрение. Рассматривая проекты некоторых из товарищей моих по Академии, я видел во многих таланты, но ни в ком идеи, меня одушевлявшей. Мучимый ею и приводя ее в бо́льшую ясность, я отправился в Москву. Взяв отпуск из Академии, в Петров день 1813 года оставил я Петербург, и тогда первый раз расстался с родным городом и с родителем.

Давно желал я видеть первопрестольный град России. Можно себе представить, как он должен был на меня подействовать, сожженный, обгорелый, пустой и над развалинами коего царил величественный Кремль — один уцелевший среди гибели памятник древних несчастий, один перенесший и этот удар.

Я явился к графу Растопчину, с которым я познакомился в Петербурге (в) 1812 году, вследствие моего большого рисунка «Марфа Посадница», который весьма понравился его патриотическому чувству и который я поднес ему. Граф приглашал меня к себе, желая, чтоб я занялся виньетами и картинами для предполагаемого им описания патриотических подвигов Отечественной войны,— которое, впрочем, не состоялось, по ипохондрии, его начинавшей беспокоить. Граф предлагал мне с сею целью комнату у себя подле кабинета, но я не предвидел успешности занятий в такой близости у вельможи и предпочел предлагаемую квартиру г-на Рунича, управляющего почтамтом.

С ним и еще одним знакомым часто гуляли мы по Москве, и наконец, приведши меня в Кремль, спросили мое мнение для решения их спора; один думал, что предполагаемый императором храм всего приличнее воздвигнуть в Кремле, другой почитал, что это место тесно и неудобно.—Рожденный в Петербурге, на плоском месте взошедши в Кремль, я был поражен красотою его положения, величественностью вида, раскрывающего полгорода. Мысль храма, соединенная с изящностью места, возобновилась в душе моей. Мы взошли в Спасские вороты, и я, заметив пустое место между Москворецкою башнею и Тайницкими воротами,— оставил приятелей и пошел туда, чтоб снизу, от Москвы-реки, взглянуть на Кремль, и возвратился к ним в Тайницкие вороты. Бывшие неустроенные, смутные идеи храма теснились в голове моей, и, одушевленный прелестью места, я высказал им мою мысль о храме и о превосходстве оного в Кремле, и новые идеи исполнения, рожденные самим местом, прибавились к религиозной идее. Место Кремля мне нравилось и рекою и гористым положением, где можно устроить три храма по косогору. И самые два взрыва, сделанные в стене, казались мне превосходнейшими местами для учреждения двух великолепных входов в храм.

Одушевленный моей идеею, я распространился о мыслях моих насчет храма, и Рунич, одаренный горячею душою, просил меня убедительно, неотступно, для него, хотя в альбом, набросать главный очерк моих идей храма. Я отвечал, что легко было говорить мне, чувствуя это,— но, не зная архитектуры, мудрено мне было исполнить его просьбу. Странно, что внутренно я чувствовал совсем другое; в то же время, как я отказывал ему, твердо решился уже заняться. И, говоря, что я не знаю архитектуры, моя внутренняя мысль возражала мне: «Но кто же мешает тебе знать ее?» Ибо чего не знаю сегодня, то могу знать завтра и т. д. Когда провидение дало способность, то от твердой воли зависит уже развитие оной. И слово *хочу* положило основание моему занятию.

С другого же дня я начал означать чертежами мои мысли. Само собою разумеется, что первые произведения были смешные уроды; но это не пугало меня. Воля была сильна, жива, но труд чрезвычайный; я взялся за архитектурные книги, чтоб правилам науки подчинить свои мысли. Советоваться было не с кем. Я знал, и не занимаясь архитектурой, ограниченность понятий большей части наших зодчих. Я начал изучать древности и, без всякого пособия постороннего труда, рылся в книгах и в сочинениях знаменитейших писателей. Между малым числом книг я случайно нашел Витрувия, которого философский взор на архитектуру раскрыл мне многое[1]. Занятия эти были мной производимы в мезонине московского почтамта, где я пользовался двухлетним гостеприимством Рунича, которое тем более мне ценно, что, уклоняясь от прочих занятий, средства мои были ограниченны. Руководимый внутренним инстинктом, я не сомневался в успехе, зная свой талант в исторической живописи, за которую я получил все медали от Академии и был назначен путешествовать на счет оной.

Я провел два года в беспрерывных трудах. Спустя полгода я показывал Руничу уже довольно удовлетворительный эскиз. Идеал прояснялся, принимал форму более определенную, мечта моя облекалась в правильную вещественность.

Но я оставил все прочие занятия, даже рассеянности, и употребил все время на один предмет, ободряемый внутренним голосом, который ярко говорил мне, что проект мой должен удовлетворить требованию государя.

Между тем двухмесячный срок моего отпуска миновался, и Академия требовала моего возвращения, ссылаясь на требование адмиралтейц-коллегии, которой я обещал даром производство плафона в церкви кронштадтской. Это было следующим образом: желая, по некоторым причинам, удалиться на время из Петербурга и, еще более, желая произвести нечто изящное в плафонной живописи и вполне понимая недостатки плафона Казанском соборе Шебуева, где не соблюдена ни оптика, ни перспектива, я взялся за самую умеренную цену (4000 р.); но вскоре, призвав меня в адмиралтейц-коллегию, объявили мне там, что кто-то из членов Академии берется *дешевле*. Я заметил им, что ежели хотят делать подряд, то я не согласен, объясняя им притом, из каких побудительных причин я взялся за сию работу,— но они не поняли меня. Они говорили о пользе казны, о необходимости соблюдать ее.

---

[1] *За этой на полях приписанной фразой следует:* На фронт‹оне› черт‹ежи› ...ибо не нашел... и чертежи Храма Солнца в Палерме.—*Ред.*

— Тогда я еще сделаю полезнее для казны, что возьму еще дешевле, т. е. даром, и чтоб они спросили другого, согласен ли он сделать.

Они удивились и спрашивали, какая мне от того выгода? Но наконец согласились на сию *сходную цену*.

Тогда мне представился случай ехать в Москву, которым я и воспользовался, считая, что меня не могут после того понудить к скорому исполнению добровольной жертвы. Но, как я сказал, времени прошло много, и Академия, поручившаяся за меня, настоятельно требовала моего возвращения. Я писал им о перемене моих занятий, о цели оной, но, не внимая сему, требовала она, чтоб я явился. Тогда, увлекаясь первыми порывами, писал я в Академию о неблагородном поступке адмиралтейц-коллегии, и, по счастию, вице-президент не пустил в ход этой бумаги, которая навлекла бы мне огромный вред. Но все это беспокоило меня, отрывало от занятия, которому я предался всею душою, и один голос известного поэта и государственного мужа Ивана Ивановича Дмитриева[1] успокоил меня и заставил скорее решиться оставить Академию и все выгоды, нежели свои труды. Заметим мимоходом, что впоследствии труд мой совершен известным К. Брюлловым, который тогда уже начинал оказывать высокие дарования. Наконец надежды мои стали сбываться, мысль моя ближе и ближе выражалась в красоте, приходила в определенную ясность, и хотя я далек был от того, чтоб быть им довольну, но чувствовал, что я стал на ту дорогу, где только надлежало усовершать, а главное, основное готово.

Трудны были эти два года, много было жертв принесено проекту и моей идее; занятия, которые могли меня обеспечить и в настоящем и будущем, вояж, который предстоял мне на счет Академии и который я ожидал 6 лет, наконец, знакомство, связи — всем пренебрег я для одного *неверного*, как казалось многим, занятия. Но какой же результат был всех сих усилий и жертв? Здесь место сказать об этом несколько слов.

Что заставляло решиться на столь трудное и важное предприятие? С восторгом видел я мысль Александра воздвигнуть храм во имя Христа Спасителя — эти три слова раскрыли мне новую жизнь императора, искушаемого бедствиями и скорбями; я видел его высокое христианское одушевление — и вот начало

---

[1] Иван Иванович Дмитриев, слыша о моем проекте, желал его видеть, был у меня, и я вполне увидел, как душа поэта всегда сильно сочувствует всякой мысли высокой и живой.

С того времени мы остались знакомыми; наконец он просил меня помочь в расположении его дома, и по моему проекту был выстроен он у Спиридония.

первого желания удовлетворить требование царя достойным храмом. Могли ли его удовлетворить обыкновенные храмы, в числе которых множество произведений высоко изящных, но созданы без всякой религиозной идеи. И могли ли они быть таковыми, когда по большей части зодчие пеклись только об архитектурной красоте, не имея религиозного взгляда?

Вот требования нового храма: 1) Чтобы все наружные формы храма были отпечатком внутренней идеи. Как писание говорит, что человек сам храм, то надлежало искать идеи для храма наружного во внутренних идеях самого человека. Рассматривая себя, найдем, что он состоит из трех *начал* (principium): тела, души и духа. Эту тройственность необходимо было выразить, сколько возможно яснее, в частях храма. Мне казалось недостаточным, чтобы храм удовлетворял токмо требованиям церкви греко-российской,— но вообще всем христианским, ибо самое посвящение его Христу показывало его принадлежность всему *христианству*. Следственно, храм должен был быть тройственный, т. е. храм тела, храм души, храм духа,— но так, как человек, пребывая тройственным, составляет *одно*, так и храм, при своей тройственности, должен был быть *единым*. Эта тройственность везде: и в божестве, и в природе, даже в мышлении. В жизни Спасителя мы находим три периода, которые согласны с его тройственностью. Воплощение Христа — принятие на себя смертного тела; преображение, показывающее, до какого просветления очищенное тело душевными свойствами доведено быть может, и воскресение, показывающее, в какое духовное состояние тело доведено быть может. Тем более надлежало выразить три храма тремя моментами жизни Спасителя, что весь храм долженствовал быть ему посвященным. Впрочем, мое дело было только собрать из священного писания места и раскрыть их и приложить к искусству, на что я и чувствовал призвание. Разумеется, что и самые наружные формы храма должны были соответствовать своему внутреннему смыслу[1]. Понимая, что ничего не может быть произвольно в жизни Спасителя, я размышлял о таинстве креста; я чувствовал себя неудовлетворенным, находя, что я оное вполне ясно не понимаю, и опасался возражений острого ума, каков был у Вольтера. Это было мне

[1] Каподистрия, бывший король Греции, желал чрезвычайно, чтоб объяснение сего храма было издано, и даже поручил оное сделать своему секретарю Стурдзе, который что-то и печатал очень неудовлетворительное. В 1871 Каподистрия давал для меня обед, состоявший из весьма малого числа лиц, и там очень горячо убеждал издать описание храма; но я отговаривался тем усовершенствованиями, которыми я намерен еще заняться, и что еще не пришло время для публикации, которую он брал на себя. Кстати заметим, что тут присутствовал граф Воронцов, желавший, чтоб подобный храм в малом виде был воздвигнут у него в крымских имениях, но я не мог согласиться на это.

прискорбно. Долго мучась сей идеею, однажды внутреннее воззрение меня привело к следующему.

Я вообразил себе Творца точкою; назвав ее единицею, богом, поставил циркуль и очертил круг, коего центр эта точка, эту периферию назвал множественностью—творением. Итак, я имел единицу и множественность, Творца и творение. Как эта точка может соединиться с периферию,— наблюдая за черчением, я видел, что расходящиеся ножки циркуля делают прямую линию, коих бесконечное множество одной величины составляют круг, и которые все, пересекаясь в центре, составляют кресты, и, следственно, крестом соединяется с творцом природа. Таким образом я получил три формы: линию, крест и круг, составляющие одну таинственную фигуру, совершенно успокоившую меня. И с этой минуты я постиг сию тайну.

Я мгновенно решил воспользоваться сим открытием и мгновенно приспособить его к храму, тем более что я нашел важность сих фигур и впоследствии у натурфилософов, которые из оных начал выводили ее ⟨природы⟩ важность[1]. Форму линии в природе наилучше выражает параллелограмм, коего одна сторона бесконечно малая,— сию форму я присвоил первому храму, названному храмом телесным, тем более что и математическая линия, превращаясь в тело, производит параллелепипед. Сверх того, уже и потому эта форма приличествовала, что тело человеческое без духа полагается в могилу той же формы, ибо не предстоит надобности класть тело в другую форму. Этот храм долженствовал быть прислонен к земле так, как и тело человеческое прислонено к ней. Тремя сторонами находясь в горé, а с выходящей восточной стороны, с которой он принимал свет, и далее углубляясь в мрачность, оканчивался катакомбами. Алтарь должен был быть освещен посредством прозрачного изображения рождества на огромных стеклах, и никакого другого света не должно было быть на алтаре. Христос есть свет мира. Гранитные столпы, как первозданная материя твердые, должны были поддерживать свод храма и стены, украшенные ⟨*пропуск?*⟩ мрамора черного, дикого и белого.

Перейдем к украшениям. Я убежден, что они не должны быть употребляемы для одной красоты, но они должны быть иероглифами, языком религии. Ныне поступают с ними произвольно и небрежно. Египтяне и индейцы[2] посредством наружных фигур передавали свои внутренние мысли, которые могли пониматься только теми, кто углублялись в их разбор. Они не за-

---

[1] *После слов: я нашел — в рукописи незаконченный вариант:* что уже многие писатели (кои мне были неизвестны), занимавшиеся таинством природы, я нашел. — *Ред.*

[2] Имеются в виду индийцы, индусы. — *Ред.*

ботились о красоте. Греки, заимствовав свое просвещение у египтян, получили от них одну символику для аллегории, и, гоняясь за одной наружной красотой, производили украшения изящные, но бессильные, доставшиеся в наследство новым художникам. Древние христиане отвергли их совсем, относя все это к язычеству, и, отдаляясь от них, впоследствии приняли наконец готизм. Готическая архитектура, может, не имеющая той высокой изящности греческой архитектуры, имеет свое величие, большая часть ее зданий были воздвигнуты людьми, посвятившими всю жизнь на воздвижение храмов. И где же более должно искать строгости украшений, как не в храме божием, где всякая черта должна говорить о истинах религии? Вследствие сего храм телесный украшен во вкусе только греческом, большим барельефом, занимающим обе стены, этот барельеф заключает в себе историю смерти апостолов и Христа, чем самым научает, каким образом должно приносить тело смертное в жертву Христу.— Место его могло ли быть приличнее, как не вдавленное в землю, одна восточная сторона его выходит наружу, чтоб воспринимать свет. Таким образом, общий характер его выражает мрачность, катакомбу. К сему телесному храму почел я приличным примкнуть воспоминание о жертвах 1812 года, кои положили живот свой за отечество, т. е. богатую катакомбу, которая предала бы потомству память всех убиенных за отечество воинов, имена коих, от солдата до военачальника, должны были быть написаны на стенах катакомбы, где долженствовала быть и панихида о них. Телесный храм оканчивается катакомбою, находящеюся в середине фундамента второго храма. Катакомба освещается *термолитинами*. Так, как в греко-российской церкви кладется под престол частица мощей людей, в жертву принесших себя Христу, так и тут в основу телесному храму положились бы тела погибших жертв за телесное отечество, и в храме, в воспоминание 1812 года воздвигнутом, служить потомству воспоминанием сих событий, и смерть сих воинов — причина воздвижения оного.

Нижний храм посредством внутренних лестниц соединялся со вторым храмом, *храмом душевным*, или моральным, который начинался уже на поверхности горы, открытой со всех сторон. Форма сего храма должна была состоять из креста; как первый состоял из линии, так второй из пересечения двух линий. Как форма параллелограмма приличествовала смертному телу, так форма креста приличествует душе, т. е. телу, оживленному духом, составляющим настоящую нашу жизнь и действование. Там форма тела была сложенная, здесь распростертые руки составляют крест, хотя казаться может, что одно тело распинается, но не мертвое, а тело, одушевленное духом, где воля его может решиться или нет на страдание, и следственно крест

принадлежит душевной части человека и есть как бы середина между смертным телом и бессмертным духом его, есть соединение тела с духом, есть *средство* соединения человека с богом. Здесь храм во имя преображения, т. е. тело, просветленное очищенною волею души. В этом среднем храме алтарь должен освещаться преображением Христовым. Как форма храма должна приличествовать его наименованию, так и самое освещение; он должен иметь полусвет, так, как и есть наша жизнь смесь добра и зла. Знатоки живописи и музыки знают приятность для взора полусвета (как в зале) и для слуха полузвука, имеющего столь огромное влияние на душу, что все вместе напоминает нам средину нашего бытия. Как в нижнем храме составляет украшение смерть, так здесь — жизнь, т. е. барельеф, окружающий весь второй храм, должен заключать жизнь и деяния Христа и его апостолов *как указание* того, как это смертное тело, одушевленное духом божиим, должно жить. Из второго храма ведут лестницы в третий, верхний, составляющий храм духовный (божественный). Как второй храм состоял из креста, который есть следствие линии, так третий состоит из чистого круга, следствие креста. Сверх того, как круг не имеет ни начала, ни конца, то он есть лучшая линия для выражения бесконечности. Как крест объясняется в отношении к душевной части, так здесь периферию выражается дух (насколько материя может выразить оный). Здесь алтарь освещается чрез воскресение Христа Спасителя. Самый же храм ярко освещен, насколько архитектура дозволяет оное, чтобы, как нижний должен быть мрачен, так храм духа — самый яркий, и сей-то храм духовный сообщает свет храму душевному. От сего и происходит полусвет среднего храма, т. е. часть мрака и часть света.— Окны размещены так, чтобы из нижнего они не были видны, инако они разрушили бы полутон его освещения. Вместо же обыкновенного света в куполе третьего храма должно было видимо быть ярко освещенный большой искусственный свет на плафон купола, изображающего отверстое небо и освещенного своими окнами невидимыми. Как во втором храме украшения были из деяний апостольских, относящиеся к душевным свойствам, так здесь барельеф, окружающий сей храм, представляет историю Спасителя в виде духа, то есть те случаи, кои были после воскресения, когда Христос является в духовном теле,— является ученикам, и наконец вознесение как отшествие из сего мира.

Таким образом в храме выражалась и изображалась вся история Спасителя, имени коего он посвящался. Такова идея этого тройственного храма относительно внутренних его частей, но наружность его должна была представлять одно целое, единое здание.—Так, как внутренний храм должен был предста-

вить духовного человека, так и наружный должен был не отрываться от сей идеи в своей общности.

Идея главного входа с нижней площади храма состояла в том: лестница разделяет большую террасу на две половины, с террасы вход в нижний храм и с обеих сторон уступы, ведущие на верхнюю площадь ко второму храму. Идея их следующая.

Вокруг сквозной чугунной колоннады, поддерживающей главный купол храма железной конструкции, кольцеобразно с каждой стороны — пять статуй главнейших добродетелей. С одной стороны добродетели Ветхого завета, с другой — Нового завета, означающие, что для того, чтоб войти в истинный храм Христов, в самого себя, нельзя войти без прохождения главнейших добродетелей, которым научаемся из двух заветов и которые суть следующие: вера, надежда, любовь, чистота и смирение. Для большей ясности тут должны были быть означены тексты священного писания, таким образом и сама терраса невольно назидала бы проходящего.

Наружность второго храма украшена одними изображениями пророков, свидетельствовавших еще в ветхозаветном храме о пришествии Христа, но которые сами не могли быть в храме новом. Соображаясь с догматами церкви, сделан обход кругом второго храма, где бы могли совершать все процессии, не терпя препятствий от погоды.

Третий храм, духовный, украшают духовные существа — ангелы, окружая весь храм в верхней его части. Весь стиль храма надлежало избрать в греческом характере, который своей правильностью и изящностью форм придавал возможное величие зданию, поражая своею простотою. Согласно местности, примыкалась к нижнему храму колоннада, составляющая как бы бок горы. Стена ее украшена барельефами истории побед 1812 года с помещениями под ними важнейших реляций и манифестов. По концам ее два памятника из завоеванных пушек, которые впоследствии времени переменились в обелиски.

Но что побуждало меня к сей жизни труда и занятия,— три причины могут побудить человека к лишениям и трудам: 1) корысть — самая низшая страсть, материальная; 2) слава — побуждение уже высшее, облагороженное, настолько выше, насколько мысль, идея выше всякой материи; 3) любовь божественная, прославление Творца, столько же выше второй, сколько вера выше мысли, ангелы выше человека. Много может перенесть человек, побуждаемый славою, но он падет, не видя успеха; но напутствуемый верою может перенесть все, и ропот не вырвется из груди его.— Мысль посвятить мою жизнь богу торжественною песнью ему — вот что занимало меня и, разумеется, при первом прочтении программы я увидел возможность

совершить сие; не здание хотелось мне воздвигнуть, а молитву богу.

Таким образом продолжал я трудиться для осуществления моей идеи. Много стоило это труда — быть в одно время учеником и учителем и облекать столь трудную религиозную идею в вещественность, сохраняя при том требования искусства. Подражать нельзя было и не хотелось, оригинальная идея требовала оригинального изображения. Часто увлекался я то изящностью язычества греческого, то готизмом христианских храмов; очень понимал я, что готический храм, имеющий свое величие, произошел от желания христиан ярко отделить себя от всего языческого, но с тем вместе я не мог согласиться принять безотчетность готических форм преимущественно перед простотою и изящностью греческих. Мне казалось, что это однажды излившаяся красота, которая как бы превратилась в норму, осуществив идею изящного. Посему эта красота и остановила меня. Конечно, величественная простота языческих храмов не удовлетворяла храму христианскому. Давно старались заменить ⟨*пропуск?*⟩ тем, что в христианских храмах начали воздвигать куполы на языческих портиках. Я сколь возможно рассматривал важнейшие здания сего рода, в особенности храм св. Петра. Сколько ни имеет он достоинств, но стиль его нечист, неизящен и в нем множество недостатков. Но, несмотря на то, он авторитетом своим долго связывал мои идеи, и потому в первом проекте я удержал эллипсоидальную форму купола, хотя в то же время изящная форма — полусфероидальная форма купола римского Пантеона. Несмотря на все усилия, я долго не мог сладить всех требований, и, недовольный ничем, я в беспрестанных занятиях вырабатывал свой проект, который вполне был совершен, понят в идее, но который выразить и развить я не мог еще во всей ясности, согласно со всеми требованиями искусства, перенеся на бумагу одни главнейшие мысли.

## ⟨2⟩

Прежде нежели я приступлю к дальнейшему повествованию о приезде в Петербург, должен рассказать некоторые факты частной жизни, имевшие большое влияние на меня.

Летом 1815 года услышал о возвращении императора в Петербург. Ив. Ив. Дмитриев, одушевленный идеею храма моего как поэт, советовал мне стараться, чтоб объяснение сего храма было сделано мною на словах императору, ибо «живое слово,— говорил он,— более действует, нежели письмо». Я возражал ему, что у меня на это нет никаких средств и что я об этом заботиться не буду, ибо, ежели суждено моему проекту быть из-

бранным, он будет избран, а нет — предоставляю воле провидения.

По окончании проекта и когда слух о нем носился по Москве, я объяснял его у графа Растопчина при многочисленном собрании, собираясь ехать в Петербург, чтоб передать обер-прокурору святейшего синода князю Александру Николаевичу Голицыну проект свой (ему назначено было собирать проекты). Там граф Лев Кириллович Разумовский желал иметь подробнейшее объяснение у себя дома, видя, что при многочисленном собрании я не мог так свободно объяснять его. Граф был очень тронут, до слез, и с восторгом спросил, чем он может быть полезным, чтоб дать этому делу ход, предвидя затруднения, которые оному сделают.

— Брат мой министр просвещения (тогда он был президентом Академии художеств). Он может многое для вас; я полагаю[1] не лишним было бы взять от меня письмо к брату.

Я возражал:

— Извините, граф, ежели ответ мой покажется странен и невежлив. Сердечно благодарю за участие, принимаемое в сем деле. Но строгость моих правил, коим изменить не могу, запрещает мне пользоваться всяким искательством, а письмо ваше будет походить на протекцию. Ибо я поставил правилом по этому делу ничего не просить, чтоб видеть волю и указание провидения. Как труд мой важен, то я боюсь искательствами натянуть успех и взять на себя столь трудное дело, сопряженное с раздражением многих, и ежели тогда я не в силах буду выполнить ⟨*пропуск*⟩. Если же, вопреки моим правилам, дело будет иметь надлежащий ход и успех, тогда я заключу, что оно имеет назначение свыше, и в таком случае я в состоянии буду перенести все препятствия.

Граф нашел мой отзыв не только не обидным, но был рад, что я так рассуждаю. Хотя, впрочем, считал не излишним письмо к брату.— Я отвечал, что, пожалуй, приму его; но только, чтоб он заметил, что я не прошу оное.

Многие другие особы показывали внимание.

Наконец я собрался в 1815 году в Петербург. Но я всех менее был доволен моим проектом, видя, впрочем, что он удовлетворяет характеру серьезной архитектуры. Впрочем, уверенность была, что мой проект будет избран, и твердо полагался.

По дороге в Петербург я остановился в Твери у почтмейстера Новокщенова, с которым я познакомился в Москве, ибо и он жил в почтамте; я провел там с неделю, желая ему оставить

---

[1] *После слов:* я полагаю — *в рукописи остался незачеркнутым вариант:* снабдить вас при поездке в Петербург. — *Ред.*

памятник моих трудов, где я познакомился с сведущим математиком Карбонъером, впоследствии инженерным генералом, и о котором упоминаю потому, что после мы с ним встретились инако. Он в моем проекте особенно вникал в конструкцию купола, который у меня был проектирован из железа. В Твери нашел я обещанное письмо к Алексею Кирилловичу Разумовскому и, сверх того, к Александру Николаевичу Голицыну от Льва Кирилловича Разумовского.

Между тем слух о моем проекте дошел до многих и предупредил меня в Петербурге. Я уже говорил, что некоторые из моих товарищей тоже занимались им, в числе их был один Мельников (ныне профессор Академии художеств); он мне показывал свой проект еще прежде отъезда в Москву; но мог ли мне он понравиться, когда никакой мысли не лежало в основании его идеи? Несмотря на то, что Мельникова программы обыкновенно были хороши, ибо он имел хороший талант, но его проект был испещрен мелочами. Слух о моем проекте и о духе, в коем он составлен, дошел до него.—Возвратясь в Петербург, я встретился с ним на улице; он вспыхнул в лице, я понял этот румянец, и первое слово было о моем проекте; удовлетворяя его желанию, я звал его на другой день прийти посмотреть оный. В назначенный час он явился. Внимательно смотря на проект, первый вопрос его был:

— И неужели ты сам чертил его?

— Твой вопрос обиден,— возразил я,— это похоже на то, ежели бы у сочинителя спросили, сам ли он перебелил так хорошо.

— Все так, но, помилуй, ты прежде не умел чертить.

— Умею теперь.

— Но так скоро.

— Стоит твердо желать, и успех несомненен. Сначала я чертил дурно, и мысли мои выражались уродствами, потом занятие, размышление дали мне силы, одушевление, любовь довершила остальное. Вот смотри ряд, через который я дошел до проекта,— сказал я ему, подавая портфейль, где хранились у меня все чертежи, от первого до последнего.

С жадностью перебирал Мельников эти листы, и удивление его не уменьшалось. Он был доволен, хвалил; но я требовал его мнения как товарища и артиста, на что он отвечал:

— Стыдно их сказать, они есть, но такие мелочи, что совестно говорить.

Окончив это, он просил сказать ему идею, внутреннюю мысль храма.

— Мельников,— сказал я ему,— ты занимаешься тем же предметом, много уже я сделал, показав тебе свой проект; но ты хочешь еще знать и внутреннюю идею, этого не делается,

но я докажу доверенность, которую имею к тебе: человек с талантом не может быть подлецом.

После этого я объяснил ему храм свой; но объяснение мое было несистематично, без последовательности, разбивчиво, и я скрыл от него главную символическую мысль, из коей развивались все частности здания. Впрочем, он и не мог понять бы меня; хороший артист, он далек был от религиозного взора на эти предметы. Казалось, он довольствовался моим объяснением, и в душе его не возникало дальнейших вопросов. Когда я кончил, я видел, что его удивление не прошло, и в то же время что-то грустное, обиженное было на лице его.

— Вот тебе и объяснение,— сказал я ему в заключение, хотя я не предполагаю, чтобы ты когда-либо воспользовался им с черной целью; но ежели бы и хотел, то вот тебе моя рука, что это для тебя решительно невозможно—ты все перепутаешь.

И в самом деле, мог ли человек, не имеющий сам той идеи и, еще более, не способный ее иметь, слыша вразбивку, без порядка, объяснение некоторых частей,— мог ли он удовлетворительно, отчетливо, не зная общности, передать эти мысли, и не должны ли были они у него перепутаться с другими мыслями и, следственно, дойти до нелепости? Мельников уверял. Впоследствии увидим, как поступил он, и увидим всю верность высказанного здесь мнения. Теперь прибавлю, что г-н Мельников распространил в Академии слух о достоинстве такого труда и с похвалою относился о моем проекте.

Князь А. Н. Голицын собирал проекты, и я тотчас явился к нему с письмом от графа Разумовского. Князь сказал, что он давно слышал о моих занятиях и хотел со мною познакомиться, притом заметил, что он не может ничего особенного сделать для моего проекта, а, как и все прочие, повергнет рассмотрению императора.

— Я и не прошу ничего особенного,— возразил я,— но вот, впрочем, одна просьба: я письменного объяснения храма не сделаю и непременно хочу оное сделать лично, доведите это до сведения императора.

Князь обещал. Он назначил на третий день явиться с проектом и сделать полное объяснение оного. Князь сказал, что, вероятно, проект мой потребует больших издержек.

— Это одно может остановить выбор его, и потому хорошо было бы, ежели б вы занялись отделкою другого проекта, в меньшем виде. Государь еще будет не скоро; успеть можете.— Я обещал.

Явясь в назначенное время, я нашел там архимандрита Филарета, впоследствии столь известного, и Александра Александровича Ленивцева, друга князя, и обер-шенка Кошелева, и камергера Кологривова. При сих лицах сделал я полное

объяснение своего проекта. Я наиболыпе обращал свои замечания Филарету, который тогда стал обращать внимание своими проповедями, желая знать, нет ли чего противного догматам российской церкви,— с какою целью, вероятно, князь его и пригласил. Филарет вполне оправдывал мои идеи и весьма находил их приличными греко-российской церкви, сделав одно замечание:

— Вы поместили семь добродетелей: веру, надежду, любовь, чистоту, смирение, благодать и славу, которые, как вы говорите, вы извлекли (из) известного образа храма Премудрости; но я полагаю, что последние две добродетели, слава и благодать, более бы могли относиться ко внутренности храма, нежели ко внешности его.

Найдя замечания его весьма основательными, тотчас изменил это. Князь остался весьма доволен. При прощании сказал он мне:

— Ежели любите хорошее служение, каждое воскресенье в моей домовой церкви собираются мои приятели, приглашаю и вас.

Я не преминул быть, и князь спрашивал:

— Как вам нравится церковь?

— Довольно хороша для домовой церкви, но иконостас с погрешностями; но наиболее не нравятся мне царские врата (они были устроены известным Воронихиным).

— Да мне и самому не очень нравится иконостас,— сказал князь,— но что именно находите вы в царских вратах?

— Во-первых, самые врата имеют характер грубый, в то время как по своей идее они должны быть прозрачны и легки; далее, главнейший недостаток — что завеса голубого цвета.

— Какого ж цвета должна она быть? — спросил князь с некоторым изумлением.

— Именно красного.

— Почему?

Ответ мой состоял из текста св. Павла: «Имущему дерзновение, братие, входить во святая кровию Иисус-Христовой чрез завесу путем новым и живым, его же обновил есть нам сиречь плотию своею».

Князь был изумлен резкостью сей идеи и тотчас меня просил сделать чертеж для царских врат, который я ему сделал, торопясь удовлетворить просьбу его, ибо он желал, чтоб они были готовы к приезду императора, который часто посещал его церковь и, следственно, мог бы увидеть труд мой.

Я сделал рисунок, по коему царские врата состояли как бы из лучей света из иконостаса; находя хорошо изображенными эти лучи в образе троицы, я составил царские врата из продолжения их. Внизу помещен был белый квадратный краеугольный

камень, на котором в виде барельефа изображены были благовещение и четыре евангелиста; ниже, на самом камне,— текст вышеприписанный. На камне лежал на поставе потир, а выше, в самых лучах, как бы носился самый венец терновый. Сквозь лучи видна завеса, составленная из красного креста на белом поле, чтоб отделить христианскую завесу от ветхозаветной в храме Соломонове; к сему вел и следующий текст: «И убелиша ризы своя в крови агнчей» (апокалипсис).

Между тем с другим письмом явился я к министру просвещения, под влиянием которого находилась Академия художеств. Граф принял чрезвычайно благосклонно письмо и назначил в тот же день быть у него с проектом. Я исполнил это. Около двух часов провел я у него в кабинете с величайшим удовольствием. Граф был поражен новостью идеи и сказал:

— Это новая поэзия в архитектуре.

Надлежит знать, что граф слыл человеком неприступным и гордым; он удалялся ото всех, даже от своих домашних. Члены Академии никогда не удостоивались быть принимаемы им. Ласка его к молодому человеку, пансионеру Академии, два часа, проведенные с ним в кабинете, наконец, похвалы моему проекту, который он называл чистым произведением вдохновения, раздражили Академию.

Несмотря на размолвку мою с Лабзиным, я, занимаясь столь важным предметом, находил нужду забыть неприятности и явился к нему; но я хотел показать ему, что благодарность к нему у меня не иссякла. Сверх того, я хотел представить свой проект на рассмотрение Академии в ее общее заседание, которое скоро надлежало быть, а Лабзин был конференц-секретарем. Несмотря на гордый характер Лабзина, он принял меня с сердечным удовольствием.

— Покажи же, брат, свои труды, о которых так много говорят.

— Мне весьма будет приятно слышать ваше мнение,— возразил я,— по предмету, столь близкому к его(!) душе.

Вскоре удовлетворил я его желание. Сначала все шло хорошо, и Лабзин был доволен; но среди самого объяснения произошел горячий спор.

Я сказал:

— Вот, Александр Федорович, вы хвалите мои труды теперь, а когда я жил в Москве, не вы ли с Академиею затрудняли меня письмами и мучили своими требованиями вместо того, чтобы способствовать развитию моему? В вас и в Академии я нашел наибольшее препятствие, и теперь я от нее ничего хорошего не жду.

Лабзин спросил:

— Но чего же ты хочешь от Академии, ведь ты ее оставил и отказался от вояжа.

— Быть баллотировану в члены Академии по сему проекту, который я хочу представить.

Лабзин вспыхнул и вскричал:

— Это не по форме, ты знаешь порядок, Академия назначает тему...

— Но я никакой другой программой не буду заниматься, сверх того Академия за три года предлагала мне быть членом, от чего я отказался в пользу путешествия; отчего же теперь она откажет, после столь важного труда? Я посвятил себя одному храму, на него употреблены все силы души моей, и для выполнения форм Академии не хочу чертить какую-нибудь копюшю.

Кончилось тем, что, не желая слышать колкие слова, я завернул свой проект, не продолжая объяснение,—и откланялся.— В тот же день я явился с той же целью к вице-президенту Академии Чекалевскому, который был очень обрадован моим приходом. Я объявил ему желание представить проект для баллотирования в члены.

— Очень рад,— сказал он с некоторым недоумением, — но скажите, любезнейший, вы прежде ведь не занимались архитектурой. Как же вы сделали такой огромный проект, и ⟨*пропуск*⟩ предпринять такое трудное дело?

— Правда, что я прежде не занимался архитектурой, но кто же может поставить предел Тому, кто раздает таланты и дарования? Не показывает ли самое слово, что это дается свыше, кому Он возжелает?

Чекалевский сделал престранную физиогномию; обыкновенная доброта перемешалась с сомнением, и он сказал:

— Хорошо, хорошо.

Он был занят, и я расстался с ним. И каково же было мое удивление через несколько дней узнать, что добрый Чекалевский с сердечным участием говорил: «Как жаль, ведь Витберг помешался. Он мне говорил о каких-то откровениях, о боге».— Этот язык, коим я говорил, казался им языком безумия. Хотя мне было и очень смешно, но однако я боялся, что этот слух распространится и что странно будет Академии рассматривать проект умалишенного. Из размолвки с Лабзиным — тем более, что я уже знал раздражение академиков за прием министра,— я понял уже, какие препятствия я должен был встретить в общем собрании Академии.

Между тем как до 1-го сентября,— время баллотирования в Академию,— оставалось времени довольно, то оное посвящено было составлению меньшего проекта, в тех же идеях. Наконец накануне 1-го сентября я явился к князю Александру Николаевичу.

— Завтра намерен я представить проект мой на рассмотрение Академии; но как я надеюсь на большие затруднения там,

то прошу ваше сиятельство. Я почти уверен, что г-да архитекторы употребят все усилия, чтоб меня не баллотировали по проекту, не ими заданному, имея в сей форме предлог отказа. Я уже передал вице-президенту Академии бумагу, которой объясняю все мои труды в Москве, в виде отчета. Просил я его, ежели не верят в мои успехи, то сделать мне строгий словесный экзамен из всех частей архитектуры, какого ни один архитектор у нас не выдерживал. И потому прошу ваше сиятельство, чтоб профессора не могли меня отринуть, когда предложит вице-президент, то, как член Академии, чтоб и он дал голос в пользу экзамена.

В Академии, когда было это предложено, сначала обращались к Гваренги, но он возразил, что, как почетный член, он предоставляет г-дам профессорам. Старший профессор Михайлов заметил, что «действительно, мы знаем, что г-н Витберг никогда не занимался архитектурой, и потому не может не казаться странным проект столь огромный». Добрый вице-президент заметил, что Витберг желает быть по этому проекту подвергнут словесному экзамену и надеется удовлетворить членов Академии в основательности своих познаний.

— Но столь огромный проект,— сказал г-н Михайлов,— потребует слишком много времени, и г-да члены, вероятно, не могут посвятить на это столько времени.

Г-н профессор едва кончил свое замечание, как г-н конференц-секретарь Лабзин сказал довольно велегласно и важно:

— Так как г-н Витберг в своем отчете о занятиях в Москве довольно подробно говорит о занятиях ⟨по⟩ механике, гидравлике, архитектуре, то, я полагаю, всего приличнее, чтоб составить из ученых лиц по тем предметам комитет, который ⟨мог⟩ бы рассмотреть его труды и оценить их.

Надобно согласиться, что Лабзин, как умный человек, сделал замечание умное, и улыбка на устах профессоров показала, что все согласны с предложением конференц-секретаря. С изумлением глядел я на князя Александра Николаевича, молчащего, и на президента, который не употребил своего голоса; впрочем, на его лице видно было негодование. Наконец министр подозвал меня к себе и сказал:

— На чем остановились члены, я считаю неуместным возражать, и в первые минуты горячности мог бы наговорить вещей лишних.

Министр, уезжая, сказал:

— В Академии всегда кабалы[1].

---

[1] Происки, интриги, от cabale (франц.).— *Ред.*

С внутренним раздражением явился я на другой день к князю Александру Николаевичу, но он меня предупредил:

— Явно, что профессора архитектуры слишком против вас раздражены.

— Это натурально, но я ожидал отзыва вашего сиятельства как почетного члена насчет моего экзамена.

— Нельзя было это сделать, когда все согласились составить комитет.

— Но я не так недальновиден,— сказал я, — чтоб не понимать цели этого комитета; страшно мне было бы согласиться экзаменоваться из всех частей, которыми я занимался мимоходом и только в отношении к архитектуре, по предложению конференц-секретаря. Впрочем, я уверен, что ни один из профессоров Академии не может выдержать подобного экзамена.

Не помню, как князь отделался, и советовал заниматься более всего вторым проектом, что я и исполнил.

Между тем, по прошествии некоторого времени, явился я в Совет Академии с вопросом, намерена ли Академия удовлетворить моему избранию в члены по проекту или нет?

Михайлов:

— Вы знаете порядок: примите программу от Академии, и она не откажет вам в достодолжном вознаграждении.

— Но я уже сказал, что я никаким предметом, кроме храма, не могу заниматься в архитектуре, тем более что я в скором времени намерен оставить Петербург.

— В таком случае Академия не может удовлетворить вашего требования.

Я снова спешил удалиться, чтоб удержаться в границах умеренности.

Между тем приближалось время приезда государя и мне — ехать для бракосочетания в Москву; посему я счел за нужное писать к графу Алексею Кирилловичу, что скоро еду из Петербурга и потому мне решительно нужно знать, намерена ли Академия удовлетворить справедливому требованию. И ежели нет, то я должен буду отказ сей поставить на вид государя императора, несправедливость его. Вследствие сего министр при первом свидании с вице-президентом и конференц-секретарем сказал им о полученном от меня письме и советовал через них Академии быть осторожными в своих действиях.

— Я понимаю характер этого молодого человека, он много трудился, исполнен дарований: эти люди не унижаются и тверды. Хуже будет, ежели он напишет государю и он прикажет Академии исполнить его требования,—тогда стыднее будет нам[1].

---

[1] *Рядом с этой фразой приписано на полях:* Проект Михайлова, представленный, у князя Александра Николаевича с моим объяснением.—*Ред.*

На что Лабзин ответствовал:

— Академии нимало не будет стыдно исполнить волю монарха.

Министру нечего было сказать, и он, прекращая разговор, сказал:

— Делайте что хотите, но я бы советовал кончить доброй манерой.

Все и кончилось «доброй манерой». Один знакомый советовал мне еще раз сходить к вице-президенту; мне не хотелось, я боялся увлечься негодованием, долго не решался, но наконец пошел, именно потому, что не хотел. От него-то я узнал, что академики потому не внимали моей просьбе, что боялись, что я им загорожу дорогу и что они, долгое время работающие на этом поприще, должны будут уступить мне. Добрый вице-президент, узнав, что я ищу звание члена для того, чтобы иметь какое-либо значение, вступая в брак, советовал мне баллотироваться не по архитектуре и для этого послать ⟨в⟩ Академию какой-нибудь из прежних трудов. Я говорил, что все это ученические опыты и более всего брался объяснить профессорам, что я не загорожу им дороги. Эскиз «Освобождения апостола Петра из темницы» был мною доставлен вице-президенту. Составили экстраординарный Совет из всех профессоров и единогласно избрали меня в члены; из 30 баллов были только 3 черных. Вице-президент уверил, что я еду из Петербуга и, вероятно, женившись, брошу архитектурные занятия. Узнавши причину, почему я искал, они с радостью исполнили предложение вице-президента. Вице-президент поздравлял меня письменно, замечая, что никто не был баллотирован одними профессорами и с таким большинством. Через несколько дней прислали и диплом.

Между тем и второй (малый) проект пришел к окончанию. Распоряжение Академии о принятии меня членом было совершенно во времени, ибо через несколько дней оно уже не доставило бы мне того удовольствия.

⟨3⟩

Вскоре воспоследовало после того прибытие государя императора из чужих краев.

По прошествии нескольких дней по приезде императора прислал за мною князь Александр Николаевич, который мне объявил, что на другой день надлежало быть готовым предстать пред лицо государя.

— Государь будет у меня у обедни; кстати, император и увидит кое-что из ваших трудов у меня в церкви (царские врата были уже сделаны) и после оной будет рассматривать

поступившие ко мне проекты, в том числе и ваш; итак, будьте здесь, чтоб тотчас явиться, ежели государь спросит.

Приглашение сие было согласно с тем условием, которое я сделал, что иначе не могу объяснить, как лично, мой проект.

На другое утро я проснулся очень рано. Естественно, что хотя давно я ожидал сего дня, но что по приближении оного я был озабочен: 1) я никогда не имел счастия быть представлен государю, следовательно, боялся ⟨как бы⟩ не смешаться; 2) я объяснялся не довольно громким голосом, а государь худо слышал; 3) я не мог не понимать, что объяснения, мною делаемые, были довольно пространны, несвязны и наполнены повторениями, но здесь надлежало объяснять кратко и с тем вместе столько полно, чтоб ни одна из главных идей не была пропущена.

Впрочем, эти мысли не сбивали меня; я надеялся сладить со всем этим; чистота намерения и вера в провидение заставляли меня думать, что я превозмогу или что само собою все учредится. В таких мыслях я оставался покойным.

Проснулся часа в 3; вставать было рано: все спали в доме сестры, где я жил, и я, не вставая, начал обдумывать новую методу объяснения, которая была бы несравненно короче и яснее. О подробностях я не думал и расположил только главные части его, предоставляя настоящему одушевлению остальное. Я был доволен им. Таким образом, в надлежащее время явился я в дом князя Александра Николаевича. По окончании обедни в кабинете у князя был подан завтрак. После завтрака я был потребован в кабинет.

Несмотря на спокойное состояние духа, в котором я был, я смутился в это время. Я взошел. Государь, в другой стороне кабинета занимаясь с князем Александром Николаевичем, держал в руке книгу. Заметив мой вход, сложил книгу и, кивнув головою, взглянул на меня, и взглянул так, что все смущение в одно мгновение прошло; я был развязан, столь много исполнен был этот взгляд добротою,— взгляд, унаследованный от императрицы Екатерины. Государь после продолжал рассматривать книгу, спустя несколько минут положил книгу и подошел к столу. Несколько проектов лежали на большом столе, середь кабинета. В числе сих проектов был проект Гваренги, вроде Пантеона, известного зодчего, который строил ассигнационный банк в Санктпетербурге; за его проект весьма ходатайствовала императрица Мария Феодоровна; присланный из Италии еще проект, совершенно не соответствовавший греческой церкви; из наших зодчих — Воронихина (в византийском вкусе); Михайлова, которому принадлежит проект Петровского театра в Москве, произведенный г-ном Бове, который *дозволил*, чтоб ему присвоили сей проект, а чугунные укрепления лож

принадлежат тоже не Бове, а Девису, тоже железные укрепления, стропилы...

Он обратился ко мне и с необыкновенной благосклонностью сказал мне:

— Я рассматривал *ваш* проект и с нетерпением жду слышать объяснение (император имел обыкновение, видя первый раз человека, говорить *вы*).

Я поспешил подойти к столу, чтоб аранжировать место, но государь предупредил меня; сдвинув в сторону свертки, взял стул, подвинул его к столу и сел, с одной стороны сел князь Александр Николаевич. Государь указал мне на стул, с другой стороны стоявший, но я этим не воспользовался, но, стоя с правой стороны, начал свое объяснение. Я развернул оба проекта; но государь заметил, чтоб я отложил маленький проект, который хорош, но похож на прочие, из числа обыкновенных вещей.

— Мне нравится большой проект. В нем я заметил особенную оригинальность.

Александр слушал с необычайным вниманием, часто глядя мне в глаза. Остерегался прерывать мою речь и тогда только спрашивал повторения, когда недослышал чего. Переспрашивая что-то, государь указывал рукою на планс; пламенно объясняя, я сдвинул руку императора и был до того увлечен, что даже забыл извиниться и впоследствии уже догадался о несообразности сего действия. Пред окончанием я заметил слезу на глазах Александра.— Цари редко плачут! Вот была полная награда для меня, которую нельзя променять на ордена и отличия.

По окончании полного объяснения сказал:

— Я чрезвычайно доволен вашим проектом. Вы отгадали мое желание, удовлетворили моей мысли об этом храме. Я желал, чтоб он был не одна куча камней, как обыкновенные здания, но был одушевлен какой-либо религиозной идеею; но я никак не ожидал получить какое-либо удовлетворение, не ждал, чтоб кто-либо ⟨был⟩ одушевлен ею. И потому скрывал свое желание. И вот я рассматривал до 20 проектов, в числе которых есть весьма хорошие, но всё вещи самые обыкновенные. Вы же заставили камни говорить. Но уверены ли вы, что все части вашего храма будут удобоисполнимы?

Натурально, государь ждал получить ответ удовлетворительный; но вышло другое.

— Нет, государь,— отвечал я.

Этот ответ привел государя в недоумение, и, не дожидаясь другого вопроса, я прибавил:

— Представленный вашему величеству проект мой есть труд охотника, изучавшего архитектуру на самом проекте. И потому весьма вероятно, что в нем много найдется, что надлежит

привесть в лучший порядок при практическом исполнении. Я довольствовался выразить токмо мои мысли об этом предмете, предоставляя архитекторам привесть оное в исполнение. С своей стороны я уже вполне награжден воззрением вашего величества на мой труд.

Тут же я указал на один предмет, затруднявший меня.

— Так вы до этого времени не занимались архитектурою?

— Нет, государь, я изучился ей над этим проектом.

— Как же вы могли решиться на столь трудное предприятие, не занимаясь архитектурою? — спросил государь с удивлением и выжидая моего ответа.

— На этот вопрос, ваше величество, я ничего более сказать не могу, как только то, что сильно желал заняться этим предметом, чтобы выразить свою мысль, твердо быв уверен, что все зависит от твердой воли нашей и что, имея какие-либо способности, можем сегодня успеть в том, чего мы вчера не знали.

— Да, это справедливо, мы сейчас говорили об этом с князем; человек все может, ежели захочет. И вы то же доказываете своим трудом. Но,— рассматривая меня, сказал государь,— я желал бы знать несколько ход вашего воспитания.

— Я родился в Петербурге и лет десяти был отдан родителем в Горный кадетский корпус. Спустя год состоялся высочайший указ об отдаче в оспенный дом всех детей, не имевших оспы; родители, боясь сего, взяли меня домой. Доктор привил мне дурную материю, следствием чего было — скопившаяся материя в правом боку составила опухоль. Сделана была операция. Рана была открыта и продолжалась два года, вследствие чего я должен был оставить корпус. Я был отдан в пансион лютеранской ⟨церкви⟩ св. Анны, где я должен был обучаться, по совету почтенного Шлейсиера, оперировавшего ⟨меня⟩, латинскому языку для того, чтоб впоследствии учиться медицине. Но когда я оканчивал свой курс в сказанном пансионе, то во мне стало открываться другое желание. Во-первых, по чувствам моим я не мог хладнокровно предаваться науке, коей приложения и небрежности могли быть смертельными несчастным страдальцам, и потому имел уже отвращение от самой науки. Напротив, большую склонность имел я к изящным искусствам, к чему меня поощряли еще более слова учителя, говорившего, что «сам бог велит вам быть в Академии». Я открыл моему родителю желание. Он не хотел мне препятствовать, и я поступил в Академию, избрав историческую живопись, как высшую часть. В четыре года я успел превзойти всех моих товарищей и получить все медали. Я был назначен для усовершенствования путешествовать в чужие края на счет Академии. Случившаяся война и упадок курса воспрепятствовали путешествию, ибо давали 800 рублей в год, которые составляли за границей 200. Таким

образом прошли 6 лет в ожидании. В 1815 представился случай ехать в Москву, я взял отпуск от Академии. С самого издания манифеста вашего величества о намерении соорудить храм мне казалось, что я отгадываю или понимаю вашу мысль. Идея моя была без исполнения, по незнанию архитектуры; наконец в Москве, при воззрении Кремля, где два правителя желали знать мое мнение о построении храма в Кремле, идея моя усилилась, и я, осмотрев местоположение Кремля, решился исполнить мысль свою и решился заняться проектом и изучить архитектуру. Пренебрег всеми занятиями. Таким образом трудился я два года и наконец составил проект, который имею теперь счастие представить вашему величеству. Итак, этот проект есть токмо выражение мысли моей. И если проект вашему величеству нравится, и если угодно вашему величеству, чтоб он был осуществлен, то я желал бы иметь время на поправление его, с помощью того, кому он поручается; и тогда я надеюсь, что он будет изъят всех ошибок.

— И я уверен,— сказал пылко император, ударив меня по плечу.

Этим разговор кончился. Государь дал знак удалиться склонением головы; я вышел. Я был в восторге от императора. Это чувство любви, разлитое в его чертах, заставило бы меня влюбиться в него, ежели б я был⟨*пропуск*⟩. Чего не в состоянии сделать подданный для такого царя! Итак, исполнилось то, в чем я был странным образом уверен темным предчувствием, увлекавшим меня в занятие новое, неизвестное, без задатка школьного учения.

На другой день я явился к князю.

— Объяснение ваше вчерашнее было прекрасно,— сказал он,— несравненно лучше всех предыдущих. Государь был чрезвычайно вами доволен. Но он не согласен предоставить производство дела другим; он хочет, чтоб вы были им ⟨строителем⟩, полагая, что ежели вы в состоянии были создать этот проект и выучиться архитектуре, то можете обработать и дальнейшее при помощи людей, но под личным вашим руководством. Теперь государь дает вам время обработать, по вашему желанию, проект и с тем вместе причисляет вас к своему кабинету, с получением 2000 руб. жалованья, и жалует единовременную награду, состоящую из 5000 руб.

При сем случае князь сказал мне, что государь заметил сделанные под руководством моим новые царские врата и что государь нашел в них новую идею, которая весьма понравилась. Что же касается до некоторых подробностей по практической части, государь желает, чтобы вы посоветовались с Стасовым, от которого можете многое заимствовать и не терять времени за собственным обработыванием.

Это оскорбило меня несколько, и я возразил:

— Ежели государь считает меня достойным на избранное дело, то я найду время на обработывание. А советоваться с архитекторами мне будет неприятно. Они мне теперь враги, и чего же я могу ждать от их совета? Боюсь их школьного учения. И вы, князь, знаете мои чувства на этот счет.

— Вы хотите,— спросил он,— чтоб я передал ваши слова императору?

— Да, непременно, ваше сиятельство; лучше пусть он заблаговременно знает меня. Впрочем,— прибавил я,— против Стасова ничего не имею, напротив, уже одно то, что он учился не в Академии и гоним ею, говорит в его пользу, хотя я его и не знаю.

Князь передал мои слова государю, но государь велел мне сказать, что, зная чувства Стасова, он рекомендовал мне ⟨его⟩, что и теперь повторяет свой совет. Нечего было делать, я отправился к Стасову.— В нем нашел я совсем не ученого педанта, но истинного артиста, высоко образованного, с превосходным взглядом на науку и который точно в многом способствовал к объяснению некоторых, не совсем ясных мест архитектуры. Стасов мне сказал, что импер⟨атор⟩ уже говорил о моем проекте с ним и что он ему весьма нравится; но сделал некоторые замечания, кои были столь основательны, что я ими тотчас и воспользовался.

Впоследствии князь А⟨лександр⟩ Н⟨иколаевич⟩ объявил мне, что государю неугодно, чтоб храм был воздвигнут в Кремле, ибо неприлично разрушать древний Кремль и самое здание будет неуместно, смешиваясь с византийскими зданиями Кремля. Вследствие чего князь обещал меня снабдить инструкциею для отъезда в Москву,— ибо государь предоставил мне избрание места,—куда я и сам просился для совершения брака.

Перед отъездом моим однажды я был внезапно потребован к графу Аракчееву, через курьера, пришедшего от князя Ал⟨ександра⟩ Ник⟨олаевича⟩. Граф сам подъезжал к дому князя и строжайшим образом приказал экзекутору, чтоб я явился к нему в известный час, по воле государя. Мне было очень странно и грозное приглашение и то, что он сам подъезжал к дому князя, с коим я знал вполне об отношениях графа. После я узнал, что причина этого спеха было то, что он забыл приказание государя, а в тот день в обед надлежало ему донести о том государю.

Я явился к графу; он принял меня весьма благосклонно. Он объявил мне, что г⟨осударь⟩ поручил ему сказать мне, что «прежде нежели вы уедете в Москву, е⟨го⟩ в⟨еличеству⟩ угодно рассмотреть со мною проект в Таврическом дворце», куда, ежели потребуют меня, чтоб я был готов. А если за мною не при-

шлют, то чтобы я явился к нему в 5 часов. В назначенное время я явился к графу, который объявил мне, что государь думает, что *Швивая горка на Яузе* место весьма удобное для храма, которое имеет и косогор и реку, входящую в состав проекта.

— По подробном рассмотрении проекта вы немедленно пришлете свое мнение; в прочем относитесь к князю Александру Николаевичу, от которого вы и будете получать нужные предписания.

Получив все нужные предписания, я отправился в Москву. Сверх того мне было выдано, по высочайшему повелению, за наем квартиры 1500 и на дорогу 1000.

‹4›

Приехавши в Москву весною 1816 года, я не мог остановиться у Рунича в почтамте, ибо место его уже занимал К. Я. Булгаков. Тотчас явился я к архиепископу Августину, с которым я был уже знаком через известного доктора М. Я. Мудрова. Я в нем видел человека с особенными дарованиями, но, несмотря на горячий нрав свой, одаренного весьма добрым сердцем. Он был доволен моими идеями и не находил ничего противного в них греко-российской церкви. Мы с ним сблизились, и я часто бывал у него. Через него познакомился я тогда еще с московским духовенством. Августин встретил меня следующими словами:

— Ну, поздравляю вас с успехом; я вперед был уверен, что проект будет одобрен, и потому уже очистил место для храма.

— Благодарю, ваше преосвященство, но, вероятно, тут встретится ошибка, ибо государю не угодно, чтобы храм был строен в Кремле, и я теперь приехал для рассмотрения места на Швивой горке.

— Ну, не беда,— возразил Августин,— сломанная церковь Николы Гостунского, против архиерейского дома, всегда была не на месте.

Архиепископ приглашал меня остановиться в одном из его подворьев, под названием Заборовского. Я благодарил за предложение; но заметил, что я скоро отправляюсь для бракосочетания и что мне, женатому, может быть, будет неприлично жить в архиерейском подворье.

— Ничего, для вас можно позволить. Итак, прошу свободно расположиться в Заборовском подворье.

Куда я и поместился. Немедленно занялся я рассматриванием места на Швивой горке; после чего доносил я князю Александру Николаевичу, что следующие неудобства находятся при выборе сего места: 1) что недоставало достаточного пространства

для нужной площади храма; 2) что многие из купцов, имевшие тут домы, успели уже обстроиться после пожара и что следовало все сии домы приобресть покупкою, что могло потребовать большую сумму, особенно приняв в уважение, что ⟨*пропуск*⟩ и прекрасный огромный дом Шепелева, который один мог стоить более мильона и без которого место было бы недостаточно; 3) а как при таковых покупках не обходится без того, чтоб богатый не был в выгоде, а бедный притеснен, теряя свой последний дом, то прилично ли на таком основании воздвигать храм,— то предоставляю на благорассмотрение правительства.

По отправлении сей бумаги в Петербург ⟨поехал я⟩ в Смоленскую губернию, в поместье будущего моего тестя. Подробности о сем будут в своем месте. Бракосочетание мое было в селе Царево-Займище, в церкви деревянной. Построенная еще при царе Алексее Михайловиче, и потому, что тут князь Кутузов принял команду над армиею[1]. Спустя несколько времени я возвратился в Москву, куда ожидали императора и царскую фамилию, чтоб оттуда ехать в Петербург.

По возвращении в Москву после свадьбы, куда приехала и царская фамилия, я был потребован графом Аракчеевым, который мне объявил, что, так как я нахожу неудобным место на Швивой горке, государь приказывает осмотреть место пороховых магазинов близ Симонова монастыря и чтоб к пяти вечером я доставил письменно мое мнение. Отправясь в назначенное время, я узнал, что в монастыре был граф, и что, следственно, им оно избрано, и что нужно будет мне оспоривать его, ибо место не годилось. Но как я решился во всех действиях поступать прямо, то я решился и тут мнение мое высказать все, которое к назначенному времени я и представил. Неудобства были следующие: 1) хотя местоположение превосходно, но нижняя площадь храма должна будет подвергаться разлитию Москвы-реки; 2) проезд к храму не может быть прямой, а сбоку, от Рогожской заставы, что для важности предмета есть уже недостаток; 3) если б проложить прямую дорогу минуя заставу и сделать мост через реку, прямо против фасада храма, то это не имело бы успеха, ибо дорога шла бы самой бедной частью города, состоящей из одних лачуг; 4) самый Симонов монастырь, хороший теперь, в византийском вкусе, потерял бы много, будучи возле нового здания в греческом стиле. С другой стороны, и новое здание пострадало бы от пестроты старого.

Граф сильно стал оспоривать мои доказательства, то находя, что площадь можно возвысить, то что дорогу можно проложить. Я не считал приличным уступать и опровергал все доказательства графа как по справедливости дела, так и потому, что

[1] Так в рукописи.— *Ред.*

граф мог для испытания спорить, чтобы увидеть, тверд ли я во мнении и не уступлю ли ему из угождения. Наконец разговор наш принял вид горячего спора; может, граф давно уже не слыхал, чтоб опровергали его мысли. Прение продолжалось добрых полчаса; я не поддался, и каково же было мое удивление, когда граф вдруг сказал:

— Однакож я согласен с вами, — чем почти и подтвердил мое подозрение.— Но какое же другое место вы бы имели в виду?

— Кроме Воробьевых гор, ни одного.

— Вы хотите, чтоб я так государю и доложил?

— Прошу, ваше сиятельство.

— В таком случае будьте готовы; вероятно, его величество завтра утром позовет вас...

Мы расстались.

На следующее утро я, по приказанию императора, явился к нему. Когда я вошел в кабинет, государь встретил меня следующими словами:

— Ты избираешь Воробьевы горы; я рад, что мы так согласны. Хотя я прежде и назначил место хорошее, Швивую горку, но ты мне объяснил неудобства; сверх того, оно и потому нехорошо, что здание путалось бы с городскими строениями. Напротив, на месте Воробьевых гор оно чисто и открыто, и горы, как корона Москвы, совершенно приличествуют. К тому же это место мое.

Сказав несколько слов в пользу сего места, я приводил некоторые примеры местоположения известных зданий в Европе, которые редко помещались в самом городе.

— Если место это кажется отдаленным, то, во-первых, полагаю, совершенно согласно с мнением вашего величества, что оно совершенно открыто, и в самом городе нет достаточного места, потребного для изящного здания. Это же не есть обыкновенная церковь, куда стекается народ,— их много и в городе,— но с тем вместе и великолепный памятник. Церковь св. Петра в Риме — за стеною города, так же в Лондоне церковь св. Павла далека от центра города. Ибо нельзя обнимать красоту здания, когда нельзя его видеть свободным на довольно большое пространство, которое в городе иметь трудно. Здесь еще превосходное удобство делает Девичье Поле, дозволяющее видеть здание в его *геометральном* виде. Не менее приятно видеть на этом месте рощу, посаженную великим Петром. Долгое время место сие, по красоте своей, имело загородный дворец, и не неприлично, чтоб вместо дома царского был воздвигнут дом божий. Я смотрел с этого места на Москву,— сколь город ни обширен и ни велик, но он кажется ничтожным с места храма; величина города, поглощенная отдалением, смиряется пред храмом.

— Да, или, лучше сказать, Москва лежит как бы у ног храма Спасителя.

— Еще одна из главнейших исторических причин избрания сего места есть то, что оно лежит между обоими путями неприятеля, взошедшего по Смоленской дороге и вышедшего по Калужской; и окраины горы были как бы последним местом, где был неприятель. Наконец, не менее важно и то, что место сие изобилует глиною и песком, что очень полезно для построения, и составляет капитал для здания, и, сверх того, находясь выше Каменного моста, по течению реки, дает беспрепятственную возможность для доставления водою материалов. Требования были — река и косогор; здесь они выполнены вполне, и косогор дает еще возможность обратить в сад косогор, что одушевит здание и будет служить местом отдохновения.

Государь с большим вниманием слушал доводы, соглашался с ними и, прощаясь, сказал, что скоро надеется видеться со мною в Петербурге.

— Где, вероятно, ты скоро представишь мне некоторые усовершенствования твоего проекта и применения к избранному месту.

Государю угодно ⟨было⟩ такого-то дня самому осмотреть это место, то оному я стал приготовлять генеральный план. Государь обедал в этот день у князя Н. Б. Юсупова, в Васильевском, находящемся на Воробьевых горах, возле избираемого места, и оттуда предположено было отправиться к осмотру места. Меж тем я приготовил план местоположения для удобнейшего ознакомления государя императора с общностью идей. Я не успел его заблаговременно окончить и, едва окончив, отправился на Горы, спеша на место; я поехал с одним приятелем, который был свидетелем моих занятий,— чиновником почтамта Серапиным. На Девичьем Поле взоры мои были обращены на Воробьевы горы, боясь, что опоздал. Там было большое стечение народа. День был совершенно ясный, небо чисто; но над самыми Горами, где толпился народ, на совершенно чистом небе — линия облаков, коих форма, число обратило особенное внимание. Я глядел на них, не говоря моему товарищу; но и тот сам заметил.

— А видите ли, какое странное явление?

— Да, я уже видел; это, конечно, присутствие благословенного царя привлекает небеса к этому месту.

— Нет,— сказал товарищ,— это фимиам будущего храма вашего.

С трудом, прибывши на Горы, я мог добраться к государю чрез толпы народа. Изображение облаков я, в виде рисунка, довел до его величества, где он, вероятно, хранится. Государь заметил, что много встречается странного относительно храма.

После сего я вскоре отправился в Петербург и занялся обработыванием своего чертежа. И летом 1817 года имел счастие представить государю обработанный проект. Когда назначил он явиться мне, я был болен и боялся не быть в состоянии объяснить государю чертеж. Но князь Александр Николаевич говорил, что надлежит себя переломить, и что бог знает, когда государь будет иметь опять свободное время, и что он предварит государя о болезненном состоянии моем. Я явился во дворец, где уже находился князь Александр Николаевич. Государь принял чрезвычайно благосклонно, спрашивал о моей болезни, о причине оной, требовал, чтоб я сел, и я должен был исполнить. Остался весьма довольным переменами, сделанными мною в чертеже.

Наконец было положено, чтоб я отправился в Москву для приготовления фундамента для закладки храма; для содействия мне в сем я был снабжен письмом от князя Александра Николаевича, по приказу его величества, к графу Тормасову, главнокомандующему в Москве (от 6 августа 1817. День преображения), чтоб оно было готово к приезду в Москву государя, и закладка назначена 12 октября, т. е. в день изгнания неприятеля.

В Москве остановился я опять в Заборовском подворье (август 1817 года). Немедленно явился я к графу Тормасову с требованием содействия, что и предоставлено мне было требовать от строительной комиссии.

Проложив главную проекционную линию и очистив косогор от кустарников, чтобы можно было дойти свободно до места, где надлежало положить первый камень, я просил Августина лично окропить и благословить место закладки. Преосвященный не мог в тот день удовлетворить моей просьбе, но на другой день обещался быть, будучи близко, в Даниловом монастыре, где освящал раку св. ⟨*пропуск*⟩, куда и меня пригласил, и тут мы были на монашеской трапезе, я и Мудров.

После обеда поехали на Воробьевы горы, где преосвященный с духовенством необыкновенно радостно отслужил молебен с водосвятием, окропил места святою водою и водрузил крест на показанном месте, простой, тут же составленный работниками. После чего, на другой же день, началась выемка земли и приготовление фундамента, оставляя конусообразно место креста. Несмотря на всю мою торопливость, работники не могли прежде окончить выемку земли, как к 13 сентября (день празднования обновления храма). Хотя я собирался утром туда, но, отвлеченный иными делами, явился после обеда, и только к этому времени поспели работники. Призвав священника с Воробьевых гор, который отслужил молебен, я снял крест, водруженный преосвященным Августином,

держал его в руке до тех пор, пока работники срыли находящийся под ним конус земли, и, опустивши, водрузил его в грунт, положив крестообразно четыре камня около него. Священник и бывшие тут довершили обкладывать камнями крест. Оставя работникам дальнейшее забучивание фундамента, я поспешил в Успенский собор, куда согласился я быть с Мудровым, чтоб видеть богослужение водружения креста, которое я никогда не видал и которое токмо совершается в Успенском соборе. Каково же было мое удивление, когда, взойдя в собор, я увидел действие, много сходное с совершенным на Горах! Торжество сие весьма великолепно и состоит в том, что архипастырь то воздвигал, то понижал с благоговением богато украшенный и увенчанный розами крест, при пении священных гимнов, и когда крест понижали, то два иерея поливали на него розовую воду. Множество свечей придавали особую торжественность этой процессии.

С окончанием фундамента устроивалась терраса, в полугоре на 15 сажен вертикальной высоты от воды, для процессии закладки, достаточной величины, чтоб могла поместиться царская фамилия, главное духовенство и придворный штат, и от террасы — лестница до верха горы и дорога от Москвы-реки с лестницами на крутых местах.

Между тем я узнал, что понтонная рота находится близ Тарутина, и просил главнокомандующего, чтоб его содействием отряжено было два понтона в Москву и были бы наведены ко дню закладки храма, ибо шествие должно было начинаться с Девичьего Поля. Граф сначала согласился; но на другой день предложил мне, не лучше ли сделать временный деревянный мост на сваях. Я возразил, что такой мост будет стоить довольно дорого,— мост по смете долженствовал стоить до 19 000 руб.,— а понтоны ничего не стоят.

— Впрочем, я это предоставляю распоряжениям вашего сиятельства. Мои занятия оканчиваются Горами, и ежели ваше сиятельство возьмет на свою ответственность, то я не вхожу в сии подробности.

— После этого дайте мне письменный отзыв, что вы не требуете такого моста.

На это я возразил, что поелику я ни письменно, ни словесно такого моста не требовал, то не нахожу надобности давать об этом письменного отзыва; но, как я мог заметить, граф был недоволен. В другой раз граф спрашивал меня, откуда начнется шествие, из Кремля или из Девичьего монастыря, и что ему это потому нужно знать, ибо по осеннему времени надлежит устроить от Девичьего монастыря до реки деревянную дорогу. Я отвечал, что не знаю, откуда государь прикажет начать шествие, и спросил, что могла бы, по мнению графа, стоить такая дорога.

— С чем-то 20 000 рублей.

Находя, что эта сумма довольно значительна, я не имел никакого поручения с другой стороны реки распоряжаться. Граф старался убедить, что это необходимо для приличия церемонии, и я отвечал, что его воля и его ответственность.

Между тем терраса покрывалась досками. Чувствуя себя нездоровым, я дни два не был на Горах, однако знал о том, что Карбонье начинал готовить материалы.

Государь император прибыл в Москву, и того же дня вечером поздно, около полуночи, я был потребован к его величеству. Первые слова государя императора были: «Каково теперь твое здоровье?» Тут только дал я полную цену словам, сказанным мне перед отъездом из Санктпетербурга. Государь спрашивал, все ли будет готово к надлежащему дню. Государь мне сказал — ему сказали, будто терраса не довольно прочно устроивается.

— Ее еще и не начинали укреплять, ваше величество. И, вероятно, это-то самое сбило понятия лица, доложившего вашему императорскому величеству, тем более что она уже покрывается досками. Позднее осеннее время заставило опасаться ненастья и снега; в таком случае ежели бы я занялся укреплением стоек террасы, то работники должны были бы без закрышки производить не так успешно работу, а укреплять стойки все равно прежде или после. Предположение мое оправдалось; не успели закрыть настилку, как сырая погода и потом снег случились.

Государь остался доволен объяснением и сказал, что уверен, что я в этом случае не ошибусь.

— Тормасов,— продолжал государь,— мне что-то говорил о дороге и о мосте через реку и что ты не соглашаешься с ним, то я желаю знать твое мнение.

Я объяснил его величеству вышесказанное о мостах и о дороге, поставляя на вид, что, кроме цены моста, понтоны очень приличны, ибо они служили и в самую войну,— это весьма понравилось государю. Что же касается о дороге через Девичье Поле, это тоже не нужно.

— Что касается до меня, я довольно привык ходить во время кампании, жена не отстанет от меня, а духовенство, вероятно, не затруднится тем. Итак, нет надобности бросать 40 000 для двух часов и когда можно без них обойтиться[1].

На другой день утром явился ко мне инженерный майор Хоздус, сказав, что начальник его, генерал Карбонье, поручил

---

[1] *Вероятно, сюда относятся слова, внесенные в рукопись без точного указания места вставки:* Впрочем, вопреки мнения, здесь приведенного, государя императора дорога сия была сделана.— *Ред.*

ему спросить, должна ли стелиться деревянная дорога по Лужницкому полю.

— Обстоятельство сие до меня не касается, это дело главнокомандующего в Москве, которому я уже говорил мое мнение.

Хозиус оставался в недоумении, что ему делать, говоря, что материал навезен. Я возразил, что, вероятно, начальник ваш знает, что делает.

— Конечно так, но он сам, кажется, не уверен, угодно ли это будет государю или нет?

— В таком случае я вам скажу, что решительно государю это не будет угодно, ибо я изустно вчера слышал в 12 вечера, а с тех пор никакого приказания быть не могло.

Хозиус, поблагодарив, с некоторыми околичностями спросил:

— А как быть с дорогою на Воробьевых горах?

— С какою?

— Я, по приказанию генерала, начал выравнивать дорогу и срывать некоторые крутые места, а в других надлежит сделать лестницы.

— А это дело другое, это касается собственно до моего лица, и как смели вы, г-н майор, и ваш генерал распоряжаться там, не испросив моего согласия! Таковые действия считаю я насильственными и оскорбительными для меня, а о таком самовольном поступке г-д инженеров я доведу до сведения государя.

Тут я разгадал, кто императору говорил о террасе. Хозиус испугался и сказал, что все это можно оставить.

— Нет, — сказал я,— не оставить, а привесть все в прежний вид, насыпать, где срыли, и срыть где насыпано, чтоб вашего труда нигде не было.

С тем вместе я вынул чертеж иной дороги и сказал:

— Ваш генерал напрасно хотел меня предупредить; вот здесь назначено все, что нужно сделать.

После сего явился я к графу Тормасову: во-первых, объявить ему, что государь вполне одобрил мое мнение против деревянной дороги и моста, с тем вместе и о сказанном государем императором о террасе; а так как в лице доносителя я вижу лицо не благоприятствующее мне, кроме графа, дознать, кем это было сказано.

— Это я докладывал государю.

— Но это вы не могли, граф, сказать от себя; кто же вам донес,— ибо вы не знаете этих дел.

Граф затруднился; в это время взошел генерал Карбонье, и граф, извиняясь, что нужно ехать, указал на генерала и сказал, что он объяснит. Я, обращаясь к генералу Карбонье, сказал ему, какое подозрение на него наводят последние слова

графа, и довольно горячо упрекал его в предосудительности чернить дело, еще недоконченное.

Карбонье говорил, что терраса не будет более укрепляться, и боялся за царскую фамилию.

— В таком случае вы должны были бы сообщить мне ваше мнение и узнали бы несостоятельность его, а теперь вы сделали донос.

Разговор разгорячился, Карбонье скорыми шагами ходил по горнице. Не считая приличным продолжать его, я оставил его и вышел.

Потом отправился я на Горы и нашел, что г-н Хозиус распорядился так, как я требовал.

На другой день я отправился на работы после обеда, не успев посетить их в обыкновенное утреннее время. Когда я хотел возвращаться, то заметил, что снизу тянется команда военнорабочих солдат, от реки, которая идет прямо к террасе. Я остался ожидать их прибытия. Офицер вскоре взошел туда, взывая туда команду.

— Зачем вы сюда идете?— спросил я его.

Офицер не намерен был обращать на меня внимание, дерзко отвечал, что ему велено поставить команду для испытания террасы.

— Этого я вам не позволю сделать, воротитесь назад и скажите это вашему начальнику.

Офицер, засмеявшись, сказал, что это невозможно, ибо он делает вследствие приказания.

— Но, поневоле, будет возможно; если вы силою захотите поставить, то я силою велю рабочим ее прогнать. Впрочем, не советую доводить до этого. Я здесь один, по высочайшему повелению, непосредственный начальник; теперь вы видите, что имею право на это.

Офицер сделался вежливым и был в затруднительном положении, что делать. Я сказал ему, что сейчас поеду к графу Тормасову и чтобы он не боялся за следствия. Что и было сделано. Но как граф отдыхал в это время, я оставил графу записку, в коей, описав дело, заключил, что, когда терраса будет укреплена, я извещу его сиятельство, и тогда, для удостоверения, может поставить команду. Но я не хотел этого сделать и потому вознамерился не укреплять террасу до последней ночи перед процессией. Таким образом все было готово снаружи прежде, нежели укреплялись стойки, что еще более смущало их. Накануне торжества, ночью, при огне с фонарями, вся внутренность террасы была наполнена работников, так что в два-три часа она была укреплена, а утром, незадолго до процессии, известил я графа, что терраса укреплена. Само собою понятно, что граф уже не мог тогда сделать никакого распоряжения.

Накануне император явился на Горы, где я все нужное ему объяснял. Сходя от места закладки, сказал:

— Говорят, будто на этом месте есть много ключей.

— Да, государь, и вот один из самых прелестнейших, и я ими воспользуюсь для известных вашему величеству водяных украшений. Впрочем, не надобно полагать, чтоб сии ключи служили препятствиями важными, хотя и потребуют некоторых издержек.

— Конечно, я не могу надеяться что-либо видеть при себе, но при предприятиях огромных нечего смотреть на какие-нибудь издержки.

*12 октября 1817.*

Подробности о закладке находятся в особой книжке, изданной около того времени в Москве, сочинения Соколова.

Закладка стоила без малого 24 000 рублей.

Деньги получались из строительной комиссии по счету генерала Карбонье. Счет этот показывает, на каких основаниях он делан. Материал остался от дороги, но неизвестно, куда поступил. Сверх того, показаны в расходы порционы военнорабочим с августа до марта. А как закладка была 12 октября, спрашивается, что же они делали 5 месяцев для сего предмета.

Я душевно был предан Августину и часто бывал у него. Разумеется, разговор по большей части был религиозный. Он знал мои чувства, знал, как я восставал всегда против разделения христиан, как желал соединения в один храм христиан. Одним утром, при многочисленном духовенстве, Августин стал убеждать меня присоединиться к греко-российской церкви.

— Не стыдно ли вам, — говорил он,— вы духом и всем принадлежите России, в ней родились, в ней воспитаны, теперь предпринимаете такое высокорелигиозное дело и остаетесь чуждым нашей церкви и иностранцем между нами.

Внутренно я желал этого; но считал неприличным такую перемену. Сверх того, знакомство мое с Лабзиным, ревностным сыном греческой церкви, меня сблизило с нею. Обряды ее мне нравились давно, по глубоким идеям и указаниям, в них заключенным.

Но прежде нежели я изложу результат, к которому меня привели эти разговоры, считаю нужным распространиться несколько о моем религиозном развитии. Первое религиозное основание наследовал я от моего родителя, который в свою очередь оное заимствовал от деда моего, человека очень строгой жизни и высоких религиозных понятий. Карл XII любил его особенно за строгую честность и правдивость, и был наконец Land-Fiscal, место весьма важное, в котором, имея все средства обогащения, он умер недостаточным человеком. Он, служивши молодость

свою в военной службе, был вовлечен в дуэль, поразил своего соперника — и это тяготило его совесть до гроба. Далее можем узнать его внутреннюю духовную жизнь в видении, случившемся незадолго до его смерти. Проснувшись однажды ночью, слыша музыкальную гармонию удивительной сладости, долго не мог он убедиться в том, что не сон ли это, и когда совершенно уверился, что не спит, он заметил свет, распространяющийся в горнице, и в то время, севши на кровать, увидел на коленях разверстую книгу на шведском языке; он начал ее читать с первой страницы, прочел две страницы, кончающиеся следующими словами, которые батюшка мой переводил мне на немецкий язык следующим образом:

Bleib nun fest und glaub an Gott,
Halt dich an sein heiliges Gebot,
Ich will dich in Freuden führen,
Um dein Gebet in gnaden hören[1].

На шведском языке они составляли весьма правильные стихи.

По прочтении сих слов он хотел перевернуть лист, но все исчезло. Желая знать, не существуют ли сии стихи в какой-нибудь книге, он долго искал, спрашивал у духовных; но нигде не нашлись. Отсюда можно заключить, в каком духе воспитывал он сына.

Шведы имеют особый характер религиозности; это спокойное, почившее в себе убеждение, а не судорожное чувство итальянцев и испанцев; они все те же норманны, твердые, гордые, спокойные на своем достоинстве, убежденные в своих правах. Это спокойствие самое влечет их к таинственному. Этот характер шведов мне был очень знаком, потому что я с детства бывал у шведского посланника Штединга, и еще более убедился я в достоинстве оного, когда в 1826 году я в Москве часто бывал у него; прежде я не мог хорошо судить, но тут, испытавши всю горечь злобы людей,— меня поразил благородный, открытый нрав, их взгляд без лукавства, шведской молодежи, окружавшей посланника.

Рожденный в церкви протестантской, я видел, что она, не довольствуясь одними наружными обрядами, стремится к развитию духа религии. Но, находясь с малолетства в двух российских казенных заведениях, я не мог не находить то, что заключается в прекрасных обрядах российской церкви. Вообще от самой природы было у меня врожденное чувство к истине и к религии; предметы религиозные весьма занимали меня. В особенности же близкое знакомство с ученым конференц-

[1] Будь же тверд и веруй в бога, следуй его святой заповеди; я поведу тебя стезею радости, милостиво внемля твоей молитве (нем.).— *Ред.*

секретарем Лабзиным, известным издателем «Сионского вестника», служило пищею внутреннему влечению. Часто суждения его об обрядах греко-российской церкви имели на меня большое влияние, и я решительно увидел, что ежели для церкви обряды нужны, то они всего лучше в греческой церкви, ибо они заключают столь много глубоких указаний.

При таком направлении духа слова Августина и духовенства не удивительно, что имели на меня чрезвычайное влияние; как уроженец российский, и пользуясь благодеяниями сей страны, и делаясь участником столь важного памятника греческой церкви, я считал неприличным, чтоб не принадлежать к ней. С тем вместе мне все казалось, что этот шаг не должно делать, и духовенство не могло опровергнуть моих доводов. Я не мог согласиться с ними, что греко-российская церковь лучше других, ибо считал все христианские равными. Они говорили: «Если все равно, то и надлежит переменить». Я отвечал, что потому-то и не следует того делать, что все равно.

— Ну полноте, полноте упираться; вы и без того, знаю, что вы весь наш, дело за наружным, — сказал Августин,— я предвижу, что будет так, и вперед даю мое пастырское благословение.

Между тем предмет сей меня очень занимал в то время, как я готовил закладку храма, и я решился об этом сказать князю Александру Николаевичу, чтоб он сказал о том его величеству, не находит ли он сего нужным по предпринятому занятию. Князь докладывал государю императору, и он велел мне сказать, что не находит надобности в наружной перемене, зная так хорошо христианство. «Я с своей стороны также надобности в этом не нахожу. Впрочем, оставляю это на его собственную волю».

При сем рассказал мне князь довольно странное событие. После того как он стал заниматься религиозными предметами, у него было обыкновение ежедневно утром читать священное писание, продолжая по порядку. Перед закладкою, несколько дней занятый очень делами, он не читал. В самый же день закладки, урвав минуту, он стал читать с того места, где остановился, и это было именно на том, как Хирам начал выбирать работников для построения храма Соломонова.

— Много странного при этом храме,—сказал князь,— хорошо бы было, ежели бы вы вели журнал всем происшествиям сооружения храма, он будет занимателен.

Это было и мое желание, но, отвлеченный сначала делами, потом интригами, меня окружавшими, я оставался при одном намерении.

Вечером того же дня, когда была закладка, я всемилостивейше был пожалован чином коллежского асессора. И когда явился к князю Александру Николаевичу с благодарностью,

то князь объявил поручение государя императора, что хотя бы и не имел надобности в присоединении к греческой церкви, но теперь видит в том нужду для народа, если это согласно с собственным моим желанием.— Я согласился; но с тем вместе меня занимало то, что я могу огорчить сим моего родителя, ревностного протестанта. Зная его желание, что он желал давно быть соединен со мною, и желая, чтоб он приобрел большую оседлость в Москве, я просил государя о переименовании его в русские дворяне из шведских,— ибо шведское дворянство не давало здесь ему прав,— ставя на вид, что он нес службу при Екатерине. Император изъявил согласие, и его перевели с первым офицерским чином, и тем хотел я утешить старика. Как же в греко-российской церкви имени Карла не существует, то я принял имя Александра, ибо и сам император изъявил желание быть восприемником.

В сочельник, 24 декабря, в домовой церкви архиепископа Августина, совершилось присоединение мое к российской церкви, при священнодействии Августина. От имени государя был князь Александр Николаевич. По желанию моему, кроме моей жены, посторонних свидетелей не было. Августин был в восторге.

На другой день князь объявил мне поздравление от государя императора и с тем вместе волю государя, чтоб я в наискорейшем времени занялся составлением проекта комиссии сооружения храма, чтоб можно было приступить к делу, дабы народ не думал, что государь ограничился одной закладкой. Так чтоб к отъезду его величества было это готово.

Я простудился на закладке и был тяжело болен, посему и не мог вскоре заняться сказанным делом. Князь доложил об этом государю, и государь вознамерился прислать лейб-медика Вилье для подания скорейшей помощи, ежели нет искусного у меня доктора. Благодаря князя за внимание государя, я сказал, что совершенно уверен в Мудрове, который был в тесных дружеских со мною отношениях.

— В таком случае Вилье не посылать; они враги и поссорятся при больном и наделают ему более вреда, нежели пользы.

Но, впрочем, не Мудров меня вылечил, а итальянец, искавший места каменного мастера, привел мне известного Сальватора, который увидел во мне солитера и сделал большую помощь.

Таким образом, хотя гораздо позже, как я предполагал, но в скором однако времени, я изложил мои общие мысли о учреждении комиссии. Заметив в Августине ревностное желание участвовать в сем деле и понимая пользу важного духовного лица, я поместил его и генерал-губернатора, как высшую власть светскую, первенствующими членами, и имея в виду сокращение переписки с сими лицами. И два члена непременные: я и советник.

Подробность учреждения находится в тексте, который прилагается.

Впрочем, учреждение сие не было сообразно с обыкновенным ходом дел, я писал его, считая на себя, одушевленного пользою и чистым усердием; ежели бы были другие обстоятельства, оно не могло бы годиться для наемщика, служащего из денег. Везде, где мог, отрывался я от форм, утомляющих силы и сковывающих все действия, и только в необходимых случаях жертвовал рутине обыкновенных наших учреждений.

Князь объявил, что императору нравится моя мысль, но находит нужным прибавить еще одного первенствующего члена — московского инженер-генерал-майора Карбонье. Князь, зная о случившейся между мною и генералом неприятности, с особым видом сообщил мне это.

— Иметь в комиссии генерала Карбонье было и собственное мое желание с тех пор, как я узнал его в Твери, но вашему сиятельству известны те неприятности, которые генерал мне делал, и потому это дело уже невозможное, я должен избегать его, как лицо неблагонамеренное; где вражда, дело идти хорошо не может; он уже попробовал взять верх надо мною и насильственно вступить в круг моих занятий.

— Знаю я это,— сказал князь,— но что же делать, государю так угодно.

— Но я решительно вместе с Карбонье служить не могу. И в таком случае останется государю избрать, кому быть в комиссии — Карбонье без меня или мне без Карбонье, к кому император будет иметь более доверенности.

— Хотите вы, чтоб я это государю так и передал?

— Да, князь, прошу вас о том; тут середины нет, я или Карбонье.

Слова мои в точности были переданы императору. Он остановился в дальнейшем ходе сего дела и вскоре после этого отправился в Санктпетербург, и мне предоставлено было дальнейшее обработывание дела и, в случае надобности, велено явиться в Петербург.

Я занялся, вместе с улучшением проекта, и обработыванием плана экономического, и я нашел себя в необходимости взойти в новую стихию и знакомиться дотоле с чуждою хозяйственною частию. Советовался с опытными людьми, придумывал, трудился и наконец написал ⟨*пропуск*⟩, утвержденный впоследствии императором.

Здесь имеют место некоторые подробности и происшествия того времени. Когда сделалось гласно, что император предоставил мне выбор людей, множество архитекторов увивались около меня, отыскивая мест. Но все это были люди обыкновенные, с одною целью обогащения служившие. Разве исключить одно-

го Жилярди, образованного молодого человека и с талантом, и Бове, который, может, имел от природы дарование, но все это было подавлено страстью приобретения и решительно одними практическими занятиями.

Чтоб показать направление их, вот небольшой анекдот. Стараниями преосвященного Августина отлили огромный колокол для Ивановской колокольни. Когда он был готов и надлежало его привезть в Кремль, тогда только догадались, что диаметр окружности его внизу несколько шире Боровицких ворот. Затруднились и тотчас стали требовать совета инженер-генерал-майора Карбонье. Карбонье нашелся, предложил сделать подмост с обеих сторон Кремлевской стены и машинами поднять его и опустить. Издержки должны были быть значительны; но делать было нечего. Однако подрядчик, который вез, мужик, решился предложить иное мнение; так как колокол был немного шире ворот, и то в одной линии, то он советовал вынуть по нескольку кирпичей в воротах, что сделали, и, что, разумеется, почти ничего не стоило.

В то же время происходило открытие памятника Минину и Пожарскому. Прожектировал его ректор Академии, действительный статский советник Мартос. Касаясь монумента, нельзя не высказать моего мнения относительно сего произведения Мартоса. Многих памятник сей не поражает, и естественно; автор отошел от первой своей идеи — непростительная ошибка артиста. Я видал неоднократно первый эскиз у Мартоса. Он состоял из двух стоячих фигур. Гражданин Минин, держа левой рукою князя Пожарского за его правую, в которой поднятый вверх меч, правой же показывает с жаром вперед. Князь, имея на левой руке щит, на голове шлем, обращает взор к небу, как бы испрашивая благословения оного. Тут явным образом выражалось все, что потребно истории. Всякий видит какого-то гражданина, ведущего воина на битву, — чего теперь видеть нельзя. Что показывает теперь стоящий гражданин сидящему воину, и что сделает воин, пойдет ли или нет? Живописец и ваятель, кажется, может схватить только один момент. Посему художник должен избирать последний момент или самый резкий, а не сомнительный. В первой идее Мартоса и выражено; но почему ж он не удержал свою первую идею? Вельможи, посещавшие мастерскую Мартоса и имея обыкновение советовать, хвалили его проект, но находили неприличным, что гражданин Минин ведет князя Пожарского, как будто этим самым более чести отдается Минину, забывая, что в истории так было. Мартос принадлежал еще к тем выписанным артистам, которые отличались своим клиентизмом; любивший угождать, был так слаб, что, для угождения этим вельможам забывая достоинство артиста, переменил свою хорошую идею и решился для большей

важности посадить его. Вот как гибельно, когда артист, забывая свое дарование, дает место пошлым расчетам.

К сему присоединяется еще одно обстоятельство, позже обнаружившееся, но имеющее непосредственную связь с памятником. Сначала было уже ⟨*пропуск*⟩, что Мельников при объявлении программы занимался проектом, показывал его мне и я нашел его недостаточным, далее — как я ему вверил свои идеи, доверяя благородству артиста. Но вышло иначе. Мартос был сначала весьма хорошо расположен ко мне, особенно когда я хлопотал в Академии; он мне сам советовал пренебречь Академиею и стараться лично объяснить государю проект. Но вступил в близкое родство с Мельниковым, за которого весьма ходатайствовал, поместил его профессором в Академию, советовал Тормасову определить при обстроивании Москвы одного из профессоров Академии, думая поместить его. Мельников сделал новый проект, и Мартос, зная, что мой одобрен государем, и имея протекцию при графе Аракчееве, домогался, чтоб приняли проект его. В проекте своем он употребил все ему известные идеи моего проекта. Может, Мартос ему и присоветовал составить проект по этим идеям. При каком-то докладе (вероятно, графа Аракчеева) в 1817 году между прочими бумагами находился вложенным сей проект. Государь император, увидя его и узнав, сказал: «На что же его, проект утвержден». Тем и кончилось.

Но мы уже сказали, как Мельникову я передал свои идеи без всякого порядка; увидим теперь, как он ими воспользовался.

Однажды К. Я. Булгаков прислал мне нумер какого-то журнала[1], в котором была статья в виде частного письма сочинения Григоровича, тоже родственника Мартоса, издававшего журнал. Какой-то путешественник, описывая достопримечательности Петербурга в художественном отношении и касаясь Академии художеств, доходит наконец до проекта Мельникова, *необыкновенный* и *славный*, как он его называет, расхваливает до чрезвычайности. «Но, чтоб иметь тебе понятие о сем необыкновенном произведении, сообщу мысли самого артиста». И тут начинает он излагать мои разбросанные идеи, которые только мог запомнить Мельников, и как Мельников был весьма недалек в этих отношениях, у него вышла какая-то галиматья. Так, например, он удержал реку и косогор; так, помнил он, что храм мой тройственный, и помнил катакомбу при нижнем храме, в которой находилась память убиенных воинов, — и он сделал нижний храм в память убиенных воинов. Идея второго храма совершенно скрылась от него, и потому он его назвал храмом граждан, а для третьего он ничего не придумал, и потому остался он у

[1] *Приписано на полях:* Справиться, какой журнал?

него *безымянным*. Помня, что вход в храм идет чрез террасы, изображающие добродетели,— и у него представлены террасы с добродетелями. Но какие,— там они непроизвольны,— об этом он не говорит. Помня, что находилась у меня богатая колоннада, которая имела свою необходимость,— и он поместил колоннаду. Автор статьи заметил, что «артист при помещении сей колоннады имел в виду не одну красоту, но и особую высокую идею». Какая же это идея? «Как на пути добродетели истинный христианин всегда встречает какие-то препятствия, от каких-то ложных красот, совращающих путь его; но истинный воин Христов проходит мимо». Право, непонятна эта высокая идея; какое препятствие делает колоннада, указующая путь, и почему красота колонны похожа на «совращающую красоту с пути христианского?» и т. д.

Прочитав эту статью, разумеется, я не мог не оскорбиться неблагородным поступком Мельникова, и потому, взяв эту книжку журнала, я явился к князю Александру Николаевичу; показав ему, спрашивал его совета, несмотря на то, что еще не приспело времени, не следует ли мне тоже напечатать объяснение свое, упомянув о поступке Мельникова, ибо впоследствии люди, худо знающие дело, узнав мое объяснение, могут найти сходство в читанном ими прежде. Но князь, несколько подумавши, сказал, что это не нужно, ибо идеи мои известны государю, многим знатным особам, и что, следственно, можно презирать подобные происки. Как это согласовалось и с моим внутренним убеждением, то я и обрадовался, что не нужно было выходить в журнальное прение.

Впоследствии времени я встретил однажды Мельникова у Егорова (женатого на третьей дочери Мартоса) и сказал ему, что я читал статью о его проекте и что «новый проект его гораздо лучше»,— прибавил я иронически; Мельников смутился, ничего не сказал, вскоре ушел. Тем и кончилось.

При отъезде государя из Москвы, в последних числах февраля месяца 1818 года, мне были выданы деньги, издержанные при закладке, и собственно мне были выданы 3000 рублей.

Бывши в деревне у родных и возвращаясь оттуда летом в 1818 году в Москву, я заехал, по желанию тещи, в Саввинский монастырь. Подъезжая к монастырю, мы заметили большое движение и у ворот монастыря множество чиновников. При приезде узнали, что туда ожидают великого князя Николая Павловича и супругу его. Я надел мундир и явился в собор. Всматриваясь в лицо генерала, сопровождавшего великого князя, я увидел большое сходство в нем с приятелем моим Гартингом, которого я оставил перед кампанией штабс-капитаном; наконец я узнал, что это он сам. Я подошел к нему. Некогда было говорить, и мы условились токмо видеться в Москве; я

узнал, что он командирован для сопровождения великого князя по тем местам, где происходили сражения.

На другой день моего приезда прислал Гартинг своего адъютанта Пошмана, чтоб объявить мне, что его высочество желает меня видеть; заметив тогда академический мундир, он спросил у Гартинга, кто я, и узнав, сказал, что давно уже желал видеть меня и просит. Вследствие чего я в тот же день явился к его высочеству с моим чертежом. Я объяснил великому князю во всех подробностях проект. Он остался довольным и заключил тем, что имеет ко мне еще особую просьбу. Дело состояло в том, что ему угодно было воздвигнуть придел во имя Александра Невского в Воскресенском монастыре, в память рождения сына.

— Я поручал архитекторам, но проекты их так обыкновенны; мне бы желалось что-либо новое с вашими идеями.

Я немедленно занялся маленьким чертежом и через несколько дней явился с чертежом к его высочеству, удержав в царских вратах ту же идею, как в церкви князя Александра Николаевича, с некоторыми изменениями.— Он желал, чтоб придел был мраморный с бронзою.— Он остался доволен и просил тотчас приступить к исполнению и при нем чтоб сделать закладку. Я заказал доску из серпуховского желтого мрамора, с высеченными словами о имени придела и случае, почему оный воздвигается. Отправился вместе с его высочеством в Воскресенский монастырь для положения сего камня, где и была совершена закладка. На другой день я получил от его высочества бриллиантовый перстень. Его высочество отправился в Петербург, с тем вместе и желал иметь чертежи для сосудов и полной утвари из золота и серебра, на которую он желал употребить блюды, поднесенные ему московским купечеством по случаю рождения великого князя Александра Николаевича. После чего я отправился в Петербург.

В том же году, во время пребывания в Москве короля прусского с наследным принцем, по желанию его величества слышать и видеть мой проект, который я имел счастие ему представить и лично объяснить. Король был доволен и следующим лаконическим образом заметил: «Ja, das ist wirklich recht gut ausgedacht»[1]. В это время вся свита его величества удостоила меня своим посещением, в том числе инженер-генерал Раух, с которым мне было приятно объясняться несколько подробно по практической части. Многие советовали прежде всего сондировать землю, но я полагал это излишним (хотя и было сделано несколько сондирований) и думал, что надлежит решительно приступить к выемке земли и тогда преодолевать встречающиеся препятствия. Мы были с ним на самом месте. Раух совершенно

[1] Да, это в самом деле очень хорошо придумано (нем.).— *Ред.*

одобрил мое предложение, прибавив к тому, что, по выемке всей нужной земли,— сондировать, ибо являются иногда под самым хорошим грунтом опасные места, с чем я и согласился, находя его мнение совершенно справедливым.

Организация комиссии и прочие дела по храму остановились около года; может, к этому способствовало и то затруднение, какое могло произойти от отзыва моего насчет генерала Карбонье, которое затруднение вскоре устранилось переводом его в Санктпетербург. К сему времени относится образование министерства духовных дел и просвещения. Министром был назначен князь Александр Николаевич Голицын.

Между тем я продолжал заниматься чертежом храма и в особенности обработыванием экономического проекта. Вот в чем состояла идея:

1) Текст экономического проекта.

2) Возражение министра финансов с пояснениями.

3) Положение о сооружении в Москве храма на Воробьевых горах[1].

По приезде моем в 1819 году в Петербург проект экономический был повержен на рассмотрение государя императора. Он ему весьма нравился.

— Странно,— сказал он,— опять новость. При этом храме много чрезвычайного.

С тем вместе государь приказал, чтоб я явился к министру финансов Д. А. Гурьеву, «от которого ведь мы получаем деньги», и объяснил ему подробности сего проекта. Вследствие чего я и был у него. Министр казался довольным; при том был его правитель канцелярии (или директор) Дружинин. Министр сказал:

— Вы так много озаботились о выгодах казны, что, кажется, даже можно бы прибавить крестьянам что-нибудь к сумме, назначенной им для годичного продовольствия.

На это я возразил, что все мое старание было для возможнейшего облегчения казны; но что мне будет очень приятно, ежели казна сделает какую-либо прибавку.

Государь утвердил мои предположения и повелел приступить к начальному опыту. Меня причислили к министерству духовных дел, а с тем вместе пять лиц, представленные мною (двое по хозяйственной, двое по искусственной и один по письмоводной), причислены к оному и прикомандированы ко мне по предмету, высочайше возложенному на меня. Как я опасался, что разглашение поручения о покупке имений возвысило бы цены на имения, то я и просил, чтоб оное былосекретно,

---

[1] Перечислены документы, которые, очевидно, предполагалось ввести в окончательный текст «Записок».— *Ред.*

посему и дали вид приискивания материалов по разным губерниям мосму поручению, с выдачею 5000 руб. на необходимые по сему расходы, как-то разъезды и прочее. Вместе с сим всемилостивейше повелено: производить жалованье из кабинета не 2000, а 3000.

Исполнение сих поручений шло довольно успешно; для отыскивания имений и материалов я осматривал берега Оки и Москвы. Собрав чрез генерал-губернатора сведения о находящихся каменоломнях, я узнал, что, кроме Мячковской, вниз по Москве-реке верст 20, и Татаровской, на верховье верст 60 от города, других нет или не знают. Из коих Татаровская, хотя и доставляла твердый дикий камень (коим выложена набережная у Москвы-реки), но что она довольно истощена. А Мячковская, состоящая из мягкого известняка, не представляла мне выгод, и потому, при собственном объезде, я предполагал искать новых каменоломней от верховья Москвы до Оки и по самой Оке близ Алексина, Серпухова... Вследствие чего открыты были много мест, изобилующих хорошим камнем; одно из них на верховье Москвы при казенных деревнях Григорове и Ладыгине (где оные и открылись). Сему месту дал я преимущество, потому что видел возможность доставлять оный Москвою до Воробьевых гор, сделав судоходною оную.

С тем вместе отысканы были несколько помещичьих имений, совершенно согласных моим требованиям и по мною назначенным дешевым ценам, даже с некоторым понижением против высочайше утвержденной цены.

В 1819 году узнал я об одном старике Проссанове, который посвятил себя практической архитектуре, занимался ею весьма успешно и имел большие практические сведения не токмо собственно по архитектурной, но по инженерной и гидравлической части. Такой человек, в качестве каменного мастера, был нам чрезвычайно полезен; но, по несчастию, Проссанов принадлежал генерал-майору Римскому-Корсакову. Лет 20 употреблял Проссанов все старания, чтоб выйти на волю; но господин его оставался нечувствителен ни к его просьбе, ни к просьбе многих знатных особ, принимавших усерднейшее участие в человеке, одаренном прекрасными талантами, которые не могли развиться, не могли им быть приспособлены вполне от несчастного состояния, в котором он родился. Видя сильное желание его и уверенный в пользе приобретения такого человека, я просил князя Александра Николаевича, чтоб он довел это обстоятельство до сведения его императорского величества и что не угодно ли будет государю изъявить Корсакову желание освободить Проссанова. Так и случилось. Но Корсаков остался тверд, и даже голос государя не мог его подвигнуть сделать доброе дело. Он решительно отказался от отпуска на

волю Проссанова — не из видов корысти, а из гордости, что этот человек с талантами — его собственность. Вот характеристическая черта русской аристократии того времени.

В 1820 году я отправился в Петербург для донесения о благополучном успехе возложенных поручений. Князь, к которому я явился, сказал, что я весьма хорошо сделал, что приехал, ибо он получил формальное опровержение от министра финансов против моего экономического проекта.

В тот же день, отправляясь по набережной Невы на Васильевский остров, неожиданно встретился с прогуливавшимся императором. Как государю не мог еще быть известным мой приезд и думая, что он не узнает меня одетого по-зимнему, я думал, что пройду не замеченным им; но когда я был довольно близок к нему, я увидел по взгляду, что государь узнал меня и шел прямо ко мне. При сем нельзя не заметить следующего маленького происшествия.

Какой-то человек шел по тому же тротуару; государь, подойдя ко мне, вдруг остановился возле меня; этот человек, полагая, что государь пойдет мимо, а может, и не узнав его, столкнулся с государем. Государь, прежде нежели дал ему время опомниться, сам извинился перед ним с величайшим добродушием. Потом, обращаясь ко мне:

— Давно ли ты приехал?

— Нынче утром, ваше величество.

— Это хорошо, что ты здесь, надобно будет заняться делом, — сказал он и, поклонившись, пошел.

И в то же время подошел ко мне полицейский чиновник с расспросами, кто я, что я говорил с государем, не просил ли чего; но которому я сказал, что он мог видеть, что не я остановил государя, а он, и что ни кто я, ни о чем говорил, до него не касается, — он и отстал после этого. После чего я тотчас возвратился к князю и рассказал ему мою встречу.

На другой день мне было передано по высочайшей воле мнение министра финансов с тем, чтоб я сделал на оное свои пояснения, которые и будут приложены. Я спросил князя, что это: замечания или опровержение. Князь сказал:

— Более опровержение.

— В таком случае, вероятно, это ошибочно, ибо истина одна и выгода моего проекта очевидна.

Признаться надлежит, я предполагал, что опровержение, писанное в министерстве финансов людьми, всю жизнь посвятившими сему предмету, по крайней мере будет так хитро и обдуманно, что мне трудно со всем убеждением возражать на оное. Но, прочитав оное, я улыбнулся и увидел, как не страшны хитрости людей неблагонамеренных для разбора, напутствуемого чистым намерением и прямым взглядом. Тут вспомнил я, как

знаменитый Оксенштирна назначил юного сына своего, только что кончившего курс наук, на конгресс. Юноша испугался, как ему бороться со всеми этими людьми, поседевшими в дипломации. Но он ему сказал: «Ступай, и ты увидишь, как легко человеку с дарованием, идучи по прямому пути, побороть эти ложные умы». Его слова сбылись.

Я написал опровержение. То и другое прилагается[1]. Государь остался доволен оным, говоря, что в мнении Гурьева есть даже логические ошибки, и приказал князю Александру Николаевичу прочесть ему мое опровержение и сказать, что его величество в полной мере согласен со мною. При сем случае министр сказал, что, во всяком случае, он не может дать 10 000 000, когда не был приготовлен на то. Князь объявил мне об этом.

—Я знал, что у министра финансов денег не будет для строения храма, и потому я заранее озаботился и имею в виду 10 000 000, т. е. заем в московском Опекунском совете. А министр финансов, обещавшийся ежегодно отпускать 2 000 000, пускай уплачивает оными долг.

Это было доведено князем до сведения государя. «Опять довольно странно, что и тут найдено средство преодолеть препятствие», и велел объявить министру финансов, который заметил, что Опекунский совет не может ссудить сею суммой. Я объявил князю, что я не осмелился бы сделать невозможное предположение, и потому перед отъездом я справлялся в совете и узнал готовность оного сделать сие. Тогда было приказано официально спросить А. Л. Львова, старшего члена совета, о возможности такого займа. Спустя две недели был получен удовлетворительный ответ.

Казалось, препятствия были устранены. Тогда министр прибегнул к новому извороту, говоря, что такой заем нельзя учредить, ибо это противно комиссии погашения долгов. На это я представил прилагаемое мнение[2], в котором доказывал, что оборот сей, доставляющий приобретение, не есть долг (в собственном смысле слова), но распоряжение, необходимое в сие время, само собою уничтожающееся и совершенно сообразное с началами принятой ныне финансовой системы почти всех европейских государств. После сего министр уже не делал опровержений, и мнение мое состоялось. При сем нельзя не заметить явного противудействия со стороны министра финансов. Причина сего, кажется, ясна. Распоряжение мое было слишком выгодно для казны и слишком невыгодно для министерства, коего требования довольно видны в возражении министра, что никто

---

[1] Документы при «Записках» не сохранились.— *Ред.*

[2] Документ при «Записках» не сохранился.— *Ред.*

не захочет продавать своих имений по мною назначенной низкой цене; на что я возразил согласием помещиков не токмо по сей, но и по низшей цене уступить казне. Вслед за сим утвержден императором проект комиссии с экономической частью. С сего времени начинается новый образ деятельности по сему предмету. И посему мы остановимся тут.

7 июля 1820 года состоялся рескрипт об оной на имя князя Александра Николаевича.

## ТЕКСТ РЕСКРИПТА[1]

Оканчивая сию часть, нельзя не упомянуть с благодарностию о том внимании, которое оказывали моему проекту люди известные — ученые, путешественники, посланники почти всех европейских дворов... о том горячем желании, с которым старались его видеть; о многих уже было сказано, из прочих скажем о некоторых токмо особенно замечательных.

Сардинский посланник (в 1817 году), рассматривая как художник, как итальянец, заметил одному из спрашивавших его, что «этот храм выше храма св. Петра, строенного во вкусе падшей архитектуры того времени». Это суждение мне много льстило. Итальянец, отрекающийся от своего св. Петра!

Герцог Девонширский обратил внимание на другую часть проекта, как англичанин — на экономическую, и с тем глубоким сознанием дел финансовых, которые им так врождены, как артистические понятия итальянцам, с восторгом сказал: «Такие средства имеет одна Россия».

---

[1] В рукопись предполагалось внести текст следующего рескрипта Александра I на имя князя А. Н. Голицына:

«Князь Александр Николаевич! Манифестом, данным в Вильне в 25-й день декабря 1812 года, возвестил я намерение соорудить в первопрестольном граде Москве храм во имя Христа Спасителя, вследствие чего и заложен сей храм октября 12 дня 1817 года на Воробьевых горах по утвержденному мною плану академика коллежского асессора Витберга.

Ныне для производства строения по сему плану и для распоряжения назначаемыми к тому денежными и другими пособиями признал я за нужное учредить комиссию из двух первенствующих и двух непременных членов: первенствующими членами сей комиссии повелеваю быть митрополиту московскому Серафиму и московскому военному генерал-губернатору князю Голицыну; непременными — коллежскому асессору Витбергу, в звании директора строения и экономической части, и одному советнику, который от меня впредь назначен будет.

Я поручаю вам привести сие в надлежащее исполнение и объявить о сем первенствующим членам комиссии. Пребываю вам всегда благосклонный Александр» («Полн. собр. законов Российск. империи», т. XXXVII, № 28. 347). — *Ред.*

Лестные отзывы, похвалы стремились отовсюду; с особенным удовольствием вспоминаю я письмо знаменитого Вибикинга в Мюнхене, который, издавая архитектурную книгу, в коей помещая знаменитейшие здания нашего века, просил прислать ему мой проект, о котором он писал как о первом здании нашего века. Но тогда мне было не до того; я не мог его удовлетворить, тогда уже начались все гнусности интриги, которая завлекла меня.

Говоря об этих мнениях, нельзя умолчать о мнении знаменитого генерала нашего Милорадовича, который спросил меня, из чего будут колонны.

По недостатку хорошего камня они будут из того дикого камня, который можно найти в Московской губернии, или даже из кирпича.

— Почему же не из финляндского гранита?

— Это чрезмерно будет дорого,— возразил я,— по огромности колонн и по дороговизне самой доставки.

— По-моему тем-то и лучше, чем дорже; чем труднее, тем более славы для памятника России; дешевое, легкое всякий может сделать.

Так люди, отличные в каком бы отношении ни были, сочувствуют великому.

Вот еще встреча другого рода. Зимою 1817 года воробьевский священник пришел ко мне рассказать, что был какой-то грек из Царяграда у него, по имени Станопуло, с чудотворною иконою живоносного источника (зоондохопии). Он просил отслужить ему молебен на месте закладки храма, прося взять для этого случая икону, с собою им принесенную, о которой мы сказали; ибо имел трикратное видение во сне св. Николая, который повелевал ему идти в Москву служить молебен на Воробьевых горах, на месте заложенного храма. Во время молебна священник заметил поток воды на иконе. Грек замечал, что в этой иконе сокрыто свойство появления сего потока. Священник же заметил, что, когда они пришли, на террасе снег был расчищен, не зная, впрочем, кем. Во время самого молебна грек вынул какой-то сосуд и лил из него воду на камень и, по окончании, вручил ему записку, которую просил чтоб он довел до своего начальства, и что нельзя ли слова, написанные на ней, написать где-либо в храме. И что он уже донес об этом преосвященному Августину. На сожаление мое, что я не видал этого монаха, священник сказал, что он по тому же видению идет в Петербург, но по возвращении его обещался быть у меня. Как и случилось. Мне очень хотелось знать подробности сего происшествия. В одну ночь, просыпаясь, он видит светлое изображение, в котором узнает святителя Николая, повелевающего ему идти в Москву, несмотря на все препятствия, и отслу-

жить там молебен на месте вновь заложенного храма. Это было три раза и наконец с угрозами. Сверх того, из Москвы видение повелевало ему идти в Петербург, для причащения в Александро-Невской лавре. После первого явления он нашел у себя на груди образ. Он собирался, медлилось, и в третий раз явился св. Николай с угрозами, и он немедленно отправился с образом и взяв воду из особого славящегося источника. Таким образом он дошел до Москвы. Это было в начале греческой войны. Передаю сей случай, как мне было рассказано, не вникая ни в какие исследования. Об этом можно справиться в донесении, сделанном тогда синоду.

В это же время познакомился я с Кочубеем, который вникал во все подробности проекта и даже сообщил мне весьма важное замечание, которым я и воспользовался в полной мере. Тем страннее, что множество художников смотревших не попадали на эту мысль. Именно, ему казалось, что по обширности плана середина его слишком мала (тогда диаметр купола был 12 сажен). Истина сего замечания столь очевидна, что я с удивлением видел, как я еще дотоле увлекался храмом Петра, что не замечал несообразности этой. Я тотчас стал переработывать эту часть и впоследствии достиг, давши 27 сажен диаметру купола.

Кочубей вскоре уехал в чужие краи и из Италии писал к князю Александру Николаевичу, что желательно бы было, чтоб я побывал хоть на короткое время в Италии или в Риме, для моих занятий. Князь передал это государю, который сказал:

— Я о Витберге совсем не так думаю, путешествие может повредить его проект; он сделал теперь произведение оригинальное, но можно ли ручаться, чтоб он не увлекся там древними памятниками, что стал бы подражать?

Это замечание совершенно согласовалось с моим внутренним убеждением. Прежде проекта я весьма желал путешествовать, вполне понимая всю пользу от этой, так сказать, опытности в мире изящного. Но тут другое чувство родилось. Мне хотелось доказать, что человек равно может обойтись и ⟨без⟩ школьного учения и влияния чужеземного для создания творческого, и тем выше будет оно; даже какое-то чувство национальной гордости заставляло меня отдалять все неотечественное для большей самобытности.

⟨5⟩

Проницательный вопрос, сделанный императором о моем воспитании и моей жизни, столь естественно возникнувший у него, вероятно, возникнет и ⟨у⟩ каждого мыслящего человека,

пробегающего листы сии. Посему, удовлетворяя его, опишу я главные черты моего воспитания и моей жизни.

Начальное воспитание мое было в Горном корпусе; оно было прервано тяжкой болезнию, как видно из моего ответа государю. Тогда меня готовили для звания доктора медицины. Но в душе я имел отвращение и от сей науки и от самых занятий, которые часто могли влечь смерть человека. Другое призвание манило меня — искусства изящные. Я объявил это моему отцу, и хотя ему должно было быть неприятно, что я изменяю его назначение, хотя он мог полагать, что я по молодости могу следовать первому увлечению, но, руководимый прямым взглядом, он не воспрепятствовал мне, и, представя на вид все отношения, вследствие которых он избирал мне сие звание, он оставил полную волю, заметив, что он по опыту знает, как худо препятствовать естественным склонностям. В молодости своей он чрезвычайно хотел избрать военную службу; но отец его, ставя на вид недостаточное состояние его и собственный пример, не дозволил ему. Исполняя его волю, он отправился из Карлскрона в Копенгагенскую академию. По как он занимался не от души, то и кончилось тем, что едва приобрел настолько талантов, чтоб бедно поддерживать свою жизнь. Впоследствии отец мой в течение 40-летних трудов токмо приобрел небольшое недвижимое имение в Московской губернии, которое наконец перешло ко мне с долгами.

Меня учили музыке, и именно играть на скрыпке. Странно то, что я не мог никак выучиться нотам. Я вскоре стал играть, но ноты мне казались чрезвычайно трудными, оковами, положенными для тягости, и я обыкновенно добавлял поведение их ухом, которое было очень верно у меня, так что учители не всегда замечали, что я играю по слуху, а не по нотам.

Любовь к изящным искусствам еще более питалась во мне большою галереею из оригинальных произведений у зятя моего, известного в Петербурге Герлаха. В Академию попасть на казенный счет было довольно трудно, хотя я и тщательно занимался рисованием; посему сначала явилось было у меня намерение — с исторического эстампа из священной истории скопировал я водяными красками (en gouache) и хотел его поднести императору, прося поместить меня в Академию для развития способностей. Я начал исполнять свое намерение, когда представился другой случай. Граф Строганов, узнав от академика Воронихина о признаках таланта во мне, способствовал моему принятию в Академию на казенный счет, и я попал в 4 возраст, избрав себе историческую живопись.

Профессор живописи Угрюмов, известный по двум огромным картинам, заказанным императором Павлом для Михайловского дворца: «Избрание Михаила Феодоровича» и «Взятие

Казани»,— заметив талант мой, заставил меня копировать довольно сложную историческую картину Гвидо Рени, и когда я отзывался, что никогда не копировал, он сказал мне: «Сладишь, брат, сладишь». И действительно, я скопировал картину довольно хорошо. После сего я не более копировал, как четыре картины, не чувствуя ни малейшей склонности к копированию; напротив, я был вскоре весьма прилежен в представлении эскизов для каждого ежемесячного экзамена на заданные программы, сначала рисованных, а впоследствии писанных. Один из таковых сделал вдруг известным меня в Академии. Однажды профессор Угрюмов не имел времени избрать программу и предоставил выбор мне. Я избрал «Освобождение св. Петра из темницы», который и был задан для всех. Написанный мною эскиз обратил внимание профессоров, которые назвали мастерским это произведение. Соединение двух светов — одного от ангела и освещавшего апостола и ближайшие предметы, и вдали свет луны, освещавший дальние предметы,— делали приятную гармонию и эффект этой картины. Я был призван в Совет, и меня осыпали похвалами и назначили, чтобы к предстоявшему открытию Академии, в Петров день, поручено мне было написать в большем виде этот эскиз, для выставки, что и было мною сделано. Картина сия была одобрена публикою и описана учителем Шредером в журнале, на немецком языке издаваемом им. Во время открытия императрица Мария Феодоровна обратила на нее внимание и пожелала меня видеть. Я был осыпан ее ласками; она говорила, что я много обещаю. Эскиз сей я подарил моему родителю, который весьма был обрадован моему успеху; первый же эскиз просили у меня академик Михайлов и ректор Академии скульптор Гордеев, которому я и уступил.

Вскоре получил я серебряную медаль. Сначала я совсем не ждал медали; но на экзамене получил довольно близкий нумер за рисунок с натуры — это подстрекнуло меня. К следующему экзамену я занялся очень прилежно, не спал ночей; но получил очень далекий нумер, ибо, истощая силы, притуплял, так сказать, способности. В самом деле, картина была плоха; тогда я положил себе за правило вперед не насиловать так своего таланта и работать свободно. В самом деле, на следующий третной экзамен получил младшую медаль за рисование с натуры, а вскоре и старшую серебряную по заданной программе. Для баллотировки на золотую медаль был задан «Владимир, принимающий дары от греческих послов». По болезни я не мог ею заняться. Академия, ценившая мои способности, объявила мне, что я могу поступить в пансионеры за известный эскиз св. Петра. Я отвечал, что мне приятнее бы было еще более усовершенствовать себя. И я был оставлен. Через год была задана программа «Навуходоносор, ввергающий юношей в пещь

огненную», — за сию картину я получил младшую золотую медаль и с тем вместе был наименован пансионером Академии, не дожидаясь выпуска; шпага и аттестат 1 степени.

В пансионерстве задается последняя программа, и с получением старшей золотой медали получается право на путешествие в чужие края. Через год была задана программа пансионерам Академии: Марфа Посадница приводит Мирослава к Феодосию, бывшему посаднику новгородскому, для принятия благословения перед отшествием на битву. Феодосий вручил меч с надписью «Я не достанусь врагам».

Я был отвлечен нижеследующими обстоятельствами от сего занятия. Великий князь Константин Павлович требовал от Академии способных молодых людей для нарисования военных костюмов; хотя это не касалось до пансионеров, но вице-президент Чекалевский, думая мне сделать пользу, назначил и меня. Великий князь принял нас весьма благосклонно (т. е. меня с двумя товарищами). Занятия наши производились в Мраморном дворце под руководством Орловского. Двое товарищей ленились, и трудами их был Орловский недоволен; посему все дело оборвалось на мне, и хотя было обещано много, но, кроме пользования столом от великого князя, ничего не было[1], а между тем несколько месяцев потерял, и в это-то время была задана та программа, от исполнения которой я был отвлечен. Между тем нас было двое по исторической живописи, и потому товарищ мой мог получить большую медаль без всякого соперничества. Посему, насколько время дозволяло, я начал обработывать картон в величину картины, не имея времени заняться самой картиной. Рисунок этот был выставлен. Академия, зная причины, препятствовавшие мне заняться, одобрила мой картон, похвалив стиль и сочинение, но, не имея права по оному дать медаль, отказала моему товарищу, а мне назначила заняться программою на следующий год. Программа сия состояла из «Андромахи и Астианакса, оплакивающих тело Гектора».

Поелику я всегда любил подавать свои эскизы писанными, я принес его позже прочих в Совет. И, отдавши ректору Академии, я, выходя из залы, вскользь заметил особого рода похвалу, из чего я мог заключить, что прочие эскизы были слабее. Каково же было мое удивление, когда, обедая у конференц-секретаря Лабзина, я увидел, что он нашел весьма слабым мой эскиз; думал, что я удивлю всех, но это случилось не так. Я спрашивал его: «Разве мой эскиз дурен?»— «Чему быть хорошему»— и начал критиковать. Это меня смутило, особенно

[1] *Приписано на полях:* Ich hab'noch vergessen
Er kann bei miressen.
⟨Забыл еще прибавить — он может у меня столоваться⟩.— *Рзд.*

после отзыва, слышанного мною. Я спрашивал откровенного мнения одного из профессоров, и тот отнесся с величайшей похвалою и сказал, что ‹эскиз мой› был лучший. Это еще более увеличило мое недоумение. Между тем, по особенному уважению к Лабзину, о чем, как и о моем знакомстве с ним, скажу ниже, я, не понимая, что могло ‹*пропуск*› его так отзываться, и слыша его критику, стал помышлять о перемене моей идеи и приближиться к идее, более близкой к выраженной Лабзиным, несмотря что я знал, что он как художник прямо судить не мог.

Я переменил свое сочинение и занялся уже выполнением своей картины. Между тем Совет, обходящий всякий месяц кабинеты пансионеров, чем-то задержанный, стал обходить через два месяца. Программа моя в большом виде была вся приготовлена. Подле нее висел первый мой эскиз. Совет долгое время молчал, обращая внимание на первый эскиз. Такое молчание казалось мне подозрительным, и я угадывал мысль Совета, что я худо сделал, отойдя от первой идеи. И действительно, ректор и некоторые из старших, обратились ко мне весьма деликатно, боясь оскорбить меня, почему я отошел от первой идеи. Естественно, что я был крайне оскорблен внутренно этим, и я не знал, что сказать, кроме того, что новый представленный мне кажется удовлетворительнее.

— Напрасно, напрасно оставил свою идею,— сказал Совет,— но теперь делать нечего, время немного, продолжайте вашу картину.

Лишь только Совет оставил мой кабинет, как в одно мгновение уничтожил я эту картину и тотчас занялся новою, в точном смысле согласною с первой моей идеею, надеясь, что в течение месяца буду в состоянии ее произвести, хотя это долженствовало казаться невозможным. Срок выставки приближался (1 сентября), но у меня много еще оставалось для довершения; так что, при всем старании моем, я должен был отбросить Астианакса и его кормилицу, и при всем том вообще картина была не в окончательном виде выставлена. Несмотря на то, я был удостоен по ней большой золотой медали, вместе с тем—право на путешествие, с замечанием, что Совету известны мои таланты и что, вероятно, кем-нибудь была сделана помеха моим занятиям, вследствие коей не окончена картина. Сам Лабзин объявил мне о сем, сказав мне, что он крайне сожалеет, что он был помехою в моем занятии, и впредь обещал так быстро не высказывать художникам своего мнения.

Здесь место говорить, почему я имел такое доверие к Лабзину и как я сблизился с ним.

Во время первого года моего курса воспитанники Академии просили дозволения у президента о устроении театра, и в этом случае не обошлось без моего содействия как старшего.

Назначена была пьеса «Сын любви» Коцебу. Все производилось под руководством Лабзина, у которого был образован свой приятельский театр, и потому собирались к нему для чтения ролей; я считал это ненужным и не явился к нему для репетиции и незадолго перед представлением читал только часть роли, и Лабзин был мною недоволен. Но во время самого представления Лабзин восхищался моею игрой, ему все нравилось во мне. Следствием сего было, что Лабзин пригласил меня в приятельский театр, который находился у одного из его близких друзей. Товарищ мой, приглашенный к нему, боясь строгости его, уклонился от сего, я же, считая неприличным не идти к нему, отправился. Меня приглашали участвовать в сем театре, составленном из совокупных усилий, и я взял на себя декорационную часть. Вскоре я стал участвовать и в самых представлениях. Таким образом знакомство наше с Лабзиным делалось теснее и мне очень нравилось, ибо я видел в Лабзине очень умного и пламенного человека и известного издателя «Сионского вестника»; я имел случай часто провожать у него вечера с ним и с его приятелями, где я всегда проводил время с большим удовольствием среди его христианских бесед.

Пользуясь некогда тем влиянием, которое имел известный Новиков в Москве, которого рвением книгопечатание так усилилось у нас, Лабзин имел взгляд несравненно высший обыкновенного взгляда школьных ученых. Имея превосходный дар слова, он одушевлял всякую беседу. Лабзин совершенно посвятил себя на издавание христианских сочинений, он горел любовью к религии и ко всему высокому, имел быстрый взгляд, сердце доброе; но с тем вместе излишнее самолюбие часто заставляло его входить в погрешности, вырождалось в гордость, и тем был тяжел для многих; особенно не умел обуздывать своих выражений и раздражительность. Он был переводчик многих религиозных книг, сочинений Эккартсгаузена (с которым он был в переписке), Штиллинга и некоторых других; ревностный защитник обрядов греко-российской церкви, ненавидящий все непрямое, лукавое, и, наконец, верный подданный. Знакомый с многими подобными предметами, ему легко было написать, по поручению императора Павла, историю Мальтийского ордена, имевшего столь христианское основание,— когда он сделался гроссмейстером сего ордена. Узнав, вероятно, о способностях его от тогда освобожденного Новикова ⟨*пропуск*⟩. Его пылкий характер часто завлекал его в ошибки; но стремление его было всегда чисто. Так, например, какой-то граф Грабиенко, приехавший в Петербург и выдававший себя за посланника провидения ⟨*пропуск*⟩. Ум сего фанатика сильно подействовал на Лабзина, и он чуть не попал в фанатизм вместе с ним.

Впрочем, я не считаю уместным рассказывать всю жизнь Лабзина, ибо хочу только настолько сказать о нем, насколько это входит в мою жизнь. Чтоб видеть его пламенный и увлекающийся характер, достаточно рассказать только один случай из его жизни, навлекший на него гнев государя. Президент Академии Оленин предложил в одном общем собрании Академии о баллотировании в почетные любители Академии Аракчеева, Гурьева и Кочубея. На вопрос конференц-секретаря, что отличного в этих лицах и чем они могут быть полезны Академии и искусствам, представляя на вид, что по положению только такие баллотируются в почетные члены, которые имеют или музеи или известны особенною любовью к искусствам,— отвечал президент, что это лица, близкие государю.

— А когда так, то всех ближе к государю Илья-кучер, да и сидит к его величеству спиною.

Президент Оленин, мимо министра просвещения, донес через Аракчеева до государя сие, давно искавши случая избавиться Лабзина, который был слишком умен и тверд.

Лабзин умер, удаленный в Симбирск, ибо дух его, привыкнувший к деятельности, не мог перенесть косности ссылки; он впал в чахотку и перешел в другую жизнь в самом кратком времени.

«Сионский вестник», издаваемый им с его христианским направлением, действовал сильно на публику; но и тут его необузданный ум часто заставлял его преходить пределы благоразумия, и он был запрещен около 1806 года. Князь Александр Николаевич Голицын сам рассказывал мне о сем происшествии так:

Еще князь (по собственному выражению) был вольнодумом. Когда же он и император с 1812 года предались более религиозным чувствам, разрешено было опять издавать «Сионский вестник», и он продолжался до тех пор, пока Лабзин успел до того раздражить духовенство, что ему снова запретили оный.

Говоря о Лабзине, скажем и о его наружности, которая так тесно связана с внутренней жизнию. Вид его был важен; держал голову более вверх; очки, большой нос и что-то презрительное в губах; самая походка его придавала ему что-то важное и гордое.

Пылкий характер Лабзина увлекал его всегда за все пределы. Он ни в чем не знал умеренности. Так, исключительна была его преданность к греческой церкви. Понимая высоко христианство, он никак не мог подняться до общего взгляда, до общей любви, обнимающей все церкви; я сам вполне понимал высоту ритуала греческого, дающего столь обильное поле мыслящему человеку, но странно было видеть ту исключительность, которую ей давал Лабзин.

Таков он был и в прочих отношениях. Преданный религиозно-философским изысканиям, он требовал, чтобы все жертвовали своими занятиями вопреки призванию, вопреки талантам, считая все низким. Таким образом, вместо того чтоб питать жар и любовь во мне к искусствам, он охлаждал меня к ним, отвлекал от них.

Эта односторонность, может, происходившая и оттого, что он сам не имел никакой симпатии к художествам, не свидетельствует в пользу взгляда Лабзина, не могшего подняться до синтетической высоты великого человека. Может, это было отдаленной причиной нашего разъединения, впоследствии случившегося.

Известный рисунок мой «Марфа Посадница» подарил я Лабзину. У него увидел его московский генерал-губернатор Растопчин, приехав в 1812 году в Петербург, будучи давний знакомый Лабзина. Растопчин, большой любитель изящных произведений, был поражен моим картоном. Лабзин спрашивал, не угодно ли графу иметь его. Тот желал бы весьма; но не знал, как сделать, слышав, что я подарил его Лабзину. Лабзин прислал за мной, объявил желание графа познакомиться со мной и иметь картину. Я отозвался на второе тем, что картина принадлежит ему и я располагать ею не могу. Лабзин после этого именем моим и подарил графу картину. Но граф не хотел быть в долгу, и, понимая сколь было бы неделикатно предложить мне прямо деньги, он, слышав, что я назначен путешествовать, прибавил по 500 рублей на год для путевых издержек, что составляло 2000 рублей. О чем и было записано в журнале Академии. Поелику я по причинам, изложенным выше, не воспользовался этим путешествием, то доселе и не получил этих денег. Впоследствии скажем несколько и о этом известном и замечательном человеке.

В то же время имел я счастие познакомиться с Державиным через Лабзина; для него я нарисовал две виньетки к лиро-эпическим сочинениям. Державин был весьма знаком с Лабзиным; он обыкновенно читал своим прекрасным ⟨*пропуск*⟩ его сочинения в Обществе любителей русского слова, ибо Державин читал очень дурно,— не все поэты имеют ту превосходную способность, с которою читает наш Крылов свои произведения. Даже обыкновенно посылал Державин к нему свои стихи для грамматической корректуры. Я после того часто посещал его. Дом Державина был совершенно в духе поэта, снаружи видны были одни колоннады, среди которых был дом, чрезвычайно изящно расположенные (близ Фонтанки, у Обухова моста). Прием его был всегда приветлив. Все известно об нем, следственно, говорить нечего. Скажу только, что он вечно ходил в теплом халате, даже за обедом при гостях, и с маленькой

собачкой за пазухой. Его задумчивость и каждое слово свидетельствовали о беспрерывном одушевлении.

Лабзин был женат на вдове; но детей ни у него, ни у нее не было, потому он взял к себе в дом на воспитание сироту. Лабзину весьма хотелось выдать ее замуж, но старания его были безуспешны. Он обращал внимание более на богатых знакомых, которые не подавались на это. Ей тогда было лет 13 или 14. Будучи короток у него в доме, я не был совершенно равнодушен к ней, и меня занимала мысль жениться на ней, возвратясь из путешествия. Но, руководимый осторожностью, я хотел ближе узнать ее характер. Посему предложил я давать ей уроки рисования. Предложение было принято с благодарностью, почему я имел случай в неделю два раза быть несколько часов с своею ученицею. Казалось, что Лабзин и жена его имели на мой счет виды.

В это время стал вхож к Лабзину Артемьев, молодой человек с дарованиями, которого отец привез в Петербург на службу (титулярный советник) и вверил Лабзину. Лабзин поместил его в ученый департамент адмиралтейц-коллегии, где сам он был членом. Артемьев был сын богатого человека и потому несколько избалован. Характер его был строптив, тяжел, горд и беспокоен; это затрудняло его приятелей, и я один оставался с ним довольно коротким. Лабзин любил его за дарования, но весьма затруднялся насчет его характера. Вскоре я стал замечать, что Лабзин и на Артемьева имел такие же виды, как на меня, вероятно, принимая в соображение его богатство; оно давало ему преимущество, понимая все недостатки его. Это не могло сокрыться и внутренно оскорбило меня; я видел, что его хотели — по состоянию, меня — по характеру, видел даже, что и меня не хотят совсем потерять, думая, ежели Артемьев, по своей ветрености, изменится в желании, то опять приняться за меня; я был как бы на подставку. Артемьев не был равнодушен к питомице Лабзина. Наблюдая довольно строго за ее характером, вскоре я начал замечать в ней не тот кроткий нрав, который я предполагал. Я заметил, что она заразилась некоторою избалованностью и гордостью. Наконец даже я стал замечать, что и она неравнодушна к Артемьеву, по крайней мере к его состоянию. Я видел посему, что она не может составить моего счастия, и я стал холоднее. Но равно не обнаружил я ни настоящих, ни прежних чувств никому. В это время приехали в Петербург, в конце 1809 года, мать и сестры Артемьева.

Одним вечером, когда я пришел давать свой обычный урок воспитаннице Лабзина, я встретил в горнице двух незнакомых девушек, это были сестры Артемьева. Я их не видал прежде ни разу. Взгляд, брошенный мною на одну из них, встретился с ее взглядом, и ⟨он⟩ так сильно, так невыразимо подействовал

на меня, что я опустил свои глаза и мы не смели друг на друга взглянуть. Вскоре я с ними познакомился ближе и заметил, что та, которая так сильно подействовала на меня, как бы была менее любима в своей семье; это еще более сделало меня к ней неравнодушным. Казалось, что и в ней была симпатия ко мне. Желая иметь ее портрет, я предложил нарисовать портреты всех их, и таким образом я срисовал мать и обе сестры, я оставил у себя копию с их очерка. Меньшая сестра, при прощании со мною, когда я сказал, что «вот у нас в Петербурге останутся памятники ваши», отрезала локон своих волос, и, тайно подавая его мне, сказала: «Вот и вам особый памятник».

Зимой поехали они. Я и один товарищ мой поехали их провожать верст за семь. Она сидела в другой повозке, и горячие слезы, и поцелуй, и сильное внутреннее движение доказали всю любовь ее ко мне. Она не могла удержать себя, сколько ни старалась. Тут мы поняли друг друга вполне, хотя уже и прежде знали о наших чувствах и назывались братьями и сестрами, к чему подала повод сама мать, назвав меня сыном.

В начале 1806 года видел я особенно замечательный сон. Сны происходят или от пищи — грубые, другие от того, чем занята была душа, — более высшие, как бы повторение действительного. Но, наконец, третьи сны, происходящие от духовного мира, независимо от нас, и сообщающие нам как бы откровением будущее,— это язык доброго и злого гения древних, предупреждение, знак, указание[1]. Я видел себя в каком-то огромном здании или храме и как бы в подземелье; оно как будто строилось, и я находился в числе участвовавших в строении. В средине его находился высокий обелиск, на уступах его стоял я на коленях и со слезами пел гимны (и так громко, что на другой день товарищи спрашивали, что я видел во сне). Потом представилось мне, что я женат и живу на какой-то горе, среди обильной и роскошной природы, среди фонтанов. Потом я видел часто посещающего меня какого-то монаха. Но каждое его появление наводило на меня ужас и отвращение, так что я его принимал за злого духа.— Дальнейший рассказ моей жизни объяснит кое-что из сего сна. Я сначала сам не понял его: но после, когда так резко начал он сбываться, вспомнил его.

Летом 1810 года Артемьев собирался в отпуск в деревню к отцу. С ним вместе поехал академик Чернов, человек примерной жизни, для того чтоб приятно провести вакационное время. Чернов был так близок ко мне, что я ему одному вверил тайну моей любви, его просил о доставлении Елизавете Артемье-

---

[1] *Рядом с этим абзацем приписано на полях:* Сон Ломоносова.— *Ред.*

вой секретного письма и просил привезть решительный ответ. В нем я был совершенно уверен, такова была строгость его и чистота нравов.

В самый день отъезда собрались у Лабзина в саду. Я пришел, по обыкновению, несколько позже. Лабзин уже спрашивал обо мне. Чернов сказал, что я занят письмом к Артемьевым. Когда я явился, Лабзин, упрекая, что я всегда опаздываю, спросил, кончил ли я письмо. Сказав ему, что кончил, я весьма был смущен, откуда он знает, что я писал. Но наконец Чернов объяснил мне, каким образом Лабзин узнал. Они уехали.

Между тем я обвинил себя в скрытности от Лабзина и решился открыть ему, считая себя обязанным быть с ним откровенным. Узнавши об этом, Лабзин чрезвычайно разгорячился. Старался доказывать, что мой поступок необдуман, что мое искание у людей гордых смешно, что я не имею ни богатства, ни чинов, в то время как они отказывали даже людям очень богатым и известным; что, сверх того, мне надлежит путешествовать и что я этой страстью приношу на жертву мой талант; что это сумасшедшая идея и прочее. — Действительно, Лабзин вынул письмо от старика Артемьева, в котором он его спрашивал об одном генерале, сватающемся за его дочь и которому он отказал. Старик этот был избалованный екатерининский бригадир. Лабзин, не зная моего происхождения, думал, что я не дворянин, и находил в этом новое препятствие, не зная, что я происхожу от шведской старинной дворянской фамилии.

Я не мог не заметить, что более всего раздражило Лабзина, что сим виды его на воспитанницу были должны измениться. Я уверил Лабзина, что в этом деле я не дозволю себе ни одного шага, руководствуясь одною страстью, и что хотел только знать ее мнение, предоставляя времени остальное, ибо ежели есть судьба, то ничто не в силе переменить ее, а натягивать насильно я не считаю себя вправе. Не говоря уже о том, что я отклонил всякое подозрение, что тут участвуют какие-либо расчеты. Я обещался ему доказать строгость мою. Вряд поверил ли Лабзин этому. Таким образом я старался успокоить его; но Лабзин до того был раздражен, что несколько дней был нездоров; но мы с ним остались попрежнему друзьями.

По возвращении Чернова с Артемьевым, он объявил мне об ответе Елизаветы. Она сказала, что я сам вижу препятствия; но что все зависит от родителей. Переписка с семейством Артемьева продолжалась до 1812 года, но прекратилась во время войны. Их поместье на Смоленской дороге было занято неприятелем, и они бежали в Нижний. Вскоре по получении чина коллежского асессора Артемьев вышел в отставку и поехал к отцу в деревню. В это время он открылся Лабзину в любви к его воспитаннице и просил ее руки. За несколько дней до

отъезда он сказал мне об этом. Лабзин был очень рад и тотчас за будущего зятя рекомендовал ей его. Притом Лабзин передал ему по секрету мои виды на его сестру. Артемьев начал с некоторою укоризною мне говорить, зачем я ему не открыл своей тайны, и неужели ждал с его стороны препятствий вследствие каких-либо расчетов. Я ему сказал, что с моей стороны было бы неблагоразумно говорить о деле, которого исполнение еще так далеко, и что обстоятельства заставили меня сказать Лабзину. Он предлагал мне свои услуги, на что я ему возразил, что единственная услуга, которую он может сделать, есть безусловное молчание, чтоб он даже сестре не говорил.

— Но почему?

— Такова строгость моих правил.

Несмотря на то, что он знал о моей любви к его сестре, он требовал с меня честного слова, чтоб я не воспользовался его отсутствием для исканий у его Софии. Разумеется, мне легко было его уверить в этом.

Каково же было удивление Лабзина, когда с первою почтой получил от Артемьева письмо, в котором он не токмо отказывается от руки Софии, но даже от знакомства и переписки с Лабзиным. Столь странен был характер этого человека. Вероятно, в этом участвовала не его воля, но требования родителей. Лабзин, несмотря на свою раздражительность, даже не обиделся и оставил это с холодным презрением.

Между тем мое положение сделалось затруднительно. Лабзин опять обратил виды на меня. Явными шутками поставляя меня в странное положение, то называя меня Абелардом, то заставляя даже краснеть. Так как шутки эти стали повторяться очень часто, то я начал искать случая удалиться от Лабзина. И я с жадностью схватил случай ехать в Кронштадт на некоторое время, о чем было уже сказано.

Между тем возгорелась война 1812 года, прервавшая надолго обыкновенный порядок жизни, сношения, виды. Это остановило нашу переписку; все было смутно, я не знал даже, где Артемьевы находились. В 1813 году явился случай ехать в Москву. О цели этой поездки было сказано, но, разумеется, к этому присоединялась и надежда узнать, где Артемьевы, или увидеть их. Лабзин дал мне поручение к графу Растопчину, и поелику я не мог скоро его исполнить, он мимо меня, в письме к Руничу, осыпал меня упреками; с этого, кажется, началось у нас с ним разъединение, еще таившееся до того от времени, в которое он узнал о моей любви. Я ему написал преогромное письмо; меня огорчало, что Лабзин не понимает меня, его намеки на кривые пути, относившиеся к Артемьевым, оскорбили меня. Я высказал все, что лежало на душе, дабы не было недоразумения между нами, и тем самым хотел пристыдить его. Окон-

чив письмо, мне показалось, что я оправдываюсь как виноватый, я изорвал письмо, написал другое, короткое, сильное, и заключил тем, что я второй день не ем и не пью, оскорбленный его письмом к Руничу.

Вследствие сего письма Лабзин написал мне письмо с холодною светской вежливостью, извиняясь передо мною. Таким же холодным письмом отвечал я ему, известив в то же время об окончании его поручения. Сим прекратилась наша переписка.

Я часто бывал у графа Растопчина; у него встречал весьма занимательных людей, и собственно он интересовал меня весьма и как гениальный человек и как человек, бравший такое важное участие в последних обстоятельствах. Истинный патриотизм и благородство души виднелись в каждом поступке сего вельможи, ничего низкого не могло затемнить его сильной души.

Знакомство мое с ним началось с картона «Марфы Посадницы» (как уже сказано). Картон этот был увезен неприятелем. Граф часто говорил о сожалении своем, что потерял его. Мне хотелось заменить эту потерю другой картиной, и я сделал эскиз картины «Император Александр, разрушая Рейнский союз, освобождает Европу». Я занимался этим, как вдруг граф присылает за мною и с радостью объявляет мне, что в какой-то деревне, по Смоленской дороге, найден большой сверток и что он уверен, что это «Марфа Посадница». В самом деле через несколько дней привезли мой картон; но он был попорчен, и я занялся реставрированием оного. Картон сей и доселе должен храниться в семействе графа.

Говоря о знакомстве с графом, нельзя не упомянуть о некоторых встречах, бывших у него в доме. Там познакомился с Лодером, Тончи и другими. Там я слышал от самого знаменитого анатома, как он в Германии крал голову одного мертвеца, у которого он еще при жизни заметил особенность какую-то в черепе,— несмотря на большую опасность. И все это он рассказывал с своим обычным многословием, так подробно, что из нескольких слушателей остались только трое: я, граф и еще кто-то.

Тончи был очень любим графом, артист весьма образованный. Мы с ним вскоре познакомились через картину мою. Тончи имел прекрасный дар слова и часто пространно излагал свои философские мысли, в которых он всегда был своим манером последователем Фихте. Однажды, увлекаясь своими доказательствами, он, указывая на стол, сказал: «Что вы думаете, что это стол? Нет, это только идея стола». Это заставило многих улыбнуться, и я тихо шепнул графу, что есть прекрасное средство убедить Тончи в противном — ударить его палкой и спросить: «Что это, идея палки или палка в самом деле?» Графу

это очень понравилось, и он тотчас передал это Тончи, который, разумеется, как образованный человек, не думал сердиться за это, но смеялся с прочими.

Вспомнил еще один анекдот сего времени. Однажды обедали за городом в Петровском. После обеда в саду все играли в кольцо, никто не мог попасть. Граф лежал на траве, долго смотрел и наконец встал как бы с негодованием и, сказав: «Как не попасть?», взял кольцо, бросил и попал. Надобно было видеть в это время лицо графа, тут виден был весь характер его, даже краска выступила на щеках. Бросивши кольцо, он спокойно, с самодовольной улыбкой пошел на прежнее место свое.

Весьма жаль, что этот отличный вельможа вскоре впал в мрачную ипохондрию, которая происходила между прочим и от предполагаемой мести отца несчастного Верещагина. Он решился удалиться из родины и просил императора возвратить ему чин действительного камергера, пожалованный ему императором Павлом I. Еще страннее и непонятнее поступок его, что он, живя в Париже, отрекся (написав ничтожную брошюрку) от пожара Москвы — он, Растопчин!

Между тем начались мои занятия проектом, о которых было сказано в своем месте. Но мысль о Артемьевых не оставляла меня; я ждал от них писем, а их не было; я ждал, что они, по своему обыкновению, приедут на зиму в Москву, но они не приехали. Прошло полтора года без всякого слуха, и я стал уже это принимать за указание, что на это нет назначения. Следуя беспрерывно своим правилам, я решился, по окончании работ, ехать в Петербург, не делая никаких усилий, ибо уже по опыту стал убеждаться, что чистые намерения мои всегда удавались сами собою.

Не имея никакого руководителя, предоставленный собственному труду, естественно, я искал слышать суждение о моих идеях людей высоких своей душою. Перелистывая Витрувия и книги ⟨*пропуск*⟩ я не нашел полного ответа в них, да и сверх того я мог ими увлекаться, мог сбиться или не понимать. Таким образом, я с жадностью искал случая говорить с людьми мыслящими. Многих вельмож узнал я через графа Растопчина, но от них я получал одну бесплодную похвалу, часто даже ни на чем не основанную. Августин сделал уже более, убедив меня, что в моих мыслях нет ничего противного религиозной мысли греко-российской церкви. Но я искал все еще бóльшего авторитета и глубочайшей веры. К этому времени относится весьма важная встреча. Однажды М. Я. Мудров, через которого я познакомился и с Августином, сказал, что он едет в деревню к Николаю Ивановичу Новикову и не хочу ли я ехать с ним. Я с восторгом принял это предложение, от этого человека я ждал многое.

Новиков, положивший основание новой эре цивилизации России, начавший истинный ход литературы, деятель неутомимый, муж гениальный, передавший свет Европы и разливший его глубоко в грудь России. Чего не должен был я ждать от взгляда великого человека на храм, воздвигаемый Россиею,— который всю жизнь воздвигал в ней храм иной, колоссальный и великий!

Новиков, жертва сильного стремления к благу родины, жил отшельником в небольшой деревеньке, единственном достоянии его, в 60 верстах от Москвы, с одним из оставшихся друзей его и сотрудников, с Гамалеею.— Меня пугала, правда, мысль, поселенная во мне Лабзиным к этим людям. Он их представлял стариками строгими и неумолимыми, особенно Гамалею. Хотя я и видел в этом отчасти гордость Лабзина, но все-таки боялся их грозной строгости, я — молодой человек.

Мы поехали.

По Бронницкой дороге, верст за 50 от Москвы, стал виднеться шпиц церкви села Тихвинского. Небольшая деревенька и бедная. Вскоре открылись и ветхий господский дом, обнаруживавший недостаток, запущенный сад; и все окружающее показывало нужду и отшельничество. Мы взошли. Я нашел Новикова старым, бледным, болезненным; но взор его еще горел и показывал, что еще может воспламеняться и любить. Большой открытый лоб, и вид сурьезный, и длинные волосы сзади,— но во время разговора его мина принимала вид чрезвычайно приятный. Он встретил меня с душевным расположением.

Вскоре взошел С. И. Гамалея, тот строгий человек, о котором Лабзин говорил, что он неприступен при первом взгляде. Я вспомнил суждение Александра Федоровича, и как же удивился, когда нашел в нем человека, исполненного любви и привета! Правда, он был молчалив, говорил мало, резко. Новиков, напротив, был одарен превосходным даром красноречия. Речь его была увлекательна, даже самые уста его придавали какую-то сладость словам.

Я сказал Новикову о цели моего приезда. Он желал видеть проект, говорил, что уже много о нем слышал, что очень рад, что я вздумал навестить старого страдальца и отшельника,— и я, развернув его, начал мое объяснение, стараясь как можно строже изложить оное. Я мог заметить, что Гамалея меня слушал холоднее Новикова. Но Новиков слушал как любитель изящного.

Когда я просил суждения их,— «всего лучше, милостивый государь, сказал Гамалея, что вы расположили храм свой

в тройственном виде; ежели удастся выработать вам, то это будет хорошо».

Новиков хвалил мою идею, но говорил, что можно отбросить некоторые частности, чтоб чище оставалась главная идея.

— Очень рад, что вы посвятили свой талант на предмет столь достойный. И предвижу успех ваш.

— Это-то мне и было лестно слышать из уст ваших, потому более, что часто я слышал суждение Лабзина, который требовал отречения от всего наружного, как будто хорошо делает тот человек, который не развивает талант, данный самим богом, и зарывает его в землю. Я прежде занимался с успехом исторической живописью; хотя и это есть орудие для прославления бога, но мне казалось это недостаточным, и когда вышел манифест 25 декабря 1812 года, тут-то я увидел настоящее призвание и предался сему предмету. Хотя и тут я видел, что буду заниматься одним наружным. «Какой храм воздвигнете вы мне,— не я ли все сотворил?» Но мне казалось справедливым, что ежели люди себе приписывают славу и блеск, себе воздвигают дворцы и памятники, еще более придать блеска дому божию, и ежели уже нужен наружный храм, то чтобы он был не холодный камень, а живой, проникнутый идеею, которая не ограничивается одной изящностью формы, но в которой внутренний смысл, глубоко врезанный в каждую форму.

— Весьма несправедливо думают, будто наружные дарования, науки и художества препятствуют человеку внутренно возвышаться к богу. Когда бог одарил кого талантом, он обязан быть верным своему призванию, и вообще поэзия и искусства — эти сестры отнюдь не мешают, но способствуют к внутреннему развитию. Слушая свое призвание, как бы покоряемся мы велению бога; исполняя оное наилучшим образом, освящая целью высокой, следуя чистому одушевлению, мы служим лучшим образом для прославления бога. Пусть пути разны, цель одна. Пусть всякий исполняет свое, и совокупность сих трудов и усилий не воздвигнет ли настоящий храм богу из целого мира? И для того-то познание самого себя есть важнейшее познание, оно нам покажет, с чистым ли побуждением избирает душа занятие или нет. И в этом случае мы нуждаемся опытом других; и друг, испытавший многое, может во многом предостеречь, отстранить горькие испытания, ибо не многое ли может сообщить отживающий юному, едва идущему по началу жизни?..

Таким образом, Новиков еще более одушевил к моему предмету.

Гамалея, как строгий стоик, умерший для всего наружного, не мог рассуждать так, как Новиков, полный идей живых и пламенных, заметил, что, конечно, это хорошо. «Но ежели ваш про-

ект будет избран, не опасаетесь ли вы тогда увлечься так вашими наружными занятиями и, исполняя ло совести, как верный сын отечества, сложные и трудные должности, что вы принесете им на жертву высшее, нежели чего они достойны?»

Старики, казалось, полюбили меня. Я провел у них несколько дней и после раза два приезжал к ним. Каждый раз беседовали мы долго, мне было очень любопытно знать жизнь Новикова, многое рассказывал он. Мне уже отчасти было известно, что Новиков 7 лет провел в Шлиссельбургской крепости и освобожден при воцарении императора Павла, но не знал причин сему. Новиков, сколько мог, удовлетворил меня.

Когда он старался Русь познакомить с лучшими европейскими произведениями, тогда стеклись на его сильный, призывный голос множество друзей, именем общей пользы и любви просвещения, чтоб совокупно работать в пользу образования. Тогда завел он огромную типографию, вскоре превзошедшую все заводимые правительством, и книжные лавки, пропагандируя просвещение. Издавали журнал «Живописец» — первый литературный журнал в России. На все это, равно на образование множества молодых людей и путешествия их по Европе, друзья его и он сам отдавали свое достояние, и результаты были блестящи. Государыня лично знала его по службе, по талантам; но он в молодых летах оставил службу для своих высоких занятий. Занятия его и его друзей, чтоб иметь силу и быть обеспечену всяких нападений, были делаемы под покровительством цесаревича Павла. Успех его типографии возбудил зависть и внимание, начали говорить об опасениях насчет столь огромной типографии в руках частного человека. Этот взгляд подкрепили какими-то подозрениями насчет избрания Павла Петровича протектором. Новиков, сколь ни был далек от всяких политических замыслов, вдруг был схвачен и после некоторых допросов посажен в крепость. Семь лет провел он там. При воцарении Павла его освободили; но семь лет тюрьмы и другие причины оставили его болезненным, и он удалился в свою расстроенную деревеньку Авдотьино, названное им Тихвинским по местечку близ Шлиссельбурга, где жил он в величайшем уединении.

В то время, когда я познакомился с ними, я застал их обоих все еще занятыми. Гамалея переводил с немецкого и латинского языка книги герметические и религиозные. Взгляд Новикова на сии предметы был чист, светел и обширен. Взгляд Гамалеи резок и положителен.

Новиков показывал мне свою небольшую библиотеку, где было много книг (до 50), переплетенных собственною рукою Новикова. При этом он заметил:

— Вот сколько труда; но с искренней скорбью вижу, что некому завещать все это, некому передать мысли для продолжения начатого.

Впоследствии времени я раза два-три посещал их; в одно из посещений я просил его дозволить снять его портрет; Новиков позволил, но Гамалею я не мог уговорить.

Дальнейшие подробности опустим мы; кто знает Новикова, тот знает, что он был за человек, кто же не знает — тот не может и искать здесь полного сведения о столь великом человеке. Прибавлю только, что у нас был неоднократно разговор о снах; и ⟨я⟩ пересказывал им о трех снах, виденных мною.

В первой молодости моей, ведя жизнь всегда строгую, я не мог не быть обуреваем страстями, и тем более, что они имели мало отверстий. Часто бывал я в доме у одного знакомого военного офицера. Он был женат, и жена, прекрасная собою, кокетка; я видел, что она ко мне неравнодушна, и сам был очень занят ею. Я всегда считал большою гнусностью обольщать чужую жену, как преступление, которое не может ничем выкупиться,— ибо лишающий невинности девушку имеет средство восстановить свое преступление, но тут семейное расстройство и ужаснейшие несчастия идут об руку с преступлением. Потому я употреблял все средства, чтоб уничтожить эту страсть. Наконец, настала война 1807 года с Швециею, и муж ее отправился в армию; я попрежнему продолжал посещать ее иногда. И мало-помалу страсть возгоралась более, и наконец назначен был день для тайного свидания; но ночь перед тем я видел следующий сон. Идя по академическому коридору, выстланному кирпичами, в щели между ими вижу я червя, как бы раздавленного ногою. Я остановился и глядел на него с некоторым чувством сострадания и заметил, что в нем есть еще жизнь; я с большим вниманием смотрел на него, и червяк оживлялся, начал двигаться, подыматься, вырастать до того, что уж из червя начал образовываться дракон, как мы его представляем в мифологии, и в этом виде он кидается на меня. Я, испугавшись, закричал, с тем вместе выбежали несколько женщин; казалось, дракон был их, они взяли его — и я проснулся.

Я понял, что этот сон был предостережением, и я отложил свое намерение и решительно отвергнул страсть свою. На другой день, бывши у Лабзина, где был возвратившийся из чужих краев М. Я. Мудров, я рассказал свой сон. Каково же было мое удивление, когда, выслушав это, Мудров достал из кармана маленькую книжку немецких стихов, где приискал мне место, в котором поэт представляет возрастающий порок, сначала приветливым, потом с чертами ужасными, точно так, буквально, как я видел во сне; это еще более подкрепило мое объяснение сна. И я навсегда было оставил закомство с нею,— но кончи-

лась война, муж не возвращался, и вскоре пришло известие, что муж ее убит. Тогда почти погасшая страсть опять затлелась, тогда казался мне поступок не столь дурным, и я, забыв свои нравственные правила, отправился к ней; но и тут провидение спасло меня от преступления, я застал ее спящую и в таком непристойном виде, что с отвращением ушел, никем не замеченный, и с тех пор решительно отказался от своего намерения.

Второй сон был следующий. На некотором возвышении я видел крест, к нему притягивали на веревках лежачую мраморную, белого цвета фигуру. По мере того как стали ее ставить, статуя оживлялась и наконец, когда поставили, она, совсем живая, села, ноги были сложены и руки лежали на коленях, голова поникнувши, чрезвычайное смирение выражалось на лице, и это был сам Спаситель. Я находил некоторое сходство во лбу с Юпитером Олимпийским, прочие части лица были так изящны, что не могу им приискать сходства. Глаза обращены были вниз. Но вместо обыкновенного цвета волос, с коими изображают Спасителя, они были белые. На вопрос мой, что значат сии волосы, кто-то отвечал мне: «Тысячелетнее пребывание его на земле». Потом, как бы слушаясь какого-то веления, он встал и стал к кресту в таком виде: крест имел внизу продольную скважину, так что, став позади креста, он в нее поставил ноги, а руки опустил через крест, который оканчивался поперечником, в молитвенном положении. Голова, как и прежде, была наклонена вниз, с тем же величественным смирением. Смысл этого сна был ясен для меня. Первое — высокой степени смирение, потом — что шествие должно быть под крестом. Действующая сила должна покоиться на кресте. Тело должно быть за крестом. И самая голова преклонена к кресту. Каменная статуя, оживляющаяся постепенно,— сколь ясно ни согласовалась с идеею моего храма, которая образовалась гораздо после сего сна, но не приходила мне в голову прежде Вятки. Сон этот весь ясен, кроме слов о тысячелетнем пребывании.

Наконец, этот сон, который я теперь намерен рассказать, нельзя даже совсем отнести ко сну. В один зимний вечер я стоял против печи и грелся и, предаваясь размышлению, перешел как бы в некоторое усыпление. Вдруг вижу посереди комнаты девочку, примерно лет 12. Я подбегаю к ней с некоторым изумлением и спрашиваю:

— Кто ты такова?

— Я дочь Правды,— был ответ, и с тем вместе, уходя в угол, загроможденный разными вещами, исчезла.

Из сказанных слов Новикова я видел, что ему нравятся эти сны, он поздравлял меня с ними и говорил, что такие сны не случайно нам даются.

Чтоб прибавить еще что-либо о Гамалее, этом страшном человеке своей строгостью, достаточно рассказать следующее.

Первый муж жены Лабзина, Карамышев, был человек без веры, сомневался в бессмертии души; он был человек ученый, но принадлежал еще к тем воспитанникам XVIII столетия, которые блистали материализмом. Ему советовали об этом предмете поговорить с Гамалеею. Карамышев, гордый своею ученостью, отвергал сначала, но наконец согласился познакомиться. И вот собственные его слова, слышанные мною от его супруги:

— В Гамалее нашел я маленького старичишку, невидного, которого можно щелчком перешибить. Без дальних обиняков сказываю ему причину моего посещения, т. е. что я решительно сомневаюсь в бессмертии души, и, сказав ему несколько комплиментов, заметил, что от него надеюсь получить объяснение. Узнавши, что я горный чиновник, Гамалея заметил, что я должен знать некоторые науки, и спрашивал, посредством которой я желал бы убедиться в бессмертии души. Я с трудом мог удержаться от смеха и, чтоб одурачить его, для смеха избрал ботанику и с тем вместе, чтоб скрыть свой смех, вынимаю часы и гляжу на них. Старик начал говорить, презрение мое заменяется вниманием, наконец ⟨*пропуск*⟩ в уважение, и с тем вместе я ему сказал: «Довольно». Не прошло еще пяти минут, и он уже убедил меня вполне, несмотря на все предрассудки, с коими я пришел.

Новиков мне предсказывал успех и просил, чтоб я ему сообщил, как проект мой будет принят государем, что и исполнил.

⟨7⟩

Проект мой был окончен, я стал думать об отъезде в Петербург. Здесь опять надлежит возвратиться к домашней жизни. Незадолго до поездки моей к Новикову проезжал через Москву один приятель мой по Лабзину, служивший в Академии, Скворцов, который ехал к своим родным в Нижегородской губернии. Приятно мне было встретиться с ним, поговорить о Петербурге, о моей неприятности с Лабзиным. Этот разговор завлек далеко, и я сказал, что, вероятно, Лабзин думает (что он и подтвердил), что я живу здесь для Артемьевых.

— Но я скажу вам, что я не токмо не видался с ними, но даже и не писал к ним и не имел никаких сношений, следственно, твердо выдержал свое обещание.

Скворцов удивился, думая, что я переменил свое мнение относительно Артемьевой.

— Нет,— отвечал я,— но ежели б это было предназначено, то не должно ли бы уже быть какому-либо указанию, они были бы в Москве.

— И легко случиться может после этого, что вы уедете в Петербург, не сделав ничего?

— Легко может быть, и тогда я докажу Александру Федоровичу, как он ошибался во мне.

Это показалось ему слишком строго, и <он> жалел, что обстоятельства не согласуются с моим желанием.

По возвращении моем от Новикова срок отпуска Скворцова прошел, но он еще не приезжал. Я полагал, как ему нужно было быть 1 сентября в Петербурге, то, что он проехал, минуя Москву. И я был уверен, что он в Петербурге, как вдруг, уже в конце сентября, вижу его во сне, в очень горячем, сердечном разговоре со мною. Целый день занимался я этим сном, ибо я видел в этом духовное сношение душ. Я обедал у Мудрова и вечером, возвращаясь по бульвару, встретился со мною кто-то. Издали мне казалось, что это Скворцов, но когда он подошел, я сам должен был улыбнуться увлечению воображения. Подходя к почтамту, я вижу в моей горнице огонь. Это удивило меня, ибо слуге в это время было нечего делать; и тотчас явилась мысль, не тут ли Скворцов? И каково же было удивление, когда мой человек встретил меня словами, что муромский гость приехал. Я пересказал Скворцову свой сон и что я целый день думал об нем.

На другой день он должен был ехать и перед отъездом пошел в город для покупок. Часа через два он возвращается ко мне с Артемьевым; я остолбенел от изумления. Артемьев только что, день тому назад, приехал и в рядах встретился с Скворцовым. Прощаясь, Скворцов спросил меня:

— Ну, может ли этот случай быть принят за указание, или и этого мало?

— Напротив, указание весьма ясное.

Пожелав успеха, он уехал, радуясь, что послужил орудием к исполнению моего намерения.

Артемьев ночевал у меня, разговору о его сестре не было, ибо, не зная, в каком расположении они теперь, я не начинал разговора. Он уехал, обещавшись мне по приезде писать, и взял с меня слово, что я буду отвечать. С первой почтой написал он мне, что все домашние бранили его, что он не привез старого друга с собою; итак, чтоб поправить это, приглашал меня уделить несколько дней для посещения и с тем вместе просил взять с собою проект плана, которым очень интересуются его домашние. Вопрос этот был согласен с моим образом мыслей, и я принял это приглашение.

Чтоб не показался мой образ действования несколько холодным, я должен, сверх моего убеждения, еще напомнить

о нашем взаимном положении — родственники ее были люди гордые, богатые, а я молодой человек без имени и состояния. Хотя я уверен был в любви Елизаветы, но с тех пор трехлетняя разлука могла многое изменить; и насколько была она свободна от предрассудков семейства? Искания можно было истолковать в дурную сторону — и я должен был молчать. Даже и тогда, когда увиделся с ее братом, человеком, коего переменчивый нрав мы уже знаем.

Вскоре поехал я туда, вполне уверенный, что эта поездка должна была окончить это дело. Я приехал вечером поздно. Чувства сильно волновались при вступлении в дом, где должна была решиться моя судьба, где жила та, которую я так давно любил и желал видеть. Селение Величево и дом — все носило следы неприятельского разорения; они жили в беседке, к коей пристроено было несколько изб. Прием был самый дружеский. Я вскоре заметил, что я не ошибся в чувствах Елизаветы. На другой день все вместе отправились к старику, который жил в 10 верстах в селе Александрине, которого я нашел, согласно с предположением, человеком гордым, но весьма умным; и так обласкал меня с первого приема, что мы с ним сблизились тотчас, и я увидел, что именно от него-то всего менее можно ждать затруднения.

Недели две пробыл я там. Через несколько дней открылась у меня с Елизаветою переписка. Время шло весьма приятно, в которое время я сделал чертеж для построения каменной церкви. Исследовав образ мыслей матери, я наконец решился за день до отъезда. Дни за два до отъезда, поздно вечером продолжался у нас разговор с братом ее. Он наконец сказал:

— Ведь ты когда-то любил сестру Елизавету?

— Да.

— Ну, а теперь?

— И теперь тоже.

Тут с некоторой досадой и недоумением спросил он, почему я не действую.

— Ты напрасно предупредил меня, я завтра хотел начать действовать.

И он убедил меня, что в этом опасности нет. На другой день я сделал предложение матери. Без дальних затруднений она сказала, что всегда меня любила, что очень рада; но что все зависит от мужа, за которого она отвечать не может.

— Я только теперь прошу вашего согласия.

— Мое вы имеете.

Позвали дочь. Она, зная, о чем речь, явилась смущенная и, разумеется, краснея и едва говоря, сказала, что ежели отец и мать желают, то она согласна. Мать сказала, что, по мнению ее, не следует говорить мужу; но что она берется уладить это.

Я видел, что цель этого была в том, что она из гордости хотела играть действующее лицо. Таким образом мы расстались.

По прошествии двух или трех недель я получил от матери письмо, что теперь могу адресоваться к отцу, и с первою почтою написал ему письмо, на которое он мне вскоре отвечал, что известит меня, увидевшись с женою, которая уехала в Вязьму. Таким образом, этот ответ был удовлетворителен. После звал он меня другим письмом для личного объяснения к себе. Что и было немедленно исполнено. Он говорил о расстройстве состояния, о разорении; разумеется, я просил его прервать эту материю. Там были мы помолвлены; я думал, что месяцев через шесть могу возвратиться из Петербурга.

Тут я уже был открытым женихом, ездил к родным и прочее. Но вместо шести месяцев, как уже видели, прошло около года. Это было тяжкое время для меня. Неприятности Академии, бездна дела и, наконец, письма от невесты и родных ее, которые не совсем понимали причины и сердились и на долгое молчание иногда. В письмах их замешивались колкости.

Тут случилось еще следующее.

Шурин написал мне, по своему характеру, очень колкое письмо, оно было адресовано не в квартиру ко мне, а в Кабинет его величества. Письмо это не дошло до меня, и уже после свадьбы спрашивали меня, почему на это письмо я не отвечал. На ответ, что я такого письма не получил, теща думала, что я это выдумал, не хотел признаться в получении его. Это заставило меня спросить, какого же содержания было это письмо. И узнал, что главный смысл его был в том, что как мои обстоятельства переменились, то что, может быть, я переменил свои чувства к прежней невесте и ищу теперь богаче и лучше невесту. Я мог понять, каким образом изложил это шурин, вместе с ним писали о том же и другие.

— Странно,— сказал я,— как провидение оберегает нас; доселе я не имел понятия об этом письме, а если б получил его,— то наверное не был бы здесь. Оно слишком оскорбило бы меня и слишком явно показало бы, как мало меня понимают; я от раздражения исполнил бы вашу мысль, и мы бы не были соединены. Но провидение сохранило нас.

Казалось, что теща все еще оставалась в недоумении, но после убедилась. Случайно заехав в Петербурге к П. А. Курбатову, он мне сказал, что у него давно завалялось письмо ко мне, адресованное в Кабинет его величества и которое при отъезде моем отдано было ему; он достал его из бюро и отдал мне; уходя, я забыл его на столе — и письмо опять ускользнуло от меня; когда же, возвратясь к нему, я спросил о письме, оно не нашлось! Следственно, провидению решительно не угодно было, чтоб это письмо было в моих руках <*пропуск*>

видели уже выше, когда я отправился из Москвы в деревню для бракосочетания, которое было в селе Царево-Займище (историческое место, где Кутузов принял начальство над войсками), и мы венчались в деревянной церкви, построенной царем Алексеем Михайловичем,— 20 июля 1816 года.

Моим браком заключается эпизод из частной жизни, который был так необходим для объяснения прочих поступков и действий. Впоследствии мы воротимся, гораздо позже, опять к домашнему крову, но теперь прибавлю одно. Первая картина, показавшая мой талант,— был «Св. Петр». В Петров день выехал я из Петербурга. Наконец, картина «Св. Петра» помирила меня с Академиею. Вследствие этого я назначил имя первому сыну — Петр, располагая имена детям так: Петр, Иоанн и Иаков, и то же выражающие имена для дочерей — Вера, Любовь, Надежда, не зная, какое имя дать седьмому сыну. И что же — от первой жены моей у меня родилось именно шесть человек детей, три сына и три дочери!..

〈1836〉

*ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАПИСКАМ А. Л. ВИТБЕРГА*

## О ЦЕПНЫХ МОСТАХ. 1809 ГОД

В 1809 году, прогуливаясь однажды по Английской набережной, переходя мост, на Крюковом канале находящийся, я остановился и сначала осуждал перестроивавших этот мост. Мост этот был составлен из двух подъемных частей, и обе половины поднимались обыкновенным способом, цепями, прикрепленными к столбу. Подъемные части приходили в ветхость, и потому их надлежало сделать вновь, а как по Крюкову каналу суда никогда не ходили, то сделали помост цельный; таким образом, цепи остались без надобности, и из них сделали висячий фестон, весьма некрасивый.

Но, рассматривая этот фестон, мне пришло в голову, что, опустя от этих цепей вертикальные цепи, к ним можно повесить помост. Новая идея, нисколько не соответствующая цепному мосту, построенному в Америке Сиперлинком <?>. Впрочем, и таковое устройство их было мне совершенно неизвестно. Я немедленно стал чертить такие мосты, и мне казалось, что эта идея весьма полезно может быть употреблена для моста через Неву. А как Нева у Сената имеет ширины 115 сажен, то если б с обеих сторон на 7 саж. вдвинуться в реку, а по самой середине реки поставить род высокой арки, в виде ворот, такой высоты, чтоб суда могли проходить, притом шириною 10 саж.; через эту арку должна была перекинуться цепь, составляющая две дуги в 40 саж. от каждого берега до арки, тем сила раздвоялась, и было средство проходить судам. В средней части арки находился подъемный мост, того же горизонта, но особый. С тем вместе арка предохранялась от повреждения льдом колесом весьма простого устройства, которого центр был выше льда и которое, напором его приводимое в движение, разбивало лед.

Важное затруднение представляло укрепление арки в середине Невы. Идея утопления судов, нагруженных камнями, как то на Эльбе и других реках, здесь казалась недостаточным —

на Неве, при ее глубине (7 сажен) и быстроте. Первая идея состояла в том, чтоб посреди реки, где быть воротам, сделать огромную насыпь, в виде островка, из твердого материала — кирпича, цемента, глины. Эту насыпь довести до такой степени, чтоб она вышла на поверхность воды и несколько выше ее. И тогда начать в ней выкапывать место до дна и получить пустоту, где надлежит класть фундамент и выведение каменной массы. Разумеется, все меры должны быть взяты, чтобы вода не проникла туда.

Вторая идея состояла в том, чтоб по величине этой плоскости сделать срубы, вроде рам, из простых бревен, в виде плота, окружающего все пространство, в коем производить работу; эта рама должна быть связана рядом заостренных свай, вертикально опущенных в воду. Над этим плотом должен был обкладываться другой ряд брусьев, связанный с первыми железом, и потом проконопачен и засмолен. Таким же порядком надлежало произвесть третий ряд, четвертый и так далее, поскольку нижние стали бы тонуть, и наконец нижний слой, с сваями, стал бы входить в дно реки.

Таким образом получится довольно крепкий оплот, и вода из него могла быть выкачана. Ежели бы вода не стала уменьшаться, то это свидетельствовало бы, что масса нижняя не совсем твердо прилегла и что есть отверстия; тогда надлежало бы класть глину и мешки с песком, и ежели бы цель была достигнута и вода выкачана, тогда внутри, подле самой стены, в сделанную насыпь вбить ряд или два шпунтовых свай. После чего удобно было всю насыпь вынуть и даже углубляться в рытии дна для фундамента. Разумеется, при самой работе надлежало судами, поставленными на якорях, и от них протянутыми плотами предохранять от силы стремления воды.

Идея сия тем более меня занимала, что в Петербурге нет постоянного моста, и модели, находящиеся в Кунсткамере, неудобоисполнимы,— как свод соотечественника нашего Кулибина, состоящий из деревянной арки, механически связанной из дерева через всю арку, неудобной как по самому материалу, так и потому, что дуга ее должна была быть очень велика и проста, ибо надлежало под оной проходить судам. Другой, составленный французским инженером Пейроне, состоит из ряда каменных арок; тут встречаются следующие неудобства — в устройстве фундамента столь огромного, который бы пересекал всю реку, почти невозможен; второе неудобство представлялось существенное для прохода льда, который, теснясь в узкие арки, должен был составить груды с сильным напором, мог бы вредить мосту или идти через него. Таким образом, мне казались эти проекты неудобоисполнимыми; вероятно, потому и не было приступлено к построению их с цар-

ствования императрицы Екатерины, когда были сделаны эти модели. А кому же не известно неудобство плашкоутного моста?

Обдумывая план цепного моста, встретились большие препятствия. Я не знал, какую тяжесть могла поднимать цепь в середине, и даже, может ли она выдержать свою собственную тяжесть. Этого нельзя нам вычислить без опытов. Опасаясь открыть мою идею кому-либо, я не мог ни с кем посоветоваться и вверил мысль свою одному Лабзину, который на сей конец познакомил меня с статским советником Антоном Шпиманом, занимавшимся физикою и механикою; но и он подтвердил, что, кроме опыта, никакое вычисление не может дать результатов, прямо могущих приложиться к практике. Опыты же по сему должны были сопряжены быть с значительными тратами. Таким образом, труд мой остановился.

В 1814 году в Москве случилось весьма странное обстоятельство относительно этой идеи. При разговоре с английским банкиром Ровандом, говоря о неудобствах попыток моста через Неву, я высказал ему, что меня занимает теперь некоторая идея насчет этого моста, и должен был, удовлетворяя его любопытству, сказать, что мост цепной. Тогда обратился он к приезжему англичанину Лаудону, сказал: «Здесь объясняется ваша идея для петербургского моста». Я сказал, что это идея моя и ⟨что я⟩ никому ⟨ее не⟩ сообщал. И, к обоюдному удивлению, открылось, что у меня и у Лаудона родилась та же мысль, без малейшего сношения или заимствования.

Идея Лаудона столь была сходна с моей, что не токмо в общем, но даже в частностях было сходство. Например, у него была арка в середине. Чтоб убедить англичанина, что эта мысль давно у меня существует на бумаге, просил его немедленно зайти ко мне и удостовериться. Что далее я остановился только на исследовании силы цепи,— то же недоумение и его останавливало. Я предложил ему, что ежели он разрешит эту задачу в Англии и дело примет там ход, чтоб он публиковал, что идея эта уже существовала в таком-то году в России, независимо от его. С своей стороны то же самое обязывался и я сделать, ежели б прежде моя идея пошла в ход.— Занятия мои по проекту храма отвлекли меня совершенно от мостов, и я только упомянул о нем в отчете, поданном Академия в 1815.

Впоследствии, и уже в 1821 году, узнал я, к величайшему удивлению, что в Англии, при устье Менам, построен такой мост. Собирая сведения о сем, я уже узнал из одной брошюрки, что английский архитектор Тельфорт первый предложил правительству построение такого моста, но как правительство не хотело жертвовать капитал на неверный успех, то тотчас сыскалась компания, которая сделала все возможные опыты, которые доставили все нужные результаты, после чего правительство

решилось на построение этого моста. Впрочем, о Лаудоне ни слова не упоминалось. Досадно, что не нашему отечеству принадлежит честь этих мостов. В 1823 году я рассказывал императору, который весьма жалел, что я тогда не публиковал своей мысли.

Англичане по своим результатам решаются вешать мосты на одной цепи; но этого я никогда не осмелился, предполагая две и даже три, которые могли бы предохранить его от обрыва. Исполнил ли Лаудон обещание свое? Не знаю. Теперь в живых остаются только два свидетеля: англичанин Рованд и сын А. Пошмана, ныне (1836) директор института законоведения С. Пошман.

Вот доказательство, что в нашем отечестве являются часто идеи гениальные; но, не имея ни поддержки от правительства, ни от общества, должны или гибнуть прежде рождения, или затеряться в тьме подъяческих форм и происков.

⟨1836⟩

# ВАРИАНТЫ

## ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В разделах «Варианты» и «Комментарии» приняты следующие условные сокращения:

### 1. Архивохранилища

*ЛБ* — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина. Москва.

*МОГИА* — Московский областной государственный исторический архив. Москва.

*ПД* — Архив Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии Наук СССР. Ленинград.

*ЦГАОР* — Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства. Москва.

*ЦГИАМ* — Центральный государственный исторический архив. Москва.

*ЦГЛА* — Центральный государственный литературный архив. Москва.

### 2. Печатные источники

*Л* (в сопровождении римской цифры, обозначающей номер тома) — А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем под редакцией М. К. Лемке. П., 1919—1925, тт. I—XXI).

*Изд. Павл.* — Сочинения А. И. Герцена и переписка с Н. А. Захарьиной в семи томах. Издание Ф. Павленкова. СПб., 1905.

*ЛН* — сборники «Литературное наследство».

*ОЗ* — журнал «Отечественные записки».

## О МЕСТЕ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ

*ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ПД)*

*Стр. 13*

*Между первым эпиграфом и вторым вачеркнут еще один эпиграф:*

Es ist nicht draußen, da sucht es der Tor;
Es ist in dir, du bringst es ewig hervor.

Schiller[1]

18 *Вместо:* хронологическое развитие — *было:* историческое развитие

26 *Вместо:* говорит историк природы Гердер — *было:* говорит красноречивый историк природы Гердер. Постараемся раскрыть ее

27 *Вместо:* планеты — *было:* прир⟨оды⟩

*Стр. 14*

7–9 *Вместо:* падающей из атмосферы, которая не могла низвергнуться на каленую поверхность — *было:* низвергающеюся из атмосферы, которая не могла осадиться на каленую поверхность—*и подстрочное примечание:* Некоторые геологические замечания, почерпнутые из сочинения Германа «Von der Entstehung der Erdrinde»[2], читанного им в обществе естествоиспытателей в Москве.

9–10 *Вместо:* Явились условия жизни растительной—явились растения,— *было:* Явились необходимые условия жизни растительной, влага, тепло, вещество, явились и растения

25–26 *Вместо:* и в числе оных звери — *было:* и в числе этих животных млекопитающие

*Стр. 15*

14 *Вместо:* их — *было:* кости человека допотопного — *и подстрочное примечание:* Здесь поглощает потоп, разделяющий второзданные области от третьезданных. Это должно было быть гораздо прежде Ноева потопа.

32 *Вместо:* Различные степени проявления жизни — *было:* а) Различные степени развития природы, обусловленные степенями жизни, б) Различные степени проявления жизни, проистекая из одного начала.

35 *К слову «ископаемых» было подстрочное примечание:* Кажется, и Линней так думал, составляя свое regnum lapideum [3], ограничивая, таким образом, сие *царство* ископаемыми.

---

[1] Оно не вне тебя, там ищет его глупец; оно в тебе самом; ты вечно порождаешь его. Шиллер (нем.). ⟨Из стихотворения Шиллера «Die Worte des Wahns». «Оно» — имеется в виду прекрасное, истинное⟩.—*Ред.*

[2] «О возникновении земной коры» (нем.).—*Ред.*

[3] царство камней (лат.).— *Ред.*

38 *После:* жизнь ископаемых — *было:* (нужно ли говорить, что жизнь, свойственная этой форме бытия, низшая, своя)

*Стр. 16*

2 *После:* возможности — *было:* так, как выполняется форма растения, развивающегося из зародыша, с тем различием, что [ископаемое растет наложением] растение растет претворением

18 *Вместо:* упадок других — *было:* состояние упадка других. Питанием и рождением ограничено бытие его.

30 *К словам «животный организм» было подстрочное примечание:* И в сем отношении человек ниже животных, говоря о силе чувств, но могут ли они наслаждаться гармонией [красот] природы или звуков? Нет, и не оттого ли это, что у них чувства соединены токмо в общее чувствилище, а у нас еще и общее чувствилище отнесено к чему-то.

*Стр. 17*

16 *После:* мышлением — *было:* «Cogito ergo sum»[1], — говорит великий прародитель новой философии. Вот сколь важно мышление: оно — главное назначение человека, оно, неразрывное с самопознанием, и должно определить место человека в природе.

35 *После:* человеческая — *было:* Знаете ли, кто это вполне чувствовал и прелестно выразил; не догадаетесь — Вольтер.

> Ah! Sans la liberté, que seraient donc nos âmes!
> Mobiles, agitées par d'invisibles flammes.
> Nos vœux, nos actions, nos plaisirs, nos dégoûts
> De notre être en un mot rien ne serait de nous [2].

*Стр. 18*

6 *Вместо:* отделиться — *было:* совершенно отделиться

17 *После:* естествоиспытатели — *было:* Для того, чтоб судить, верно ли их [заключение] суждение, мы сделаем из всего предыдущего следующее заключение: *человек составляет четвертое царство природы, царство самопознательное, служащее соединением мира форм с миром идеальным.* Раскрывается писание естествоиспытателей.

*Стр. 19*

1 *После*: натурфилософа Окена — *было:* который подробно знает все свойства эфира (которого существование не доказано), так же

31 *Вместо:* таковы, например, Бонне́т, Шуберт, Зуев — *было:* такова шведская школа и др.

*Стр. 20*

1–2 *Вместо:* От неполноты, от недостатка методы. Кажется, можно принять сие мнение — *было:* Кузень говорит, что от неполноты, от односторонности методы. Мы так же думаем

11–15 *Вместо:* Мышление человеческое ∞ терялся в реальном — *было:* Мышление человеческое, с того времени как человек начал обращать внимание на познающее и познаваемое, раздвоилось. В самом противуположении нашего «я» и природы находим зародыш этой двойственности. Человек, редко умеренный, всегда увлекаемый первою мыслию или первым впечатлением, не стремился соединить противуположности, но исключительно предавался либо внутреннему, либо внешнему, тонул в идеальном или терялся

---

[1] Мыслю, следовательно существую (лат.).— *Ред.*

[2] Что сталось бы с нашими душами, подвижными, волнуемыми невидимым пламенем, не будь они свободны? От желаний наших, поступков, радостей, огорчений — словом, от существа нашего, не осталось бы ничего (франц.).— *Ред.*

в реальном. В Индии уже видим пример сему; в самом начале философии греческой встречаем элеатиков и ионийцев; в [Афинах,] Греции, где все изящно, изящнейшим образом выразилось и раздвоение сие Платоном и Аристотелем.

27 *Вместо:* только края ее — *было:* только стороны ее. Хотя двойство сие и всегда существует

27–28 *Вместо:* Почти все естествоиспытатели приняли методу Бакона — *было:* Метода опытная легка, ее девиз — терпенье, и почти все естествоиспытатели приняли методу Бакона;

35 *После:* проникает далее чувств».— *было:* Мы почли за нужное сказать сие для того, чтоб яркою чертою отделить Бакона от большей части его последователей, ибо как было бы горько, ежели бы нас обвинили в неблагодарности к лорду Веруламскому, которого память должна быть священна для потомства. Может, в философии он поразил смертельным ударом схоластику.

*Стр. 21*

15 *После:* по таким-то частям — *было:* Тут и опровергать нечего, но предложим вопрос

27–28 *Вместо:* Вольтера, все низвергающего; — *было:* Вольтера, все низринувшего;

28 *Вместо:* Национальное собрание 89 года — *было:* благородное, возвышенное, умеренное Законодательное собрание —

29 *Вместо:* Бонапарт — *было:* консул Бонапарт

30 *Вместо:* середины? — *было:* середины — juste milieu?

*Стр. 22*

3 *После:* полного познания.— *было:* Сначала ум человеческий дробит предмет, рассматривает, так сказать, монады его, потом складывает их, обозревает целое и тогда уже имеет отчетливое знание предмета.

9 *Вместо:* а физиология — *было:* а психология, физиология

32 *После:* желтый, посиневший.— *было:* Это — порывистая, клокочущая душа, убитая в [классической] французской трагедии прошлого века.

*Стр. 24*

12–13 *Вместо:* соединить методу ∞ слитие — *было:* соединить браком методу рациональную с эмпирическою. А для того, чтоб брак был счастлив, необходимо равенство и полное слитие

*Стр. 25*

4–6 *Вместо:* принадлежит юным идеям ∞ ежели послужит — *было:* принадлежит новым идеям, столь исполненным надежд, и я весьма счастливым сочту себя, ежели послужу

7 *Вместо:* Теперь — *было:* Да теперь

29 *После:* духу времени — *было:* в лице Ройе-Коллара, Кузена и их последователей.

## ‹РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, КАК И ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА...›

*ВАРИАНТ РУКОПИСИ (ПД)* [1]

‹1›

[В жизни государства есть два весьма различные состояния— состояние бытия и состояние переходное, транзитное; первое есть цель, второе — средство, [первое] второе готовит, первое пользуется. Люди, правила,

[1] Два черновых наброска (оба зачеркнуты) на лицевой стороне листа. Окончательный текст — на обороте листа.

идеи, способы состояния переходного не годятся состоянию первому. Гизо, принужденный после 30 июля отказаться от министерства, с свойственною ему благородностию говорил, что весьма справедливо, что его исключили, ибо люди, производящие переворот, не годятся в состоянии спокойствия. [Оставляя спокойное государство, влиянием на его состояние переворотное. Повидимому, важнейшее средство делать перемены в государстве имеют народные представители и, за неимением их, общества, составленные из людей всех сословий; сокращая, сосредоточивая в себе государство, они проявляют собою все потребности его; но рассматривая все значительнейшие перевороты, мы нигде не видим, чтоб они] Первое есть причина, второе — [действие] следствие, наконец, первое — *действование, достижение*].

<2>

[[Рим] Было ли когда-либо общество гражданское, более привязанное к свободе, как Рим, Рим как я всякого гражданина, сливавшего свою индивидуальность с своим отечеством. Несмотря на эту привязанность к свободе, на привычку к жизни общественной, республиканской, при всякой сильной опасности, угрожавшей державному городу, избирали диктатора, а всем известно, сколь велика, сколь неограниченна была власть диктаториальная. Для чего же это? Для того, что тогда надлежало действовать, а одно из главных условий успеха всякого действия есть *единство* (unitas). Пусть прежде обдумывают и рассуждают, нужно ли действовать, но когда пора действовать, тогда надобно *единство воли* и страдательное повиновение.]

## ДВАДЦАТЬ ОСЬМОЕ ЯНВАРЯ

### *ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЦГИАМ)*

*Стр. 30*

[3] *После:* 28 января,— *было:* Петр, коего деяния имеют изящный иероглиф в его Полтавском бое. Он боролся с мощным врагом и с мраком ночи, который тогда только стал редеть, тогда решился пропустить сквозь себя первые лучи зари, когда великий начал побеждать. Русские забыли зарю полтавскую, солнце Аустерлица памятно у французов!

*Стр. 31*

[10] *После:* новыми.— *было:* Может, не так ясен путь, по коему она достигает к своей цели, но мы скажем, смело опираясь на Гизо, на Тьерри и других, что своим развитием [она] Европа обязана борьбе противуположных стихий в каждом государстве. Условие всякой жизни, всякой производимости есть борьба, противуположение разнородного — одним словом, *оппозиция*. Оппозиция между побежденными и победителями, между общинами и феодалами, между парламентами и королями, между whigs и tory [1] развилась не в ровной степени во Франции, в Англии, в Италии, в Германии.

[27] *После:* обычаи — *было:* Не было оппозиции. Отсутствие оппозиции проявилось в Азии, в том краю, где какой-нибудь Китай, опустя одну сторону в океан, другою опираясь на необозримые степи, не живет, а существует.

---

[1] вигами и тори (англ.).— *Ред.*

*Стр. 33*

[27] *После:* Карл Великий — *было:* но набеги на Францию вынуждали раздробление набегающих в самом жерле их, и первый явившийся вождь должен бы был обратить оружие вне границ; что касается до политических мечтаний его и ученых заведений Карла Великого — забудем их. Примета, необходимое условие гениальности есть успех, иначе мы должны будем включить в число великих и Риензи, и Бабефа, и Малета, и...

*Стр. 34*

[16] *После:* другого.— *было:* Возвращаемся к Петру; он явился solus, nudus, pauper [1], что́ могло расположить его к деятельности, что́ было хотя отдаленным поводом его развития, как не он сам?

[31] *После:* их цели — *было:* один выполнял требования времени и быстрее устремил Рим к гибели, другой опередил свой народ и вознес свою родину к просвещенью и назначил ей место в европейском организме.

## ДЕНЬ БЫЛ ДУШНЫЙ...

### *ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ПД)*

*Стр. 52*

[14–18] *Вместо:* Тридцать верст Москвы, этого иероглифа всей России, опоясанной узкой рекою, инде облитой полосою света, инде затемненной облаком, стелились перед нами, с своими минаретами-колокольнями, домами, Кремлем, Иваном Великим, с своей готической, вольной неправильностью.— *было: а)* Москва стелилась перед нами своими тридцатью верстами, Москва с своими минаретами-колокольнями, домами, Кремлем, Иваном Великим, с своей готической, вольной неправильностью. *б)* Тридцать верст Москвы стелились перед нами, с своими минаретами-колокольнями, домами, Кремлем, Иваном Великим, с своей готической, вольной неправильностью, Москвы, похожей на огромную кучу кристаллов, служащую иероглифом всей России.

## ЛЕГЕНДА

### *ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЛБ)*

*Стр. 81*

*На заглавной странице зачеркнут эпиграф:*

Fu, e non è...

. . . . . .

Non sarà tutto tempo sanza reda...

Del «Purgatorio»[2]

*Здесь же незачеркнутое посвящение* («Посвящено сестре Наташе») *и эпиграф (не зачеркнутый, вероятно, по ошибке):*

Non enim habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus.

Ep. ad Hebr., Cap. 13, v. 14[3].

*На следующей странице, перед текстом, повторены заглавие, итальянский эпиграф и посвящение.*

---

[1] одинок, наг, беден (лат.).— *Ред.*

[2] Был — и нет его... Не останется навсегда без преемника... — Из «Чистилища» (лат.). — *Ред.*

[3] Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Послание ⟨ап. Павла⟩ к евреям, гл. 13, ст. 14 (лат.).— *Ред.*

*Стр. 84*

[4] *Вместо:* И тут же, казалось, я слышал свист и смех, с которым встретило XIX столетие религиозное направление — *было:* И тут же казалось, я слышал свист и смех, с которыми встретило XIX столетие Сен-Симона.

*После рубрики:* II — *зачеркнут эпиграф:*

Io ritornai dalla santissim'onda
Rifatto sí, come pianto novelle
Rinnovellate di novella fronda,
Puro e disposto a salire alle stelle
Del «Purgatorio»[1]

*Стр. 87*

[23–24] *Вместо:* Не так ли ∞ возлюбленную? — *было:* Так трепещет человек, ведя к алтарю свою возлюбленную, так трепещет славолюбивый, касаясь первый раз до венца царского, несмотря на то, что тот и другой ставили целью жизни получаемое ими в сии минуты.

*Стр. 93*

[27] *После:* свободы — *было:* мир рабствующий — слово равенства,

*Стр. 95*

[18] *Вместо:* Вавилона — *было:* мира старого

## ВСТРЕЧИ

### *ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЛБ)*

*Стр. 107*

*На заглавной странице эпиграф:*

Точкою пересечения называется место встречи двух линий.

Франкёр. Курс чистой математики. Т. I. Прямолинейная геометрия.

*Далее зачеркнут второй эпиграф.*

Wahrheit und Giehtung[2]

Заглавие Гётевой аутографии

*На следующей странице, перед текстом, повторены заглавие и русский эпиграф из Франкёра, с пропуском слова «прямолинейная».*

## ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

### *ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЛБ)*

*Стр. 108*

*Заглавная страница. Не зачеркнуто прежнее название* «Германский путешественник».

*Далее зачеркнут эпиграф:*

Parmi les nations qui figurent maintenant sur la scène du monde Européen, il n'y a pas une seule qui connaisse l'esprit de notre siècle.

L'empereur Napoléon[3]

*Далее следует посвящение Сазонову (не зачеркнутое).*

---

[1] Я вернулся из священных волн, преображенный, как молодое растение, обновленное новой зеленью; я был чист и был готов подняться к звездам. — Из «Чистилища» (итал.). — *Ред.*

[2] Правда и поэзия (нем.). — *Ред.*

[3] Среди наций, выступающих теперь на европейской арене, нет ни одной, которая постигала бы дух нашего века.

Император Наполеон (франц.). — *Ред.*

*Заглавие над текстом на следующей странице. Вместо:*
«Первая встреча» — *было:* «Германский путешественник»
*Далее зачеркнут тот же эпиграф из Наполеона и вместо него вписан эпиграф из Гёте (см. основной текст).*

*Стр. 110*

11–12 *Вместо:* Я с трепетом ∽ живут.— *было:* Я с ужасом и недоумением смотрел, как они попирают ногами то, что я привык считать святым,— но как юноша восхищался их огненною деятельностью.

*Стр. 110—111*

34 *Вместо:* Сен-Жюста ∽ филантроп...— *было:* Сен-Жюста, многим ли он старее тебя, а сколько уже голов аристократов и федералистов пали по его мановению, оттого, что он филантроп.

*Стр. 113*

36 *Вместо:* не будет ренегатом — *было:* не изменит той чистоте характера, с которою выступил на поприще еще у Вашингтона

*Стр. 116*

20–21 *Вместо:* обозначился грозный характер переворота — *было:* обозначался грозный характер революции

*Стр. 118*

16 *Вместо:* карбонаро — *было:* эхо du côté gauche[1]

20 *После:* герои,— *было:* чье сердце оставалось холодно при имени Лас-Каза, которого приверженность к Наполеону дошла до религиозности, до фанатизма, может сердце какого-нибудь Кастельрига... ибо

## ВТОРАЯ ВСТРЕЧА

### *ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЛБ)*

*Стр. 123*

*Заглавие. Вместо:* «Вторая встреча»—*было:* «Первая встреча».

*Стр. 125*

29 *Вместо:* своей дебелостью — *было:* своим брюхом

*Стр. 127*

20–22 *Вместо:* и чугунные заставы ∽ едва виднелась — *было:* чугунные заставы, черные, величественные, замыкают его с обеих сторон. Скупа природа того края, едва была видна

*Стр. 130*

16–18 *Вместо:* с лихим усачом в военной шинели на козлах, который, беспрерывно поправляя пальцем в своей трубке, погонял ямщика— *было:* с жандармом на козлах, который, беспрерывно поправляя пальцем в своей трубке, напевал песню.

## ЭТО БЫЛО 22-го ОКТЯБРЯ 1817

### *ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЛБ)*

*Стр. 136*

12 *Вместо:* пламенной мысли и пламенного чувства — *было:* сильной мысли и сильного чувства

*Стр. 137*

5 *Вместо:* отчего дома — *было:* родины

8 *После:* ангелов — *было:* изливавший кроткое, нежное сияние

---

[1] левых (партий) (франц.).— *Ред.*

## ЕЛЕНА

### *ВАРИАНТЫ (ЛII*[1]*)*

*Стр. 169*

[38] *После слов:* Это было 15 июля, после вечерень.— *следовал эпилог*[2]*:*

Через десять лет

Князь дописывал свой проект, очень торопился во дворец и сердился чрезвычайно, что по происках Вламитинова и Козодавлева его приковали к стене на цепь. Я видел его в этом ужасном положении. Голова была обрита, черты лица отвратительны; в длинном белом халате сидел он на полу, смотрел прямо в солнце и беспрестанно писал на лежавшем перед ним листе бумаги.

— Покуда есть белая бумага,— сказывал смотритель,— он сидит смирно; исписал — и беда с ним: «во дворец» — да и только!

Княгиня была тогда игуменьей Девичьего монастыря. Живя неземную отдавала она богу; каждый день ходила молиться на могилу Елены, чтобы бог взял ее на небо; молиться о выздоровлении князя она уже перестала. С нею виделся один Иван Сергеевич.

## ВИЛЬЯМ ПЕН

### *ВАРИАНТЫ (ЛII)*[1]

*Стр. 199*

[20] *После стиха:*

Осмелился не дать — слуга Христов!

*было:*

Они — служители Ваала, не
Христа. Позор на них, на фарисеев.
Мы помогли им иго папства свергнуть,—
Нужна была тут грудь властатая
И жесткая рука простолюдина;
Тогда ласкали нас... А вышло что ж?
Себе они искали прав, искали,
Чтоб им из десятины беззаконной
Дележки с Римом не чинить, а брать себе!
Теперь не нужны мы, опять мри с голоду,
Простолюдин! Да будет ли конец
Безбожному такому безобразью?
Я давеча сказал: тяжел нам крест
Господь на наши рамена кладет.
Нет, не господь — он благ, он сына своего
Единородного на землю посылал
К нам, бедным, неимущим;
Людскими тот руками крест поставлен,
На глупости он нашей водружен
Антихристом в овечьей шкуре.
Господь ждет пробуждения сынов,
И утро скоро, скоро уж займется,
Уж петухи не раз кричали громко

---

[1] См. комментарии, стр. 500—501.
[2] См. комментарии, стр. 508.

[36] *После стиха:*

Имел над божиим созданьем он?

*было:*

Все эти лорды, сиры, камергеры,—
Лакеи подлые и больше ничего.
Награбили откуда денег тьму такую?
Пол государственных доходов,
Исторгнутых с клоками мяса
У бедняков, у поселян, им в дар
Идут, а на два пенса пользы нет
От всех.. Я видел их житье-бытье
При Иакове, покойном короле,
И волос становился дыбом у
Меня. Нам в голову с тобою не
Придет, что ежедневно делают
Они; мы покраснеем от рассказа
Об их богоотступной жизни.
А на другую половину денег
Солдат содержат, чтобы нас душили,
Чтоб лили кровь таких же христиан,
Как ты и я; ну, мудрено ль, что при
Таком премудром учрежденье
Мрет с голоду честной и добрый гражданин?
А представители Христа молчат —
Епископы, искариотские Иуды..
Дай пуританам помощь бог,
Они раскрыли их проделки.

*Стр. 204*

[16] *Перед стихом:*

Привел бы я сюда взглянуть

*было:*

Вот ядовитые плоды от древа,
Растущего из внутренностей ада,
Плоды раздора и войны кровавой.

*Стр. 207*

[28] *После стиха:*

Которым хвастаетесь вы всегда?

*было:*

В последний, может, раз ты слышишь
Простолюдина грубые слова,
Дай бог, чтоб ты когда-нибудь их вспомнил.

*Стр. 216*

[35–36] *Вместо строк:*

Наряд; смиренье подобает нам,
Мы братия одной семьи

*было:*

Наряд.— от падшего нам ангела
Проклятое наследье он. Сидон,
И Тир, и Вавилон развратный
Виссоном и порфирой покрывались
И пали перед грозным Иеговой.
Смиренье подобает нам,
Зане мы братия одной семьи,

*Стр. 226*

[12] *После стиха:*

Которая зарежет больше братий?!

*было:*

Вы христианами зоветесь,
А себялюбие, пивное и злое,
Царит во всех делах и направляет их
К корысти, алчности, стяжаньям.
Но что ужаснее,— все это

[14] *Вместо стиха:*

Насилье, рабство

*было:*

Насилье, рабство в право возвели,

*Стр. 230*

[14] *После стиха:*

Страдали бы, согбенные работой?

*было:*

Откуда взяли вы, что нет
Возможности именья поравнять
Иль их распределить законно?
Доселе никто об этом не старался,
И все владеют лишь по давности
Одной,— закон нелепый и безумный!
Когда же насилье меру превосходит,
И бедный голос думает поднять,
Вы плахой, кровью, пыткой и цепями
Ответ даете угнетенным братьям!

*Стр. 231*

[8–9] *Вместо стихов:*

Но ежели б вы вникли, лорд,
В науку права и «Corpus Juris» прочитали...

*было:*

Но их ученые трактаты
В республиках ученых и хранились,
А это явный бунт, восстановленье
Плебеев, пролетариев против сената,
Восстановленье сына на отца,
За это diminutio capitis[1]
В законах даже децемвиров:
И где вы видели пример народа,
От ассирийской монархии древней
До наших дней, где б не было различья
Богатых с бедными, патриция
С плебеями?

Вильям

Что мне до этого за дело?
Все царства беззаконно начались,
И плод их беззаконен был,
И смерть лежала в их груди. Нам грех
Примеры брать с неозаренных светом;
Они на силе и корысти утверждали
Основу царств; на слове божьем мы
Должны бы были строить наши.

Доктор юриспруденции

Однакоже, позвольте, сир, никто,
Ни Гуго Гроций, ни сам Макиавель,

[1] лишение гражданских прав (лат.).— *Ред.*

Не сомневаются, что право римское
Предел есть высший...

*Стр. 232*

Вильям

Сомневаюсь я

[11] *После стиха:*

Мы реки крови не польем, как Лютер,—

*было:*

Кальвин — женевский папа, гугеноты,—

*Стр. 238*

[11] *Вместо стиха:*

Они не виноваты;

*было:*

Вот состояние, в котором держат их!
Они не виноваты грубость их,
Как у детей, проста и безыскусна,

*Стр. 240*

*Сцена VI начиналась стихами:*

Фокс

Скажи, скажи, мой сын, какая мысль
В твою запала огненную душу?
Я исповедь твою принять готов.

*Стр. 241*

[34] *После стиха:*

Настолько спросится судьей правдивым.

*было:*

Конечно больше б сделать мы могли,
Но точно ль, не оттого ли плод наш мал,
Что малы сами мы душой и верой?
О, сколько нам еще работы
Внутри себя! Нет, не придется нам
Сидеть сложивши руки никогда.

*Стр. 243*

[37] *Вместо стиха:*

Его начнем мы воздвигать.

*было:*

Его начнем мы воздвигать. Велик
Он будет, светел и обширен.
Петровской церкви в Риме больше
И краше всех соборов, колоколен.

*Стр. 247*

[23] *После стиха:*

Евангельской общины в новом мире?

*было:*

Ведь римские и патриархи
Восточные о водворении мечтали
Христовой веси на земных началах,
И лишь наружный храм они кой-как
Создали; Лютер и Кальвин умом
Сион Христов соорудить хотели,
И он при них уж колебаться стал:
Во всех них чистоты той не было
Небесной, детской безусловной,
В апостолах которую мы видим;
А без нее нет веры истинной,
И нет любви, и нет надежды.

[27] *Вместо стиха:*

Их цель была бежать от притеснений

*было:*

С иною мыслью ты поедешь, знаю я,
И потому будь осторожен,
Не погуби в начале самом мысль,

*Стр. 249*

11–14 *Вместо стихов:*

О, если так, отец ~
Я мысль свою не смею скрыть,—

*было:*

О бог мой, если это так, молю,
Меня, как Моисея, не пускай
В обетованную страну.
Позволь мне путь лишь указать другим,
Достойным, чистым и невинным,
А сам усну спокойно
В пространном лоне океана
И с радостью взгляну, как надо мной
Закроется прозрачная стена,—
Тогда я совершил мое земное,
Но мысль свою я скрыть не смею.

## ЗАПИСКИ ОДНОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

### А. *ВАРИАНТЫ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА (ПД)*[1]

*Стр. 262*

7–9 *Вместо:* В русской грамоте ~ Мефодия.— *было:* Лизавета Ивановна водила меня в сад гулять, пеклась обо мне день и ночь; за это я день и ночь досаждал ей Выдергивал спичку из чулка опускал петлю, сыпал песку в табакерку. В русской грамоте мы оба тогда не были далеки и, кажется, взаимно обучали друг друга — с тех пор я выучился по толкам, а она умерла и следственно [не выучилась] из прямых рук может доучиваться у Кирилла и Мефодия. Лизавета Ивановна любила меня до того, что взяла все меры до тла меня испортить, покрывши шалости, оставляя полную волю и, кажется, успела. По мере того как

### Б. *ВАРИАНТЫ ПЕРВОПЕЧАТНОГО ТЕКСТА (ОЗ)*

*Стр. 259*

14 *К словам:* по углам — *в ОЗ подстрочное примечание:* См. «Отечественные записки», 1840, кн. 5.

*Стр. 260*

11 *Слов:* в апокалипсисе — *в ОЗ нет.*

12 *К словам:* в Греции — *в ОЗ подстрочное примечание:* Не Зевсом ли на Олимпе?

31–32 *Слов:* и я очень жалел, разумеется, юношу — *в ОЗ нет.*

*Стр. 264*

21 *Вместо:* обстоятельства совершились — *в ОЗ:* обстоятельства совершались

*Стр. 269*

10 *После:* с нашей литературой — *в ОЗ:* О другом, о другом...

---

[1] См. комментарии к отрывку «К „Симпатии"», стр. 519.

*Стр. 279*

[8] *Вместо:* Шекспира, Пушкина — *в ОЗ;* Шекспира, Шиллера, Пушкина

*Стр. 285*

[17] *Вместо:* свои похождения в Москве, на Мещанской — *в ОЗ:* свои похождения

*Стр. 290*

[13] *Вместо:* о Москве и о Филарете — *в ОЗ:* о Москве и о прочем.

[37–38] *Слов:* Ред. «Отечественных записок»: Каков махиавеллизм.— *в ОЗ нет.*

*Стр. 293*

[32] *Вместо:* всякую доблесть; — *в ОЗ:* всякую доблесть (прошу не забывать, что я говорю о Малинове),

*Стр. 297*

[29] *Вместо:* Пьяный *квартальный* — *в ОЗ:* пьяный сторож

*Стр. 306*

[9] *Вместо:* вексель — *в ОЗ:* заемное письмо банкира

*Стр. 313*

[4–5] *После:* знаниям эмигранта.— *в ОЗ:* Во Франции, кроме «Вертера», не было ни одного из его сочинений.

*Стр. 315*

[21] *После:* Мы пошли...— *в ОЗ:* 1838. В⟨ладимир⟩ н⟨а⟩ К⟨лязьме.⟩

## ⟨НЕДОЛГО ПРОДОЛЖАЛОСЬ ЕГО ОДИНОЧЕСТВО...⟩

### *ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ПД)*

*Стр. 317*

[14] *Вместо:* Огромный дом,— *было:* Огромный дом мелочной а⟨рхитектуры⟩,

*Стр. 318*

[15–25] *Вместо:* В один прелестный ∞ от ложного стыда — *было:* Я недавно посетил с моим другом эту дачу; величественный парк, дом, начинавший разрушаться, прелестный июльский вечер — все располагало нас к разговору душевному, черпаемому из внутренностей души нашей. Мы радовались, что могли сбросить с себя условную форму общежития, может, полезного во многом, но тяжкого, как все кандалы. Мы сели на лавку возле пруда, и мой друг [изливал] переливал мне душу свою следующею огненною речью.

## К «СИМПАТИИ»

### *ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ПД)*

*Стр. 325*

[1–2] *После:* приближаешься к ней».— *было:* Локон волос послала она ей, и она расцеловала ее локон.

[6] *После:* генеральский чин,— *было:* и филатурную [1] фабрику

---

[1] прядильную.— *Ред.*

## ‹ЧТОБ ВЫРАЗУМЕТЬ ЭТУ ИСПОВЕДЬ СТРАДАЛЬЦА...›

### *ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ЦГЛА)*

*Стр. 329*

17–18 *Вместо:* гражданина женевского — *было:* энергического женевца

29–31 *Вместо:* плохо понимал. Я искал ∽ но без тела.— *было:* плохо понимал, и абстрактные существа, какие-то тени, едва имевшие образы человеческие, мне нравились в поэзии, так как абстрактные идеи составляли весь запас мышления. Потому-то Шиллер и есть по превосходству поэт юношей, что его фантазия выражала не полный человеческий элемент, как у Шекспира, а один юношеский со всеми увлечениями и мечтами его.

*Стр. 330*

4 *Вместо:* против грубого сенсуализма — *было:* против ужасного сенсуализма

5 *Вместо:* узкие истолкования — *было:* узкие истолкования [происхождения идей от чувства, уничтожения [из материи, человека] без души, самый холодный, нелепый деизм их были мне противны] всего духовного, мысли, бога, рат la raison naturelle[1].

6 *Вместо:* воззрения — *было:* животного воззрения

9 *Вместо:* когда я вадумал заняться естественными науками — *было:* когда я вдруг сосредоточил все свое внимание на естественные науки

11 *Вместо:* ему я обязан — *было:* может, ему я обязан большею

## ЗАПИСКИ А. Л. ВИТБЕРГА

### *ВАРИАНТЫ РУКОПИСИ (ПД)*

*Стр. 380*

4 *Вместо:* европейской войны — *было:* всемирной войны Наполеона

*Стр. 382*

2 *После:* ‹в› 1812 году — *начато:* Граф, увидевши у конференц-секретаря Лабзина мою картину «Марфу Посадницу», был

35 *Вместо:* одаренный горячею душою — *было: а)* приведенный в восторг *б)* одаренный плам‹енною› душою

*Стр. 391*

35 *Вместо:* Многие другие особы показывали внимание.— *было:* Многие особы в Москве оказывали чрезвычайное внимание моему про‹екту›

*Стр. 399*

29–30 *После:* прислали и диплом.— *было:* Диплом этот был маленьким утешением в больших неприятностях.

*Стр. 403*

39 *После:* из 5000 рублей.— *было:* На это возразил я, что весьма высоко ценю милость госуд‹аря›, но что же я буду делать в Кабинете; гораздо лучше желал бы я поместиться где-нибудь по ведомству Путей сообщения.

— Хорошо,— сказал князь, помолчав,— я вам дам письмо к генер‹алу› Бетанкуру.

*Стр. 401*

37 *Вместо:* странно и грозное приглашение — *было:* странно и страшно грозное приглашение

---

[1] по естественным соображениям (франц.).— *Ред.*

*Стр. 408*

[40] *Вместо:* привлекает небеса — *было:* привлекает самые облака

*Стр. 409*

[20] *Вместо:* проекционную линию — *было:* дистанционную линию

*Стр. 411*

[6] *Вместо:* терраса покрывалась досками.— *было:* деревянная терраса приводилась к окончанию, прежде нежели самые столбы ее были надл⟨ежащим⟩

*Стр. 415*

[32] *Вместо:* поразил — *было:* убил

*Стр. 426*

[31] *Вместо:* к новому извороту — *было:* к новому средству

*Стр. 431*

[30] *Вместо:* Вскоре получил я серебряную медаль.— *было:* В течение четырех лет я кончил курс Академии и был удостоен двумя серебряными и двумя золотыми медалями.

*Стр. 436*

[6] *Вместо:* никакой симпатии — *было:* никакого эстетического чувства

*Стр. 441*

[12] *Вместо:* участие в последних обстоятельствах.— *было:* участие в отечественной войне.

# КОММЕНТАРИИ

В первый том входят произведения Герцена, относящиеся к 1829—1841 годам. Произведения эти отражают идейно-политическое, философское и художественное развитие молодого Герцена. Это первые вехи на том пути, которым Герцен, дворянский революционер, шел к революционной демократии, Герцен-романтик — к материализму в философии и реализму в художественном методе. По этим произведениям можно проследить, как юношеские романтические, идеалистические воззрения Герцена, по собственному его выражению, перерабатывались «в революцию, в социализм».

От последующих томов настоящего издания первый том отличается тем, что он состоит преимущественно из произведений, которые не были напечатаны самим Герценом ни в период их создания, ни позже. Это объясняется и тем, что мы имеем дело с опытами начинающего писателя, чаще всего незавершенными, и тем что ссыльному Герцену особенно трудно было выступать в печати.

Фрагментарность в той или иной степени присуща большей части материалов тома. Тексты, представляющие собою мелкие заметки дневникового и альбомного характера, а также тексты, явно не имеющие начала или конца, помещаются вслед за основным разделом тома под рубрикой «Наброски. Отрывки. Отдельные записи». Сюда же отнесен отрывок «К „Симпатии"», так как он представляет собой вставку в текст не дошедшего до нас произведения.

В раздел «Другие редакции» отнесен текст «Scenario двух драматических опытов». Это изложение «Лициния» и «Вильяма Пена» не могло быть включено в основной текст первого тома, так как оно относится к 1860-м годам. С другой стороны, эту краткую прозаическую редакцию ранних драматических опытов Герцена невозможно оторвать от герценовской проблематики 1830-х годов, которая нашла в них ретроспективное отражение.

В разделе «Приложения» помещены те герценовские тексты, которые нельзя считать всецело ему принадлежащими. Раздел начинается студенческими переводами и рефератами, затем идут произведения Герцена, связанные с его служебной деятельностью в Вятке и во Владимире. Это «Речь», произнесенная Герценом по случаю открытия Вятской публичной библиотеки и обработанная для печати, по свидетельству Герцена, вятским

губернатором Корниловым. Это заметки Герцена в «Прибавлениях» к «Вятским губернским ведомостям» и «Владимирским губернским ведомостям», которые не являются, в сущности, сочинениями Герцена, а представляют собой либо обработку официальных материалов губернских статистических комитетов, либо информационные сообщения «От редакции». Наконец, в качестве одного из приложений печатаются «Записки» архитектора Витберга, создававшиеся при участии Герцена.

Раздел «Варианты» состоит в основном из разночтений рукописного текста (приводятся важнейшие зачеркнутые или переделанные места из рукописных редакций). Лишь для «Записок одного молодого человека» имеются и приводятся также варианты первопечатного текста.

В первый том настоящего издания введены следующие статьи, заметки и отрывки, отсутствовавшие в «Полном собрании сочинений и писем» Герцена под редакцией Лемке: 1) полемическая статья <«Развитие человечества, как и одного человека...»>; 2) автобиографический отрывок <«Недолго продолжалось его одиночество. .»>; 3) «Несколько слов о лекции г-на Морошкина...» (печатается впервые); 4) путевой очерк «Письмо из провинции»; 5) заметка из «записной тетради 1836 г.» <«Гретхен, в которую был влюблен Гёте...»>; 6) заметка из «записной тетради 1836 г.» <«Итак. Протестантизм и Густав-Адольф...»>; 7) запись в альбом В. А. Витберг <«Усталый путник...»>; 8) отрывок <«чтоб выразуметь эту исповедь страдальца...»>; 9) статья «Русские крестьяне Вятской губернии»; 10) заметка <«В прошлых листках „Прибавлений"...»>.

С другой стороны, в издание не вошли три текста 1830-х годов, которые приписывались Герцену: 1) диалог «Толпа» («Разговор на площади»), 2) набросок полемической заметки «Когда мы встречаем в какой-либо статье...» и 3) статья «Владимирская публичная библиотека» (речь при открытии библиотеки). Установлено, что рукописи, по которым были опубликованы первые два текста — в № 6 «Звеньев» (1936) и № 3 «Литературного архива» (1951),— в действительности являются автографами Огарева, а не Герцена. Что касается третьего текста, то он был опубликован в «Прибавлениях» к «Владимирским губернским ведомостям» за 1838 г., № 8 за подписью Герцева. Однако в 1862 г. Герцен писал по поводу статьи «Владимирская публичная библиотека»: «Сколько я ни ломал себе голову, этой статьи совсем не помню, а знаю наверное, что при открытии библиотеки во Владимире я не был. Очень вероятно, что я подписал статью, писанную моим товарищем по редакции, кандидатом Небабой <...>» («Личное объяснение» — «Колокол», л. 135).

Произведения, вошедшие в первый том, печатаются по источникам различного характера: по автографам, по прижизненным изданиям, выходившим под контролем автора, по прижизненным изданиям, выходившим без его ведома или контроля, наконец, по текстам позднейших публикаций, первоисточники которых утрачены или считаются до сих пор неразысканными.

## О МЕСТЕ ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ

Печатается по черновому автографу (*ПД*). Подпись: *Ал. Герцен*. На обороте заглавного листа рукой Герцена написано: «Не волнуй ты душу вновь». Впервые опубликовано в *Л1*, 71—82.

Рукопись была изъята у Герцена при его аресте в 1834 г., побывала в Следственной комиссии, находилась затем в архиве III Отделения, оттуда неизвестным путем попала к антиквару, была приобретена Лемке и впоследствии передана им в *ПД* (см. *Л1*, 525). Такова же судьба печатаемых в настоящем томе рукописей «День был душный» и «Программа и план издания журнала».

---

«О месте человека в природе» — первая из известных нам философских работ Герцена. Она отражает совершенно еще не устоявшийся склад мировоззрения Герцена студенческих лет, а вместе с тем глубину и плодотворность его идейных исканий этого периода. Он только еще ищет верный философский путь, пытаясь оттолкнуться как от немецкого идеализма[1], так и от метафизического материализма, подвергая критике тот и другой.

Ограниченность метафизического материализма молодой Герцен видит в том, что под углом зрения этого философского направления «все идеальное, духовное исчезло, мышление истолковалось домашними средствами из *особого* расположения органов». С другой стороны, в идеализме «всю природу подталкивают под блестящую гипотезу и лучше уродуют ее, нежели мысль свою».

Было бы неверно, разумеется, рассматривать Герцена 30-х годов как материалиста. Но, не давая еще ясного ответа на основные философские вопросы и еще сильно колеблясь, Герцен пытается найти решение их в таком направлении, которое в дальнейшем вело к материализму, свободному от метафизического представления о природе.

Мысль, что человек умозрением узнал законы природы, «сбегающиеся с законами его мышления», уже показывает нам тот трудный путь, идя по которому Герцен позднее пришел к последовательно материалистическому утверждению о том, что «законы мышления — сознанные законы бытия» («Письма об изучении природы». Письмо первое). Рассматривая же в своем первом философском сочинении законы бытия и законы мышления лишь как «сбегающиеся», Герцен тем самым еще оставляет место идеалистическому объяснению возникновения последних.

---

[1] Для более полной оценки той критики идеализма Фихте, которую дает Герцен в статье «О месте человека в природе», необходимо иметь в виду его замечания о Шеллинге и Гегеле, содержащиеся в письме к Огареву от 1 августа 1833 г. и направленные против реакционного характера систем этих философов.

Уже в комментируемом сочинении Герцен ставит вопрос, который волновал его и в позднейших работах,— вопрос о сочетании «опытной методы», «эмпиризма» с «умозрением». В поисках решения этого вопроса, т. е. в поисках философского метода, Герцен обращается к Бэкону и Кузену, но дает понять, что его не удовлетворяет методология ни того, ни другого. Герцен ищет диалектического философского метода (см. ниже комментарий к статье «Аналитическое изложение солнечной системы Коперника»).

Следует отметить замаскированный политический смысл статьи. Герцен, называя Вольтера «всё низвергающим», а якобинскую диктатуру «темным кровавым терроризмом», на самом деле намекает на свое сочувствие революции, ибо по-эзоповски иронически оценивает возможность того, чтобы «человек держался всегда середины», и указывает на цензурные рамки, препятствующие развитию его мысли.

Последние строки статьи, как и эпиграф из сен-симониста Эжена Родрига говорят о том глубоком впечатлении, которое на Герцена произвел сен-симонизм. Это идейное направление он имеет в виду, говоря о «новой школе». В 1828—1829 гг. в Париже появилось «Изложение учения Сен-Симона» («Doctrine de S.-Simon»). Авторы этого сочинения, ученики Сен-Симона, подчеркивали свою принадлежность к «школе», объединенной единством традиций и взглядов. Однако уже в письме Герцена к Огареву от 19 июня 1833 г. содержатся критические замечания о сенсимонизме, о его «нынешнем упадке».

---

Стр. 13. *Горе вам, книжницы...* — В полном виде цитата гласит (в переводе с церковнославянского): «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды».

*...по словам боговдохновенной геогонии* — по библейскому мифу о сотворении мира.

Стр. 14. *...неорудной* — неорганической.

*Надеемся, что г-н Максимович простит нам...*— Проф. М. А. Максимович употребил цитируемые Герценом слова в своей статье «О человеке», напечатанной в журнале «Телескоп», 1831, ч. V.

*Новая Голландия* — австралийский материк.

Стр. 15. *Орниторинх*— утконос, австралийское яйцекладущее млекопитающее.

Стр. 16. *...чрез materia viridis (Priestley) переливается тайножизненная природа в растительножизненную...*— Имеется в виду знаменитый опыт Джозефа Пристли (1771) с «исправлением» растениями воздуха, испорченного дыханием животных.

Стр. 19. *... Oken...* — Герцен цитирует сочинение Окена по изданию 1821 г. (Лейпциг).

Стр. 20. *...из перипатетических портиков.*— Речь идет об учении перипатетиков, последователей Аристотеля, колебавшегося между материализмом и идеализмом.

## <РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, КАК И ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА...>

Печатается по черновому автографу (*ПД*). Подпись: *Ал. Герцен*. Впервые опубликовано К. Н. Григорьяном в сб. «Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения», № 3, М. — Л. 1951, стр. 38—41. Датируется началом 1833 г. Основание для датировки: в статье говорится «ныне уже 1833 год» (в рукописи 1833 переделано из 1832).

---

В своей заметке Герцен полемизирует со статьей «Современный дух анализа и критики», помещенной в декабрьской книжке «Телескопа» за 1832 г. (ч. XI, № 19, стр. 273—309). Автор статьи проповедует абсолютную монархию, догматическую религию и не только с ненавистью говорит о революционном движении во Франции, но с реакционных, феодальных позиций осуждает любые проявления новой буржуазной культуры.

Статья появилась в «Телескопе» со следующим вводным примечанием: «Помещаем сию статью из „Эдинбургского обозрения" как живую, искреннюю, сердечную исповедь современного европеизма, глубоко чувствующего свое внутреннее растление и заслуженные бедствия, от которых благой промысел да сохранит навсегда наше любезное отечество! *Изд.*» (стр. 273). Однако обнаружить подобную статью в «Эдинбургском обозрении» («Edinburgh review») не удалось. Просмотр журнала за несколько предшествующих лет не дал положительных результатов.

Полемизируя со статьей из «Телескопа», Герцен не столько цитирует, сколько излагает мысли противника. Например, в «Телескопе»: «Английское законодательство, коему Британия обязана своею славой и богатствами, сделалось само собой, построилось, так сказать, из мелких штук и отрубков, самопроизвольным действием общественной мудрости, а не теоретически, не аналитически» (стр. 290); у Герцена: «не от анализа происходит польза, он только рушит, английская конституция развита не из одного начала, составилась из отдельных кусков и она-то обусловила славу» (см. наст. том, стр. 28). В ряде случаев оспариваемые положения Герцен подчеркивает. Однако последовательно это подчеркивание в рукописи Герцена не проведено. В шести случаях пришлось для ясности прибегнуть к курсиву, отделяющему изложение статьи «Телескопа» от герценовских полемических реплик.

Следственная комиссия, допрашивавшая Герцена в 1834 г., заинтересовалась комментируемой статьей, отобранной при аресте Огарева. «Вы сообщили г. Огареву писанную вами бумагу, заключающую в себе разбор одного автора, которого охуждаете за то, что он не одобряет революции, и сказали следующее: „Буйные и непокорные эгоисты не могут произвести добродетельнейшего общества". Что на сие ответствовать имеете?» Герцен отвечал: «Это — несколько беглых мыслей, явившихся мне при чтении статьи из „Эдинбургского обозрения", переведенной в „Телескоп" года два тому назад. Мысль мною порицается сия на том основании, что г. сочинитель не понял революцию 89 года; это было разрушение прошлого порядка, а он воображал, что цель их была образовать общество; что смысл фразы сей именно тот, доказывают в той же моей статье следующие слова Гизо: „Люди, участвовавшие в революциях, не могут быть в спокойном состоянии правителями". И еще далее: „Люди, правила, идеи, способы состояния переходного не годятся к состоянию, истекающему из оного"» (*ЛХII*, 349).

«Слова Гизо», на которые ссылается Герцен, отсутствуют в тексте статьи «Развитие человечества...», но они имеются в первом из двух зачеркнутых отрывков, находящихся на лицевой стороне того же листа рукописи, на обороте которого начинается названная статья. Таким образом, документально устанавливается, что первый отрывок («В жизни государства есть два весьма различные состояния») является вариантом комментируемого текста. Второй зачеркнутый отрывок («Было ли когда-либо общество гражданское...») также является, очевидно, вариантом статьи «Развитие человечества...». Затронутые в нем вопросы свободы и общественной организации связаны с ее проблематикой. Оба отрывка публикуются впервые (см. раздел «Варианты», стр. 462—463).

В архиве *ИД* хранится незавершенный набросок статьи, посвященной той же теме, что и комментируемый текст. В 1951 г. этот набросок был опубликован в № 3 «Литературного архива» (стр. 41—42) в качестве варианта статьи Герцена — «Развитие человечества, как и одного человека...» В действительности набросок принадлежит Огареву и написан его рукою. Содержание наброска показывает, что Огарев полемизирует со статьей «Современный дух анализа и критики» с позиций, аналогичных герценовским. Весьма вероятно, что оба наброска возникли в результате обмена мыслями между Герценом и Огаревым. Из материалов Следственной комиссии, цитированных выше, видно, что Герцен передал рукопись своей статьи Огареву.

---

Стр. 28. «*Un sot trouve toujours un plus sot qu'il admire*» — неточная цитата из «Искусства поэзии» Буало (у Буало: «qui l'admire»).

## ДВАДЦАТЬ ОСЬМОЕ ЯНВАРЯ

Печатается по черновому автографу (ЦГИАМ, фонд III Отделения). Подпись: *Александр Герцен*. На обороте последнего листа карандашная запись рукой Герцена: «На Божедомке, в доме бывшем Корсаковой, ныне Нарышкиной. В 10-м часу». Впервые опубликовано М. К. Лемке в «Былом», 1907, кн. 7.

Рукопись была конфискована у Герцена при его аресте в 1834 г. В тексте рукописи и на полях имеются следующие пометки Следственной комиссии, допрашивавшей Герцена:

Стр. 29, строки 15—17. *Подчеркнуто и знак NB*. Являющееся в беспредельных пространствах систем небесных повторяется в развитии человечества, коего орбита также вычислена...

Стр. 30, строки 2-3. *Знак NB*. подобно комете, не совершив круговорота, исчез, удалился за пределы нашего мира, век и семь лет тому назад, 28 января.

Стр. 31, строка 23. *Подчеркнуто и знак NB*. к такой оппозиции?

строки 30—34. *Отчеркнуто и знак NB*. В удельной системе (которая, может, произведенная феодализмом, совсем не совпадала с ним) не было ни оппозиции общин, ни оппозиции владельцев государю, а был элемент чуждый, особой формы деспотизм, сплавленный из начал византийских, славянских и азиатских.

Стр. 32, строки 10—12. *Подчеркнуто*. Частые перемены династий, даже междуцарствия, не возмущали мертвой тишины духа народного; просвещения не западало в него,

строки 14—16. *Подчеркнуто и знак NB*. Но наступило уже то время, когда Европа, наскучив феодализмом, начавшая исследовать все подлежащее уму, приготовлялась сделать огромный пир анализу...

Стр. 34, строки 16—18. *Отчеркнуто и знак NB*. Когда же мы обратимся к отчетливости, к познанию цели, то высота Петра делается еще яснее. Густав-Адольф, Александр Македонский, может быть, самый Наполеон...

---

«Двадцать осьмое января» — юношеская статья Герцена (1833), раскрывающая первоначальный процесс формирования его исторических взглядов. В этом произведении, озаглавленном по дате смерти Петра I, Герцен ставил перед собой две задачи: во-первых, дать непосредственную оценку деятельности Петра I и, во-вторых, оценить эту деятельность в свете послепетровского периода истории России. Разработке этих вопросов Герцен намеревался посвятить *две статьи* под

общим названием «Двадцать осьмое января». Однако статья вторая неизвестна; она либо не была написана, либо не сохранилась. В работе «Двадцать осьмое января» отражена попытка молодого Герцена подвести итоги своим размышлениям над рядом важных исторических проблем. Он ставит глубокие вопросы о закономерности исторического развития, о роли личности в истории, об источниках исторического прогресса, стремится выяснить отношения истории России к истории других стран Европы, определить особенности русского исторического процесса и на этой основе дает общий обзор русской истории до реформ Петра I включительно.

Просветительские убеждения молодого Герцена, идеалистический характер его исторических взглядов обусловили переоценку им личной роли Петра I, идеализацию его реформ, которые он сравнивал с французской буржуазной революцией конца XVIII века. При этом важно, однако, подчеркнуть, что Герцен не рассматривал русский народ в качестве пассивного объекта преобразований. Интенсивность и широту петровских преобразований Герцен объяснял тем, что Россия устремилась за реформатором «с мощностью и силою характера славянского» и Петр I мог опереться на энергию, мужество, трудовые и ратные подвиги своего народа, ставшего активной силой переустройства страны. Извлекая уроки из истории России, Герцен выражал патриотическую уверенность в ее великом будущем. Он был убежден в том, что в дальнейшем Россия должна «вместе с Европою стремиться к ее мете», к развитию «гражданственности» и «дальнейшей цивилизации (в обширном смысле)», чтобы вместе с нею войти «в фазу человеческую, в фазу гармонии», т. е. прийти к социалистическому устройству общества.

Таким образом, первое историческое произведение Герцена раскрывает самобытный и патриотический характер его исторических взглядов, их органическую связь с политическими воззрениями молодого дворянского революционера.

---

Стр. 29. *«Рекла: сей человек предел мой нарушил»*—цитата из «Надписи V» Ломоносова.

Стр. 30. *Ведета* — пост сторожевой службы, призванный охранять войска от нечаянного нападения противника.

Стр. 33. *...чудовище в латах и кольчугах...* — Младший сын Карла Великого, Людовик I Благочестивый, вступил на престол Франкского государства в 814 г. Результат правления его — разрушение империи Карла Великого, разделенной Людовиком между своими сыновьями.

Стр. 34. *Фарос* — маяк (по названию знаменитого в древности и в средние века маяка на острове Фарос у устья Нила).

Стр. 35. *...Софья-Доротея, принцесса Ангальт-Цербстская, жена голштинского принца Ульриха...*—До перехода в православие и бракосочетания будущая Екатерина II звалась Софья-Августа-Фредерика, принцесса Ангальт-Цербстская, а будущий Петр III—Петром-Ульрихом, герцогом Гольштейн-Готторпским.

*«Прадеду правнук»* — слова на памятнике Петру I, сооруженному по заказу Павла I перед Инженерным замком в Петербурге.

*Целая Франция оплакивала 5 мая...*— 5 мая 1821 г. умер Наполеон.

## АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ КОПЕРНИКА

Кандидатское сочинение Герцена. Печатается по писарской копии с поправками Герцена (*ЦГАЛА*). Без подписи. Дата — рукой Герцена. На обложке, внизу, надпись: *«Герцен.* Серебряная медаль».

К рукописи приложены визитная карточка Герцена и конверт с надписью его рукой:

«Имя и фамилия писавшего диссертацию под заглавием «Аналитическое изложение коперниковой солнечной системы» с эпиграфами:

In medio vero omnium residet Sol... et gubernat astrorum familiam.

N. Copernici Revolut. Lib. I, Cap. X.

Ich schau in diesen reinen Zügen
Die wirkende Natur vor meiner Seele liegen.

Goethe („Faust")».

Впервые опубликовано М. К. Лемке — *Л*I, 91—105.

---

Основное содержание работы определяется поисками единого диалектического метода познания, в котором «эмпирия» и «рационализм» находились бы в органическом единстве.

Под этим углом зрения Герцен критикует механическое и эклектическое соединение «методы рациональной с методой эмпирической», причем, однако, ошибочно отождествляет в этом вопросе позиции великого английского материалиста Бэкона и эклектиков типа Кузена.

Разрабатывая новый, диалектический метод, Герцен подчеркивает, что этот метод должен быть соединением анализа и синтеза. «Ни синтез, ни анализ, — говорит Герцен, — не доведут до истины, ибо они не что иное суть, как средства получения одного полного познания».

В комментируемой работе Герцен затрагивает также вопрос о соотношении «логического» и «хронологического» или исторического развития. Герцен указывает на «важность показать соотношения сих двух путей» и приходит к выводу, что «логическое» и «хронологическое» находятся в единстве, так как логический путь получает свое подтверждение в историческом развитии науки. Правда, здесь Герцен еще не говорит о том, что «логическое» есть осознание, отражение исторического — эта мысль была высказана им лишь много позднее, в «Письмах об изучении природы». В комментируемом же сочинении Герцен считает, что «логическое» и «хронологическое» «сбегаются».

Правильность единого метода Герцен доказывает тем, что этот метод соответствует историческому развитию науки. В качестве примера Герцен подробно разбирает этапы развития учения о солнечной системе. Подробно разбирает Герцен недостатки системы Птоломея, этого, по выражению Герцена, «искусственного создания ума человеческого». Высоко ценит Герцен взгляды Коперника, своим учением о солнечной системе совершившего переворот в науке. Анализируя «бессмертное творение великого человека» — «Об обращениях небесных сфер», Герцен уже в те годы правильно определил основную заслугу гениального польского астронома, которая состоит в том, что он свою теорию сумел «исторгнуть из самой природы», т. е. отразить в этой теории объективную реальность.

---

Стр. 36. *«Ich schau ∽ liegen».*— Слова из первого монолога Фауста, когда он видит знак макрокосма.

Стр. 37. *«Те, кто занимались науками ∽ средний способ...»* — Цитата приведена в сокращении. Полностью она читается так: «Те, кто занимались науками, были либо эмпириками, либо догматиками. Эмпирики, подобно муравью, только собирают и пользуются собранным. Рационалисты, подобно пауку, из самих себя создают ткань. Пчела же избирает средний способ, она извлекает материал из цветов сада и поля, но располагает и изменяет его собственным умением...» (Бэкон Веруламский. «Новый органон». М. 1938, стр. 78).

## «ДЕНЬ БЫЛ ДУШНЫЙ...»

Печатается по черновому автографу (*ИД*). Без подписи. На первом листе рукой неустановленного лица надписано: «Посвящено сестре Ольге. Под этим заглавием впервые опубликовано М. К. Лемке в «Былом»е, 1906, № 2, стр. 1—4. О судьбе рукописи см. комментарий к статье «О месте человека в природе».

---

7 июня 1833 г. Огарев писал Герцену: «Когда будешь писать о Воробьевых горах, напиши, как в этом месте развилась история нашей жизни...» («Русская мысль», 1888, № 7, стр. 6). А в письме от 6 июля того же года Герцен сообщает Н. А. Захарьиной: «У меня есть статья о Воробьевых горах (...) я о ней, кажется, уж говорил Вам». «День был душный...», несомненно, и является этой статьей, написанной, очевидно, в июне 1833 г.

Произведение это чрезвычайно характерно для революционных устремлений Герцена 1830-х годов. Революционное начало подчеркнуто запретным для того времени именем Рылеева (он назван «великим поэтом»). Романтическое противопоставление возвышенной мечты и «низкой действительности» Герцен насыщает острым социально-политическим содержанием. «Низкая действительность» оказывается здесь миром социального зла, несправедливости и насилия. Если образы священника, продающего рай, и судьи, продающего совесть, не выходят еще за пределы абстрактного обличения общечеловеческих пороков, то «будочник, утесненный квартальным» и в свою очередь притесняющий мужика, уже принадлежит вполне конкретной действительности крепостнического государства.

Насыщенная политическим, революционным содержанием тема клятвы на Воробьевых горах постоянно звучит в раннем творчестве Герцена и в письмах Герцена и Огарева. Письмо Герцена к Н. А. Захарьиной от 6 июля 1833 г. содержит как бы краткий вариант «статьи о Воробьевых горах». В нем упоминается о посещении Воробьевых гор в обществе Пассеков; быть может, с этим посещением связана и надпись: *«Посвящено сестре Ольге»*. Адресат посвящения — Ольга Васильевна Пассек, сестра Вадима Пассека и Людмилы Пассек.

---

С т р. 52. ...*вы Рафаил нашел столь близкого родного в Юлии*».— Произведение Шиллера «Philosophische Briefe» написано в форме переписки двух друзей, Рафаила и Юлии.

...*надгробный памятник великому намерению*...— На Воробьевых горах в 1817 году был заложен храм-памятник, в ознаменование победы в Отечественной войне 1812 года, по проекту архитектора А. Л. Витберга. Строительство не осуществилось. См. об этом подробнее в «Записках» Витберга, написанных совместно с Герценом (раздел «Приложения» наст. тома), и в гл. XVI «Былого и дум».

...*он* — Огарев.

С т р. 53. ...*какие-нибудь восемь лет*... — Клятва на Воробьевых горах датируется 1826 или 1827 годом (см. *ЛН*, т. 61. М. 1953, стр. 668—669). Таким образом, летом 1833 г., когда писалось комментируемое произведение, прошло шесть или семь лет со дня клятвы.

...*природы Верне-товой*...—природы, изображенной на полотнах известного французского художника XVIII в. Клода Жозефа Верне (Vernet). Некоторые элементы пейзажей Верне тяготеют к «идеальной природе» в духе классицизма.

*«Как ярящийся поток...»* — Вольный прозаический перевод первых четырех строк стихотворения Шиллера «Die Macht des Gesanges»:

Ein Regenstrom aus Felsenrissen,
Er kommt mit Donners Ungestüm,
Bergtrümmer folgen seinen Güssen,
Und Eichen stürzen unter ihm.

Строки эти приведены Герценом на полях рукописи.

*«Ты все поймешь, ты все оценишь».*— Цитата из поэмы Рылеева «Войнаровский» (часть первая).

С т р. 54. *«Как природа хороша...».*— Этой фразой (Герцен переводит ее неточно) начинается «Эмиль» Руссо. Точный перевод: «Все прекрасно, выходя из рук творца, все вырождается в руках человека».

С т р. 55. *«Тот мир открыт для наслажденья...»*—Цитата из стихотворения Людмилы Пассек; полностью это стихотворение Герцен приводит в письмах к Огареву от 24 июня 1833 г. и к Н. А. Захарьиной от 5 августа 1833 г.

*«Dahin! Dahin!...»*— Из песни Миньоны в романе Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера», начало 3-й книги.

## 3 АВГУСТА 1833

Печатается по черновому автографу (*ЦГИАМ*, фонд III Отделения). Подпись: *Александр Герцен*. Рукопись была конфискована у Герцена при его аресте в 1834 г. Над заголовком рукописи, слева, в верхнем углу, имеется пометка «№ 4», сделанная, вероятно, в III Отделении. Впервые опубликовано М. К. Лемке в «Мире божьем», 1906, № 1, стр. 57—59.

---

Заглавие «3 августа 1833» обозначает, вероятно, и дату написания наброска (ср. *Л*I, 527). Н. А. Захарьина в день своих именин 26 августа 1835 г. писала Герцену: «Помнишь ли, два года тому назад ты в этот день был у нас и подарил мне статью, посвященную тобою сестре Людмиле» (*Изд. Павл.*, т. VII, стр. 28). Речь идет о Людмиле Васильевне Пассек, сестре Вадима Пассека, в которую Герцен был влюблен (см. рассказ о «Гаетане» в гл. XX «Былого и дум»). Об отношениях Герцена и Людмилы Пассек говорит Т. П. Пассек во II томе своих «Воспоминаний» (гл. XXVI). Единственное дошедшее до нас письмо Людмилы Пассек к Герцену — конец сентября 1833 г.— опубликовано в *Л*I, 130—131.

7 или 8 августа Герцен писал Огареву, несомненно имея в виду «3 августа 1833»: «Я написал небольшую статейку, вроде Жан-Поля, аллегорию. Многим она нравится и даже мне». Огарев к этому сообщению отнесся отрицательно: «Ты написал аллегорию вроде Жан-Поля. Не пиши аллегорий — это фальшивый аккорд в поэзии; что хочешь сказать, говори прямо и сильно, а не обиняками» (письмо к Герцену от 10 августа — «Русская мысль», 1888, № 9, стр. 3).

В юности Герцен увлекался произведениями Жан-Поля Рихтера, о котором впоследствии отзывался крайне сурово. В «3 августа 1833» Жан-Поля напоминает до крайности доведенная романтическая патетика и громоздкий аллегоризм. Однако свой аллегорический сюжет Герцен трактует в духе революционного романтизма. В изображении *огнедышащей горы* Следственная комиссия, изучавшая рукопись, усмотрела политическое иносказание. Один из «вопросных пунктов», предъявленных Герцену, гласил: «Откройте настоящий смысл аллегорического письма вашего к Людмиле, от 3 августа 1833 года, где описана вами гора с растущим на ней северного края деревом; вырвавшийся из недр ее огонь,

который, как бы насыщая мщение, истреблял все, океан крови,— дерево не существует. Но огонь в горе не тухнет, свирепая река яростно подмывает гору?» (*ЛХII*, 349).

## <ПРОГРАММА И ПЛАН ИЗДАНИЯ ЖУРНАЛА>

Печатается по беловому автографу (*ИД*). Впервые опубликовано М. К. Лемке в «Мире божьем», 1906, № 1, стр. 67—69. Помещая документ в «Полном собрании сочинений и писем» Герцена, Лемке высказал весьма вероятное предположение, что просьба о разрешении издавать журнал не была подана (*Л*I, 527). О судьбе рукописи см. комментарий к тексту «О месте человека в природе».

---

Документ важен для характеристики философских и научных интересов кружка Герцена — Огарева. Художественной литературе в программе отведена подчиненная роль — поэзия отнесена в «Прибавление», проза сводится к отделу «Отрывки переводные». Журнал задуман, в первую очередь, как орган научно-философской мысли. Он должен был отличаться прогрессивным сочетанием научных интересов (история, естествознание, философия) с интересами политическими,— сочетанием, характерным для общего направления кружка. Характерно также, что из философских дисциплин на первый план выдвигается не эстетика, не гносеология, но философия истории.

Философия истории трактуется идеалистически («Предмет истории — жизнь человечества. Жизнь есть не что иное, как процесс возвышения формы к идее...»), но в то же время подчеркнута неразрывная связь литературы и «политического быта». Герцен решительно противостоит здесь тому созерцательному романтизму, который проповедовал уход от действительности; он идейно сближается с Белинским, в том же 1834 году в «Литературных мечтаниях» предъявившим литературе требование — быть выражением жизни народа.

Сотрудники предполагаемого журнала — основные участники кружка Герцена — Огарева. К их числу следует отнести и А. К. Лахтина.

---

С т р. 60. *Петербургской колонной* Герцен называет Александровскую колонну (по имени Александра I), воздвигнутую на Дворцовой площади в память побед над Наполеоном; ее открытие состоялось 30 августа 1834 г., через полгода после того как был написан комментируемый текст.

## ГОФМАН

Печатается по тексту журнала «Телескоп», 1836, часть XXXIII, № 10, стр. 139—168 (ценз. разр.— 9 июля), где было опубликовано впервые. Подпись: *Искандер* (впервые в печати). Автограф неизвестен.

---

Статья о Гофмане писалась Герценом в 1833—1834 гг. и была первым оригинальным произведением писателя, появившимся в печати. Самое раннее упоминание о статье находим в письме Т. П. Пассек к мужу от 2 марта 1833 г. (см. «Из дальних лет», изд. 2, СПб., 1905, т. I, стр. 403). Очевидно, Герцен предполагал тогда напечатать «Гофмана» в задуманном В. В. Пассеком альманахе; однако издание альманаха не осуществилось. Вскоре после окончания работы над статьей Герцен был арестован

Рукопись статьи он увез с собой в ссылку. В конце 1835 или начале 1836 г. Герцен послал статью — возможно, внеся в ее текст какие-либо изменения,— Н. А. Полевому с просьбой содействовать ее появлению в каком-либо журнале (см. письмо к Н. Х. Кетчеру от 31 декабря 1835 г.). В ответном письме от 26 февраля 1836 г. Полевой, одобрительно отозвавшись о статье, советовал Герцену «поисправить» ее «в слоге, весьма небрежном», и «прежде цензуры исключить некоторые выражения». «Если вы доверите мне,— писал далее Полевой,— я охотно приму на себя обязанность продержать над статьею вашею политическо-литературную корректуру и потом отдать ее в какой угодно журнал» (письмо Полевого было опубликовано Герценом в «Полярной звезде» на 1859 г., кн. V, стр. 196—198). Но неожиданно для Полевого и для самого Герцена «Гофман», очевидно, с помощью Кетчера, располагавшего ранней рукописью статьи, появился в «Телескопе». 1 августа 1836 г. Герцен писал в связи с этим Н. А. Захарьиной: «В „Телескопе“ напечатана моя статья „Гофман“, в 10 № за 1836 год. Пишу тебе для того, что ты, верно, равнодушно не взглянешь на подпись *Искандер*. Впрочем, ее напечатали небрежно, не выправив; не знаю даже, кто это вздумал». В письме от 2 сентября 1836 г. Герцен объяснил Полевому, что статья появилась в «Телескопе» не только без его дозволения, но даже без его ведома. Письмо было вызвано запиской Полевого, в которой он, «не узнав дела», упрекал Герцена, заявив, что *«серьезные* люди не дают одну и ту же статью в два журнала» («Полярная звезда» на 1859 г., кн. V, стр. 198, примеч. к письму Полевого). Говоря о небрежности, с какой статья была опубликована «в Телескопе», Герцен имел в виду также и многочисленные опечатки, допущенные в тексте: «Регнер» вм. «Вегнер» (62), «noch» вм. «euch» (64), «о́рганы» вм. «орга̀н» (74), «Фрейпанц» вм. «Фрейщюц» (76) и другие.

Произведения немецкого писателя-романтика стали широко известными русскому читателю, начиная с 20-х годов. Значителен был интерес к Гофману в кругах молодой русской интеллигенции 30-х годов. «Самые повести и фантастические сказки его,— писал, например, П. В. Анненков,— находили симпатический отголосок в кругу Станкевича: они так хорошо соответствовали господствовавшей философской системе своим могущественным олицетворением безжизненной природы» («Воспоминания и критические очерки», СПб., 1881, стр. 301—302). Ранняя статья Герцена была отзвуком его тогдашних романтических и идеалистических воззрений. Апологетически оценивая литературную деятельность Гофмана, как «художника истинного, совершенного», молодой Герцен не замечает реакционной сущности эстетической программы немецкого романтика. Важным моментом статьи является стремление автора тесно связать творчество писателя с окружавшей его исторической действительностью. Именно эту сторону статьи высоко ценила позднейшая передовая русская критика. В статье «По поводу одной книги» (1870) Н. В. Шелгунов писал: «Говоря о чудаке Гофмане, автор уводит вас в Германию, делает Гофмана микрокосмом его страны, если и не полным, то по крайней мере той части страны, которая создала его». Образ Гофмана, заключал Шелгунов, служит в статье Герцена «объяснением немецкого мира» («Соч.», изд. 3-е, СПб., т. II, стр. 436).

Понимание романтизма и его роли в истории литературы носит в статье Герцена революционный характер. Герцен резко критикует отрыв немецкой интеллигенции, «Германии, мирно живущей в кабинетах и библиотеках», от общественной жизни страны. Своеобразие творчества Гофмана Герцен объясняет именно тем, что его «беспорядочная фантазия... не могла удовлетворяться *немецкой болезнью* — литературой. Ему надо было деятельности в самом деле». И хотя творчество Гофмана по своему объективному содержанию отнюдь не подтверждало выводов критика, само противопоставление узколитературных интересов «деятельности

в самом деле» крайне характерно для молодого Герцена. «Мышление без действования — мечта!»,— записал он в ноябре 1836 г. (см. стр. 330 наст. тома); «...одной литературной деятельности,— писал Герцен Н. А. Захарьиной 29 марта 1837 г.,—мало,— в ней недостает *плоти*, реальности, практического действия...».

Важно отметить, что творчество Гофмана получило впоследствии резко отрицательную характеристику на страницах альманаха Герцена и Огарева «Полярная звезда», и статье Огарева «Памяти художника» (кн. V на 1859 г.). «Когда бомбардировали Дантциг,— писал Огарев,— Теодор Амедей Гофман, знаменитый автор Кота Мурра, ныне редко и трудно читаемого, сидел в погребке и, не принимая никакого участия в защите города, в движении людей, гибнущих под картечь и ядра, писал, помнится, фантастические рассказы der Serapions-Brüder[1]. Гофман пренебрегал общественным движением и пользу так называемого искусства. Но для этого надо было иметь в жилах не кровь человеческую, а немецкую слизь» (стр. 245).

По форме напоминающая скорее художественный очерк, ранняя статья Герцена содержала в себе многие отличительные черты его будущего литературного стиля — сочетание сюжетных подробностей (например, в гл. I) с попутными рассуждениями на общеполитические темы (начало гл. II), непосредственное обращение автора к читателю (на последних страницах статьи), образный, метафорический язык. Правда, в стилевых особенностях статьи весьма сильно сказалась романтическая экзальтация начинающего писателя; она определила, в частности, претенциозную красочность в характеристиках образов «Вильгельма Мейстера» Гёте, описание чисто субъективных впечатлений от чтения Гофмана, даже самый подбор цитат из произведений немецкого романтика.

---

Стр. 62. *...Гейне выдумал алгебраическую формулу...* — Герцен приводит далее в свободном переводе характеристику немецкого писателя XVIII в. И.-Г. Фосса из статьи Гейне «Романтическая школа», впервые напечатанной в 1833 г. в журнале «L'Europe littéraire». В сокращенной публикации статьи Гейне в «Телескопе», часть XIX, № 3 за 1834 г., цитируемые Герценом строки отсутствуют. Тем самым устанавливается, что Герцен познакомился со статьей Гейне по ее французскому первоисточнику (ср. Л. Крестова. Портрет Гёте под пером молодого Герцена» — «Звенья», 1933, т. II, стр. 90).

Стр. 64. *Получив хорошее место в Позене...*— В марте 1800 г. Гофман был назначен ассесором (Beisitzer) королевского суда в Познани (Позене — по немецкому наименованию), а весной 1802 г. переведен в Плоцк; в 1804—1806 гг. он — советник правления (Regierungsrat) в Варшаве.

Стр. 65. *...пишет к Гитцигу...* — Книга друга и биографа Гофмана немецкого криминалиста и писателя Эдуарда Гитцига «Aus Hoffmann's Leben und Nachlaß» (Berlin, 1823) послужила Герцену основным источником для биографической канвы комментируемой статьи.

*22 марта 1832 года* — день смерти Гёте.

Стр. 66. *...дневный разбор Бетховена и Крейслера.*— Имеются в виду музыкальные очерки «Крейслериана» (1810) из цикла «Фантастические пьесы в манере Калло».

*«Продан старый сертук, чтоб есть».*— Едва ли этот неуклюжий перевод немецкой фразы принадлежит самому Герцену, как полагал Лемке; правильнее рассматривать его как перевод, сделанный редакцией «Телескопа». Вполне вероятно, что и указания на источники цитат,

---

[1] Серапионовых братьев (нем.).— *Ред.*

приведенные в подстрочных примечаниях к статье, также были внесены в текст редакцией «Телескопа».

Стр. 68. *«Wie heißt des Sängers Vaterland?..»*—цитата из стихотворения Карла-Теодора Кёрнера «Mein Vaterland» (1813).

Стр. 69. *«...schwankende Gestalten»*...—Слова из посвящения к «Фаусту» Гёте (ср. выше, стр. 259).

Стр. 71. *...и в «песочного человека»*...— Имеется в виду рассказ Гофмана «Песочный человек» из цикла «Ночные рассказы» (1817).

Стр. 72. *...врата Орка.*— В мифическом сказании об Орфее — врата подземного царства, куда спускался певец, чтобы вывести оттуда жену свою Евридику.

Стр. 72—73. *«Музыка есть искусство — этот характер неопределенности и бесконечности?..»* —Цитата из гл. IV «Крейслерианы».

Стр. 74. *«Может быть, полузабытая тема — и мои мелодии будут твоими».*— Цитата из рассказа «Кавалер Глюк» (1809) из цикла «Фантастические пьесы в манере Калло».

*Возьмем Крейслера, капельмейстера Иоганна Крейслера...* — Имеется в виду образ Крейслера в произведении Гофмана «Житейские воззрения Кота Мурра» (1820—1822).

Стр. 77. *«Недобрый гость», переведенный в «Телескопе», 1836, кн. 1 и 2.*—Это примечание не могло принадлежать Герцену, закончившему статью в том варианте, в котором она печаталась в «Телескопе», еще в апреле 1834 г., и было, вероятно, добавлено редакцией журнала.

Стр. 78. *«Опомнилась — глядит Татьяна...»*— Цитата из «Евгения Онегина» (гл. пятая, строфа XVI).

Стр. 80. *Может быть, на досуге поговорим и о других прозаиках Германии.*— Как показывают слова Герцена в недавно обнаруженном протоколе его допроса в Следственной комиссии 24 июля 1834 г., среди литературных работ писателя действительно были «некоторые разборы и этюды, наиболее касающиеся до германской литературы» (сообщено В. П. Гурьяновым). Эти работы не разысканы или не сохранились.

*...Гофман превосходно переведен Леве-Веймаром на французский язык...*— Собрание повестей Гофмана в 19 томах во французском переводе Леве-Веймара было издано в Париже в 1830—1833 гг.

*Когда-нибудь и у нас его переведут...* — Очевидно, Герцен имел в виду отсутствие отдельного издания сочинений Гофмана в России.

## ЛЕГЕНДА

Печатается по беловому автографу (с поправками) в «записной тетради 1836 г.» (*ЛВ*). Без подписи. Впервые опубликовано Е. С. Некрасовой в «Русской мысли», 1881, № 12, стр. 49—73.

---

Написано в первоначальном виде в феврале 1835 г. в Крутицких казармах. В Вятке Герцен намеревался в том же 1835 г. переработать повесть. «В «Легенде»,— писал он к Н. А. Захарьиной в конце августа 1835 г.,— я прибавляю новый опыт своей души, там хочу я выразить, как самую чистую душу увлекает жизнь пошлая...». Однако из позднейшей приписки к этим словам: «И не написал ничего» — видно, что намерения своего Герцен в ту пору не осуществил. Позже он все-таки продолжил работу над «Легендой», но и на этот раз не был удовлетворен воплощением своего замысла. «Мысль ее хороша, — писал он к Н. А. Захарьиной 29 сентября 1836 г.,— но выполнение дурно, несмотря на все поправки; ее еще надобно переделать». Однако больше к своей повести Герцен не возвращался.

В основу повести было положено жизнеописание св. Феодоры в «Четьи-минеях» Димитрия Ростовского (от 11 сентября). Религиозная форма «Легенды» отражала идеалистические взгляды молодого Герцена. В то же время повесть явилась художественным выражением его прогрессивных общественных интересов и устремлений.

Повесть утверждает «жизнь для идеи» как «высшее выражение общественности». Свою мысль Герцен раскрывает на материале агиографической, или житийной литературы. Существенное значение имеет первоначально содержавшийся в рукописи намек, что в образах церковной легенды писатель аллегорически изображал борьбу вокруг учения утопических социалистов—последователей Сен-Симона (см. «Варианты», стр. 465; на рукописный вариант впервые указано Л. Крестовой в статье «Источники „Легенды о св. Феодоре" А. И. Герцена» — сборник «Памяти П. Н. Сакулина», М., 1931, стр. 116—119). Несмотря на свою мистическую оболочку, произведение было связано с наиболее передовыми идейными исканиями Герцена. Этот утаенный аллегорический смысл «Легенды» писатель имел в виду, когда в письме к Н. И. Сазонову и П. Х. Кетчеру (октябрь — ноябрь 1836 г.) сообщил, что не напечатает повесть без предисловия (т. е. без вступительных слов автобиографического характера от лица рассказчика-арестанта), «а с предисловием ее не напечатают».

Через некоторое время условная, аллегорическая форма, противоречившая передовому, тесно связанному с живою содержанию, была решительно осуждена самим Герценом. В письме к Н. А. Захарьиной от 9 февраля 1838 г. Герцен заявлял: «...я писал аллегории тогда, когда дурно писал. Что хочешь сказать, говори прямо — Крутицы».

---

Стр. 81. *«Fu, e non è...»* —два разрозненных стиха из «Божественной комедии» Данте («Чистилище», песнь XXXIII). Вероятно, в рукописи Герцен лишь указал на избранный им для эпиграфа отрывок поэмы; полностью это место читается так:

Sappi che'l vaso, che'l serpente ruppe,
Fu, e non è. Ma chi n'ha colpa, creda
Che vendetta di Dio non teme zuppe.
Non sarà tutto tempo senza reda
L'aquila, che lasciò le penne al carro,
Per che divenne mostro e poscia preda...[1]

*Посвящено сестре Наташе* — Наталье Александровне Захарьиной, двоюродной сестре Герцена, ставшей в 1838 г. его женой.

*«Яко же отреби миру быхом, всем попрание доселе...».* — В полном виде цитата гласит (в переводе с церковно-славянского): «Хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне».

Стр. 82. *Друза.*—Группа беспорядочно расположенных кристаллов, сросшихся своими концами с одним общим основанием.

Стр. 83. *Тогда ему еще нужны были стены для защиты от врага...* — Симонов монастырь в XV и XVI веках играл также роль крепости и одновременно с Москвой подвергался вражеским нападениям.

*...и не в твоих ли оградах лежит юноша...*— Герцен имеет в виду поэта Д. В. Веневитинова (1805 — 1827), первоначально

---

[1] Знай, что сосуд, разрушенный змеей, был и нет его. Но тот, кто виновен в этом, знает, что божий гнев не остановишь хлебом, размоченным в вине. Не останется навсегда без преемника орел, который уронил свои перья на колесницу, отчего она стала чудовищем, а затем жертвой... (итал.). — *Ред.*

похороненного на кладбище Симонова монастыря. На могильном памятнике Веневитинову был вырезан стих из его элегии «Поэт и друг» (1827): «Как знал он жизнь, как мало жил!»

Стр. 84 *...религиозное направление.*— В рукописи («Варианты», см. стр. 465) вместо этих слов стояло: Сен-Симона. Таким образом, говоря о «силе идей» в обществе, Герцен предполагал раскрыть свою мысль и на примере воздействия учения утопических социалистов.

*«Nun erzählte die Gesellschaft...»* — Неполная и не совсем точная цитата из «Sanct-Rochusfest zu Bingen». Так называется отрывок из цикла Гёте «Aus einer Reise am Rhein, Main und Neckar in den Jahren 1814 und 1815». Кроме обозначенной Герценом купюры (после слов: «jene Legende»), в цитате имеется еще один пропуск, неотмеченный. Вместо: «an der Begebenheit genommen» у Гёте: «an der Begebenheit und den einzelnen Vorfällen» (отдельных эпизодов). Библиографическое указание в конце цитаты — «23 Ap. XLIII B»— ссылка Гёте на 43-й том «Acta sanctorum» (издание болландистов), где под 23 апреля помещено соответствующее «житие».

*Метафраст писал мартиролог при Константине Багрянородном...*— Свод «Житий святых», собранных и изложенных Симеоном Метафрастом в X веке.

Стр. 85. *...кенобития отшельников фиваидских...* — Имеется в виду общежительная форма монашества. Согласно преданиям христианской церкви, первые кенобитии, или киновии (от греч. koinos — общий и bios — жизнь) были основаны в 340 г. Пахомием Великим в Верхнем Египте, недалеко от Фив.

*«Le Seigneur...»* — Заключительные строки стихотворения Гюго «Ce qu'on entend sur la montagne» (1829) из книги «Les feuilles d'automne» (1831). Цитату Герцен привел в сокращенном виде, оставив от первого цитируемого стиха только слово «Seigneur» и переделав вопросительную форму в утвердительную:

> ... Et pourquoi le Seigneur qui seul lit à son livre
> Mêle éternellement dans un fatal hymen
> Le chant de la nature au cri du genre humain.

Стр. 86. *«Я пришел в дом твой...»* — Несомненно, что эта цитата из Евангелия (Лука, гл. VII, ст. ст. 44 и 47) должна была служить эпиграфом к новой главе, хотя соответствующее указание, по недосмотру, отсутствует в подлиннике (см. перекличку с цитатой в тексте главы). Это подтверждается тем, что следующую (в рукописи третью) главу, с эпиграфом из Августина, Герцен в письме к Н. А. Захарьиной от 21 февраля 1835 г. назвал *«IV главой»*.

Стр. 89. *Арианизм* (арианство) — течение в христианстве (по имени александрийского священника Ария, умер в 336 г.), отрицавшее церковное учение о единой сущности троицы.

Стр. 90. *Октодекадский монастырь* (от греч. «октодека» — восемнадцать), т. е. монастырь, расположенный на расстоянии 18 стадий от Александрии. Монастыри в древности часто получали название по расстоянию от ближайшего крупного центра. Ср. далее — «монастырь Энат, лежащий возле Александрии» (от греч. «энатос» — девятый).

Стр. 92. *«Они не растерзали Даниила в пещере львиной».*— По библейскому сказанию, пророк Даниил был брошен вавилонским царем в львиный ров, но, по воле бога, в ров явился ангел, и львы не тронули Даниила.

Стр. 93—94. *...огненные строки Откровения.* — Имеется в виду «Апокалипсис», или «Откровение» о будущих судьбах религии и мира, написанное, по евангельской легенде, апостолом Иоанном во время ссылки на остров Патмос.

Стр. 95. *...собиралось в Никее, в этот великий день веры...* — Речь идет о втором Никейском соборе (787 г.), осудившем иконоборческое движение.

*...оно не простило Константина...* — Один из видных деятелей иконоборства, византийский император Константин V (741—775) жестоко преследовал монахов-иконопочитателей и впоследствии обвинялся ими в самых разнообразных кровавых преступлениях.

*Авадонна* (Абаддона) — ангел смерти и разрушения.

*...жена Потифара.* — Потифар (Пентефрий) — в библейском рассказе — имя фараонова царедворца, которому был продан Иосиф («Прекрасный»).

Стр. 100. *Эфиу* — плющ.

## ВСТРЕЧИ

Печатается по списку рукой неустановленного лица с пометками Герцена в его «записной тетради 1836 г.» (*ЛН*). Писарскому тексту предшествует заглавная страница, на которой рукой самого Герцена написано название и эпиграф из Франсёра. Без подписи. Впервые опубликовано Е. С. Некрасовой в «Русской мысли», 1882, № 12, стр. 145. Автограф неизвестен.

---

Написано как предисловие к задуманному Герценом циклу рассказов о памятных для него «встречах», вероятно в марте 1836 г., одновременно с первым — по раннему плану — рассказом цикла «Человек в венгерке» (впоследствии — «Вторая встреча»). 28 марта 1836 г. Герцен писал к Н. А. Захарьиной: «А сколько разных встреч я видел теперь, скитаясь изгнанным! Некоторые я опишу. Одна уже готова, и я тебе пришлю ее» (Лемке высказал ошибочное предположение, что речь в этом письме идет о рассказе «Первая встреча», или «Германский путешественник» — *Л*1, 263).

Рукопись рассказа, направленная Н. А. Захарьиной, содержала также предисловие ко всему циклу. В письме от 12 января 1837 г. Н. А., сообщая Герцену о получении рассказа, намекала на то, что она должна была прочитать полученную рукопись опекавшей ее кн. М. А. Хованской и другим домашним (*Изд. Паол.*, т. VII, стр. 214)[1]. Герцен 30 января 1837 г. с укором отвечал: «Зачем давала ты Дидротовым кухаркам „Встречу"?», явно подразумевая заключительные фразы предисловия.

Впоследствии в цикл «Встреч» был включен рассказ «Германский путешественник», написанный еще в декабре 1834 г. в Крутицких казармах и явившийся первым литературным произведением Герцена после его ареста (см. письмо к Н. А. Захарьиной от 30 января 1838 г.). В июле 1836 г. рассказ был заново переписан Герценом, причем в текст были внесены некоторые исправления (см. письмо к Н. И. Сазонову и Н. Х. Кетчеру, октябрь—ноябрь 1836 г.). Однако, поскольку ранняя редакция «Германского путешественника» не сохранилась, судить о характере и содержании поправок Герцена не представляется возможным.

---

[1] В письме была названа «Первая встреча»; на этом основании отзыв Н. А. до сих пор также относили к рассказу о «германском путешественнике». Однако, как видно из рукописи, «Первой встречей» Герцен вначале именовал рассказ, посвященный «человеку в венгерке» — Цехановичу; именно к этому рассказу и относятся слова Н. А. и Герцена в цитируемых письмах. Ср. письмо Герцена от 10 февраля 1837 г.

В письме к Н. А. Захарьиной от 4 ноября 1836 г. рассказ «Человек в венгерке» был впервые назван «Второй встречей»; следовательно, название рассказа «Германский путешественник» к этому времени было уже исправлено на «Первую встречу». Впрочем, в дальнейшей переписке Герцена попрежнему встречается и первоначальный заголовок; сохранился он и в рукописи рассказа (см. «Варианты», стр. 465 настоящего тома). Очевидно, это было связано с позднейшими изменениями в общем построении и составе задуманной, но не осуществленной книги (см., например, письмо к Н. А. Захарьиной от 14 января 1838 г.). В настоящем издании рассказы или «статьи» Герцена печатаются в той последовательности, которая рисовалась ему в 1836 г., в период завершающей работы над их сохранившимися редакциями.

Цикл рассказов и очерков о важнейших «встречах» в жизни Герцена имел продолжение в его творчестве. См. об этом в справке «Утраченные произведения Герцена 1830-х годов» (стр. 535—537 наст. тома).

---

Стр. 107. *Франкёр* — *«Прямолинейная геометрия»* — Герцен ссылается на первый том широко распространенного в его время учебника французского математика Л.-Б. Франкёра «Полный курс чистой математики».

*...храмовые рыцари...*— Храмовники, или тамплиеры, члены средневекового духовно-рыцарского ордена (XII—XIII вв.).

*Говорят, что — это кажется странно, удивительно,*— Это место из «Встреч» затем было почти дословно перенесено Герценом в «Записки одного молодого человека» (см. стр. 300—301 наст. тома).

## ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Печатается по беловому автографу в «записной тетради 1836 г.» (*ЛБ*). На заглавной странице рукописи осталось незачеркнутым прежнее название («Германский путешественник») и посвящение. Без подписи. Впервые опубликовано Е. С. Некрасовой в «Русской мысли», 1882, № 1, стр. 239—252.

---

Действие рассказа «Первая встреча» (или «Германский путешественник») происходит в русском салоне («...я много слышал о вашем Державине» — говорит «путешественник») в начале 30-х годов (см. упоминания о Менцеле, нашумевшая книга которого «Die deutsche Literatur» вышла в 1828 г., о Шарле Дюране и т. д.).

Центральным эпизодом рассказа, обрамленным светской беседой в гостиной, явились воспоминания «путешественника» о встречах с Гёте. В рассказе ставилась важнейшая для формирования эстетических взглядов Герцена проблема взаимоотношения искусства и действительности. «Творец „Фауста"» разочаровал «путешественника» при встрече. Откровенно безразличный, по его мнению, к бурной общественной жизни эпохи французской революции 1789—1793 гг., Гёте «пишет комедии в день Лейпцигской битвы и не занимается биографией человечества...». С большой силой Герцен подчеркнул в очерке необходимость активного участия писателя в общественной жизни и освободительной борьбе. «Не должно удаляться от людей и действительного мира,— писал он Н. А. Захарьиной 27 апреля 1836 г., незадолго до завершения „Первой встречи",— это — старинный германский предрассудок».

Большое значение Герцен придавал заключительным строкам рассказа — упоминанию о лорде Гамильтоне, который, «проведя целую жизнь в отыскивании идеала изящного между куском мрамора и

натянутым холстом», кончил тем, что «нашел его в живой ирландке». В письме к П. А. Захарьиной от 30 января 1838 г. Герцен писал, что это место «статьи» содержит «двойное пророчество», которое показано «издали» и оставляет «полную волю понимать его». Герцен имел в виду, с одной стороны, свою личную жизнь: «...со мною сбылось, как с лордом Гамильтоном,— писал он Н. А. Захарьиной в том же письме,— и я, долго искавший высокого и святого, нашел все в тебе». Но главное «пророчество» Герцен усматривал в другом, в том, что его ожидает не только писательская, кабинетная работа, но и практическая деятельность. Герцен подчеркивает необходимость тесно связать поиски вдали с изучением живой действительности, призывает не подменить абстрактными построениями деятельной борьбы за воплощение своих стремлений. Герцен подчеркивает, что в заключительные строки рассказа им вложена «мысль чисто политическая» и что эта мысль «разом выражает все расстояние сухих теоретических изысканий праха и энергической живой деятельности, деятельности практической».

В письме к П. А. Захарьиной от 15 февраля 1837 г. Герцен назвал «Первую встречу» своей «лучшей статьей». «Эта статья проникнута глубоким чувством грусти, она гармонирует с 20 июня (день ареста Герцена в 1834 г.)(...) и ее люблю больше „Легенды"»,— писал он 14 января 1838 г. В другом письме, от 30 января 1838 г., Герцен вновь повторил, коснувшись своего рассказа: «Я люблю его. В нем выразился первый взгляд опыта и несчастия, взгляд, обращенный на наш век; эта статья, как заметил Сазонов, невольно заставляет мечтать о будущем...».

Рассказ был хорошо известен московским друзьям Герцена еще в первой своей редакции (см. письмо Герцена к П. И. Сазонову, и Н. Х Кетчеру октябрь—ноябрь 1836 г., а также письмо П. А. Захарьиной к Герцену от 12 июня 1835 г. — *Изд. Павл.*, т. VII, стр. 22).

Впоследствии, убедившись, что издание автобиографических очерков 30-х годов в одной книге осуществить не удастся, Герцен использовал «Первую встречу» в эпизоде с Трензинским из «Записок одного молодого человека». Однако, вложив в уста скептика Трензинского рассказ «германского путешественника» о встрече с Гёте, Герцен опустил призыв «путешественника» к активной общественной деятельности, который противоречил бы всему облику самого Трензинского (см. ниже, стр. 513, комментарий к «Запискам одного молодого человека»). В печатной редакции были также опущены характерные черты из жизни революционного Парижа, связанные, в частности, с встречей «путешественника» с Анахарсисом Клоотсом (Клооцом); Герцен неоднократно и всегда с большой симпатией вспоминал об этом видном участнике французской революции (см., например, в письме к Ж. Мишле от 12 ноября 1857 г.). Отметим, что первоначальные варианты в рукописи «Первой встречи» сохранили еще более яркие штрихи в рассказе Герцена о французских событиях и деятелях эпохи революции. (см. «Варианты», стр. 465—466).

Изучение литературных источников «Первой встречи» обнаруживает глубокую и разностороннюю эрудицию Герцена как в вопросах жизни и творчества Гёте, так и в общих проблемах развития западноевропейской литературы XVIII—XIX веков. Недаром он писал Огареву еще 5 июля 1833 г., что первая задача, которую он себе «предложил» после экзамена,— «*изучить Гёте*». Рассказ Герцена наглядно показывает, что изучение Гёте привело его к глубокому пониманию как сильных, так и слабых сторон творчества и жизни великого немецкого писателя.

---

Стр. 108. «*Was die französische Revolution...*»— Герцен приводит слова Луизы из пьесы Гёте «Die Aufgeregten». Смысл слов уясняется из контекста: Луиза вяжет чулки, а так как ее дядя, возбужденный

событиями во Франции, стал поздно возвращаться домой, то она, дожидаясь его до поздней ночи, успевает связать больше, чем прежде. Поэтому она и говорит, что благодаря французской революции у нее «этой зимой на несколько пар чулок больше».

*Он был пожилой человек...*— Внешний облик «германского путешественника» напоминает портрет Чаадаева в «Былом и думах». Ср. признание самого Герцена в «Письмах к будущему другу» (1864), что «наружность» Трензинского в «Записках одного молодого человека» взята с Чаадаева. Герцен познакомился с Чаадаевым у М. Ф. Орлова в 1834 г., незадолго до своего ареста.

Стр. 109. *...знакомства с Шарлем Дюран не имел.*— Французский журналист Шарль Дюран, редактор (в 1833—1839 гг.) монархической газеты «Journal de Francfort», был тайным агентом царского правительства во Франкфурте.

*...что-то ганзеатическое...* — свойственное своеобразному архитектурному облику ганзейских городов (Любека, Гамбурга, Бремена и др.) в XIV—XVII вв.

Стр. 111. *...бежать в союзную армию.*— Здесь и далее имеется в виду поход союзной армии в 1792 г. во главе с герцогом Карлом Брауншвейгским против революционной Франции. Гёте сопровождал в этом походе веймарского герцога.

*...родина моя вздумала очутиться в Альзасе.*—Намек на оккупацию французского Эльзаса австро-прусскими войсками.

*...они поразили леди Морган в Италии...*— Речь идет о книге ирландской писательницы Сидней Морган «Italy» (1821).

Стр. 112....*новый Готфред...*— «Путешественник» сравнивает Карла Брауншвейгского с одним из предводителей первого крестового похода, герцогом Готфридом Бульонским (1058—1110).

Стр. 113. ...*«Герцога веймарского».* — Этот и некоторые другие эпизоды и детали в рассказе «путешественника» заимствованы Герценом из автобиографического произведения Гёте «Kampagne in Frankreich».

Стр. 115. ...*любимец Людвига Святого...*— Имеется в виду французский средневековый историк Жан Жуанвиль, участник крестового похода, предпринятого в 1245 г. королем Людовиком IX (Святым). Вместе с королем Жуанвиль попал в плен к сарацинам.

Стр. 116. ...*давали его пьесу...*— Речь идет о пьесе Гёте «Der Bürgergeneral» (1793), в которой осмеивалась французская революция.

Стр. 118. ...*старику Малербу, склоняющему главу свою на плаху...* — Обвиненный в заговоре против Республики, престарелый Малерб (Мальзерб), бывший министр Людовика XVI, отказался от защиты и сам взошел на эшафот, вместе с дочерью и зятем.

Стр. 119. *Читайте Гётеву автографию...*— Герцен имеет в виду автобиографическое произведение Гёте: «Annalen oder Tag-und Jahreshefte der Ergänzung meiner sonstigen Bekenntnisse» (1825, изд. 1830).

Стр. 120. *«Беллерофон»* — название английского корабля, на котором в 1815 г. Наполеон был доставлен на остров св. Елены.

*«Sagt, wo sind...»*—Цитата из стихотворения Шиллера «Die Sänger der Vorwelt».

Стр. 121. ...*«halte dans la boue».* — Эти слова были сказаны наполеоновским генералом Ламарком во время Реставрации, в ответ на замечание герцога де Блака, ультра-роялиста, о том, что «теперь наступит покой».

Стр. 122. ...*Лев святого Марка убит...* — Венецианская республика потеряла свою государственную независимость в 1797 г., когда была оккупирована войсками Наполеона Бонапарта, а потом передана Австрии.

*Эта ночь никогда не изгладится из моей памяти.*— В описании венецианской ночи Герцен использовал запись 1796 г. в «Italienische Reise» (1816—1829) Гёте.

## ВТОРАЯ ВСТРЕЧА

Печатается по списку рукой неустановленного лица с поправками Герцена в его «записной тетради 1836 г.» (*ЛН*). Без подписи. Дата и посвящение— рукой Герцена. В рукописи посвящение помещается в самом конце текста; оно перенесено в начало, после заглавия, по аналогии с местоположением посвящения в «Первой встрече». Впервые опубликовано Е. С. Некрасовой в «Русской мысли», 1882, № 12, стр. 145—152. Автограф неизвестен.

---

В очерке рассказывается о встрече Герцена в мае 1835 г. в Перми с участником польского освободительного движения Петром Цехановичем, сосланным в Пермскую губернию по обвинению в попытке организовать вооруженное выступление против царского правительства. Встреча с Цехановичем произвела глубокое впечатление на молодого Герцена. 18 июля 1835 г. он писал Н. Н. Сазонову и Н. Х. Кетчеру: «...я там (в Перми) видел в последний раз человека несчастного, убитого обстоятельствами, но живого душою, сильного и возвышенного. Когда-нибудь, где-нибудь, вспоминая эту черную полосу жизни, вспомним и его» (ср. в письмах к Н. А. Захарьиной от 6 сентября 1835 г. и 10 февраля 1837 г.).

Очерк датирован Герценом 10 марта 1836 г. Осенью 1836 г., в письме к Сазонову и Кетчеру, Герцен предлагал для печати, среди других произведений, очерк «Человек в венгерке», сообщая, что в нем описана «встреча в Перми с одним весьма несчастным и весьма сильным человеком». Вероятно, именно в расчете увидеть «Вторую встречу» напечатанной Герцен смягчал некоторые цензурно опасные места первоначального текста. (см. «Варианты», стр. 466). Однако в цензурных условиях 30-х годов опубликовать свой очерк Герцену не удалось.

Образ «человека в венгерке», в глазах которого «было что-то от пламени молний», с его страстной, патетической исповедью, полной литературных сравнений, но мало раскрывающей взгляды и убеждения незнакомца по существу, носил ярко выраженный романтический характер. Однако романтичность в описании встречи с Цехановичем составляла лишь одну сторону раннего очерка Герцена. Во «Второй встрече» уже ярко сказались и реалистические черты, присущие дарованию молодого писателя. Недаром Герцен в «Записках одного молодого человека» широко использовал описание «большого обеда» из очерка. Эти страницы «Второй встречи», полные иронии и сарказма, он называл «уликой пошлой жизни» (см. письмо к Н. А. Захарьиной от 14 января 1838 г.). В зародыше в них виден бытовой фон будущего романа «Кто виноват?» Впоследствии Герцен еще раз вернулся к своей встрече с ссыльным польским патриотом и рассказал о ней в «Былом и думах» (ч. II, гл. XIII).

---

Стр. 123. *Барон Упсальский* — шутливое прозвище Н. Х. Кетчера в связи с его шведским происхождением (Упсала — старинный город в Швеции).

*9 апреля.*— Имеется в виду последняя встреча Герцена с Н. А. Захарьиной перед ссылкой 9 апреля 1835 г. в Крутицких казармах; на следующий день он выехал из Москвы в Пермь. В письмах молодого Герцена неоднократно встречаются упоминания о 9 апреля как «величайшем дне» его жизни. Ср. в «Былом и думах»: «одно из счастливейших мгновений в моей жизни» (ч. II, гл. XII). В связи с воспоминанием об этом дне во «Второй встрече» Герцен 4 ноября 1836 г. писал Н. А. Захарьиной: «...во „Второй встрече" ты найдешь 9 апреля».

С т р. 127. *...заставы* — в рукописи *ЛБ* это слово по ошибке вычеркнуто.

С т р. 129. *...«испытывая горечь чужого хлеба и крутизну чужих лестниц»* — стихи из «Божественной комедии» Данте («Рай», гл. XVII). Ср. в романе «Кто виноват?», ч. I, гл. IV.

*Кризалида* — название куколки насекомых.

*Лонгвуд* — место ссылки (и первоначального погребения) Наполеона в восточной части острова св. Елены.

## ПИСЬМО ИЗ ПРОВИНЦИИ

Печатается по тексту сборника «Очерки России, издаваемые Вадимом Пассеком», кн. III, М., 1840, стр. 17—21 (ценз. разр.— 16 февраля), где было опубликовано впервые. Подпись: *А. Г.*

И. Яковлев воспроизвел это произведение в *ЛН*, 1953 г., т. 61, стр. 18—20 и, сопоставив текст с двумя произведениями второй половины 30-х годов: «...Часов в восемь навестил меня...» и «Записки одного молодого человека» (см. в наст. томе, стр. 251 и 257), доказал его принадлежность Герцену; он доказал также, что «Письмо из провинции» — это та самая статья о Казани (из утраченного цикла «Письма о Казани, Перми и Вятке»), о которой Герцен упоминает в письмах к Кетчеру от 31 декабря 1835 г., к Н. А. Полевому от 2 сентября 1836 г., к Н. А. Захарьиной от 14 октября 1836 г., к Сазонову и Кетчеру от октября — ноября 1836 г.

«Письмо из провинции» датируется 1836 г. на основании упомянутого письма Герцена к Н. А. Полевому, в котором Герцен сообщает: «К моей статье о Вятке я прибавил Казань и Пермь...».

---

С т р. 131. *Плано Карпини* — францисканский монах Иоанн де Плано Карпини; в 1245 г. был отправлен папой Иннокентием IV в ставку монгольского хана. Свое путешествие (он проезжал и через русские земли) Карпини по возвращении описал в сочинении на латинском языке: «Historia mongolarum quos nos tartaros appelames». Первый русский перевод появился в 1795 г. Сведения о переводах сочинения Карпини на европейские языки Герцен скорее всего почерпнул из предисловия Д. И. Языкова к его переводу отрывков из этой книги («Собрание путешествий к татарам и другим восточным народам в XIII, XIV и XV столетии», СПб., 1825). Фразой: «В одном хотелось бы сравняться с Плано Карпини..., он, насмотревшись досыта на татар, уехал на родину...» — Герцен намекает на свое положение сосланного.

С т р. 132. *...памятник царя Иоанна Васильевича.*— Памятник русским воинам, павшим при взятии Казани в 1552 г. Сооружение памятника, начатое в 1812 г., было завершено в 1823 г.

С т р. 133. *В Казани провел я несколько дней.*—Казанский губернатор запретил отправлявшемуся в ссылку Герцену остановиться в Казани долее чем на три дня.

*«Я в Азии!»* — Герцен цитирует письмо Екатерины II Вольтеру из Казани от 18/29 мая 1767 г. Французский источник цитаты, списанной рукой Герцена, находится на л. 126 об. его «записной тетради 1836 г.» (*ЛБ*).

## ОТДЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ

Печатается по автографу в «записной тетради 1836 г.» (*ЛБ*). Впервые опубликовано Е. С. Некрасовой в «Русской старине», 1889, № 1, стр. 174—177. Записи (одна из них имеет точную дату) относятся к осени 1836 г.

В первоначальной публикации, а также в *ЛI*, 340—342, герценовское заглавие «Отдельные мысли» произвольно распространено еще на два текста: 1) ⟨«Весь вечер занимаясь...»⟩ и 2)⟨«У есинтян более гордости...»⟩. Однако местоположение обоих текстов в «записной тетради 1836 г.» не дает оснований рассматривать их как части записей, озаглавленных «Отдельные мысли». Первый текст представляет собой фрагмент статьи об архитектуре, второй — изолированную дневниковую запись, снабженную точной датой — 6 ноября 1836 г. (см. комментарий к этим текстам, печатаемым в разделе «Наброски. Отрывки. Отдельные записи»).

---

Стр. 134. *Конгревова ракета.*— Генерал Вильям Конгрев ввел в английской армии боевые ракеты; впервые они получили широкое применение в 1800-х годах.

*Бенедиктины* — монахи старейшего католического ордена бенедиктинцев; способствовали распространению христианства в Западной Европе.

*...они в своем семейном кругу сделали бы этот пожар. Пример жизни Мирабо подтверждает это.*— Герцен имеет в виду необычайно бурную личную жизнь Мирабо: вражду с отцом, заключавшим сына в тюрьму, судебный процесс, который Мирабо вел против своей жены, и т. п.

Стр. 135. *Кине очень остроумно сравнил Робеспьера и Фихте, Наполеона и Шеллинга.*— Эдгар Кине сопоставляет Фихте с якобинцами и Наполеона с Шеллингом в статье «De la philosophie dans ses rapports avec l'histoire politique», появившейся в 1830 г. См. Edgar Quinet. Oeuvres complètes, t. 6, Paris, 1857, pp. 174—182.

*Представьте себе медаль...*—Ср. с этой записью автохарактеристики Герцена в его письмах к Н. А. Захарьиной. В письме от 18 октября 1836 г.: «Я, как медаль, у которой с одной стороны архангел Гавриил, а с другой — Люцифер ⟨...⟩ Таков человек ⟨...⟩». В письме от 1 ноября 1836 г.: «эта медаль, на которой, с одной стороны, Христос, а с другой— Иуда Искариотский, называемые Александр, как далеки они от совершенства!»

## ЭТО БЫЛО 22-го ОКТЯБРЯ 1817

Печатается по беловому автографу (*ЛБ*), с учетом позднейших поправок, внесенных Герценом в копию, сделанную рукой Н. А. Герцен (*ЛБ*). Подпись: *Искандер.* Впервые опубликовано Е. С. Некрасовой в «Сев. вестнике», 1895, № 9, стр. 111—113.

---

22 октября 1817 г. родилась двоюродная сестра Герцена Н. А. Захарьина (Герцен и его будущая жена — внебрачные дети братьев И. А. и А. А. Яковлевых). В день двадцатилетия Н. А., 22 октября 1837 г., Герцен писал ей из Вятки: «Посылаю тебе фантазию, которую я написал для этого дня,— она мне нравится». В ответном письме от 6—7 ноября Н. А. восторженно отзывается о «Фантазии» (*Изд. Павл.*, т. VII, стр. 375—376).

Иносказательный смысл «Фантазии» ясен: *«маленькая сестрица»*, в которую воплотился ангел,— это Н. А.; *«мальчик лет пяти»* — сам Герцен (в 1817 г. Герцену исполнилось пять лет).

Описывая *«ужасную бурю»*, среди которой родился герой «фантазии», *«море огня, пожиравшее огромный город»*, и проч., Герцен подразумевает французское нашествие и пожар Москвы; он пережил эти события шестимесячным ребенком.

## ЕЛЕНА

Печатается по *ЛП*, стр. 45—73, где произведение это появилось впервые, с подзаголовком «Отрывок» и эпилогом — «Через десять лет» (см. ниже). Частично оно было опубликовано в «Русском богатстве», 1912, № 5. Лемке напечатал «Елену» по копии, снятой А. Н. Пыпиным с подлинника, полученного, как полагает Лемке, от Кетчера. Подлинник утрачен. Копию Пыпина также обнаружить не удалось[1].

---

Из переписки Герцена явствует, что повесть — первоначально она называлась «Там»—начата в Вятке в 1836 г., окончена же во Владимире в 1838 г.; Кетчер, в 1838 г. гостивший у Герцена во Владимире, увез с собой в Петербург список повести «Там», с намерением напечатать ее в «Сыне отечества» (см. письмо к Н. А. Захарьиной от 5 февраля 1838 г.). Намерение это не осуществилось. В повести отразились отношения Герцена с П. П. Медведевой, завязавшиеся в Вятке в 1835 г. Об этом Герцен говорит в предисловии 1859 г. к роману «Кто виноват?» и в гл. XXI «Былого и дум». Замысел повести сформулирован в письме к Н. А. Захарьиной от 21 сентября 1836 г.: «Повесть я начал и написал IV главы. Там являются две женщины на сцену. Елена, которой я придал характер Мед‹ведевой›, это — женщина земная, это — любовь материальная, доведенная до поэзии, но до поэзии земной, и княгиня, которой я несколькими чертами дал твой божественный характер, где уже и следа нет земли, где одно небо, и небо яхонтовое, небо Италии».

По свидетельству Герцена в приведенном письме, четыре главы составляли только *начало* повести; между тем дошедший до нас *сюжетно законченный* текст «Елены» разделен на *две главы*. Это несоответствие объясняется тем, что первоначальный (1836) замысел «Елены» был несравненно обширнее и существенным образом отличался от окончательной редакции (см. письмо к Н. А. от 18 октября 1836 г. и той же осенью написанное письмо к Сазонову и Кетчеру). Первая редакция дальше упомянутых четырех глав, вероятно, не продвинулась. В письмах к Н. А. от 11 ноября 1836 г. и от 21 апреля 1837 г. Герцен сообщал, что работа над повестью остановилась. Однако вскоре она возобновилась, и в письме от 2 марта 1838 г. Н. А. Захарьина рассказывает уже о своих переживаниях при первом чтении повести «Там» (*Изд. Павл.*, т. VII, стр. 531). Ответное письмо Герцена от 27 марта очень важно для истории текста «Елены»: «Окончание было прежде не то (ты можешь видеть по вымаранным листам), сумасшествие князя было единственным спасением, иначе он был на дороге к самоубийству ‹...› Я вымарал в том экземпляре, который отправился в Петерб‹ург›, „Через десять лет“. Эти строки наскоро были набросаны в то время, как К‹етчер› был здесь ‹...› „Его превосходительство“ представляет опять Медв‹едеву›, но там уже моя роль чиста; наконец, бродит и третья часть: ты и М‹едведева› — сестры». Таким образом перерабатывались не только «первые четыре главы» редакции 1836 г., но перерабатывалась впоследствии и первоначальная редакция окончания повести. Быть может, эта редакция отразилась в том изложении «Елены», которое Герцен сделал в XXI главе «Былого и дум». Согласно этой версии, князь, привезенный женой на могилу Елены,— выздоравливает. Из цитированного письма следует также, что Герцен в окончательной редакции изъял эпилог повести, озаглавленный «Через десять лет» (см. раздел «Варианты», стр. 467). Это полностью подтверждается письмом Герцена к Кетчеру от

---

[1] Лемке для своего издания пользовался копиями Пыпина, находившимися тогда у Е. Ляцкого. Впоследствии архив Пыпина поступил в Пушкинский Дом, но копий произведений Герцена в нем не оказалось.

22—25 февраля 1838 г.: «Мы много глупого оставили в отрывке; ежели он у тебя, поправь, во-первых, заглавие: поставь вместо „Там"—„Елена"〈...〉 потом вымарай „Через десять лет". Это вовсе не нужно». Наконец, из цитированного письма видно, что Герцен задумывал трилогию; прототипом героини этой трилогии явилась Медведева. Над второй частью («Его превосходительство») Герцен уже работал; эту повесть, до нас не дошедшую, он несколько раз упоминает в письмах; в ней, очевидно, должен был быть изображен губернатор Тюфяев, преследовавший Медведеву после смерти ее мужа.

Ввиду того что утрачены и подлинник и копия Пыпина, трудно решить вопрос о происхождении подзаголовка «Отрывок», который дан в *ЛП* несмотря на то, что сюжет повести полностью завершен. Возможно, что подзаголовок ввел Лемке на основании цитированного письма Герцена от 22—25 февраля; Герцен же мог назвать повесть «отрывком», исходя из того, что «Елена» — часть задуманной трилогии.

В примечаниях к «Елене» Лемке писал: «Первое заглавие „Там" было потом изменено автором на „Елену"; конец, глава „Через десять лет", должен был быть уничтожен, но не считаю возможным не дать его (*ЛП*, 476)». Судя по этой фразе, изменения, предложенные Герценом в письме к Кетчеру, так и не были внесены в подлинник, с которого снимал копию Пыпин. Скорее всего заглавие изменил Лемке, исходя из авторской воли Герцена; зачем же он, вопреки этой ясно выраженной воле, решил оставить.

Повесть «Елена» автобиографична, но ее автобиографизм, в отличие от других литературных опытов Герцена 30-х годов, опосредствован вымышленной фабулой: действие перенесено в XVIII век, судьба Елены внешне не похожа на судьбу Медведевой и т. д.

Повесть, по свидетельству самого Герцена в цитированном письме к невесте, должна была выразить романтическое противопоставление любви «идеальной» и любви «земной», чувственной. Мелодраматизм, романтическая патетика доведены в этом произведении до крайности, особенно в образах «демонического» героя и «неземной» героини (княгини). Но наряду с этим в повести есть и другие элементы. В образах коллежского советника Тилькова, кухарки Устиньи, в некоторых бытовых сценах сказывается уже воздействие гоголевского направления, выдающимся представителем которого Герцен стал в 1840-х годах.

---

Стр. 139. «*Und das Dort ist niemals hier!*»— Цитата из стихотворения Шиллера «Der Pilgrim». Первоначальное название повести — «Там» («Dort») заимствовано из этого эпиграфа.

«*Спокойно. Я мой век на камне кончу сем*»—Цитата из трагедии В. Озерова «Эдип в Афинах» (1804), д. II, явл. 1.

Стр. 142. ...*просценциум Дантова ада, где бродит толпа душ, не имеющих места ни в раю, ни в преисподней.*—В III песне «Ада» изображены мучения «жалких душ»; земная жизнь их была столь ничтожна, что их не принимают ни рай, ни ад. Они осуждены томиться в преддверии ада.

Стр. 145. 〈*Устинья*〉... В *ЛП* — Ульяна (повидимому, опечатка).

*Кухенрейтер* — название дуэльных пистолетов (по фамилии изготовлявшего их оружейника).

Стр. 147. *Тарговицкая конфедерация.* — В местечке Таргowицах в 1792 г. собралась конфедерация представителей польской знати, пользовавшейся поддержкой Екатерины II и настроенной против конституционных реформ, проведенных в 1791 г. сторонниками польской независимости.

...*примирить Тимона с людьми*...—Древние авторы рассказывают об афинянине Тимоне (V в. до н. э.), которого скорбь об испорченности его

современников сделала человеконенавистником. Тимону посвящен один из диалогов Лукиана, Шекспир написал драму «Тимон афинский».

С т р. 159. *синапизмы* — горчичники.

*...с Антоном...* Так в *ЛП* (вместо — «с Анатолем»). Исправление не внесено в текст, так как возможно, что в речи служанки Анатоль заменен Антоном умышленно.

## ⟨О СЕБЕ⟩

Печатается по тексту «Воспоминаний» Т. П. Пассек («Из дальних лет», т. I, СПб.,1878, стр. 468—483), где опубликовано впервые. Рукопись неизвестна. Пассек включила настоящий текст в главу своих «Воспоминаний», озаглавленную «Последний праздник дружбы». М. К. Лемке правильно озаглавил этот текст «О себе», использовав герценовское заглавие той автобиографической повести, частью которой он является (*ЛП*, 478—479).

---

В настоящем издании, в отличие от ряда изданий избранных произведений Герцена, текст «О себе» не введен в «Записки одного молодого человека», а печатается отдельно; повесть «О себе» *легла в основу* «Записок...», но не должна отождествляться с ними (см. В. А. Путинцев. Герцен-писатель. М., 1952, стр. 27—35).

Повесть «О себе» писалась Герценом как большое автобиографическое сочинение, подготовленное рядом автобиографических опытов и набросков 30-х годов и призванное их обобщить и завершить в едином связном изложении.

В письме из Владимира от 14 января 1838 г. Герцен сообщает Н. А. Захарьиной план нового сочинения: «Со временем это будет целая книга. Вот план. Две части: 1-я до 20 июля 1834. Тут я дитя, юноша, студент, друг Огарева, мечты о славе, вакханалии, и все это оканчивается картиной грустной, но гармонической,— нашей прогулкой на кладбище (она уже написана)». Именно эта первая часть превратилась в дальнейшем в повесть или «поэму» «О себе». Как доказал В. А. Путинцев в книге «Герцен-писатель» (стр. 31), комментируемый текст является отрывком не IX главы, как полагал, на основании ошибочного указания самого Герцена (в письме к Н. А. от 30 марта 1838 г.), Лемке, а VII главы, называвшейся «Студент». Неизвестно, была ли эта глава написана целиком. Начало ее не удовлетворило автора: «...начал, было, VII ⟨главу⟩ „Студент", но вяло» (письмо к Н. А. от 21 марта 1838 г.). Во всяком случае, в комментируемом тексте речь идет только о самом последнем периоде пребывания в университете. Между предшествующей главой VI — она называлась «Пропилеи» — и дошедшей до нас *частью* VII главы существовал пробел, о котором Герцен сам говорит в письме к невесте от 1 апреля 1838 г.: «Ну, вот и переписана тетрадь „О себе", и кончена почти, недостает двух отделений: „Университет" и „Молодежь". Но этих я не могу теперь писать, для этого мне надо быть очень спокойну и веселу, чтоб игривое воспоминание беззаботных лет всплыло...». Неизвестно, заполнил ли Герцен оставленный им пробел.

16 апреля 1838 г., приехав из Владимира в Москву (вторая поездка), Герцен привез рукопись «О себе». По возвращении во Владимир он спрашивает Н. А., в письме от 28 апреля: «Читала ли ты книгу, которую я оставил ⟨очевидно, у московских друзей⟩? Смотри, когда поедешь, не забудь ее, она одна и черная и белая. Сазонов и Кетчер в восхищении, особенно от вакханалий». Много лет спустя Герцен, вспоминая о судьбе этой рукописи, писал в предисловии к «Былому и думам» (1860): «Три тетрадки были написаны ⟨...⟩ В 1840 Белинский прочел их; они ему поправи-

лись, и он напечатал две тетрадки в „Отечественных записках“ (первую и третью); остальная и теперь должна валяться где-нибудь в нашем московском доме, если не попала на подтопки». В предисловии к третьему тому лондонского издания «Былого и дум» (1862) Герцен уточняет содержание этой утраченной тетради: «Досадно, что у меня нет цензурных пропусков и всего досаднее, что нет целой тетради между первым напечатанным в „От. зап.“ отрывком и вторым[1]. Я помню, что в ней был наш университетский курс и что тетрадь оканчивалась *соборной* поездкой нашей в Архангельское князи Юсупова, описанием обеда и пира возле оранжереи, который продолжался потом еще дни два возле Пресненских прудов». Впоследствии вторая тетрадь рукописи «О себе», видимо, была у Т. П. Пассек, которая 19 ноября (1 декабря) 1872 г., в связи с цитированными словами Герцена, писала из Дрездена Огареву: «Эта тетрадь, довольно большая, Ник, у меня, и идет в моих записках под названием *Из брошенных листков А. И. Герцена*. Сама писал Егору Ивановичу, когда мы виделись с ним в Париже, чтобы он передал мне все его книги и бумаги. Книги оказались раскраденными,— кой-какое старье осталось и несколько разрозненных томов нового,— все не стоило ничего; бумаги тоже ничего, все пере‹*праб.*› и побросали. Только между хламом увидала я растрепанную тетрадь,— рукой Саши писана,— на поганейшей бумаге,— благоговейно собрала я что было,— и берегла как все, что его и о нем говорит. А вот оказывается, что это юные его записки — продолжение записок *Одного молодого человека*. Он жалеет, что их нет, а судьба, через меня, сохранила — и напечатаю в России, с воспоминаниями о нем и о тебе, так горячо им любимом» (из материалов «пражской коллекции»—ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, № 162). Однако из опасения цензурных преследований Пассек не могла полностью опубликовать найденные ею рукописи.

Независимо от вопроса о переработке первоначальной редакции «О себе» (о чем ниже), опубликованный Пассек небольшой отрывок из владимирской автобиографии («студентская оргия и прогулка», о которой Герцен писал Н. А. Захарьиной) никак не мог заполнить пробел между двумя журнальными публикациями «Записок одного молодого человека», то есть не мог заменить описания всего университетского периода.

В предисловии 1852 г. к «Былому и думам» («Братьям на Руси») Герцен писал о «Записках одного молодого человека»: «Два отрывка, искаженные цензурою, были напечатаны. Остальное погибло; я сам долею сжег рукопись перед второю ссылкой, боясь, что она попадет в руки полиции и компрометирует моих друзей». Если Герцен действительно сжег перед второй ссылкой часть автобиографии, касавшуюся университетской жизни, дружеского кружка и проч., то произошло это уже после сдачи первой части «Записок...» в печать, так как в III Отделение Герцен был вызван в начале декабря 1840 г. Очень возможно, таким образом, что сожженная рукопись принадлежала уже не к владимирской редакции автобиографии, а к *позднейшей*, известной нам по напечатанным отрывкам «Записок...».

Что «Записки одного молодого человека» представляют собой не просто отрывки из рукописи повести «О себе» (оставшиеся после исключения мест, чересчур интимных, а также невозможных с цензурной точки зрения), а ее *новую редакцию* — в этом нас, прежде всего, убеждает резкое изменение объема произведения. Из писем Герцена 30-х годов явствует, что отдельным периодам и эпизодам его жизни в повести «О себе» отведены были целые главы или «отделения»: «Дитя», «Огарев», «Деревня»,

---

[1] Имеются в виду публикации: «Из записок одного молодого человека» в «Отеч. записках» 1840, кн. 12 и «Еще из записок одного молодого человека», там же, 1841, кн. 8.

«Пропилеи», «Студент» и т. д. Между тем в печатном тексте «Записок...» эти периоды и эпизоды передаются двумя-тремя страницами, иногда абзацами. Подобное изменение масштабов не могло быть достигнуто простым сокращением, оно требовало новой структуры повествования, которая и была осуществлена. Об этом свидетельствует, в частности, то обстоятельство, что в журнальной редакции автобиографии — в «Записках...» — рассказ ведется от первого лица, тогда как в комментируемом фрагменте рукописной редакции, в описании «студентской оргии», авторское *я* отсутствует.

Таким образом, дошедший до нас отрывок из повести «О себе» и «Записки одного молодого человека» принадлежат к *разным редакциям* автобиографии Герцена 30-х годов; при этом журнальный текст «Записок...» также представляет собой только отрывки (к тому же искаженные цензурой) из утраченной рукописи второй редакции.

В действующих лицах «О себе» легко угадать основных участников кружка Герцена — Огарева 30-х годов. «*Худощавый юноша с выразительным, умным взором*»,— сам Герцен, «*молодой человек в сером халате*» — Огарев (дальше они именуются Саша и Ник), «*Упсальский барон*» — Кетчер, «*магистр математического отделения*» — Савич, «*молодой человек с выразительным лицом*» — Сазонов, «*рыцарь из Тамбова*» — Сатин, «*кандидат этико-политический*» — В. Пассек, «*водевилист*» — возможно, Соколовский (предположительная расшифровка Я. З. Черняка).

В сохранившейся части главы VII — «О себе»—изображены три беседующие пары: Савич — Сазонов, Сатин — Пассек, Герцен — Огарев. В образе Сатина Герцен осуждает идеалистическую оторванность от действительности: «Его фантазия была направлена на ложную мысль бегства от земли». В 1833 г. Герцен уже крайне отрицательно относился к деятельности В. Пассека, примкнувшего к реакционно-славянофильской группе Погодина—Вельтмана. Тем не менее он, вспоминая прошлое, противопоставил В. Пассека — Сатину, изобразив первого представителем революционного, героического романтизма. Иначе построен диалог другой пары, подчеркнуто теоретический. Изображая спор о материализме и идеализме между «*магистром*» (Савич в 1833 г. получил степень магистра астрономии) и «*студентом*» (Сазонов), Герцен освещает особую роль Савича, в будущем — академика и крупного русского астронома, в жизни кружка как «представителя материализма XVIII века». Наконец, диалог третьей беседующей пары — Герцена и Огарева — приоткрывает политическую проблематику кружка. «За здоровье заходящего солнца на Воробьевых горах! — Которое было восходящим солнцем нашей жизни...», — так заканчивается этот диалог. Тема самоотверженной революционной деятельности на благо русского народа и всего человечества скрещивается здесь с темой дружбы, которая понимается не только как «единение родственных душ», но и как братский союз борцов за свободу и справедливость.

---

С т р. 170. *...большого дома на Никитской...*— Дом у Никитских ворот в Москве, принадлежавший отцу Огарева (дом сохранился, ныне в нем помещается кинотеатр).

*...стенторский голос...* — В «Илиаде» изображен Стентор—троянский воин, обладавший громовым голосом.

С т р. 171. *Bonhomme Patience* — персонаж из романа Жорж Санд «Мопра» (1837 г.).

*Молодой человек, прикованный к этому Кавказу, испещренному водиаками...*— «Кавказом, испещренным зодиаками», Герцен называет астронома Савича: к нему «прикован» (подразумевается — как Прометей в мифе) — Сазонов.

*Вандомская колонна — его надгробный памятник.*— Впоследствии в статье «Дилетанты-романтики» Герцен подробнее развил мысль о том, что с падением империи Наполеона рухнула культура, включавшая в себя традиции французской революции и Просвещения и, тем самым, элементы «материализма XVIII века».

Стр. 172. *С тех пор магистр окончил нивелирование Каспийского моря, студент объехал пол-Европы...*— В 1836—1838 гг. Савич был командирован из Дерпта на Кавказ для нивелирования пространства между Каспийским и Черным морями. Сезонов, случайно уцелел при разгроме кружка в 1834 г., отправился за границу, где пробыл до 1835 г.

Стр. 173. *...punch cardinal* — вид пунша.

Стр. 174. *...Schiller, décreté citoyen de la république une et indivisible...* — В 1792 г. Шиллер был провозглашен гражданином Французской республики.

*...en parlant des prisonniers, lors du siège d'Ancône...* — Речь идет об итальянском порте Анконе. В комментируемой шуточной речи умышленно спутаны события разных эпох. Знаменитая осада Анконы имела место в 1799 г. После героического сопротивления французского гарнизона город был сдан австрийцам, обязавшимся на почетных условиях отпустить своих пленников. В 1832 г. войска Луи-Филиппа заняли Анкону (для противодействия австрийцам, вторгшимся в Папскую область) и удерживали ее в своих руках вплоть до 1838 г. При этом оккупационные войска «короля граждан» сохраняли в Анконе притеснительный папский режим. Шуточный монолог касается, таким образом, весьма злободневных в 1837 г. событий и имеет тем самым политический подтекст. Здесь проявляется то критическое отношение к Июльской монархии, которое сложилось у Герцена — и вообще у русской передовой молодежи — уже в 30-х годах.

*«Eh'es verdüftet...»*— Цитата из стихотворения Шиллера «PunschLied».

Стр. 176. *«Ah! vers une rive...»*— Цитата из стихотворения Беранже «Voyage au pays de Cocagne». Кокань — сказочная страна изобилия и блаженства.

Стр. 180. *Солнце ∞ закуривало сигары...*— Сигары закуривали с помощью зажигательного стекла.

Стр. 181. *...часовой, поставленный Годуновым...*— Колокольня Ивана Великого.

Стр. 182. *...черные тучи поднимались грозно и мрачно...*— В июле 1834 г. Герцен, Огарев и другие участники кружка были арестованы.

## ‹ИЗ РИМСКИХ СЦЕН›

Печатается по тексту «Воспоминаний» Т. П. Пассек («Из дальних лет», т. II, СПб., 1879, стр. 71—86), где опубликовано впервые. Рукопись неизвестна.

Несомненно, имея в виду комментируемый текст, Пассек писала в начале 70-х годов Огареву: «...нашлась еще у Егора Ивановича ‹брата Герцена› статья Саши, когда-то писанная — римские элегии, будет напечатано» (из материалов «пражской коллекции»—ЦГАОР, ф. 5770, оп. 1, № 162). Эту «статью» Пассек опубликовала под заглавием «Из римских сцен». Лемке отверг это название, ссылаясь на то, что Герцен сам неоднократно называл свое произведение, написанное в 1838 г., «Лицинием». Соображения эти, однако, вызывают сомнение. Диалогу между Лицинием и Мевием предшествует вступление, в котором Герцен рассказывает о том, как у него возник замысел этого произведения. Из вступления явствует, что замысел возник *в прошлом*, и, наконец, говорится прямо:

«Здесь предлагается отрывок из *тогда* написанных сцен». Следовательно, вступление было написано позднее, когда у Герцена имелась уже другая, *более поздняя редакция диалога*. Еще Лемке поставил, но не решил вопрос о соотношении дошедшего до нас *прозаического текста* с той редакцией «Лициния» 1838 г., которую Герцен в письмах называет «поэмой», и которая была написана в *стихотворной форме*, о чем прямо говорится в письмах к Кетчеру от 4 октября 1838 г. и 21 марта 1839 г.

В гл. XVI «Былого и дум» Герцен рассказал о том, что в 1839 или 1840 г. Белинский высмеял неудачную стихотворную форму его драматических опытов. Это могло быть скорее в 1840 или даже 1841 г., т. к. в 1839 г. отношения между Герценом и Белинским были еще натянутыми. Возможно, что именно в начале 40-х годов Герцен, под влиянием отзыва Белинского, создал новый *прозаический* вариант драматических сцен, а также заново написал вступление и изменил заглавие: вместо «Лициний» — «Из римских сцен». Очень близкая к этому заглавию формулировка встречается у Герцена в письме к Кетчеру от 4 октября 1838 г.: «Я написал Сазонову, что это драма; нет, просто сцены из умирающего Рима». Во всяком случае у нас нет достаточных оснований отвергать заглавие публикации Пассек, так как эта публикация восходит к подлиннику и является для комментируемого произведения единственным источником текста.

Дошедший до нас прозаический отрывок имеет авторскую дату: «1838 г. Владимир-на-Клязьме». Эта дата была сохранена Герценом, поскольку во вступлении говорится об отрывке «из *тогда* написанных сцен».

---

«Лициний», по свидетельству самого Герцена, в письме к Кетчеру от 4 октября, был задуман как первая часть «фантазии» в стихах, которая в целом должна была называться «Палингенезия». Палингенезия (возрождение) — термин, который по-своему использовали сен-симонисты, заимствовав его из книги Балланша «Essais de palingénésie sociale».

Комментируемый прозаический отрывок явно тяготеет к проблематике герценовского творчества начала 40-х годов. Сам Лициний — рефлектирующий интеллигент 30-х годов, прообраз Бельтова и уже образ «лишнего человека». Соотношение между «рефлексией» (этим термином постоянно пользуется Белинский) и условиями николаевского режима особенно отчетливо сформулировано Герценом в знаменитой записи «Дневника» 1842 года, неоднократно цитировавшейся по аналогии с «Думой» Лермонтова: «Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования? 〈...〉 Была ли такая эпоха для какой-либо страны? Рим в последние века существования, и то нет 〈...〉». Это — тема «Лициния». В сохранившемся отрывке есть место, текстуально предвосхищавшее знаменитые строки «Дневника»: «Л и ц и н и й: Наконец-то ты увидел весь ужас настоящего〈...〉 Во все времена, от троглодитов до прошлого поколения, можно было что-нибудь делать. Теперь *делать нечего*〈...〉 Счастливые потомки, вы не поймете наших страданий, не поймете, что нет тягостнее работы, нет злейшего страдания, как *ничего не делать!* Душно!» Едва ли можно сомневаться, что Герцен имел в виду самую животрепещущую современность, судьбы поколения 30-х годов. Герцен не прошел мимо трагической темы жажды общественного дела при сознании его невозможности в условиях последекабристской реакции. Тема эта у Герцена нашла свое завершение в образе Бельтова. В то же время сам Герцен преодолевает коллизию вынужденного бездействия, преодолевает ее как революционер и демократ. Это преодоление отразилось уже в его философских работах начала 40-х годов, в частности в высказываниях по вопросу о деянии и «одействотворении» («Дилетантизм в науке» и проч.).

Собеседник Лициния Мевий — «классик со всем реализмом древнего мира» — протестует против идеалистического дуализма, против попыток отделить «дух от тела». Герцен подчеркивает ограниченность мировоззрения Мевия; и все же в суждениях Мевия до некоторой степени отразилось направление философской мысли Герцена на рубеже 40-х годов.

«Драматические опыты» — «Из римских сцен» и «Вильям Пен» — первые произведения Герцена, подымающие столь важную в его творчестве тему философии истории. В наброске «Из римских сцен» философия истории Герцена имеет еще непосредственную связь с воззрениями сенсимонистов. К ним восходит понимание раннего христианства как религии демократической и понимание исторического процесса как смерти и рождения новых миров (это и есть «палингенезия»). Идея борьбы двух миров и неизбежной победы нового мира над старым проходит через все творчество Герцена, и он до конца продолжает пользоваться аналогией: разлагающийся императорский Рим и современный ему капиталистический строй, новый христианско-варварский мир и грядущее царство социализма. Но философия истории зрелого Герцена освобождается, разумеется, от сен-симонистских воздействий, становится самобытной. Характерно, что уже в наброске «Из римских сцен» Герцен в одном существенном вопросе резко отклоняется от сен-симонистского понимания исторического процесса; он вносит в это понимание элемент революционности. Вымышленных героев своих «римских сцен» Герцен связал с историческими событиями, с подготовлявшимся в 65 г. н. э. свержением Нерона. Герцен сам подчеркивал, что, изображая заговор Пизона, он следовал за Тацитом. У Тацита Герцен заимствовал факты, а также характеры исторических лиц, но истолковал все это по-своему. Тацит — представитель старой республиканской аристократии, смирившейся перед императорской властью,— понимал обреченность аристократического заговора и критически изобразил его участников, начиная от прожигателя жизни и честолюбца Пизона, который сам мечтает занять место Нерона, и это отразилось на замысле Герцена. Но в то же время Тацит с величайшим высокомерием относится к римской «черни», не говоря уже о рабах, тогда как произведение Герцена проникнуто демократическим сочувствием к угнетенным. Заимствуя у Тацита факты, характеризующие ненависть народных масс к патрициям, основанную на этой ненависти популярность Нерона и т. д., Герцен полностью эти факты переосмысляет. В «тацитовскую» оболочку юный Герцен вложил волновавшие его в 30-х годах социалистические, демократические и революционные идеи. Принятие революции, отличавшее ранних русских утопистов от западных, запечатлено в «римских сценах» образом Рема, символом угнетенного, ограбленного народа.

---

Стр. 186. *Клепсидра* — метафорическое обозначение времени, по названию часов (водяных) в древней Греции.

Стр. 187. *...на скалах сидят страшные Мемноны...*— В древнегреческих мифах повествуется о том, что после того, как Ахиллес убил прославленного героя Мемнона, спутники его, вследствие своей великой печали, превратились в птиц Memnones, которые каждый год прилетали на могилу героя, чтобы оплакивать его, и бились между собой. Птицы Memnones были изображены на воздвигнутых в Фивах двух колоссальных статуях, связанных с культом Мемнона.

*Cloaca maxima* — самый большой из подземных сточных каналов древнего Рима (от Форума в Тибр).

*Орикс* — разновидность антилопы.

Стр. 188. *Нус* — термин древнегреческой философии (букв. знач. «ум»); введен Анаксагором для обозначения первоначальной движущей силы всего существующего.

Стр. 189. *...хорошо написал он в их пользу, не хуже, как за Архия-поэта.*— Цицерон выступил в суде с речью в защиту греческого поэта Архия, обвинявшегося в незаконном присвоении прав римского гражданства.

*Логос* — в древнегреческой философии разум, мысль, слово. *Логос-профорикос* — высказанное, произнесенное слово.

Стр. 190. *Латиклава* — украшенная пурпуром туника, которую носили римские сенаторы.

Стр. 192. *...закон, начертанный на досках...*— Имеется в виду древнейший свод римских законов, известный под названием «XII таблиц».

Стр. 194. *Forum Appii* — город по дороге из Рима в Брундизий.

## ВИЛЬЯМ ПЕН

Печатается по *ЛН*, стр. 276—326, где впервые было опубликовано полностью. Отрывки напечатаны в «Русск. богатстве», 1912, № 3. Лемке напечатал «Вильяма Пена» по копии, снятой Пыпиным с рукописи, полученной, вероятно, от Кетчера. Ни подлинник Герцена, ни копия Пыпина в настоящее время неизвестны (см. комментарий к повести «Елена»). Текст «Вильяма Пена» дошел до нас не полностью (см. в разделе «Другие редакции» напечатанное Герценом в 1862 г. «Scenario двух драматических опытов», содержащее краткое изложение «Вильяма Пена»). Отсутствуют последняя сцена (в Пенсильвании) и финал. Кроме того, по свидетельству Пыпина (*ЛН*, 315), в рукописи недоставало шести страниц (сцена V). В нумерации сцен в подлиннике или в копии допущена ошибка: после «сцены IV» вновь следует «сцена IV». Исправление этой очевидной ошибки приводит к расхождению с нумерацией сцен, которую Герцен дает в «Scenario двух драматических опытов» 1862 г. Однако, восстанавливая «Вильяма Пена» через двадцать лет по памяти, Герцен легко мог ошибиться (о возможности ошибок и пропусков Герцен сам говорит в последнем абзаце своего «Scenario»). В подлиннике, как видно из публикации Лемке, имелись две надписи Герцена: 1) В самом начале рукописи: «Дано на 10 марта, ибо 11 делается... Я решительно сожгу этот неудавшийся опыт». 2) В самом конце рукописи: «Сие писание не апробовано бароном Упсальским». Следует отметить, что Герцен плохо *владел* стихом. В «Вильяме Пене» мы сплошь и рядом встречаемся с нарушением размера (пятистопного ямба).

---

Над «Вильямом Пеном» Герцен работал во Владимире весной и летом 1839 г., что явствует из его писем 1839 г. к Огареву и к Витбергу. Эти же письма свидетельствуют о том, что замысел «Вильяма Пена» Герцен тесно связывал с замыслом «Лициния». В упомянутом выше «Scenario» Герцен писал: «в них ясно виден остаток религиозного воззрения и путь, которым оно переработывалось не в мистицизм, а в революцию, в социализм» (стр. 337). В «Вильяме Пене», в оболочке «религиозного воззрения» выступает острая социальная проблематика. Исторический сюжет должен был сделать эту проблематику более приемлемой для цензуры.

Герцен сам впоследствии признавал, что о квакерстве он имел в 30-х годах самое смутное представление. Не говоря уже об идеализации Вильяма Пена, Герцен весьма неточно изобразил и фактическую сторону биографии основателя Пенсильвании, квакерской колонии в Америке, ставшей после войны за независимость одним из северо-американских штатов. В «Scenario» Герцен писал: «В моем очерке должно искать другую правду, не историческую; в Шиллеровом Дон-Карлосе так же трудно найти Дон-Карлоса испанских летописей, как в моем бледном Вильяме Пене хитрого квакера, описанного (с пристрастием, может, в другую сторону) Мако-

леем». Под «другой правдой» Герцен подразумевает социалистические идеи, которыми проникнуты его драматические сцены. Квакерство для него здесь не более чем псевдоним утопического социализма. В письме к Витбергу от 18 апреля 1839 г. Герцен говорит, что в «Вильяме Пене» изображено квакерство как «религия социальная, прогрессивная». По поводу сцены семейного суда над Вильямом Пенном Герцен в «Scenario» заметил: «Вильям является не подсудимым, а судьей и обличителем (процесс сен-симонистов в 1832 году был еще жив в памяти в <18>38)».

В «Scenario» Герцен писал: «Та же мысль, тот же основной мотив <что в «Лицинии»> и в «Вильяме Пене». Опять разрыв двух миров, опять отходящее старое теснит возникающее новое, опять две нравственности с ненавистью глядят друг на друга». По замыслу Герцена, Новый Свет, где Пен собирался заложить основы идеального общественного строя, должен был принести ему горькое разочарование (см. «Scenario», шестая сцена). Это говорит о том, что идеализация Америки, характерная для многих утопических социалистов Западной Европы, была чужда молодому Герцену, который в письме к Кетчеру от 20 августа 1838 г. заявил: «...где же в Америке начало будущего развития? Страна холодная, расчетливая. А будущее России необъятно — о, я верую в ее прогрессивность». Через десятилетие в первой книге «С того берега» («Перед грозой», 1847), Герцен писал: «Куда бежать? Где эта новая Пенсильвания<...>? Вильям Пен нес с собою старый мир на новую почву; Северная Америка — исправленное издание прежнего текста, не более».

---

Стр. 201. *...Идти на Карла короля...*— Герцен допускает хронологическую неточность. Действие «Вильяма Пена» начинается в 1650 г., когда гражданская война уже кончилась. Карл I был казнен в 1649 г.

Стр. 202. *Карл Фокс, раб божий...*— Имеется в виду основатель секты квакеров Фокс, которого звали Джорджем, а не Карлом.

Стр. 203. *...Когда Нолль посылал по морю Стюарта молодого...*— «Ноллем» называли Кромвеля. Молодой Стюарт — сын Карла I, будущий Карл II. После казни отца он пытался возобновить гражданскую войну, но был разбит республиканскими войсками и бежал во Францию.

Стр. 205. *Учила Букингемова охота...*— Речь идет о герцоге Джордже Букингеме, фаворите королей Иакова I и Карла I. Безумная расточительность и разнузданность Букингема стали в Англии легендарными.

Стр. 210. *Приемная зала генерала Пена...*— В действительности отец Вильяма Пена, также Вильям (а не Георг, как у Герцена), был адмиралом. В 1664 г. одержал крупную морскую победу над голландцами.

*Сейчас граф Портланд молодой унял...*— Эта фраза означает, что быстро пролетели годы с той поры, когда генерал Пен и граф Портланд (отец камергера) были молоды.

Стр. 211. *...Лорд Букингема, первого министра...*— Имеется в виду сын известного фаворита королей Иакова I и Карла I герцог Джордж Букингем, игравший видную роль при Карле II, в эпоху реставрации Стюартов.

Стр. 224. *Полвека вы тому назад отпали от церкви римской...*— В 30-х годах XVI в. произошел разрыв английского короля Генриха VIII с папой; Англия отпала от католицизма и были заложены основы англиканской церкви.

Стр. 231. *Альдермен* — в Англии — лицо, облеченное административной властью.

Стр. 232. *Петр-рыбак* — апостол Петр (по евангельскому преданию — рыбак).

Стр. 236. *Кистер* — у протестантов смотритель церковного здания.

Стр. 243. *Тогда господь послал пророка своего...*—Речь идет о Христофоре Колумбе.

## ‹ЧАСОВ В ВОСЕМЬ НАВЕСТИЛ МЕНЯ...›

Печатается по тексту «Воспоминаний» Т. П. Пассек («Из дальних лет» т. II, СПб., 1879, стр. 33—40), где опубликовано впервые. Пассек включила этот текст в главу своих «Воспоминаний», озаглавленную «Арест и симпатия», Лемке же напечатал его под произвольным заглавием «Арест и высылка» (*Л*I, стр. 180—186). Публикуя комментируемый текст, Пассек писала: «Между моим дневником попадаются заметки и записки, набросанные некоторыми из наших друзей, относящиеся к периоду времени, о котором говорится в моих воспоминаниях, а так как они пополнят их, то я и приведу из них выписки...» (цит. изд., стр. 33). Ныне из материалов «пражской коллекции» мы знаем, что разрозненные герценовские рукописи 30-х годов, о которых идет речь в приводимых словах Пассек, в действительности попали в ее руки лишь в 1872 г., о чем она не могла сказать по цензурным соображениям (см. об этом в комментарии к тексту ‹«О себе»›). Но свидетельство Пассек о фрагментарности ее публикации — фрагментарность обозначена многоточиями в начале абзацев — соответствует действительности. Возможно, что Пассек не только сделала из текста «выписки», но и соединила в одной публикации, не оговорив этого, разные тексты, находившиеся на разрозненных листах герценовских рукописей. Комментируемый текст распадается на *три основных раздела*. Второй четко отделен от первого двумя эпиграфами; третий от второго отделяется менее резко — многоточием, после которого следует фраза: «Холодный утренний ветер дул со стороны Уральского хребта» (см. стр. 256). Действие тут, без всякого перехода, переносится в Пермскую губернию, тогда как в предыдущем абзаце речь шла еще о Казани. Первый раздел (Крутицкие казармы, свидание с Н. А. Захарьиной) вполне мог представлять собой «выписки» из не дошедших до нас глав автобиографической повести «О себе»; следующие разделы не могли относиться к этой автобиографической повести, так как она не охватывала ссылку. Ключ к датировке двух последних разделов дает письмо к Н. А. Захарьиной от 11 апреля 1837 г., в котором Герцен рассказывает о своем путешествии в ссылку словами, чрезвычайно близкими к комментируемым отрывкам, вплоть до текстуальных совпадений. Это письмо представляет собой как бы сокращенную редакцию двух последних разделов. Заключительная фраза письма: «Впрочем я, кажется, уже писал тебе об этом; итак, „простите повторенье"» — свидетельствует, что отрывки комментируемого текста до этого не были посланы Н. А. Захарьиной. Между тем из переписки Герцена с невестой явствует, что он систематически посылал ей для прочтения *все им написанное;* тем более это относится к произведениям автобиографическим, особенно интересовавшим Н. А. Отсюда напрашивается вывод, что настоящий текст (за исключением первого раздела) создавался после цитированного письма, а не через месяц по прибытии в Вятку, как предполагал Лемке,— скорее всего создавался после мая 1838 г., когда Н. А. стала женой Герцена и прекратилась их переписка, по которой можно шаг за шагом проследить работу Герцена над автобиографией.

---

Комментируемые отрывки следует рассматривать как автобиографические заготовки конца 1830-х годов, частично использованные в печатном тексте «Записок одного молодого человека». Наряду с этим в отрывке ‹«Часов в восемь навестил меня...»› имеются текстуальные совпадения с ранее написанным «Письмом из провинции» (см. комментарии к нему). В III части «Записок одного молодого человека» есть места, очень близкие к комментируемым отрывкам; описание переправы через Оку совпадает почти дословно (см. в наст. томе стр. 285). Рассказ о «Годах странствования» начинается теми же словами Данте («Per me si va nella citta dolente»), которые взяты эпиграфом ко второму отрывку.

Понятно, что для печатной редакции «Записок...» Герцен мог лишь частично использовать комментируемый текст; в целом рассказ о Крутицких казармах, о путешествии с жандармом и проч. был совершенно неприемлем для цензуры. Ряд эпизодов Герцен впоследствии — разумеется, по-иному,— воспроизвел в «Былом и думах». Глава XI «Былого и дум» посвящена пребыванию в Крутицких казармах; в гл. XII говорится о свидании 9 апреля; в гл. XIII воспоминание о Владимирской дороге вызывает ту же цитату из «Ада» Данте; в той же XIII главе рассказано происшествие при переправе дощаника через Волгу.

---

Стр. 251. *...бывший мой законоучитель — отец Василий...*— Василий Васильевич Боголепов (о нем см. в письме к Т. Н. Кучиной от октября 1828 г.).

*Я был тот, которому явилась дева...*— 10 апреля 1835 г. Герцен был отправлен в ссылку. Накануне его посетила в Крутицких казармах Н. А. Захарьина. Герцен и Н. А. считали, что свидание 9 апреля положило начало их взаимной любви.

Стр. 252. *Терентьич* — приставленный к Герцену старый солдат Филимонов, рассказ о котором см. в XI главе «Былого и дум».

Стр. 253. *«Per me si va nella città dolente»* — цитата из III песни «Ада» Данте.

*«И колокольчик, дар Валдая...»* — Из песни «Тройка» («Вот мчится тройка удалая»), слова Федора Глинки, музыка певца-композитора из крепостных Ивана Рупина.

*...я вашел проститься с соседом...*— Речь идет об Иване Афанасьевиче Оболенском, университетском товарище Герцена, осужденном по тому же делу, по которому был арестован и сам Герцен.

Стр. 253—254. *«За несколько часов до отъезда, и еще ныне... Не забуду никогда своей прелестной кузины».*— Этот текст с некоторыми изменениями и неполно воспроизводит подлинное письмо Герцена к Н. А. Захарьиной от 10 апреля 1835 г.

*На лестнице встретился с Лахтиным...*— А. К. Лахтин не был арестован, и для него ссылка в Саратов явилась полной неожиданностью. Об этом и о просьбах Лахтина об отсрочке отъезда Герцен рассказывает в XII главе «Былого и дум».

*...мой человек...*— Петр Федорович, камердинер.

*...губернский город* — Владимир.

Стр. 255. *«N. O - ff, exilé de Moscou le 9 avril 1835».*— Огарев был сослан в пензенское имение своего отца — Старое Акшено.

*...ею...*— «Владимиркой», главным путем для ссыльных, которых отправляли на Восток, преимущественно в Сибирь.

Стр. 256. *...многочисленная партия арестантов, полубритых, окружила коляску.*— Об этой встрече с партией арестантов Герцен говорит в письме к Н. А. Захарьиной от 6—12 июня 1835 г.

*...медведь, на медведе евангелие и крест* — герб Пермской губернии.

*В Перми я пробыл около месяца.*— Герцен приехал в Пермь 28 апреля 1835 г., а 30 апреля он был зачислен в штат пермского губернского правления. Однако уже через две недели Герцен и сосланный в Вятку И. А. Оболенский поменялись местами. Об этом хлопотал отец Оболенского, у которого в Перми были родственники. 13 мая Герцен выехал из Перми и 19-го прибыл в Вятку.

*Губернатор...*— Гавриил Корнеевич Селастенник.

## ЗАПИСКИ ОДНОГО МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

Печатается по тексту, включенному Герценом в т. III «Былого и дум», Лондон, 1862, стр. 7—95. Впервые опубликовано в *ОЗ*,

1840, № 12, отд. III, стр. 267—288 (ценз. разр. ок. 14 декабря) и 1841, № 8, отд. III, стр. 161—188 (ценз. разр. ок. 30 июля). Подпись: *Искандер*. Рукопись неизвестна. В тексте *ОЗ* ряда подстрочных авторских примечаний не было. Эти примечания, сделанные в 1862 г., сопровождены в настоящем издании редакционной пометой: *(примеч. 1862 г.)*. Другие разночтения текста *ОЗ* с изданием 1862 г. см. в разделе «Варианты», стр. 471. В предисловиях к «Былому и думам» Герцен указывал, что «Записки одного молодого человека» написаны в 1838 г. (см. комментарии к отрывку повести «О себе»). Указания эти не точны. Авторская датировка опровергается уже тем обстоятельством, что в тексте «Записок...» содержится ссылка на повесть В. И. Даля «Бедовик», напечатанную в № 3 «Отеч. записок» за 1839 г. (ценз. разр. ок. 14 апреля). Отправляясь от этого наблюдения, Я. Е. Эльсберг доказал, что вторая — «малиновская» — часть «Записок...», напечатанная в августовской книжке 1841 г., является «результатом литературной работы Герцена, относящейся не к 1838 г., а к 1840—1841 годам» (см. А. И. Герцен. Повести и рассказы. М., 1934, стр. 488).

---

«Записки одного молодого человека» — первое *художественное* произведение Герцена, появившееся в печати. «Записки...» *подводили итоги автобиографическим опытам* молодого Герцена. Однако это можно сказать только о полной рукописи этого произведения, которая утрачена (об истории текста «Записок...» см. в комментарии к отрывку повести «О себе»). До нас дошли только два «отрывка», к тому же, как указывает сам Герцен, «искаженные цензурой».

Для «Записок...» в том виде, в каком они нам известны, характерны не только внешняя композиционная фрагментарность и неслаженность, но также существенные тематические и стилистические различия между первыми двумя частями произведения («Ребячество», «Юность») и «малиновской» частью («Годы странствования»), которая в публикации *ОЗ* носила название «Еще из записок одного молодого человека». Первые главы — это прямой автобиографический рассказ (с некоторой только маскировкой имен для печати); «Годы странствования» — это уже беллетристика, с условным дневником, с введением «издателя», «нашедшего тетрадь» и т. д.; автобиография в этой части только основа, на которой разрастаются бытописание и сатира.

Белинский в статье «Русская литература в 1841 году» высоко оценил «Записки одного молодого человека». Первый отрывок он считает исполненным «ума, чувства, оригинальности и остроумия»; «о втором,— пишет Белинский,— можно сказать, что он еще лучше первого» (Белинский. Полн. собр. соч., т. VII, стр. 59. См. также отзыв о «Записках...» в письме к Кетчеру от 3 августа 1841 г. Белинский. Письма, т. II, стр. 258). Герцен сам относился к этому своему произведению с особой теплотой и заинтересованностью, протягивая от него нити к «Былому и думам». В этом плане он говорит о «Записках...» в предисловии 1852 г. к «Былому и думам» («Братьям на Руси»), в предисловии 1860 г. к тому же произведению, в предисловии 1862 г. к III тому лондонского издания «Былого и дум». «Записки...» подготовлялись к печати в условиях жестокого цензурного режима, тем не менее они насыщены политическими намеками. Так, Герцен говорит о своем учителе-французе Бушо, участнике событий французской революции: «Бушо не любил меня и с скверным мнением обо мне уехал в Мец. Досадно! Когда поеду во Францию, заверну к старику. Чем же мне убедить его?<...> Есть у меня доказательство,— ну, уж это мой секрет, а старик сдастся...» (стр. 265—266). Это намек на ссылку Герцена по политическому делу. «...Во всем, у всех была бездна надежд, упований, верований горячих и сердечных» (стр. 268) говорится в «Записках...» о первой половине 20-х гг., и, конечно, здесь подразумевается

декабристский подъем. Когда Герцен говорит о том, что рукописью «Записок...» давали играть «черной quasi-датской собаке» (стр. 280), то речь идет о цензуре. «...Мы откровенно клялись пожертвовать наше существование во благо человечеству...» (стр. 282) — это тема клятвы на Воробьевых горах, которая несколько раз вступает в повествование, всякий раз приносит с собой острые политические ассоциации. В «Записках...» Герцен не мог говорить о воздействиях декабризма, столь важных в его идейном становлении. И все же «Записки...» показывают это становление; с особенной полнотой они характеризуют круг чтения юного Герцена. Имя Рылеева поневоле пропущено, но и Пушкин, и Шиллер, и Плутарх воспитывают будущего борца за свободу. Для заострения политического подтекста Герцен использовал распространенную в 30-х годах литературную форму: автор раздваивается на «рассказчика» и «издателя», нашедшего рукопись (ср. и «Герой нашего времени»). Введение «издателя», нашедшего тетради с вырванными листами, давало Герцену возможность намекать на цензурные пропуски.

Журнальная редакция «Записок...» создавалась в тот важный для Герцена переломный период, когда он преодолевал романтически-идеалистические увлечения юности и решительно переходил к материалистическому мировоззрению. В «Записках...» Герцен подводит итоги юношескому периоду своего развития. Критически пересматривая этот «шиллеровский период», Герцен отдает должное юношеской героике, благородным, свободолюбивым мечтаниям, но в то же время считает его уже пройденным этапом. Эта идейная установка находит свое стилистическое выражение в той светлой лирической иронии, которая так характерна для «Записок...», тогда как в творчестве Герцена начала и середины 30-х годов преобладала романтическая патетика. В части «Записок...», озаглавленной «Патриархальные нравы города Малинова», наряду с иронией развертывается общественное обличение, сатира. Обед у малиновского «аристократа» — это развернутый эпизод обеда из «Второй встречи» (сохранилось изображение дворецкого, прислуги и проч.), но античиновничья сатира Герцена стала здесь несравненно шире и сильнее. Годы ссылки, непосредственное соприкосновение с крепостнической действительностью углубили революционный протест Герцена. Не следует также забывать, что «Вторая встреча» была написана еще до знакомства Герцена с «Ревизором» (она датирована мартом 1836 г., а «Ревизор» появился в апреле), «малиновские» же главы созданы после того, как произошло это важное событие в писательской жизни Герцена.

Заключительный эпизод «Записок...» является переработкой очерка «Первая встреча» (1836), или — по первоначальному заглавию — «Германский путешественник» (1834). Об отношении Герцена к Гёте и связанной с этим проблематике см. комментарий к «Первой встрече». Перерабатывая «Первую встречу», Герцен заменил «германского путешественника» поляком Трензинским. В творчестве Герцена Трензинский — скептик и «лишний человек», до известной степени предшественник Бельтова; но Трензинский прежде всего практическая натура, сломленная объективной невозможностью деятельности. Знаменательно, что Огарев увидел в скептицизме, иронии, горькой резиньяции Трензинского форму перехода от романтического к реалистическому мировоззрению, о чем писал в 1842 г. Герцену («Русская мысль», 1889, № 11, стр. 6). Одним из основных, исходных положений материалистической философии зрелого Герцена является требование перехода теории в практику, «одействотворение». Это требование намечается уже в раннем творчестве Герцена; в «Первой встрече» его высказывал «германский путешественник». В «Записках...» оно уже передано «нашедшему тетрадь», чьи суждения воспринимаются читателем как авторские суждения. В последних строках «Записок...»

автор дает критическую оценку скептицизму Трензинского и осуждает немецкое идеалистическое мышление за отрыв от практической жизни, от конкретной действительности. В 1864 г. в четвертом из «Писем к будущему другу» Герцен, вспоминая работу над «малиновскими» главами «Записок...», отметил, что он в Трензинском «не думая, не гадая, сделал портрет Чаадаева». Однако в том же 1864 г. в письме к дочери Герцен разъяснил, что сходство между Трензинским и Чаадаевым не следует понимать буквально, что Трензинский не портрет, но художественное обобщение.

---

Стр. 257. *Напечатаны в «Отечественных записках» в последней книжке 1840 и первой 1841.* — В лондонском издании 1862 г. это указание помещено после заглавия, в скобках. Герцен ошибся: вторая часть «Записок одного молодого человека» была опубликована не в первой, а в восьмой книжке *ОЗ* 1841 г.

*Твое предложение, друг мой...*— Обращение к Н. А. Захарьиной, побуждавшей Герцена писать автобиографию.

*...подольется вешняя вода и смоет с мели мою барку.*— Надежды на освобождение из ссылки.

Стр. 258 *...«из Ахиллеса стал Омиром»...*— Не совсем точная цитата из басни Крылова «Лев и комар». *Омир* — Гомер.

*«Каждый человек,— говорит Гейне,— есть вселенная...».*—Неточный перевод цитаты из «Путевых картин» Гейне (ч. III. Путешествие от Мюнхена до Генуи, гл. XXX).

*...тело, крепости которого удивлялся Гамлет...*— Подразумевается монолог Гамлета из второй сцены 1-го действия.

Стр. 259. *«Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten...»* — начальные строки из «Посвящения» к «Фаусту» Гёте.

*...встречусь с ним...*— с Огаревым.

*«старый дом»* — дом И. А. Яковлева в Б. Власьевском пер. в Москве, ныне не существующий. В этом доме Герцен жил с 1824 по 1833 г. Вторую строку приведенной им строфы стихотворения Огарева «Старый дом» Герцен процитировал неправильно, она читается: «Дружба светлая выросла там».

*...и с тобою, мой ангел, встречусь я на кладбище...*—Имеется в виду памятная для Герцена прогулка с Н. А. Захарьиной по кладбищу близ Ходынского поля. Встреча эта произошла 20 июля 1834 г.; в ночь на 21 июля Герцен был арестован.

Стр. 260. *...m-me Proveau...* она же *Лизавета Ивановна* — жена француза садовника, бонна Герцена.

*...одна богомольная старушка...*— М. С. Макашина, проживавшая у тетки Герцена, княгини М. А. Хованской.

*...дядюшка* — Лев Алексеевич Яковлев.

Стр. 262 *...с тех пор я выучился по толкам...*— Читать по толкам — архаическое выражение, означающее: читать не по складам, а бегло.

*...народные сцены времен федерации.*— Герцен, очевидно, имеет в виду знаменитый праздник федерации (национальное объединение революционной Франции), состоявшийся 14 июля 1790 г. на Марсовом поле в Париже.

Стр. 263 *...мусикийское играние* — Герцен иронически употребляет название музыки, заимствованное у древних греков.

*...10 августа...*— 10 августа 1792 г. во Франции была низвергнута королевская власть.

*«Les Incas» de Marmontel.*— Инками назывались цари Перу, где происходит действие этого романа Ж.-Ф. Мармонтеля.

Стр. 264. *Яков Игнатьевич* — Бакай, лакей в доме И. А. Яковлева.

Стр. 266. *...томы Лафонтена...*— Речь идет о произведениях немецкого писателя Августа Лафонтена.

*«Письмовник» Курганова.* — Анекдот из «Письмовника» Курганова Герцен приводит неточно.

*...во время старорусского бунта.*— В 1831 г. вспыхнуло восстание в военных поселениях, расположенных в районе Старой Руссы. Толчком к восстанию послужила холерная эпидемия; солдаты, убежденные в том, что начальство их морит умышленно, убивали врачей.

Стр. 267. *...сотовых за билет час целый толковать...*— Учителя, дававшие уроки на дому, получали особые «билеты», по которым им потом выдавалась плата.

*...прочитывали в Гейме, изданном Титом Каменецким...*— В основу изданного Каменецким учебника географии для детей «Краткое всеобщее землеописание...» было положено руководство профессора Н. Гейма. Каменецкий утверждал, что Австралия является группой островов.

*...в Шрекке...* Имеется в виду «Всемирная история для детей», составленная В. Шрёком.

Стр. 269... *Софья Павловна Фамусова совсем не параллельно развивалась с нашей литературой...* — Приведенный Герценом в сокращении текст в «Горе от ума» читается так: Чацкий. <...> Вы помните? вздрогнём, что скрипнет столик, дверь... Софья. Ребячество! Чацкий. Да-с, а теперь, / В семьнадцать лет вы расцвели прелестно,/ Неподражаемо <...> (д. I, явл. 7). — Герцен, по-видимому, хотел сказать, что николаевская реакция не способствовала расцвету литературы.

*...бездушная поэма Буало...*— «Art poétique» Буало представляло собой облеченный в стихотворную форму свод эстетических норм и правил поэтики французского классицизма XVII в..

Стр. 270. *...ватага Карла Моора увела меня надолго в богемские леса романтизма.*— В «Разбойниках» Шиллера Карл Моор и его ватага обретаются в лесах Богемии (Чехии).

*...«Jetzt mit des Zuckers...»*— Цитата из «Punschlied» Шиллера.

*...родственница, приезжавшая из Владимирской губернии...*— Речь идет о «корчевской кузине» Т. П. Кучиной, по мужу Пассек. На самом деле она приезжала не из Меленок Владимирской губернии, а из Корчевы Тверской губернии.

Стр. 271. *...Петрозилиусову поэму «О фарфоре...»* — Это произведение И.-Б. Петрозилиуса, помощника библиотекаря Московского университета и автора торжественных од, неизвестно.

Стр. 272... *Роландом Роландини...* — Герцен умышленно спутал имя Роланда, героя французского рыцарского эпоса, с именем Ринальдо Ринальдини, центральным персонажем одноименного романа о «благородном разбойнике» немецкого писателя Х.-А. Вульпиуса.

*... советовал ей, на зло Буало, называться Toinon...*—Буало в «Искусстве поэзии» протестовал против употребления в высокой поэзии «простонародных» имен.

Стр. 273 *...элемент «жанлисовски-моральный...*—Подразумеваются сентиментально-нравоучительные произведения французской писательницы XVIII — начала XIX в. Ф. Жанлис.

Стр. 275. *«Gaudeamus igitur...»*— Начало известной студенческой песни, особенно распространенной среди немецкого студенчества.

*«И я в Аркадии родился!»* — Первая строка стихотворения Шиллера «Resignation» («Auch ich war in Arkadien geboren...»).

Стр. 276. *Нельзя перескочить через термин* т. е. нельзя нарушить закономерности исторического развития (в логике терминами называются понятия, входящие в посылки умозаключения).

*«Влившися в море, она назад из него не польется».*— Неточная цитата из III главы «Ундины» Жуковского.

Стр. 278. *...«Туда, туда!»* («Dahin, dahin!»). См. выше, примеч. к стр. 55.

Стр. 280. *...городки* — Даль, в числе других значений этого слова, дает и следующие: «выкружка, зубец в узоре, вышивке, в оборке, подзоре и проч.; или фестон» (изд. 1935 г., т. 1, стр. 391). У Герцена речь идет о выдранных листах, от которых должны были остаться зубцы, бумажные фестоны.

*Плутус* — в первоисточнике «Пултус» (повидимому, описатка). В повести «Елена» кличка собаки — Плутус.

Стр. 281. *он* — Огарев.

*«Ты уехал, Рафаил ∞ не откликается мне».*— Цитата из «Философских писем» Шиллера (первое письмо Юлия к Рафаилу). В ответ Огареву Герцен цитирует лирический набросок Карамзина, напечатанный в 1-й книжке «Аглаи» под названием «Цветок на гроб моего Агатона».

Стр. 282. *...В деревне...* — Герцен пишет о своем пребывании летом 1829 г. в подмосковном имении отца — Васильевском.

Стр. 284. *...кто, бишь, в-третьих...*— Герцен намекает здесь на цензуру.

*Розенкранцева «Психология».*— Имеется в виду «Psychologie oder Wissenschaft vom subjectiven Geist», изданная в 1837 г. немецким гегельянцем К. Розенкранцем.

Стр. 286. *...впалые щеки старца ∞ и другие слезы...*— Герцен вспоминает прощание с отцом и с Н. А. Захарьиной.

Стр. 287. *Плано Карпини, например, рассказывает свое путешествие...*— См. выше, на стр. 498, комментарий к «Письму из провинции».

*...экземпляр бесхвостой обезьяны, названной им по-латыни Bedovik. Она чуть не пропала между Петербурзом и Москвой.* — Герой повести Даля «Бедовик», мелкий чиновник Лиров, претерпевший всевозможные бедствия на тракте между Петербургом и Москвой: ни в тот ни в другой город ему так и не удалось попасть.

*...Океаниды* — в античной мифологии — морские нимфы, дочери Океана. Герцен называет здесь «океанидами» знаменитых путешественников Кука и Дюмон-д'Юрвиля. И тот и другой открыли большое количество островов.

Стр. 288. *«Beatus ille, qui procul negotiis.»*— Цитата из Горация («Эподы», 2, 1).

Стр. 289. *День Кассиана-римлянина* по календарю православной церкви приходился на 29 февраля, т. е. праздновался только раз в четыре года.

Стр. 295. *Праздник ✠ в кружке.*— Большие праздники отмечались в календарях значком ✠.

Стр. 296. *...в синем фраке* — запросто, по-домашнему, а не в парадном черном фраке.

Стр. 299. *Перов трактир* — известный в то время трактир в Москве, за Рогожской заставой.

Стр. 300. *...храмовые рыцари...*—См. примеч. к стр. 107.

Стр. 301. *... «Чело, как череп голый»* — Цитата из стихотворения Пушкина «Полководец», относящаяся к Барклаю-де-Толли.

*«Mémorial de S-te Hélène».*— Автор книги — граф Лас-Каз, приближенный Наполеона, разделивший с ним изгнание; в основу мемуаров легли ежедневные записи, которые Лас-Каз вел в течение своего пребывания на острове св. Елены.

Стр. 303. *... жизнь не имеет ни ядра, ни скорлупы.*— Герцен имеет в виду строки из стихотворения Гёте «Allerdings. Dem Physiker» из цикла «Gott und Welt»:

Natur hat weder Kern
Noch Schale,
Alles ist sie mit Einemmale[1].

Стр. 305. *Шпрудель* — минеральная вода.

Стр. 307. *«Как одежда восточного экипажа... во всей славе и красоте своей бестелесности».* - Неточная цитата из «Лекций по эстетике» Гегеля, кн. II, отдел «Классическая форма искусства», гл. II. (Гегель. Сочинения, т. XIII, М., 1940, стр. 57).

Стр. 309. *V'là vos chiens de Brunswick...*— В 1792 г. войсками австро-прусской контрреволюционной коалиции командовал герцог Брауншвейгский.

*Ça ira.*— Припев знаменитой песни французской революции.

Стр. 310. *...Людовика Великого и великого Аруэта.*— Людовика XIV и Вольтера.

*...процветали под лилиями...*— Белые лилии — эмблема дома Бурбонов и тем самым французских роялистов.

*...наш Готфред скоро образумит их...*— Герцог Брауншвейгский сопоставляется с Готфридом Бульонским. См. выше, примеч. к стр. 112.

*старый Фриц* — Фридрих II.

Стр. 313. *...улыбаясь филологическим знаниям эмигранта...*— Поэма «Мессиада», упомянутая эмигрантом, принадлежит не Гёте, а Клопштоку.

*...политическую фарсу Гётева сочинения.* — Подразумевается антиреволюционная пьеса Гёте «Der Bürgergeneral» (1793).

Стр. 316. *Фридрих II, прочитав «Гёца фон-Берлихингена»...*— В своей ранней драме «Гёц фон-Берлихинген» Гёте ниспровергал нормы французского классицизма.

## <НЕ ДОЛГО ПРОДОЛЖАЛОСЬ ЕГО ОДИНОЧЕСТВО...>

Печатается по черновому автографу (*ИД*). Без подписи. Впервые опубликовано К. Н. Григорьяном в сб. «Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения». М.— Л., 1951, № 3, стр. 35—37. По мнению К. Н. Григорьяна, набросок «относится к 1833 г., к началу дружбы с Огаревым» (стр. 37). Однако определенность этой датировки осталась неаргументированной, тем более что дружба с Огаревым началась не в 1833 г., а на семь лет раньше. Набросок поддается пока лишь приблизительной датировке началом 30-х годов. Рукопись была захвачена полицией при аресте Герцена, и на ней имеется пометка карандашом: «Конв<ерт>, д<ело> № 239, ч. 1, 1834».

---

«Недолго продолжалось его одиночество...» — один из опытов Герцена в излюбленном им в 30-х годах автобиографическом роде. *«...Двое молодых людей»* (стр. 318), разумеется, Герцен и Огарев. *«...Один из них, с прелестным поэтическим лицом, с огненными глазами...»* — это характеристика Огарева, в уста которого вложен монолог отрывка. В первоначальном (зачеркнутом) варианте читаем: «мой друг [изливал] переливал мне душу свою следующею огненною речью». В этой «речи» сгущены романтические мотивы — высокие идеалы, которым противопоставлено

---

[1] «Природа не имеет ядра и оболочки, она сразу и то и другое» (нем.).— *Ред.*

«смердящееся озеро, называющееся толпою», одиночество среди «ледяных людей», идеальная дева и проч. Однако характерно, что среди этих романтических штампов возникает формула осуждения романтической мечтательности и бездейственности: «Знаю, что мечты вредны, что они ослабляют энергию ума, что убивают деятельность, но как было противустоять им!»

---

Стр. 318. *...бала в Таврическом дворце.*— 9 мая 1791 г. Потемкин устроил в честь Екатерины II праздник в Таврическом дворце, известный неимоверной роскошью.

*...в театр Медокса.*— Антрепренер Медокс открыл в конце XVIII в. в Москве театр, просуществовавший до 1806 г.

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЛЕКЦИИ Г-НА МОРОШКИНА, ПОМЕЩЕННОЙ В V № «УЧЕНЫХ ЗАПИСОК»

Печатается по беловому автографу (*ПД*). В левом верхнем углу подлинника имеется помета чернилами «№ 39». Публикуется впервые. Лекция Ф. Л. Морошкина «Права знатнейших древних и новых народов» появилась в «Ученых записках императорского Московского университета» в ноябре 1833 г. (№ V, стр. 177—218). Поэтому отрывок можно датировать концом 1833 или первой половиной 1834 г. (до ареста).

---

Ф. Л. Морошкин в 1833 г. защитил магистерскую диссертацию «О постепенном развитии законодательств» и занял в Московском университете должность адъюнкта (впоследствии профессора) по кафедре «права знатнейших древних и новых народов». Заинтересовавшая Герцена статья представляла собой вводную лекцию к курсу Морошкина, содержавшую изложение общих принципов изучения истории права. Молодого Герцена, с его интересом к философии истории, в лекции Морошкина привлекала, очевидно, попытка философской трактовки юридических вопросов. Впоследствии Морошкин, сблизившийся со славянофилами, определился как представитель правого гегельянства в науке о праве. Герцен иронически отзывается о Морошкине в записи «Дневника» от 26 октября 1842 г., в XXX главе «Былого и дум» называет его «полуповрежденным», в памфлете 1863 г., направленном против Погодина («Старика Вёдрина крепкое до польских братий словцо»), пародирует реакционные высказывания Морошкина. В то же время о работе Морошкина 1839 г. «Речь об Уложении царя Алексея Михайловича и о последующем его развитии» Герцен писал в «Дневнике»: «Из всего, что я читал, писанного славянофилами, это, без сомнения,— и лучшее и талантливейшее сочинение» (запись от 10 марта 1844 г.).

В комментируемом наброске нашли отражение ошибочные суждения о соотношении русской культуры с культурой западноевропейской, от которых Герцен в дальнейшем отказался. Вместе с тем здесь же выражено убеждение Герцена, сохранившееся у него на всю жизнь, что Россия имеет возможность использовать опыт более передовых в то время стран и на этой основе быстрее идти вперед.

## ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О РУССКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Печатается по автографу в «записной тетради 1836 г.» (*ЛБ*). Без подписи. Впервые опубликовано Е. С. Некрасовой в «Русской старине», 1889, т. 1, стр. 177—180. Датируется по местоположению в тетради октябрем — ноябрем 1836 г.

---

В своей основе комментируемый текст представляет собою, повидимому, соединение «замечаний» Герцена с рефератом неизвестного нам сочинения по истории русского законодательства, написанного на французском языке, о чем можно судить по отдельным французским выражениям, приводимым в скобках. Некоторые положения и формулировки документа проникнуты официально-монархической идеологией, враждебной Герцену, стоявшему и в 30-х годах на революционных позициях. Резюме суждений неизвестного автора Герцен сопровождает собственными «замечаниями» и завершает реферат самостоятельными выводами.

Важнейшие идеи, выраженные в «замечаниях» Герцена, находились в зависимости от характера политических и исторических взглядов молодого революционера, который в середине 30-х годов переживал процесс формирования своего мировоззрения и был еще далек от революционно-демократических выводов, к которым пришел впоследствии. Отсюда проистекает общая незрелость, а иногда даже прямая ошибочность и тех суждений, автором которых является, вероятно, сам Герцен.

«Замечания» характеризуют русское законодательство так называемого «европейского периода», который открылся, по Герцену, реформами Петра I. Известно, что молодому Герцену была свойственна идеализация преобразовательной деятельности Петра I, что нашло наиболее яркое выражение в его статье «Двадцать осьмое января», относящейся к 1833 году (см. в настоящем томе стр. 29—35 и комментарий на стр. 482—483). Идеализацией реформ Петра I объясняется исходное положение «замечаний»: «Нигде правительство не становилось настолько перед народом, как в России». При всей ошибочности оценки Герценом русского законодательства, он отчетливо понимал его дворянский характер, обусловленный господствующим положением дворянского сословия в стране. Вот почему Герцен в выводах следующим образом формулирует главные причины, *мешающие* правильному и полному развитию законодательства в России: «Перевес, данный дворянству», и «Помещичье право, исключающее из общего круга людей крепостных».

В выводах из «замечаний» получили также отражение просветительские убеждения Герцена, определявшиеся его идеалистическим пониманием истории. Распространение просвещения Герцен считал важнейшим условием правильного развития законодательства.

С т р. 320. *Свод императора Николая.*— «Свод законов Российской империи», был обнародован в 1833 г.

*Возражения Савиньи против германской кодификации...*— Савиньи выступил против проекта создания общегерманского кодекса в брошюре «О призвании нашего времени к законодательству и к правоведению» (1815). Он утверждал здесь с позиций реакционной «исторической школы», которую возглавлял, что образование права представляет собою процесс выявления «духа народа» и что преобразование права путем законодательным невозможно.

## К «СИМПАТИИ»

Печатается по черновому автографу (*ПД*). Без подписи. Впервые опубликовано в *ЛХХII*, стр. 149—150. Сверху рукой Герцена написано: «К Симпатии»; в конце рукописи его рукой карандашом помечено: «Отсюда — туда» и карандашом зачеркнуто: «Владимир-на-Клязьме 13 генваря». На листе с автографом «Симпатии» помещается единственный дошедший до нас рукописный вариант «Записок одного молодого человека» (см. выше, стр. 471).

---

Отрывок представлял собой вставку в текст «Симпатии» — утраченного произведения Герцена, которое, как явствует из письма к невесте

от 14 января 1838 г., должно было войти во вторую часть задуманного Герценом автобиографического цикла (см. ниже справку «Утраченные произведения Герцена 1830-х годов»). Над «Симпатией» Герцен начал работать в Вятке, в июле 1837 г. (см. письмо к Н. А. Захарьиной от 25 июля 1837 г.); о том, что это произведение готово, он сообщает в письме к невесте от 13 января 1838 г. Тем же числом датирован комментируемый отрывок. Таким образом, он представляет собой, вероятно, концовку «Симпатии».

В произведениях и письмах Герцена, относящихся к 30-м годам, часто встречается слово *симпатия;* в герценовском кругу это слово приобретало философский оттенок, оно употреблялось в смысле: *духовное родство, взаимное притяжение.*

«Симпатию» Герцен в своих письмах называет также «статьей о Полине». Ее героиня — вятская приятельница Герцена Полина (Паулина) Тромпетер, родственница вятского аптекаря, приехавшая из Прибалтийского края. Полину Герцен тепло вспоминает в гл. XXI «Былого и дум». «Симпатия» была посвящена другу Полины — Вере Александровне Витберг, дочери А. Л. Витберга (см. письмо к Н. А. Захарьиной от 15 января 1838 г.).

---

С т р. 324. *Текла* — героиня трагедий Шиллера «Пиколомини» и «Смерть Валленштейна». В 7-м явлении д. III «Пиколомини» Текла поет песню.

*«Das Mädchen aus der Fremde»* — стихотворение Шиллера; имеется в виду романс на эти слова.

*... ее ...* — Н. А. Захарьину.

*Вспомните Беттину Брентано, о которой я не могу думать без восторга.*— В 1830-х годах в России были популярны романтические письма Беттины фон Арним (Брентано) к Гёте («Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde»). Впоследствии Герцен относился к Беттине Арним резко отрицательно.

*«...страну метелей и снегов».*— Поэма Рылеева «Войнаровский» начинается строкой: «В стране метелей и снегов...»

С т р. 325. *...она, как посланник божий, явилась в смрадную пещеру Даниила...*— См. примеч. к стр. 92.

## ⟨ИЗ СТАТЬИ ОБ АРХИТЕКТУРЕ⟩

⟨1.⟩ ⟨У египтян более гордости...⟩
⟨2.⟩ ⟨...есть высшая историческая необходимость...⟩
⟨3.⟩ ⟨говорить о домах под лаком в Голландии...⟩

Первый набросок печатается по автографу на лл. 108 и 108 об. так называемой «записной тетради 1836 г.» (*ЛБ*). Без подписи. Датируется, по положению в тетради, концом октября — началом ноября 1836 г. Впервые опубликовано Е. С. Некрасовой в «Русск. старине», 1889, № 1, стр. 176—177, как часть записей «Отдельные мысли» (см. комментарий к этому тексту). Второй отрывок печатается по автографу, сохранившемуся на листе писчей бумаги большого формата (*ИД*). Без подписи. Датируется предположительно 1838 г. Впервые опубликовано М. К. Лемке — *ЛХХII*, стр. 150—152. Третий отрывок печатается по автографу, уцелевшему на л. 86 «записной тетради 1836 г.» (*ЛБ*): перед л. 86 из тетради вырезано приблизительно листов 20. Впервые опубликовано в *ЛII*, стр. 78. Без подписи. В конце дата: «Владимир, 12 фев⟨раля⟩ 1838». Отрывки представляют собою фрагменты разных рукописей, так как листы с автографом второго отрывка отличаются от других по формату, автографы же первого и третьего отрывка хотя и находятся оба в «записной тетради 1836 г.», но расположены в ней изолированно друг от друга и относятся к разному времени: 1836 и 1838 гг.

В письмах к Н. А. Захарьиной от 12 декабря 1836 г. и 10 января 1837 г. Герцен сообщал о том, что «занимается архитектурой». В письме от 26 февраля 1838 г. он вспоминал, что «излучался в Вятке архитектуре в два месяца». 31 января 1838 г. Герцен писал из Владимира Н. А. Захарьиной: «Я теперь оканчиваю свою архитектурную мечту „Кристаллизация человечества", эта статья, сверх нового взгляда на зодчество, важна потому, что я основными мыслями ее потряс... кого же? — Витберга, и что он, зодчий-гений, должен был уступить мне, юноше, не артисту,— я глубже проник в историческую структуру его искусства. Статья эта ему и посвящена».

Комментируемые тексты, повидимому, и представляют собой отрывки статьи об архитектуре, задуманной еще в 1836 г. в Вятке под влиянием бесед с Витбергом и законченной в 1838 г. во Владимире. Рассуждения об истории архитектуры в первом отрывке местами близки к соответствующим рассуждениям в «Записках» А. Л. Витберга, в создании которых Герцен принимал активное участие (см. ниже комментарии к «Запискам» стр. 531 и след). Во втором отрывке Герцен высказывает ту же мысль о слиянии готического стиля с мавританским, что и в первом. Относительно третьего отрывка, сопровожденного датой «Владимир, 12 фев<раля> 1838 г.», можно утверждать с полной уверенностью, что это — уцелевшее окончание *первой статьи об архитектуре*, получившей в период завершения работы над ней заглавие «Кристаллизация человечества». 13 февраля 1838 г. Герцен писал Н. А. Захарьиной: «...кончил статью об архитектуре,— и добра есть. Бесспорно, лучшее, что выходило из моего пера; глубокая мысль переплетена в огонь, проникнута огнем и огнем ‹...› я дописывал статью 12 февраля». «Сожгу все, кроме статьи архитектурной...»,— писал Герцен Кетчеру 1 марта 1838 г. Об обещанной в конце третьего отрывка «следующей статье» ничего неизвестно.

Самая сильная сторона сохранившихся фрагментов статьи об архитектуре заключается в том, что Герцен высказывает в них убеждение в исторической обусловленности явлений искусства.

---

С т р. 326. *Целты* — кельты.

*Открытие развалин Мероэ в Эфиопии французом Cailliaud...*— Французский путешественник Фредерик Кайо открыл на правом берегу Нила развалины Мероэ, древней столицы Эфиопии, разрушенной в III веке н. э. В 1826—1827 гг. Кайо опубликовал четырехтомное описание своих путешествий 1819—1822 гг., в том числе путешествия в Мероэ.

*...форма периптеральная храмов.*— Периптеральное здание — здание, окруженное колоннами.

С т р. 327. *...построено несколько маленьких зданий и написана бездна диссертаций, доказывающих превосходство готизма.*— Герцен имеет в виду увлечение так называемой «ложной готикой», характерное для архитектуры эпохи романтизма.

*Одному соотечественнику нашему...*— Этим соотечественником был П. Я. Чаадаев. См. его четвертое «Философическое письмо», перевод ранней редакции которого был опубликован в «Телескопе», 1832, № 11, стр. 347—354.

## ‹ЧТОБ ВЫРАЗУМЕТЬ ЭТУ ИСПОВЕДЬ СТРАДАЛЬЦА...›

Печатается по черновому автографу (*ЦГЛА*). Впервые опубликовано А. Сергеевым в *ЛН*, т. 61, стр. 11—12.

---

Публикуя рукопись, А. Сергеев высказал предположение, что первоначальная редакция этого автобиографического наброска относится к

1828 г., создание же текста публикуемого документа — к более позднему времени, «понидимому, к 1833—1834 гг.» Первая дата определяется письмом Герцена к Т. П. Пассек, приведенным в ее «Воспоминаниях» под 1828 г.: «Вскоре по возвращении из Васильевского Саша писал мне: Я читал „Confessions de J.-J. Rousseau“— эту исповедь страдальца, энергической души, выработавшейся через мастерские часовщиков, передние, пороки, до высшего нравственного состояния, до всепоглощающей любви к человечеству...» («Из дальних лет», т. I, стр. 245). Эти строки почти полностью совпадают с началом комментируемого отрывка. Вполне возможно, что Герцен впоследствии использовал текст своего письма, которое могло у него сохраниться в черновике или копии. Однако трудно согласиться с предложенной датировкой комментируемого текста первой половиной 30-х годов.

Сам же А. Сергеев отметил, что публикуемый текст написан в тоне несколько ироническом по отношению к «шиллеровскому периоду», который рассматривается уже как *пройденный* этап. А подведение итогов юношескому периоду своего развития характерно для Герцена конца 30-х годов, и прежде всего для «Записок одного молодого человека». В «Записках...» Герцен рассказывает о том, что, возмужав, он «на Шиллера взглянул ‹...› тем взглядом, которым юноша, приехавший в отпуск, смотрит на добрые черты старца-воспитателя ‹...›, немножко вниз, немножко с благосклонностью». «Ты—по превосходству поэт юношества»,— обращается к Шиллеру герой «Записок...» Один из вариантов к комментируемому отрывку гласит: «...Шиллер и есть по превосходству поэт юношей ‹...› его фантазия выражала не полный человеческий элемент, как у Шекспира, а один юношеский со всеми увлечениями и мечтами его» (см. «Варианты», стр. 473).

Исходя из этих соображений, можно высказать предположение, что комментируемый отрывок относится к «Запискам одного молодого человека» или к одной из подготовительных редакций этого произведения. В таком случае он должен быть датирован концом 30-х годов. Предположение это подкрепляется тем обстоятельством, что в отрывке Т. П. Пассек названа Темирой, именем, под которым она фигурирует именно в «Записках одного молодого человека».

В разделе «Записок», озаглавленном «Юность», несколько страниц посвящено рассказу о литературных увлечениях героя. После упоминания «Ифигении» Гёте рассказ прерывается многоточием, за которым следует фраза: «Тут не достает нескольких страниц... А досадно, должно быть они занимательны». К абзацу, начинающемуся этой фразой, Герцен сделал в 1862 г. (в т. III лондонского издания «Былого и дум») примечание: «Белинский показывал рукопись мою цензору до посылки в цензуру. Он отметил несколько мест, как совершенно невозможные. Вот что подало мысль их выпустить предварительно и отметить в тексте». Вполне вероятно, что комментируемый отрывок, в котором также идет речь о литературных интересах героя, и представляет собой одну из таких купюр. Понятно, что сочувственные упоминания Робеспьера, Сен-Жюста, «Discours sur l'inégalité de l'homme» (у Руссо — «parmis les hommes») и т. д. с точки зрения цензора были бы «совершенно невозможны».

Герцен отчетливо понимал революционизирующее действие произведений Руссо, особенно таких, как «Общественный договор» и «Рассуждение о происхождении и причинах неравенства среди людей»; он неоднократно говорил о том, что Руссо демократичнее Вольтера (см., например, запись в «Дневнике» от 13 апреля 1842 г.).

В комментируемом отрывке Герцен выражает свое отрицательное отношение к механистическому материализму энциклопедистов (см. выше на стр. 479 комментарии к сочинению «О месте человека в природе»).

## ‹ГРЕТХЕН, В КОТОРУЮ БЫЛ ВЛЮБЛЕН ГЁТЕ...›

Печатается по автографу в «записной тетради 1836 г.» (*ЛБ*), чем и определяется предположительная датировка. Впервые опубликовано Е. С. Некрасовой в предисловии к «Легенде о святой Феодоре» — «Русская мысль», 1881, № 12, стр. 48.

---

Стр. 330. *Гретхен, в которую был влюблен Гёте...* — В первой части автобиографии Гёте «Поэзия и правда» рассказана история его юношеского увлечения кельнерней Гретхен (фамилия ее неизвестна).

*Клара в «Эгмонте»* — Клерхен — героиня трагедии Гёте «Эгмонт».

## ‹НОЯБРЯ 6, 1836›

Печатается по автографу в «записной тетради 1836 г.» (*ЛБ*). Впервые опубликовано Е. С. Некрасовой в «Русской старине», 1889, № 1, стр. 176, как часть записей «Отдельные мысли» (см. выше комментарий к этому тексту).

---

Стр. 330. *Весь вечер, занимаясь развитием мысли религиозной в жизни человечества...* — Герцен сочинял не дошедшую до нас статью «о религии и философии». Статья эта неоднократно упоминается в письмах Герцена 1836 и 1837 гг. под названием «Мысль и откровение».

*Мышление без действия — мечта!* — Здесь уже намечено одно из основных философских положений зрелого Герцена — требование сочетания теории с практикой.

## ‹ИТАК. ПРОТЕСТАНТИЗМ И ГУСТАВ-АДОЛЬФ...›

Печатается по автографу в «записной тетради 1836 г.» (*ЛБ*). Текст помещается на л. 121 вслед за выписками на лл. 119—121 из Лютера (письмо к Эразму Роттердамскому 1524 г.), Лас-Каза («Mémorial de Sainte Hélène». Novemb. 1815) и Гёте («Dichtung und Wahrheit», две выписки).

## ‹В АЛЬБОМ Т. П. КУЧИНОЙ›

Печатается по тексту «Воспоминаний» Т. П. Пассек («Из дальних лет», т. 1, СПб., 1878, стр. 354—355), где опубликовано впервые. Рукопись неизвестна. Запись, по датировке Пассек, относится к 1831 г.

---

Стр. 331. *A priori Jean Paul Richter.* — Этой подписью Герцен хотел, повидимому, сказать, что подобные строки вполне могли бы принадлежать Жан-Полю Рихтеру.

## ‹В АЛЬБОМ В. А. ВИТБЕРГ›

Печатается по копии Ф. А. Витберга с автографа Герцена в альбоме В. А. Витберг (*ЦГЛА*). Альбом утрачен. На копии пометка: «Запись А. И. Герцена в альбоме сестры Веры». Впервые опубликовано Л. Я. Гинзбург в *ЛН*, т. 61 (М., 1953), стр. 21—22.

---

Аллегория Герцена прозрачна. *Разбитый дуб* — разумеется, Витберг, некогда строитель грандиозного храма-памятника, потом оклеветанный, разоренный конфискацией, сосланный в Вятку. В своих вятских и владимирских письмах, а позднее в «Былом и думах» Герцен подчеркивал значение той моральной поддержки, которую оказал ему Витберг в период ссылки. В январе 1838 г. Герцен писал Витбергу: «...где бы ни был

пилигрим, он благословит дуб, под сенью которого отдыхал (в альбоме у Веры Александровны) <...>». Заключительная фраза записи: «*И путник благословил их, продолжая свою дорогу*» — также имеет скрытый смысл. Запись датирована 12 ноября 1837 г. С часу на час Герцен ожидал исхода вновь возбужденного ходатайства о разрешении на отъезд из Вятки. 16 ноября последовала резолюция Николая о переводе Герцена во Владимир. До Герцена это известие дошло 28 ноября.

Наконец, *ветвь дуба*, говорящая о жизни,— это, очевидно, сама обладательница альбома. В этом образе выражена мысль о духовной близости Веры Александровны Витберг к ее отцу, о чем Герцен неоднократно говорит в своих письмах, например в письме к Витбергам от 1 января 1838 г. В. А. Витберг, подобно Полине Тромпетер и А. Скворцову, принадлежала к числу тех молодых друзей Герцена, которые несколько скрасили для него тягостную обстановку вятской ссылки.

## <ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА 1839 г.>

Дневниковые записи печатаются по автографам на отдельных вырванных из тетради листах (*ЛБ*). В двух записях часть текста — она опускается — принадлежит Наталье Александровне. Впервые опубликовано Е. С. Некрасовой в «Северном вестнике», 1894, № 11, стр. 181—185.

Записи относятся к 1839 г. Листы из тетради — это все, что дошло до нас от «Дневника» Герцена периода владимирской ссылки. В записях отразились еще не изжитые романтически-религиозные настроения и в то же время утопически-социалистические воззрения и чаяния Герцена: «...человечество годом ближе к великой эпохе братства и гармонии!..»

В записи от 11 января Герцен подводит итоги пережитому с 1834 г. В ночь с 20 на 21 июля 1834 г. Герцен был арестован; 1835—1837 гг. провел в ссылке в Вятке; в самом конце 1837 г.— переведен во Владимир; в мае 1838 г. обвенчался во Владимире с Н. А. Захарьиной.

---

С т р. 333. *Покойник был добр...*— 19 января 1839 г. умер дядя Герцена Лев Алексеевич Яковлев (по прозвищу «Сенатор»).

*3 марта 1838 первое свидание с Natalie...*— 2 марта 1838 г. Герцен тайком приехал из Владимира в Москву; на следующий день он виделся с Н. А. Захарьиной.

*Николай* — Н. П. Огарев.

*Он пробыл у нас с Марией 15, 16, 17, 18.*— В 1836 г. Огарев в своей пензенской ссылке женился на Марии Львовне Рославлевой. В 1839 г. Огарев и его жена посетили Герценов во Владимире. Это «свидание четырех» отразилось в переписке Герцена и Огарева; Герцен рассказывает о нем в «Былом и думах» (гл. XXV). Листок с комментируемой записью заканчивается восторженной припиской Н. А. Герцен, посвященной свиданию друзей (см. *ЛП*, стр. 268).

*Сохрани ее и сохрани его!* — В ночь с 13 на 14 июня 1839 г. родился первый сын Герцена Александр Александрович. На обороте листа с этой записью рукой Н. А. Герцен 1 января 1841 г. сделана надпись, которую с некоторыми изменениями Герцен приводит в XXVIII главе «Былого и дум» (подлинный текст этой надписи см. *ЛП*, стр. 268—269).

## ЛИЦИНИЙ И ВИЛЬЯМ ПЕН

### Scenario двух драматических опытов

Печатается по тексту «Былого и дум», т. III, Лондон, 1862, стр. 97—108, где опубликовано впервые. Рукопись неизвестна. «Scenario» Герцен, очевидно, написал в 1861 г. специально для третьего тома лондонского издания

«Былого и дум», озаглавленного «Между четвертой и пятой частью» и содержавшего произведения 1830—40-х годов.

Герцен полагал, что его «драматические опыты» полностью утрачены. Он в высшей степени критически относился к литературным достоинствам этих опытов, но считал их характерными для своего идейного развития (см. упомянутую в «Scenario» гл. XVI «Былого и дум», а также комментарии к текстам «Из римских сцен» и «Вильям Пен»).

## О ЧУМЕ И ПРИЧИНАХ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ОНУЮ, БАРОНА ПАРИЗЕТА

Печатается по тексту «Вестника естественных наук и медицины», 1829, № 4, стр. 404—416 (ценз. разр.— 16 марта), где опубликовано впервые. Подпись: *Ал. Гер...*». Рукопись неизвестна.

Принадлежность статьи Герцену аргументирована Лемке (*ЛП*, стр. 524). Ему удалось установить, что издатель «Вестника...», доктор медицины профессор фармации Московского университета А. А. Иовский, в качестве врача бывал в доме И. А. Яковлева. Издатель «Вестника...» сопроводил статью примечанием: «Статью сию с большим удовольствием помещаем в журнале нашем не потому только, что она весьма занимательна сама по себе, но единственно потому, что это есть первый плод занятий молодого любителя естественных наук. Время покажет, сколь приятны таковые занятия». Примечание это соответствует фактам биографии Герцена, увлекавшегося в студенческие годы естествознанием, и тем самым подтверждает предположение Лемке.

Статья представляет собой реферат работы известного французского медика, специалиста по эпидемическим болезням, Этьена Паризе. В 1828 г. Паризе был послан в Египет для изучения причин возникновения чумы.

Свои первоначальные наблюдения и выводы Паризе изложил в статье «Lettre sur l'expédition medical d'Egypte», напечатанной в журнале «La Clinique des hôpitaux et de la ville», t. I, P., 1829. Реферат был опубликован в «Вестнике» небрежно, повидимому, без контроля Герцена. В частности, были допущены ошибки в именах собственных. Напечатано Кугнет вм. Пугнет (стр. 349), Аррей вм. Ларрей (стр. 349), Вальд, Шмит вм. Вальдшмит (стр. 349), Астий вм. Аэтий (стр. 350), Павел Этосский вм. Павел Эгинский (стр. 350), Вавкуч, вм. Вавруч (стр. 350), Синард вм. Сикард (стр. 350), Фиери вм. Фиера (351).

Следующие устарелые или неточные транскрипции географических названий в реферате нуждаются в уточнениях и пояснениях: *Алепп* — Алеппо, *Пристань Сейдская* — Саидская (Порт-Саид), *Залив Скандерунский* — Искандерунский (Залив Александретты), *Киллыс* — Киллис, *Эзаз* — Азаз, *Пелуза* — Пелузий.

Стр. 350. «... *morbus inquinarius* ∞ *vocant*...» — Цитата из «Истории франков» Григория Турского (кн. X, гл. 1).

## О ДРЕВНЕМ БАЛЬЗАМИРОВАНИИ

Печатается по тексту «Вестника естественных наук и медицины», 1829, № 5, стр. 24—30 (ценз. разр.— 9 апреля), где опубликовано впервые. Подпись: *Ал. Гер...* Рукопись неизвестна.

Принадлежность статьи Герцену установлена Лемке на тех же основаниях, что и принадлежность статьи «О чуме и причинах, производящих оную...» (см. комментарий к ней); она также представляет собой реферат работы Этьена Паризе.

Стр. 353. *Но я сомневаюсь, чтоб они были что-нибудь другое.* — Всеми предыдущими рассуждениями автор стремится показать обратное. Это противоречие возникло, вероятно, в результате неудачного перевода. По-французски douter — сомневаться, se douter — подозревать, предполагать. Смысл комментируемой фразы скорее всего следующий: *я подозреваю, что они являются чем-нибудь другим.*

*Г-н Келлио* (*Cailliaud*) — правильное произношение.— Кайо. См. о нем в примеч. к отрывку «У египтян более гордости...», стр. 521.

## О ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ

Печатается по тексту журнала «Атеней», 1830, ч. II, стр. 289—307 (ценз. разр.— 18 августа), где опубликовано впервые. Подпись: *С франц⟨узского⟩ Ал. Герцен.* Рукопись неизвестна. Появление этого текста в «Атенее», вероятно, объясняется тем, что издатель этого журнала М. Г. Павлов был одним из университетских профессоров Герцена.

Следующие устарелые или неточные транскрипции географических названий в статье нуждаются в уточнениях и пояснениях: *Мыс Кенаумский* — Мыс Кенай, *Перуза* — Перуджия, *Кинен-Стон в Герефортском графстве* — Кингстон в Герфордском графстве, *Натолия* — Анатолия, *Цесемврия* — Цесембр, *Молюкский о-в* — Молукский о-в, *Лобак* — Лайбах, *Уедо* — Иеддо, *Сен-Яго* — Сант-Яго, *Хили* — Чили, *Кахана* — Кашан, *Пихинка* — Пичинча, *Гуелва* — Уэльва, *Корду* — Кордова, *Лаутербрунские горы* — Лаутербруненские горы, *Тесенно* — Тесин, *Донаверт* — Донауверт, *Мекинец* — Мекиньес (Мекиненса), *Фунхаль* — Фуншаль, *Глазгов* — Глазго.

———

Стр. 356. «*Spectante e via Aemilia ∞ multitudine*»—цитата из Plin. Hist. Nat., lib. 2, c. 83.

«*portenta terrarum semel visa*» — неточная цитата из Plin. Hist. Nat. lib, 2, c. 85, где читаем не *visa*, а *tradita*.

Стр. 357. *...в озере ...* — В журнальном тексте опечатка: «в селе».

*От землетрясения произошел остров из горы друид⟨ов⟩, посвященной Белену...* — В журнальном тексте искажение: «От землетрясения произошел остров из горы Друид, посвященный Белену...» *Друиды* — жрецы у кельтических народов древней Галлии. *Белен* (Беленус) — божество галлов.

## О НЕДЕЛИМОМ В РАСТИТЕЛЬНОМ ЦАРСТВЕ

Печатается по тексту журнала «Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических», 1830, ч. III, № 1, стр. 3—42 (ценз. разр.—29 сентября), где опубликовано впервые. Подпись: *Ал. Герцен.* Рукопись неизвестна. Издателем «Нового магазина» был профессор И. А. Двигубский, читавший в Московском университете ботанику.

Довольно точный перевод одной из глав «Органографии» Декандоля: Livre V. Conclusions et généralités. Ch. «De l'individu végétal», t. II, Paris, 1827, pp. 228—235. Выдающийся швейцарский ученый, один из основоположников современной ботаники, Декандоль занимался проблемами, которые волновали передовую естественно-научную мысль его времени. Подобно тому как Кювье положил основание сравнительной анатомии, Декандоль ввел в ботанику сравнительное изучение органов растений. О Декандоле Герцен впоследствии упоминал неоднократно. В VI главе «Былого и дум», рассказывая о том, как его двоюродный брат А. А. Яковлев («химик») прививал ему интерес к естествознанию, Герцен сообщает: «Он дал мне речь Кювье о геологических переворотах и Декандолеву растительную органографию». Таким образом, Герцен познакомился с этой книгой еще до поступления в университет.

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ СО СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ВЯТКЕ И ВЛАДИМИРЕ

Со служебной деятельностью Герцена в Вятке и Владимире связаны его «Речь», произнесенная на открытии Вятской публичной библиотеки, и заметки в «Прибавлениях» к вятским и владимирским «Губернским ведомостям».

«Вятские губернские ведомости» начали выходить с 1 января 1838 г., и Герцен, в конце декабря 1837 г. уехавший из Вятки, строго говоря, не был их сотрудником. Появившаяся после отъезда Герцена в «Прибавлениях», №№ 1 и 3, его заметка «Вотяки и черемисы» была извлечена редакцией газеты из оставшейся в делах губернского правления «Статистической монографии Вятской губернии», составлением которой Герцен занимался в порядке служебного поручения. Таково же, вероятно, происхождение приписываемой Герцену заметки «Русские крестьяне Вятской губернии» (см. комментарий к ней).

Другое дело «Владимирские губернские ведомости». Начиная с № 10 этой газеты, также начавшей выходить с января 1838 г., и до июля 1839 г., Герцен являлся редактором «неофициальной части» издания — «Прибавлений». В 1874 г. тогдашний редактор «неофициальной части» «Владимирских губернских ведомостей» К. Тихонравов поместил в №№ 44 и 46 газеты статью «Замечательные деятели во „Владимирских губернских ведомостях“ с начала их существования», в которой писал: «*Первым деятелем* в нашей газете, с самого начала ее существования, является *Л. И. Герцен*, известный впоследствии в литературном мире *Искандер*». Далее Тихонравов сообщал перечень принадлежащего Герцену в «Прибавлениях», включив в этот перечень преимущественно заметки, подписанные инициалами «*А. Г.*». Подписанные инициалами произведения Герцена включил и А. В. Смирнов в составленный им «Указатель содержания неофициальной части „Владимирских губернских ведомостей“» (Владимир, 1902). Однако характер участия Герцена в этом издании до сих пор не выяснен. Т. П. Пассек в своих «Воспоминаниях» утверждает: «...он ⟨Герцен⟩ читал нам некоторые статьи свои из „Владимирских губернских ведомостей“, которых он был редактором» (т. II, стр. 71). Если это свидетельство достоверно, оно, очевидно, не может относиться только к тем небольшим редакционным заметкам, которыми мы ныне располагаем. Вместе с тем изучение «Владимирских губернских ведомостей» пока не дало нам отчетливых и веских оснований для того, чтобы приписать Герцену какие-либо более обширные статьи. С другой стороны, существует позднейшее высказывание Герцена, из которого можно сделать вывод, что его авторское участие во «Владимирских губернских ведомостях» не было значительным. В записке к Н. М. Владимирову от 5 декабря 1861 г. Герцен писал: «„Влад⟨имирские⟩ вед⟨омости⟩“ были под моим заведыванием, но плодовитое и сильное перо их был несчастный Небаба, о котором я говорю в „Былом и думах“...» (Небаба — соредактор Герцена, покончивший самоубийством).

В настоящем разделе наряду с заметками за подписью *А. Г.*, несомненно принадлежащими Герцену, помещено также несколько заметок, которые со значительной степенью вероятия могут быть ему приписаны.

## РЕЧЬ, СКАЗАННАЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ В ВЯТКЕ А. ГЕРЦЕНОМ 6 ДЕКАБРЯ 1837 ГОДА.

Публикуется по отдельному оттиску, отпечатанному в Вятке в 1837 г. Рукопись неизвестна.

В письме от 1—7 декабря 1837 г. Герцен сообщал Н. А. Захарьиной: «Вчера я читал речь публично; хотя в ней большого толка и нет, но посылаю тебе (через папеньку) *самый тот* экземпляр, по которому я читал...» В архиве *ПД* хранится этот оттиск с надписью на обложке рукой Герцена: «Наташе — тот самый экземпляр, по которому я читал 6-го декаб⟨ря⟩ 1837». В 1862 г. эта «Речь», по наущению правительства, была использована реакционной печатью для травли Герцена (*Л*I, 509—512). В этой связи в «Колоколе» (л. 135) в заметке «Личное объяснение» Герцен указал на то, что «Речь» перед напечатанием была переправлена вятским губернатором Корниловым. В той же заметке Герцен признал, что «*двадцать пять лет тому назад* ⟨...⟩ произнес плохую речь, исполненную уступок, и очень дурно сделал». Герцен имеет в виду официальную, монархическую фразеологию первой части «Речи» (она была произнесена на официальном торжестве открытия Публичной библиотеки, приуроченном начальством ко дню именин Николая I); над этой первой частью, видимо, и потрудился губернатор. Вторая часть «Речи» ярко выражает просветительскую идеологию молодого Герцена; основная ее мысль — это мысль о необходимости внедрения просвещения в массы.

## ЗАМЕТКИ В «ПРИБАВЛЕНИЯХ» К «ВЯТСКИМ ГУБЕРНСКИМ ВЕДОМОСТЯМ»

### ⟨1.⟩ Вотяки и черемисы.

Печатается по тексту «Прибавлений» к «Вятским губернским ведомостям», 1838, №№ 1 и 3, где появилось впервые. Редакция «Ведомостей» сопроводила статью примечанием: «Из первой тетради Статистической монографии Вятской губернии, состав⟨ленной⟩ А. Герценом». Рукопись неизвестна.

В мае 1835 г. в Вятке был учрежден Губернский статистический комитет. Осенью того же года к работам комитета был привлечен Герцен. В письме к Н. А. Захарьиной от 6 сентября 1835 г. Герцен писал: «Губернатор обратил внимание на меня и употребил на дело, более родное мне: на составление статистики здешней губернии». Первая тетрадь «Статистической монографии о Вятской губернии» была представлена Герценом в Статистический комитет в декабре 1837 г. (*ЛН*, т. 39—40, стр. 182). Местонахождение этой тетради неизвестно.

Сохранившаяся, благодаря публикации «Вятских губернских ведомостей», глава из «монографии» посвящена двум народам: вотякам и черемисам, которые в настоящее время известны под другими названиями. Вотяки — удмурты — составляют основное население Удмуртской АССР; черемисы — марийцы — коренные жители Марийской АССР. В комментируемом тексте имеются некоторые неточности, объясняемые состоянием этнографической науки того времени. Так, например, Герцен ошибочно относит латышей к финно-угорским народам и неправильно проводит аналогию между вотяками и мерей.

---

С т р. 369. *Маджары* (magyar) — мадьяры (самоназвание венгров). *Кириаландил* — страна Карел, упоминаемая в скандинавских сагах. *Биармия* — легендарная страна в Приуралье, известная по русским и скандинавским преданиям IX—XIII веков.

С т р. 370. *...построены в груду* — по нескольку изб на одной усадьбе.

### ⟨2.⟩ Русские крестьяне Вятской губернии

Печатается по тексту «Прибавлений» к «Вятским губернским ведомостям», 1838, № 7, где появилось впервые. Воспроизведено П. Лун-

повым в сообщении «Статистические работы Герцена в Вятке» (*ЛН*, т. 39—40, стр. 182—183).

В «Прибавлениях» заметка помещена без подписи. П. Луппов считает, что, так же как статья «Вотяки и черемисы» (см. комментарии), она представляет собой извлечение из утраченной герценовской «Статистической монографии Вятской губернии». Основной аргумент в пользу авторства Герцена — тематическая и стилистическая близость обеих статей.

С т р. 372. *Новгородская колония — управляемая почти без всякой зависимости от Москвы...* — Вятская земля была освоена новгородцами в конце XII века и присоединена к Московскому княжеству в 1489 г.

С т р. 373. *...к известной насмешке киевлян.* — Карамзин рассказывает о том, что в 1016 г., перед битвой на Днепре, воевода киевского князя Святополка кричал новгородцам: «Ваше дело плотничать, а не сражаться».

## ЗАМЕТКИ В «ПРИБАВЛЕНИЯХ» К «ВЛАДИМИРСКИМ ГУБЕРНСКИМ ВЕДОМОСТЯМ»

### <1.> <«В прошлых листках „Прибавлений"»...>

Печатается по тексту «Прибавлений» к «Владимирским губернским ведомостям», 1838, № 15 (от 16 апреля), где появилось впервые. Без подписи. Рукопись неизвестна.

До сих пор этот текст Герцену не приписывался, между тем его принадлежность Герцену весьма вероятна. В «Прибавлении» к № 1 «Ведомостей» за 1839 г. редакция выразила благодарность лицам, принявшим в 1838 г. участие в «неофициальной части», и перечисляла их труды. Написанное членом редакции Герценом не перечислено; вместо этого читаем: «В заключение редакция должна с тою же благодарностию отозваться о трудах А. И. Герцена, постоянно участвовавшего в издании „Прибавлений" с 10 №». Тихонравов уточняет, что с № 10 за 1838 г. Герцен «уже постоянно участвует в губернской газете трудами своими по разработке официальных статистических данных о губернии...». Действительно, с № 10 в «Прибавлениях» систематически печатаются эти данные в виде таблиц. Наконец, в № 15 под общим заголовком: «Статистика. Некоторые сведения об уездных городах Владимирской губернии»—помещен комментируемый текст (за ним следуют статистические данные).

### <2.> От редакции («В прошлом листке мы сказали...»)

Печатается по тексту «Прибавлений» к «Владимирским губернским ведомостям», 1838, №№ 16 и 17 (от 23 и 30 апреля), где появилось впервые. Без подписи. Рукопись неизвестна.

Эта редакционная заметка, по всей вероятности, принадлежит Герцену (Лемке включил ее в свое издание). Она отсылает читателя к редакционной заметке в № 15 — «В прошлых листках „Прибавлений"...» — и развивает ту же тему: предложение сообщать исторические, этнографические, статистические материалы. Кроме того, авторство Герцена подтверждается еще одним наблюдением. В редакционной заметке, которая помещена в № 6 «Прибавлений» за 1839 г. и принадлежность которой Герцену можно считать несомненной, имеется фраза со ссылкой автора заметки на «свои слова» в комментируемом тексте из № 16 «Прибавлений» за 1838 г. См. ниже комментарии к заметке «От редакции» («Г-н Борисов, известный нашим читателям...»).

### <3.> От редакции («Оканчивая годичное издание...»)

Печатается по тексту «Прибавлений» к «Владимирским губернским ведомостям», 1838, № 50 (от 17 декабря), где появилось впервые. Без подписи. Рукопись неизвестна.

Весьма вероятно, что эта статья, подводящая итоги изданию «Прибавлений» за 1838 г., принадлежит Герцену: «...мы с 10 № прямо пошли к цели...»,— говорится в статье. Именно с № 10 «Прибавлений» за 1838 г. Герцен стал их редактором.

В комментируемой статье упоминаются также редакционные сообщения (из №№ 15 и 16—17), принадлежность которых Герцену мы также считаем весьма вероятной (см. комментарии к тексту «В прошлых листках „Прибавлений"...» и «В прошлом листке мы сказали...»).

### <4.> Известия

Печатается по тексту «Прибавлений» к «Владимирским губернским ведомостям», 1839, № 1 (от 7 января), где появилось впервые. Подпись: *А. Г.* Рукопись неизвестна.

### <5.> От редакции («Г-н Борисов, известный нашим читателям...»)

Печатается по тексту «Прибавлений» к «Владимирским губернским ведомостям», 1839, № 6 (от 11 февраля), где появилось впервые. Без подписи. Рукопись неизвестна.

Принадлежность этой редакционной заметки Герцену можно считать несомненной. Более всего убеждает в этом сочувственное упоминание об Огюстене Тьерри. Герцен и в дальнейшем интересовался деятельностью бывшего секретаря Сен-Симона и выдающегося представителя новой исторической школы. В 1841 г. в книге II «Отеч. записок» появилось в переводе Герцена и с его предисловием извлечение из книги О. Тьерри «Рассказы о временах меровингских». Для установления принадлежности комментируемой заметки особенно существенно то обстоятельство, что Герцен выписывает во Владимир статьи О. Тьерри в те самые дни, когда заметка писалась. Заметка появилась 11 февраля; в письме от 7 февраля Герцен просит Кетчера достать для него журнал со статьями О. Тьерри у Е. Г. Левашевой. 28 февраля Герцен пишет Кетчеру: «...статьи Тьерри о историках Франции и о Нероне должны быть в Москве. Прошу».

### <6.> Владимир, апреля 20

Печатается по тексту «Прибавлений» к «Владимирским губернским ведомостям», 1839, № 16 (22 апреля), где появилось впервые. Подпись: *А. Г.* Рукопись неизвестна.

### <7.> <«Г-н Протопопов обещает нам...»>

Печатается по тексту «Прибавлений» к «Владимирским губернским ведомостям», 1839, № 26 (1 июля), где появилось впервые. Подпись: *А. Г.* Рукопись неизвестна.

Текст представляет собою подстрочное примечание к статье Я. Е. Протопопова «Суздаль от княжения в нем Георгия Долгорукого до нашествия татар».

Яков Егорович Протопопов принимал участие в работе губернского статистического комитета. После смерти Небабы он помогал Герцену редактировать «Прибавления», а впоследствии стал их редактором.

## «ЗАПИСКИ А. Л. ВИТБЕРГА»

Печатается по черновому автографу Герцена (*ИД*). Впервые, под заглавием «Записки академика Витберга, строителя храма Христа-Спасителя в Москве», опубликовано М. И. Семевским в «Русской старине». 1872, т. V, кн. I, стр. 16—32; кн. 2, стр. 159—192; кн. 4, стр. 519—582.

На л. 1 рукописи в левом верхнем углу рукой Герцена помечено: «15 июня 1836, Витка» (очевидно, это дата начала работы над «Записками»), на л. 96 сбоку — его же рукой: «Владимир, ноября 16 д<ня>, 1838 г. А. Герцен». Положение этой даты в рукописи не дает оснований рассматривать ее как дату завершения работы над «Записками». Скорее всего Герцен сделал данную надпись, перечитывая рукопись «Записок» (о чем ниже). Перед отъездом за границу Герцен оставил рукопись «Записок» в Москве, у своего брата Егора Ивановича, в доме которого она была найдена в начале 70-х годов Т. П. Пассек (вместе с другими черновиками Герцена) и от нее поступила в редакцию «Русской старины». Рассказ Витберга доведен в «Записках» только до учреждения Комиссии по построению храма. После основного текста «Записок» следует несколько вставок, а за ними — заметка «О ценных мостах» (это заглавие приписано на полях), также написанная рукою Герцена. Заметка эта не является вставкой в основной текст, почему и печатается в виде приложения к «Запискам». В первоначальный замысел «Записок», несомненно, должна была входить трагическая история следствия над Витбергом и его осуждения. Неизвестно, прекратил ли Герцен работу над «Записками» или дальнейший текст утрачен.

Черновой характер сильно правленной и все же необработанной рукописи потребовал в нескольких местах введения в авторский текст связующих или поясняющих слов. Все такие слова взяты в угловые скобки. Исправления явных ошибок, описок и мелких погрешностей не оговариваются. Пропуски в тексте, не поддающиеся восстановлению, оговариваются в угловых скобках курсивом. Варианты текста, оставшиеся по недосмотру незачеркнутыми, а также вставки на полях рукописи, не имеющие точного прикрепления внутри текста, приводятся в подстрочных примечаниях. В целях облегчения восприятия текста произведена разбивка его на главы и добавочные абзацы.

Публикуя «Записки», М. И. Семевский высказал два взаимно противоречивых соображения о роли Герцена в их создании: 1) «Записки» написаны «совершенно под диктовку Витберга»; 2) Герцен «был не простым стенографом Витберга», но как-то «направлял <...> его рассказ» («Русская старина», стр. 17 и 581).

В архиве Витберга (хранится в *ИД*) не удалось обнаружить упоминаний о совместной работе над «Записками». В переписке Герцена такие упоминания имеются. Самое важное содержится в письме к Витбергу от 24 ноября 1838 г. «На днях,— сообщает Герцен,— я перечитывал известные вам тетради, которые мы вместе писали». Однако выражение «вместе писали» требует расшифровки. Изучение рукописи позволяет установить, что она возникла не в результате «механической» записи Герценом продиктованного ему текста. Рукопись — черновик, наглядно отражающий процесс совместной *авторской* работы. Для нее характерны зачеркивания, недописанные слова, всевозможные вставки, размеченные значками (нередко довольно путанно, с переходом на другие страницы и т. п.). Характерна правка, явно производившаяся в самом процессе писания: посреди фразы слово зачеркивается и тут же заменяется другим, которое стоит с ним рядом. При этом нередко вариант возникал прежде, чем первоначальное слово было дописано до конца. Книжный слог рукописи, многочисленные развернутые диалоги и целые диалогические сцены исключают также предположение о «стенографической» записи устного рассказа Витберга.

Авторское участие Герцена в работе над «Записками» подтверждается, с другой стороны, встречающимися в них выражениями, типичными для его романтическо-философской фразеологии 30-х годов. См., например, на стр. 389—390: «Весь стиль храма надлежало избрать в греческом характере, который своей правильностью и изящностью форм придавал возможное величие зданию, поражая своею простотою ‹...› Часто увлекался я то изящностью язычества греческого, то готизмом христианских храмов; очень понимал я, что готический храм, имеющий свое величие, произошел от желания христиан ярко отделить себя от всего языческого, но с тем вместе я не мог согласиться принять безотчетность готических форм преимущественно перед простотою и изящностью греческих. Мне казалось, что это однажды излившаяся красота, которая как бы превратилась в норму, осуществив идею изящного». Последняя фраза особенно напоминает философский язык молодого Герцена. Но и все приведенное рассуждение на архитектурно-исторические темы очень близко к аналогичным рассуждениям Герцена в его рукописях, относящихся к тому же периоду, когда создавались «Записки». Ср. в «Отдельных мыслях»: «Греция выразила полную идею изящного, ее архитектура всегда будет поражать самой простотой» (стр. 135). Или в наброске «У египтян более гордости...»: «Готизм, или тевтонизм, имеет какое-то сродство с духом мавританским...» (стр. 325).

Сопоставим еще одно место из «Записок» с текстом герценовского наброска «У египтян более гордости...»

В «Записках»: «...сию форму ‹параллелограмма› я присвоил первому храму, названному храмом телесным ‹...› Этот храм долженствовал быть прислонен к земле так, как и тело человеческое прислонено к ней. Тремя сторонами находясь в горé, а с выходящей восточной стороны, с которой он принимал свет, и далее углубляясь в мрачность, ‹храм› оканчивался катакомбами» (стр. 386).

В наброске «У египтян более гордости...»: «Храм египетский (вообще) есть храм чисто земной, телесный, иссеченный в скале, углубленный, так сказать, в землю, мрачный с своими страшными пилонами ‹...›. Идея тайны, грозной, страшной, выражалась в мрачном фасаде» (стр. 326).

В приведенных параллельных текстах есть и буквальные совпадения, и, главное, стилистическая близость. Стиль «Записок» подтверждает активное участие Герцена в их создании.

На основании имеющихся данных нельзя точно восстановить процесс совместного создания «Записок». Но вот наиболее вероятное из возможных предположений. Витберг рассказывал о своей жизни (в несколько приемов), специально для Герцена, задумавшего увековечить историю его проекта. По ходу рассказа Герцен, повидимому, делал какие-то заготовки, заметки, содержавшие, в частности, фактические, даже технические подробности; затем писал (тоже в несколько приемов), пользуясь своими заготовками, а может быть, дополнительно и какими-то материалами Витберга. Такому предположению нисколько не противоречит герценовская формулировка в письме к Витбергу: «тетради, которые мы вместе писали». Эти слова нельзя, конечно, понимать буквально, в смысле вместе сочиняли каждую фразу.

В совместной работе Герцена и Витберга имелся важный последний этап. Еще Семевский отметил, что множество «вставок, весьма беспорядочно накиданных то на полях, то в разных местах текста, свидетельствуют о том, что рассказ неоднократно был читан Витбергу и он диктовал или рассказывал новые дополнительные подробности» («Русская старина», 1872, т. V, стр. 581). Действительно, многочисленные дополнения и вставки на полях большею частью имеют характер уточняющий; неоднократно, например, на полях приводятся цифры. Витберг, таким образом, как бы редактировал собственные «Записки». Вместе с тем

в рукописи осталось много неразвернутых записей конспективного характера.

Вопрос о характере участия Герцена в создании «Записок» неотделим от проблемы отношений, существовавших между ним и Витбергом. Влияние Витберга на Герцена часто преувеличивалось; им как бы старались оправдать идеалистические увлечения молодого Герцена. Но эти увлечения для Герцена вовсе не были признаком отказа от социально-политической проблематики. Развитие Герцена в период вятско-владимирской ссылки попрежнему совершалось под знаком оппозиционных и утопически-социалистических идей. Витберг же был далек от всякого политического протеста. Носитель архаического масонского мистицизма, в прошлом пользовавшийся покровительством мощной придворной партии Голицына, связанный с Лабзиным и другими видными представителями официального мистицизма 1810-х годов,— Витберг сталкивается с молодым Герценом, антикрепостником, приверженцем революционных традиций Рылеева и Пестеля, сосланным в Вятку в качестве «смелого вольнодумца, весьма опасного для общества». Это исходное политическое различие в конечном счете должно было определить расхождение по всем основным вопросам.

В личных и идейных отношениях Герцена с Витбергом трещина образовалась, повидимому, довольно скоро. Уже в сентябре 1837 г. Герцен пишет невесте о Витберге: «Я не имею больше сил утешать его; мы дальше, нежели были прежде,— одна симпатия страданий и таланта соединяет нас, в силу остальных идей нас делит огромное расстояние XIX века с XVIII». В письмах к Витбергу Герцен выражает и восхищение его творческим подвигом, и благодарность за отеческую поддержку в трудную минуту; но среди этих многочисленных писем нет ни одного, которое звучало бы как обращение ученика к духовному наставнику, где признавалось бы влияние Витберга-идеолога. Герцена интересуют не столько идеи и суждения Витберга, сколько его человеческая судьба. Судьба эта в восприятии молодого Герцена — материал для построения одного из основных романтических образов, образа художника, гения, затравленного толпой. В данном случае «толпа» равнозначна придворной и бюрократической черни, слугам Николая I. В атмосфере русского революционного романтизма подобный образ художника приобретал характер политического протеста.

Потрясенный судьбой Витберга, Герцен, очевидно, уговаривает его создать мемуары и берет на себя литературное воплощение замысла. Понятно, что творческая инициатива Герцена отнюдь не была свободна (поэтому «Записки» и отнесены в «Приложения»). Ему приходилось подчинять ее Витбергу, упорному и преданному своим идеям, фанатически сосредоточенному на определенном комплексе воспоминаний, которые ему во что бы то ни стало хотелось оживить. И все же в «Записках», несомненно, имеет место взаимодействие и внутренняя борьба двух начал — герценовского и витберговского.

Излагая содержание архитектурного проекта Витберга, Герцен, очевидно, вынужден был следовать вплотную за ходом мысли архитектора. Другую основную тему «Записок» — историю борьбы, успеха и гибели Витберга — Герцен мог трактовать свободнее. Здесь только и могло по-настоящему обнаружиться противоречие между двумя мировоззрениями, прежде всего между двумя политическими позициями. Витберг — политически лойялен; он считает себя жертвой, но не жертвой системы, а жертвой злоупотреблений. Свои неудачи он мыслит эмпирически, как следствие несчастного стечения обстоятельств. Для Герцена же трагедия Витберга была выражением социально-философской необходимости, поскольку она — результат столкновения художника с придворной бюрократической чернью. Если сопоставить «Записки» с дошедшими до нас письмами

Витберга и с его «Автобиографией», написанной, очевидно, в конце тридцатых годов (напечатана в «Русской старине», 1876, т. XVII, кн. 9), то становится очевидным, что в «Записках» именно Герцен волевски выдвигал на первый план столкновения Витберга с «власть имущими». Отношения Витберга с Александром I в «Записках» трактуются как образец возвышенной независимости художника.

Бюрократической и академической черни в «Записках» противостоит образ Николая Ивановича Новикова. Витберг представил свой проект на суд Новикова как деятеля, стоявшего на высоких ступенях масонской иерархии; это явствует из диалогов Витберга и Новикова в «Записках». Но тут же в «Записках» мы находим восторженную характеристику Новикова — уже не масона, а выдающегося русского просветителя XVIII века, носителя передовой, гуманистической мысли. Эта характеристика деятельности Новикова очень близка, местами даже текстуально, к той, которую мы встречаем у зрелого Герцена (в частности, в очерке 1851 г. «О развитии революционных идей в России» и в заметке 1868 г. «Наши великие покойники начинают возвращаться»).

В «Былом и думах» Герцен истолковал судьбу Витберга как трагедию преданного своей идее человека, попавшего в страшный самодержавно-чиновничий механизм. Но еще за двадцать лет до того им был намечен первый, романтический, вариант этой темы. Из вятских писем Герцена встает обобщенный образ художника, затравленного царем и чиновничьей чернью. Этот замысел, очевидно, был воплощен и в утраченном наброске «I Maestri». И, наконец, в приглушенной, ослабленной форме — поскольку творческая воля Герцена была несвободна — тот же образ дан и в «Записках» Витберга, написанных рукою Герцена. Эта концепция отразилась, в частности, в заключительных, чисто герценовских словах рассказа «О цепных мостах»: «...в нашем отечестве являются часто идеи гениальные; но не имея поддержки ни от правительства, ни от общества, должны или гибнуть прежде рождения, или затеряться во тьме подьяческих форм и происков».

---

## ГОФМАН

### Дополнение к комментарию

Стр. 77. «*Feueruriel, dreh dich! Feueruriel, dreh dich!*» — неточная цитата из рассказа Гофмана «Der Sandman» Правильное чтение: «Feuerkreis, dreh dich!, Feuerkreis, dreh dich!» («Огненный круг, вертись! Огненный круг, вертись»!)

Стр. 79. . . . *вообразите, что вы Даль-Онно, что вы всякий пост с 1700 года ездите в Москву с контр-басом.*—Музыкант с фамилией Даль-Онно неизвестен. Повидимому, речь идет об одном из представителей семьи итальянских музыкантов-исполнителей Dall' Oglio. В течение почти всего XVIII века музыканты Dall' Oglio постоянно работали и гастролировали в Петербурге и Москве.

*Алоизий—человек хороший, живет аристократом, строус в ливрее—швейцаром, две лягушки у ворот — дворниками, жук ездит за каретой.*— Судя по этому описанию, Герцен имеет в виду Алпануса (Alpanus) из рассказа Гофмана «Klein Zaches». Персонажа по имени Алоизий в этом рассказе нет.

## УТРАЧЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГЕРЦЕНА 1830-х ГОДОВ

### Справка

Переписка Герцена и другие источники свидетельствуют о том, что до нас не дошел ряд его произведений 1830-х годов. Бо́льшая часть рукописей, оставленных Герценом, при отъезде за границу, в Москве, погибла у его брата Егора Ивановича. Много лет спустя, в 1872 г., Т. П. Пассек отыскала разрозненные остатки этих рукописей в доме Е. И. Герцена в Синцевом-Вражке (см. об этом комментарий к сохранившемуся отрывку повести «О себе»). Рукописи эти вновь утрачены.

Обзор ранних произведений Герцена, в том числе утраченных, впервые попытался дать П. В. Анненков в 1883 г. в статье «Идеалисты тридцатых годов. Биографический этюд» («П. В. Анненков и его друзья», СПб., 1892, стр. 1—110). Для суждения об утраченных произведениях Анненков располагал, однако, крайне недостаточными данными, и догадки его, в большинстве случаев, оказались несостоятельными. Более обширные материалы имелись в распоряжении Е. С. Некрасовой, поместившей в 1895 г., в «Северном вестнике», № 9, стр. 89—121, статью «Юношеские литературные труды Герцена».

В настоящей справке сообщаются в хронологическом порядке краткие сведения о не дошедших до нас, но *несомненно существовавших произведениях* Герцена. Неосуществленные *замыслы* Герцена не рассматриваются.

В 1829 и 1830 гг. Герцен «писал *философскую* статью о Шиллеровом Валленштейне» («Былое и думы», гл. III). В 1833—1834 гг. Герцен писал критические разборы. Об этом он сообщает в письме к Н. А. Захарьиной от 30 января 1838 г.: «Я выписал из Москвы оставленные мною две целые книги писанных разборов на сочинения, которые я читал в 1833 и 1834 годах ⟨...⟩ (из этих тетрадей печатная статья моя „Гофман“)».

Летом 1834 г. в печати находилась рукопись Герцена, озаглавленная «Состояние народного просвещения в некоторых странах Германии». Работа была посвящена изложению и переводу книги В. Кузена «Rapport sur l'état de l'instruction publique dans quelques pays de l'Allemagne». (P., 1832—1833). Отпечатанные листы книги находились в следственном деле комиссии С. М. Голицына, рассматривавшей бумаги Герцена, Огарева и других лиц после их ареста в 1834 г. В настоящее время листы книги в деле отсутствуют; сохранился лишь составленный Герценом список лиц, которым книга должна была быть послана по выходе ее в свет[1].

Отвечая 24 июля 1834 г. на вопрос Следственной комиссии, не занимался ли он «сочинениями и переводами с иностранных языков», Герцен

[1] ЦГИАМ — Ф. III. Отд., 1 эксп. 1834 г., д. 239, прилож. к д. 85, л. 153 и сл.— Сообщено Я. З. Черняком.

перечислил, наряду с дошедшими до нас произведениями, и некоторые утраченные. Герцен назвал: 1) уже упомянутое изложение книги Кузена; 2) статью «О человеке в зоогностическом отношении» (возможно, это лишь другое название известной нам статьи «О месте человека в природе»); 3) статью о книге сен-симониста Ф.-Ж. Бюше (Buchez) «L'introduction à la science de l'histoire, ou science du développement de l'humanité» P. 1833 (Герцен сообщил, что две последние статьи были переданы им Н. А. Полевому); 4) печатные «сцены из развития христианской религии» и 5) «некоторые разборы и этюды, наиболее касающиеся до германской литературы» (речь идет, очевидно, о цикле, к которому принадлежала статья «Гофман», ср. выше примеч. к стр. 80)[1].

К 1833—1834 гг. относится, повидимому, аллегория «Неаполь и Везувий». Герцен вспоминает ее в письме к невесте от 9 февраля 1838 г., перечитывая свои письма к ней 1833—1834 гг.: «Аллегорию „Неаполь и Везувий", хоть я и сам писал, но не понимаю; это так-таки просто вздор». Ср. комментарии к аллегории «3 августа 1833».

В 1836 г. Герцен начал работать над «Письмами о Казани, Перми и Вятке». Из них до нас дошло только первое (см. комментарий к «Письму из провинции»). 7 июля 1837 г. Герцен сообщает Н. А. Захарьиной: «Я пишу теперь „Письмо из Вятки", это — карикатура ‹...›». Характеристика «Письма из Вятки» как произведения сатирического позволяет отнести к нему же строки из письма к Н. А. Захарьиной от 11—18 января 1838 г.; в этом письме Герцен в числе своих произведений называет «Путевые письма», которые носят клеймо «самой злой, ядовитой иронии». В том же письме это произведение именуется «Письма к товарищам: Пермь, Вятка и Владимир». Работа над циклом, очевидно, не была закончена. В письме к Кетчеру от 22—25 февраля 1838 г. Герцен сообщает: «Я, было, взялся за „Вятские письма", да так показались мне плоски, что я чуть их не сжег».

В том же 1836 г. Герцен начал писать «Третью встречу». Осенью 1836 г. он сообщает Кетчеру и Сазонову: «„Встречи"; это три статьи, из коих одна вам известна: „Германский путешественник" (поправленный) и две другие: „Человек в венгерке" ‹„Вторая встреча"› ‹...› третья — „Швед" („Мысль и откровение")». В том же письме Герцен связывает «Мысль и откровение» с повестью «Там», впоследствии переработанной в «Елену» (см. комментарии к «Елене»).

28 мая 1837 г. Герцен писал Н. А. Захарьиной, что обдумывает новую статью о встречах «I Maestri», а 19 июня он сообщил ей же, что статья эта окончена. В конце июня 1837 г. Герцен писал невесте: «Эта статья „I Maestri" — первый опыт прямо рассказывать воспоминания из моей жизни, и она удачна. „Встреча", которая у тебя,— частный случай; эта уже захватывает более и представляет меня в 1833, 1835, 1837 году,— годы, отмеченные в ней тремя встречами: Дмитриев, Витберг и Жуковский».

Не удовлетворенный «частными случаями», Герцен все пристальнее размышляет над созданием связной автобиографии. Последним «частным» автобиографическим опытом 1830-х годов явилась, очевидно, написанная в январе 1838 г. и дошедшая до нас только в виде маленького отрывка «Симпатия»; героиней этого произведения является вятская приятельница Герцена Полина Тромпетер (см. комментарии, стр. 520).

В течение некоторого периода Герцен одновременно работал над автобиографическим наброском «Симпатия» и над большой автобиографической повестью «О себе» (первоначально в письмах Герцен называет ее «Юность», «Юность и мечты», «Моя жизнь»). От этого итогового для автобиографических опытов Герцена в 1830-х годах произведения до нас

[1] МОГИА — Ф. 31, оп. 5, д. 88, лл. 150 об.— 151. Сообщено В. П. Гурьяновым.

дошла только часть VII главы (см. комментарий, стр. 502), но примерный состав его можно восстановить по письмам Герцена к невесте. В середине января 1838 г. были закончены первые шесть глав «О себе», охватывавшие, очевидно, доуниверситетский период. Глава VI носила название «Пропилеи»; «так названо вступление в юношество»,— поясняет Герцен в письме к Н. А. Захарьиной от 19 января. Названия других глав — «Дитя», «Огарев», «Деревня» — устанавливаются по письму Герцена к невесте от 20 октября 1837 г. и по ее письму от 15 марта 1838 г. (*Изд. Павл.*, т. VII, стр. 516). Из письма к Н. А. Захарьиной от 14 марта мы узнаем, что Герцен написал VIII главу — «о любви к Люд<миле> Н<ассек>». «Далее,— сообщает он в том же письме,— описана самая черная эпоха, от 9 июля 1834 до 20-го»,— т. е. от ареста Огарева до встречи Герцена с Н. А. и «прогулки на кладбище», которая предшествовала аресту Герцена (в ночь на 21 июля). В письме от 21 марта Герцен приводит названия этих глав: «Ландыш» и «Ἀνάγκη» (по-древнегречески — рок). Вслед затем сразу же были написаны «20 июля» (письмо от 16 марта) и «воспоминания о Кр<утицах> и 1834» (письмо от 17 марта). Наконец, из письма от 1 апреля выясняется, что «тетрадь „О себе"» «переписана» и «кончена почти» и что повествование завершают «Крутицы, сентенция и 9 апреля».

Автобиографические опыты Герцена 1830-х годов переплетаются между собой. В «I Maestri», под именем «Калибан-гиена», был выведен вятский губернатор Тюфяев. Этот же сатирический персонаж появляется и в другой не дошедшей до нас повести «Его превосходительство», которую Герцен начал писать в феврале 1838 г. В то же время этот сюжет Герцен мыслил как часть трилогии, в которую должна была войти повесть «Елена» (см. комментарии к ней). 20 февраля 1838 г. Герцен писал Н. А.: «Повесть новая идет на лад. Вот в чем дело: муж мерзавец и жена ангел; муж под судом и дает жену во взятку губернатору. Жена в отчаянии, чахотка, смерть. Муж пьян, и в день похорон губ<ернатор> получает владимирскую звезду, у него пир горой». В письме от 11 марта Герцен сообщил, что повесть «Его превосходительство» готова; «она дышит злобой»,— добавляет Герцен.

В 1838 г. была создана не дошедшая до нас стихотворная редакция «Лициния» (см. комментарии к произведению «Из римских сцен»).

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН [1]


Абелард (Абеляр) Пьер (1079—1142), франц. философ и богослов —440

Авадонна (Абаддона) (миф.), ангел смерти и разрушения — 95, *493*

Августин св. (354—430), епископ из Гиппона (Сев. Африка), один из первых христианских теологов — 88, 89, 95, 347, 357

Августин (Алексей Васильевич Виноградский) (1766—1819), архиепископ московский — 405, 409, 414, 416, 417, 419, 428, 442

Аврелия, действ. лицо в рассказе «Элексир дьявола» Э. Т. А. Гофмана (см.).

Австрийский император — Франц I Иосиф Карл (1768—1835) — 304

Адам (библ.) — 93, 339

Аетий (Аэций, Aetius) (VIв.), греч. врач при византийском дворе, автор многотомного труда по медицине — 350

Азаис (Azais) Пьер Гиацинт (1766—1845), франц. философ-материалист — 25

«Айвенго», роман В. Скотта (см.).

Аларик (Аларих I) (ок. 370—410), вестготский король, взял в 410 г. Рим и разграбил его — 90, 134

Александра Федоровна (1798—1860), императрица, жена Николая I — 421

Александр I (1777—1825), император—321, 380, 384, 390, 393, 394, 398—412, 414, 416—418, 420, 423—427, 429, 430, 435, 442 473, *487*, *534*

Александр Македонский («герой Македонский») (356—323 до н. э.) — 33, 34, 277, *482*

Александр Невский (1220—1263) — 422

Алексей Михайлович (1629—1676), царь — 406, 452

«Алексис, или Домик в лесу», роман Ф. Дюкре-Дюмениля (см.).

Алкивиад (ок. 451—404 до н. э.), полит. деятель древних Афин—266, 272, 277

«Альмагеста» (или «Амальгест»), арабское название сочинения


[1] Наряду с личными именами в указатель входят имена литературных и фольклорных персонажей, включая имена библейские и мифологические, названия литературных, научных и художественных произведений, названия периодических изданий. В тех случаях, когда в тексте Герцена лицо упоминается не по имени, а обозначается каким-либо определением или прозвищем (напр., «батюшка», «барон»), — это определение или прозвище проставляется в скобках после имени лица. Иностранная транскрипция имен дается только в тех случаях, когда она трудно сопоставима с русской.

В указатель включены имена и названия, прямо или косвенно упомянутые в текстах Герцена. В отношении этих имен и названий даны также ссылки на страницы комментария (цифры, набранные *курсивом*). Имена и названия, упомянутые только в комментариях, в указатель, как правило, не вводятся.

Птоломея «Великое построение» (см. Птоломей).
Альфиери (Альфьери, Alfieri) Витторио, граф (1749—1803), создатель классицистической трагедии в Италии — 279
Альфонс Кастильский (Альфонс X) (1226—1284), король Леонии и Кастилии. По его заказу астрономами были исправлены и изданы Птоломеевы «планетные таблицы» — 45
Аммон (миф.) — 85
«Амур и Психея», скульптура А. Канова (см.).
Анаксагор (ок. 500—428 до н. э.), философ ионийской школы — 314, *507*
«Анахарсисово путешествие» — «Путешествие младшего Анахарсиса по Греции», сочинение Ж.-Ж. Бартелеми (см.).
«Андромаха и Астианакс, оплакивающие тело Гектора», эскиз А. Л. Витберга (см.).
Анна Иоанновна (1693—1740), императрица — 297
Ансельм, действ. лицо в повести «Золотой горшок» Э. Т. А. Гофмана (см.).
«Апокалипсис» («Откровение Иоанна богослова») (библ.) — 93—94, 260, 395, 471, *492*
Аполлон (миф.) — 277
Аполлоний Тианский (I в.), философ ново-пифагорейской школы — 85
«Апостольские деяния» (библ.) — 183, 226, 228
Апраксин, владелец дома в Москве у Арбатских ворот — 162
Аракчеев Алексей Андреевич, граф (1769—1834) — 404—407, 420, 335
Арий (ум. 336), александрийский священник, основатель «арианского» движения в христианстве — 89, *492*
Ариосто Лодовико (1474—1538) — 122, 325
Аристид (ок. 540—467 до н. э.), афинский полит. деятель и полководец, был прозван Справедливым — 23
Аристотель (384—322 до н. э.) — 20, 24, 462, *480*
Аристофан (ок. 446—385 до н. э.) — 186
Арминий (17 до н. э.— 21 н. э.), вождь германского племени херусков, разбивший римлян в Тевтобургском лесу — 313
Арним Беттина фон (собств. Элизабет), рожд. Брентано (1785—1859), нем. писательница — 324, *520*
— «Переписка Гёте с ребенком» («Goethes Briefwechsel mit einem Kinde») — *520*
Артемьев Василий, бригадир, смоленский помещик, отец Е. В. Витберг — 406, 437—440
Артемьев Дмитрий Васильевич, чиновник адмиралтейского департамента, брат Е. В. Витберг — 437—440
Артемьева, мать Е. В. Витберг — 437—440
Аруэт — см. Вольтер.
Арфист, действ. лицо в романе «Годы учения и странствований Вильг. Мейстера» В. Гёте (см.).
Архий Авл Лициний (кон. II-го — нач. I-го в. до н. э.), древнегреческий поэт — 189, *508*
Астианакс (миф.) — 433
«Атеней», двухнедельный журнал, изд. в Москве в 1828—1830 гг., под ред. М. Г. Павлова — *526*
Аттила (ум. 453) — 134
«Аттила, король гуннов», трагедия Ц. Вернера (см.).
Афанасий (ок. 295—373), архиепископ александрийский, возглавлял борьбу с арианством — 89
Афина (миф.) — 99
Ахиллес (миф.) — 258, 275, *507*, *514*

Бабеф Гракх (1760—1797) — 464
Байи (Bailly) Жан Сильвен (1736—1793), астроном, деятель франц. революции — 45, 47
— «История современной астрономии» («Histoire de l'astronomie moderne») — 45, 47
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — 72, 172, 268, 304, 316
Бакай Яков Игнатьевич, лакей в доме И. А. Яковлева — 264, 283, *514*
Бако, Бакон — см. Бэкон.

Бальзак Оноре де (1799—1850)—70
Бальи — см. Байи.
Банко, действ. лицо в трагедии «Макбет» В. Шекспира (см.).
Барон, барон Упсальский — см. Н. Х. Кетчер.
Бартелеми (Barthelemy) Жан Жак, аббат (1716—1795), франц. писатель и археолог.
— «Путешествие младшего Анахарсиса по Греции» («Voyage du jeune Anacharsis en Grèce») — 272
Баттё (Batteux) Шарль (1713—1780), франц. эстетик, теоретик классицизма — 269
Батый, хан (ум. 1255) — 377
«Батюшкин камердинер», камердинер И. А. Яковлева, Никита Андреевич —283
Беда (Беда, прозв. Достопочтенный) (672—735), англ. монах, историк и астроном — 23
«Бедовик» рассказ В. И. Даля (см.).
Бекет (Becket) Томас (Фома) (ок. 1118—1170), англ. полит. и церковный деятель — 200
Беккерель (Becquerel) Антуан-Сезар (1788—1878), франц. физик — 17
Бекон — см. Бэкон.
Белен (Belenus — божество галлов) — 357, *526*
Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 259, 280, 337, *487*, *502—503*, *506*, *512*, *522*
Бенедиктов Михаил Степанович (1753—1833), переводчик, чиновник уголовного суда во Владимире, дядя поэта В. Г. Бенедиктова — 377
Беранже Пьер Жан (1780—1857)—176, *505*
— «Путешествие в страну Кокань» («Voyage au pays de Cocagne») — 176, *505*
«Берлихинген»—«Гёц фон Берлихинген», драма В. Гёте (см.).
Берцелиус (Berzelius) Йёнс Якоб (1779—1848), шведский химик—301
Бестужев Александр Александрович (литерат. псевдоним — Марлинский) (1797—1837), декабрист, писатель, автор романтических повестей — «Фрегат Надежда» и др.— 126
Бетанкур Августин Августинович (1758—1824), инженер-строитель — 473
Бетховен Людвиг ван (1770—1827) — 66, 72, 73, 127, *489*
Био (Biot) Жан Батист (1775—1862), франц. физик, математик и астроном — 23
Бирон Эрнст Иоганн, герцог (1690—1772) — 152
Блен Гильберт—см. Блэйн Джильберт.
Блэйн (Blane) Джильберт, сэр (1749—1834), придворный врач англ. королей Георга IV и Вильгельма IV — 350
Блюхер Гебхард Леберехт (1742—1819), прусский фельдмаршал времен войн с Наполеоном — 114
Бове Осип Иванович (1784—1834), архитектор — 400, 401, 419
Богданов Сергий Никанорович, почетный попечитель губернской гимназии во Владимире — 378
Боголепов Василий Васильевич («отец Василий»), законоучитель Герцена в детстве — 251, *511*
Боннет (Бонне, Bonnet) Шарль (1720—1793), швейцарский биолог и натурфилософ, создатель мистико-фантастического учения о «лестнице существ» — 19, 461
Борис Годунов (1551—1605), царь—32, 33, 181, 274, *505*
Борисов Владимир Александрович (1809—1862), археолог, постоянный корреспондент «Прибавлений к Влад. губ. вед.»— 378, *529*, *530*
Браге Тихо (1546—1601) — 41, 46, 47
— «Введение в обыкновенную астрономию» («Astronomiae instauratae progymnasmata») — 41
Брадлей (Bradley) Джемс (1693—1762), астроном — 50, 51
Брауншвейгский герцог Карл Вильгельм Фердинанд («наш Готфред», «новый Готфрид») (1735—1806), главнокомандующий войсками I-й коалиции против революционной Франции, издал 25 июля 1792 г. манифест, в котором грозил срыть Париж до основания — 110, 112, 309 *496*, *517*

рентано Беттина — см. Арним Беттина фон.
Брольяр (Brongniart) Александр (1770—1847), франц. геолог и палеонтолог — 15
Бруно Джордано (Иордано) (1548—1600) — 48
Брут Марк Юний (85—42 до н. э.) — 190
Брюллов Карл Павлович (1799—1852) — 295, 384
Буало (Boileau) Никола́ (1636—1711) — 269, 272, 274, 275, *482*, *515*
— «Искусство поэзии» («L'art poétique») — 269, 272, 274, *482*, *515*
Букингем (Buckingham) Джордж Вилльс, лорд (1592—1628), англ. придворный — 205, *509*
Букингем (Buckingham) Джордж Вилльс, лорд (1628—1688), сын предыдущего — 211, 218, *509*
Булгаков Константин Яковлевич (1782—1835), почт-директор в Москве (в 1816 г.) — 405, 420
Буонаротти — см. Микеланджело
Бурбоны — королевская династия во Франции — 69, 310, *517*
Бургард, действ. лицо в романе «Чудак» А. Лафонтена (см.).
Буше (Bouchot), учитель Герцена в детские годы — 262, 263, 265, 267, 269, 270, *512*
Бэкон (Бако, Бакон, Бекон, Васо, Васоп) Фрэнсис, барон Веруламский (1561—1626)—20—22, 24, 37, 171, 462, *480*, *484*
— «О достоинстве и приращении наук» («De dignitate et augmentis scientiarum») — 20, 37
— «Новый органон» («Novum organum») — 37, *484*
Бюше (Buchez) Филипп Жозеф (1796—1865), франц. социалист-утопист и историк, один из руководителей сен-симонистской школы — *536*
— «Введение в науку истории, или наука о развитии человечества» («L'introduction à la science de l'histoire, ou science du développement de l'humanité»)— *536*

Ваал (миф.) — 467
Вавруч (Wawrutch) Андреас Игнац (1782—1842), чешский врач, с 1819 г. проф. ун-та в Вене — 350
Валентиниан I (321—375), римский император — 357
«Валленштейн», драматич. трилогия Ф. Шиллера (см.).
Валленштейн Альбрехт (1583—1634), германский имперский полководец периода Тридцатилетней войны — 279
Вальдшмидт (Waldschmidt) Вильгельм Ульрих (1669—1734), нем. врач, автор сочинения о чуме — 349
«Вальпургиснахт», сцена из «Фауста» Гёте (см.).
Ван-Дейк Антонис (1599—1641) 179
Ванюшка, камердинер Герцена в годы его детства — 265
Василий, свящ. («отец Василий»)— см. В. В. Боголепов.
Вашингтон Джордж (1732—1799)— 35, 342, 466
Вебер Карл Мария (1786—1826), нем. композитор.
— «Волшебный стрелок» («Фрейшюц», «Freischütz») — 76, *488*
Вегнер, владелец винного погребка в Берлине — 62, *488*
Веймарский герцог Карл Август (1757—1828), великий герцог Веймар-Эйзенахский — 113, 115, 116, 309—310, 313, *496*
«Векфильдский священник», роман О. Голдсмита (см.).
Велланский Данило Михайлович (1774—1847), один из первых русских натурфилософов, проф. физиологии и общей патологии в Петербургской медико-хирургической академии — 319
Веллингтон Артур Уэлсли, герцог (1769—1852), англ. полководец и госуд. деятель, крайний консерватор — 69
Веневитинов Дмитрий Владимирович («юноша») (1805—1827)— 83, *491*, *492*
Венера (миф.) — 184
Вениамин (Василий Григорьевич Пудек-Григорович) (1706—1782), в 1740-х годах епископ в Казани — 371
Вера Артамоновна, няня Герцена— 264—265

Вергилий (Виргилий) Публий Марон (70—19 до н. э.) — 43
— «Энеида» («Aeneis») — 43
Верещагин Михаил Николаевич (1790—1812), сын московского купца, по обвинению в измене присужденный к каторге, но казненный Ростопчиным в день вступления французов в Москву — 442
Верещагин Николай Гаврилович — отец М. Н. Верещагина — 442
Вернер Захарий (Цахариас) (1768—1823), нем. писатель, автор романтических и религиозно-мистических драм — 64
— «Аттила, король гуннов» («Attila, König der Hunnen») — 34
Вернет (Верне) Клод Жозеф (1714—1789), франц. художник-пейзажист; особенно известны его морские пейзажи — 53, 179, *485*
«Вертер» — «Страдания молодого Вертера», роман В. Гёте (см.).
«Вестник естественных наук и медицины», ежемесячный журнал, изд. 1828—29 и 1831—32 в Москве, редактор А. А. Иовский — *525*
«Взятие Казани», картина Г. И. Угрюмова (см.).
Виже-Лебрен Элизабет Луис (m-me Lebrun) (1755—1842), франц. художница-портретистка — 179
Вибикинг (Вибекинг, Wiebeking) Карл Фридрих (1762—1842), нем. архитектор и инженер — 428
— «Теоретическая и практическая гражданская архитектура» («Theoretisch-praktische bürgerliche Baukunde, durch Geschichte und Beschreibung der merkwürdigsten Baudenkmale und ihre genaue Abbildungen bereichert») — 428
Вильгельм I Завоеватель (1027—1087), герцог Нормандии, завоевавший в 1066 г. Англию — 379
«Вильгельм Мейстер» — «Годы учения и странствований Вильгельма Мейстера», роман В. Гёте (см.).
«Вильгельм Телль», драма Ф. Шиллера (см.).
Вилье (Виллис) Яков Васильевич, баронет (1765—1854), врач, лейб-медик Александра I — 417
Вильмэн (Villemain) Абель Франсуа (1790—1870), франц. критик; его беседы о литературе в парижских салонах, в последние годы империи Наполеона I, пользовались большим успехом — 65
Винкельман Иоганн Иоахим (1717—1768), нем. историк античного искусства — 117
Виньи Альфред де (1797—1863) — 70
Виргилий — см. Вергилий.
Витберг Александр Лаврентьевич (1787—1855), архитектор и художник, друг Герцена в период вятской ссылки — 380, 456, 473, *485*, *508*, *509*, *520*, *521*, *523*, *524*, *531—534*, *536*
— «Андромаха и Астианакс, оплакивающие тело Гектора» — 432—433
— «Император Александр, разрушая Рейнский союз, освобождает Европу» — 441
— «Марфа Посадница» — 382, 432, 436, 441, 473
— «Новуходоносор, ввергающий юношей в пещь огненную» — 431—432
— «Освобождение апостола Петра из темницы» — 399, 431
Витберг Вера Александровна (в замужестве Голубева) (р. ок. 1817), дочь А. Л. Витберга — 331, *520*, *523*, *524*
Витберг Елизавета Васильевна, рожд. Артемьева (ум. 1831 г.), первая жена А. Л. Витберга — 437—440, 448
Витберг Лаврентий (Лоренц) Самойлович, живописец-лакировальщик, отец А. Л. Витберга; в 1770-х гг. переселился из Швеции в Россию — 402, 414, 415, 430, 431
Витберг С., дед А. Л. Витберга, шведский дворянин — 413, 414
Витберг Христина-Альбертина Лаврентьевна (в замужестве Герлах), старшая сестра А. Л. Витберга — 400
Витрувий (2-я половина I в. до н. э.), римский архитектор, автор «Десяти книг об архитектуре» — 381, 383, 442
Вишну (миф.) — 326

Владимир Святославич (ум. 1015), великий князь киевский — 31
«Владимирские губернские ведомости», еженедельная газета, начала выходить с января 1838 г.—373, 376, *527*, *529*, *530*
«Войнаровский», поэма К. Ф. Рылеева (см.).
Вольтер (Аруэ, Аруэт) Франсуа Мари (1694—1778)— 21, 72, 117, 118, 131, 133, 142, 310, 330, 385, 461, 462, *480*, *498*, *517*, *522*
Воронихин Андрей Никифорович (1760—1814) — 394, 400, 430
Воронцов Михаил Семенович, князь (1782—1856), военный и госуд. деятель — 385
Вульпиус Христиан Август (1762—1827), нем. писатель — *515*
— «Ринальдо Ринальдини»—169, 266, 272, *515*
Вязмитинов Сергей Кузьмич (1744—1819), генерал, петербургский главнокомандующий — 169, 467
«Вятские губернские ведомости», еженедельная газета, начала выходить с января 1838 г.— 368, *527*, *528*

Гааг, Луиза Ивановна (ум. 1851), мать А. И. Герцена — 138
Гагенот (Hagenot) Анри (1687—1775), франц. врач — 350
Гайдн Иосиф (1732—1809) — 72, 73
Галатея (миф.) — 72
Гален Клавдий (ок. 130—ок. 200), древнеримский врач и естествоиспытатель — 350
Галилей Галилео (1564—1642) — 48, 49
Галич Александр Иванович (1783—1848), философ-идеалист, проф. Петерб. ун-та — 319, 320.
Гальма (Halma) Николá, аббат (1755—1828), франц. математик, переводчик Птоломеева «Альмагеста» — 38
Гамалея Семен Иванович (1743—1822), мистик, переводчик религиозных книг — 443—446, 448
Гамильтон Уильям Ричард, лорд (1730—1803), собиратель произведений античного искусства и дипломат, посол Англии при неаполитанском дворе — 122, 315, *494—495*
Гамильтон Эмме леди (1760—1815), политическая авантюристка, жена Уильяма Гамильтона — 122, 315, *495*
Гамлет — см. В. Шекспир.
Гартинг, генерал в свите Николая Павловича в 1818 г.—421, 422
Гассенди, Пьер (1592—1655), франц. философ-материалист и астроном — 49
Гастальди Джеронимо (нач. XVII в. – 1685), кардинал, автор труда о мерах борьбы с чумой — 350
Гваренги (Кваренги) Джакомо (1744—1817) — 397, 400
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — 307, 314, *479*, *517*,
— «Лекции по эстетике» («Vorlesungen über die Aesthetik») — 307, *517*
Гедвига, действ. лицо в романе «Житейские воззрения Кота Мурра» Э. Т. А. Гофмана (см.).
Гельвеций Клод Адриан (1715—1771) — 19
Гейм Иван Андреевич (1758—1821), проф. и ректор Моск. ун-та, автор распространенных учебников и пособий по географии — 267, *515*
Гейне Генрих (1797—1856) — 62, 65, 258, *489*, *514*
— «Романтическая школа» («Die romantische Schule») 62, *489*
— «Путевые картины» («Reisebilder») — 258, *514*
Генрих IV (1553—1610), король Франции, первый из династии Бурбонов — 34
Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803) — 13, 460
Герлах Георг-Карл, живописец и реставратор картин, зять А. Л. Витберга — 430
Герман (Herrmann) Иван Филиппович (1755—1815), горный инженер и геолог — 460
— «О возникновении земной коры» («Von der Entstehung der Erdrinde») — 460
Геродот (ок. 484—425 до н. э.)— 350, 353
Герцен Александр Александрович (1839—1906), сын А. И. Герцена — 333 — 334, *524*
Герцен Александр Иванович (1812—1870).

-- «Былое и думы» — 337, *486*, *496*,—*498*, *500*, *502*, *503*, *506*, *511*, *512*, *518*, *522*— *527*, *534*, *535*
— «Дилетантизм в науке» — *506*
— «Дилетанты-романтики» — *505*
— «Кто виноват?»— *497*, *498*, *500*
— «Личное объяснение» — *528*
— «Наши великие покойники начинают возвращаться»— *534*
— «О развитии революционных идей в России» — *534*
— «Письма к будущему другу»— *496*, *514*
— «Письма об изучении природы» — *479*, *484*
— «С того берега» — *509*
— «Старика Ведрина крепкое до польских братий словцо» — *518*
Герцен Наталья Александровна, рожд. Захарьина (1822—1852), жена А. И. Герцена — 81, 138, 251—254, 259, 286, 325, 332, 333, 464, 472, *485*, *486*, *488*—*495*, *497*—*500*, *502*, *503*, *510*, *511*, *514*, *516*, *519*—*521*, *524*, *528*, *535*—*537*
Гесснер Соломон (1730—1788), швейцарский «идиллический» поэт и художник — 281
— «Идиллии» — 281
Гёте Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 36, 64,65, 70, 76, 84, 108, 112—120, 123, 259, 278, 279, 295, 303, 307—316, 330,362,466, *484*, *486*, *489*, *490*, *492*, *494*—*497*, *513*, *514*, *516*, *517*, *522*, *523*
— «Анналы или дневники в дополнение к моим прочим признаниям» («Annalen oder Tag- und Jahreshefte als Ergänzung meiner sonstigen Bekenntnisse») — 119, *496*
— «Во всяком случае. К физику» («Allerdings. Dem Physiker») — 303, *516*—*517*
— «Генерал гражданской гвардии» («Der Bürgergeneral») —116, 313, *496*, *517*
— «Годы учения и странствований Вильгельма Мейстера» («Wilhelm Meisters Lehr und Wanderjahre») — 55, 60, 71, 123, 278, *486*, *489*, *516*; Арфист («старец») — 71; Миньона — 55, 69, 71, *486*, *516*; Филина — 71
— «Гёц фон Берлихинген» («Goetz von Berlichingen mit der eisernen Hand»)—116, 119, 316, *517*
— «Западно-восточный диван» («West-Östlicher Divan») — 76, 119; «Саки-Наме» («Saki-Nameh») — 76
— «Из путешествия по Рейну, Майну и Некару в 1814 и 1815 гг.» («Aus einer Reise am Rhein, Main und Neckar in den Jahren 1814 und 1815») — *492*; «Праздник св. Роха в Бингене» («Sankt-Rochusfest zu Bingen») — 84, *492*
— «Ифигения в Тавриде» («Iphigenie auf Tauris») — 279, *522*
— «Мятежные» («Die Aufgeregten»)—108, *495*—*496*; Луиза—108, *495*—*496*
— «Поэзия и правда» («Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit») — 330, 465, *523*; Гретхен — 330, *523*
— «Путешествие в Италию» (Italienische Reise») — *497*
— «Страдания молодого Вертера» («Die Leiden des jungen Werthers») — 70, 116, 219, 273, 313, 472
— «Ученье о цветах» («Zur Farbenlehre») — 115, 312
— «Фауст» («Faust») — 36, 64, 117, 120, 259, 284, *484*, *490*, *494*, *514*; «Вальпургиева ночь» («Walpurgisnacht») — 79; Гретхен — 330; Фауст — 69, 278, 279
— «Французская кампания»(«Kampagne in Frankreich») — *496*
— «Эгмонт» («Egmont») — 330, *523*; Клара (Клерхен) — 330, *523*
Гет(т)ар (Guettard) Жан Этьен (1715—1786), франц. ботаник — 365
«Гёц фон Берлихинген», драма Гёте (см.).
Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — 463, *481*
Гиппарх (II в. до н. э.), древнегреческий астроном — 38, 40
Гиппель (Hippel) Теодор Готтлиб (1775—1843), нем. юрист, с детских лет друг Э. Т. А. Гофмана — 63
Гиппократ (ок. 460—377 до н. э.) — 350
Гитциг (Hitzig) Юлиус Эдуард (1780—1849), нем. криминалист,

писатель, биограф Э. Т. А. Гофмана—65, 70, 71, *489*
— «Из жизни и литературного наследия Гофмана» («Aus Hoffmann's Leben und Nachlaß»)—*489*
Глинка Федор Николаевич (1786—1880), поэт — *511*
— «Тройка» — 253, *511*
Глюк Кристоф Виллибальд (1714—1787) — 73, 74
Го (Gau) Франсуа Кретьен (1790—1853), франц. путешественник и архитектор — 350
Голиаф (библ.) — 261
Голдсмит (Goldsmith) Оливер (1728—1774), англ. писатель
— «Векфильдский священник («The Vicar of Wakefield») — 272, 275
Голицын Александр Борисович, князь (1792—1865), предводитель дворянства Владимирской губ.—379
Голицын Александр Николаевич, князь (1773—1844), обер-прокурор синода с 1803 г., министр духовных дел и просвещения в 1816—1823 гг. — 391 — 405, 409, 416—418, 421—427, 429, 435, *533*
Голицын Дмитрий Владимирович, князь (1771—1844), московский генерал-губернатор с 1820 г.—417, 424, 427
Гомер (Омир) — 113, 187, 277, 279, 299, 307, *514*
— «Илиада» — 38, 279, 307, *504*; Стентор — 170, *504*
— «Одиссея» — 38, 307
Гораций Флакк (65—8 до н. э.) — *516*
— «Эподы» — 288, *516*
Гордеев Федор Гордеевич (1744—1810), скульптор, ректор Акад. худ. в 1802—1810 гг.—431, 432
«Горе от ума» — см. Грибоедов А. С.
Гормисдас (Hormisdas) (IV в.), сын персидского царя Гормисдаса II; ок. 324 бежал в Константинополь к Константину Великому—90
Готфрид Бульонский (ок. 1060—1100), один из предводителей первого крестового похода — 112, 310, *496*, *517*
Гофман Эрнст Теодор Амадей (1776—1826) — 62—80, 118, *487*—*490*, *534*
— «Житейские воззрения Кота Мурра» («Lebensansichten des Katers Murr, nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern») — 63, 66, 67, 79, *489*, *490*; Гедвига — 75; Иринея — 74, 75; Крейслер—66, 67, 74, 75; Юлия — 75
— «Маленький Цахес, прозванный Циноберо» («Klein Zaches, genannt Zinober. Ein Märchen») — 78, 79; Алианус (Аллиний)—79, *534*
— «Ночные рассказы» («Nachtstücke») — *490*; «Иезуитская церковь в Г.» («Jesuiterkirche in G.»)—75; «Песочный человек» («Der Sandmann») — 71, 77, *490*, *534*
— «Повелитель блох» («Meister Floh, ein Märchen in sieben Abenteuern zweier Freunde») — 78
— «Принцесса Брамбилла» («Prinzessin Brambilla, ein capriccio nach Jakob Callot») — 78
— «Пышный дурман» («Datura fastuosa») — 66
— «Серапионовы братья» («Die Serapionsbrüder») — *489*; «Недобрый гость» («Der unheimliche Gast») — 77, *490*
— «Угловое окно двоюродного брата» («Des Vetters Eckfenster») — 67
— «Фантастические пьесы в манере Калло» («Phantasiestücke in Callots Manier. Blätter aus dem Tagebuch eines reisenden Enthusiasten») — 72, *489*, *490*; «Золотой горшок» («Der goldene Topf. Ein Märchen aus der neuen Zeit») — 78; Ансельм — 79; Линдгорст — 79; «Кавалер Глюк» («Ritter Gluck») — 73, 74, *490*; «Крейслериана» («Kreisleriana») — 72—73, *489*, *490*; Крейслер—66, 67, 74, 75, *489*, *490*; «Магнитизер» («Der Magnetiseur. Eine Familienbegebenheit») — 77
— «Эликсир дьявола» («Elexiere des Teufels. Nachgelassene Papiere des Bruders Medardus, eines Capuzieners») — 77; Аврелия — 77; Медардус — 69, 77, 78
Гош (Hoch) Лазар (1768—1797), военный деятель французской революции, генерал — 313
Гракх Тиберий (163—132 до н. э.) — 33

Грабиенко (Грабианко) Фаддей, граф, польский мистик — 434
Гретхен, в автобиографии «Поэзия и правда» В. Гёте (см.).
Гретхен, действ. лицо в «Фаусте» В. Гёте (см.).
Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1828).
— «Горе от ума» — 268, 269, *515*; Софья — 269, *515*; Молчалин — 276; Чацкий — 269, *515*
Григорий Турский (ок. 540—594), епископ—350, *525*
— «История франков» («Historia francorum») — 350, *525*
Григорович Василий Иванович (1786—1865), преподаватель и конференц-секретарь Акад. худ., издатель журнала «Жизнь изящных искусств» — 420, 421
Грозный—см. Иван IV Васильевич.
Гроций Гуго де Гроот (1583—1645), голландский ученый-правовед — 469
Гугений — см. Гюйгенс.
Гумбольдт Фридрих Генрих Александр (1769—1859) — 15, 369
Гурт, действ. лицо в романе «Айвенго» В. Скотта (см.).
Гурьев Дмитрий Александрович (1751—1825), министр финансов при Александре I — 423, 425, 426, 435
Густав II Адольф (1594—1632), король Швеции, полководец и военный реформатор — 34, 331, *482*, *523*
Гюго Виктор (1802—1885)— 24, 85, 118, *492*
— «Осенние листья» («Les Feuilles d'Automne») — *492*
— «Что слышится на горе» («Ce qu'on entend sur la montagne»)— 85, *492*
— «Собор Парижской богоматери» («Notre Dame de Paris»); Клод Фролло — 54, 69, 281; Эсмеральда — 281
Гюйгенс (Huygens) (в лат. форме Гугениус, Гугений) Христиан (1629—1695), механик, физик и математик — 48, 49

Давид, царь (библ.) — 261
Давид Жак-Луи (1748—1825), франц. живописец—179
Далила (библ.) — 95
Даль Владимир Иванович (1801—1872), писатель, этнограф и лексикограф — 287, *512*, *516*
— «Бедовик» — 287, *512*, *516*
Даль-Онно (Даль-Окко, Dall'Oglio) Антонио (ум. 1831), контрабасист, из семьи музыкантов, концертировавших и преподававших музыку в Петербурге и Москве с середины XVIII в.—79, *534*
Данвиль (J. B. Bourguignon d'Anville) Жан Батист (1697—1782), франц. географ и картограф — 351
Даниил (библ.)— 92, 325, *492*, *520*
Даннекер (Dannecker) Иоганн Генрих (1758—1841), нем. скульптор — 119
Дант (Данте) Алигьери (1265 — 1321) —74, 93, 129, 142, 144, 255, 284, 325, *491*, *498*, *501*, *510*, *511*
— «Божественная комедия» («Divina Commedia»)— *491*, *498*; «Ад» («Inferno») — 144, 253, 255, 284, *501*, *510*, *511*; «Чистилище» («Purgatorio») — 81, 464, 465, *491*; «Рай» («Paradiso») — 129, *498*
Дантон Жорж Жак (1759—1794)— 134
Дарвин Эразм (1731—1802), англ. врач, естествоиспытатель и поэт, дед Чарльза Дарвина — 362, 363
— «Фитология» («Phytologia or the Phylosophy of Agriculture and Gardening») — 362
«Дева чужбины», стихотворение Ф. Шиллера (см.).
Дэви Гумфри — см. Дэви Гемфри.
Девис, инженер-архитектор, в первой трети XIX в. принимал участие в строительстве Большого (Петровского) театра в Москве— 401
Девоншир Уильям, герцог (1790—1858), английский дипломат — 427
Деженет (Desgenettes) Рене Никола, барон (1762—1837), франц. врач, участник военной экспедиции в Египет в 1798 г.— 349
Дездемона, действ. лицо в трагедии «Отелло» В. Шекспира (см.).

Де-Кандоль (De-Candolle) Огюстен Пирам (1778—1841), швейцарский ботаник — 23, 361, 365, *526*
— «Органография» («Organographie végétale») — 365, *526*
— «Элементарная теория ботаники» («Théorie élémentaire de la botanique») — 365
Декарт (Descartes) (в лат. форме Cartesius, Картезий) Рене (1596—1650) — 20, 27, 37, 48, 49, 461
Деламбр (Delambre) Жан Батист Жозеф (1749—1822), франц. астроном, геодезист — 38, 47
— «Краткая астрономия» («Abrégé d'Astronomie») — 47
Державин Гаврила Романович (1743—1816) — 118, 268, 436, 437, *494*
Дестют де Траси (Destutt de Tracy) Антуан Луи Клод (1754—1836), франц. вульгарный экономист и философ-сенсуалист, последователь взглядов Э.-Б. Кондильяка и Дж. Локка (см.) — 25
«Дети аббатства», роман Регины Рош (см.).
Дидро (Дидеро) Дени (1713—1884) — 107, 117, 281, 329, *493*
— «Монахиня» («La religieuse») — 142
Дильтей Филипп-Генрих, первый проф. права Моск. ун-та, известен многосторонней педагогической деятельностью — 140
Динократ (ум. ок. 250 до н. э), древнегреческий зодчий, планировал застройку Александрии — 86
Диодор Сицилийский (ок. 80—20 до н. э.), древнегреческий историк — 350, 353
Диомид — см. Пассек Д. В.
Дмитриев Иван Иванович (1760—1837), поэт и баснописец — 384, 390, *536*
«Дон-Жуан», опера В. Моцарта (см.).
«Дон-Карлос», драма Ф. Шиллера (см.).
Дон-Карлос — см. Карлос дон.
Дроветти Бернардин (1775—1852), итал. археолог — 348
Дружинин Яков Александрович (1771—1849), чиновник министерства финансов — 423
Дэви (Davy) Гемфри (1778—1829), англ. химик и физик — 174
Дюкре Дюминиль (Ducray-Duminil) Франсуа Гийом (1761—1819), франц. романист.
— «Алексис, или Домик в лесу» («Alexis, ou la maisonnette dans les bois; manuscrit, trouvé sur les bords de l'Isère») — 265
— «Лолотта и Фанфан» («Lolotte et Fanfan») — 265
Дюмон-Д'Юрвиль (Дюмон-Дюрвиль, Dumont d'Urville) Жюль Себастьян (1790—1842), франц. путешественник-мореплаватель — 287, *516*
Дюмурье (Dumourier) Шарль Франсуа (1739—1823), франц. генерал во время революции, в 1793 г. перешел к австрийцам — 313
Дюпень (Дюпен, Dupin) Андрэ Мари Жан Жак (1783—1868), франц. адвокат и полит. деятель, председатель палаты депутатов 1832—1840 гг. — 26
Дюран (Durand) Шарль (ум. 1848), франц. журналист, редактор монархической газеты «Journal de Francfort», тайный агент русского правительства — 109, *494*, *496*
Дядюшка — см. Яковлев Л. А.

«Евангелие» — 13, 81, 84, 86, 92, 183, 184, 200, 224—226, 237, 246, *492*
«Евгений Онегин» — см. Пушкин А. С.
Еврипид (ок. 480—ок. 406 до н. э.) — 279
Егоров Алексей Егорович (1776—1851), живописец и рисовальщик, проф. Акад. худ. — 421
Екатерина II (1729—1796), императрица — 35, 118, 131, 133, 142, 146, 149, 152—154, 157, 317, 321, 400, 417, 455, *483*, *498*, *501*, *518*
Елизавета Алексеевна (1779—1826), императрица, жена Александра I — 441
Елизавета Ивановна — см. Прово.

Жанен Жюль Габриэль (1804—1874), франц. писатель, критик и журналист — 70, 76

Жанлис (Genlis) Стефани-Фелисите (1746—1830), франц. писательница — 273, *515*
Жан Поль — псевдоним Иоганна Пауля Рихтера (см.).
Жерар, врач — 28
«Живописец» — еженедельный журнал, вых. в Петербурге в 1772—1773 гг., издание Н. И. Новикова — 445
Жилярди (Джилярди) Иван Дементьевич (Джованни Баттиста) (1757—1819), архитектор — 418, 419
«Житейские воззрения Кота Мурра», роман Э. Т. А. Гофмана (см.).
«Житие св. Екатерины» — 105
«Жития святых» («Мартиролог») Симеона Метафраста (см.).
Жорж Санд (George Sand), псевдоним Авроры Дюдеван (1804—1876) — 171, *504*
— «Мопра» («Mauprat») — *504*; дядюшка Пасьянс (bonhomme Patience) — 171, *504*
Жоффруа Сент-Илер (Geoffroy Saint-Hilaire) Этьенн (1772—1844), франц. естествоиспытатель — 23
Жуанвиль (Joinville) Жан (1224—1317), франц. историк-хронист, участник крестового похода — 115, 311, *496*
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — 268, 276, *515*, *536*
— «Ундина» — 276, *515*, *536*
«Журнал изящных искусств», двухмесячный журнал, выходивший в Петербурге в 1823 и 1825 гг., издатель В. И. Григорович — 420, 421

Занд Жорж — см. Жорж Санд.
Занд (Sand) Карл Людвиг (1795—1820), студент Иенского ун-та, убивший реакционного писателя Коцебу — 171, 260, 266
Захарьина Наталья Александровна — см. Герцен. Н. А.
Зевксис (последняя треть V в.— начало IV в. до н. э.), древнегреческий живописец — 279
Зевс (миф.) — 70, 99, 193, 277, 308, 471
Зенобия Септимия (III в. н. э.), царица Пальмирская, вела непрестанные захватнические войны и мечтала о покорении Рима; была в 273 г. взята в плен имп. Аврелианом после разгрома ее войска — 274
Златоуст — см. Иоанн Златоуст.
«Золотой горшок» — повесть из цикла «Фантастические пьесы в манере Калло» Э. Т. А. Гофмана (см.).
Зуев Василий Федорович (1754—1794), естествоиспытатель и путешественник, член Петербургской акад. наук — 19, 461

Иаков I Стюарт (1566—1625), англ. король — 468, *509*
Иван III Васильевич (1440—1505), великий князь московский — 31
Иван IV Васильевич (Грозный) (1530—1584), царь — 32, 132, *498*
«Идиллии» — произв. С. Гесснера (см.).
Иегова (библ.)—94, 242, 248, 468
Изабелла, действ. лицо в трагедии «Мессинская невеста» Ф. Шиллера (см.).
«Избрание Михаила Федоровича» —(«Призвание Михаила Федоровича Романова на царство»), картина Г. И. Угрюмова (см.).
Изида (миф.) — 185, 326
«Илиада» — см. Гомер.
«Император Александр, разрушая Рейнский союз, освобождает Европу» — эскиз А. Л. Витберга (см.).
Иоанн III — см. Иван III Васильевич.
Иоанн апостол (Богослов) (библ.)— 92—94, 134, *492*
— «Евангелие от Иоанна» — 92
Иоанн Златоуст (ок. 347—407), деятель восточно-христианской церкви, проповедник — 134
Иоанн Креститель (Предтеча) (библ.) —95, 96
Ипократ — см. Гиппократ.
Иппарх — см. Гиппарх.
Ириней, действ. лицо в романе «Житейские воззрения Кота Мурра» Э. Т. А. Гофмана (см.).
Иродот — см. Геродот.

Исайя пророк (библ.) — 95
«Искусство поэзии», трактат Н. Буало (см.).
«Исповедь» — Ж.-Ж. Руссо (см.).
«История государства Российского»—многотомный труд Н. М. Карамзина (см.).
Иуда Искариот (библ.) — 83, 135, *499*
«Ифигения в Тавриде» — трагедия В. Гёте (см.).
Иффланд Август Вильгельм (1759—1814), нем. актер, режиссер и драматург — 70

Кабанис (Cabanis) Пьер Жан Жорж (1757—1808), франц. врач и философ, представитель материалистического естествознания XVIII в.— 25
Кавалер Глюк, действ. лицо в одноименном рассказе из цикла «Фантастические пьесы в манере Калло» Э. Т. А. Гофмана (см.).
«Кавказский пленник» — А. С. Пушкина (см.).
Каин (библ.) — 57
Кайо (Caillaud) Фредерик (1787—1869), французский путешественник и археолог — 326, 353, *521*, *526*
— «Путешествие в Мероэ» («Voyage à Méroé, au fleuve Blanc, au delà de Fazogl, dans la midi du royaume de sennâr, à Syouah et dans cinq autres oasis de 1819 à 1822») — *521*
Калигула Гай Цезарь (12—41 п. э.), римский император — 193
Кало Карл Иванович, камердинер Л. А. Яковлева (см.). — 261
Кальвин Жан (1509—1564) — 470
Каменецкий Тит Алексеевич (1790—1844), адъюнкт кафедры географии и статистики Моск. ун-та — 267, *515*
— «Краткое всеобщее землеописание по новому разделению. Изд. по руководству И. А. Гейма, в пользу детей, начинающих учиться географии, Т. Каменецким»— 267, *515*
Кандоль де — см. Де-Кандоль.
Канова Антонио (1757—1822), итал. скульптор — 179
— «Амур и Психея» — 179
Кант Иммануил (1724—1804) —27
Каннет Василий Васильевич (1757—1823) — 268
Каподистрия Иоанн, граф (1776—1831), греческий и русский государственный деятель, с 1827 г. президент Греческой республики — 385
Каракалла Марк Аврелий Антонин (186—217), римский император— 231
Карамзин Николай Михайлович (1766—1826)—142, 268, 274, 369, *516*, *529*
— «История государства Российского» — 369, 373, *529*
— «Марфа Посадница» — 274, 432; Мирослав—432; Феодосий—432
— «Цветок на гроб моего Агатона» — 281, *516*
Карамышев Александр Матвеевич (ум. 1791), химик, преподаватель Горного училища — 448
Каратыгин Василий Андреевич (1802—1853) — 75
Карбонье (д'Арсп) Лев Львович (1770—1836), инженер-генерал— 392, 411—414, 418, 419, 423
Карл Великий (742—814), франкский король с 768 г., император с 800 г.—33, 464, *483*
Карл XII (1682—1718), шведский король — 414
Карл Иванович — см. Кало К. И.
Карл I Стюарт (1600—1649), англ. король — 201, *509*
Карл II Стюарт (1630—1685), англ. король — 203, 204, 216, 219, *509*
Карлос дон (1545—1568), наследник испанского престола, сын Филиппа II — 340, *508*
Карпини Джованни да Плано (1182—1252), итальянский путешественник — 131, 287, *498*, *516*
— «История монголов, которых мы называем татарами» («Historia mongolarum quos nos tartaros appelamos») — 131, 287, *498*, *516*
Картезий — см. Декарт.
Кассини Габриэль (1781—1832), франц. ботаник — 362
— «Сочинение о фитономии» («Premier mémoire sur la Phytonomie»)—362

Кассини Джованни Доминико (Жан Доминик) (1625—1712), астроном, чл. Парижской акад. наук— 49, 51
Кастельриг — см. Кэстльри.
Кассиан (Иоанн Кассиан) римлянин (ум. 435), основатель монашества в Галлии — 289, *516*
Катилина Луций Сергий (108—62 до н. э.), полит. деятель древнего Рима, организатор заговора, получившего от него свое имя — 193, 223, 224
«Катилинарии» («In Catilinam»), речи против Катилины Цицерона (см.).
Каченовский Михаил Трофимович (1775—1842), историк и критик, проф. Моск. ун-та — 172
Квинтилиан Марк Фабий (ок. 35—95), древнеримский автор трудов об ораторском искусстве — 267
Келлио — см. Кайо.
Кеплер Иоганн (1571—1630) — 29, 40, 45, 47—51
Кёрнер (Körner) Теодор (1791—1813), нем. поэт-романтик — 68, *490*
— «Моя родина» («Mein Vaterland»)—*490*
Кетчер Николай Христофорович («барон», «Упсальский барон») (1806—1886), участник московского кружка, друг юности Герцена — 61, 123, 170, 171, 174, 175, 177, *488*, *491*, *493*, *495*, *497*, *498*, *500—502*, *504*, *506*, *508*, *521*, *530*, *536*
Кинэ (Quinet) Эдгар (1803—1875), франц. историк и политич. деятель — 135, *499*
— «О философии в ее соотношениях с политической историей» («De la philosophie dans ses rapports avec l'histoire politique»)— 135, *499*
Кирилл и Мефодий, братья (IX в.), византийские монахи, славянские просветители, считаются создателями одной из двух первых славянских азбук (Кириллицы)— 262, 471
Клавдий (10 до н. э. — 54 н. э.), римский император — 193
Клара (Клерхен), действ. лицо в драме «Эгмонт» В. Гёте (см.).
Клеопатра (69—30 до н. э.), царица Египта — 85, 86
Клоот (Клоотс, Cloots) Анахарсис (наст. имя Жан Батист) (1755—1794), философ-просветитель, публицист и полит. деятель, участник франц. революции — 110, *495*
Клопшток Фридрих Готлиб (1724—1803) — *517*
— «Мессиада»(«Messiade»—франц., «Messias»—нем.) — 313, *517*
«Книга бытия»—см. Моисей.
Кобург - Заальфельд Фридрих, принц (1737—1815), командующий австрийскими войсками в походе против революционной Франции 1792—1794 гг.—110
Козлов Иван Иванович (1779—1840), поэт и переводчик — 268
Козодавлев Осип Петрович (1754—1819), сенатор, министр внутренних дел при Александре I —169, 467
Кологривов Дмитрий Михайлович (1780—1831), придворный Александра I — 393
Колумб Христофор («пророк») (1451—1506)—16, 243, *509*
Конгрев (Конгрив, Congreve) Уильям (1772—1828), англ. генерал-артиллерист — 134, *499*
Кондильяк Этьенн Бонно де (1715—1780), франц. просветитель, философ-деист, сторонник сенсуализма — 25
Констанс (323—350), римский император, третий сын Константина Великого — 90
Константин V (719—775), византийский император — 95, *493*
Константин VII Багрянородный (912—959), византийский император — 84, *492*
Константин Павлович (1779—1831), великий князь — 432
Коперник Николай (1473—1543)— 16, 36, 38, 42—51, 175, *484*
— «Об обращении небесных сфер» («De revolutionibus orbium coelestium») — 36, 42—46, *483*, *484*
Корсакова, домовладелица в Москве — *482*
Коцебу (Kotzebue) Август Фридрих Фердинанд (1761 — 1819), нем. реакционный писатель — 70, 260, 434

— «Сын любви» («Das Kind der Liebe») — 434
Кочубей Виктор Павлович, граф (1768—1834), дипломат и госуд. деятель — 429, 435
Кошелев Родион Александрович (1749—1827), обер-гофмейстер, мистик, близкий к Александру I—454
Крейслер Иоганн, действ. лицо в произведениях «Житейские воззрения Кота Мурра» и «Крейслериана» Э. Т. А. Гофмана (см.).
«Крейслериана», музыкальные очерки из цикла «Фантастические пьесы в манере Калло» Э. Т. А. Гофмана (см.).
Кромвель Оливер («Нолль») (1599—1658) — 203, 204, 237, 274, *509*
Крылов Иван Андреевич (1768—1844) — 258 437, *514*
— «Лев и Комар» — 258, *514*
Ксенофонт (ок. 430—355/4 до н. э.), древнегреческий историк и философ; участвовал в греко-персидских войнах и оставил описание отступления 10 тыс. греческих наемников через Малую Азию — 312
Кузень (Кузен, Cousin) Виктор (1792—1867), франц. философ-идеалист; основал школу, названную им «эклектической»—25, 28, 29, 37, 461, 462, *480*, *484*, *535*, *536*
— «Введение в историю философии» («Introduction à l'histoire de la philosophie») — 37
— «Состояние народного просвещения в некоторых странах Германии» («Rapport sur l'état de l'instruction publique dans quelques pays de l'Allemagne») — *535*
— «Философские фрагменты» («Fragments philosophiques») — 37
Кук Джемс (1728—1779) — 287, *516*
Кулибин Иван Петрович (1735—1818), механик, конструктор и изобретатель — 454
Купер Фенимор (1789—1851) — 69
Курбатов Петр Александрович, чиновник «кабинета его величества» в 1816 г. — 451
Курганов Николай Гаврилович (1725—1796), ученый и писатель — 266
— «Письмовник, содержащий в себе науку российского языка со многим присовокуплением разного учебного и полезно-забавного вещесловия. С присовокуплением книги: Неустрашимость духа, геройские подвиги и примерные анекдоты русских» — 266, *515*
«Курс словесности» — «Французский учебник словесности и морали» Ж. Ф. М. Нозля (см.).
«Курс чистой математики» — «Полный курс чистой математики» Л. Франкёра (см.).
Курций Марк, герой древнеримской легенды — 277
Кутузов Михаил Илларионович (1745—1813) — 298, 406, 452
Кучина Татьяна Петровна — см. Т. П. Пассек.
Кэстльри (Castlereagh) Генри Роберт Стюарт, виконт (маркиз Лондондри) (1769—1822), англ. реакционный госуд. деятель — 466
Кювье Жорж (1769—1832)—15, 18, 19, *526*
— «Животное царство» («Le règne animal, distribué d'après son organisation pour servir de base à l'histoire naturelle des animaux et d'introduction à l'anatomie comparée») — 18, 19

Лабзин Александр Федорович (1766—1825), писатель-мистик, с 1799 г. конференц-секретарь Акад. худ., с 1818 до 1822 г. вице-президент Акад. худ.— 395—399, 414—416, 432—441, 444, 446, 448, 473, *533*
Лабзина Анна Евдокимовна, рожд. Яковлева (1758—1828), жена А. Ф. Лабзина — 437
Лагарп Жан Франсуа (1739—1803), франц. литературный критик, теоретик классицизма—269, 270
Ламарк Максимильен, граф. (1770—1832), франц. генерал, участник наполеоновских войн—121, *496*
Лаплас Пьер Симон (1749—1827)—23, 35, 41, 50
— «Изложение системы мира» («Exposition du système du monde») — 41, 50

Ларош-Жакелин (Ларошжакелен, de La Rochejaquelein) Анри Дювержье, граф (1772—1794), один из вождей вандейской контрреволюции — 118
Ларрей (Larrey) Доминик Жан, барон (1766—1842), франц. врач, участник военной экспедиции 1798 г. в Египет, где провел многие годы — 349
Лас-Каз (Las Cases) Огюст Эммануэль, граф (1766—1842), приближенный и биограф Наполеона — 466, *516*, *523*
— «Воспоминания об острове св. Елены» («Memorial de S-te Hélène») — 301, *516*, *523*
Лаудон, англ. инженер-архитектор, в 1818 г. находился в России — 455, 465
Лафайет (La Fayette) Мари Жан Поль, маркиз (1757 — 1834), участник борьбы американцев за независимость, позднее либерально-монархический деятель во Франции в 1789 и 1830 гг.— 113, 296, 310, 342
Лафатер (Lavater) Иоганн Каспар (1741—1801), швейцарский писатель, создатель антинаучного учения о «физиономике»—118, 314
Лафонтен (Lafontaine) Август (1758—1831), нем. писатель, автор сентиментальных романов — 70, 266, 273, *515*
— «Чудак» («Der Sonderling») — 266; Бургард — 266
Лахтин Алексей Козьмич (1808—1838), университетский товарищ Герцена, член московского кружка — 61, 254, *487*, *511*
Лёве-Веймар (Loève-Veimars) Франсуа Адольф, барон (1801—1854), франц. писатель-публицист, переводчик «Собрания повестей Э. Т. А. Гофмана» на франц. язык — 80, 490
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716) — 175, 366
Ленивцев Александр Александрович, один из директоров Русского библейского об-ва — 393
Лжедимитрий I (ум. в 1606), занимал московский престол в 1605—1606 гг. — 33
Лизавета Ивановна — см. Прово Е. И.
Линдгорст — действ. лицо в повести «Золотой горшок» Э. Т. А. Гофмана (см.).
Линней (Linné) Карл (1707—1778)— 16, 18, 461
— «Система природы» («Systema naturae») — 18
Лов — см. Лоу.
Ловецкий Алексей Леонтьевич (1787—1840), врач, натуралист, проф. Моск. ун-та. Герцен слушал у него курсы сельского хозяйства и минералогии — 285
Лодер Христиан Иванович (1753—1832), врач-анатом, лейб-медик— 441
Локк Джон (1632—1704) — 145
«Лолотта и Фанфан» — роман Ф. Дюкре-Дюминиля (см.).
Ломонд Шарль Франсуа, аббат (1727—1794), автор учебной грамматики франц. языка и других педагогических сочинений, многократно издававшихся — 266
— «Грамматика французская, соч. Ломондом, проф. Новейший перевод, с дополнением нужных правил для юношества, занимающегося переводами как с франц. на росс., так и с росс. на франц. яз., словаря для сих упражнений, разных нравоучительных повестей, писем и басен, почерпнутых из лучших авторов» — 265—266
Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — 28, *483*
— «Надпись V» — 29, *483*
Лоу (Lowe) Гудзон (1769—1844), губернатор острова св. Елены— 120
Луиза — действ. лицо в драме «Мятежные» В. Гёте (см.).
Луи Филипп (1773—1850), франц. король — 174, *505*
Лука евангелист (библ.) — 84, 86, 95, *492*
— «Евангелие от Луки» — 84, 86, *492*
Львов Андрей Лаврентьевич (1751—1823), почетный член Опекунского совета в Москве — 426
Людовик I («Благочестивый») (778—840), император франков, сын Карла Великого—33, *483*

Людовик IX («Святой») (1215—1270), король Франции — 115, 311, *496*
Людовик XIV («Великий») (1638—1715), король Франции — 269, 310, *517*
Людовик XVI (1754—1793), король Франции — 114, 116, 310, *496*
Лютер Мартин (1483—1546) — 33, 220, 232, 470, *523*
— «Письмо к Эразму Роттердамскому» (1524) — *523*
Лютер (и Вернер), владелец винного погребка в Берлине — 62
Люцифер (библ.) — 137, 138, 315, *499*

Макашина Мария Степановна («богомольная старушка»), компаньонка кн. М. А. Хованской — 260, *514*
Макбет, действ. лицо одноименной трагедии В. Шекспира (см.).
Макиавель (Макиавелли, Махиавелли, Machiavelli) Никколо ди Бернардо (1469—1527) — 469
Маккавеи, династия, правившая в Иудее с 142 по 37 г. до н. э. и освободившая ее от власти Сирии — 213
Маккензий (Mackenzie) Джемс (ок. 1680—1761), англ. врач — 349
Маколей (Macaulay) Томас Бэбингтон, лорд (1800—1859) — 340, *508—509*
Максимович Михаил Александрович (1804—1873), историк и фольклорист, проф. естественных наук Моск. ун-та. Герцен не только слушал у него курс ботаники, но общался с ним на почве литературных интересов — 14, *480*
— «О человеке» — *480*
Малерб — см. Мальзерб.
Малет (Мале, Malet) Клод Франсуа (1754—1812), генерал франц. революционной армии. В 1812 г. казнен, как глава республиканского заговора против Наполеона — 464
Мальзерб (Malesherbes) Кретьен Гийом (1721—1794), франц. публицист и госуд. деятель; во время процесса Людовика XVI добился разрешения конвента стать одним из защитников бывш. короля, был казнен по обвинению в заговоре против республики — 118, *496*
Малте Брюнь (Мальтбрен, Malte-Brun) Конрад (1775—1826), франц. географ и публицист, родом датчанин — 369
«Манон Леско», роман аббата А.-Ф. Прево (см.).
Марат Жан Поль (1744—1793) — 135
Марий Кай (157—86 до н. э.), римский полководец и политический деятель — 33, 129
Марк евангелист (библ.) — 95
Мармонтель Жан Франсуа (1723—1799), франц. писатель — 263, *514*
— «Инки» («Les Incas») — 263, *514*
Мария Федоровна (1759—1828), императрица, жена Павла I — 400, 430
Мартос Иван Петрович (1754—1835), скульптор — 419—421
— «Минин и Пожарский» — 419, 420
Марфа Посадница — Марфа Ивановна Боровская (XV в.) — 274, 432
«Марфа Посадница», повесть Н. М. Карамзина (см.).
«Марфа Посадница», рисунок А. Л. Витберга (см.).
Маршаль, гувернер Герцена — 269, 274, 275
Матфей, апостол и евангелист (библ.) — 13, 92, *480*
— «Евангелие от Матфея» — 13, 92, *480*
Мафусаил (библ.) — 332
Меад,—см. Мид.
Медардус — действ. лицо в романе «Эликсир дьявола» Э. Т. А. Гофмана (см.).
Медведева Прасковья Петровна (ум. 1860), вятская приятельница Герцена — *500*, *501*
Медокс (Маддокс) Михаил Егорович (1747—1822), создатель одного из первых русских театров — 318, *518*
Мельников Абрам Иванович (1784—1854), архитектор, проф. Акад. худ. — 392, 393, 420, 421
Мемнон (миф.) — 187, *507*

Мешцель Вольфганг (1798—1873), нем. критик и историк — 66, 117, 171, *494*
— «Немецкая литература» («Die deutsche Literatur») — 66, *494*
Мертенс Шарль де (1737—1788), бельгийский врач, автор книги о чуме в России, где он провел 1767—1772 гг. —349
«Мессиада», поэма Ф. Клопштока (см.).
Метафраст Симеон (X в.), византийский дипломат и церковный писатель — 84, *492*
— «Жития святых» («Мартиролог») — 84, *492*
Мефодий — см. Кирилл и Мефодий.
Меццофанти (Mezzofanti) Джузеппе (1774—1849), кардинал; был известен в качестве полиглота, владел 52 языками — 173
Мид (Mead) Ричард (1673—1754), англ. врач — 350
Микеланджело Буонаротти (1475—1564) — 70, 73
Милорадович Михаил Андреевич (1771—1825), генерал, участник войн с Наполеоном I — 428
Минин Сухорук Кузьма (ум. 616)— 419
«Минин и Пожарский» — памятник работы И. П. Мартоса (см.).
Миньона, действ. лицо в романе «Годы учения и странствований Вильгельма Мейстера» В. Гёте (см.).
Мирабо Оноре Габриель, граф (1749—1791) — 33, 35, 134, *49*
Мирослав, действ. лицо в повести «Марфа Посадница» Н. М. Карамзина (см.).
Михайлов Андрей Алексеевич (1770—1847), проф. Акад. худ., архитектор — 397, 398, 400, 431
Мишле Жюль (1798—1874) — 30, *495*
«Могущество песни», стихотв. Ф. Шиллера (см.).
Моина, действ. лицо в трагедии «Фингал» В. А. Озерова (см.).
Моисей (библ.) — 91, 102, 242, 248, 368, 471
— «Книга бытия» — 102
Молчалин, действ. лицо в «Горе от ума» А. С. Грибоедова (см.).
Монк (Monk) Джордж, герцог (1608—1670), англ. генерал и полит. деятель — 204
Монтескье Шарль Луи де Секонда (1689—1755) — 32, 145, 348
Моор Карл, действ. лицо в драме «Разбойники» Ф. Шиллера (см.).
Мор Томас (1478—1535) — 231
Морган Сидней, леди (1783—1859), ирландская писательница — 111, *496*
— «Италия» («Italy») — *496*
Морошкин Федор Лукич (1804—1857), проф. Моск. ун-та по кафедре права — 319, 320, *518*
— «О постепенном развитии законодательства» — *518*
— «Права знатнейших древних и новых народов» — 320, *518*
— «Речь об Уложении царя Алексея Михайловича и о последующем его развитии» — *518*
Мортимер лорд, действ. лицо в романе «Дети аббатства» Р. Рош (см.).
Морус Томас — см. Мор Томас.
«Московские ведомости», газета изд. с 1756 г. В 1818—1838 гг.— редактор П. И. Шаликов — 142
«Московский телеграф», двухнедельный литературно-критический журнал, изд. 1825—1834 гг. Редактор Н. А. Полевой — 268
Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791) — 73
— «Дон-Жуан» («Don Juan»)— 72, 111, 309; Командор — 111, 309
Мочалов Павел Степанович (1800—1848) — 172, 175, 177
Мудров Матвей Яковлевич (1772—1831), врач, проф. Моск. ун-та, мистик — 405, 409, 417, 442, 446
Мудрова Софья Алексеевна (1797—1870), племянница М. Я. Мудрова, воспитанница А. Ф. Лабзина — 437, 439, 440
Муравьев Михаил Никитич (1757—1807), писатель-сентименталистт —268

«Надпись V», соч. М. В. Ломоносова (см.).
Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — 21, 28, 34, 65, 70, 112, 120, 121, 129, 135, 173, 260, 261,

295, 304, 313, 331, 380, *462*, 465, 466, *482*, *483*, *488*, *496*, *498*, *499*, *505*, *516*
Нарышкина, владелица дома в Москве на Божедомке — *482*
«Наследный принц», с 1840 г. король прусский Фридрих Вильгельм IV (1795—1861)—422
Наташа — см. Герцен Наталья Александровна (Захарьина).
Небаба Дмитрий Васильевич (ок. 1806—1839), товарищ Герцена по Моск. ун-ту, учитель математики во Владимирск. гимназии; совместно с Герценом в 1838—1839 гг. редактировал «Прибавления к Влад. губ. вед.» — *527*, *530*
Невтон — см. Ньютон.
Неккер (Necker) Жак (1732—1804), франц. полит. деятель, министр финансов при Людовике XVI — 310
Нерон Клавдий Цезарь Август Германик (37—68), римский император — 183, 190—193, 337—339, *507*, *530*
Низами Гянджеви (1141—1203) — 98, 119
Ник — см. Н. П. Огарев.
Николай св. — 428
Николай I (1796—1855), император — 320, 321, 366, 367, 421, 422, *519*, *524*, *528*, *533*
Новалис, литературный псевдоним Фридриха Филиппа фон Гарденберга (1772—1801), нем. писатель-романтик — 70
«Новая Элоиза», роман Ж.-Ж. Руссо (см.).
Новиков Николай Иванович (1774—1818) — 434, 442—449, *534*
Новокщенов, почтмейстер в Твери — 391
«Новуходоносор, ввергающий юношей в лещь огненную», картина А. Л. Витберга (см.).
«Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений экономических». Ежемесячный журнал, изд. в Москве 1820—1830 гг. Редактор проф. И. А. Двигубский — *526*
Нодье Шарль (1780—1844), франц. писатель; принимал участие в первой франц. революции, оставил обширные мемуары, опубликованные в 1831 и 1832 гг.—109
Нолль — см. Кромвель.
Нортон Эрдли, известный в конце XVIII в. английский мастер каминных и настольных часов—145
«Носография» — «Философская носография», соч. Ф. Пинеля (см.).
«Ночные рассказы», цикл рассказов Э. Т. А. Гофмана (см.).
Ноэль (Noël) Жан Франсуа (1755—1841), франц. филолог, автор учебников по литературе и грамматике франц. языка — 274
— «Французский учебник словесности и морали» («Leçons françaises de littérature et de morale») — 274
«Нума Помпилий», роман в стихах Ж. П. К. Флориана (см.).
Ньютон Исаак (1642—1727) — 23, 35, 48, 49, 51, 175

«Об академических занятиях» — «Лекции о методе академических занятий», соч. Ф. В. Шеллинга (см.).
Обер (Auber) Даниэль Франсуа (1782—1871), франц. композитор,
— «Фенелла» — 324
— «Фра-Дьяволо» — 324
«Об обращении небесных сфер» — Н. Коперника (см.).
Оболенский Иван Афанасьевич (1805—1849), университетский товарищ Герцена, арестованный вместе с ним в 1834 г.— 253, *511*
«Образцовые сочинения» — «Собрание образцовых русских сочинений и переводов в стихах и прозе», сборники, выходили в 1816—1817 гг. в Петербурге — 268
«Общественный договор», соч. Ж.-Ж. Руссо (см.).
Овен Роберт — см. Оуэн Роберт.
«О возможности науки прав знатнейших народов» — «Права знатнейших древних и новых народов», лекция Ф. Л. Морошкина (см.).
Огарев Николай Платонович (Ник) (1813—1877) — 52—54, 61, 62, 173, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 255, 259, 280—282, 286, 318, 333, 472, *479*, *481*, *482*, *485—487*, *489*, *495*, *502—505*, *508*, *511*, *513*, *514*, *516*, *517*, *524*, *535*, *537*

— «Старый дом» — 259, *514*
Огарева Марья Львовна, рожд. Рославлева (ок. 1817—1853), первая жена Н. П. Огарева — 333, *524*
«Одиссея»—см. Гомер.
«О достоинстве и приращении наук», соч. Ф. Бэкона (см.).
Озеров Владислав Александрович (1769—1816) — 139, 272, *501*
— «Фингал» — 271; Моина — 271
— «Эдип в Афинах» — 139, *501*
Озирис (миф.)— 326
Окен Лоренц (1779—1851), нем. натур-философ и естествоиспытатель — 18, 19, 319, 461, *480*
— «Естественная история для школ» («Naturgeschichte für Schulen») — 19
Оксеншитирна (Оксеншерна) Аксель (1583—1654), шведский рейхсканцлер и дипломат — 426
Оксеншитирна (Оксеншерна) Иоганн (1611—1657), шведский дипломат, сын предыдущего — 426
Оленин Алексей Николаевич (1763—1843), с 1817 г., президент Акад. худ. — 435
Омир — см. Гомер.
«Органография», соч. О. П. де-Кандоля (см.).
Орибаз (Орибазий из Пергамы) (326—403), византийский врач — 350
Ориген (ок. 185—254), христианский богослов и проповедник, родом из Александрии — 89
Орлеанская дева, действ. лицо в одноименной драме Ф. Шиллера (см.).
Орловский Александр Осипович (1777—1832), литограф, гравер и живописец — 432
Орфей (миф.) — 72, *490*
«Освобождение апостола Петра из темницы», эскиз А. Л. Витберга (см.).
Оссиан, герой кельтского эпоса — 56
Отелло, действ. лицо в одноименной трагедии В. Шекспира (см.).
«Отечественные записки», ежемесячный журнал, изд. в Петербурге в 1839—1884 гг. Редактор А. А. Краевский; в 1840—1845 гг. фактический руководитель В. Г. Белинский — 257, 283, 284, 287, 290, 471, 472, *503*, *511*, *512*, *514*, *530*
Оттар, норвежский путешественник конца IX в. — 369
Оуэн Роберт (1771—1858) — 306
«О фарфоре», поэма И. Д. Петрозилиуса (см.).

Павел I (1754—1801), император — 35, 81, 321, 434, 442, 445, *483*
Павел III (1468—1549), римский папа—46
Павел апостол (библ.)—83, 94, 134, 183, 232, 339, 340, 394, 464
— «Послание к коринфянам» — 81, *491*
— «Послание к евреям» — 464
Павел Эгинский (VII в.), греч. врач, автор труда по истории медицины — 350
Павлов Михаил Григорьевич (1793—1840), проф. Моск. ун-та. Герцен слушал у него курс физики— 319, *526*
Парацельс (Paracelsus) — псевдоним Теофраста Гогенгейма (1493—1541), швейцарский врач, естествоиспытатель и фармаколог— 314
Паре (Paré) Амброзий (1517—1590), франц. врач-хирург и биолог — 346
Паризет (Паризе, Pariset) Этьен (1770—1847), франц. врач-эпидемиолог — 345, 349—351, 353, *525*
— «Письмо о медицинской экспедиции в Египет» («Lettre sur l'expédition médical d'Egypte»)— *525*
Парис (Paris) Джон Эйртон (1785—1856), англ. врач и фармаколог— 347
Паскаль (Pascal) Блез (1623—1662) — 120
Пассек Вадим Васильевич (1808—1842), университетский друг Герцена, член московского кружка — 31, 172, 177, *485—487*, *498*, *504*
— «Очерки России» (издатель и редактор) — *498*
Пассек Диомид Васильевич (1808—1845), друг юности Герцена — 29

Пассек Людмила Васильевна, сестра В. В. и Д. В. Пассеков — 55, 56, *485*, *486*, *537*
Пассек Ольга Васильевна, сестра В. В. и Д. В. Пассеков — *485*
Пассек Татьяна Петровна, рожд. Кучина («мелешковская родственница», «Таня», «Темира») (1810—1880), двоюродная сестра Герцена, «корчевская кузина», жена Вадима Васильевича Пассека — 13, 270—276, 329, 331, *486*, *487*, *502*, *503*, *505*, *510*, *511*, *515*, *522*, *523*, *527*, *531*, *535*
— «Воспоминания (Из дальних лет)» — *486*, *487*, *502*, *505*, *510*, *522*, *523*, *527*
Пасхаль — см. Паскаль.
Пасьянс (дядюшка Пасьянс, bonhomme Patience), действ. лицо в романе «Мопра» Жорж Санд (см.).
Пенн Вильям (1644 — 1718), деятель английской секты квакеров и основатель колонии Пенсильвания в США —196, 205—211, 213—250, 337, 340—342, 467, 469, 470, *508*, *509*
Пенн Вильям (1621—1670), англ. адмирал, отец предыдущего— 210—223, 234 —236, 238, 239, 341, 342, *509*
Перевощиков Дмитрий Митрофанович (1788—1880), математик, проф. Моск. ун-та; Герцен слушал у него курс сферической астрономии — 50
— «Руководство к астрономии»— 50
Перикл (493—429 до н. э.) — 277
Перов — содержатель трактира в Москве — 299, *516*
Песочный человек, действ. лицо в одноименном рассказе из цикла «Ночные рассказы» Э. Т. А. Гофмана (см.).
Петр апостол (библ.) — 232, 250, *509*
Петр I (1672—1725), император — 29—35, 132, 133, 319—321, 366, 407, 463, 464, *482*, *483*, *519*
Петр III (1728—1862), император— 35, *483*
Петр Федорович, камердинер А. И. Герцена — 254, *511*
Петрозилиус Иван Данилович (Иоганн Бернгард) (р. 1776), помощник библиотекаря Моск. ун-та, дидактический поэт — 271, *515*
— «О фарфоре» — 271, *515*
Пиенс (Piens) Франциск (XVII в.), голландский врач — 349
Пинколомини Макс — действ. лицо в драматической трилогии «Валленштейн» Ф. Шиллера (см.).
Пилат Понтий или Понтийский (библ.) — 222
Пинель (Pinel) Филипп (1755—1826), франц. врач-психиатр — 349
— «Философская нозография» («Nosographie philosophique, ou la méthode de l'analyse appliquée à la médecine») — 349
Пиранези Джованни Баттиста (1720—1778), итал. офортист и архитектор — 326
«Письма об истории Франции», труд Ог. Тьерри (см.).
Питт Уильям (т.н.Младший) (1759—1806), англ. госуд. деятель, главный организатор коалиции для борьбы с революционной Францией — 110
«Письмовник», соч. Курганова (см.).
Пифагор (ок. 571—497 до н. э.) — 35
Платнер Эрнст (1744—1818), нем. врач., физиолог и психолог — 349
Платон (427—347 до н. э.) — 20, 21, 27, 41, 185, 189, 231, 462
Плиний Старший (23—79) — 24, 355, 356, *526*
— «Естественная история» («Historia Naturalis») — 355, 356, 526
«Плоды чувствований»— «Плод свободных чувствований», сборники стихов П. И. Шаликова (см.).
Плутарх (ок. 46 — ок. 120) — 277, *513*
Плутон (миф.) — 186
Пожарский Дмитрий Михайлович князь (ок. 1578—1642) — 419
Поза, маркиз, действ. лицо в драме «Дон Карлос» Ф. Шиллера (см.).
Полина — см. Тромпетер.
«Полководец»—стихотв. А. С. Пушкина (см.).
Портланд Джером (1605—1663), англ. госуд. деятель — 210, *509*

Послание к евреям», Павла ап. (см.).
«Послание к коринфянам», Павла ап. (см.).
Потемкин Григорий Александрович (1739 — 1791) — 146, 318, *518*
Потифар (Пентефрий) (библ.) — 95, *193*
Пошман Антон Петрович (1758—1829), химик и механик, член Вольного экономического об-ва — 455, 456
Пошман Семен Антонович (ок. 1790—1847), сын предыдущего, в 1818—1824 гг. на военной службе, с 1835 г. директор училища правоведения — 422, 456
Пракситель (IV в. до н. э.) — 279
Прево Антуан Франсуа, аббат (1697—1763), франц. писатель.
— «Манон Леско» («Histoire du chevalier Desgrieux et de Manon Lescaut») — 142
Приап (миф.) — 145, 285
«Прибавления (неофициальная часть) к Владимирским губернским ведомостям», начали выходить с 1838 г. Герцен редактировал «Прибавления», начиная с № 10 и до отъезда из Владимира в 1840 г. — 373, 375 — 377, 379, *527*, *529*, *530*
«Прибавления (неофициальная часть) к Вятским губернским ведомостям», начали выходить с 1838 г.— 368, *527—529*
«Принцесса Брамбилла», рассказ Э. Т. А. Гофмана (см.).
Пристли (Priestley) Джозеф (1733—1804), англ. естествоиспытатель и философ — 16, *480*
«Притчи», царя Соломона (см.).
Прово Елизавета Ивановна, бонна Герцена — 260—262, 264, 270, 471, *514*
Прокл (104—485), греческий философ-идеалист (неоплатоник) — 85
Прокопий (VI в. н. э.), греческий историк—350
Проссанов, архитектор и строитель, крепостной мастер гр. А. М. Римского-Корсакова — 424, 425
Протей (миф.) — 193
Протопопов Иван Евдокимович («Василий Евдокимович Пациферский»), домашний учитель Герцена с 1826 г.— 266—268, 271, 274, 275
Протопопов Яков Егорович (1815—1861), чиновник губернск. статистич. комитета во Владимире; с 1839 г. совместно с Герценом редактировал «Прибавления к Влад. губ. вед.»— 379, *530*
— «Суздаль от княжения в нем Георгия Долгорукова до нашествия татар» — *530*
Прусский король —Фридрих Вильгельм II (1744—1797)—113, 309—310
Прусский король — Фридрих Вильгельм III (1770—1844) — 422
«Психология»— «Психология или учение о субъективном духе», соч. К. Розенкранца (см.).
Птоломей Клавдий (II в. н. э.) — 38, 40—43, 45, 47, 51, *484*
— «Альмагеста» — 38—42, 45, 51
— «Математические сочинения Кл. Птоломея» («Compositions mathématiques de Cl. Ptolémée»)—38
Пугнет (Пюгнэ, Pugnet) Жан Франсуа Ксавье (1765—1846), франц. врач, участник военной экспедиции в Сирию и Египет — 349
«Путешествие Коробейникова к святым местам»— «Хождение по святым местам Трифона Коробейникова», древнерусская повесть XVI в. — 268
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 268, 269, 274, 279, 472, *512*, *516*
— «Евгений Онегин» — 78, 268, 272, *490*; Татьяна —78, 272, *490*
— «Кавказский пленник» — 268
— «Полководец» — 301, *516*

«Разбойники» — драма Ф. Шиллера (см.).
Разумовский Алексей Кириллович, граф (1748—1822), при Александре I министр просвещения, в ведении которого находилась Академия художеств — 391, 392, 395, 397—399
Разумовский Лев Кириллович, граф (1757—1818), брат предыдущего — 391—393

«Рай», третья часть «Божественной комедии» Данте (см.).
Расин Жан (1639—1699) — 142, 269, 279
«Рассуждение о неравенстве человека» — «Рассуждение о происхождении и причинах неравенства среди людей», соч. Ж.-Ж. Руссо (см.).
Растопчин (Ростопчин) Федор Васильевич, граф (1763—1826), московский генерал-губернатор и главнокомандующий — 382, 391, 436, 440—442, 473
Растрелли (Старший) Карло Бартоломео (ок. 1675—1744), скульптор, автор статуи Петр I, установленной позднее Павлом I перед инженерным замком. — «Памятник Петру I» — 35, *483*
Раух Густав (1774—1841), нем. генерал, в 1814—1837 гг. начальник инженерных войск и главный инспектор военных укреплений — 422—423
Раух Кристиан Даниэль (1777—1857), нем. скульптор — 307, 308 — «Бюст Гёте» — 307, 308
Рафаил, один из двух, ведущих переписку, друзей в «Философских письмах» Ф. Шиллера (см.).
Рем (миф.) — 193, 337, *507*
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) — 301, 314 — «Ян Собеский» — 301
Рёмер (Rømer) Оле Кристенсен (1644—1710), датский астроном — 51
Рени Гвидо (1575—1642) — 179, 431
Риенци (Риенцо, Rienzo) Кола-ди (1313—1354), итал. гуманист; возглавленное им восстание против римского папы и феодалов было подавлено, а сам он убит — 464
Римский-Корсаков Александр Михайлович (1753—1840), генерал — 424
Ринальдо Ринальдини, герой одноименного романа Х.-А. Вульпиуса (см.).
Рихтер Иоганн Пауль Фридрих (псевдоним Жан Поль) (1763—1825) — 70, 324, 331, *486*, *523*
Риччиоли Джованни Баттиста (1598—1671), иезуит, итал. астроном — 46
Рише (Richer) Жан (ум. 1696), франц. астроном, чл. Акад. наук, в 1671—1673 гг. совершил с научной целью путешествие в Кайенну — 49
Ришельё Арман Жан дю Плесси (1585—1642) — 145
Ришер — см. Рише.
Робеспьер Максимилиан (1758—1794) — 135, 261, 329, *499*, *522*, *533*
Рованд — англ. банкир в Москве — 455, 456
Родриг Эжен (ум. ок. 1830), франц. последователь и пропагандист идей Сен-Симона — 13, *480* — «Религия сен-симонизма» («Religion St.-Simonienne») — 13
Розенкранц Иоганн Карл Фридрих (1805—1879), нем. философ, ученик Гегеля — 284, *516* — «Психология или учение о субъективном духе» («Psychologie oder Wissenschaft vom subjectiven Geist») — 284, *516*
Ройе-Коллар Пьер Поль (1763—1845), франц. реакционный полит. деятель и философ, глава т. н. школы «доктринеров» — 462
Роландо Роландини — шутливое соединение имен Роланда и Ринальдо Ринальдини — 272, *515*
Романовы, царская династия — 320
Ромул (миф.) — 337
Рославлева Марья Львовна — см. Огарева М. Л.
«Россиада», поэма М. М. Хераскова (см.).
«Российский феатр» — «Российский феатр, или полное собрание всех российских феатральных сочинений», сборники, издававшиеся Академией наук в Петербурге в 1786—1794 гг. (чч. I — XLIII) — 265
Россини Джоакино Антонио (1792—1868) — 75
Рош (Roche) Регина Мария (1766—1845), англ. писательница. — «Дети аббатства» — 265; лорд Мортимер — 265
«Руководство к астрономии» Перевощикова Д. М. (см.).

Рунич Дмитрий Павлович (1778—1860), реакционный чиновник, мистик, в 1812—1816 гг. почт-директор в Москве, позднее попечитель Петербургского учебного округа — 382, 383, 405, 440, 441
Руссо Жан Жак (1712—1778) — 22, 54, 329, 473, *486*, *522*
— «Исповедь» («Confessions»)— 329, *522*
— «Новая Элоиза» («Lettres de deux amants, habitants d'une petite ville aux pieds des Alpes; Julie ou la nouvelle Heloise») — 329; Юлия — 329
— «Общественный договор» («Du Contrat social, ou Principes du droit politique») — 329, *522*
— «Рассуждение о происхождении и причинах неравенства среди людей» («Discours sur l'origine et les fondemens de l'inegalité parmi les hommes») — 329, *522*
— «Эмиль, или О воспитании» («Emile ou de l'Education») — 54, 143, *486*
Руф Эфесский (I в.— нач. II в.), греческий врач и анатом — 350
Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — 53, *485*, *486*, *513*, *520*, *533*
— «Войнаровский» — 53, 324, *486*, *520*

Саади Муслихиддин (1184—1291)— 119
Саварези Антонио (род. 1773), итал. врач, служил во франц. армии и участвовал в военной экспедиции в Египет — 349
Савиньи Фридрих Карл (1779—1861), нем. юрист, глава реакционной «исторической школы права» — 320, *519*
— «О призвании нашего времени к законодательству и правоведению» («Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft») — 320, *519*
Савич Алексей Николаевич (1810—1883), один из ближайших участников московского кружка Герцена — Огарева в начале 30-х гг., впоследствии выдающийся астроном — 171, 172, 174—177, *504*, *505*
Савл — см. Павел апостол.
Сазонов Николай Иванович (1815—1862), участник московского кружка Герцена — Огарева в начале 30-х гг., впоследствии эмигрант, публицист — 61, 108 171, 172, 176, 178, 180, 465, *491*, *493*, *495*, *497*, *498*, *500*, *502*, *504* — *506*, *536*
Сакен (Остен-Сакен) Фабиан Вильгельмович (1752—1837), генерал-фельдмаршал — 254
Сальватор (Сальватори) Антон, итал. врач в Москве в первой трети XIX в. — 417
Самозванец — см. Лжедимитрий I.
Самсон (библ.) — 95
Санд Жорж — см. Жорж Санд.
Сатин Николай Михайлович («Риттер», «Риттер из Тамбова»), (1814—1873), поэт и переводчик, друг юности Герцена, сохранивший с ним дружеские отношения и после отъезда Герцена за границу —61, 172, 176, 178, *504*
Сахаров Иван Петрович (1807—1863), этнограф, археолог и фольклорист — 379
Сведенборг Эмануэль (1688—1772), шведский теософ, мистик — 136
«Свод Николая I» — «Свод законов Российской империи», обнародованный в 1833 г.— 320, 323, *519*
Сегюр Луи Филипп (1753—1830), франц. дипломат и писатель, автор «Histoire ancienne»—277
Седрик Саксон, действ. лицо в романе «Айвенго» В. Скотта (см.).
Селастенник Гавриил Корнеевич, пермский гражданский губернатор во время пребывания там А. И. Герцена в 1835 г.— 256, *511*
Сенатор — см. Яковлев Л. А.
Сенека Людий Анней (ок. 3 — ок. 65) — 35, 279, 339, 340
Сен-Жюст Луи Антуан (1767—1794) — 110, 111, 179, 466, *522*
Сен-Симон Анри Клод де Рувруа (1760—1825) — 465, *480*, *491*, *492* *530*
Серапин, чиновник московского почтамта, друг А. Л. Витберга — 408
«Серапионовы братья» — цикл рассказов Э. Т. А. Гофмана (см.)

Серапис (миф.) — 85
Серафим (Стефан Васильевич Глаголевский) (1763—1843), митрополит московский, с 1821 г. — петербургский — 427
Сизиф (миф.) — 194
Сикард (Sicard) Клод (1677—1726), франц. миссионер, около 20 лет проживший в Египте и много писавший о нем — 350
«Сионский вестник», ежемесячный религиозно-мистический журнал, вых. в Петербурге в 1806, 1817 и 1818 гг. Издатель А. Ф. Лабзин — 416, 434, 435
Сирах Иисус, мифический автор сборника моральных поучений, вошедшего в состав библии — 95, 96
Скворцов Андрей Ефимович, друг Герцена в период вятской ссылки, учитель вятской гимназии — 139, *524*
Скворцов Кузьма (Константин) Петрович, преподаватель мифологии в Акад. худ., личный секретарь А. Ф. Лабзина — 448
Скотт Вальтер (1771—1832) — 68—70, 258, 279
— «Айвенго» («Ivanhoe») — 283; Гурт — 283; Седрик Саксон —283
«Современный дух анализа и критики», анонимная статья, напечатанная в журнале «Телескоп». (В редакционном примечании сообщается, что статья пере едена из журнала «Edinburgh Review») —27, *481*
Соколов Павел Иванович — 414
— «Историческое описание торжества, происходившего при заложении храма Христа спасителя на Воробьевых горах при высочайшем присутствии 1817 г. 12 октября» — 414
Соколовский Владимир Игнатьевич (1808—1839), поэт; в 1832 г. сблизился с московским кружком Герцена — Огарева, в 1834 г. был арестован — 175, 177, 178, *504*
Сократ (ок. 469—399 до н. э.)—145
Соломон, царь (библ.) — 86, 96
— «Притчи» — 96
Соттира, врач — 349
Софокл (ок. 496 — ок. 406 до н. э.)—194, 279
Софья Алексеевна (1657—1704), правительница Софья, сестра Петра I — 33
Софья — см. «Горе от ума» А. С. Грибоедова.
Софья (в «Записках» А. Л. Витберга) — см. С. А. Мудрова.
Сталь, г-жа де (1766—1817) — 119
«Старый дом», стихотв. Н. П. Огарева (см.).
Станопуло, греческий монах — 428, 429
Стасов Василий Петрович (1769—1848), архитектор — 403, 404
Стентор, действ. лицо в «Илиаде» Гомера (см.).
Страбон (ок. 63 — ок. 23 до н. э.), древнегреческий историк и географ — 350, 353
Строганов Александр Сергеевич, граф (1738—1811), президент Акад. худ. с 1800 г. — 430, 433
Сгурдза Александр Скарлатович (1791—1854), чиновник министерства иностр. дел, реакционный литератор — 385
Стюарт молодой — см. Карл II Стюарт.
Стюарты, шотландско-английская королевская династия —204
«Судебник» — «Судебник Ивана III», сборник судебных правил (1497) — 320
Сумароков Александр Петрович (1718—1777) — 265, 268
Сцевола — прозвище легендарного древнеримского героя VI в. до н. э. Кая Муция — 277
Сципион Африканский Старший Публий Корнелий (ок. 235 — ок. 183 до н. э.), римский полководец — 192
«Сын любви», пьеса Коцебу (см.).
Сю Эжен (1804—1857) — 70, 126, 307

Тантал (миф.) — 194
Тассо Торквато (1544—1595) — 122
Татьяна — см. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина.
Тацит Корнелий (ок. 54—117) — 183, 313, 350, 353, *507*
Текла, действ. лицо драм. трилогии «Валленштейн» Ф. Шиллера (см.).

«Телеграф» — см. «Московский телеграф».
«Телескоп» — журнал, изд. в Москве в 1831—1836 гг. Редактор Н. И. Надеждин — 26, 77, *480, 481, 487—490, 521*
Тельфорт (Telford) Томас (1757—1834), строитель цепного моста в Лондоне — 455
Темира — см. Пассек Т. П.
Теньер (Тенирс, Teniers) Давид младший (1610—1690), фламандский живописец — 258
Терентьич — см. Филимонов.
Тертуллиан Квинт Септим Флоренс (ок. 160 — ок. 230), один из первых христианских теологов, проповедник, родом из Карфагена—89
Тиверий (Тиберий) Клавдий Нерон (42 до н. э.— 37 н. э.), римский император — 314, 356
Тик Людвиг (1773—1853), нем. писатель-романтик — 70
Тимон (V в. до н. э.), афинянин, известный своим человеконенавистничеством — 147, *501—502*
Тимохарис (первая половина III в. до н. э.), александрийский астроном — 38, 40
Титан (миф.) — 186
Тит Ливий (59 до н. э. — 17 н. э.), римский историк — 350
Тончи Сальватор (Николай Иванович) (1756—1844), художник-живописец, работал в Москве — 441, 442
Торвальдсен (Thorwaldsen) Бертель (1770 — 1844), датский скульптор — 175
Тормасов Александр Петрович, граф (1752—1819), генерал, московский главнокомандующий с 1814 г.— 409—413, 420
Траси — см. Дестют де Траси.
Траян Марк Ульпий (53—117), римский император — 233, 357
Тромпетер Полина (Паулина), друг Герцена в период вятской ссылки — 324, 325, 472, *520, 524, 536*
«Труды вольного экономического общества», изд. в Петербурге с 1765 г. — 141
«Тысяча и одна ночь», сборник арабских сказок — 262
Тьерри Огюстен (1795—1856) — 68, 379, 463, *530*
— «История завоевания Англии норманнами» («Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands») — 379
— «Письма об истории Франции» («Lettres sur l'histoire de la France») — 68
—«Рассказы о временах меровингских» («Récites des temps mérovingiens») — *530*
Тэер (Thaer) Альбрехт Даниэль (1752—1828), нем. агроном, автор «Grundsätze der rationellen Landwirtschaft» (1809) — 301
Тюлли (Tully) Дж. Диллон, англ. врач, автор «Истории чумы» — 349

Уатт Джемс (1736—1819) — 175
Угрюмов Григорий Иванович (1764—1823), художник-живописец и педагог, проф. Акад. худ.— 430, 431
— «Взятие Казани» — 430, 431
— «Призвание Михаила Федоровича Романова на царство» — 430
«Уложение» («Уложение царя Алексея Михайловича», свод законов, составленный в 1649 г.— 320
Ульпиан Домиций (ок. 170—228), древнеримский юрист — 219
Упсальский барон — см. Кетчер Н. Х.
«Ученые записки имп. Моск. ун-та». Изд. в Москве в 1833—1835 гг. Редакторы И. И. Давыдов и Д. М. Перевощиков — 319, *518*
«Учение о цветах», соч. В. Гёте (см.).

Фабий (Кунктатор) Максим Квинт (III в. до н. э.), римский диктатор и полководец, прозванный Кунктатором (Медлителем) за его тактику в войне с Ганнибалом — 311
Фальконет (Фальконе) Этьен Морис (1716—1791), франц. скульптор—35
— «Памятник Петру I» — 35
«Фауст» —см. В. Гёте.
Фемистокл (ок. 524 — ок. 459 до н. э.), афинский полит. деятель— 277

«Фенелла», опера Д. Ф. Э. Обера (см.).
Феодора св.— см. «Четьи-Минеи» Димитрия Ростовского.
Феодосий, действ. лицо в повести «Марфа Посадница» Н. М. Карамзина (см.).
Фиера (Fiera) Джованни Баттиста (1469—1538), итал. врач, писавший о чуме — 351
Филарет (1782—1867), митрополит московский — 290, 393, 394, 472
Филена (Филина), действ. лицо в романе «Годы учения и странствований Вильгельма Мейстера» В. Гёте (см.).
Филимонов (Терентьич) — тюремный сторож в Крутицких казармах в период пребывания Герцена под арестом — 252, 254, *511*
Филипп (IV в. до н. э.), царь македонский, отец Александра Македонского — 33, 34
«Фингал», трагедия В. А. Озерова (см.).
«Фитология», соч. Эразма Дарвина (см.).
Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — 24, 135, 313, 441, *479*, *499*
Фишер Иоганн Эбергард (1697—1771), историк, археолог и этнограф, член Петербургской Акад. наук, описал в ряде трудов свои путешествия по Сибири — 369
Флориан Жан Пьер Кларис (1755—1794), франц. писатель — 272
— «Нума Помпилий» («Numa Pompilius») — 272
Фогель Р.-А. (1724—1774), нем. врач — 349
Фокс Джордж (1624—1691), основатель секты квакеров в Англии — 196—210, 220, 221, 232, 240—242, 244—250, 340—342, 470, 471, *500*
Фонтенелль Бернар ле Бовье де (1657—1757), франц. писатель и философ — 280
Форест (в лат. форме Forestus) Петер (1521—1597), голландский врач—346
«Фра-Дьяволо», опера Д. Ф. Э. Обера (см.).
Франк Иоганн Нетер (1745—1821), нем. врач, в 1806—1808 гг. проф. Медико-хирург. акад. в Петербурге — 350
Франк Иозеф (1771—1842), нем. врач, сын Иоганна Франка, автор медицинских трудов — 350
Франк Людвиг (1761—1825), нем. врач, племянник Иоганна Франка, провел ряд лет в Египте — 349, 350
Франкёр (Francoeur) Луи Бенжамен (1773—1849), франц. математик, автор популярных учебников, переведенных на русский язык — 107, 465, *494*
— «Полный курс чистой математики» («Cours complet de mathématiques pures») — 107, 465, *494*
Франклин Вениамин (1706—1790)— 342
«Фрейщюц» («Волшебный стрелок»), опера К. М. Вебера (см.)
Френис, врач — 350
Фридрих II Великий («Старый Фриц») (1712—1786), король прусский—310, 311, 316, 331, *517*
Фролло Клод, действ. лицо в романе «Собор Парижской богоматери» В. Гюго (см.).
Фукидид (род. ок. 460/55, ум. ок. 396 до н. э.) — 349, 350

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — 142
— «Россиада» — 265
Хирам (библ.) — 416
Хозиус, инженер-майор — 411—413
Христос Иисус (библ.) — 85—87, 90, 91, 93—96, 98, 99, 102, 129, 184, 194, 195, 199—201, 203, 208, 214, 215—217, 222, 224—227, 228—230, 232, 233, 235, 236, 240—250, 380, 381, 384—389, 394, 421, 427, 447, 467, 468
Хронос (миф.) — 187, 193

«Цветок на гроб моего Агатона» — произв. Н. М. Карамзина (см.).
Цезарь Кай Юлий (100—44 до н. э.) — 33—35, 177, 350
Цеханович Петр, участник польского освободительного движения 1830-х гг.—124, 125, 127—130, *493*, *497*

«Цинобер» — «Маленький Цахес, прозванный Цинобером», рассказ Э. Т. А. Гофмана (см.).
Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — 64, 189, 193, 223, 224, 267, 269, 297, *508*
— «Катилинарии» («In Catilinam») — 224
Цитен (Zieten) Ганс Иоахим (1699—1786), прусский генерал, сподвижник Фридриха II — 114

Чаадаев Петр Яковлевич (ок. 1794—1856) — 327, *496*, *514*, *521*
— «Философическое письмо IV» — *521*
Чацкий — см. «Горе от ума» А. С. Грибоедова.
Чекалевский Петр Петрович (1751—1817), вице-президент Акад. худ. с 1785 г.; с 1812 г. фактически руководил Акад. — 396 — 399, 432
Чернов Иван Потапович (1768—1817), художник-живописец — 438, 439
«Четьи-Минеи» — «Жития святых» Димитрия Ростовского — *491*
— «Феодора св.» — *491*
«Чистилище», вторая часть «Божественной комедии» Данте (см.).

Шайтан (миф.) — 372
Шаликов Петр Иванович, князь (1768—1852), поэт-сентименталист — 268
— «Плод свободных чувствований» — 268
Шатобриан Франсуа Рене (1768—1848) — 112
Шведенборг — см. Сведенборг.
Шебуев Василий Кузьмич (1777—1855), художник, проф. Акад. худ. — 383
Шекспир Вильям (1564—1616) — 60, 145, 258, 269, 278, 279, 307, 314, 472, 473, *502*, *522*
— Банко — 155
— Гамлет — 69, 258, 278, 279, *514*
— Дездемона — 281
— Макбет — 155
— Отелло («мавр») — 175, 278, 281
— «Тимон Афинский» — *502*
Шеллинг Фридрих Вильгельм Иосиф (1775—1854) — 18, 19, 25, 135, 319, *479*, *499*
— «Лекции о методе академических занятий» («Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums») — 25
Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — 23, 34, 52—54, 70, 74, 119, 120, 139, 171, 172, 174, 268—270, 273, 275, 277—279, 281, 282, 324, 329, 330, 340, 460, 472, 473, *485*, *486*, *496*, *501*, *505*, *508*, *513*, *515*, *516*, *520*, *522*, *535*
— «Валленштейн» («Лагерь Валленштейна» — «Wallensteins Lager», «Пикколомини» — «Die Piccolomini», «Смерть Валленштейна» — «Wallensteins Tod») — *520*, *535*; Валленштейн — 34, 279; Макс Пикколомини — 279; Текла — 324, *520*
— «Вильгельм Телль» («Wilhelm Tell») — 282
— «Дева чужбины» («Das Mädchen aus der Fremde») — 324, 329, *520*
— «Дон-Карлос» («Don Karlos»); дон Карлос — 177, 279, 340, *508*; Маркиз Поза — 275, 279—281
— «Мессинская невеста» («Die Braut von Messina»); Изабелла — 279
— «Могущество песни» («Die Macht des Gesanges») — 53, *486*
— Орлеанская дева — 279
— «Певцы древнего мира» («Die Sänge der Vorwelt») — 120, *496*
— «Пилигрим» («Der Pilgrim») — 139, *501*
— «Пуншевая песнь» («Punschlied») — 174, 270, 273, *505*, *515*
— «Разбойники» («Die Räuber») — 269, 270, 279, 282, *515*; Карл Моор — 270, 279, 282, *515*
— «Размышления» («Resignation») — 275, *515*
— «Слова обольщения» («Die Worte des Wahns») — 460
— «Философские письма» («Philosophische Briefe») — 52, 281, *485*, *516*; Рафаил — 52, 281, *485*, *516*; Юлий — 52, *485*, *516*
Шлегель Фридрих (1772—1829), идеолог романтического движения в Германии — 65
Шлейснер, врач-хирург — 402

Шредер Федор Андреевич (ок. 1750—1824), литератор, издатель журнала «St.-Petersburger Monatsschrift» (см.) — 431
Шрекк (Schreck) Иоганн Маттиас (1733—1808), нем. педагог-историк — 267, *515*
— «Всемирная история для детей» («Die Weltgeschichte für Kinder») Полное заглавие русск. издания: «Древняя и новая всеобщая история, соч. И. М. Шрекком. Для обучения юношества» — 267, *515*
Штединг (Stedingk) Курт Людвиг, граф (1746—1837), шведский посол в России в 1790—1811 гг.—415
Штиллинг (Юнг-Штиллинг) Иоганн Генрих (1740—1867), нем. мистик — 434
Шуберт Готгильф Генрих (1780—1860), нем. естествоиспытатель и философ-идеалист — 19, 461
Шуйский Василий Иванович (1552—1612), царь — 32

Эбер (Эбер, Hébert) Жак Рене (1757—1794), деятель французской революции 1789 г.— 110
Эвагрий (Евагрий) Понтийский (ок. 345 — ок. 406), монах, ученик Оригена, в течение многих лет миссионер в Египте — 350
Эврипид — см. Еврипид.
«Эгмонт», трагедия В. Гёте (см.).
Эк Иван Иванович («Карл Карлович») (1758—1827), учитель музыки, занимался с Герценом и его братом —262—264, 270
Эккартсгаузен (Eckartshausen) Карл (1752—1803), нем. писатель-мистик — 330, 434
Эленшлегер (Oehlenschläger) Адам Готтлиб (1779—1850), датский писатель, автор романов и пьес на датском и нем. языках — 62
— «Корреджо» («Corregio») — 62
«Эмиль»— «Эмиль, или О воспитании», роман Ж.-Ж. Руссо (см.).
Эпиктет (ок. 50—ок. 138), древнегреческий философ-стоик — 378
Эрвин фон Стейнбах (Штейнбах, Erwin von Steinbach) (ок. 1277 — 1318), нем. архитектор, строитель Мюнстерского собора — 328
Эсмеральда, действ. лицо в романе «Собор Парижской богоматери» В. Гюго (см.).
«Эстетика» («Лекции по эстетике»)— см. Гегель.
Эсхил (525—456 до н. э.) — 194, 279

Юлий, один из двух, ведущих переписку, друзей в «Философских письмах» Ф. Шиллера (см.).
Юлия, действ. лицо в романе «Житейские воззрения Кота Мурра» Э. Т. А. Гофмана (см.).
Юлия, действ. лицо в романе «Новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо (см.).
Юм Давид (1711—1776) — 315
Юма (миф. народа мари)—371, 372
Юман-Ава (миф. народа мари) — 371, 372
Юпитер (миф.) — 85, 357, 378, 447
Юсупов Николай Борисович, князь (1751—1831), владелец подмосковных поместий «Архангельское» и «Васильевское» — 178, 179, 408, *503*

Яков — божий человек (Иаков Алфеев), апостол (библ.) — 230
Яков Иванович — см. Бакай.
Яковлев Иван Алексеевич («батюшка», «отец», «старец») (1767—1846), отец А. И. Герцена — 262, 264, 285, 286, *499*, *514*, *516*, *525*
Яковлев Лев Алексеевич («Сенатор», «дядюшка») (1763—1839), дядя А. И. Герцена — 260, 333, *514*, *524*
«Ян Собесский», портрет работы Рембрандта (см.).

«Abrégé d'Astronomie», соч. Ж. Б. Ж. Деламбра (см.)
«Acta sanctorum» — сборники житий католических святых, издававшиеся иезуитским обществом (Болландисты) в 1643—1794 гг.— 84, *492*
«Aeneis» — см. Вергилий.
«Almageste» — см. Птоломей.
«Art poétique», «L'art poétique», трактат Н. Буало (см.).
«Astronomiae instauratae progymnasmata», соч. Тихо Браге (см.).
«Die Aufgeregten», пьеса В. Гёте (см.).
«Aus Hoffmann's Leben und Nachlaß», работа Ю.-Э. Гитцига (см.).
«Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit» — см. В. Гёте.

Baco, Bacon — см. Бэкон.

«Collection académique, composée de mémoires, actes ou journaux des plus célèbres Académies et Sociétés littéraires de l'Europe» («Академические сборники»), издание франц. Академии наук по разделу естествознания, физики и медицины. Вых. в 1755—1787 гг.— 356
«Compositions mathématiques de Cl. Ptolémée» — см. Птоломей.
«Contrat social», соч. Ж.-Ж. Руссо (см.).
Copernici N.— см. Н. Коперник.
«Corpus Juris» — свод законов восточно-римского императора Юстиниана (XII в.) — 231, 469
«Corregio», драма на нем. языке А. Эленшлегера (см.).
Cousin V.— см. В. Кузен.

«Datura fastuosa» — рассказ Э. Т. А. Гофмана (см.).
D. C. (De Candolle) — см. Де-Кандоль О.-П.
«De dignitate et augmentis scientiarum» соч. Ф. Бэкона (см.).
Delambre — см. Ж. Б. Ж. Деламбр.
«Die deutsche Litteratur», соч. В. Менцеля (см.).
«Discours sur l'inégalité de l'homme» — «Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes», соч. Ж.-Ж. Руссо (см.).

«Die Elexiere des Teufels», роман Э. Т. А. Гофмана (см.).
«L'Europe littéraire» («Литературная Европа»), франц. иллюстриров. ежедневная литерат. газета, выходившая в 1833 г. Редактор Виктор Боэн (Bohain)— *489*
«Exposition du système du Monde», соч. П.-С. Лапласа (см.).

«Faust» — см. В. Гёте.
«Fragments philosophiques», соч. В. Кузена (см.).
Fritz (der Große) — см. Фридрих II.

Hélène de Ménélas — Елена, жена Менелая (миф.).—158
«Hist. Nat.» («Historia Naturalis»), соч. Плиния Старшего (см.).
«Histoire d'astronomie moderne», соч. Ж.-С. Байи (см.).
Hugo V.— см. В. Гюго.

«Les Incas», роман Ю.-Ф. Мармонтеля (см.).
«Inferno», первая часть «Божественной комедии» Данте (см.).
«Introduction à l'histoire de la philosophie», соч. В. Кузена (см.).
«Italienische Reise» — см. В. Гёте.

«Jesuiterkirche» — «Die Jesuiterkirche in G.», рассказ из цикла «Ночные рассказы» Э. Т. А. Гофмана (см.).
«Journal de Physique» («Журнал физики»), двухнедельный научный журнал, вых. в 1752—1823 гг. в Париже. Редактор в 1817—1823 гг. Дюкротэ де Блэнвиль (Ducrotay de Blainville)—362

Koethe, искаженное произношение имени В. Гёте (см.).
Körner — см. Кёрнер Т.

«Lebensansichten des Katers Murr», роман Э. Т. А. Гофмана (см.).
Lebrun m-me — см. Е.-Л. Виже-Лебрен.
«Lettres sur l'histoire de la France» par Aug. Thierry — см. О. Тьерри.
Linné C.— см. К. Линней.
Louis Philippe —см. Луи-Филипп.

«Das Mädchen aus der Fremde», стихотв. Ф. Шиллера (см.).

«Der Magnitiseur», рассказ из цикла «Фантастические пьесы в манере Калло» Э. Т. А. Гофмана (см.).
«Manon Lescaut», роман аббата А.-Ф. Прево (см.).
Marmontel — см. Ж.-Ф. Мармонтель.
«Meines Vetters Eckfenster» — «Des Vetters Eckfenster», рассказ Э. Т. А. Гофмана (см.).
«Meister Floh», рассказ Э. Т. А. Гофмана (см.)
«Mémorial de S-te Hélène», соч. О.-Э. Ласказа (см.)
Menzel — см. В. Менцель.
«La Messiade» («Der Messias»), поэма Ф. Клоштока (см.).
Mezzofanti — см. Д. Меццофанти.

«Naturae» — «Systema naturae», соч. К. Линнея (см.).
«Naturgeschichte für Schulen», соч. Л. Окена (см.).
«Nov. Org.» — «Novum Organum», соч. Ф. Бэкона (см.).

Oehlenschläger — см. А. Эленшлегер.
«Organographie végétale», соч. О.-П. де-Кандоля (см.).

Patience (bonhomme Patience), действ. лицо в романе «Мопра» Жорж Санд (см.).
Paulus — см. Павел III.
«Phantasiestücke in Callot's Manier», цикл рассказов Э. Т. А. Гофмана (см.).
«Philosophische Briefe», соч. Ф. Шиллера (см.).
Plinii Hist. Nat. — Plinii «Historia Naturalis» — см. Плиний Старший.
«Premier mémoire sur la Phytonomie», статья Г. Кассини (см.).
Provcau m-me — см. Прово Е. И.
«Purgatorio» — вторая часть «Божественной комедии» Данте (см.).

«Règne animal», соч. Ж. Кювье (см.).
«Religion St.-simonienne», соч. Е. Родрига (см.).
«Revolutionum» — «De Revolutionibus orbium coelestium», соч. Н. Коперника (см.).
«La religieuse», роман Д. Дидро (см.).
Ritter aus Tambow — см. Н. М. Сатин.
Rodrigues E.— см. Е. Родриг.

«Saki-Nameh», раздел стихотворного цикла «West-Östlicher Divan» В. Гёте (см.).
«Sankt-Rochusfest zu Bingen», глава из «Aus einer Reise am Rhein, Main und Neckar in den Jahren 1814 und 1815» — В. Гёте (см.).
«Der Sonderling», роман А. Лафонтена (см.).
Staël m-m — см. Сталь А. Л. Ж.
«St. Petersburger Monatsschrift zur Unterhaltung und Belehrung», ежемесячный журнал, вых. в Петербурге в 1807—1810 гг. Издатель Ф. А. Шредер — 431

«Théorie elémentaire de la botanique par D. C.», соч. О.-П. де-Кандоля (см.).
Thierry August — см. О. Тьерри.

«Der unheimliche Gast», рассказ из цикла «Серапионовы братья» Э. Т. А. Гофмана (см.).

Virg. (Virgilius) — см. Вергилий.
«Vom Akademischen Studium» — «Vorlesungen über die Methode des Akademischen Studiums» — см. Ф. Шеллинг.
«Von der Entstehung der Erdrinde», статья И. Ф. Германна (см.).

«Werthers Leiden» — «Die Leiden des jungen Werthers», роман В. Гёте (см.).

«West-Östlicher Divan» — см. В. Гёте.

«Willhelm Meisters Lehrjahre», роман В. Гёте (см.).

Zaches, Zinnober genannt, действ. лицо в рассказе «Маленький Цахес, прозванный Цинобером» Э. Т. А. Гофмана (см.).

## СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

А. И. Герцен. Портрет работы художника Н. Н. Ге, 1867 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва . . . . . 4

«О месте человека в природе». Первая страница рукописи (черновой автограф Герцена). Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии Наук СССР . . . . . 16

«Встречи». Заглавный лист (автограф Герцена). Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина . . . . . 112

А. И. Герцен. Портрет работы А. Л. Витберга, 1836 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва . . . . . 272

## СОДЕРЖАНИЕ


| | Текст | Варианты | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Предисловие к изданию | 5 | | |
| ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1829—1841 ГОДОВ | | | |
| О месте человека в природе | 13 | 460 | 479 |
| ⟨Развитие человечества, как и одного человека...⟩ | 26 | 462 | 480 |
| Двадцать осьмое января | 29 | 463 | 482 |
| Аналитическое изложение солнечной системы Коперника | 36 | — | 483 |
| ⟨День был душный...⟩ | 52 | 464 | 485 |
| 3 августа 1833 | 56 | — | 486 |
| ⟨Программа и план издания журнала⟩ | 59 | — | 487 |
| Гофман | 62 | — | 487, 534 |
| Легенда | 81 | 464 | 490 |
| Встречи | 107 | 465 | 493 |
| Первая встреча | 108 | 465 | 494 |
| Вторая встреча | 123 | 466 | 497 |
| Письмо из провинции | 131 | — | 498 |
| Отдельные мысли | 134 | — | 498 |
| Это было 22 октября 1817 | 136 | 466 | 499 |
| Елена | 139 | 467 | 500 |
| ⟨О себе⟩ | 170 | — | 502 |
| ⟨Из римских сцен⟩ | 183 | — | 505 |
| Вильям Пен. (Сцены в стихах) | 196 | 467 | 508 |
| ⟨Часов в восемь навестил меня...⟩ | 251 | — | 510 |
| Записки одного молодого человека | 257 | 471 | 511 |
| Наброски. Отрывки. Отдельные записи | | | |
| ⟨Не долго продолжалось его одиночество...⟩ | 317 | 472 | 517 |
| Несколько слов о лекции г-на Морошкина, помещенной в V № «Ученых записок» | 319 | — | 518 |
| Отдельные замечания о русском законодательстве | 320 | — | 518 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| К «Симпатии» . . . . . | 324 | 472 | 519 |
| ‹Из статьи об архитектуре› | | | |
| ‹1.› ‹У египтян более гордости...› . . . | 325 | — | 520 |
| ‹2.› ‹Есть высшая историческая необходимость...› . . . . . | 326 | — | 520 |
| ‹3.› ‹Говорить о домах под лаком в Голландии...› . . . . . | 328 | — | 520 |
| ‹Чтоб выразуметь эту исповедь страдальца...› | 329 | 473 | 521 |
| ‹Заметки из «записной тетради 1836 г.»› | | | |
| ‹1.› ‹Грехтен, в которую был влюблен Гёте...› . . . . . | 330 | — | 523 |
| ‹2.› ‹Ноября 6, 1836› . . . . . | 330 | — | 523 |
| ‹3.› ‹Итак. Протестантизм и Густав-Адольф...› . . . . . | 331 | — | 523 |
| ‹Альбомные записи› | | | |
| ‹1.› ‹В альбом Т. П. Кучиной› | 331 | — | 523 |
| ‹2.› ‹В альбом В. А. Витберг› . . | 331 | — | 523 |
| ‹Отрывки из дневника 1839 г.› . . . . | 332 | — | 524 |

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Лициний и Вильям Пен. Scenario двух драматических опытов . . . . . | 337 | — | 524 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Переводы и рефераты | | | |
| О чуме и причинах, производящих оную . . | 345 | — | 525 |
| О древнем бальзамировании | 351 | — | 525 |
| О землетрясениях . . . . . | 354 | — | 526 |
| О неделимом в растительном царстве . . . . | 361 | — | 526 |
| Литературные работы, связанные со служебной деятельностью в Вятке и Владимире . . . | 366 | — | 527 |
| Речь, сказанная при открытии Публичной библиотеки для чтения в Вятке . . . . | 366 | — | 527 |
| Заметки в «Прибавлениях» к «Вятским губернским ведомостям» | | | |
| ‹1.› Вотяки и черемисы . . . . . | 368 | — | 528 |
| ‹2.› Русские крестьяне Вятской губернии | 372 | — | 528 |
| Заметки в «Прибавлениях» к «Владимирским губернским ведомостям» | | | |
| ‹1.› ‹В прошлых листках «Прибавлений»...› . . . . . | 373 | — | 529 |
| ‹2.› От редакции. (В прошлом листке мы сказали...) . . . . . | 374 | — | 529 |
| ‹3.› От редакции. (Оканчивая годичное издание...) . . . . . | 376 | — | 530 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⟨4.⟩ Известия . . . . . | 378 | — | 530 |
| ⟨5.⟩ От редакции. (Г-н Борисов, известный нашим читателям...) . . . . . | 378 | — | 530 |
| ⟨6.⟩ Владимир, апреля 20 . . . . . | 379 | — | 530 |
| ⟨7.⟩ ⟨Г-н Протопопов обещает нам...⟩ . | 379 | — | 530 |
| Коллективное | | | |
| ⟨Записки А. Л. Витберга⟩ . . . . . | 380 | 473 | 531 |
| О цепных мостах. Приложение к «Запискам А. Л. Витберга» . . . . . | 453 | — | 531 |

Варианты . . . . . 457—474

Принятые сокращения . . . . . 459

Комментарии . . . . . 475—534

Утраченные произведения Герцена 1830-х годов 535

Указатель имен . . . . . 538

Список иллюстраций . . . . . 569

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. П. ВОЛГИН (главный редактор), И. И. АНИСИМОВ, Д. Д. БЛАГОЙ, А. М. ЕГОЛИН (зам. главного редактора), Б. П. КОЗЬМИН (зам. главного редактора), С. А. МАКАШИН, В. А. ПУТИНЦЕВ, З. В. СМИРНОВА, Е. В. ТАРЛЕ, Д. И. ЧЕСНОКОВ, А. Б. ШАПИРО, Я. Е. ЭЛЬСБЕРГ

*

Тексты подготовили *Л. Я. Гинзбург* (ленинградские рукописи, печатные источники) и *Л. Р. Ланский* (московские рукописи, «Гофман»). Комментарии составила *Л. Я. Гинзбург* при участии *В. А. Путинцева* («Гофман», «Легенда», «Встречи», «Первая встреча», «Вторая встреча»), *В. Н. Белицер* («Вотяки и черемисы»), *В. Е. Иллерицкого* («Двадцать осьмое января»), «Отдельные замечания о русском законодательстве»), *В. В. Мишариной* («Аналитическое изложение солнечной системы Коперника...») и *Я. Е. Эльсберга* («О месте человека в природе»)

Переводы иноязычных текстов редактировали *Е. А. Гунст* (франц.), *В. П. Зубов* (нем.), *Н. Г. Елина* (итал.) и *Ф. А. Петровский* (лат. и греч.). Указатель имен составила *Е. Б. Черняк*

Редактор тома С. А. МАКАШИН

*

Редактор издательства *А. И. Корчагин*
Переплет и титул художника *А. П. Радищева*
Технический редактор *Е. В. Зеленкова*
Корректор *В. К. Гарди*

РИСО АН СССР № 8-4 В. Т-05137. Издат. № 477. Тип. заказ № 214. Подп. к печ. 14/VII 1954 г. Формат бум. 60×92¹/₁₆. Бум. л. 18. Печ. л. 36+4 вкл. Уч.-издат. 33,2+4 вкл. (0,3 уч.-издат. л.). Тираж 25 000

*Цена по прейскуранту 1952 г.* ~~15 р.~~ 4-00

2-я тип. Издательства Академии Наук СССР.
Москва, Шубинский пер., д. 10

сканирование 001ART, обработка Feldmesser